*\ £ jБиблиотека мировой художественной литературы*

THETREE OF LIFE  
*Трилогия жизни в Лоде*- *гетто*

КНИГА ТРЕТЬЯ

  
Вагоны для скота ждут, 1942-1944 гг.

*Хава Розенфарб*

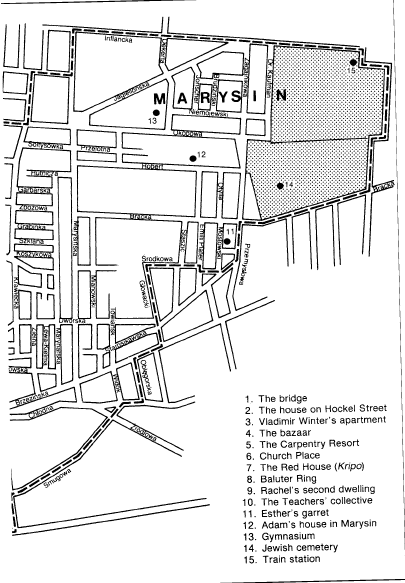
*Перевод с идиша автором*  
*в соавторстве с*Голди Моргенталер.

ДРЕВО  
ЖИЗНИ

**Карта улиц Лодзинского гетто**



Мост

Дом на улице Хоккей Квартира Владимира Винтера Базар Плотницкий курорт Церковь Место Красный Дом ( *Крипо*)

1. Балютерное кольцо
2. Второе жилище Рахили
3. Коллектив учителей
4. Чердак Эстер
5. Дом Адама в Марысине
6. Гимназия
7. Еврейское кладбище
8. Железнодорожная станция

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАЗВИТИЕ  
ИСКУССТВА

Эта публикация стала возможной  
при финансовой поддержке  
Национального фонда искусств.



Terrace Books, подразделение University of Wisconsin Press, берет свое название от Memorial Union Terrace, расположенного в Университете Висконсин-Мэдисон. С момента своего создания в 1907 году Союз Висконсина предоставляет студентам, преподавателям, сотрудникам и выпускникам возможность обсуждать искусство, музыку, политику и актуальные проблемы. Это место, где театр, музыка, драма, танцы, мероприятия на свежем воздухе и основные динамики доступны для кампуса и сообщества. Чтобы узнать больше о Союзе, посетите [www.union.wisc.edu](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.union.wisc.edu%22) .

**ДРЕВО**  
**ЖИЗНИ**

( *Трилогия жизни в Лодзинском Кхетто)*

Книга 3: Вагоны для скота ждут, 1942-1944 гг.

Хава Розенфарб

переведен с идиша автором  
в сотрудничестве с Голди Моргенталер

Издательские книги Университета Висконсина

The University of Wisconsin Press 1930 Монро-стрит Мэдисон, Висконсин 53711

[www.wisc.edu/wisconsinpress/](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.wisc.edu/wisconsinpress/%22)

3 Henrietta Street London WC2E 8LU, Англия

© Хава Розенфарб, 1985 г. Впервые опубликовано на идиш в 1972 г. Все права защищены.

5 4 3 2 1

Отпечатано в Соединенных Штатах Америки.

Данные каталогизации в публикации Библиотеки Конгресса

Розенфарб, Чава, 1923- [Бойм фун лебн. Английский]

Древо жизни: трилогия жизни в Лодзинском гетто / Хава Розенфарб; перевел с идиш автором в сотрудничестве с Голди Моргенталер. п. см. - (Библиотека мировой художественной литературы)

Перепечатка. Первоначально опубликовано: Мельбурн, Австралия: Scribe, cl985.

Содержание: кн. 1. На краю пропасти.

ISBN 0-299-20454-5 (pbk .: алк. Бумага)

1. Холокост, еврейский (1939-1945) - Художественная литература. I. Название. II. Серии.

PJ5129.R597B613 2004 839'.134-dc22 2004053592

ISBN 0-299-20924-5 (том 2) ISBN 0-299-22124-5 (том 3)

*В память о моих родителях*  
*Симе и Аврааме Розенфарбах*

Благодарности

я    хочу выразить благодарность всем, кто помогал этой книге увидеть свет: Боно Винеру, который непоколебимо поддерживал меня; доктору Адель Рейнхартц и доктору Эллен Берт за их помощь в подготовке первого варианта (доктор Берт, Книга I; доктор Рейнхартц, Книги

II     И III); моей сестре и зятю, Хении и Норберту Рейнхарцам за их постоянную поддержку и поддержку; моему сыну и невестке, доктору Абрахаму Моргенталеру и Сьюзан Эдбрил, за их любовь и внимание. Но больше всего я хочу поблагодарить мою дочь Голди Моргенталер за ее самоотверженный труд, за самоотверженность и преданность, которые она предлагала мне на протяжении многих месяцев, помогая мне придать этой книге окончательный вид.

Гл. Р.

*«Люби брата твоего, как самого себя».*Раввин Гиллель

*«Die Erstellung des Ghettos» - это selbstverstandlich пит eine Ubergangsmassnahme.*Zw *welchen Zeitpunkten und mit welchen Mitteln das Ghetto und damit die Stadt Lodz von Juden gesaubert wird, better ich mir vor. Endziel*muss *jedenfalls sein, dass wir diese Pestbeule restlos ausbrennen.*

Der Regierungsprasident gez. Uebelhor.

Лодзь, 10 декабря 1939 г. »

(«Само собой разумеется, что создание гетто - это лишь временная мера. Я оставляю за собой свое суждение относительно момента времени и средств, с помощью которых гетто, а вместе с ним и город Лодзь, должны быть очищены от евреев. В любом случае конечной целью должно быть безжалостное сожжение этого язвительного нарыва ».)

КНИГА III

***1942-1944 годы***

Book Three 5

Глава Один

ДЕПОРТАЦИЯ продолжалась две недели, и постепенно улицы привыкли к виду, что толпы, нагруженные рюкзаками и мешками, изо дня в день текут в направлении тюрьмы. Их видели, но больше не замечали в те яркие дни, когда солнце вместо того, чтобы ласкать своим теплом, хлестало морозными кнутами. Но сегодня было воскресенье. День отдыха как для немцев, так и для гетто. Улицы были белыми и пустыми. В тюрьме ждали тех, кто должен был уехать с транспортом на следующий день, включая тех, кто уже скончался от сердечного приступа или смертельной болезни. Они тоже были удостоены чести быть засчитанными. Мертвые, им все же пришлось внести свой вклад в округление: тысячу в день.

Вдоль забора тюрьмы собралась толпа. Внутри стояли уходящие; снаружи те, кто остались. Скрестив пальцы в проволочных сетях, люди прощались друг с другом. Слова и слезы текли туда и сюда. Сегодняшнему транспорту повезло. Депортированные успели осмыслить черты лица и последние слова тех, кто остался по ту сторону забора. У них было время осознать, насколько сильно они были привязаны к тому месту, от которого они уже были так основательно отделены. Но мороз через некоторое время заморозил их горе. Он кусал их руки, носы и пальцы ног, заставляя их спешить обратно в тюремный зал, чтобы согреться, тем самым освобождая место для других, которые вышли изнутри. Точно так же и те, кто по другую сторону забора, пришедшие попрощаться, окоченели от холода, уступив свои места другим, а они галопом пустились в путь к своим крышам.

Остальные жители гетто провели день в своих домах либо под одеялом своих кроватей, либо за шитьем ранцев. Злой указ уже коснулся всех отношений тех, кто ранее был наказан депортацией, а теперь настала очередь прибывших из провинциальных городов и получающих пособие. Установленная цифра в десять тысяч уже была набрана, но «свадебные приглашения» не переставали поступать.

Буним лежал в постели одетый; на его поднятых коленях стояла бухгалтерская книга, твердые обложки которой служили ему столом. Он работал. Напротив него лежала в постели Блимеле и играла со своей куклой Лили. Только Мириам была на ногах. В зимнем пальто и шали, обернутой вокруг головы, она готовила обед. Ставни окна были открыты; солнце, падающее в комнату, казалось, прослеживало своими лучами складки на белой скатерти. Мириам сохранила свою привычку готовить каждую трапезу, как если бы это была праздничная церемония, и, как обычно, Буним подумал, что стол является священным местом, а еда заменяет молитву. Он следил за ней глазами, пока она вынимала горшок с супом из-под гагачьего пуха у изножья кровати. Кастрюля была не тяжелой, но руки у нее дрожали. За последние несколько дней

Буним заметила, что у нее дрожат руки. Ему не нужно было спрашивать, почему. Их рюкзаки давно уже стояли наготове под столом. Каждую ночь он шептал ей на ухо, что им предназначено спасти от депортации ... всех четверых. И все же ее руки не переставали дрожать.

Несколько рыхлых капель муки, как яркая рыбка, плавали в красном супе из консервированной свеклы. На каждую тарелку лежал тонкий ломтик хлеба. Мириам завернула Блимеле в плед и вместе с куклой отнесла ее в кровать Бунима, возле которой стоял стол.

При виде супа в тарелке Блимеле запела: «Воскресная свекла, понедельник - свекла. .. »Она кормила Лили пустой ложкой. «Вот, возьми каплю муки. . . » Буним коснулась ее мягких волос. Она подняла на него глаза. «Как долго ты будешь продолжать гладить меня, *Татешел*. Мать не следует так гладить ».

«Ты мой ребенок», - ответил он.

«Но я мать Лили».

«Ты всегда будешь моим ребенком, даже когда вырастешь настоящей матерью ... или бабушкой». Он смотрел на нее, взвешивая что-то в своем уме. Наконец он добавил: «Знаешь, Блимеле, у тебя будет младшая сестра или младший брат».

Его слова прошли мимо ушей Блимеле, как будто она их не слышала. Лишь через некоторое время ее взгляд, как заяц, прыгнул через край тарелки, прямо в лицо Мириам, затем - в лицо Буним. «Вы имеете в виду настоящего ребенка. Брат или сестра? "

«Такой же реальный, как ты», - сказал Буним. «Сначала он будет размером с карлика, но потом вы научите его ходить и будете играть с ним».

Блимеле поморщилась, прижимая куклу к лицу: «Я не позволю тебе выбросить Лили. Лили - мой ребенок, и она всегда будет моим ребенком, даже когда я буду бабушкой ». Она решительно покачала головой: «Нехорошо иметь сестру или брата ... а кто будет их отцом и матерью? »

«Что ты имеешь в виду? Мы."

Блимеле позволил Лили упасть на стул, когда она бросилась в объятия Мириам, рыдая: «Я не хочу!» она ахнула. «Ты только мой!»

Мириам пыталась ее успокоить. «Глупая, что ты девочка. Ты думаешь, я буду любить тебя меньше? Вы думаете, что мать делит сердце между детьми, как кусок хлеба? Нет, сердце матери растет с каждым ребенком, оно удваивается ... »

Блимеле уставился на нее, ее мокрое лицо было в замешательстве. «Вы хотите сказать, что у матери Габриэля четыре сердца, потому что у нее четверо детей, а когда Габриэль умрет, у нее будет трое? А внутри тебя действительно растет новое сердце? »

"Да что-то подобное."

«Так почему бы тебе не отрастить больше рук, ног и голов?»

Мириам пришлось улыбнуться. «Я не имею в виду настоящее сердце. Я имею в виду . . . любящий. Материнская любовь растет ».

♦ ♦ ♦

Всю ночь по гетто бушевала метель. Как зверь, запертый в клетке, отчаянный ветер пронесся по всем углам хижины, атаковав стены, как будто хотел сбежать. Он проникал в горелки холодной печи, ревя внутри них, как огонь, многократно поглощаемый трубами. С глухим долгим воем он позвал на помощь своего брата, ветер снаружи, который разгуливал в белой буре. В ответ братский ветер стучал в ставни, пытаясь сорвать их с петель. Пока на рассвете одна из ставен не сдвинулась и, как деревянная рука, не стала хлопать обнаженным окном, как если бы это было незащищенное лицо. Штормы снега пронеслись мимо грохочущих стекол, звякнув о них градом, похожим на горох, сыплющийся из белых мешков. Кусок битумной бумаги треснул и затрепетал, намереваясь сорвать всю стонущую крышу. Казалось, хижина в любой момент сорвется с фундамента и на плечах урагана унесет в кружащееся очо бури. Стены тряслись, как листы бумаги, неплотно сшитые вместе, а их углы - только бумажные свистки, которые дуют демоны.

Буним потянулся за своей одеждой. Он положил их и свои очки под одеяло, чтобы согреть их. Затем он медленно начал одеваться, наматывая длинные шерстяные бинты из тряпок вокруг ног, прежде чем натянуть деревянные туфли. Почувствовав внутри них холод, он начал поспешно маршировать по комнате.

«Почему бы тебе не надеть пальто?» - спросила Мириам.

Он поднял пальто, которое они расстелили на покрывале кровати. На его место он положил несколько открытых бухгалтерских книг, сложив их Мириам по ногам. На цыпочках он подошел к Блимеле, которая спала в своей постели под горой одеял. Он коснулся ее пальцев ног и объявил Мириам: «У нее теплые ноги».

Ветер, гулявший по комнате, проникал сквозь его пальто. Он поднес руки в перчатках ко рту и, согревая их дыханием, пошел топить печь. Ветер от открытых горелок ударил его в лицо. Дрова отказались разжигать; каждое пламя поглотил злобный ветер. Но каким-то образом ему удалось развести огонь. Он открыл кастрюлю на плите, и легкая дрожь пробежала по его спине, когда кислый запах достиг его ноздрей. Всю последнюю неделю нечего было есть, кроме консервированной свеклы. Он уперся руками и лицом в чайник с водой, пока та не закипела. Он наполнил два стакана водой, бросил в каждый сахарин и подошел с ними к Мириам.

Они оба потягивали горячую воду. Буним искоса взглянул на Мириам. Ее беременность еще не проявилась, разве что в глазах, на ее лице. Она казалась изменившейся. В ней была таинственная атмосфера обновления. Как называлось ее великолепное самообладание, когда она сидела по вечерам, готовя их рюкзаки, и сдержанно отвечала на вопросы Блимеле? Какое имя она служила ему, Буним, когда он лежал в постели и писал? Вот только ее руки дрожали даже ночью, когда они лежали вместе, и она ласкала его. Их обоих сплавила эта дрожь, так что граница между их телами, между их дыханиями растворилась.

Мириам поймала его взгляд и слабо улыбнулась. «Я останусь в постели еще немного. Картошка еще не пришла и, наверное, в сарае будет нечего делать. А также . . . » - добавила она прерывистым шепотом: - На выходе не забудьте взять с собой кружку с горячей водой для сестры Валентино. Ребенок там смертельно болен, и на сегодня они получили «приглашение на свадьбу» ».

Когда Буним собрался уходить, он увидел перед собой лицо маленького Габриэля, друга Блимеле. Он наполнил кружку горячей водой и бросил в нее несколько сахаридов. Он натянул козырек фуражки на лоб, обернул шарфом шею и привязал флягу к поясу. Ветер и снег распахнули перед ним дверь, и он изо всех сил пытался ее закрыть. Он бежал сквозь пудровый туман рассвета, окна во дворе танцевали перед его глазами. Спотыкаясь в кучах снега, он держался за кружку, которая быстро остывала.

В квартире, где когда-то жил Валентино, было темно. Тихий хриплый стон, убаюкивающая песня достигла его ушей: «Спи, спи, Габриэль, дитя мое, спи, спи, душа моя. .

Словно загипнотизированный голосом, Буним двинулся в его сторону. Следующая комната была немного светлее, и он смог различить большую кровать. На нем спали четверо детей, а рядом, стоя на коленях на полу, кто-то сидел, обнимая тело ребенка, ближайшего к краю кровати.

Буним коснулся плеча женщины. «Я принес тебе немного горячей воды, сосед». Растрепанная женщина осталась на своем месте, прислонившись головой к телу ребенка. Прекратилось только ее пение.

Внезапно глаза Бунима встретились с взглядом Габриэля, сияющим из-под его приоткрытых век. Нос и губы Габриэля напоминали снежки в серой комнате. Маленькие темные тени дрожали под его ноздрями. Его погремушка, казалось, исходила не из его груди, а из груди его матери. Буним снова коснулся плеча женщины.

Его прикосновение, казалось, пробудило ее пение: «Я не оставлю тебя в покое, нет, Габриэль, моя душа. . . » Теперь она повернулась к Буним, говоря другим, более холодным тоном. «Что мне делать, сосед? Дай мне совет ... »

«Выпей немного горячей воды», - он протянул ей кружку.

Она встала, превратившись в высокого ужасного монстра, пропахшего смертью. «Который час сейчас?» - спросила она, беря кружку.

"Семь."

Она ахнула, затем сделала глоток. "Семь? Так что у меня еще много времени. Габриэль хороший ребенок, как и его покойные брат и сестра. Бог его вознаградит, вот увидишь. Ему не придется вытаскивать себя в такую ​​метель ». Она вернула кружку Буниму и опустилась на пол, вернувшись в прежнее положение. Теперь Буним мог выйти из комнаты, но он стоял, не отрываясь от своего места, его глаза впитывали вид серого утра, зарождающегося в мире, вид черного утра, уходящего в объятиях матери. Он услышал женский голос: «Иди своей дорогой, дорогой сосед. Вы же видите, что не даете ребенку спать, не так ли? "

Он бегал по улицам, борясь с ветром и снегом, которые практически сбивали его с ног и швыряли на других людей. Толпа устремилась к мосту на первую смену на курортах. Он держался вплотную к стенам и заборам, которые несколько защищали его от ветра. Его туманные очки закрывали вид на улицу перед ним, и, когда он бежал, ему приходилось снимать их и сдувать снег, чтобы видеть. Он увидел белые плакаты на стенах и заборах; белые мокрые тряпки, усыпанные черными буквами. Он знал, чего они требовали. Однако внезапный порыв заставил его на бегу вытащить из кармана лист бумаги и надкушенный карандаш. Он остановился очень близко к забору, подперев поднятым коленом доску. Он поставил флягу на колено, и на ней кусок бумаги, влажный от снега, начал скатываться по краям. Упрямый карандаш раскачивался взад и вперед, записывая резкие фразы:

Сообщение № 355 о депортации из Литцманштадт-Гетто.

При этом приказываю всем лицам, назначенным к депортации, незамедлительно явиться в назначенное время к месту сбора. Тех, кто не явится добровольно, депортируют насильно. Даже если они не в собственном доме, их найдут и разберутся. По этому поводу обращаю ваше внимание на свою прокламацию от 30 декабря и в последний раз предупреждаю население гетто не размещать в своих квартирах лиц, не прописанных там. Если лица, назначенные для депортации, останутся живущими с другими семьями во избежание депортации, то будут депортированы не только они, но и семьи, которые их приютили, и дворники данных домов.

Подпись, Мордехай Хаим Румковски

Старейший из евреев в Литцманштадт-гетто.

Еврей, увидев Бунима у плаката, толкнул его. «Эх, лучше запишите, что в портной пришел заказ на пять миллионов мешков для захоронения мертвых немецких солдат. На каждом из них будет этикетка с надписью« Продукция Литцманштадт-Гетто »!» Буним сложил лист бумаги и сунул в карман вместе с карандашом. Он пустился в бега. Было поздно, и он чувствовал себя виноватым за «потребителей», которые, вероятно, ждали его в очереди перед газовым центром, чтобы они могли подогреть немного кофе или воды перед тем, как поспешить на работу.

Он больше не работал в «Овощном дворе». Теперь он был куратором Газового центра, а его «покровительством» был комиссар Главного управления Газового центра, серьезный утонченный человек, который служил «спиной» для менее удачливых «людей культуры». Работа была «сухой», и те, кто приходили разогревать еду в Газовом центре, в шутку называли себя «потребителями». Здесь не было возможности схватить морковь или кусок репы, как это было в Овощном дворе. Однако Буним не мог желать лучшего положения. Он не имел над собой начальников, и, за исключением периодических проверок комиссара, ему было не с кем считаться, кроме собственной совести.

«Центр» располагался в ветхом, частично снесенном доме. Вокруг стен комнаты стояли деревянные подставки с газовыми горелками с черными номерами. На средней стене, над горелками, висели старые часы в коричневой коробке. Внутри него качался круглый латунный маятник, разрезая каждый час на доли минут. У окна стоял старый стол, где Буним вел бухгалтерию, фиксируя время каждого «потребителя» у горелки и заботясь об обналиченных пфеннигах.

В обычный зимний день Газовый центр был охвачен туманным паром, освещенным пламенем горелок. Горелки напоминали цветы. Правда, аромат, который они выпускали, вовсе не был цветочным, но он источал восхитительное тепло, которое могло растопить замороженные конечности. Как только Буним входил в комнату утром, до прихода его «потребителей», он включал все конфорки, чтобы согреться и насладиться красотой их пламени. Остаток дня он почти не видел пламени. Они были скрыты за кастрюлями и спинками «потребителей», каждый из которых охранял свой котелок и грелся, не отходя от него, пока его еда не была готова. Зачастую каждый горшок сопровождали целые семьи, экономя дома дрова. Было весело держаться за свой горшок, стоя на конфорке; было приятно ждать, пока приготовится еда. Время от времени женщина поднимала крышку, заглядывала в горшок любопытными глазами и смаковала аромат его содержимого; она пробовала его ложкой, а также предлагала вкус детям.

В узком коридоре часто собиралась большая очередь людей. Поддерживать порядок в очереди было самой сложной частью работы Буним. Все внутри него перевернулось при виде закутанных, дрожащих и топающих ногами «потребителей» с горшками между красными замороженными пальцами. Сначала он позволил им подождать в теплой комнате, но это привело к неразберихе и хаосу. Люди воспользовались его слабостью, хватали горелок вне очереди, ссорились или дрались, и многие из них уходили, не заплатив несколько пфеннигов. Буним утомлялся только от того, что умиротворял и контролировал их, в то время как они смеялись над ним за его спиной. Он был странным, и его было так легко обмануть; руководитель, который не мог справиться со своей работой. После таких дней ему приходилось оставаться подольше, чтобы привести все в порядок, часто также добавляя пригоршню пфеннигов из своей зарплаты, чтобы пополнить баланс счета. Он чувствовал ужасную усталость. Да, все эти люди были рядом с ним как личности. Это были люди, которых он описывал и воспевал в своих стихах. Но он почувствовал себя жалко беспомощным, когда они приобрели одно лицо, став инопланетным мстительным монстром по имени «толпа».

В один из таких сумбурных вечеров на проверку приехал комиссар газовых центров. Он разочарованно покачал головой, а на глазах у Буним стали появляться черные круги. Комиссар, единственная «спина» и «защита» Бунима, ничего не сказал, но его уход без прощания был предупреждением, от которого у Бунима замерзло сердце.

Он должен был охранять свой пост. Действительно, с тех пор, как он начал оставлять «потребителей» ждать снаружи на морозе, они стали к нему больше уважать. Даже если они все еще шептались, издевались или ругали его за спиной (они считали его полусумасшедшим, потому что он внимательно слушал, как разговаривают дети, или просил людей повторять ему то или иное высказывание, и он дружил с старые сумасшедшие евреи), в его лицо льстили и хвалили за то, что он был хорошим и справедливым надзирателем. Они вежливо поклонились, поблагодарив его за малейшую услугу.

Как хорошо обученные солдаты, они стояли у огня, семья к семье, сосед к соседу. Хотя пар от горшков размазывал их контуры, заставляя их казаться более далекими, Буним видел и слышал их очень отчетливо. Он сидел за своим столом, раздавал числа, считал, смотрел на часы, впитывая жужжание горелок вместе со сценой перед ним. Под крышкой толстого бухгалтера лежало несколько отдельных листов бумаги, а в нагрудном кармане лежал пережеванный карандаш. В эти часы он ими не пользовался. В эти часы он был губкой, поглощающей отрывочные фразы: «Presess сегодня смеялся ... Presess плакал. .. Пресесс ликует. . . Presess сегодня бегает как сумасшедший. . . » или шутливые высказывания вроде: «Царь простужен, значит вся Россия чихает». Или философские замечания, такие как: «Вы знаете, почему мы носим Звезды Давида? Потому что Бог сказал Аврааму: , и вы будете , как звезды. Или: «Да, в тот день, когда я родился, я плакал, и каждый последующий день заставлял меня понять причину этого». Или вздохи: «Единственный грех овцы - это то, что волк голоден».

Здесь, среди горелок Газового центра, гетто возникло как на сцене, в прожекторном свете пламени, в клубах пара, разыгрывая свою жизнь перед Бунимом. Он поглотил столько, сколько мог, а затем забыл, чтобы поглотить еще. Лишь позже, когда на улице не было очередей, когда работали только две или три горелки, две или три спины повернулись к нему, он тайком вытащил из-под кассы незакрепленные листы бумаги и, прикрыв их рукой. , начните проводить карандашом по линиям. Тогда все, что он видел и слышал, вернется к нему. Это было не подлинное воспоминание, а преобразованное. Тем не менее воздух, которым дышали его реплики, был подлинным.

Буним добрался до Газового центра. Коридор был пуст, и он облегченно вздохнул. Его никто не ждал. Он стряхнул снег с пальто и бросился к горелкам, зажигая их одну за другой. Вокруг него распустились красные огненные цветы, и комната наполнилась приятным гудением. Казалось, что он был не один, как будто веселый теплый дух ждал здесь, чтобы поприветствовать его. Он поставил флягу с водой на огонь сбоку. Когда горелки были разряжены, он мог позволить себе роскошь выпить по утрам горячий напиток. Как обычно, он чувствовал себя виноватым из-за Мириам и Блимеле. Он обменял Овощное место, где время от времени мог съесть морковку или репу, на Газовый центр, который ему нравился. Но, в конце концов, он сделал Мириам и Блимеле партнерами в его великой задаче. Это была цена, которую они заплатили, в то время как муки вины были его ценой. То, что он предпринял, требовало жертв, требовало крови и костного мозга, почти жизни. Он знал, что иначе и быть не могло.

Он выключил конфорки. Комната стала серой, темной, наполненной бушующей на улице метелью. Буним подошел к столу и достал несколько влажных листов бумаги и карандаш. Потягивая горячую воду, он сел. Горячий край фляги обжег ему губы. Как будто он пил крепкий алкогольный напиток, тепло распространилось по его конечностям, по его разуму. Он атаковал ожидающие листы бумаги. Было замечательно иметь впереди столько свободных часов - сокровище, которое он должен был использовать экономно. Он был благодарен метели и тому, что людям нечего готовить. Консервированную свеклу можно разогреть на бумажке дома; пережаренные, у них все равно не было вкуса. Вдобавок была депортация ... Да, его работа была взращена ценой трагедии. И хотя он хотел снова иметь дымящуюся, переполненную и шумную комнату, со всеми горелками и очередью снаружи, он наслаждался тишиной и покоем; Угроза, которую они несли, заставила его карандаш поторопиться.

Пока он был поглощен своей работой, старые часы на стене постепенно меняли свой ритм, торопясь, глотая или пропуская целые часы. Время от времени Буним поглядывал на нее. Старые часы отсчитывали большую часть дня. Где он был? Существовали ли вообще прошлые часы? Жил ли он ими? Когда? Как? Часы, должно быть, подшучивают над ним, издеваются над ним так же, как его соседи, как его «потребители». Может, это надо было исправить? Требовалось показать точное время, потому что эти часы были истинным хозяином Газового центра. Но у кого можно спросить о подходящем времени? В размеренном ритме написанных им строк? Или в стремительной панике за окном? Его рука поспешила вместе с нетерпеливым карандашом. Смущенные часы кончиками стрелок перечеркнули время. Он уже сдался этому. Пусть делает, как хочет. Буним был здесь, но не здесь - точно так же, как Время. Все, что он хотел сейчас, - это бодрствующая тишина внутри, тишина расплавленного, льющегося свинца, нетронутого горячего асфальта, на котором он должен был выгравировать и запечатать шаги своих главных героев.

В рифмованных строфах этого дня он объединил Блимеле и ее маленького друга Габриэля. Они разговаривали своими глазами, ее ярко-синими, его угольно-черными. Как земля и небо, они взывали друг к другу, в то время как слова, произносимые между ними, были словами, которые произносят дети, а взрослые заменяют тишиной. Они перешли по узкому, как нитку, мосту, который грозил сломаться под ними в любой момент. И вместе с ними шли Буним и мать Габриэля, дикое чудовище с растрепанными волосами. Буним тоже говорил детскую задушевную беседу, беседу Пятикнижия, повторяя *отрывок Лех-Лечо*с горько-сладкой ноткой, которую он усвоил от матери Габриэля. Мириам им выручала. Мириам одела Блимеле в теплые трусики и трусики, только что снятые с печной трубы, чтобы Блимеле не простудился по дороге, в то время как Габриэль был одет в маленькие белые саваны своей ведьмой-матерью и мостик, тонкий, как нитка. но сильный, как сталь, покачивался над жестокостью, ужасом и страхом.

Как он, Буним, изменился за последнее время! Чем безумнее он казался своим соседям и «потребителям», чем чужеземцем он говорил, чем он молчал, сколько замешательством и внезапными приступами восторга или печали, - тем сильнее он чувствовал себя. Это началось как с написания его великого стихотворения, так и с беременности Мириам. Его прежнее саморазделение сменилось другой двойственностью. Он жил одновременно в двух мирах: в реальном гетто и в одном из своих стихотворений. Они были такими же, но не такими. Они походили на две подлинные комнаты, в которые сам Буним служил общей дверью, через которую его персонажи переходили из одной комнаты в другую. Одна комната стояла в ярком свете настоящего дня, а в другую свет проникал сквозь него - поэта, дверь - как сквозь призму. Лучи, проходящие через него, мерцали утешением и облегчением; они сделали самые ужасные переживания терпимыми. Даже его страх и мучительное предчувствие, столь ясное и острое, что не отпускало его ни на мгновение из-за ежедневного марша депортированных, даже дрожь ужаса, которая бежала впереди и следовала за ним, - были преобразованы плачем. его строф. Его стихотворение было выражением черного торжественного праздника.

Он ненавидел этот праздник и цеплялся за него. Его борьба заключалась в том, чтобы раскрыть правду, обнаженную и грубую. Когда он взял карандаш в руку, твердо решив выявить образы и попытаться вписать их в свои строфы, их реальность действительно раскрылась, но она отличалась от реальности дня. И борьба двух истин продолжалась. Стиснув зубы, Буним атаковал свои наряженные линии, решив сорвать все украшения, чтобы сделать их более четкими и честными, но все, что он получил, это новое украшение. И на краю его души, над водоворотом его борьбы, радость творения была подобна бессовестному голубю, смиренно и благодарно воркующему. Он тоже ненавидел этого голубя, из-за чего он ходил с поднятой головой.

В какой-то момент в середине дня он выбежал со своей флягой на ближайшую общественную кухню и принес немного горячего водянистого супа, который выпил без ложки. Позже он не вспомнил ни о том, что пошел на кухню, ни о том, что выпил суп. Самого его не было, только его тело.

Еще позже вошли две худенькие девочки без горшков. Их зубы стучали. Их губы были синими. Их глаза высокомерно требовали того, о чем робко просили их рты, чтобы он позволил им согреться. Буним зажег для них все конфорки. Огненный венок обнял их и его. Губы детей растаяли в улыбке, их лица раскрылись, как бутоны. Держась за руки, они переходили от одной горелки к другой. Они смеялись. Они танцевали. Они танцевали под Буним, танцевали через него. Он смотрел на них, но не видел их; он слышал их, но не слушал. Он писал. Когда он снова поднял голову, комната была пуста; горелки были выключены.

Затем вошла женщина, у которой под порванным пледом цвета грязи спрятан горшок; снова зажужжала горелка. Женщина склонилась над горшком; она тоже танцевала. Ее деревянные туфли стучали. Она махала руками под пледом, как крылья. Пламя не могло ее согреть. Она покачала головой, беспрестанно разговаривая сама с собой, со своим горшком, с Буним: «Эй, евреи не свиньи, они все едят. Свекольные варенья были готовы на помойку два года назад. Вам понадобится микроскоп, чтобы найти в этом цветном кусочке воды частичку картофеля ».

Вслед за ней вошел высокий молодой человек, его жесткие, заснеженные боковины свисали из-под пледа, покрывавшего его голову. Загудела еще одна горелка. Молодой человек открыл том псалмов, ритмично покачиваясь над горшком, когда он прошептал свои слова, как если бы он произносил заклинание над едой. Буним слышал, как он потягивал свои слова вместе с паром, выходящим из-под крышки котелка.

Затем вошли молодая красивая мать и два ее маленьких мальчика. Они были прилично одеты и говорили по-польски. Мать сняла перчатки с рук своих детей и согрела их на пламени горелки, прежде чем накрыть ее горшком. Ее руки на плечах двух мальчиков сияли пурпурным отблеском.

Затем вошла уличная певица Шиле. Он настоял на том, чтобы заплатить за свое приготовление песней, и как только он снабдил себя горелкой, он принял театральную позу, интонируя своим звенящим девичьим голосом:

Леди у котла, я не шучу. Возьми совок и покопайся.

Леди у котла, вы украли масло, вы украли мед И купили себе шелковые чулки на деньги.

Дама у котла, ты толстая как бочка. Тебя отправят в *фекалии*по направлению Пресесса.

Леди у котла, я не завидую вашему положению. Пресесс скоро отправит вас «на снос».

С другой стороны, прошли отрезки времени, когда все горелки были холодными и бесшумными. В комнате больше не было света. Лист бумаги перед Буним потерял свои линии, свою белизну. Глаза Буним стали слезиться и гореть от усталости. Он сунул карандаш в нагрудный карман, свернул листы бумаги, исписанные его почерком, и собрался идти домой. До приезда доктора Зонабенда из Праги, работавшего в вечернюю смену в Газовом центре, оставалось еще некоторое время. Но Буним был уверен, что «потребителей» в это время не будет, и комиссар в такой день не заглянет на проверку. Во-вторых, он не мог больше там оставаться. Не умея писать и не имея перспектив «потребителей», игра с газовыми горелками, их включение и выключение было жутким и пугающим искушением.

Он закрыл лицо своим большим меховым воротником и бросился в объятия снега и ветра. Он прошел вдоль стен и заборов, глядя сквозь запотевшие очки. Улица кишела людьми, спешащими сквозь пудровую тьму. Они приезжали из курортов, бегали за водой, спешили посмотреть, что нового, у своих родственников или друзей. Кто-то прошел мимо него, неся через плечо огромную доску, сокровище. Двое детей держали за руки третьего плачущего ребенка. Белые снежные шапки покрывали их головы. Два молодых человека, мужчина и женщина, бежали навстречу друг другу, прижимаясь друг к другу между прохожими, а затем падали в объятия друг друга. Пустые фургоны спешили мимо посреди дороги, а другой фургон, нагруженный трупами, медленно тащился от дома к дому. По обоим тротуарам спешили ряды уходящих людей, устремив взоры на невидимое расстояние, ожидая их за забором из колючей проволоки. Тяжелые ранцы, звякнув о прикрепленные к ним кастрюли и сковороды, давили им на спину. Они держались за руки своих детей или старых родителей. Некоторых из них сопровождали родственники, соседи или друзья. Уезжающие и оставшиеся почти не разговаривали на одном языке.

Буним тоже оказался привязанным к рядам тех, кого гетто доставляло сегодня неизвестному, когда он шел за их горбами багажа. Вчера и позавчера он сделал то же самое, встретив знакомых по дороге домой. Таким образом, вчера он сопровождал своего соседа Херша Бир Сапожника и его семью, жителей Балуты на протяжении многих поколений. Так что он сопровождал своего косоглазого сослуживца из Овощного Места, который так любил подшучивать над ним, над Бунимом. Он также сопровождал своих бывших «потребителей» из Овощной площадки и Газового центра. А однажды он пошел к тюремным воротам с другом своей юности. Он никогда не встречал его в гетто, но вдруг заметил его в толпе, устремившейся к месту собрания.

Заполненная улица безмолвно сдалась буре, покорно позволив ветру, который заглушил крик заблудшего ребенка, заглушил грохот колес телеги, заставил замолчать слова депортированных и уничтожил поцелуй молодых влюбленных.

Буним подходил к воротам своего дома, когда заметил, что черный катафалк настиг его. Кто-то положил на него белый сверток, как только мать Габриэля вышла из ворот с рюкзаком, кастрюлями и сковородками. У ее оставшихся детей тоже были маленькие рюкзаки, хлебцы и чашки. «Итак, что я тебе сказал, сосед?» Мать Габриэля торжествующе воскликнула, как только увидела Бунима. «Габриэль - хороший ребенок ...» Ветер заглушил звук ее голоса. Буним последовал за ней. Она попросила его взять за руку одного из детей. «Я буду помнить тебя ... к лучшему», - пыталась она сдержать ветер своим голосом. Казалось, она задыхается от ремней и шнуров всех мешков, которые были подвешены к ее шее.

Катафалк медленно трясся, двигаясь по середине дороги. Чем ближе подходил к мосту, тем гуще становилась толпа. Казалось, вся улица участвовала в похоронах маленького Габриэля. У забора из колючей проволоки все остановилось. Дежурный еврейский полицейский отсалютовал дежурному под мостом солдату. Ворота открылись, и катафалк прошел через них один. По мосту поднялась толпа людей вместе с ними пятеро: мать Габриэля, трое ее детей и Буним. Лестница была неровной, засыпанной твердым старым снегом. Буним посмотрел вниз с моста и увидел, что катафалк пролетел мимо улицы Згерской, мимо охранника с остроконечным ружьем. Мать Габриэля тоже посмотрела вниз. Из ее горла вырвался звук. Ветер унес это. Дети цеплялись за руки своей плачущей матери.

Буним наблюдал за маленьким зеленым солдатиком с ружьем. Он плюнул, но это не принесло ему облегчения. Его поглощало мучительное упрямство. Он чувствовал себя сталью и железом. По нему наступали все эти деревянные башмаки. Он их поддерживал. Он был абажур - ворота, абажур - дверь. Маленький солдатик мог войти в первую комнату, но не имел власти над второй. Буним поклялся не испачкать ни одной строчки своего стихотворения, своего плача, упоминая это зеленое ничто под мостом. Он снова сплюнул и смотрел, как ветер улавливает его слюну и растворяет ее в воздухе. Он повторил последнее заикание Исраэля Благородного, одного из героев его стихотворения. «Я никому не принадлежу, никому. Ты можешь забрать мое тело, но не мою душу ».

Book Three 17

Глава вторая

КРАЙН ШАПСОНОВИЧ получила свое «приглашение на свадьбу» в последние дни января, и уже давно предполагалось, что она оказалась по ту сторону гетто. Но хотя ее дети снова были здоровы, а ее сердце все еще тосковало по Фейвишу, она не могла оторваться от своего дома на улице Пясковой. Днем, когда они были дома, один из ее детей был на страже полиции, а по ночам все они спали в доме с женами двух бывших жонглеров, которые жили за углом и работали в ночную смену в доме. Металл Курорт.

Когда Крайне вернулся утром домой, в комнате было тепло. Адам позаботился об этом, прежде чем уйти на работу; не раз даже находили на плите немного приготовленной еды. Затем все они вышли на улицы в поисках провизии. Дров воровать не было, по улицам не проезжали повозки с овощами. Единственным *выходом было бродить*по домам *шишек,*сначала исследовать их ящики для мусора, а потом стучать в их двери.

Дети хорошо воспользовались обучением Крайне. Не было двери, через которую они не смогли бы проникнуть. Они умоляли или крали, а затем быстро исчезали. Самой Крайне было трудно пробраться в дом. Она была слишком «заметной», поэтому ей приходилось делать это открыто, с хуцпой, и она делала это с большим мастерством.

У нее был талант крутить хозяйку дома вокруг своего мизинца, рассказывать им небылицы и передавать им привет от несуществующих родственников. А пока она сунула под плед все, что попадалось ей в руку. Точно так же она поступала с мужьями, суровыми комиссарами и директорами в сапогах, которые иногда открывали ей двери. Сначала она отвлекала их глазами, грудью и всей своей щедрой фигурой. Конечно, у нее не было иллюзий, что она сохранила красоту давно минувших дней. Неважно, ее отражение в оконном стекле, которое служило ей зеркалом, давало ей понять, где она находится в этом отношении. И все же она кокетливо дразнила их всем, чем обладала, все время вздыхая и причитая. Она расскажет им, каким благочестивым и хорошим человеком был ее муж, да упокоится он в раю, и что, прежде чем навсегда закрыть глаза, он произнес имя именно этого выдающегося *шишки,*отец которого вырос и ушел в *хедер.*с ним. У *шишек*было несколько ахиллесовых пяток, которые Крайне открыл и на которых поиграл. А *шишка в*сердце растает, во - первых, если один наигрывал на его семье строк. Во-вторых, он питал слабость к благочестивым людям. В-третьих, он настораживал уши, когда слышал, что о нем говорят жители гетто.

Заявив о своем родстве с хозяином дома, Крайне расскажет свою историю, а именно, что она только что получила «приглашение на свадьбу» на завтра, и ей нужно явиться со своими воробьями на место собрания, но она нечего было взять с собой в дорогу, ни корки хлеба на ее имя. Она излила лавину слов, ее гладкий язык заставил грубый балутский идиш звучать так грустно и сладко, а ее истории так правдоподобны, что у беззащитных мужчин не было времени как следует переварить то, что она им рассказывала. Вскоре она обнаружила, что разговаривает из самого центра кухни, в то время как ее острые глаза шпионили по сторонам, пока не нашли то, что ей нужно. Ее рука, спрятанная под плед, гладила стол и что-то сунула в карман, а другая рука протягивалась к доброму хозяину, у которого было большое «еврейское сердце» и который не позволял ей покинуть гетто без укуса. еды, чтобы поесть.

Довольно часто, на пороге гуманности, мужчина советовался со своей женой о том, что подарить хорошей женщине, чтобы она и ее дети, не дай бог, не умерли с голоду; ведь, в конце концов, все евреи были братьями и должны были помочь друг другу в час беды. Таким образом, Крайне вернулся домой с огромными сокровищами. Помимо хлеба, она часто приносила небольшой пакетик сахара, кусок торта *баба*, и на предложенные ей деньги она все еще могла что-нибудь купить на черном рынке. Однако ее проблема заключалась в том, что она не могла дважды побывать в одном и том же месте. Ее должны были депортировать. И если она изменила конец своего рассказа и не упомянула «приглашение на свадьбу», ее приняли значительно менее дружелюбно.

Следовательно, она выбежала из домов, чтобы навестить ее. Вдобавок ко всему, фокусники, в домах которых она проводила ночи со своими детьми, начали беспокоиться, и, наконец, они выразили свои опасения: полиция могла обнаружить их, их продовольственные карточки могли быть заблокированы, и они могли быть депортированы из дома. гетто вместе с Крайне и ее детьми. Единственным оставшимся помощником был г-н Розенберг, ныне зарегистрированный как Адам Нейман. Именно в его руках оказалась Крайне.

Действительно, Адам был готов сделать все, что в его силах, чтобы спасти Крайн и ее детей от депортации. Он не мог представить, как сможет жить без Крайне. Недели и недели его преданность ей расцветала. В своей жизни он не любил никого, кроме Сучку, и Крайне не был исключением, говорил он себе тысячу раз в день. Но он не мог отрицать своей привязанности к ней. Она казалась ему смесью Райзеля и всех других женщин, которые когда-то нравились ему, из которых выросло существо, не похожее ни на Райзеля, ни на кого-либо из остальных. Она была другой, неповторимой. И с уникальной силой она держала его привязанным к себе.

Его преданность смешивалась со смирением и благодарностью. Крайн вернул ему мужественность. Если некоторые женщины когда-то согревали его кровать, Крайн поджег ее. Были моменты борьбы, ее ущемления и укусов, ударов, которые она ему наносила; и были великолепные моменты ее капитуляции, когда она считала своим священным долгом сообщить ему об этом: «На этот раз я делаю это из-за супа, который ты дала Деборе, пусть холера заберет тебя!». . . На этот раз я делаю это для того, чтобы достать мне овощи, пусть ты жаришь в аду. . . Сегодня это стакан молока. . . »

В постели у Крайне было раздвоение личности. Она рыдала и плакала, изливая неслыханные проклятия в своей беспомощности, в своем страхе наказания. Тот, с кем она лежала, был не пророком Илией, а Вельзевулом, самим сатаной. Это он держал ее привязанной к себе своими нечистыми силами. Она оказалась в водовороте греха, и единственным средством ее выживания было подчиниться ему, думая при этом чистые мысли о Фейвише, тем самым позволив своей душе отделиться от тела и улететь, чтобы объединиться с мужем в далекие места.

Поэтому днем ​​она безжалостно отомстила Адаму. Их домашние хозяйства теперь были одними и теми же. Его белье и ее белье больше не различались ни по цвету, ни по качеству. Она заставляла его стирать белье. Она отправила его по делам. Он стоял в очереди за их пайками; он рубил дрова, приносил воду, мыл полы. Она не щадила его никакими проклятиями и швыряла в него все, что попадалось ей в руки. И больше всего ее приводило в ярость то, что ему, казалось, это нравилось, что она часто ловила улыбку на его толстых чувственных губах. Тот факт, что она не могла понять его поведение или причину, по которой он желал ее, усилил ее замешательство и страх в ее сердце.

И на самом деле, даже днем ​​Адам не заметил бы изможденного вида Крайна. Даже днем ​​она была пронизана великолепием ночи. И именно в дневное время она была окружена атмосферой силы, силы и здоровья, которая вернула его к жизни.

Он наслаждался своим здоровьем. Каждое утро и вечер он делал зарядку. Каждый день он выдерживал холодную воду, полностью умываясь. В субботу он нарядился в «белую» рубашку пепельно-серого цвета и свой довоенный костюм, который был помят и сидел на нем, как сумка, и в этой одежде он шествовал перед Крайне, не выходя из комнаты ни на минуту. По будням, после работы, он всегда ждал ее у дверей, пока она не приедет со своим выводком. Для него не было жизни вне круга света Крайна.

Ему стали дороги даже ее дети. Они были эманацией Крайна. Он уважал их и позволял им тоже командовать им. Он, который никогда раньше даже не взглянул на ребенка, теперь по вечерам рассказывал банде длинные истории о собаках, о лесах, охоте и о животных; он описал, как каждое из его убийц умерло. Он научил их делать пращи и стрелять на поражение. Он научил их секретам дзюдо и отправил их тренироваться на улицу, заставляя людей прыгать по скользкой улице, пока он смотрел в окно, хохотал и аплодировал молодым людям за их ловкость. Однажды он даже потратил на них целые *румки*. Он купил шахматы и научил их играть в шахматы; и хотя Крайне пыталась оторвать от него своих детей, они цеплялись за него еще больше. Они подружились с ним и встали на его сторону против Крайна. А так как они считали его членом семьи, они не возражали против его запаха, за что он чувствовал себя вдвойне благодарным.

Крайне ожидала «приглашения на свадьбу» не только потому, что она была женой депортированного мужчины и получала пособие, но и потому, что ожидала наказания за свою греховную жизнь. Однако иногда она говорила себе, что это Фейвиш двигала куда-то небо и землю, чтобы спасти своих детей и себя из этой адской змеиной ямы, называемой гетто. И тот факт, что ее сердце не позволяло ей уйти, наполнил ее такой гнев на себя, что она не могла ничего сделать, кроме как переложить ее на Адама, который был причиной всех трагедий, постигших мир, гетто и других. ее семья.

«Приглашение на свадьбу» Крайна также сильно смутило Адама. Когда она начала спать с женами жонглеров, он большую часть ночи провел за шахматной доской, считая часы до ее возвращения. На рассвете он зажег огонь в печи и обогрел ей комнату. Затем он ушел на работу и весь день, запряженный в повозку с *фекалиями*, он искал в своем разуме средство спасти Крайна от злого указа. Несколько раз ночью их разыскивала полиция. Он защитил их, заверив полицию, что Крайне давно уехал с транспортом. Он с гордостью показал свое *фекалистское*удостоверение личности, как бы в доказательство собственной неприкосновенности и достоверности своих слов.

Проблема заключалась в том, что, хотя его удостоверение личности и его новое имя, Адам Нейман, действительно защищало его от депортации, они, в конце концов, не помогли ему избежать длинной руки *Крипо.*В то же утро, когда Крайн в последний раз спал с семьями жонглеров, когда Адам натягивал свои «жестяные» штаны, жесткий комбинезон, который он развешивал на улице, чтобы проветриться, сам герр Саттер нанес ему визит. Герр Саттер был очень рад его видеть и приветствовал его щедрым *«Шалом алейхем»,*сказав на своем прекрасном идиш: «Наконец-то мы встретились, герр Розенберг».

Адам показал ему свое *фекалистское*удостоверение личности, где черным по белому было написано, что его зовут Адам Нейман. Герр Саттер, просто для удовольствия, выбил карту из руки Адама. В этот самый момент запах плавящегося комбинезона Адама достиг его ноздрей, и он прищурил свой картофельный нос: «Воняет, друг мой». Своим грязным ботинком он раздавил удостоверение личности и пригласил Адама сопровождать его в Красный Дом.

♦ ♦ ♦

Первое, что заметил Адам, войдя в холл Красного дома, - мозаичный пол, напоминающий шахматную доску. Он увидел лестницу, ведущую из подвала и вьющуюся по стенам в галерею наверху. Лестница была декоративной, перила из кованого железа проработаны готическими мотивами, словно филигранная отделка, вытканная по спирали вверх. Адам осмотрел этажи, первый, второй, третий, пока он проследил за дизайном перил до галереи, где он заметил сидящих пять человек. Он проследил их очертания через отверстия в конструкции перил; их шеи, казалось, были отрезаны прямой линией перил. Над ним он увидел пять белых лиц. Были ли это лица отшельников, размышляющих о Боге и Распятом? Судя по всему, прежняя атмосфера зала не проветривалась должным образом; священный трепет все еще царил между стенами бывшего пастыря.

На площадках открывались и закрывались двери. Немцы в форме передвигались вверх и вниз по клетчатому полу, как фигуры на шахматной доске Судьбы. Когда они поднимались или спускались по лестнице, их шпоры слегка щелкали шпорами, они напоминали одного из ангелов на лестнице Иакова, посланников на пружинных ногах, богоподобных бухгалтеров, работающих в небесных конторах за закрытыми дверями, где большие черные книги Судьба была открыта. С первого этажа доносились удары и стоны. Крик раздался как крик *де Профундис*кого - то , кто пытал его собственное тело, чтобы чувствовать себя ближе к Создателю Мира и его распятого Сына.

Наверху открылась дверь, и две пары рук передали исхудавшее обмякшее тело в руки двух еврейских *уберфаллкоманд,*которые, словно по секретному приказу, *подбежали*. В то же время открылась еще одна дверь и оставалась приоткрытой, как разинутый рот, готовый откусить. Из подвала вышли две *уберфалкоманды,*сопровождавшие человека с *синяками*на лице и шишкой на голове. Мужчина побежал наверх, уставившись в открытую дверь, как посетитель, который не хочет заставлять своих хозяев ждать. Тело с ранеными ногами прошло мимо него, когда его тащили вниз.

Как только они вошли в зал, герр Саттер оставил Адама одного посреди шахматной доски, и сзади Адама показались две высокие фигуры в зеленой форме; две ладьи помещают одинокого короля в центр доски в фатальном мате. Сквозь ужасающую тишину, звенящую в его ушах, Адам слышал приглушенное пение людей, страдающих от боли, плач, доносившийся из подвала. К нему подошли еще две ладьи, на этот раз две еврейские *сендер-команды.*Их каменные лица сфинксов не отличались от лиц над зеленой униформой. Они поставили его между собой, и все трое начали подниматься по лестнице. "Сними шляпу!" пришел заказ. В их восхождении была торжественность, как если бы они поднимались по ступеням собора. Все существо Адама отдалось усилию; он, шляпа в руке, впереди; две башни позади. Они достигли галереи, где сидели пять фигур. Адам стал шестым. "Ни слова!" приказал башням, обратив внимание у стены. На то утро число заключенных было полным.

Адам сел на самый край скамейки. В первые несколько минут после его прибытия его замешательство и любопытство не давали ему ничего почувствовать. Но как только он сел, страх схватил его за горло. Он начал глотать, его кадык беспрерывно двигался вверх и вниз под дряблой кожей на его горле. Его соседи по скамейке, казалось, молча передают ему свои страдания. Он катился от тела к телу, как ледяной снежный ком, к которому каждый из них прибавлял свою долю, наконец предлагая его Адаму во всей его ледяной чудовищности. Он вздрогнул, прислушиваясь к стуку металлических колпачков во рту. Он двинулся на своем месте, пытаясь уйти от того места, где его мог охватить страх, но идти было некуда. Невольно, то и дело, он дотрагивался до плеча своего соседа, слегка толкая его. Он заметил, что привел в движение всю скамью. Таким образом, качнулись все шестеро.

Внизу, посреди клетчатого пола, остановился мундир; к галерее поднялось лицо. Таким же образом кардиналы стояли в соборах, обратив лица к Распятому. Имя прозвучало между чистыми белыми стенами; он выстрелил, как пуля, в воздух, попав в первого человека на скамейке. Уже *Uberfallkommandos*лидировали его вниз; место было вакантным, но оставшиеся заключенные не могли оторваться друг от друга. Один из них позволил себе роскошь стона и, слегка подтолкнув Адама, прошептал: «У вас есть что заявить?» Адам боялся повернуть голову или открыть рот. Шепот продолжался: «Мне нечего бояться. У меня в городе спрятано немного драгоценностей. Так что я куплю на это свою жизнь ».

Движение вверх и вниз по лестнице не прекращалось. Также не было звука ударов и криков, открытия и закрытия дверей, выброса одного тела и проглатывания другого. Адам ясно представлял себе процедуру: один новый заключенный, один старый. Его сердце, казалось, подпрыгнуло к его рту. Шепот рядом с ним прекратился. Он слегка подтолкнул соседа локтем, еле шевеля губами. «А те, у кого ничего нет?»

«Плохо», - последовал ответ.

Снизу прозвучало имя, и другой сосед на скамейке поднялся на ноги. Остальные четверо не отходили друг от друга. Две *зондеркоманды поместили*вызванного мужчину между собой. Сосед Адама что-то бормотал мужчине с другой стороны. Адам насторожился; каждое слово, произнесенное его соседом, могло иметь большое значение, но он ничего не слышал. Его сердце колотилось слишком громко, эхом отдаваясь во рту, в ушах, в висках. Он почувствовал, как его лысая голова уколола его волосами, которые он давно потерял. Он хотел провести рукой по макушке, чтобы сгладить странный укол, но боялся пошевелить конечностью.

Весь зал походил на точные часы. Через равные промежутки времени фигура на скамейке подпрыгивала, как кукла на пружине. Ровно в этот момент дверь открывалась, но вместо кукушки выпадало тело с хромыми ногами, за которым на лестнице начинались тиканья ступенек.

Адам остался один на скамейке. Страх не покидал его, но застыл. Его ум начал работать: купить его жизнь ценностями, спрятанными в городе ... дать адреса ... точные места. Жизнь была прекрасна. *Фекалия*была ароматом и золотом. И вдруг неожиданно ему в голову пришел Самуил. Если Адам снова начал дрожать, то не от страха, а от напряжения. Ему показалось, что Самуил сидит рядом с ним, занимая всю длину пустой скамейки. Адаму хотелось ему улыбнуться, но его рот был забит металлическими зубными колпачками, а язык был сухим и парализованным. По его лысине струился пот. Он видел подвал в доме Самуила на улице Нарутовича в городе; он увидел шкатулку с драгоценностями, которую он, Адам, закопал собственными руками. Он едва мог дождаться, когда его позовут.

Он слышал свое имя. На мгновение он остался сидеть. Они имели в виду его? Он хотел достать удостоверение личности, чтобы доказать, что он не Розенберг, а Нейман. Но у него больше не было удостоверения личности. Герр Саттер затоптал его. Он не был ни Розенбергом, ни Нейманом. Он был никем. Он знал только, что кто-то вскочил на ноги, как кукла на пружине, кто-то встал между двумя *зондеркоммартдо и*спустился по лестнице к открытой двери. Это не он переступил порог темной комнаты. Белая тряпка заткнула рот не ему. Тогда кто же получил удар ботинком по ребрам, около своего сердца, и чье тело произвело такой шум? Что-то растиралось и раздавливалось, как сухие листья. Молния ударила во тьму, и загорелся огонь. Внутри, глубоко внутри, все начало гореть. С этой глубины кто-то ревел через миллион громкоговорителей: «У меня есть! ... У меня есть!" Тревожная сирена в огненной ночи, крик, на который никто не обратил внимания.

Он не чувствовал, что его тащат вниз по лестнице. Он никогда не выходил из того подвала, который горел пламенем в темноте. Ему казалось, что он стонет сотней ртов; что он был разрезан на сотню частей, каждая из которых кричала друг другу, жалуясь перед другой. Он один был раненой толпой, зажатой между стенами подвала, а бушующий внутри него огонь пожирал тьму всего пространства.

На рассвете кто-то вылил на него ведро воды. Он пришел в себя и увидел лицо Сондермена, освещенное тусклым светом из зарешеченного заснеженного окна. «Готовься к допросу!» - приказал *Сондермен*, бросая ему тряпку. Адам хотел утереться им, но руки не слушались. Лень сильно прижимала веки. Он не мог их поднять. Кто-то опустился рядом с ним на колени и тщательно вытер лицо мокрой тряпкой. Он с трудом открыл глаза, ничего не видя. Шепот проник в его разум. С ним разговаривал его сосед по скамейке.

«Бедняжка, тебе хуже, чем мне. . . Ты знаешь почему? Потому что сразу после первого пинка я начал все подпевать. Наверное, меня скоро выпустят. Может быть, вы хотите сообщить своей семье? » Адам хотел ответить, но его рот заболел. Мужчина отошел от него. Другие заключенные из своих углов назвали мужчине свои имена и адреса. Он медленно повторил их, спрашивая: «А что мне сказать?»

«С уважением», - ответил кто-то. «Что я жив и невредим», - простонал другой. «Что они должны забрать меня отсюда, потому что я больше не могу этого терпеть. . . «Пусть они двигают небо и землю», - воскликнул третий. Четвертый прошептал: «Пусть принесет. . . позволь ей разрезать матрас ».

Жизнерадостный мужчина возмутился: «Теперь вы опомнились».

Из-за угла доносился скрежет умирающего. Возле окошечка двое мужчин читали утреннюю молитву. К ним присоединился жизнерадостный мужчина. Он поправил кепку, повернулся к стене и стал раскачиваться взад и вперед, при каждом движении издавая стон боли. Остальные заключенные стонали вместе с ним, прижимая свои израненные тела ближе друг к другу. Они составили список сил, оставшихся в их телах, каждый спрашивал свои конечности, переживут ли они день пыток, которые их ожидали.

Открылась дверь. Человек, который лежал, как обрубок, вскочил на ноги при звуке своего имени и вышел из подвала. Время начинало двигаться с открыванием и закрыванием двери. Некоторые люди, вызванные на допрос, были, как и накануне, Адам, вернулись в обморок. Остальные заползли одни, на четвереньках. Остальные втиснулись внутрь, согнулись пополам, держась за свои животы, как будто вот-вот лишатся кишечника. Оставшиеся ждать в подвале проводили время, ведя учет, кто ушел, а кто вернулся, чья очередь была следующей. Некоторые из призванных вообще не вернулись. Их отсутствие врезалось в умы других с вопросом: «Свободен или мертв?» Они не переставали анализировать, каждый свою судьбу и свои шансы на выживание. Бодрого человека вызвали давным-давно, и он не вернулся. Адам уважал его за мудрость. Целый день, ожидая своей очереди, Адам размышлял о том, что некоторые люди, которые казались мелкими пустяками, имели силу не терять голову в самые опасные моменты.

Как только дневной свет начал выходить из подвала, бодрый мужчина вернулся. У него были странно изуродованные конечности. *Зондеркоманды*растянули его на пол и вылили ведро воды на него. Он открыл пару налитых кровью глаз и рот, из которого боком сочилась кровь. Казалось, он улыбнулся. Пленные окружили его. Они смотрели на него с презрением, с обидой и с горькой жалостью к себе. Один из них вытер лицо раненого мокрой тряпкой, пытаясь смыть кровь изо рта. Мужчина лизнул языком свой красный рот. Было невозможно понять, что он бормотал. Кто-то приложил ухо ко рту и перевел другим язык боли. «Он говорит, что надо его пожалеть ...». Он говорит, что у него есть жена и дети. . . Он говорит, что они не должны забывать его ». Вызвали Адама Розенберга. Пол подвала преобразовали в трамплин. Адам вскочил.

Комната, в которую его теперь вели, была затемнена. Большие широкие окна, увешанные снаружи заснеженными гирляндами виноградных лоз, не пропускали умирающий дневной свет. Три больших стола, освещенных тремя настольными лампами, соединенные по углам, смотрели на Адама, как открытые плоскогубцы, нацеленные на шляпку гвоздя. За средним столом сидел широкоплечий, похожий на карлика верховный жрец *крипо,*герр Саттер. Адам низко поклонился, вздохнув с облегчением. Лучше иметь дело с Саттером, чем с кем-то, чей характер еще предстоит выяснить. По крайней мере, Саттер не применял физического насилия.

Плоское лягушачье лицо герра Саттера с округлым картофельным носом было похоронено в стопке бумаг. Пара гороховидных глаз смотрела на Адама, казалось, не узнавая его. Этот взгляд снова активировал всю боль в израненном теле Адама, и его храбрость исчезла. Когда его ноги начали подкоситься, в комнату вошел еще один немец. У него было веселое человеческое лицо. Улыбаясь Адаму, как старый друг, он сел за стол рядом и жестом руки пригласил Адама подойти. Вежливый мужчина был в штатском и обратился к Адаму на резонансном идише с легким намеком на немецкий акцент.

«Добрый вечер, хорошего года, герр Розенберг!» - тепло сказал он. «Нам было сложно найти вас. Какая у вас была идея сменить имя? Всю свою жизнь вы работали, чтобы прославить имя Розенберга, и вдруг выбросили его. Это совсем не благородно или почетно. . . простите за замечание. Мне всегда не терпелось познакомиться с вами. В Литцманштадте, тогда еще называвшемся Лодзи, не было промышленника, который не произносил бы ваше имя с трепетом. Итак, сегодня у меня наконец есть возможность представиться вам, герр Розенберг. Ты знаешь кто я? Вы не делаете? Конечно, откуда ты мог знать? Знаменитости знают все, а сами никого не знают ». Однако вежливый человек забыл представиться, изменив тему своего монолога. «А как вам жизнь в гетто? Все в порядке? Американская валюта или, как ее называют в гетто, «лапша», «жесткая» и «мягкая» хоть немного помогают приспособиться к ситуации? А между тобой и мной, сколько тебе осталось, друг мой? »

"Ничего такого!" - разразился Адам по-немецки. «Я *фекалист»*

"Вы - *гонорар ...*" дружелюбный человек засмеялся. «Ты гордишься этим. Совершенно верно. Благородная профессия. . . *плата. .. fecalistl »*Немец попытался *сдержать*смех. «Ja *wohl. . .*и это также важная социальная функция, помимо дополнительных пайков. У вас есть возможность сэкономить или, возможно, даже купить несколько дополнительных «лапш». Сколько сегодня стоит стакан молока на черном рынке? Почему вы так смотрите на меня, мистер Розенберг? Разве вы не понимаете, о чем я говорю? Разве вы не знаете, что такое «лапша»? Вы знаете, что такое «жесткий» и «мягкий»? Нет? Применительно к валюте вы придерживаетесь довоенной терминологии? Я вижу, вы не слишком много вмешиваетесь в дела гетто. А как поживает мадам, ваша жена и дети? "

Адам был полностью сбит с толку. «У меня нет жены или детей. . . Герр. .. »

"Покойный? Мне очень жаль это слышать. Я уверен, что не от голода.

Адам приложил огромные усилия, чтобы собрать оставшуюся часть мужества. «У меня есть украшения! Спрятан в городе ... в подвале. .. Я готов показать тебе ... У меня есть. . . »

Вежливый мужчина моргнул Саттеру, в то время как оба немца наклонились вперед. «Я очень рад это слышать», - сказал немец теперь деловым тоном. «Какой ценности более или менее? Конечно, сразу вспомнить нельзя. Не беспокойтесь об этой маленькой проблеме, ее очень легко решить. Мы знаем, что вы честный человек и не лжете никакой лжи, которую можно легко обнаружить ». Он подошел к столу со своим стулом и стал очень серьезным. «Мы полностью вам доверяем, как видите. Мы относимся к вам с уважением. Вы часто посещаете такие знатные круги, сливки еврейства. Вы окажете нам услугу, и мы можем оказать вам услугу, как говорят в гетто: «Одна рука моет другую». Совершенно верно. Что касается ваших денег, то они спрятаны, никому не нужны, даже вам; даже если бы он у вас был в гетто, он был бы равен грязи. *Румки*- золото гетто, лучшая валюта. А для нас это могло бы помочь решить некоторые сложные военные задачи. Понимаешь? В конце концов, вы умный человек. У нас есть прекрасное предложение. Вы переживете войну под нашей защитой, и вам не будет хватать *румки.*Но, как мы уже сказали, давайте действовать планомерно. Сначала ваш вклад. Мы совершим небольшую экскурсию в город, герр Розенберг. Какое у вас красивое германское имя! » Оба немца встали, приветствуя друг друга словами «Хайль Гитлер!» Адам поклонился. Две *зондеркоманды*повели его в подвал.

Адама тошнило от запаха, который встретил его внизу, от вида изможденных тел и выпученных глаз, наполненных безумием страха. Те, кто был в состоянии сделать это, приблизились к Адаму, засыпая его вопросами, любопытными, завистливыми и обнадеживающими. «Они везут меня в город», - оборвал их Адам и закрыл лицо руками. Он отказался сказать другое слово. У него было кое-что поважнее. Ему абсолютно необходимо было успокоить рев, ревущий в его голове.

У него было много времени для этого. Целая беспокойная, жаркая ночь. Только теперь он ясно увидел, что происходило в том подвале. Воздух был горячим и резким, как открытая рана. Звука погремушки умирающего больше не было. Его угол был пуст и страшнее, чем раньше. Мысли запутались в разуме Адама. Он хотел очистить себя от них. Он прибыл сюда, чтобы узнать правду и сделать выводы. Здесь, в этом подвале, можно было пережить смерть еще живым. Пытки, которые он пережил, означали жизнь, умирая - по частям, отвратительно. Но он не сдавался. Он изгнал смерть из своей жизни. Пока ему было дано жить, он будет поддерживать порядок и восстанавливать правильную последовательность. Жизнь и смерть не должны быть одновременными. Он защитит свою жизнь от ужасной боли, даже освободится от той боли, которую может причинить Райзель. Ему больше нечему было учиться. Здесь, в этом подвале, он наконец стал зрелым и мудрым. Даже его привязанность к Крайне была ложной, извращенной. Он должен был посмеяться над своим безумием. Какую душевную боль доставило ему «приглашение на свадьбу»! Как это бессмысленно!

На следующее утро его вызвали и вывели на улицу, где его ждал черный лимузин. Он сидел зажатым между двумя немцами в форме, как между двумя каменными колоннами; Оба они носили эмблему Смертельной Головы. Лимузин обогнул церковь, проехав через ворота на мосту. Затем был участок улицы Згерской с колючей проволокой по обеим сторонам, пока перед ними не показалась площадь Свободы. Без статуи Костюшко Место выглядело незнакомым. Пока лимузин проезжал вперед, Адам смутно вспомнил свой собственный автомобиль, своего шофера Мэриан. На мгновение у него возникла иллюзия, что он идет на свою фабрику. Это длилось недолго. Они проезжали незнакомый город. Адам узнавал улицы только по направлению, в котором ехал. Сами улицы казались шире. Их стены были увешаны знаменами со свастикой, и они были почти пусты. На него напал страх. Он хотел как можно скорее вернуться в гетто.

На улице Нарутовича, где должен был стоять дом Самуэля, Адам совершенно растерялся. Ему потребовалось некоторое время, прежде чем он смог

узнают знакомые ворота. Горничная в черном платье и белом фартуке приветствовала посетителей фразой «Хайль Гитлер!». Из салона, где когда-то танцевал Адам во время новогоднего бала, появилась белокурая женщина, «Хайль Гитлер!» приветствие на ее губах. Эсэсовцы обменялись с ней несколькими вежливыми словами, в то время как Адам не мог отвести глаз от ее халата, который показался ему чем-то знакомым.

Путь в подвал был свободен. Когда Адам спустился, его охватило ужасное чувство. Здесь он пролежал долгие недели со своей Сучкой. Здесь он полностью превратился из свободного человека в пойманное в ловушку животное.

Ему дали лопату. *«Arheiten,*10 *секунд*!» пришел заказ.

Его оставили одного в подвале. Некоторое время он стоял неподвижно, чтобы успокоить суматоху в своей голове. С усилием он собрался с мыслями, напрягая память. Он начал считать шаги. Туннель, который он пытался построить, должен был быть где-то у стены и в десяти футах левее. . . Он поставил ногу на лопату и вскрикнул. Боль в спине, казалось, разрубила его пополам. Земля была твердой. Он стиснул зубы. Слезы беспомощности затуманили его глаза. Но нужно было сделать последнее усилие. Он скинул куртку, снял пропитанную потом рубашку и снова нацелил лопату на упорную землю. Стоная, он боролся с этим, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться, и ждал, пока боль в спине утихнет.

В один из таких моментов он заметил Войцеха, бывшего слугу Самуила, через маленькое окошко подвала. Войцех притворился, что рубит дрова, но на самом деле смотрел в подвал. Адам повернулся к нему спиной. Его охватила паника. Может быть, Войцех украл спрятанное сокровище Самуила? Адама больше не беспокоила его боль. Он закопал его, засыпав грудой земли, которую освободил от земной брони. Пришел эсэсовец, чтобы сообщить ему, что прошел час, а у него осталось только пятнадцать минут.

Адам отбросил лопату и растянулся на земле. Как только верхний слой был удален, почва стала более покорной. Он копал руками, ногтями, выкидывая пригоршни земли, как крот. Его руки тянулись все глубже и глубже. Он их больше не видел и не чувствовал. Они стали граблями его отчаяния. Но с ними он многого не добился. Он снова схватился за лопату и снова упал на четвереньки. Эсэсовец объявил, что прошло еще полчаса; он предупредил, и он был в ярости, затем дал Адаму еще пять минут. Адам рыдал, заикался, копал обеими руками всем телом - пока его ногти, наконец, не царапались о твердый предмет: шкатулку с драгоценностями Сэмюэля. Он лежал, закинув ногти на сокровище, его грязное морщинистое лицо закрыло дыру, позволяя капать слезам. "У меня есть это! У меня есть это!" Его тело судорожно тряслось.

Эсэсовцы нашли его растянутым на земле. Они схватили его за воротник и подняли в воздух. Он протянул им коробку, глядя на них сквозь слезы со смирением и торжеством.

На обратном пути он чувствовал себя ребенком после долгого сеанса плача, ребенком, который успешно кого-то обманул. Его взгляд скользил по незнакомым улицам. Где-то в одном из них, в стене на своей фабрике, он закопал полную сигарную коробку с ценностями, а в стене своего белого маленького «дворца» - другую. Пустые чужие улицы не знали об этом и никогда не узнают. Герр Саттер и его коллеги не знали и никогда не узнают. Только Самуил ... только он знал. Но Самуил был идиотом, а у Самуила в подвале спрятано радио. Самуила можно было предупредить. Против Самуэля был вынесен приговор не немцами, а им, Адамом Розенбергом.

В Красном Доме двое охранников отпустили его, приказав явиться в комнату № 4. Он взбежал по лестнице, как если бы они были в его собственном доме. Сам герр Саттер ждал его за своим столом. Он не упомянул шкатулку с драгоценностями, но сразу сделал предложение: «Ты будешь постоянным доверенным лицом *Крипо».*Г-н Саттер говорил очень серьезно. «У вас будут все привилегии, письмо о защите, удостоверение личности. Но сначала мы должны увидеть, чего вы можете достичь. Нам нужны имена, адреса и уверенность в том, что вы не заставите нас искать напрасно. Сюда приходите каждое утро. Теперь ты можешь идти домой. Удачной субботы ».

Был поздний субботний день, и по улицам шли только депортированные со своими рюкзаками и мешками. Адам поспешил в Крайне. В тот момент, когда он освободился, он забыл о своих мыслях в подвале *Крипо.*Его снова потянуло к ней. Он хотел рассказать ей о своих испытаниях, чтобы пробудить в ней сострадание. Когда он поспешил увидеть ее, он увидел себя в постели, а Крайн ухаживает за ним. Он ясно слышал ее крик, он чувствовал ее горячий сердитый взгляд, в то же время ощущая прикосновение ее рук, которые говорили на совершенно другом языке. Бежать к ней было чудесно. Это заставило его почувствовать себя праздничным, ликующим. Он пообещал себе вознаградить ее за все. Он не позволил бы ей и ее выводку голодать. Он оденет ее, купит ей новые туфли. Он получит новое жилье в Марысине. У них не было недостатка в угле и дровах. Он брал слугу, который делал бы грязную работу, так что Крайне нужно было только готовить и спать с ним по ночам. Завтра он будет ходатайствовать перед Саттером, чтобы освободить ее из депортации.

♦ ♦ ♦

Порог избы на улице Пайсковой был засыпан снегом. Внутри комнаты были обысканы; мебель и тряпки перевернуты, плита остыла. Адам выбежал на улицу. Он бродил по улице часами. Стало темно. Приближался комендантский час. Ему казалось, что он ждал прибытия Крайне, что скоро она появится на углу со своим выводком. Он не мог поверить, что она действительно ушла. Без нее все казалось пустым. Борьба и упорное цепляние за жизнь потеряли всякий смысл. Нет, он не испытывал такой печали, как по поводу потери Сучки или Ядвиги. Это было совсем другое ощущение. Это имело какое-то отношение к религиозности, которую пробудила в нем жизнь с Крайне. Исчезновение Крайна подорвало основы самой жизни. Мир не мог существовать без Крайне.

Поздно ночью он вошел в дом, чтобы подготовиться к выходу, явиться в тюрьму и разыскать Крайне и ее детей, которые составляли его семью. Но его рюкзака не было. Также пропал кусок хлеба, который у него все еще был, когда за ним пришел Саттер. Крайне был таким типом. Он не завидовал ей. Напротив, он заставил его скучать по ней еще больше, со всеми ее прелестями. Это даже облегчило бремя на его сердце. Он лег спать в своей одежде. Завтра встанет, умывается холодной водой и уезжает к месту собрания.

На следующий день еврейский осведомитель, работавший на *Крипо,*приехал за ним на первый рабочий день. Адам не слышал ни слова из того, что сказал его спутник. Он не мог понять, почему он шел в сторону Красного дома, когда его сердце скакало к тюрьме гетто. Но как только он переступил порог Дома *Крипо*и увидел клетчатый пол и скамейку в галерее, на которой сидели заключенные, его разум начал работать в противоположном направлении. Его глаза, его уши, все его чувства помнили страх смерти, который уничтожил все остальное. Уход Крайна перестал его беспокоить. Он увидел в этом руку Судьбы. Привязанность была разрушительной. Исчезновение Крайна было предзнаменованием, которое указывало на то, что его дорога расчищена для нового начала.

У герра Саттера не было инструкций для Адама. Вместо этого еврейский осведомитель представил Адама своим коллегам. Они рассказали Адаму о совершенно новом аспекте гетто. Он внимательно слушал. Было важно, чтобы он досконально знал свою сферу деятельности. Однако в практических или тактических советах он не нуждался. Неважно. Он был неплохим стратегом, систематическим мыслителем. Он решил разделить свою работу на две системы. Один из них состоял бы в том, чтобы вспомнить имена еврейских капиталистов Лодзи, которых он знал до войны, и выяснить, были ли они в гетто. Другой список будет состоять из имен тех, чьи скрытые сокровища он мог бы обнаружить в ходе исследования. Он также решил составить третий, личный небольшой список тех, с кем у него были частные счета.

Таким образом Адам стал осведомителем *крипо*и прекрасным вежливым джентльменом. Хороший слушатель, он живо интересовался жизнью людей, с которыми он познакомился и которые с радостью открыли ему свои сердца. Через некоторое время у него были не только списки, но и личная картотека с именами сотен жителей гетто, за которыми он, как опытный шпион, проследил, а потом решал их судьбу. Это была захватывающая игра. Он настолько увлекся этим, что, если бы его разбудили посреди ночи и спросили об имени в его файлах, он мог бы петь всю биографию этого человека вместе с финансовой информацией о прошлом этого человека, а также о его прошлом. текущее положение дел и в довершение всего его нынешний точный адрес.

Получив первую зарплату и защитное письмо, Адам отремонтировал свои комнаты на улице Пяскова и установил хорошую печь. Он не отказался от плана переехать в Марысин, но пока ему нужен был этот уголок, еще теплый от дыхания дома. Какое-то время он не мог решить, ставить вывеску перед дверью или нет. Рекламирование себя как человека *крипо*имело свою отрицательную сторону. Это может отпугнуть от него людей, а также поставить под угрозу его будущее после войны. Однако положительные стороны перевесили отрицательные. Он избежал неприятностей ночных обысков и случайных визитов еврейской полиции. В конце концов, улица Пяскова была тупиком, где жили только нищие подонки самого низшего порядка. Он не собирался работать с ними или дружить с ними. Таким образом, на его двери появилась табличка с надписью «Адам Розенберг, Vert *raunngsmann der Kripo».*Его забавляло смотреть, как соседи проносятся мимо его двери, как будто сам Вельзевул жил за дверью.

Адам уезжал в Красный Дом рано утром после тренировки и плотного завтрака, в который входило несколько чашек настоящего кофе. Ему нравилась прогулка на свежем воздухе по еще тихим улицам; он наслаждался ежедневным напряжением, которое испытывал при входе в Красный дом, опасным и зловещим для всего гетто, открытым и знакомым ему. Он впитал устрашающую атмосферу, пугающую торжественность ритма времени, ритм которого был совершенно другим, чем где-либо еще в гетто. Если он иногда и чувствовал некоторую нервозность при входе в здание, это было не смешано со страхом, а скорее с чем-то похожим на возбуждение, которое он испытал в Испании во время боя быков. Приглушенный рев боли, вырывающийся из-под закрытых дверей подвала, напоминал рев раненых быков, хотя он прекрасно понимал, что здесь идет резня, а не драка. Иногда, охваченный иррациональным побуждением, он бросался в подвал, чтобы посмотреть, прислушаться и поглотить «крик крови» и опьянел от него. Он не чувствовал отвращения или отвращения, но испытывал возбуждение, испытываемое мужчиной, наблюдающим, как женщина медленно раздевается. Поскольку он чувствовал такое удовольствие в течение нескольких минут, которые он провел внизу, он был также благодарен полуубитым мужчинам. Он говорил с ними добрые слова, с любопытством осматривая их раны. Он тайно предложил им облатки, чтобы успокоить их боль, как будто он тоже был одним из них и пробрался, чтобы помочь им. Он закатил глаза вверх, утешая их: «Бог милосерден».

Он уже был в дружеских отношениях с герром Шмидтом, вежливым немцем, допрашивавшим его, а также с герром Саттером и высокими эсэсовцами в форме. Единственный, чей вид он не мог вынести, был *штурмтруппер*, заботившийся об огромной шпионской собаке. Немцы *Крипо*в целом были образованной массой. Они вовлекали Адама в разговоры, не имевшие ничего общего с его работой. Они обсуждали «философию» или «религию» или евреев в целом. Среди них был один неплохой шахматист, которого Адам любил переигрывать почти до конца, когда позволял ему выигрывать или, в приступе самолюбия, по крайней мере ставил его в тупик.

Что касается еврейских проблем и статистики, немцы были информированы гораздо лучше, чем Адам, не говоря уже о том, что они говорили на идиш лучше, чем он. Они исправляли языковые ошибки Адама, пока он смеялся вместе с ними. Что касается их мнения о самих евреях, он не только согласился с ними, но и представил им свои собственные умные аргументы. Г-н Саттер однажды даже заметил: «Вы говорите так, как будто вы не еврей».

Адам ответил: «Конечно, я не еврей. Я никогда не был. В конце концов, что значит быть евреем? Они не нация. У них даже нет своего языка или страны. Религия? Я не религиозен, как и большинство из них. У еврея даже нет определения, герр Саттер. Поэтому я считаю, что евреем может быть только тот, кто хочет им быть. Я не хочу ».

Саттер почесал картофельный нос и не согласился с ним: «Эх, перестань. Евреи - это порода. У всех евреев одна и та же кровь. Могли бы вы откачать еврейскую кровь из своих вен? Кровь определяет характер, идиот. Дешевая кровь, дешевый персонаж, интриган, лгун, мошенник, вор, чертовски умный и все же болван ».

Адам сделал вид, что глубоко задумался. Он знал, как далеко он может зайти в своей искренности с ними. «Возможно, герр Саттер. Но это факт, что я не хочу быть евреем ».

Это вызвало улыбку на лягушачьем лице Саттера. «Спуститесь в подвал и спросите их, хотят ли они быть евреями. Если бы вопрос стоял в желании или нежелании, в наши дни не было бы евреев. Но поскольку это вопрос крови, они должны гнить. Эх, а почему ты корчишь лицо? Я не про тебя. Вы ведь нам помогаете? Вот почему мне тебя жаль. Но какой у тебя выбор? Можете ли вы вылезти из собственной шкуры? »

Помимо интеллектуальных бесед и шнапса, которыми поделились с немцами, Адам имел возможность встретиться со своими коллегами, еврейскими *доверенными лицами,*которые работали на *Крипо.*Среди них были остроумные и веселые ребята, которые ни о чем не думали, кроме как прожить свои дни. А еще были мудрые и серьезные люди, считавшие себя хорошими евреями, даже религиозными. Они хвастались своими добрыми делами. На каждого еврея, которого они осудили, они помогали двум другим. Они беспокоились о гетто и чувствовали себя ответственными за него. Адам с удовольствием проводил время как с веселыми и беззаботными, так и с серьезными и ответственными. Но с серьезными он чувствовал себя лучше. Они с уважением относились к его образованию, к той роли, которую он играл перед войной, к его знанию польского и немецкого языков, что доказывало, что он был человеком света. Чтобы доставить им удовольствие, Адам без всяких усилий скопировал их еврейский патриотизм и всякий раз упоминал имя Бога. Они часто приглашали его в свои комфортабельные дома, принимая его с уважением и хорошей едой. Среди них он также нашел несколько жалких шахматистов, с которыми усердно сидел за шахматной доской. Остальные почтительно *киббиты,*зевая, когда они досконально осознали, какую хорошую голову несет Адам на своих плечах.

Игра в шахматы стала одним из важнейших занятий Адама. После того, как он освоился в своей новой профессии, у него появилось много свободного времени, которое он не хотел тратить только на женщин и криминальные романы. Он хотел сохранить остроту своего ума. Он просканировал гетто в поисках хороших партнеров, и в поисках нескольких *румки*ему часто удавалось стать нищим с острым умом. В основном он играл с ними в их темных холодных логовищах, чтобы скрыть, кто он такой. На его нынешнем уровне жизненного опыта - хотя он все еще чрезмерно скрупулезно относился к своей личной чистоте - он развил терпимость к грязи и навозу. Чистый угол стола - все, что ему нужно.

В общем, работа Адама в *Крипо*стимулировала его интеллект. Он философствовал о жизни, о человеческой природе и о себе самом. Ему казалось, что метаморфоза его характера, начавшаяся с началом войны, теперь достигла своей кульминации. Теперь он был другим человеком, более зрелым, более полным.

Поздно ночью над спящим гетто раздался вой сирен. Тревога о воздушном налете - частое явление в последнее время. Адам лежал в своей кровати, ожидая услышать рев самолетов. Хотя этого не произошло, он не смог снова заснуть. Последовательность бессмысленных образов, ярких и сказочных, запуталась в его голове. Утром он встал усталым, но очнулся, вскочил с постели и подошел к окну. На подоконнике стояла банка с водой; две рыбки внутри нежились в солнечных лучах. Вчера Адам получил рыбу из Шульца, в *Volksdeutsche,*чья работа в качестве стукача и шпиона *диплом*дворника был мыть пятна крови от лестницы и клетчатого пола Красного дома. Шульц однажды рассказал Адаму о рыбе, которую он разводил. Это пробудило в Адаме тоску по тропическому аквариуму, который был у него в офисе до войны. Ему удалось уговорить Шульца продать ему двух рыбок не менее чем за тридцать *рейхсмарок.*

Адам окропил банку водой с несколькими панировочными сухарями и зажег плиту. Он наполнил ванну водой и начал тренироваться. Затем, не колеблясь ни секунды, он погрузился в холодную воду ванны. Вода проникла в его горячую кожу, разбудив каждую клетку. Когда он вышел из ванны, он был как всегда свеж, если не считать усталых горящих глаз. Он надел новое нижнее белье, которое купил у *Джуда*из Люксембурга. Его белье снова приняло довоенный цвет; как и его коллеги, он отдал его

Прачечная гетто, где к ней относились так же бережно, как и к прачечной немецких солдат. Он поспешил на свой новый костюм, который купил у *Джуда,*врача из Чехословакии, и сел завтракать. Его аппетит был не так хорош, как обычно, но он был довольно доволен. Ему приходилось следить за своим капризным животом, который, несмотря на упражнения, снова начал выпирать. Он встал, надел пальто с меховой подкладкой, которое купил у *Джуда*из Гамбурга, и, прежде чем выйти из комнаты, снова взглянул на рыбу в банке, обеспокоенный тем, что они съели слишком много и заставили себя заболеть. Он хотел, чтобы они были здоровыми и жили долго.

Снаружи его встретило яркое зимнее утро. Было еще рано, но дни были уже длинными и солнце стояло высоко над горизонтом. Улицы были засыпаны свежим нетронутым снегом. Адам смотрел на него через темные солнцезащитные очки - единственный объект, унаследованный им от жены Ядвиги. В последнее время он редко расставался с ними в любую погоду. Они не только защищали его глаза, но и, казалось, прикрывали все его лицо, как маску.

Приятно было первым нарушить гладкость снега ступеньками своих резиновых сапог, купленных им у *Джуда*из Берлина. Его глаза больше не горели. Как любопытные белки, они носились по улице, которая через очки казалась зеленовато-яркой и очаровательной. Он мог видеть всю улицу Хокель-стрит до моста, который был похож на челюсть цвета морской волны фантастического крокодила. Он пристально посмотрел на нее. Для глаз было здорово смотреть вдаль. Внезапно он заметил на вершине моста черную тень, напоминающую огромную птицу. Ему пришлось снять очки, чтобы видеть более отчетливо. Тень выглядела как одно распростертое крыло, которое нырнуло в воздух и исчезло. Возможно ли, что его зрение ослабло, из-за чего он увидел черные пятна? Его удовольствие было испорчено. Он начал беспокоиться о своих глазах и о своем здоровье в целом.

Улица заполнилась людьми. Закутанные геттоники с их звенящими флягами вываливались из ворот, спотыкаясь по свежему снегу. Адам поспешил за ворота дома, в котором когда-то жил. Здесь он иногда замечал Самуила, или его дочерей, или Райзеля; они так и не узнали его в очках и иностранной одежде. Возле моста еврейский полицейский приказывал людям быстро переходить дорогу, не останавливаясь, чтобы не смотреть вниз. Адам, однако, посмотрел вниз и увидел «птицу», лежащую под мостом: тело молодой женщины, ее раскинутое пальто, тонкое платье приподнялось, обнажив пару стройных ног. Ее две руки были протянуты по снегу, как будто они пытались обнять землю. Рядом стоял жандарм, приставив дуло пистолета к мосту. Люди побежали, Адам за ними. Довольный, он сунул руки в карманы. С его глазами все было в порядке. На другой стороне моста он наткнулся на знакомую *зондеркоманду*. «Что случилось, товарищ?» - спросил он.

Полицейский пожал плечами: «Чешка».

"Слетел?"

«Да, шестой случай. В *Judes*влюбился с мостом «.

Адам похлопал *отправителя*по плечу. «Им следует запретить это делать», - полушутя, полусерьезно заметил он. «Самоубийство - это частное дело, а не публичное выступление».

В Красном доме герр Саттер и герр Шмидт были заняты. Из комнаты *№4 доносились*громкие разговоры на немецком языке. Внизу, на клетчатом полу, *прогуливался штурмтрупер*со своей собакой. Движение по лестнице было нормальным. Адам вошел на кухню, подошел к окну и уставился в сад. Сегодня он был угрюм и сентиментален. Его поразила красота природы. Он тосковал по горам, по лыжам, по свободе. Он немного пофилософствовал и пришел к выводу, что в конце концов он был пленником, что его жизнь уже пошла на убыль с точки зрения лет и что каждый великолепный день, который прошел неосознанно, никогда не вернется.

Преодолевая жалость к себе, он налил себе чашку кофе и вдохнул ее аромат. Он вспомнил, что во время срабатывания будильника ночью он был разочарован тем, что не услышал рев самолетов. Да, он хотел, чтобы война закончилась поскорее, но не раньше, чем для него наступит подходящий момент. В полусонном состоянии после срабатывания будильника ему приснилось видение. Самолеты бросали газовые бомбы, и все евреи и немцы, фактически, все люди в мире были уничтожены. Он единственный выжил, чтобы бродить по миру. Он хотел начать радоваться жизни, но из леса появился голодный тощий волк. У Адама не было пистолета, а Сучка был мертв. Волк расстегнул молнию на животе, и кто-то, похожий на Миетека, вышел из него. Он упал Адаму на шею, пока Адам пытался решить, хочет ли молодой человек обнять его или задушить. Неожиданно его разум, который так долго был свободен от мыслей о сыне, снова стал обременен им без всякой видимой причины. Адам все еще не мог понять самого себя.

*Вошел*еврей- *крипо*и налил себе чашку кофе. Он повернулся к Адаму: «Они дерутся наверху из-за мешка золотых часов. *Kripo*хочет для себя, и Biebow хочет для себя. Наверное, придется подождать здесь до обеда. Вы слышали, что поезда перестали ходить? »

Адам пожал плечами. «Я не езжу на поезде».

«Эвакуация, вероятно, остановится ... временно».

«Может, война подходит к концу? Их бьют ».

«Эх, о чем ты говоришь? Это тиф. Они боятся этого больше, чем облизывания спереди ».

"Неужели действительно эпидемия?"

«Вы только что упали с луны? Разве ты не знаешь, что происходит? » Адам, охваченный страхом, перестал пить кофе. Он решил еще больше позаботиться о личной гигиене. Еврей *Крипо*продолжил: «В настоящее время тюрьма настолько переполнена, что вы не можете бросить в нее булавку. Если добавить сегодняшний контингент, он станет опасно переполненным. Говорю вам, мы должны считать свои благословения. Каждый раз, когда я попадаю в тюрьму, мое сердце разрывается. Вчера я увез оттуда двух своих кузенов. Сегодня снова у меня на голове племянники моей жены. Наши дорогие родственники не будут довольны, пока мы не поставим на карту нашу жизнь и средства к существованию. Разве мы не всего лишь люди? Мы хотим перевести дух. Но они нам не позволят; семья, знакомые, плывущие за нами. Тебе повезло. Ты совсем один, вот и все. Адам не послушал признания мужчины. Он думал об эпидемии тифа и о том, как от нее защититься.

Ближе к вечеру герр Саттер дал им понять, что в этот день у него не будет времени. Адам покинул Красный Дом. Солнце уже скрылось за крышей церкви. В его очках снег казался серо-зеленым, а влажный холодный воздух - тем более. Адам устал. Ему хотелось пойти домой, хотелось спать, и он боялся этого желания. Может, это было началом тифа? Он решил овладеть собой. Вместо того, чтобы переходить мост, он решил остаться в большей части гетто. Свежий воздух был лучшей профилактикой от болезней.

Люди все еще были на курортах, а улицы были пусты. Проходили только старики и дети. Кое-где к тюрьме шли группы людей. Адам миновал пустое овощное пространство и достиг Балутер Ринг, где царила оживленная суматоха. Он заглянул внутрь через забор. Повозки с материалами входили и выходили через ворота, а армии носильщиков загружали и разгружали их. Немцы в одной военной рубашке отдавали команды. Приходили и уходили чиновники с портфелями и ловкие секретарши. У дверей офиса стояли черные лимузины с красными вымпелами со свастикой на окнах. Адам прошел мимо нескольких ревущих фабрик и свернул за угол. С наклонных, засыпанных снегом крыш, моросил порошок. Чем дальше он отходил от Балутер Ринг, тем меньше, тем больше усыхали дома. Часто с них соскальзывали огромные массы снега и падали на прохожих. Адам заметил, что перед ним идут три фигуры. Нагруженные гигантскими мешками, двое стариков цеплялись за высокого сына, ссутулившегося под их тяжестью.

Вид долговязого сгорбившегося молодого человека, который позволял своим старым родителям носить такую ​​ношу, а сам нес пустой мешок из-под хлеба, снова напомнил Адаму о Миете. Когда они столкнулись друг с другом на курорте портных, Миетек выглядела такой же худой и сгорбленной. С этим образом он исчез из головы Адама, чтобы снова появиться в такой странный день, как этот. Адам хотел повернуть назад, но вместо этого ускорил шаги. Проходя мимо тройки, он бросил взгляд на молодого человека и скорее почувствовал, чем узнал Митека.

Адам остановился, словно прибитый к земле. Из лица Миетека, покрытого шалями и рваным пледом, были видны только нос и глаза. Его взгляд напомнил Адаму маленькую Миетек, которая помахала на прощание его родителям в отпуске. Лица двух стариков, казалось, сияли гордостью родителей, которые вели своего сына к брачному балдахину. Трое почти не заметили Адама. Когда он стоял у них на пути, они избегали его, переходя улицу. Адам следил за ними глазами. Затем он внезапно снял свои темные очки и пустился галопом за тремя исчезающими фигурами.

«Миетек!» - закричал он, тяжело дыша. «Миетек!» Трое не остановились. Он догонял их. Масса снега соскользнула с крыши и ударила по козырьку его фуражки, по носу, ужалила губы. «Миетек!» Его вой, казалось, взорвал сердце в его груди; словно шрапнель, она, казалось, взорвала его разум и раздавила череп.

Несколько человек остановились, чтобы понаблюдать за происходящим. Оба старика повернулись к Адаму. Старуха улыбалась беззубыми деснами. «Ты кому-то звонил, мой друг?»

«Мы едем к нашим детям в Эрец-Исраэль», - сообщил ему старик.

Адам схватил мешок с хлебом Миетек. «Не уходи, Миетек, я тебя спасу!»

«Оставь его в покое», - умоляла старуха Адама. «Он вызвался поехать с нами».

Миетек с силой дернул его за плечо. У его мешка с хлебом порвался шнур. Адам остался держать его. Трое защитников двинулись вперед. Адам смотрел, как Миетек уводит стариков из виду за угол. Пуповина мешка с хлебом была намотана вокруг пальца Адама. В этом порванном шнуре была окончательность. Это было похоже на то, что в момент ампутации я обнаружил ногу. Это чувство превзошло предел выносливости; это притупило его взорванный разум, замораживая каждый нерв в его теле ледяным хлороформом. Ни боли, ни облегчения не было. Адам бросил мешок с хлебом в сточную канаву. Сморщенный, он медленно пошел назад.

В его комнате было тепло. Утром он засыпал огонь в печи золой, чтобы рыба в банке не простыла. Он подошел к окну. Серость умирающего дня и отражение электрической лампочки отражались в стекле и воде кувшина. Жизнерадостная рыбка грациозно плыла сквозь свет и серость. Их чешуйки сияли, как крохотные перламутровые пуговицы; маленькие рты целовали воду, казалось, чувственно ища что-то важное, что они потеряли. Маленькие глазки, как крохотные бусинки, тупо мигали. Поверхность воды над ними была гладкой и спокойной. Адам окунул два пальца в банку и стал помешивать воду. Он смотрел, как рыба дрожит от страха в бурной воде, ища спасения в стекле. Его пальцы погнались за ними, нежно щекоча их животы. Вода стала мутной. Буря и страх внутри кувшина были беззвучными. Адам зашевелился быстрее, словно хотел вырвать крик из тупых рыбьих пастей.

Он услышал легкое жужжание, едва слышное, как звук крошечного мотора. Он шел не изнутри кувшина, а откуда-то сверху, из окна. Он вынул пальцы из воды и осмотрел оконное стекло. Было ясно, без инея. Звук доносился из угла. Адам с удивлением посмотрел на первую муху. Анонс весны. В его голове зародились красочные образы. Запах духов распустился в его ноздрях. Его переполнило сострадание к крошечной мухе, рожденной зимой, и он начал гоняться за ней по стеклу, пока извивающаяся крупица жизни не оказалась зажатой в его сжатом кулаке. Два пальца другой руки скользнули внутрь кулака и схватили ничтожество тела. Он поднял его против света и начал отрывать одно стеклянное нежное крыло за другим, пока от ничего от тела не осталось ничего - кроме тишины.

Он вытер руки и снова повернулся к рыбе. Воодушевленный, он схватил банку и широким взмахом руки открыл дверь. Он перебросил банку через улицу, ожидая услышать разбитое стекло. Но банка приземлилась у стены, где снег был мягким и свежим. Две дугообразные полоски, похожие на две запятые, внезапно подпрыгнули в воздухе, проследив свой колчан на снегу. Потом их поглотила белая мягкость - и все затихло.

Book Three 37

В третьей главе

ДОМА ВЫКЛЮЧАЛИСЬ из-под грязного снежного покрова. Деревья в Марысине стряхнули сосульки и стояли в обнаженном ожидании. Тающие улицы стали грязными. Юные легкомысленные дуновения ветерка прыгали в лица прохожих, срывая с их голов шляпы и надувая фалды. Ветры наполняли арки ворот и гоняли друг другу хвосты на углах улиц.

Безмолвные потоки эвакуированных по-прежнему текли в сторону тюрьмы. Все «преступники», все жены и дети ранее эвакуированных, а также вновь прибывшие из провинциальных городов уже депортированы. *Настала*очередь *евреев,*иммигрантов из Вены, Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа, которым не удалось умереть или покончить жизнь самоубийством за время своего недолгого пребывания в гетто. Также настала очередь неквалифицированных или неработающих. Десять, двадцать тысяч уже ушли. Число приближалось к тридцати пяти тысячам, и этому не было конца.

Теперь, когда воздух стал мягче, ежедневные потоки депортированных, казалось, текли более оживленно, как будто их поддерживал веселый ветерок. В глазах странников отражались образы тихих деревень, залитых зеленью лета, где они будут работать, заменив поляков, бывших в Германии. Они вспахивали поля, собирали урожай, выкапывали картофель не с узких крохотных *дзиалек,*а с просторных полей. Они ели суп из больших горшков, пили щавелевый борщ и жевали черный фермерский хлеб. Их дети пили молоко прямо от коровы. И поэтому в мире и безмятежности они со своими семьями ждали, пока утихнет буря. Они шли с надеждой, в то время как те, кто остался в гетто, трепетали от страха, пока они тоже не получили «приглашение на свадьбу», пока вся «защита» не сошла на нет, пока они не перестали жить с заблокированными карточками еды, и они тоже присоединился к потоку странников.

Однажды в марте почтальон постучал в дверь Хаима-чулочно-носочного мастера и вручил его жене Ривке «приглашение на свадьбу». Ривка была одна с больными дочерьми. Сара, единственная здоровая, работала в Corset Resort, а Хаим был в Straw Resort, плетя соломенные туфли для немецких солдат на русском фронте. Ривка спряталась в углу кухни с «приглашением на свадьбу», чтобы больные девушки не видели ее со своих кроватей. Ее губы задрожали. Она рассеянно уставилась на «приглашение», поворачивая его со всех сторон, словно ища на нем что-то еще написанное. Наконец, она спрятала его под клеенкой на прилавке. Она начала помешивать красный свекольный суп на плите. Ей казалось, что она шевелит собственное разорванное сердце.

Всевышний был к ней милосерден. Он не обрушил на ее голову все трагедии одним ударом, потому что не хотел ее уничтожить. Сначала Он взял двух сыновей, которые не вернулись с фронта. Затем Он вылечил двух младших девочек, которые лежали в больнице. Потом Он заболел старших. И так постепенно, по частям, она смогла вынести боль и знала, что переживет и эту последнюю трагедию.

Она беспокоилась о Хаиме. Она могла видеть, как он «съел» его; она могла слышать, как насмешливо и высокомерно он разговаривал со Всевышним. В его молитвах было столько агрессии, что она не могла слушать его. Иногда она пыталась его успокоить, шепча: «Ты как Иов, что должен так разговаривать с Богом? Нам все еще есть на что надеяться, и поэтому нам повезло больше, чем Иову. Вот увидишь . . . Война закончится, дети выздоровеют, а мальчики вернутся ... В конце концов, у нас есть милосердный Отец Небесный, Хаим ».

Он качал головой, как бы говоря: «Глупая, жалкая женщина, из-за своих мучений ты даже не понимаешь, о чем говоришь». И она поняла, что ее слова не утешили его, а просто заставили замолчать. Да, Хаим в последнее время много молчал. Когда он говорил с ней, он не смотрел ей в глаза. Ее сердце растаяло от сострадания к нему.

Она стояла у плиты, помешивая кастрюлю, и молилась дрожащими губами: «Великий Отец Небесный, сжалься, не ломай его и не обращай внимания на его высокомерные слова. Вы ведь знаете, что человек, страдающий от боли, может говорить глупости. Придай ему сил. Дай ему вдохновение надежды. Он так измучен. .. Боже мой ... Мы вырастили таких детей, таких золотых роз, таких светлых душ. Сердце Хаима трепещет к ним, дорогой Бог, Милый Отец. Вы создали человека в своей мудрости, поэтому вы должны понимать, что человек в беде может быть сильнее, чем он сам. Но когда? Когда у него есть желание бороться. Дорогой Бог, не лишай его этой воли. Пусть он скорее будет бороться с Тобой, чем терять волю. . . Поэтому я прошу Тебя. . . Не сердись на него. . Ее слезы капали в кастрюлю и готовились вместе с красным свекольным супом.

Когда Хаим и Сара вернулись с курорта, стол был накрыт, а больных девушек вымыли. Бэлси, старшая, подошла к столу.

«Что нового за пределами отца?» - спросила она, лениво помешивая суп.

«Становится теплее», - ответил он, не сводя глаз с тарелки.

Сара кормила больных сестер. Не было необходимости развязывать *ей*язык. Она с радостью рассказала новости с улицы, с курорта. Только на их вопросы об Эстер, которая теперь работала с ней в Corset Resort, ей нечего было отвечать. «Эстер - это Эстер. Трудно от нее вымолвить хоть слово ".

Хаим шепотом спросил Ривку: «Что нового в больнице?»

«Слава богу, пусть не станет хуже», - громко и весело ответила она. «Их кашель не кажется таким пустым. . . они дышат легче, намного легче ». И только когда она мыла посуду и на кухню вошел Хаим, она показала ему «приглашение на свадьбу». Она видела, как он втянул обе губы в рот, пока в его бороде не осталась лишь тонкая трещинка. Он стоял перед ней, не произнося ни слова. Ее руки дрожали, когда она вытирала посуду. Она прошептала: «Имей в сердце Бог, Хаим. Помни, если ты, не дай бог, больше не имеешь Его, мы потеряны ».

«А если нас больше не будет, что с Ним будет?» он взорвался. Он энергично потер бороду обеими руками. «Мы не уходим!» он прошипел сквозь зубы и вышел из квартиры.

Она была рада, что он ушел. Он бы лопнул, пытаясь притвориться перед дочерьми. Она могла лучше это перенести. Она была женщиной; она могла немного поплакать в углу. Хорошо, что Хаим не плакал. Он был ее опорой, ее опорой. «Великий Творец Мира, - прошептала она полотенцу, вытирая и посуду, и глаза, - смотри сам, разве Ты не можешь гордиться моим Хаимом, может ли он быть защищен от сглаза?» Разве он не могущественный человек, скала? Но, дорогой Бог, Ты ему нужен. Без Тебя он скатится в пропасть чистилища, как тяжелый камень. Поддержи его, дорогой Бог, будь внимателен, будь милосердным ... »

Хаим вернулся поздно вечером. В комнате, где спали больные девушки, было темно. Их тяжелое прерывистое дыхание создавало впечатление, что в квартире нет воздуха. На кухне, где горела маленькая лампочка, Ривка и Сара грели руки у угасающего огня в печи. Они тоже тяжело дышали, в ритме храпа девочек. Сара уже была проинформирована о «свадебном приглашении». Хаим присоединился к ним у печи, уперев руки в плитку.

«Я зашел посмотреть на Ириску», - сказал он им. «Он удивлен, что он и его дети еще не получили« приглашения ». Ириска сказал мне: «Бог наметил путь и испытания для каждого из нас, и я жду своего. Вы спросите, что я пока делаю? Знаешь, где-то сказано: приготовься к Иному Миру, как если бы тебе пришлось умереть завтра, приготовься к этому миру, как если бы тебе пришлось жить вечно ». Поэтому я спросил его: «Что ты имеешь в виду?» Тогда он мне ответил: «Мы не должны добровольно явиться в транспорт, потому что за пределами гетто бушует буря, а Бога нет. Потому что Он здесь с нами, очищая наши руки от греха ». Как бы то ни было, он сказал то же, что и я: не отдавать себя, а выйти из квартиры и разойтись, один в одном месте, один в другом ... »

Ривка вырвалась из горла. «Милый отец ... только не разлучать ...»

"Что еще мы можем сделать? Кто впустит семью из шести человек. . . трое из них больны? " Хаим сунул кончик бороды в рот и энергично жевал ее.

Они замерли в тишине. В печи погасли последние искры огня. По ту сторону стены доносилось только тяжелое дыхание. Лицо Хаима исказилось. Его морщинистый лоб, казалось, отражал бурю, бушующую в его сердце. Ривка не сводила с него глаз. Ей хотелось опуститься к его ногам и умолять его признать, что это достаточно плохо, что двое больных детей находятся в больнице, что остальные из них не должны разлучаться, потому что, если бы они это сделали, все они были бы потеряны.

Сара вопросительно посмотрела на родителей. «Может быть, мы могли бы переехать к Эстер?»

Эстер нашла для себя новое место, чердак, своего рода сарай, который очень хорошо соответствовал ее требованиям. Возможно, ее привлекали чердаки, а может, она случайно наткнулась на них. Этот находился в здании, где она когда-то пряталась, когда Валентино был в опасности, и она искала Румковски. Единственным предметом мебели в сарае была кровать. Коробка служила ей столом, а гвоздь на стене - ее гардеробом. Стены были наклонными, а окно было выше крыши. Окно было сокровищем. Это был прекрасный вид. Сквозь него виднелось большое пространство неба, поля Марысина, дальний забор из колючей проволоки и за ним красный дымоход кирпичной печи и замерзший пруд, который издалека выглядел как треснувшее зеркало. С левой стороны проволочная ограда была срезана забором кладбища, над которым выглядывали крыши затонувшего города: купола памятников богачам. В ясные дни она также могла видеть поле, окаймленное лесом, но оно было далеким и похожим на сон.

В день переезда Эстер была в восторге. Ей нужно было освободиться от всех препятствий, которые угрожали заманить ее в ловушку. Она больше ни в ком не нуждалась. Ее переживания укрепили ее инстинкт самосохранения. Каждая связь с другим человеком, даже малейший контакт приносили мучения и могли означать ее собственное уничтожение. Все, чего она хотела, - это еды, сна и отдыха, которые она теперь надеялась получить благодаря своему маленькому прекрасному окошку. Она вспомнила окно поэта Бурстина и окно Винтера. Возможно, именно благодаря этим окнам она так привязалась к их владельцам. Теперь она сама была богатой обладательницей окна с «свободным» видом.

Однако в первую же ночь маленькая комната потеряла для нее всю свою привлекательность. Как только она потушила свет и подошла к окну, ее охватило странное чувство. Снаружи была бесконечная тьма над белой снежной пустыней. Она увидела себя босиком, голая, блуждающую по пустыне среди штормов; увидела, как она падает лицом вниз на сверкающую землю, которая уколола ее, как гвозди. Она слышала, как зовет на помощь. Никто ее не слышал, никто не приходил, чтобы поднять ее, подержать. Огонь в ее маленькой «пушечной» печке погас, ветер завладел комнатой. Всю ночь она лежала в постели, дрожа от холода. Она понятия не имела, в чем причина ее страданий.

Ее отвращение к комнате, к ее уголку побега росло день ото дня. Каждое утро она рьяно спешила на работу, а после работы делала все, чтобы отсрочить свое возвращение домой. Она издевалась над собой. Она, революционерка, бесстрашная знаменосец, участница незаконных демонстраций, была трусихой, неуверенной даже в том, чего она боялась. Она пыталась победить свою слабость, разорвать паутину темных мыслей, в которых она запуталась. Она старалась сделать свой сарай уютнее, по-домашнему. Но как только она закончила, жуткая обстановка все равно прогнала ее.

Так случилось, что вместо того, чтобы наслаждаться своей жизнью в одиночестве, она стала завидовать всем, у кого есть семья, родственники и друзья, забыв, что у нее тоже есть семья и друзья. Оживленные улицы казались ей чужими. Ей было не о ком беспокоиться, бояться проиграть, спешить домой. Стоять в очереди перед пекарнями и продовольственными кооперативами стало ее любимым занятием. Втиснувшись в окружение ожидающих людей, потерявшись в водовороте их разговоров и шума, она чувствовала себя в большей безопасности. Иногда она выслушивала чьи-то признания и позволяла пригласить себя в чей-то дом. И все же ей не приходило в голову навестить своих товарищей или дядю Хаима и его семью. Только среди незнакомцев она чувствовала себя непринужденно. Затем наступил период консервированной свеклы и дни великого голода, и все страхи и желания покинули Эстер, кроме одного: нужды в супе и корочке хлеба. Не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Был только данный момент, и это был желудок, ожидающий наполнения. Ночью она спала крепко, и если ее разбудил голод, ей снилась еда, когда она лежала без сна.

Она сидела в холле курорта, склонившись над пачкой корсетов, ожидая перерыва на обед. Рядом с ней сидела Фрейда, «козочка», артистка зала. Фрейда жила в комнате над богатой «белой гвардией», носильщиком муки, поэтому в ее комнате всегда было тепло. Девушки из санатория приходили туда «искупаться», то есть помыть с головы до ног, в том числе и волосы. Эстер в последнее время навещала ее очень редко, хотя Фрида настаивала, как и Сара дяди Хаима: «Почему бы тебе не подойти?» Эстер ненавидела эти вопросы.

Усталые девушки работали медленно, как если бы швейные машинки были тяжелыми железными колыбелями, звук которых заставлял их уснуть. Звонок колокольчика заставил их вскочить на ноги. Суп, как обычно, был водянистым, но освежающим. Девочки сидели за рабочими столами или на грудах корсетов на полу, вплотную друг к другу. Их ложки и фляги весело звенели. Теперь пришло время «козле» Фрейде развлечь их песнями или шалостями. Эстер выцарапала фляжку и облизала ложку. Сквозь щепки ее глаз тепло светился зеленый свет. Рядом с ней сидела Сара, глотая глазами последние ложки девичьей еды. Ее собственная фляга с супом стояла рядом с автоматом, нетронутая. Она хранила его, чтобы забрать домой своим больным сестрам. Эстер зарылась лицом в фляжку. Она пыталась игнорировать присутствие Сары. Но Сара не отходила от нее, как будто хотела ей что-то сказать. Эстер не хотела слушать. Она увлеклась юмористическим диалогом с Фрейдой.

Затем она услышала шепот Сары ей на ухо: «Эсфирь ... Я хочу спросить тебя ...» Эстер посмотрела в лицо своей кузине и прочитала в ней новости еще до того, как Сара даже открыла рот. Они упали друг другу в объятия. Глаза Сары были одновременно требовательными и умоляющими: «Может, мы могли бы спрятаться с тобой?»

Эстер прижала ее к груди. "Конечно. Дворник никогда не поднимается на чердак ».

♦ ♦ ♦

Дом на Хоккель-стрит выглядел так, как будто там был погром. На полу валялись пакеты с постельным бельем, одеждой, кастрюлями и сковородками. На голой постели сидели три больные девушки, горящими глазами наблюдая за суматохой. Ривка ходила, собирала вещи. Вещи выпали из ее рук. Ее тело тряслось, как от лихорадки. Больные девушки шептали ей советы, указывая на то, что она упустила или упустила. Она ответила мягким голосом; голос, который остался как гнездо, защитный и теплый.

Хаим и Ириска, которых девушки называли «Еврейская точка», понесли рюкзаки и постельное белье, а затем подошли за больными девушками. Старшая, Балси, настояла на том, чтобы спуститься по лестнице одна. Остальных унесли на стульях. На помощь пришли еще два члена общества «Возлюби брата твоего, как самого себя». Девочек поместили в ручную тележку. Самым сложным было перейти по мосту. Заболевших девушек волочили по ней, ударяясь ногами о лестницу. Несколько раз полицейские останавливали странную процессию, интересуясь ее местом назначения. «Доложить в транспорт», - ответил Хаим, и дорога была расчищена.

Переезд в тайник прошел тихо, осторожно. Час был благоприятным. Соседи Эстер были заняты ужином, и никто не заметил прибытия новых жителей. Ириска и другие помощники пожали Хаиму руку: «Пусть будет счастливый час».

Три больные девушки лежали в постели Эстер, которая занимала почти весь сарай, доходя до «пушечной» печи. Ривка стояла над ящиком Эстер, готовя ужин. Воздух был душным; дым выходил из печи и от зажженной свечи на ящике. В воздухе витал запах жареного масла. Они ели молча, за исключением Ривки, которая продолжала шептать: «Давайте останемся вместе. .. только вместе ... »Прежде чем она закончила есть, она заснула с тарелкой на коленях.

Хаим вышел из сарая на цыпочках и рухнул на матрац в углу чердака. Эстер и Сара взяли Ривку под руки и отвели к другому матрасу, близкому к Хаиму. Сами они рухнули на красную груду постельного белья в другом углу чердака. Они заснули в объятиях друг друга. Эстер увидела себя во сне: маленькая девочка с голубой лентой в волосах, собирающая цветы с вишневого дерева ...

Как только Эстер утром открыла глаза, тетя Ривка предложила ей чашку горячего кофе. Сара вылезла из-под низкого потолка, где они спали, и встала. Она поставила крошечное зеркальце на ящик возле сарая и причесала пореденные локоны. Дядя Хаим читал утреннюю молитву в углу. Эстер увидела своих больных кузенов через открытую дверь сарая. Она подошла к ним: «Если вы посмотрите в окно в ясный день, то увидите вдалеке лес», - сказала она им.

Балси улыбнулась: «Я видела, как солнце поднимается над кладбищем, и я видел, как мимо пролетает стая птиц».

"Смотреть!" - прошептала Эстер. «Лед над водой у печи для обжига кирпича треснул!» Она взъерошила больным девочкам волосы. «Здесь вам будет на что посмотреть весь день. А когда потеплеет, мы откроем окно, и у тебя будет свежий воздух ».

С этого дня Эстер тоже стала приносить домой свой суп с курорта. Первые три дня это были больные девушки. Затем, когда срок, когда семья должна была присоединиться к транспорту, подошло к концу и Сара и Хаим перестали ходить на работу - поскольку официально они больше не находились в гетто, - суп Эстер, сильно разбавленный, стал основой для всей трапезы. Тетя Ривка не поблагодарила Эстер, как это было, когда Эстер помогала семье супами. И Эстер теперь не чувствовала себя обособленной, как в детстве. Наконец она стала равной среди равных. Было приятно иметь семью. Целый день на курорте она беспокоилась о чердаке, пайках и дровах. После работы она спешила с Сарой в больницу, чтобы навестить своих больных кузенов, затем стояла в очереди перед кооперативами, удивленная, что ей так хорошо, так весело, ее сердце так близко ко всем людям. , со всем гетто. Вместе с Саррой она убрала и подготовила чердак к их первой совместной субботе. Они привыкли делать вещи беззвучно, ходить в тряпичных тапочках, которые сделала Эстер на курорте, и разговаривать шепотом, чтобы не привлекать внимания соседей.

В пятницу вечером в здании воцарилась тишина. Двери редко открывались, и каждый шум казался приглушенным. В чердаке пол вымыли и накрыли лохмотьями мешковины. В честь субботы в сарай перенесли дополнительный ящик. Ривка накрыла ящики скатертью и поставила на них свои субботние подсвечники. Она благословила свечи. Пламя свечей мерцало; ее руки дрожали. Больные девушки с косами, обвитыми коронами вокруг головы, с пылающими щеками, наблюдали за дрожащими морщинистыми руками матери.

У изножья кровати сидели Сара и Эстер. Они тоже смотрели на руки Ривки, ища ее лицо сквозь пальцы, прикрывавшие его. Когда она наконец убрала руки с лица, оно показалось более четким, гладким, а глаза менее красными и туманными. Тепло исходило от ее сморщенной фигуры и пронизывало весь сарай. А потом было теплое мерцание свечей, окутывающее все таинственным ореолом. Воздух сиял, как будто с потолка спускались или поднимались к нему брызги крошечных бриллиантов. На полу был расстелен прямоугольный световой ковер. В крошечных окнах отражались огни свечей, снег и ночь. Чердак казался фантастическим храмом с крошечными витражами.

Хаим вернулся с места молитвы. Когда он появился в обрамлении двери сарая, казалось, что это был не он, а его портрет. Свет и тень играли на его лице и на «новом» габердине, который он приобрел в «хорошие» первые недели войны; они играли на его бороде и на его синих и красных руках. Его пустой глаз был устремлен на далекие миры, в то время как другой, наполненный покоем субботы, смотрел на семью, когда он приветствовал ее словами «Доброй субботы». Ривка подала субботнюю трапезу: курортный суп Эстер, смешанный с листьями редиса. Затем она подала «рыбу» и «мясо», состоящее из котлет из самого редиса, смешанных с ложкой муки и обжаренных в капле масла. Затем *баба*из молотого кофе, намазанного мармеладом, торжественно сняли с подоконника. Вся еда была съедена в тишине, пока не дошло до *бабы*и кофе.

Хаим дал Ривке чашку, чтобы она наполнила его кофе-чаем, как он это называл. От его прежней раздражительности больше не осталось и следа. Он сказал: «Люди говорят, что в нашем любимом гетто все, что мы едим, имеет такой же вкус. . . Редис на вкус как рыба, свекла как сельдь, репа как яблочный соус. Говорю тебе, Ривка, что сегодня я действительно почувствовала вкус мяса в котлетах ». Он улыбнулся в бороду и сказал дочерям: «Ваш отец стал настоящим обжорой». Он постучал пальцами по скатерти. «Так что еще я вижу в окне?»

«Ничего, только хлеб». Сара ответила.

Ривка взглянула на Хаима, а затем на окно, где лежал кусок хлеба, завернутый в полотенце, и приказала: «Дай отцу кусок хлеба в честь субботы».

- возмутился Хаим. "Боже упаси. Я лучше выпью еще чашку кофе-чая.

Хлеб переходил из рук в руки, пока не достиг Ривки. Они смотрели, как она отрезает тонкий ломтик и кладет его перед Хаимом. На мгновение она заколебалась, затем отрезала еще шесть ломтиков, тонких, как бумага, и раздала их девочкам. «Это для того, чтобы твоя совесть не беспокоила тебя», - сказала она Хаиму, мягко и с юмором добавив: «Беднягу повезло. Он не боится, что станет бедным. Ешьте и давайте послушаем субботние песни ».

Они медленно жевали свои ломтики хлеба, запивая их глотками кофе-чая. С какого-то нижнего этажа до их ушей доносился звук субботней песни . Хаим поднял его; Ривка и девушки нежно его сопровождали.

Из-за ошибки семейные продовольственные и хлебные карточки не были аннулированы, и через три недели после предполагаемого отъезда они все еще получали свои пайки. Через три недели ошибка была исправлена. В тот день, когда это произошло, Ривка не могла сдержать слез, и Хаим снова начал читать свои молитвы с растерянностью и горечью. Больные девушки дрожали, как испуганные птицы, чье гнездо было в опасности. Они что-то бормотали, щеки их горели. Бэлси, самая старшая, бесстыдно плакала у Сары на коленях. Эстер осталась рядом с Ривкой. «Ты будешь использовать мой продовольственный паек и мой хлеб, тетя».

Ривка кивнула. «Да, дорогая Эсфирь, Бог милосерден».

На следующий день Эстер выскользнула из курорта и побежала на Балутер Ринг, чтобы увидеться с Румковски. У ворот Кольца стояла группа людей, отчаянно рыдающих и умоляющих стоявших на страже еврейских полицейских, чтобы они впустили их, чтобы увидеть пресесс. Они размахивали бумагами, документами, которые должны были доказать, насколько важно было их пропустить. Полицейские не обращали на них внимания. Они размахивали дубинками и отталкивали толпу от ворот. Те, кто проявил настойчивость, подвергались ударам со стороны милиционеров, которые обращались с ними, как с ворчливыми собаками. Эстер тоже придиралась к полицейскому: «Я - подопечный Presess», - умоляла она его. «Я ... Я ...» Удары обрушились на спины и головы людей. Толпа рассредоточилась по грязи перед воротами, чтобы через некоторое время перегруппироваться и снова зацепиться за милиционеров. Охрана ворот Балутер Ринг перестала быть одной из самых приятных обязанностей полицейских. Двое полицейских потеряли терпение и начали всерьез наносить удары ногами и ногами. Лужи грязи, перемешанные бегущими ногами, плескались по лицам людей.

Мужчина вытер грязь и пот с лица, причитая: «Горе, рабы правят нами!» Он плюнул в сторону милиционеров.

Другой еврей поднял руки к небу: «Избавь нас, Боже, и от рабства, и от рук гоев, и от иудейских голов!»

Незаметно для милиционеров и толпы у ворот появился молодой немец. Он остановился, внимательно рассматривая сцену, причесывая свою белокурую прядь волос. Затем он сунул гребень в карман и встал, расставив ноги и скрестив руки, глядя на небо. Вдруг он взревел: «Los, *aber schrtell!»*Он потянулся к кобуре на бедре, и грязь начала плескаться под ногами убегающих людей. Еврейские полицейские у ворот застыли, благодарно приветствуя своего защитника.

Эстер бросилась через мост к мистеру Шафрану. Она едва могла отдышаться; пот и грязь струились по ее лицу. Дом, в котором сейчас жила Шафран, был ей знаком. Не раз она поднималась по этой лестнице, беззаботно и напевая, направляясь в квартиру Винтер. Однако сейчас у нее сложилось впечатление, что она впервые на них взбирается. Мать Михала Левина впустила ее, и они уставились друг на друга, не в силах вымолвить ни слова. Мало того, что на лице у старухи были следы былой красоты, но с белой головой и сияющим лицом она все еще выглядела красивой. Она была аккуратно одета, белая шаль ручной вязки, с которой она никогда не рассталась, закрывала ее плечи. Но ее глаза были красными, а по щекам блестели слезы. С большим усилием она наконец сказала Эстер: «Они в тюрьме. . . »

Эстер простонала: «Уезжаете с транспортом?»

"Нет . . . Они пошли ... сопровождать. . . ее.. ."

Эстер побежала в тюрьму. Были сумерки. Воздух был мягким. Отражение уходящего солнца окрашивало небо в пастельные полосы теплого розового, фиолетового и цвета морской волны. Люди в транспорте вместе со своими детьми, своими рюкзаками и мешками стояли в грязи за тюремным забором. К обеим сторонам забора цеплялись уходящие и оставшиеся. Сотни пар рук были запутаны в проволочной сетке. Разговоры, крики, рыдания ходили туда-сюда. Глаза смотрели на лица, перекрещенные проводами. Полосатые цвета неба отражались в слезливых глазах тех, кто снаружи, в то время как в глазах тех, кто стоял спиной к горизонту, была уже ночь. .

Эстер шагала вдоль забора, оглядывая толпу. Она подошла ближе, чтобы узнать знакомый профиль или услышать знакомый голос. Руки, цепляющиеся за проволоку, словно бледные пауки в паутине, проносившейся мимо нее. Казалось невозможным, чтобы дядя Хаим и его семья могли однажды оказаться по другую сторону забора, а она прощалась с ними с этой стороны. Она сосредоточилась на поиске Шафрана. Ее жизнь была в его руках, и ей пришлось требовать это от него.

С другой стороны забора на нее посмотрела лучистая девочка. Ребенок казался подвешенным в воздухе. На ней была белая вязаная шапка поверх локонов, закрывающих ее нежный лоб. Она улыбнулась и помахала Эстер, ее крошечный ротик был полон непонятной болтовни. Эстер улыбнулась в ответ и помахала в ответ. Тоска билась в ее сердце. Она подошла ближе и увидела мать ребенка, которая держала его на руках. Молодая темноволосая женщина в черном костюме тоже улыбалась, но ее улыбка казалась искусственной.

«Мина!» - крикнул мужчина рядом с Эстер, просовав пару пальцев в проволоке, и помахал ребенку.

«Мина!» Крикнули еще двое мужчин, сделав то же самое.

Маленькая девочка повторила три имени, искажая их произношение.

Эстер узнала доктора Левина, художника Гутмана и мистера Шафрана. Она цеплялась за руку последнего. Его рука коснулась ее руки, сжав ее пальцы; но он не сводил глаз с забора. Она сделала усилие, чтобы оторвать его от остальных. Она пробормотала: «Ты должен мне помочь, ты должен!» Он бросил на нее такой пропитанный болью взгляд, что ей захотелось броситься в его объятия и выпустить душившие ее рыдания. Она закашлялась, изо всех сил пытаясь овладеть голосом. «Они отменили продовольственные карточки моего дяди ... Они сделали это. .. Пожалуйста, пойдем со мной в Румковски! » Она потянула его. «Я не выживу, если они заберут их у меня. . . »

Он отступил к воротам. Она преградила ему путь, но он оттолкнул ее. «Транспорт уезжает в течение двух часов», - сказал он.

Ее голос стал властным. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Ты должен спасти меня! »

Они меряли друг друга глазами. «Я не хочу покидать это место, понимаете?» - сказал он строго, затем освободился от ее руки и повернулся к ней спиной. Однако, прежде чем она успела прийти в себя, он отделился от толпы и крикнул ей: «Пойдем, у меня еще будет время вернуться». Они бежали через грязное гетто в поисках пресесса. Офисы были закрыты. Пресесса не было у него дома. Они стучали в двери уважаемых *шишек,*спрашивая, как его *зовут*. Шафран становился все более нетерпеливым. Он был далек от своей обычной тихой речи. Он был зол и зарычал: «Я начинаю бояться встречи с тобой. Почему вы приходите искать меня только тогда, когда с вами случается что-то плохое? » Он напомнил ей, что ровно за год до этого, накануне Пурима, он тоже бегал с ней по улицам. Она почти не слышала, что он говорил. Она лихорадила от отчаяния, от надежды. Она не могла понять, сколько времени называется годом. Это ничего не значило. Накануне Пурима тогда и кануне Пурима сегодня было одно и то же время, один и тот же узел в петле на горле.

После двух часов бега они отказались от поиска Presess. «На сегодня хватит», - сказала она, оставив Шафрана, не сказав больше ни слова.

Она поехала навестить «козу» Фрейду. Они «купались» и вместе мыли волосы. Эстер делала все, что было в ее силах, чтобы опьянеть веселостью Фрейды, избавиться от усталости и с помощью смеха и оживленной болтовни вернуть ей самообладание. Она позаимствовала у Фрейды самую красивую блузку и чистую юбку. Она причесалась и прикусила губы, чтобы они стали красными.

Фрейда засмеялась: "С кем будет свидание?"

«С самым красивым принцем в гетто!»

На улице она старалась не убегать, а чтобы сберечь силы. Она продолжала укладывать свои полувлажные короткие волосы, которые теперь казались темно-красными. Она добралась до квартиры герра Шаттена через задний двор. Его не было дома. Она ждала его в арке ворот; вокруг нее было темно и тихо. Сквозь ворота пронесся сквозняк. Она прислонилась к стене, прислушиваясь к стуку зубов. Колени у нее начали подгибаться, но она боялась сесть на ступеньку. Ей не хотелось, чтобы Шаттен видел ее сморщенной или согнутой. Она закусила губы и потерла руки, пытаясь согреться. Она понятия не имела, сколько прошло времени. Время было ночью, темный сводчатый проход, грубая холодная стена и шторм. Единственное, что она осознавала во время бдения, - это желание идти дальше, желание, чтобы ее волосы были в порядке, а рот был теплым и красным. Как будто он шел из какой-то глубокой пещеры, она услышала урчание своего пустого желудка. Она попыталась напрячь мышцы живота; она потерла их кулаками. И все же звук ее внутренностей продолжал заполнять тьму, грохоча сквозь ворота. В то же время она не чувствовала голода. Ей казалось, что она насытилась холодными камнями, грубыми и тяжелыми, которые тянули ее вниз, заставляя рухнуть на землю. Но ее воля проснулась. Она не сдалась.

Кто-то свистел на заднем дворе; легкая мелодичная мелодия в сопровождении ритмичных шагов. Черный силуэт врезался во тьму ворот, приближаясь, увеличиваясь, наполняя своей формой весь мир. Эстер шагнула навстречу ему. «Герр Шаттен!» она позвала, и свист прекратился. Она подошла к нему вплотную. «Разве ты меня не узнаешь?»

Руками герр Шаттен искал ее фигуру в темноте. «Я ничего не вижу, мадам», - весело крикнул он. «Пожалуйста, зайдите внутрь, и мы встретимся лицом к лицу». Его рука на ее руке была застежкой, когтями хищного животного. Не отпуская ее, он другой рукой отпер дверь, затащил ее внутрь и включил свет.

Вид комнаты бросился на Эстер с такой остротой, что каждый предмет мебели, казалось, вот-вот выколол ей глаза. «Теперь ты меня узнаешь?» она криво улыбнулась. «Ровно год назад. . . Пурим ... »

Он скрестил одну ногу с другой, почесывая густые волосы. «Рыжая?» Он попытался вспомнить, весело нахмурив лоб. Он поймал себя. "Конечно! Рыжая! Горе, в какую обезьяну ты превратился! »

Эстер сглотнула: «Мой дядя ... я. . . имеют . . . »

Она не могла говорить, и герр Шаттен ей помог: «Твой дядя. . . В прошлый раз это тоже был какой-то дядя. . . » Он поправил пиджак и широким рыцарским жестом открыл ей дверь. Он поклонился, стуча каблуками своих сапог.

Электрическая лампочка покачивалась перед ее глазами. Качающаяся мебель, казалось, нападала на нее, толкала ее; потолок прижался к ее голове, а пол стал наклонным, поднимаясь вверх и выбрасывая ее из комнаты.

♦ \* ♦

Накануне Пурима был один день, а день Пурима был другим. Канун Пурима привел сердце к пропасти отчаяния; дальше идти не могло. В день Пурима пропасть еще не была преодолена, но он принес облегчение. В то утро жители чердака встали, как будто умытые и очищенные от всех своих горестей. Потому что, как только они открыли глаза, они почувствовали дыхание милосердия, наполняющее залитый солнцем воздух. Надежда, как тонкая пыль, трепещущая в лучах света, проникла через чердак и отодвинула стены страха. Мир купался в свежести. Нежные потоки золотого солнца лились с ясного безоблачного неба. Мягкое тепло, окутанное легким ветерком, словно прозрачными шалями, окутало все живое, заставляя людей чувствовать себя комфортно, легко и в гармонии с природой. Только человек, который всю долгую зиму прозябал за забором из колючей проволоки, был способен понять обещание того первого дня весны.

Семейный завтрак состоял из кружки горячего кофе. Их обед был таким же. Только у больных девушек был кусок хлеба Эстер с кусочком ее мармелада. Вечером, однако, Эстер вернулась домой с курорта со своим супом, а Хаим принес домой суп, подаренный обществом Ириски-Человека «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». У Эстер был хороший день. С самого утра она была уверена, что произойдет что-то приятное. В ее хорошем настроении ей было легко притвориться, будто она теряет сознание на работе. Работницы в пуримском настроении тоже чувствовали себя беззаботно. Им понравилось выступление Эстер. Покидая свои места, они подняли тревогу и помогли Эстер потерять сознание.

Сам менеджер, который, вероятно, тоже считал привычный распорядок невыносимым, вошел в зал и заявил, что Эстер теряет сознание от голода. Он пообещал, что в обеденное время прикажет *выдзелячке накормить*Эстер солидную столовую с супом.

Есфирь, «ожившая», но очень слабая, выстроилась в очередь во дворе, ее поддерживали ее друзья, которые наслаждались теплым воздухом и весело пели хором:

«Дорогая *wydzielaczka,*я не шучу,

Возьми совок и начни копать ... »

*Wydzielaczka,*в белом фартуке и белом шарфе, одинаково заражен гей Пурим дух, поддержанном мелодию, пение назад:

«Если бы была возможность, клянусь Богом, я бы залил картошкой все твои горшки».

Девочки засмеялись. То же самое сделали руководители и менеджер. Управляющий сам взял у Эстер флягу и принес ей двойной густой суп. Он приказал ей немедленно сесть и съесть все это, чтобы он мог лично наблюдать, как суп поставит ее на ноги. Она должна была подчиниться. Она села на пороге, выкопала из столовой ломтик картофеля, но потом уронила его. Улыбающийся менеджер и друзья, окружавшие ее, делали еду такой необычайной радостью, что она с трудом удерживалась от того, чтобы вылить ложку в рот. Ей очень хотелось сделать хотя бы один глоток, съесть хотя бы один кусок картофеля, но она знала, что если она начнет есть, она не сможет остановиться. «Я не могу глотать», - покачала она головой, жалобно глядя на менеджера.

«У нее сжался живот», - поставил диагноз менеджер. Он наклонился к ней, сочувственно спрашивая: «Вы хотите отдохнуть и взять выходной?»

Дома, на чердаке, тетя Ривка весь день разговаривала со своими больными дочерьми, рассказывая им о царице Эстер и святом Мардохее, а также о поражении Амана. Больные девушки напомнили ей о том времени, когда они переодевались в Пурим и ходили от дома к дому с песнопениями: «Хорошая

Пурим для всех. Куда бы я ни пошел, я падаю. Аман Злодей гниет в земле, а Мардохей *Цаддик*едет на своем коне ». Чтобы развлечь своих сестер, Сара надела белый фартук и белый шарф, исполняя роль Ангела Справедливости. Потом ей пришло в голову, что в этом платье она легко может пробраться в больницу и навестить двух своих больных сестер. Что она и сделала. Ей там даже суп накормили, а значит, и она вернулась домой не с пустыми руками.

Это был день, полный чудес. Тетя Ривка сияла. «Видите ли, дети, - сказала она, - Всевышний ниспосылает манну с небес».

Хаим был полон энергии. И именно с ним произошло величайшее чудо. Он гулял по Марысину, сам не зная почему, и в большой луже грязи за сараем нашел две неохраняемые деревянные доски. Он продал их на черном рынке по цене двух реп.

Их праздник Пурим состоял из вкусного супа и нескольких ломтиков репы. Во время еды Хаим говорил так, словно проглотил «говорящее зелье».

«Пурим», - сказал он, - «происходит от слова« пур », что означает судьба. Когда Аман был уверен, что судьба евреев решена на сто процентов и что все евреи, большие и малые, будут убиты ... он весело вышел на улицу со своей стаей негодяев. Там он увидел Мардохея Праведника, бегущего за тремя детьми, вышедшими из *хедера.*Мардохей остановил каждого из них и спросил: «Скажите, какую главу Торы вы изучали сегодня?» Первый мальчик ответил: «А1 *лира»,*что означает: «Не бойтесь неожиданного страха». Второй мальчик сказал: *«Уцу*Эйца», что означает: «Они могут созвать тысячу советов, но безрезультатно. Все, что они решат, не имеет значения, потому что Бог с нами ». А третий мальчик ответил: *«Вад зикна»:*«До старости я такой же. Я понесу ответственность, буду действовать и спасу. . . ' Итак, Мардохей исполнился великой радости, и когда Аман подошел к нему и спросил, чему он так счастлив, Мардохей ответил: «Они принесли мне хорошие новости. Ты, Аман, можешь стоять на голове, и тебе будет легче погрузиться в землю ».

После этих слов сердце Ривки начало трепетать, как птица, от похвалы и благодарности. Ее Хаим был другим человеком. В этот день Пурима с ним произошли грандиозные чудеса. Хорошее настроение Хаима не было искусственным. Он никогда не смог бы обмануть ее в этом отношении. Она благочестиво кивнула, словно призывая его продолжить разговор. Он так давно не сказал ей приличного слова.

Хаим, словно почувствовав ее желание, продолжал говорить. «Аман сказал:« Я не подниму руки ни на кого, пока не подниму ее на этих детей »». Хаим мужественно посмотрел своим детям прямо в глаза. «Итак, разве мы все не знаем, как далеко может дотянуться его рука? И еще одна мысль пришла мне в голову сегодня, когда я шел домой с двумя репами. Имя Бога ни разу не упоминается во всей Книге Есфирь, и все же это священная книга, и перед ее чтением мы произносим три благословения. Почему же тогда имя Бога не упоминается в этой книге? Мудрецы дают всевозможные объяснения, но я нашел свое. Потому что в чем смысл священной книги, а, Ривка? Священная книга означает вечную книгу. Это относится ко всем временам. Это подразумевает времена Амана, а также наши. А то, что имя Бога в нем не упоминается, я объясняю так: Он, Всевышний, на самом деле не хочет воевать ради нас, но хочет, чтобы мы вели войны ради Него. Если бы это было не так, зачем Ему Эсфирь, Мардохей или маленькие мальчики- *хедеры*? Не мог бы Он уничтожить Амана в мгновение ока без их помощи? Именно так. Пока мы были в своих подгузниках, инфантильные люди, Творец творил чудеса и раскалывал для нас моря, или Он кормил нас манной. Но поскольку мы выросли и вошли в мир, Он требует от нас действий. Он достаточно долго вел нас за руку. Мы должны сами стать Мардкеями и Эстер, и Он, как хороший отец, помогает нам только искрой надежды, давая нам силы одним Своим присутствием. Понимаешь? И тут мы постоянно приходим к Нему с упреками, спрашивая : « Почему ты не спасаешь нас?» И мне самому стало лучше? Но это факт, что если человек делает только один шаг самостоятельно, он сразу же чувствует, как за ним наблюдает Божий глаз. Например, если бы я не поехал в Марысин, а остался дома, поссорился со Всевышним, я бы не нашел двух досок и у нас не было бы репы. Конечно, при желании можно сказать, что во время прогулки в Марысин Бога не было. Но разве Его не было, если бы я чувствовал Его всеми конечностями, чувствовал Его на сто процентов лучше, чем во время всех моих молитв. ..? »

Ривка моргнула. Она больше не была уверена, не возникло ли новое отклонение в отношениях Хаима со Всевышним. Однако сегодня Хаим был безмятежным человеком, и это было верным знаком того, что Бог снова взял его под свое крыло. Внизу, на первом этаже, ребенок играл с пуримской погремушкой. Его звук неприятно царапал уши. Хаим и его семья начали читать Книгу Есфирь. После того, как он закончил, Хаим кое-что вспомнил: «О, да, кроме супа, Ириска преподнес мне подарок на Пурим». Он полез в карман.

Хаиму так и не удалось раздать конфеты, которые дал ему Ириска. Чердак внезапно наполнился паникой сапог, кричащими ртами и размахивающими дубинками. Кровать сломалась, тумбочка упала; тарелки упали на пол. Репа запуталась под ногами твердым клубком. Больных понесли вниз. «Мама!» - послышалось их кошачье мяуканье.

Ривка слетела с лестницы. Она полностью потеряла дар речи. Она хотела что-то сказать высокой *уберфаллькоманде,*которая посадила больных девочек на тележку, но не смогла. Хаим, прижав к груди молитвенный платок, бегал вверх и вниз по лестнице, от одного милиционера к другому. Мимо катились рюкзаки. Эстер и Сара поддержали Бэлси, потерявшую сознание, под мышками и вместе с ней спустились по лестнице. На улице стояла группа людей в окружении еврейских полицейских. Тележки с больными тронулись. Ривка побежала за ними, потом повернулась и обняла милиционера за шею. Она причитала: «Сожалею, милый, у меня в больнице двое детей ...»

Комиссар Стейнберг вышел из одного из соседних домов. В тот день он был встревоженным человеком. В последние дни перед Пуримом у него были проблемы с добычей необходимой тысячи голов в день для перевозки. С каждым часом депортированные становились все упорнее и изобретательно прятались. И в этот день, в день Пурима, когда гетто вздохнуло с облегчением, из требуемой тысячи только триста евреев заявили о депортации до захода солнца. Ситуация становилась серьезной, и около семи часов терпение Стейнберга лопнуло. Он приказал мобилизовать всю *Uberfallkommando*и объяснил им свою стратегию. Рейд должен был начаться вечером, в строжайшей секретности, и его нужно было провести как можно быстрее. Стейнберг решил сам протянуть руку, чтобы подбодрить своих мальчиков и убедиться в правильном результате.

Как только Хаим увидел Штейнберга, он бросился к нему, нацелив кулак на мясистое лицо Штейнберга. Но Стейнберг ловко поймал его за запястье. Единственным зрячим глазом Хаим пристально посмотрел в глаза Штейнбергу, и внезапно он начал дрожать, съеживаться. Слезы текли по его лицу, капая на руку Стейнберга, схватившуюся за бороду Хаима. «Только за это, за то, что ходил с этим в гетто, - Стейнберг потянул его за бороду, словно собирался оторвать его от лица, - я должен был выбить тебе зубы. Март!" он подтолкнул Хаима к группе заключенных.

Хаим прижал молитвенную шаль к груди, когда двинулся вперед. Ривка перестала бегать от одного милиционера к другому и присоединилась к мужу. Он держался за ее руку весом своего сморщенного тела. «Ривка милая, - простонал он, - я видел лицо божье, Ривку, мою корону».

«Тише ... Тише ... » Она потащила его за собой.

«Это Асмадеус. . . Сатана. . . » пробормотал он.

«Тише. . . не говори ни слова. . . Бог милосерден, дорогой Хаим, - фыркнула она носом, придавленная тяжестью тела Хаима. Она постоянно поворачивала голову: «Дети мои. .. »

За ними шли Эстер и Сара, а между ними стояла больная Балси. Их окружали другие семьи, родители с детьми на руках, дети по бокам. Сжавшись в кучу, они прижимались друг к другу и шли сквозь голубизну мягкого вечера Пурима. Юноша, слушавший причитания Хаима, начал истерически кричать: «Аман - еврей! Аман - еврей! » Он пытался вырваться из родительских рук, закидывая головой, как пойманный жеребенок.

Последние искры умирающего дня отразились в лужах грязи на улице. Ривка споткнулась о камень и чуть не упала. Эстер схватила ее за руку. Теперь они все вместе шли в один ряд. Впереди на телеге ехали две больные сестры; за ними шли полицейские, размахивая дубинками. Им было не далеко идти. Тюремный дом уже был в поле зрения. Хаим не переставал разговаривать с Ривкой. Она не переставала его успокаивать: «Тише ... Тише. . .Вы не на одном уровне с Иовом, Хаим. . . » Ее голос постепенно возвращался к ней. «Бог не наказал тебя худшим ...»

Эстер была безразлична к разговору Ривки и к странным стенаниям Хаима. Она чувствовала себя скучной, в некотором роде пресыщенной, в мире с окружением, с миром. Теперь у нее были мать и отец. Когда они подошли к забору тюрьмы, она заметила людей, цепляющихся за провода, их руки были похожи на светящихся пауков в темной паутине. Когда она в последний раз видела это зрелище? Вчера? В прошлом году? Она видела это, когда петля на шее надежды все еще была ослаблена.

Они вошли во двор тюрьмы. Теперь это были люди снаружи, которые казались запертыми за забором. С влажной илистой земли поднялся прохладный ветер. Полиция исчезла, и заключенные могли свободно передвигаться. Ривка потащила Хаима в сторону телег: «Пойдем, держимся поближе к детям».

Одна группа заключенных, а затем другая вошли через ворота. В глубине двора толпа собиралась вокруг огромных открытых грузовиков, платформы которых были обнесены деревянными досками. В темноте мигали цветные ленты на кепках и нарукавных повязках милиционеров. Наконец, полицейские связали руки цепью и начали вместе слышать, как остальная толпа во дворе толкает их к грузовикам. Несколько немцев явились посмотреть на погрузку. Новые группы людей со своими рюкзаками и мешками прижались к стоящим перед ними. В многолюдной толпе передвигались милиционеры, раздавая куски хлеба с колбасой. Некоторые люди затыкали рот едой, направляясь к грузовикам. Другие приберегли его на «черный час».

Сама погрузка шла в тишине. Ривка по-прежнему повернула голову в сторону гетто и шепнула: «Дети мои. . . » в то время как она вместе с двумя больными девушками, а также с Сарой, Хаимом и Эстер подошли к грузовику.

Эстер откусила кусок хлеба. Она проглотила свой кусок колбасы. Милиционер помог больным девушкам, а также Хаиму и Ривке забраться в грузовик. Набив рот остатком хлеба, Эстер отпустила руку Ривки. Она хотела, чтобы у нее были свободные руки, чтобы она могла забраться в грузовик. Она напрягла глаза в темноте, чтобы увидеть, куда поставить ногу. Посмотрев вниз, она заметила на земле что-то белое. Детская шапочка? Она смотрела на нее, ища ногой ступеньку маленькой лестницы. Кто-то толкнул ее, и она упала на землю. Она лежала под грузовиком с детской кепкой в ​​руке. Ноги карабкались мимо нее, как будто пытались перешагнуть через нее. Ее рот все еще был полон еды. Мысленным взором она увидела улыбающегося ребенка - вчерашнего дня? Некоторое время назад? Завтра? На четвереньках она пролезла под грузовик и вылезла с другой стороны. Она прорвалась сквозь толпу, устремившуюся к грузовикам. Как-то она миновала кордон милиционеров; она побежала, попав в объятия одного из них.

"Куда ты направляешься?" он крикнул.

Ее рот все еще был полон; корка хлеба перекрыла ей горло. Она закинула голову, пытаясь оторваться от державших ее рук. Маленькая белая шапочка выпала из ее руки. «Вот…» - пробормотала она, указывая на гетто. Вдруг в ее голове загорелся свет. Она сунула руку в карман и вытащила зеленую карточку. Она поднялась к глазам полицейского. "Этот . .. мое удостоверение личности ... Я работаю в Corset Resort. . . Я подопечный Presess. . . » Она быстро выплюнула эти слова, с облегчением оттого, что кусок еды, наконец, скатился по ее горлу.

"Что ты здесь делаешь?" Полицейский оглядел ее с головы до пят. Затем он схватил ее за руку и побежал с ней к воротам. «Выпусти ее», - быстро сказал он охраннику. «Она подопечная старика».

Она бежала и бежала целую вечность, ни разу не повернув головы назад. На четвереньках она вскарабкалась по лестнице на свой чердак и упала ниц на грязное постельное белье под низким потолком. Была уже ночь, но внизу ребенок все еще играл с хриплой пуримской погремушкой.

Book Three 53

Глава четвертая

Знакомство Сэмюэля с Моше Эйбушицем началось годом ранее, весной. Они встретились однажды вечером на заднем дворе на Хокель-стрит, когда оба гуляли в саду у вишневого дерева. Как только они обнаружили, что их дочери были друзьями, они начали разговор о девочках, который привел их к разговору о былых временах. Выяснилось, что они одного возраста и оба участвовали в войне против большевиков.

«Тогда возможно, что мы уже встречались. . . » - сказал Моше с улыбкой. Сэмюэл предложил ему сигарету. При виде сигареты губы Моше задрожали. Сигарета дрожала во рту. Когда он, наконец, зажег ее, он глубоко вдохнул, его глаза закрылись, и он оставался таким долгое время, изолированным от мира в своем удовольствии. Затем, успокоившись, он открыл глаза, подошел к Самуилу и сказал ему с благодарностью, конфиденциально: «Знаешь, каждую осень я собираю сухие листья в Марысине. Я оставляю их сушиться на солнце, затем измельчаю и курю, свернутые в лист бумаги. Лишь однажды я сменил кусок хлеба на сигарету. Курение - это страсть, но нельзя позволять себе становиться ее рабом ».

«Означает ли это, что ваша сила воли сильнее вашей страсти?» - спросил Сэмюэл.

«Нет, не столько моя сила воли, сколько мое нежелание чувствовать себя виноватым. Продать свой хлеб за сигарету - грех ».

Самуил сделал мысленную заметку, чтобы принести Моше пачку сигарет при их следующей встрече. Действительно, они стали довольно часто встречаться во дворе, чтобы обсуждать новости, политику, сионизм и бундизм. Эти дискуссии были не очень жаркими, как будто каждый из них был оторван от платформы, которую он защищал. Иногда, особенно когда они обсуждали жизнь после войны, у них складывалось впечатление, что они на самом деле придерживаются одной и той же школы мысли, хотя им не ясно, какая именно.

Затем наступил момент, когда они не смогли общаться так гладко, как раньше. Моше нервничал. Его обычно спокойное лицо было затуманено, голос громкий, резкий, кипящий от гнева. «Каждый раз, когда я делю хлеб, - жаловался он, - я начинаю нервничать. Я вздрагиваю, как будто у меня приступ малярии; мой язык, кажется, выскакивает изо рта. Моя жена и дети стоят вокруг и смотрят, как я разрезаю буханку. Сюда добавляю хлебную крошку, там убираю хлебную крошку. Я честный, я справедливый. Вы понимаете такую ​​справедливость? Я спрашиваю, заслуживаю ли я равной доли с детьми? Но тогда как мне получить дьявольскую силу, чтобы отдать им кусок из моей доли, когда мое тело будто выпрыгивает из кожи от одного запаха хлеба? Но моей жене, как видите, это не так уж и сложно. Она всех нас обманывает. . . »

После этой встречи Самуил стал избегать Моше. Затем Эйбушицы вышли из двора, и дружба между двумя мужчинами, казалось, закончилась. Прошли месяцы. Пока однажды зимой Самуил не заметил Моше на улице, и по тому, как шел Моше, Самуил догадался, что он страдает популярной болезнью гетто: декальцинацией костей, как ее называли. Самуил остановил его. Лицо Моше, посинее от холода, с слезящимися глазами и впалыми щеками, озарилось улыбкой от уха до уха.

"Мистер. Цукерман! » воскликнул он. «Боже, я не видел тебя целую вечность!» Они долго держали друг друга за руки, давая друг другу глазами понять, насколько они рады встрече и как удивлены радостной реакцией друг друга. «Поздравьте меня, мистер Цукерман», - Моше пожал руку Самуэля. «Матушка Удача наконец-то мне улыбнулась! Я устроился в кооператив! »

"Действительно?" Сэмюэл вскричал. «В таком случае мне не нужно о тебе беспокоиться. Те, кто работают в кооперативах, неплохо справляются ». Самуэль почувствовал облегчение. Только теперь все преграды между ними исчезли.

Моше многозначительно подмигнул ему. «Я знаю, что вы имеете в виду. Но ко всем своим бедам я отказываюсь добавлять проблемы собственной совести. Я не хочу разбогатеть в гетто. Все, что я хочу, это выжить ».

Их настоящая дружба возникла из этой встречи, хотя для новой дружбы в их жизни было уже слишком поздно. Сама жизнь была против. Но, возможно, именно этот факт придал ей силы и поддержку. Самуил никогда не приглашал Моше к себе домой. Именно он навещал Моше, и их встречи зависели от него, хотя он всегда чувствовал, что Моше нужен ему больше, чем Моше. Его всегда удивляла восторженная улыбка, с которой Моше приветствовал его. Кто из двоих был князем, а какой нищим?

В квартире Моше со стенами кухни, заваленными полками с книгами, царил воздух, который напомнил Самуилу о безмятежности его собственного кабинета до войны. Проблема только в том, что чем больше он впитывал эту атмосферу, тем труднее ему было оставаться между этими стенами. Ему казалось, что он сказал неправильные вещи, что он фальшиво улыбнулся, что Эйбушицам было неловко за него и что он действительно пришел без приглашения. Моше же, с другой стороны, тоже хотел, чтобы они остались одни. Поэтому он пригласил Самуила в маленькую спальню. Там они были одни. Самуил предлагал Моше пачку сигарет, которую тот редко забирал с собой. Они курили, болтали, обсуждали политику или признавались. Иногда они просто сидели вместе в тишине.

Однажды Моше сказал: «Странно, как меняются представления о честности. Вы помните, что я сказал вам относительно использования моей новой работы? Думаешь, я не ворую? При любой возможности я приношу немного масла или несколько морковок. И моя совесть молчит. Мне даже в голову не приходит, что я причиняю вред потребителям. Возможно, если бы я вывозил полные мешки еды, я бы почувствовал себя вором. Если да, то вопрос в сумме? Маленький вор - не вор? И, честно говоря, я не ворую больше, потому что я честен, а потому, что я боюсь быть пойманным или потерять работу ».

Самуил наблюдал за зажженной сигаретой в нежной руке Моше, покрытой синей ветвью вздутых вен, полностью осознавая, что каждый раз, когда Моше говорил о себе, это вызывало в нем эхо его собственного голоса. На этот раз он позволил эху материализоваться в словах, которые никогда никому не произносил. «А теперь подумай о моей ситуации, Моше. Я часть системы. Я принадлежу к клике, к геттократии, и Presess - мой друг. Я говорю друг. Конечно, я не говорю с ним так, как говорю с вами. Но в определенном смысле ... Я многим ему обязан. Мои коллеги, *шишки,*тоже едят из его руки одновременно с *плевками*. Правда в том, что я уважаю Старика. Когда он приезжает на курорт и хвалит мои достижения, у меня такое ощущение, что родной отец похлопывает меня по плечу. И я также убежден, что благодаря ему мы выживем, потому что я тоже верю, что работа может поддержать нас, что на самом деле мы работаем не для немцев, а для самих себя. Что бы я делал без курортов, без возможности строить, чтобы быть полезным? »

"Пригодится немцам?" Моше нахмурил брови.

"Вы держите это против меня?"

«Кто я такой, чтобы судить тебя?»

«Моя проблема в том, что я чувствую себя подавленным».

"Я знаю . . . твоя совесть - твоя проблема ».

«Я был членом первого еврейского совета при немцах и чуть не поплатился за это головой. Мне было ясно, что я не смогу освободиться от этой функции, даже если бы захотел. И это тоже была форма сотрудничества, не так ли? Сегодня ко мне возвращается мысль: что это за подвиг быть невинным и свободным от греха, когда ничего не делаешь? Возможно, как говорит Старик, человек обязан взять на себя ответственность и участвовать в немецкой игре, чтобы спасти как можно больше людей. Но, с другой стороны, меня беспокоит еще одна мысль. Разве мы не знаем прекрасно, что немецкая игра заключается именно в том, чтобы заставить жертву участвовать в задаче своего палача? »

В другой раз Самуил и Моше затронули еще более интимные вопросы.

«Я до тошноты сентиментальный человек», - сказал Моше с улыбкой. "Например . .. после двадцати лет брака я, так сказать, все еще люблю свою жену. И если хотите знать, многие принимают меня за мужа-подкаблучника. Они высмеивают мою кротость как семейного человека. Но это то, что я. Без семьи я ничто. В нем и через него я вижу мир, я вижу других людей. Для меня это высший идеал; это ведет меня к другим идеалам. Это не по-мужски? Говорят, что настоящий мужчина должен быть отстранен от семьи, часть его всегда должна оставаться снаружи. Мне плевать на это. Я поместил все, что у меня есть, на эту карту ».

Снова слова Моше эхом отозвались в сознании Самуила, и он рассказал Моше о своей жизни с Матильдой, о пелене отчуждения, которая всегда висела между ними.

их, о его стремлении к другим женщинам, ко всем женщинам, к Вечному. Он рассказал ему то, что только недавно позволил себе в гетто, с Сабинкой. Он снова выдал чувство вины. «Разве не странно, что мы начинаем ненавидеть тех, кому причиняем вред?»

Моше также любил позволять своим мыслям уйти в прошлое, рассказывать Самуилу о своей юности в *местечке,*о своей парикмахерской и своих клиентах. Но здесь Самуил не мог ответить откровенно. Ему казалось, что ему нечего вспоминать, и на самом деле он помнил удивительно мало из своего прошлого. Все, что у него осталось, - это вкус конструирования, производства. Но тогда ему пришлось бы рассказать Моше о своей фабрике и своем богатстве, а это, как опасался Самуил, попахнуло бы тщеславием. Должен ли он

тогда, вместо того, чтобы говорить о себе, рассказал Моше о вкладе его предков в историю Лодзинского еврейства? Но какой смысл ему было окутывать себя славой своих родителей, если его собственные дети не могли окутать себя его? Книга, которую он когда-то планировал написать, совсем не приходила ему в голову. В общем, ему было легче представить себя Моше в плохом свете, чем в хорошем.

Его разговоры с Моше не имели никакого отношения к повседневной жизни Самуила. В конце концов, его посещения были вызваны внезапным порывом и были редкостью. Потом он сразу о них забывал. На курортах он вел себя как обычно. Он любил повторять высказывания Румковского, командовать рабочими и предлагать им либо похвалу, либо пощечины. Он гулял со своими коллегами и побывал в Сабинке. Дома он ходил как чужой, иногда взрываясь от ярости, иногда весело насвистывая. Его отвращение и жалость к Матильде росли. Но больше всего ему было жалко, когда он был вдали от нее, когда он оказался в объятиях Сабинки после вечера полной забывчивости. Когда он был в доме, он редко разговаривал с Матильдой; он избегал смотреть на нее и даже не прибегал к своему старому репертуару притворной вежливости.

Тем не менее, он осознал определенное изменение в своем поведении, изменение, частично коренящееся в его разговорах с Моше. Он ясно почувствовал это в тот день, когда он бросился в Presess от имени Митека Розенберга, когда он заговорил со Стариком так, как никогда раньше не осмеливался. У него также были моменты в течение той долгой зимы, когда эхо голоса Моше неожиданно эхом отозвалось в его голове, когда он ясно слышал, как он говорил: «Цукерман, ты как туман ... У тебя нет позвоночника. Все они говорят через вас, как через рот попугая: ваш отец, Мазур, Румковский. У вас нет самоощущения, нет характера. Какова ваша предполагаемая страсть к строительству? Ничего, кроме средства убежать от себя, средства потерять себя и раствориться в своей работе, стать единым с тем, что вы создаете. Тебя зовут Пустота, Сэмюэл Цукерман.

Были дни, когда он просыпался утром со звуком этого голоса в ушах. Истины, которые он открывал, раздражали его. У него не было средств справиться со своим разорванным внутренним ядром, не было средств сделать его целостным. В то же время он знал, что если он продолжит такое существование, это в конечном итоге его уничтожит. Ему нужно было гордиться собой, быть мужчиной, быть храбрым и жить в мире со своей совестью. Но он отложил выпрямление на потом, на завтра. Сделать это сейчас было невозможно. И поэтому он продолжал пинать своих рабочих, бежать в Сабинку и упорно избегать своего дома; он продолжал служить Presess.

В последнее время он начал запираться в своей комнате, время от времени доставая пачки заметок, которые он приготовил для своей книги. Он намеревался начать писать. Однако записи остались на его столе нетронутыми. Единственное место, где он все еще чувствовал себя немного довольным собой, было в подвале, где он слушал радиопередачи.

♦ ♦ ♦

Пришло время генеральной уборки. Все окна дома Цукерманов были открыты. Рейзель вымыл их накануне. Они были настолько ясны, что их стекла казались зеркалами, сквозь которые сиял дневной свет. Между открытыми балконными дверями стояли стулья с постельными принадлежностями, матрасами и одеждой. Внутри дома все двери тоже были распахнуты. Сквозь их проходил сквозняк, доносящийся из окон, наполняя каждый уголок ветром и звуком голоса Райзеля. Райзель была одета в свой костюм для уборки, который состоял из ее довоенного платья, датированного «временами короля Собеского». Шарф, который она носила, закрывал все ее соломенно-желтые волосы, доходившие до бровей. Нагруженная щетками, метлами, ведрами и тряпками, она походила на турецкого османа посреди поля битвы.

Сегодня Матильда поставила ее у плиты и занялась готовкой. Лицо и шея Матильды блестели от пота. Она очень спешила, и все выпало из ее рук. Обожгла пальцы о кипящие котлы, порезала себя ножом, чуть не разбила несколько тарелок и перепутала рецепт одного праздничного блюда с рецептом другого. Тем не менее она была в хорошем настроении. Ей нравилось готовить, особенно сегодня, когда все открытые двери и окна впускают чудесный ветерок, несущий в себе послание обновления.

На ней было платье без рукавов с открытым воротом и цветочным узором. Ее дряблые руки и полная грудь ощущали ласкающий воздух каждой клеточкой. Несколько раз она уходила с работы, чтобы умыться вспотевшим лицом и взглянуть на себя в зеркало. Она упрекала себя; ей следовало больше заботиться о своей фигуре и не поддаваться тяге к сладкому. Она надеялась, что теперь, весной, когда ей не стало так холодно на душе, она сможет лучше себя дисциплинировать.

В своем воображении она слышала, как пианино играет «Меховую Элизу» Бетховена. Глубокая теплая мелодия, казалось, пронизана ее собственной тоской по Сэмюэлю. Никогда еще она так сильно его не любила. Ей казалось, что до сих пор ее чувства к нему были неполными, болезненными и разрушительными и не имели ничего общего с настоящей любовью. То, что она теперь чувствовала, было щедрым, исцеляющим. Перемена произошла именно в эти последние роковые дни в гетто, с эвакуацией, а также с концертами в Доме культуры и с этой чудесной весной. Она напевала мелодию «Лжи», перефразируя слова в соответствии со своим настроением: «И в тот день, когда я уйду …» Надежда не всегда была положительным чувством, подумала она. Это привело к восстанию, разочарованию и горечи. Пока она надеялась на любовь Сэмюэля, она была нетерпеливой и беспокойной. Именно ее отставка, ее принятие их отчуждения как окончательного усыпили ее боль и помогли ей снова соединиться с жизнью.

Занимаясь горшками, она думала о Сэмюэле. Она была удивлена, что никто не заметил, как сильно он изменился. Он полностью потерял игривость, мальчишеское обаяние. Его походка, его внешность выдавали нерешительность и неуверенность в себе. Его глаза стали темнее; его взгляд был уклончивым, как будто он пытался скрыть выражение отчаяния. Его волосы поседели, а на лбу образовалось несколько глубоких борозд. Его нос казался длиннее и острее, а рот потерял форму, а губы слегка приоткрылись. Его спина была согнута, плечи сжимались вокруг его груди, и когда он с обнаженной грудью вошел на кухню, она легко могла пересчитать его ребра, как если бы он был *клепсидрой.*И все же в ее глазах он казался более мужественным, более привлекательным, чем когда-либо.

Он стал заядлым курильщиком, и в доме было полно недокуренных окурков, разбросанных по полу, столам и тарелкам. Запах никотина упорно витал во всех углах дома, словно им пропитались сами стены. Сначала Райзел попытался отреагировать, но Матильда оборвала ее, удаляя следы никотина, как могла.

Ей нравилась комната Сэмюэля и ее запах. Это заставило ее почувствовать, что она вторгается в частную жизнь незнакомца. Казалось невероятным, что у нее родились две дочери от незнакомца, что он когда-либо прикасался к ней. Это были два совершенно разных человека, которые когда-то стояли под брачным навесом, вместе построили дом и спали рядом друг с другом. Она все это вспомнила, как книгу, которую давно прочитал. И как не упустить такую ​​книгу, так и она не упустила те былые времена. Если она была наполнена тоской, то она была неподвижной, не обращенной лицом к прошлому или будущему. Это выражалось в ее любопытстве к незнакомцу, с которым она могла достичь близости только через его комнату. Ей нравилось рыться в ней, когда Самуила не было дома. Открывать его ящики, обыскивать его карманы стало ее навязчивой идеей. Бывшая Матильда из «старой книги» не стала бы поступать так. Это было бы против ее гордости и достоинства. Но нынешняя Матильда почти не помнила, что означают гордость и достоинство, точно так же, как она почти не помнила многие другие добродетели, которые лежали в основе ее прежнего поведения. И когда она спросила себя, что она на самом деле ожидала обнаружить в комнате Сэмюэля, она не могла найти никакого ответа.

Она рылась не только в комнате Самуила, но и в комнате своих детей. Дети тоже стали чужими. Такая любовь принадлежала и другой женщине, матери, знавшей язык ласки, у которой было большое горячее сердце, на котором преданность питалась, как овца на солнечном лугу. Теперь она чувствовала себя бесплодной, ее чувства к дочерям были похожи на те, которые она испытывала к Самуилу - они были наполнены тоской и любопытством, которые испытывают к незнакомцам.

Этим утром ее любопытство вышло на первый план. Наблюдая за тем, как ее дочери помогают Райзел выносить матрасы на балкон, она заметила сложенный лист бумаги на пружинах кровати Беллы. Она упала на него, но, прежде чем ей удалось его развернуть, Белла прыгнула к ней и выхватила лист бумаги из ее рук. Смущенно, криво улыбаясь, она приказала: «Дайте мне!» и подошел к девушке.

«Я не хочу! Это мое!" Белла оттолкнула ее. Матильда сдалась, но пообещала себе осмотреть детскую комнату сразу после того, как они вышли из дома. А пока, чтобы успокоиться, она вошла в комнату Самуила.

В последнее время Самуил не складывал материалы для своей книги, которые он разложил на своем столе. Матильде был знаком каждый клочок бумаги на нем; она также знала, что в стопку не было добавлено новых страниц. И все же она села на стул Сэмюэля и стала набрасываться на газеты, как будто никогда их раньше не видела. Бумаги были желтыми и помятыми. Для нее это не были заметки к планируемой книге «История евреев Лодзи». Для нее они были давно забытой книгой. Пыль между его страницами была пылью времени, покрывавшей все пути, ведущие в прошлое. Это был сухой бесплодный луг, на котором не кормились овцы. Матильда перебирала страницы, прислушиваясь к звукам рояля, которые эхом отзывались в ее голове: «И в тот день, когда я уйду ...» Ветерок, доносящийся в комнату, помог ей перелистывать страницы и утешительно ласкал ее щеки. «Это весна», - прошептал он ей на ухо. «На лугах вырастают свежие, сочные зеленые травы, мертвые зимой. . . » Она услышала, как ее дочери закрыли за собой дверь, и бросилась обратно в их комнату. Она порылась в нем, тупо улыбаясь. Не найдя ничего интересного, она бросила игру и пошла на кухню, чтобы продолжить готовить.

Белла сидела на пачке постельных принадлежностей на балконе и грызла ногти. Кожа вокруг ногтей была раздраженной и красной, и ей было больно. Весенний день тоже причинил ей боль. Он подчеркивал зиму, царящую в ее сердце. Единственное чувство, которое все еще жило в ней, - это ненависть к родителям; чувство, которое в последнее время настолько захлестнуло ее, что она с трудом сдерживала его. Бумага, которую она отказалась показать Матильде утром, ничего не стоила. Она боролась со своей матерью из-за этого из-за возможности, которая дала ей возможность уменьшить свой гнев. Сложенный лист бумаги теперь лежал у Беллы на коленях. Она помнила каждую букву на нем, каждую отметку. Миетек написала записку шесть недель назад, перед отъездом на транспорте:

«Я добровольно присоединяюсь к депортированным. Я хочу, чтобы вы знали об этом. Когда война закончится, не ищи меня. Я отрываюсь от всего и от тебя тоже. Ты уничтожил меня и показал себя трусом. Все предатели. Но рассчитываете только вы. Вы любили меня (что бы это ни значило). Ты был единственным, и казалось важным, чтобы мы сделали это вместе. Я пытался сделать это один, но ты тоже превратил меня в труса. На самом деле вы были правы: сейчас не нужно прилагать усилий. Возможно, немцы окажут мне услугу. Я ни на что не жду. Я ничего не жду. Мне также немного интересно, что происходит на другой стороне. Мать Удача улыбается мне. Как видите, я родился в шелковой рубашке. На все мои прихоти рано или поздно будет дан ответ ».

Белла легла на груду подушек, сложенных на двух соединенных стульях. Ее лицо было обрамлено решеткой перил балкона, она смотрела вниз, во двор. Вишневое дерево напоминало букет невесты. Его сучья, увешанные листьями и гроздьями цветов, почти не двигались. Время от времени лепесток цветка кружил в воздухе, как бабочка, прежде чем упасть на землю. Медленно Белла начала рвать письмо, наполняя ладонь его клочьями. Она прицелилась в дерево, но ее выпад был слишком слабым. Клочки бумаги закружились в воздухе и исчезли под балконом. Вишневое дерево наполнило ее глаза своим цветочным узлом. Она прошептала ему: «Ты красивая ...» - внутри нее что-то рыдало: «Я хочу умереть. . . »

Во дворе за уборными играли две девочки. Одна из них так энергично раскачивала кукольную коляску, что голубая лента в ее волосах колыхалась в воздухе в такт ее движениям. Другая девушка наполняла горшочки землей и ставила их на сломанный стул, который служил ей плитой. Вдоль стен на заднем дворе стояли ряды соломенных матрасов, выставленных для проветривания. Возле водяного насоса было оживленное движение. По оловянным днищам ведер барабанили потоки воды. Шейн Песселе мыла стулья жесткой щеткой. Другие женщины мыли кухонную утварь. Между черными грядками земли мальчишки гонялись друг за другом, играя в тряпичный мяч. Мужчины, женщины и дети с хозяйственными сумками и столовыми в руках • возвращались домой с курортов. Они звонили в сторону открытых окон. Некоторые люди останавливались перед входом, чтобы поболтать с соседями. На *дзялках*появились первые рабочие *, которые*строили бордюры вокруг своих участков или засевали. Мужчина в традиционном габердине с развевающимися хвостами и традиционной шапкой, высоко надетой на лоб, поливал жаждущую землю. Женщина сидела на корточках над кучей земли, похожая на гигантскую курицу, греющую яйца. Она рыхляла землю перед собой игрушечной лопатой. Две девушки в мужских штанах копались под окном и пели.

Из-за крыши уборных вылетел белый голубь, как светящаяся ракета, и, спускаясь, кружил по двору. Заходящее солнце окаймляло свои крылья пурпурной бахромой. Затем отражение солнца на его крыльях исчезло, и когда оно приблизилось к вишневому дереву, его белизна слилась с белизной ветвей. Голубь сел на самую высокую ветку, покачиваясь огромным белым бутоном.

*«Мамеш! Мамеш! "- крикнула*одна из двух маленьких девочек. Беременная женщина со *скрещенными*на животе бледными руками появилась перед хижиной уборщика. Маленькая девочка указала на голубя на дереве." Как его зовут? "

«Это голубь», - ответила женщина.

Ее маленькая дочь была взволнована: «Это очень мило. Где живет эта голубиная птица, *Мамеш*? »

«По ту сторону гетто», - объяснили женщины.

Другая маленькая девочка засмеялась: «С другой стороны живут люди, похожие на людей, но их головы сделаны из капусты. Мой папа называет их кочанами капусты.

Кто-то вбежал в ворота, вызвав лихорадочную суматоху на заднем дворе. Беременная схватила девушку за руку и бросилась с ней в хижину. Другая маленькая девочка исчезла в подъезде вместе со многими другими соседями. Двор был пуст. Почтальон с «свадебными приглашениями» вошел во двор. Сразу за ним шла Юния. Он позвал ее вслед, очевидно, желая получить некоторую информацию. Она побежала вперед, оставив его позади. Она была одета в полицейскую форму с беретом на голове.

Внезапно Белла услышала позади себя голос Джунии. "Я должен сказать тебе кое-что. Жди меня здесь.

Белла услышала звук крана и поющий голос Джунии. Она напевала хит, который сочинил герр Шаттен, доверенное лицо Пресесса. «Серебристая луна обманула меня, / солнце насмехалось надо мной своим светом. / Только тень сдерживает свое обещание / и посещает меня ночь за ночью ...» Эта грустная романтическая мелодия, исходящая из уст Джунии, звучала как самая веселая песня в мире. мир.

Белла услышала голос Райзела. «Вставай и помоги мне разложить матрасы!» Белла медленно встала, неловко схватив матрас за углы. Райзел покачала головой. «Твоя мать права. Ваши руки сделаны из глины ».

К ним подошла Юния, одетая в комбинезон, вытирая себя полотенцем. «На что ты жалуешься, дорогая Розалия?»

При виде полуодетой девушки Райзель отпустила матрас и схватилась за голову. «Голым на балконе? Кто-нибудь может тебя увидеть, бессовестный засранец! »

Все трое как-то разложили матрасы на кроватях. «А теперь, дорогая Розалия, будь так любезна, оставь нас в покое, потому что мне нужно обсудить с мисс Беллой кое-что очень важное». - сказала Юния.

Райзель поправила головной убор и, положив руки на бедра, воскликнула: «Не в твоей жизни! Стол накрыт, и я видел, как вошел твой отец! "

Они сели за стол. Белла зарылась лицом в тарелку. Самуэль тоже молча смотрел в свою тарелку. Только Юния и Матильда были в хорошем настроении. Однако то, что они говорили друг другу, никак не связывалось; их фразы переходили одна в другую, как если бы каждый из них разговаривал с кем-то другим. Помимо их неловкого разговора, Райзель продолжала свой монолог. Она говорила со всеми и ни с кем из них, создавая впечатление, что это была группа глухих людей, принимающих пищу. Матильда

заметил, что тарелка Самуила все еще была полна; он крутил ее, едва поднося ложку ко рту. Ее взгляд встретился с ним. Она не могла выносить своего отражения в его глазах. Голос ее приобрел неестественный тон. «Хороший суп», - пробормотала она. «Мое собственное изобретение. . . »

В конце концов Юния решила сообщить новости, которые она хотела сообщить своей семье. Она отодвинула тарелку и подняла руки вверх. «Слушайте, слушайте, все присутствующие за этим столом! Я, Юния Цукерман, открыто заявляю здесь, что с сегодняшнего дня я больше не буду членом полиции г-на Румковского; что с сегодняшнего дня я буду практиковать славную профессию педагога нового поколения нации! »

Райзел поднесла руку к уху и покачала головой. «О чем болтает эта девушка?»

Юния подтолкнула Самуэля локтем: «Папа, ты слышал, что я сказал? Вот-вот откроют школу для одаренных детей ... новую систему обучения. Я встретил знакомого учителя. Он все это организует. Он хочет взять меня учителем ».

На ее слова отреагировал не Самуил или Матильда, а Райзель. «Пламя!» она закричала. «Вы так же способны быть учителем, как я - танцором. Внезапно такие *мешуги!*Что плохого в том, чтобы быть с полицией? Лишние супы, лишние пайки тебе не подходят? Юния обняла Сэмюэля, громко чмокнув его в щеку. «Давай, поцелуй ее, обними ее, мистер Цукерман», - продолжил Райзель. «На твоем месте я бы преподал ей урок, потому что она не может спокойно сидеть на ней сзади. Это ваша вина, мистер Цукерман, и ваша тоже, мадам. Но как они говорят? До брака у человека есть десять идей о воспитании детей, но после брака у него появляется десять детей, а не одна идея ».

«Чему ты будешь учить?» - наконец спросил Сэмюэль Джунию.

«Я научу тому, что знаю. Спорт, Гимнастика. Mens *sana in corpore sano!*Это означает, дорогая Розалия, в здоровом теле - здоровый дух ».

Райзель сердито покачала головой. "Конечно конечно. Свежая, здоровая и *мешуга ».*

Юния рассказала о программе проектируемой школы, которая будет находиться под контролем коллектива учителей. Дети изучали языки, естественные науки, танцы и рисование. Ее энтузиазм раздражал Беллу. Она встала из-за стола, пошла в свою комнату и бросилась на кровать. Учеба, преподавание, какой в ​​этом смысл? Рядом на столе стояли ее книги. Она провела столько лет среди листов бумаги. Она хотела, чтобы они были лодкой, которая удержит ее на плаву во время шторма. Это был бумажный кораблик. Сама она утонула на дне моря. Она закрыла лицо руками. «Я хочу умереть ...» - пробормотала она в ладони, как будто они были парой ушей на ее губах. Она услышала, как открылась дверь. Кто-то вошел в комнату. Шаги приблизились к ее кровати. Она закрыла лицо, и ступеньки отошли в сторону. Дверь была закрыта.

Сэмюэл шагал по коридору, закуривая сигарету. Из кухни до его ушей дошла оживленная болтовня Джунии и Матильды. Время от времени он слышал короткий теплый смех Матильды. Он скрипел ему в ушах. Он не мог вынести ее, когда она дулась, или когда она была веселой. Она с надменно поднятой головой! Самодовольные, морально возмущенные, которые думали, что правосудие у нее в кармане! Во всем виновата она сама. Это она выгнала его из дома. Из-за нее он не смог начать работу над своей книгой. Она заставила его бежать в Сабинку. Она заставила его напиться. Она со своими вечными упреками и обидами; она, в своей дряблости, в своем уродстве. Он повернулся к комнате Беллы. Дети были его, так же как и ее. Он должен был вернуть Беллу любой ценой; он любил ее, и она так отдалилась от него. Он снова вошел в комнату Беллы и подошел к ее кровати.

Ее искаженное уродливое лицо было залито слезами. При виде нее его горечь переросла в гнев. Его охватило внезапное желание освободиться от нее. Он хотел стереть ее лицо. «Ради всего святого, хватит стенать!» воскликнул он. «Глупое, жалкое создание, что ты плачешь? У тебя это слишком хорошо? " Он выбежал на балкон, жадно затягивая сигарету. Он глубоко вдохнул, но не свежего воздуха, а своей ярости. Белая голова вишневого дерева моргала на него со двора. Вид его красоты и легкое дуновение ветра взволновал его еще больше. Он вернулся в комнату. Белле удалось вытереть лицо. Как красновато-синяя скрученная маска, он смотрел на него незнакомыми холодными глазами. Его сердце сжалось. Его милая, нежная дочь, которая когда-то пробудила в нем такие чудесные чувства нежности - куда она пропала? Он хотел сказать несколько обнадеживающих утешительных слов, но на ее лице было такое презрение, что он потерял храбрость. «Ты все еще не знаешь, где мы живем, Белла?»

Ее губы горько скривились: «А *ты*? Если мы живем в аду, то ты один из его демонов ».

Пол под ним начал качаться. Его переполненное сердце подпрыгнуло, а ярость хлынула в его руки. Он громко хлопнул ее по лицу и увидел отпечаток своих пяти пальцев на ее красно-синей щеке. Он не мог вынести этого вида. Он хотел стереть отметку, вернуть ее, аннулировать. Поэтому он снова ударил ее.

Она не двинулась с места. «Это не больно», - пробормотала она.

Он крикнул: «Если я демон, я буду относиться к тебе как к одному из них. И не смей плакать передо мной! »

«Кто вас просил зайти сюда? Это моя комната."

Она не должна была ему отвечать. Ее слова сводили его с ума. Когда он увидел ее лежащую перед ним в своем тяжелом беззащитном теле, он почувствовал, что способен разорвать ее на части. Он желал ей смерти; он хотел избавиться от воспоминаний о ней. Он швырнул окурок в балконную дверь и закурил другую, быстрыми громовыми шагами расхаживая по комнате. Был час радиопередачи, но он не мог прервать свой шаг. Он потеряет самый драгоценный час своего дня, моменты, которых он с нетерпением ждал с тех пор, как открыл глаза этим утром. И все из-за нее. .. Матильды. . . Беллы. . . Его желание броситься на нее не покидало его. Ему хотелось бить ее все сильнее и сильнее, пока он не избавится от разъедающего нарыва, который пульсировал в его кишках. Но он видел, как она подняла руки и закрыла лицо. Ее мягкие нежные руки; Казалось, они были не из плоти и крови, а были похожи на две прозрачные оболочки сердца. Он видел, как они бродят по клавишам пианино. Они очаровали музыку из бездны настоящего момента. Он был вынужден поднять их, прижать к себе, как если бы они были двумя ранеными птицами, выпавшими из своего гнезда. Нет, он хотел, чтобы они ухаживали за ним и вылечили рану, гноящуюся внутри него.

«Что тебе от меня нужно?» - извиняющимся тоном спросил он. «Неужели я такой монстр? Мы должны считать свои благословения. Людей выгоняют из гетто ... тысячами. Никто не знает куда. У тебя есть безопасный дом ... кровать. Разве это не так уж плохо? И мы еще не знаем, чем будет конец. .. Почему вы ведете со мной эту детскую войну? » Он сел рядом с ней, но она была слишком жесткой и слишком холодной, чтобы он мог попытаться прикоснуться к ней. «Ты помнишь, как раньше было между нами?» Он умоляюще посмотрел на нее. «Не лишайте меня мужества. Поверьте, мне нелегко. Наконец он осмелился взять ее руки в свои. Но ее руки, казавшиеся такими мягкими и нежными, были твердыми, сильными, приклеенными к ее лицу. Он оторвал их силой.

Она уставилась на него взглядом, от которого внутри все застыло. «Для чего ты привел меня в этот мир?» - прошипела она, яростно кусая ногти. «Это ты во всем виновата… во всем… во всем…» - завыла она. "Ненавижу тебя! Я не хочу быть евреем! Я совсем не хочу им быть! »

Самуил выскочил из комнаты и побежал во двор. Юния вышла ему навстречу. Они скрылись за стеной в подвал. Он запер за собой дверь, вынул из-за балки фонарик и подошел к груде опилок. «Слишком поздно ...» - прошептала Юния. Он уловил упрек в ее голосе. Радиоприемник не стал раскапывать, а сильно повалился на кучу, прислонившись головой к коленям. Юния села рядом с ним. Ее свежий теплый голос донесся до него в темноте. Она сказала: «Мне казалось, что как женщина-полицейская у меня будет шанс не дать детям вырасти ворами. Но правда в том, папа, что дети, которые крадут картошку, когда голодают, не воры. Я тоже ... Я воровал. .. и не особо считал себя вором. И как только наденешь форму, сразу почувствуешь себя праведником и справедливым, хотя сам ведешь себя как зверь. Я бы даже ударил их. Да, ваша дочь, благородная сионистка. Теперь, в темноте, я могу вам это сказать. Так что мне пришлось освободиться. Быть одним из них и при этом держать руки в чистоте невозможно ». Каждое слово, произнесенное Джунией, было похоже на каплю масла в огне, бушующем внутри Самуила. Ему хотелось задушить и ее, и ее слова. Чего они все от него хотели? Почему они пытались отравить каждое мгновение его жизни? Даже здесь, в подвале, для него больше не было покоя. Он был готов уйти, но она схватила его за руку. «Давай останемся еще на несколько минут. Здесь тихо, приятно поговорить. . . Здесь, в подвале, мы ведь разные люди, не так ли? Вы заметили, что я здесь никогда не смеюсь? Не то чтобы мне грустно. . . Почему ты ничего не говоришь? О чем ты думаешь?"

Он вскочил на ноги: «Пойдем, убираемся отсюда!»

Она последовала за ним до двери, потянув его за рукав: «Папа, что случилось?»

Он стряхнул ее руку: «Ничего не произошло, оставьте меня в покое, всех вас!» Как только они вышли на улицу, он бросил ее и выбежал на улицу. Он знал, что Юния следует за ним, он слышал звук ее шагов. Он остановился, повернул голову назад, и его взгляд застрял в глубине ее глаз. «Почему ты бежишь за мной?» - прорычал он.

«Я знаю, куда ты идешь», - спокойно сказала она.

"Вы уверены?"

«Да, уже давно».

«Тогда скажи мне, чтобы я тоже знал!»

Ее черные глаза пронзили его в темноте. Ему казалось, что он смотрит на себя этими глазами. Он хотел что-то сказать - чтобы сохранить целостность своей жизни, которая вот-вот рухнет. Но она уже отвернулась от него. Улица и тьма поглотили ее. Он стоял как вкопанный в том месте, где остановился. Не имело смысла делать шаг ни в каком направлении. Что знала Джуния? О Сабинке? Это все? Все и более чем все. Она никогда не простит ему, потому что он никогда не простит себя. А если так ... если так ... то почему бы не съездить на Сабинку? Он двинулся в сторону моста. Он едва мог дождаться, чтобы добраться до дома Сабинки - и все же он не мог ускорить свои шаги. У него было время, много времени. Всю ночь. Этой ночью и всеми остальными ночами ...

Доехав до Марысина, он повернул домой. Перед воротами стоял маленький Ирисковый Человек с коробкой конфет на шее. «Купите лекарство для сердца, мистер Цукерман», - предложил он. Рассеянно Сэмюэл полез в карманы за пфеннигом. «Сразу положи это в рот», - посоветовал человечек, протягивая ему конфету.

Сэмюэл расхаживал перед домом, посасывая конфету. Он увидел несколько человек, груженных рюкзаками и мешками, направлявшихся к мосту. Мысль об Адаме Розенберге пришла ему в голову. Он давно его не видел. Адам больше не приходил, чтобы получить от него деньги. Что с ним произошло? Самуилу стало любопытно. Казалось важным знать ответ на этот вопрос. Было важно, чтобы он это знал. Если Адам уехал с транспортом или он лежал где-то больной, умирая, было ли это указанием на то, что он, Самуил, вышел победителем в борьбе между ними? Что это была за борьба? Почему они ненавидели друг друга? Возможно, потому, что они очень похожи друг на друга. На самом деле это были два брата, вырезанные из одной формы. Самуил увидел в уме отвратительное дряблое лицо Адама, и по его спине пробежала дрожь. Как такое возможно? Они были такими разными по своей природе. За исключением одного: отвращение, которое он испытывал к себе, напоминало отвращение, которое он испытывал к Адаму. Адам не испытывал к себе отвращения - и в этом-то и заключалась разница между ними. Если это было так, то еще не все потеряно. Искра света, какой бы скудной она ни была, все же не позволяла тьме сомкнуться над его головой. В приливе энергии он очнулся и направился обратно к мосту. Он торопился увидеть не Сабинку, а Моше Эйбушица.

Кухня квартиры Эйбушиц была заполнена молодыми людьми. Книги переходили из рук в руки. Шепот слов шелестел вместе со звуком перелистывания страниц. Моше вскочил со стула у плиты, недоуменно глядя на Самуила. На плите стояли две тарелки с супом и тарелка с несколькими ломтиками репы. За одной миской сидела Блюмка Эйбушиц и ела. Сэмюэл отступил к двери. «Я приду в другой раз ...»

Моше преградил ему путь: «Почему? Я закончил есть. Рэйчел находится в другой комнате со своей группой, но давайте спустимся ... "

«Я буду ждать тебя снаружи», - быстро сказал Сэмюэл и ушел. Он ждал Моше у ворот, глубоко вздохнув. Матильда сказала, что сегодня был прекрасный день. Он вообще этого не заметил. Он вспомнил, что в первые дни в гетто он был чрезвычайно чувствителен к погоде. Ему нравилось смотреть на вишневое дерево, на красоту Марысина. Однако в последнее время целые дни проходили, а он не наслаждался их солнечным светом, их светом.

Моше присоединился к нему, и они пошли на соседний задний двор, где они могли сесть у водяного насоса. Моше хромал. Он казался более худым и сутулым, чем когда Самуил видел его в последний раз. Как только они подошли к водяному насосу, Моше сразу же сел. Мертвая сигарета, скатанная из плотной коричневой бумаги, прилипла к его губам, слегка тряслась, пока он говорил. «Как вы видите меня здесь, Цукерман, я не спал последние три ночи. Число эвакуированных достигло сорока тысяч. Моя сила покидает меня, и страх сильнее властен над слабым телом ... Скажи мне, что за всем этим скрывается? »

Сэмюэл пожал плечами. «Я знаю то же, что и ты».

«Разве вы не спрашиваете Старика? Разве ваша партия не требует, чтобы вам сказали, куда отправляют людей? »

"А как насчет вашей вечеринки?"

«Два месяца назад мы послали товарища выяснить это. Она исчезла, как в глубокой воде ».

«А что, если бы мы знали?» Самуил предложил Моше несколько сигарет, а затем прикоснулся к его плечу: «Если вы получите« приглашение на свадьбу », сразу же дайте мне знать».

Сухая сигарета на губах Моше благодарно тряслась: «В тебе есть друг».

«У меня тоже есть друг в тебе».

Стало очень темно. Приближался комендантский час. Они провели вместе всего десять минут. Тем не менее, Самуил оставил Моше как человек, который признался и получил прощение грехов.

♦ ♦ ♦

На курорте Carpentry Resort работа шла нормально. Ревели машины, стон пилы смешивался со звуком падающего дерева. Только молоты и самолеты, казалось, потеряли ритм. Сэмюэл любил держать дверь в свой кабинет открытой, когда все идет гладко. Когда его ухо соприкасается с самым отдаленным залом, он будет хорошо работать. Новые идеи хотели бы, чтобы свежие необработанные доски располагались в его голове, прежде чем он изложил их на бумаге. В такие дни он не боялся ни немецких инспекций, ни визитов Румковского. Он не волновался, когда немцы хвалили его; он не отчаивался, если пресса не хвалила его или не проявляла достаточно дружелюбия. Он остался доволен результатами своей работы, и этого ему хватило. Однако в последнее время он держал дверь своего офиса на замке. Его раздражал нерегулярный ритм работы инструментов в руках рабочих. Иногда он паниковал и бегал с этажа на этаж, крича и угрожая. Напуганные рабочие смиренно принимали его атаки, и эта реакция побудила его пустить в ход кулаки.

Но больше, чем кричать и наносить удары, он не мог сделать. Сможет ли он их всех выбросить? Поэтому он бросился в кухню и устроил там скандалы, требуя, чтобы рабочие получали супы получше. Он проследил за тем, чтобы санитария на курорте улучшилась, и чтобы дети и физически слабые не выполняли тяжелые обязанности. Так и осталась ситуация. Не было смысла бороться с медлительностью, охватившей Курорт.

В ранние полуденные часы воздух усталости сильнее всего витал над курортом. День казался бесконечным. Суп, который рабочие ели на обед, служил только для того, чтобы усилить их тягу к еде и усилить усталость, вызванную теплым весенним днем. Окна в холлах были открыты. Перед ними завибрировал туман пыли. Грязный пот стекал по лицам, опущенным над машинами; каждый рабочий был столбом серости в густом знойном воздухе. Время от времени кто-то падал в обморок. Вероятно, один из тех, кому отказали в супе в наказание за какой-то проступок.

Единственными чистыми предметами в залах были деревянные доски. Они были подобны пластинам света, теплым по цвету и прохладным на ощупь. Пальцы рабочих держались за них. Их ноздри жадно вдыхали окутывающий их лесной аромат. Младшие рабочие играли с деревом, как дети. Гладя его, они предавались мечтам о свободе, которые в их сознании принимали образ столов, уставленных едой. Их пустые желудки превратились в бездонные мешки с острыми зубами. Мешки вбирали в себя обилие еды, никогда не наполнялись, а количество еды на столах не уменьшалось. Сны были о жевании, о глотании; каждый зуб был вилкой, ложкой, ножом. Пока сны не были пронзены криком начальника, и рабочие не схватили свои инструменты, делая вид, что работают.

Самуэль, который обычно приходил на курорт утром, решив победить всеобщую апатию, в эти часы сам сдавался ей. День был застойным - джунгли неподвижных минут, секунд, из которых невозможно было выбраться. Голос внутри него звал на помощь, отчаянно ища конец лабиринта, руку ясности, которая выведет его. Но в то же время он осознавал тщетность своего крика. Вместо яркой руки он увидел темную, уносящую его все глубже и глубже в безвоздушную безвременную плотность.

Перед ним на столе были разложены чертежи ящиков с боеприпасами. Заказ был на шестьдесят тысяч. Коробки не требовали особого стиля или высокого мастерства. Они должны были быть геометрически простыми, как коробки для яиц. Им не нужны были идеи и улучшения Самуэля, им не нужны были приятные цветовые решения. Они должны были служить только в качестве боеприпасов. Простая строгость рисунков прорезала подобный джунглям лабиринт мыслей Самуила. Он должен был составить инструкции для *Мейстеров,*дать им размеры, решить, какое дерево будет использоваться; он должен был рассчитать размер ежедневного производства и то, как разделить работу между цехами. Его глаза горели, веки отяжелели. Его сигарета догорала в пепельнице, ее дым смешивался с пыльной дымкой в ​​комнате.

Вошел полицейский, отдавая честь; "Г-жа. Румковский пришел к вам, герр комиссар.

Самуэль был один в комнате с Кларой. На ней был черный летний костюм и черная шляпа с большими полями; половина ее лица была закрыта тонкой вуалью. Ее глаза смотрели на него сквозь тонкую сетку и требовательно, и умоляюще. Она села напротив него, положила черную лакированную сумочку на стол и сняла черные перчатки. «Простите, что беспокою вас», - сказала она.

В его дремоте ее внешний вид казался нереальным. Он оттолкнул пепельницу с дымящейся сигаретой, словно желая освободиться от тумана и лучше разглядеть ее. Она была похожа на одетую матрону средних лет. Ее тонкие губы были прорезаны глубокими бороздками, расходящимися во все стороны, словно лучи отчаяния. Ее щеки, белые как мука, были похожи на дряблое замешанное тесто. Только взгляд, пронизывающий ее вуаль, был силен как в его требовании, так и в его мольбе. Он попытался подружиться с ней. «Это очень приятно, Клара. . . Хм. . . Миссис Румковски.

«Я не буду задерживать тебя надолго». Он уловил укоризненный оттенок забытого друга в ее голосе. «Он .. . Он не знает, что я здесь. Я ничего не могу от него вытащить. Он отказывается говорить со мной об этом. Но я ношу его имя, мистер Цукерман. Я должен знать ... Я разделяю с ним ответственность. Единственное место, где есть какая-либо информация, - это Эвакуационная комиссия. Я поговорил с ним и убедил его, что вам следует присоединиться к комиссии ».

Сэмюэл вскочил на ноги, полностью проснувшись. "Ты сошел с ума?"

«Вы должны. . . Мы должны что-то делать. Сорок девять тысяч евреев покинули гетто. Куда? Вы уговорили меня выйти за него замуж ... Вы должны разделить ответственность. Я не могу больше этого терпеть ». Ее глаза прожигали его.

Самуэль был вне себя, но изо всех сил пытался контролировать себя. «Оставь меня в покое, Клара. Я тебя ни в чем не уговорил.

«Вы должны помочь мне, мистер Цукерман!» Она протянула обе руки над конструкциями ящиков с боеприпасами.

«Что значит« помощь »? Что это за помощь? »

«Вы должны попасть внутрь ... узнать ... повлиять на них. Я сам не знаю. .. Находясь там, ты тоже мог связаться с ним. Он боится тебя ».

"Меня?"

«Он не выносит, когда упоминают твое имя. Он говорит, что вы его враг. Что вы его предали ».

"Я?" Казалось, его ударили молотком по голове. Он начал ходить по офису. Он не мог больше слушать ее. «Я ничего не понимаю. Оставь меня в покое!" - крикнул он в беспомощной ярости.

Она вскочила на ноги, схватив сумочку и перчатки. Она стояла напротив него через стол, измученная, измученная матрона с парой умоляющих глаз смотрела прямо в его. «Вы меня бросаете. Я тону."

«Я тону вместе с тобой».

Она подошла к двери и добавила: «Я не оставлю дело в покое».

«Я никогда этого не сделаю! Никогда!" - позвал он ей вслед. Он был один в комнате. По его лицу струился пот. Он чувствовал себя задыхающимся так, что не мог отдышаться. Он подошел к окну. Клара торопливо переходила двор. Мрачное привидение в кошмаре. Она исчезла, оставив после себя запах своих проникающих, едких духов.

Когда он покинул курорт, шел дождь. Освежающий игривый спрей. Улицы были заполнены рабочими, возвращавшимися домой. Звонили фляги, деревянные башмаки стучали по мокрому тротуару. Сгорбленные спины, опущенные плечи, склоненные к земле головы создавали впечатление, что освежающий дождь был кнутом. Мужчины, женщины и дети проходили мимо него, все похожие друг на друга. У всех был один и тот же взгляд, взгляд настороженный, как слушающее ухо, нюхающий, как нос; взгляд кроликов, чувствующих ловушку и ищущих побега. Шаги Самуила стали тяжелыми. На какое-то время он снова почувствовал, что его ботинки весят тонны. Он чувствовал каждую каплю дождя, как если бы это были резкие проникающие духи Клары, капающие на его череп. Во дворе, как обычно в это время суток, царила суматоха. Его приветствовали соседи. Все их лица казались одинаковыми. Он еле различал их, путая их имена. У всех были одинаковые впалые щеки цвета глины, одинаковые заостренные носы и выступающие скулы, одинаковые глубокие темные глазницы; а затем был этот отчаянный влажный взгляд.

Ужин, как всегда, он ел молча. В последнее время он приобрел привычку крутить тарелку, что-то вроде нервной игры. Матильда заговорила голосом, который, казалось, не мог найти своего должного регистра, звучал то тонким, то толстым, то громким, то низким. Юния взволнованно рассказывала о своей новой работе. Райзель ни на секунду не закрыла рот. Только Белла молча сидела за столом, как Сэмюэл. Вскоре он оставил их всех и пошел в свою комнату. Вскоре за ним последовала Юния. Несмотря на последнюю сцену на улице между ними, ее отношение к нему нисколько не изменилось; как будто она совсем забыла об этом.

«Товарищ Видавский передал мне сообщение для вас. Вы обязательно должны прийти на встречу ». Она держалась за его руку. «Ты пойдешь, папа?» Она улыбнулась, озорно подмигивая ему. И все же он знал, что глубоко в ее смеющихся глазах таилось предупреждение, угроза: ее суждение о нем.

Он стряхнул ее руку. "Я пойду." Он устал, но Юния сказала, что пора уходить, и что они могут пойти вместе - она ​​на собрание своей молодежной группы, он на заседание правления партии.

Дождь усилился. На Юнии не было пальто. Дождь омывал ее обнаженные руки, лицо и короткие черные волосы. "Чудесно!" она промурлыкала от восторга. «Весенний дождь - самая прекрасная вещь на свете. Вы чувствуете себя растением, которое поливает вас дождем, чтобы вы росли. Хотелось бы в такой дождь бегать босиком. Возможно, сделаю, как только доберусь до Марысина. Я выведу всю свою банду наружу. Она посмотрела ему в глаза. "Ты слушаешь?"

"Я слушаю." Он не мог выносить ее взгляда.

«Тебе должно быть глупо то, что я говорю…» - засмеялась она. «Вы даже не чувствуете дождь, не так ли? Я знаю. Вы не чувствуете. .. жизнь. И я практически могу потрогать его руками, так сказать. Вот почему я считаю, что сегодня мы должны забыть об истории сионизма. Потому что бегать босиком под весенним дождем - лучшая форма сионизма ». Она потянула его за руку. «Почему ты такой тяжелый? Пойдем, беги со мной. Ты все еще можешь бежать? » Он освободился от ее руки. Он ничего не мог с собой поделать, ее дружеские слова душили его. Струи воды омывали ее живое лицо. «Вы похожи на Атласа, несущего на плечах весь мир. Старый Атлас, почти раздавленный тяжестью. Папа ... Грешно быть молодым и вести себя как старик. Грех даже против партии. С радостью кажется, что легче ... »

Сэмюэл криво улыбнулся. "Радость? Я давно не слышал это слово ».

«Потому что ваши уши заблокированы!» Гром прокатился по небу. Она потрясла его за руку. "Гром! Это разблокировало ваши уши? Ты побежишь со мной? »

«Беги, если хочешь».

Она помахала ему и убежала. Он проследил за ней глазами. Ее тонкое обтягивающее платье танцевало перед его глазами под дождем. Она двигала блестящими руками; ее голые ноги словно парили в воздухе. Его сердце начало биться в ритме ее галопа. Ему не хотелось бежать за ней, но он чувствовал, что движется рядом с ней, там, вдалеке, рядом с руками света, которые, возможно, могли бы вывести его из пут джунглей. Однако сзади он почувствовал, как руки тьмы сдерживают его - руки Дамы в Черном. Ее духи лились с неба, обжигая его ноздри.

Члены сионистского координационного комитета встретили Самуила удовлетворенным шепотом. Судебное разбирательство уже началось. Председательствовал молодой товарищ Видавский. Он был основным поставщиком тайных новостей для вечеринки, поддерживая тесный контакт со всеми радиослушателями в гетто. Самуил искал его всякий раз, когда у него возникали проблемы с приемником. Не раз он чувствовал себя *хедером*в присутствии молодого Видавски. Видавски четко знал, чего хочет и что делает.

Обсуждалась возможность, а точнее невозможность организации сопротивления немцам. Число депортаций достигло пятидесяти тысяч. Контакты между сионистской партией и пресессом были прерваны. Пресесс делал все, что в его силах, чтобы сохранить ядро ​​сионистской организации нетронутым, но он не позволял ни одному сионистскому лидеру приближаться к нему. Он ни слова не сказал о судьбе депортированных, и партии не удалось найти контакта с внешним миром. Евреи, которые были связаны с *Крипо или*гестапо, также не давали никаких намеков, или, возможно, они тоже не знали об этом. Шел четвертый месяц «акции». Единственное решение, казалось, заключалось в том, чтобы найти личный контакт с Presess, потребовать, чтобы он раз и навсегда открыто рассказал то, что он знал.

Все взгляды обратились на Самуэля, когда Видавски обратился к нему. «Вы единственный, кого Румковски считает своим личным другом. Вы должны поставить этот личный контакт на службу обществу ». Товарищи одобрительно кивнули, хотя Видавски быстро поправил себя: «Возможно, я неправильно выражаюсь, Цукерман. Я имею в виду, что тебе следует воспользоваться своей дружбой с Presess, чтобы достучаться до него. Но как только вы встретитесь с ним лицом к лицу, вы перестанете быть частным заступником и станете нашим представителем ». Видавски почесал голову карандашом, слабо улыбаясь. «Не будем обманывать себя, товарищи, у нас довольно необычная ситуация. Взять хотя бы коммунистов или бундовцев. .. Между ними и Presess есть четкое разграничение. Но не между нами и им. Он считает себя одним из наших, и все же мы должны прибегнуть к этим средствам, чтобы добраться до него ».

Г-н Зиберт, судебный советник пресесса, которого пресесс тоже в последнее время отказался видеть, счел необходимым произнести речь в защиту старика.

"Что вы хотите, чтобы он сделал?" он заключил. «Стоит ли ему сейчас играть в демократию? Созвать парламент и посовещаться с его министрами? Разве мы не понимаем , что если дорога сопротивления закрыта для нас, нет другого пути , чтобы выбрать , но .. . тот, который он выбрал? " Речи Зиберта в прошлом слушали с небольшим вниманием, так как он мог с одинаковым воодушевлением отстаивать две противоположные точки зрения. Однако в последнее время он мало говорил на собраниях, а когда говорил, ему уделялось все внимание, как если бы сам Presess говорил через его рот. Потому что, несмотря на то, что они поверили ему, когда он сказал, что пресессы отказались его видеть, не было никаких сомнений в том, что он был единственным, кто знал, что готовится в котлах на Балутер-Ринг.

Речь Зиберта вызвала дискуссию о роли Presess. Было темно, и дождь, омывающий оконные стекла, казался черным как смоль. Снова Самуил почувствовал себя потерянным в джунглях. Буря рвала самые корни жизни. Гром, как эхо ссорящихся голосов, прорезал путаницу, оставив после себя еще более глубокую тьму, еще больший хаос.

Всю ночь он беспокойно ворочался в постели. Был в отпуске в Татрах. Воздух был прохладным и свежим; солнце освещало заснеженные горные вершины. Он катался на лыжах по белому полю, мягкому и гладкому, как стол. Игриво взмахнув телом, он нацелился на встречные холмы. Он невесомо парил над ними, радуясь легкости своих ног. Потом он понял, что не просто движется вперед, а убегает. Его ноги становились все более тяжелыми. Его разум стал тяжелым. Он повернулся и увидел на лыжах женскую фигуру. На ней был черный лыжный костюм и черная шляпа. Он сразу узнал ее и прибавил скорость. К нему приближалась высокая гора. Черная фигура спускалась с вершины прямо к нему. «Я догнала тебя через спину», - сказала она. «Вы должны помочь мне ... лавина похоронила ...»

Он хотел спросить ее, что похоронила лавина, но он только поклонился ей: «Прости меня. . . Мои дочери ждут меня дома ». Он оставил ее, спеша обратно через поле. Поле было пусто, как белая пустыня. Он не смог найти дорогу назад. Он поспешил быстрее. Он упал. Его лыжи треснули и сломались. Он беспомощно огляделся и заметил, что к нему приближается маленький лыжник в форме горной полиции. «Он выведет меня из пут, - сказал себе Самуил.

У маленького лыжника было мальчишеское лицо, и он забавно выглядел на своих гигантских лыжах. Он сказал Самуилу: «Ты должен помочь нам ... Лавина похоронила ...»

Самуэль пришел в ярость. «Ты горячая голова! Разве ты не видишь, что мои лыжи сломаны? Что я потерялся? Мой дом должен быть где-то здесь, а его больше нет ».

Перед ним появился Моше Эйбушиц. Он сидел на огромном ледяном водяном насосе и курил сигарету. «Худшее для меня - разделить буханку хлеба, мистер Цукерман. Десны начинают болеть из-за тяги ... », - сказал он.

Маленький лыжник не позволял Самуилу слушать слова Моше. «Поторопитесь, вы должны помочь нам», - убеждал он его.

Моше снял деревянные туфли и протянул их Самуилу. «Вы моя опора», - сказал он. «Вот, возьми мои лыжи».

Все существо Сэмюэля взорвалось криком: «Где мой дом!»

«По ту сторону лавины», - ответил маленький лыжник, похожий на Видавского.

Этот сон во многих вариациях повторялся снова и снова на протяжении всей ночи. Утром вошел Райзель, чтобы разбудить его. «Пламя!» она крикнула: «Мистер Цукерман, вставай скорее! У тебя есть приглашение от *Крипо! »*

♦ ♦ ♦

Дожди длились несколько дней. Облака, как тяжелые серые пузыри, наполненные водой, взорвались над гетто. Затем наступило утро, когда мешки от дождя были пусты. Они съежились, скатились и уплыли, как эскадрилья, выполнившая свою задачу. Небо стало голубым, свободным, сияющим сиянием ослепительных апрельских дней, так подавляя все своей яркостью, что ничего не оставалось, как смотреть на окружающий мир прищуренными глазами, едва защищавшими от яркого света.

Именно в один из этих дней в пышных садах *Крипо*родилось новое поколение муравьев *.*Молодые травинки шептали первые звуки, которые должны были услышать новорожденные муравьи: *«Ки тов*... Это хорошо ...» Для жителей муравейника этот сад олицетворял вселенную в ее безмерной бесконечности. Более смелые и любопытные муравьиные особи могли дотянуться только до кирпичной стены, преграждавшей им путь. Их королева, у которой были крылья и использовавшая их, чтобы взлететь со своим возлюбленным в воздух во время их медового месяца, была единственной, кто имел возможность увидеть весь забор сада. Но она была так влюблена, что все, что она когда-либо смотрела, было черное тело ее осеменатора. В конце концов, у муравьев были дела поважнее, чем измерить площадь сада. Их интересовал капустный лист, под пологом которого они жили. Здесь их предки однажды нашли огромную пуговицу, упавшую с рясы монаха, которую они превратили в краеугольный камень своей общинной обители.

Но это новое поколение муравьев, как и любое другое, имело ряд отважных бунтовщиков, которые любили идти своим путем и искать ответы на вопросы, которые их сбивали с толку. Они отказались подчиняться своим наставникам и отправились взбираться на соседнюю кирпичную стену, покоряя кирпич за кирпичом, пока не оказались на краю какой-то пропасти. Они смущенно крутились вокруг него, пока не наткнулись на что-то, призывно сияющее на солнышке. Ползать по блестящей поверхности было скользко, но зато приятно и интересно. Молодые муравьи достигли острого края гладкого плато, которое, конечно же, было оконным стеклом. Теперь он был покрыт трещинами, похожими на дорожки. Один за другим муравьи протиснулись сквозь щели, а затем сползли по другой стороне гуськом. Здесь было темно, жарко и жутко. Испугавшись, муравьи начали искать выход, но чем отчаяннее они искали, тем ниже спускались и тем мрачнее и страшнее становилось место. Наконец они достигли земли.

Однако это была не такая мягкая земля, как снаружи; это было твердо и сухо. И вдруг что-то преградило им путь. Плотность. Ослепленные, сбитые с толку муравьи запутались в странных нитях. Перебираясь с одного на другой, они заблудились внутри них, затем снова всплыли, пока не оставили позади лес человеческих волос и не начали гулять по влажному-теплому желтоватому холму, пересеченному рядами борозд. В конце борозды выпуклая синяя труба пульсировала, как какой-то трепещущий корень: опухшая вена на лбу человека. Муравьи начали спускаться по двум наклонным возвышениям, которые двигались вверх и вниз, испуская ветер: человеческий нос. Оттуда они пересекли впадину двух щек, достигнув мягкой вкусной пены, покрывающей человеческий рот. Некоторое время они копошились над ней, впитывая незнакомый напиток. Потом они услышали хрип и снова испугались.

Через желтоватую округлость, покрытую колючим, похожим на иглу лесом - человеческую четырехдневную бороду - муравьи спустились в долину, которая была человеческой шеей, и достигли покачивающейся поверхности, покрытой мягкими вьющимися волосками-водорослями: мужской груди. Долгий и увлекательный марш по коже и ткани, наконец, привел муравьев к точке, где они могли двигаться в одном из двух направлений: вдоль двух расставленных человеческих ног. Вместо этого они предпочли спуститься прямо из живота в глубину между двумя ногами - и внезапно они потеряли землю под своими муравьиными ногами, оказавшись в воде, которая была липкой и красной - в глубоком море человеческой крови, сочащейся сквозь ткань. между бедер. Муравьи не были созданы со способностью плавать в человеческой крови. На мгновение они задрожали. Наконец они утонули. Все, что они видели на своей долгой и дерзкой дороге, утонуло вместе с ними.

Сэмюэлю Цукерману повезло. Он обманул герра Саттера. Он дал ему адрес на улице Нарутовича, позволил вести себя трем *штурмовикам, отвел*их в свой бывший подвал - и, наконец, пришел с пустыми руками. За это он заслужил, чтобы его прикончили на месте. Но у него были друзья, которые заступились за него, в частности человек *Крипо*, Адам Розенберг, который использовал свое влияние на герра Саттера и герра Шмидта, чтобы выиграть жизнь своего бывшего друга.

«Делайте с ним все, что вам угодно, - умолял Адам герра Саттера, - но не убивайте его. Потому что Цукерман за всю свою жизнь даже не знал приличной зубной боли. И, на мой взгляд, существует такая жизнь, которая хуже смерти. . . » Голос Адама звучал откровенно и убедительно. По этой причине он промолчал о радио. Он хотел, чтобы Самуил жил жизнью, которая была хуже смерти, и хотел засвидетельствовать это.

Герр Саттер позволил Адаму убедить его своими аргументами. В конце концов, он с ним согласился. Сам Саттер, как правило, получал больше удовольствия от игр со своими жертвами, чем от того, чтобы добивать их на месте, что было все равно, что проглатывать восхитительный кусок пищи, не пережевывая и наслаждаясь ее вкусом.

Помимо Адама, от имени Самуила вмешались герр Румковски, а также *Gkettoverwaltung*и сам герр Бибоу. Трое, герр Саттер и герр Бибоу были смертельными врагами, неспособными договориться о том, как распределять свою добычу. Самуэль, однако, возглавлял одну из важнейших производственных отраслей гетто, и заменить его было не так-то просто. Кроме того, герр Бибоу и герр Румковски в последнее время не были лучшими друзьями. Старый еврей начал действовать герру Бибоу на нервы. В этот момент, однако, было хорошей политикой - оказать Старику личное одолжение. В эти дни эвакуации как *Gkettoverwaltung, так*и *Kripo были*заинтересованы в том , чтобы «действия» проходили упорядоченно, чтобы не пострадали доходы гетто. Таким образом, г-н Румковский успешно заступился за г-на Бибоу, а г-н Бибоу - за *Крипо.*У такого еврея, как Цукерман, был целый набор серебряных изделий плюс несколько единиц лучших английских материалов. Этими подарками герр Бибоу подтвердил свое выступление. Несколько других евреев- *крипо*с «еврейскими сердцами», тронутые мольбами дочерей Самуила, также пожертвовали несколько существенных подарков.

Смягченный таким сильным давлением, исходящим со всех сторон, и твердо помня о благе Отечества, герр Саттер и его сотрудники соизволили сохранить жизнь Самуила и прикончить его только как мужчину, искалечив его половой орган.

В тот день, когда Самуил уехал на *Крипо,*Матильда и ее дочери двигались, как пьяные. Райзел, никогда раньше не терявшая головы, бродила из одной комнаты в другую, не зная, что делает. «Только пусть он не станет калекой», - молилась она. «Пусть он останется только комиссаром», - фыркнула она.

Первые несколько часов они ждали Самуила на балконе. Днем все вышли на улицу. Матильда шагала перед мостом, Юния пошла к лидерам группы, Райзель бросился к Черч-плейс, чтобы следить за Красным домом издали, а Белла бесцельно бродила по улицам, надеясь, что по возвращении домой она найдет там Сэмюэля.

На следующий день милиционер принес записку о том, что следует прислать заключенному чистое белье. Он приказал им каждое утро приносить в *Крипо*такую ​​же посылку с нижним бельем . На следующий день сестры отнесли посылку в *Крипо*. Им вручили еще одну посылку и приказали уйти.

«Разверните его, возможно, внутри есть записка», - сказала Белла.

Юния, прижимавшая сверток к груди, заметила, что ее пальцы стали розовыми и липкими. Она остановилась. Подбородок у нее трясся. «Мы его больше не увидим», - заикалась она.

Именно Белла собрала свое мужество: «Я уверена, что мы увидим его».

Вернувшись домой, Юния бросила сверток на кухонный стол. Райзель протянула свои покрытые прожилками руки и развернула сверток, как будто это был паек из мясной лавки; она оторвала бумаги, и они увидели груду красных тряпок. Красный цвет крови Самуила отражался в глазах Матильды и ее дочерей, смывая все покровы отчуждения между ними. Они бросились к двери. Как будто одним ухом все трое поняли призыв Самуила о помощи, который, казалось, достигал их со всех улиц и задних дворов. Их умы были острыми и быстрыми. Матильда побежала к Presess, Белла и Джуния нашли адреса двух *крипо-*мужчин, Вигоды и Гланца.

Мистер Вигода был массивным веселым парнем, который видел намек на шутку во всем, что он слышал. Он любил смеяться. Он принял Беллу сидящей в обтянутом бархатом кресле с парой меховых тапочек на ногах и сигарой во рту. «Что ты плачешь, глупая корова, а?» Он моргнул своими озорными глазками. «Ваш папа не потеряет ни единого волоса с головы, положитесь на меня. Откуда вы знаете, что то, что вы видели на его нижнем белье, было кровью? Может, он пролил на нее борща. Это не приходило вам в голову, не так ли? Понимаете, ваш папа идиот. ... подшучивать над Саттером ... вести его в пустой подвал. Но с другой стороны, я очень уважаю вашего папу. Он настоящий наследник самого Шмуэля Ихаскеля Цукермана, а? Великая родословная, важная родословная! Ха-ха, так чего же ты плачешь, глупая корова? Я не еврей что ли? Ты думаешь, у меня каменное сердце? Мне становится плохо, когда я слышу о еврейских трагедиях. Ха-ха, поверьте мне, честно. Конечно, я постараюсь спасти твоего папу. Как вы думаете, зачем я в *Крипо*? Конечно, это будет вам чего-то стоить ... Ничего не будет. Заплачу из собственного кармана, смазывая деньги ... Потом я обсудю это с твоим папой.

На первый взгляд Джунии меньше повезло с ее мужчиной- *крипо*, герром Гланцем. У герра Гланца совсем не было чувства юмора. Он со смертельной серьезностью отнесся к своим обязанностям стула. Он вел себя так, как если бы у него было все гетто в кармане, и ему часто казалось, что он имеет то же слово, что и каждый немец, с которым он сотрудничал. «Эх, евреи, евреи», - с тревогой покачал он головой. «Они бы предпочли умереть, но продолжали поклоняться Золотому Тельцу».

«У моего отца нет денег», - Джуния посмотрела ему прямо в глаза с притворным уважением.

Герр Гланц властно покачал головой. «Тогда зачем он привел нас в город? Кого он дурит?

«Спасите моего отца, мистер Гланц!» Юния подошла к нему, умоляя его с искусственной покорностью. «Вы самый важный человек в гетто. . . Вы и Лейбель Вайнер. Говорят, что даже Саттер можно намотать на палец. Отец тебе отплатит, вот увидишь. Война не будет длиться вечно ». В ответ на свое ложное смирение она увидела искорку восторга в его глазах и поняла, что выбрала правильный тон.

Герр Гланц оставался серьезным. «Вы прекрасная девушка», - заметил он. «Но я ничего не делаю зря».

«Не дай бог, мистер Гланц. Я не прошу тебя об этом. Клянусь тебе, как только отец ...

Он измерил ее взглядом прищуренных нетерпеливых глаз. «Я не беру никаких чеков. Отец заслуживает того, чтобы за него платили наличными ».

Она сделала вид, что не понимает предложения. "Хороший . . . хорошо, - криво улыбнулась она. «Скажи мне, сколько ты хочешь».

«Не сколько, а что я хочу, ты должен спросить», - ответил он, подходя к ней с протянутыми руками.

В глазах Юнии вспыхнуло пламя. Ее маленькая сильная рука взлетела прямо на неподготовленное лицо герра Гланца. Она ударила его ногой по голени. «Мой отец предпочел бы умереть, собака!» Она плюнула ему на кончик носа и выбежала. Несмотря на это, герр Гланц рассказал о Самуиле своему другу, могущественному Лейбелю Вайнеру. Герр Гланц и Лейбель Вайнер подсчитали, что их влияние стоит использовать.

Именно Матильда добилась наибольшего успеха в своих вмешательствах. Пресесс, когда он услышал историю о Сэмюэле, забыл обо всем, что он имел против него. Он оставил работу, чтобы спасти самых преданных и самых важных из своих комиссаров.

Ночью мать и дочери спали в одной постели, прижавшись друг к другу. Они лежали без сна долгие часы, думая, скучали по Самуилу и с трепетом ждали утра. Во сне они видели красные бассейны с водой, и их сердца растворились в страданиях Самуила.

Через две недели Самуэля отпустили. Румковски доставил его в больницу на машине скорой помощи. Ребра Сэмюэля были сломаны, а рана в его половом органе была инфицирована. В больнице тело Самуила замуровали стеной, и за несколько дней до Пасхи его отправили домой. Во дворе был предпраздничный шум. Люди кошерили кухонную утварь, мыли столы и стулья, ведра и тазы. Санитарная повозка не могла пройти по узким дорожкам между слоями земли, и Самуила несли на носилках. Соседи уставились на него. Он махнул рукой им и вишневому дереву, которое сбрасывало свои цветы. Когда они поднялись наверх, он попросил вынести его на балкон.

Матильда не могла оторвать глаз от лица Самуэля и его седой головы. И снова перед ней был другой Самуил, который не был ни пришельцем с улицы Нарутовича, ни из гетто. Изменилось даже выражение его глаз. Его брови были странно заострены, а его бесформенный рот, иногда искривленный в гримасу, которая должна была быть улыбкой, обнажала темную дыру, оставленную двумя выбитыми передними зубами. Лицо Матильды было залито слезами. Она оплакивала другого Самуила, незнакомца, который был жестоко красив, которого она любила всю свою жизнь, - своего мужа. Человек, лежащий на носилках, на балконе, был не ее мужчиной, совсем не мужчиной.

«Не плачь, Мадзиу», - умолял он ее незнакомым голосом, хриплым, неприятным, присвистывая сквозь дырку между зубами.

Она не могла перестать плакать. И поэтому она со слезами на глазах служила ему, не позволяя Рейзелю или детям помогать ей. Было странно, что Самуил никогда не принадлежал ей так сильно, как сейчас. Она позволила этому восприятию проникнуть глубоко внутрь себя. Ей доставляло странное удовольствие полностью владеть им и оставаться с ним наедине в течение многих дней. Время от времени ей хотелось познакомиться с новичком, это было бы большим утешением, подумала она. Но она не могла найти с ним общего языка.

То же произошло и с дочерьми. Они сидели у его постели и разговаривали с ним с притворной живостью, как будто хотели, чтобы их шум скрыл пустоту, отделяющую их тоже от вернувшегося человека. Казалось, что он был гостем, которого поместили в постель Самуила, пока отец, по которому они скучали, не мог вернуться. Они наблюдали, как Матильда кормит его маленькой ложкой, еда выливается из уголков его рта, а он беспомощно высунул язык, чтобы поймать ее, и их сердца сжались.

На второй день Пасхи к больному пришел сам Пресесс. Он подошел, растрепанный, тяжело дыша. Он бросился в комнату Сэмюэля прямо к кровати.

«Как долго ты собираешься так бездельничать?» он проворчал, трясясь

Свободная рука Самуэля. «Курорт ждет вас. Я жду тебя. Цукерман, не забывай, ты моя правая рука! » Матильда предложила ему стул, но он оттолкнул его. «Мне некогда сидеть!» Он коротко рассмеялся и склонился над больным. «Ты должен знать, что я спас тебе жизнь. Эти сукины сыновья, они бы тебя прикончили. Тебе все равно придется рассказать мне всю правду о том, как и что ... » Он махнул пальцами в лицо Самуилу:« Не волнуйся, в один прекрасный день я избавлюсь и от них, этих ублюдков, испорченных голубей! ” Его лицо стало мягче, голос хриплым: «Вы получаете дополнительную еду? Вам что-нибудь нужно? »

- Ничего, герр Пресесс, - тихо ответил Сэмюэл.

Румковски схватил стул, который он ранее отодвинул, и сел рядом с кроватью. «Весь мир против меня, слышишь?» - конфиденциально сказал он. «Каждый еврей думает, что он знает, как обращаться с немцами лучше, чем я. Мои так называемые друзья думают, что я недостаточно умно веду себя с Бибоу. Один говорит, что мне нужно больше льстить ему, другой говорит, что мне нужно больше смазывать его ладонь, третий говорит, что я слишком ему льстлю, что я слишком смазываю его ладонь. И вот они бьют меня по голове и отравляют мою жизнь. Я слишком велик в их глазах; Они бы с радостью понизили меня на голову и заменили бы, знаете с кем? С Лейбелем Вайнером! Да, не меньше, чем этот преступник, этот слуга гестапо! Он и его клика имеют в виду еврейское благо, а не я, вы понимаете такие рассуждения? Стоит ли удивляться, что Бибоу и *Ghettoverwaltung его*слушают? У него все идет гладко, а я как кость застряла у них в горле. Потому что я как пастырь, защищающий своих овец. Честно говоря, я на исходе, Цукерман. Столько работы, столько крови и пота я вложил в гетто, а вот они вырывают землю у меня из-под ног. Люди, идиотская мафия, что они знают? Что они понимают? «Дайте нам Вайнера!» они кричат. «Вайнер хороший, он помогает нам, он делает для нас вещи!» Он, человек *Крипо*, гестаповец, табуретка, он помогает! Как тебе это?" Румковски провел пальцами по растрепанной копне волос и поправил очки. Некоторое время он покусывал губы, взвешивая что-то в голове. Наконец он снова заговорил. «В голову моей жене пришла безумная идея. Она устраивает мне ад. Но с другой стороны, я считаю, что на этот раз она права. Вы знаете, чего она хочет? Она хочет, чтобы я поместил вас в комиссию по эвакуации. В конце концов, мне там не на кого положиться. Теперь ... Я имею в виду, что в твоем состоянии об этом не может быть и речи. Но, допустим, номинально, хотя бы для того, чтобы она перестала меня беспокоить ... Потому что, прежде чем вы даже сможете встать на ноги, «действия» прекратятся ».

Сэмюэл слушал большую часть монолога Пресесса с закрытыми глазами. Теперь он внезапно их широко распахнул, устремив взгляд на Старика. Он повернулся к нему, перекатываясь по всему своему закованному в литью телу. На его губах появилась белая пена. «Не смейте, герр Пресесс!»

Румковски наморщил лоб и обеими руками вытер внезапно покрасневшее лицо. «А если бы вы были здоровы, и я приказал вам вступить в Комиссию?»

«Не смейте, герр Пресесс!»

Румковски озлобленно покачал головой. "Я понимаю . . . Это означает, что то, что они говорят мне о тебе, правда. И я, идиот, не поверил им. Вы моете руки, не так ли? "

- Я их уже вымыл, - энергично прошептал Сэмюэл.

«А как вы думаете, что мне делать ... если немцы потребуют от меня. ..? »

"Я не знаю. Я только что закончил со своими собственными счетами ".

«Гетто вообще не входит в ваши счета, не так ли?»

«Что случилось с людьми, которых выслали из гетто?»

Румковски вскочил на ноги, как будто обгорел. «Это то, что вы хотите знать?» Ему удалось как раз вовремя поймать свои очки, которые соскользнули с кончика его носа. «Вы хотите знать и держать руки в чистоте, не так ли? В противном случае тебе не подходит, великий господин, но оставить грязь мне, а? . . а? Если это так, то вы присоединитесь к Комиссии на своей больничной койке! Они придут сюда. Вот как я хочу, чтобы это было. Да вот чего я хочу! Вы получили несколько ударов и дрожите в штанах? К вашему сведению, вся моя жизнь днем ​​и ночью находится в руках немцев. И никто не побежит рисковать головой ради меня, как я сделал ради тебя. Это благодарность за вашу жизнь, которую вы мне даете, за то, что все это время держал вас в лучшем положении? Ты меня трясешь! Ты! Ты!" Он бросился к двери, затем повернул голову к больному. - Вам лучше запомнить одну вещь, Цукерман. Только меня нельзя заменить! » Он остановился у открытой двери и некоторое время оставался там задумчивым. Затем, несколько успокоившись, он спросил: «Это твое последнее слово, Цукерман?»

«Не смейте, герр Пресесс!»

В тот же вечер Самуил сказал Матильде: «Тебе придется найти работу на курорте, да и Райзель тоже. Как только я смогу встать на ноги, я сделаю то же самое ». Он добавил со слабой улыбкой: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

Несколько дней спустя он раскрыл свой секрет о радио Матильде и Белле. «Каждый вечер мы будем спускаться вместе, чтобы послушать выпуск новостей, - сказал он, - и мы будем ...»

Юния прервала его. Она холодно и грубо сообщила ему, что радио пропало. В тот день, когда Самуил уехал на *Крипо,*она отнесла его своим товарищам, потому что думала, что кто-то проинформировал о Сэмюэле, и что теперь радио принадлежит партии. Самуил не двинулся с места. Он медленно опустил веки. Его бледные пальцы вцепились в край одеяла. Некоторое время он лежал неподвижно, как будто спал.

Затем он сказал, не открывая глаз: «Так лучше. . . Так безопаснее ... » Он больше ничего не сказал. В комнате было тихо. Воздух был душный, пропитанный неприятными запахами от постели больного, с дыханием странного седого посетителя в гипсовых доспехах. Конечности трех женщин в комнате тоже казались парализованными, как будто на них тоже были гипсовые повязки. Похоже, никто из них не мог произнести ни слова, которое могло бы облегчить тяжесть воздуха в комнате.

Время от времени к Самуилу приходили друзья. Мисс Диаманд узнала о нем и несколько раз перелезала через мост, чтобы увидеть его. Она попросила, чтобы ее оставили наедине с больным. Она сидела там часами. Самуил погружался в глубокий сон. Он также засыпает во время визитов соседей из руководителей и М *eisters*и его товарищей из партии , который принесет ему подарки еды.

Однажды утром Сэмюэл сказал Белле: «Иди к мистеру Эйбушицу ... Скажи ему, чтобы он пришел ко мне ...». и скажи ему, чтобы он взял с собой инструменты для бритья ».

Book Three 81

Глава пятая (записная книжка Дэвида)

Эвакуация окончена! Осталось шестьдесят тысяч. Партия уничтожена. Среди уехавших: «Муха», наш актер. Он был хорошим товарищем. Сколько работы он вложил в организацию наших вечеров, наших развлечений! Я ловлю себя. Я говорю «он был». Как жестоко. Все, что ускользает от наших глаз, может оказаться мертвым, особенно здесь, где человек так занят собой и конкретным окружением. Лучшее доказательство: депортация моего друга Марека. Наш треугольник, «Летучая бригада», разорван. Я иногда прохожу мимо дома, где он жил. Сначала мне постоянно казалось, что, войдя в его квартиру, я увижу его, его мать, его тетю Соню и его отца; что я найду там много молодых людей, толпящихся вокруг Марека. Но я пережил это. Глава под названием Марек окончена. Прощаться с ним было болезненно, а фальшивый юмор - невыносимым. Мне были противны мои «оптимистичные» последние слова к нему. Мы знали друг друга с детства, соревновались в учебе, вместе играли, обсуждали проблемы и вместе «спасали мир». В гетто мы помогали друг другу существовать, хотя бы тем, что другой был рядом. Сколько меня он взял с собой? Сколько себя он оставил со мной? Как я уже сказал, проходят дни и недели, когда он не приходит мне в голову. Нас больше не разделяет одна и та же судьба. Мы мертвы друг для друга, у нас нет ничего, кроме воспоминаний, которые забывают и вспоминают.

Мы должны быть в депрессии, но мы в гетто вне себя от радости. Депортации окончены. Теперь есть новая история: на нас нужно поставить печать. Моя семья пошла в комиссию немецких врачей, тоже проштамповали. Наш возраст от десяти до шестидесяти, в зависимости от обстоятельств. Врачи сидят за столом и осматривают пациентов за версту. Что из этого выйдет, никто не знает и никого не волнует в данный момент. Мать права. Она говорит: «Не беспокойтесь сегодня о завтрашних неприятностях. Слава богу, сегодняшних проблем хватит, чтобы волноваться ». Я ей подчиняюсь. Я нахожусь в хорошем настроении. Я думаю, что влюблен. И, *кроме того,*сегодня я выиграл тридцать *румки*!

Я начинаю верить, что в гетто могут происходить чудеса. Завтра мы должны были питаться только курортными супами, а здесь я разбогател за несколько часов. Весь вечер я играл с *румки.*Мама думала, что они фальшивки, но я проверил в кооперативе. Они первоклассные! Завтра идем за покупками на черный рынок. Мама разговаривает со мной «через шелковый платок». В конце концов, я не такой *уж шлемель*.

Но позвольте мне рассказать историю в некотором порядке. Я снова начал играть в шахматы. Сначала играл с соседями, или во время обеда в санатории. Но в последнее время меня начали разыскивать незнакомцы, так было и с сегодняшней игрой. Я резала листья петрушки с Авраамом, когда в нашу «резиденцию» вошел элегантный джентльмен. Его паштет сиял, как арбуз; он носил темные очки. «Здесь живет шахматист?» - спросил он.

Я ответил с гордостью и достоинством, что он действительно ответил. Я снял мамины фартук и освободил угол стола для шахматной доски. Джентльмен открыл портфель и вытащил свои шахматы. Многим игрокам нравится ходить со своими фигурами и доской, как будто это помогает выиграть игру. Я не против. Пусть это будет его набор, пока есть игра, в которую нужно играть. Джентльмен снял очки, и я узнал богатого мистера Розенберга, который когда-то жил в нашем дворе. Я не стал с ним разговаривать; мой интерес к нему ограничивался его качествами игрока. Он спросил меня, сколько я хочу за игру. Я сразу понял, с кем имею дело.

«Если вы проиграете, - решил он, - вы заплатите десять пфеннигов. Если ты выиграешь, ты получишь десять *румки ».*

Я моргнул, глядя на Авраама, который сказал ему: «Ты, должно быть, какой-то игрок, если сделаешь такую ​​ставку», и он взволнованно потер руки.

Гость открылся епископу. Моя стратегия игры в первую игру с незнакомцем, особенно когда я играю черными, состоит в том, чтобы оставаться в обороне и, таким образом, выяснить потенциал своего противника. Я даже не против проиграть первую игру. Это психологический маневр. Победитель становится уверенным в себе и начинает меня недооценивать. Он концентрируется на атаке и во второй игре ставит себе задачу только доказать, насколько быстро он сможет меня мат. Тогда я «невинно» начинаю защищаться, незаметно готовя свое наступление. Счет - один к одному. Мой противник злится на себя за то, что проиграл такому *шлемилу.*Третья игра становится интереснее. Амбиции вспыхивают. Но мой оппонент до сих пор меня не уважает. Затем, когда он проигрывает во второй раз, действительно идет война. Проблема только в том, что я сам часто недооцениваю своего соперника, забывая, что он тоже способен на психологические маневры.

Если не считать скромности, в гетто не так много игроков моего уровня. Однако на этот раз я встретил одного. Я действительно собирался проиграть первую партию, но он уничтожил меня за двадцать ходов, что было слишком быстро. С торжествующим смехом он взял у меня десять пфеннигов; и я пустился в путь, чтобы выиграть вторую игру. Я выиграл преимущество коня, но мой противник разработал хитроумную стратегию, чтобы улучшить свою линию защиты, и игра завершилась вничью. Остальные три партии я выиграл одну за другой, и герр Розенберг насчитал на моей ладони тридцать хрустящих *ромки*. Его лицо было красным как свекла. Я надменно спросил его: «Может, ты хочешь поиграть с моим братом?»

Розенберг собрал шахматы и надел темные очки: «Я вернусь, чтобы снова сыграть с вами!» - сказал он и выбежал.

В честь моей победы приготовили суп из двух ложек муки. Но пока я пишу это, я так голоден, что могу съесть быка вместе с его копытами. У меня урчит в животе. Пусть уже будет завтра, чтобы я смог сделать свой *ромкис*съедобным!

♦ ♦ ♦

Дома, вырытые из грязи и снега, кажутся сморщенными, грязными и черными от нечистот. Без пальто и шарфов люди тоже выглядят увядшими. Страшно смотреть на тонкие ножки детей, на желтые лица взрослых. Улицы и дворы, полные скелетов, движущихся при ярком солнечном свете. На фоне цветущей земли гетто, которая с каждой весной становится все более садовой, картина *высохших*человеческих костей кажется мрачной, особенно в Марысине, который сейчас называют *Царским Сиелло.*

Мое перерождение фантастическое! Я, связка костей, внутри стала как свекольный лист, сочная, теплая, влюбчивая. Как это случилось? Я не знаю и не хочу знать. Моя счастливая звезда подмигивает мне: «Больше ни слова!» как у того, кто украл сокровище. К черту мудрость и логику! У меня есть новый красивый блеф, который меня поддерживает. Да, я играю на флейте в оркестре тонущего Титаника. Воды доходят до шеи, никакая помощь не приходит ниоткуда - и я смотрю в пустое небо, играя в него бога, бога, которому небезразлично, который не даст мне утонуть. Мой Титаник тонет еще более трагично, чем другой, потому что шторм устроил не Бог, а Брат Мэн. Поэтому моя флейта должна играть мощнее, красивее, опьяняюще - и более обманчиво.

Философия вызывает у меня головную боль. Позвольте мне вернуться к своей невинности, к весне и любви. Ее зовут Инка. Она как свекольная веточка: маленькая, милая. У нее качающаяся походка; кажется, ее унесет легкий ветерок. Губы у нее, как бусинки *калинки.*Она смеется при звуке водопада. Она наивна, как ребенок, и набожна, как папа. Я ее Бог, и это объясняет, почему я сам не верю в Бога. Сам Бог не верит ни в каких других богов, кроме себя.

Мама Инки работает картофелечисткой там же, где и моя мама. Инка - одноклассница Рэйчел. Она работает в кооперативе. Других подробностей о ней я не знаю. Мы никогда не обсуждаем гетто, еду или политику. Мы не говорим ни о литературе, ни о науках, ни даже о любви. Мы вообще не разговариваем. Мы щебечем, как птицы. Бессмысленность, полная высшего смысла. Она худая, грудь круглая и полная, лицо круглое и розовое, руки мягкие и белые. Она красиво одевается, в веселые, разноцветные, крестьянские платья. На голове у нее треугольный шарф, завязанный узлом под подбородком. От нее пахнет полями и бутылями. Я никогда не устану целовать ее.

Я встретил Инку однажды, когда мама прислала меня вернуть репу, которую она одолжила у матери. Они живут в крохотной комнате, а часть их дома находится в коридоре. Где ее отец, я не знаю и не спрашиваю. Поднявшись по лестнице, я увидел Инку, сидящую на площадке, поставив ноги в таз с водой. Она их намыливала, сгорбившись, как белка. Она подняла ко мне голову, и я увидел ее вкусный *ротик калинки*. Мне захотелось положить руки в таз и намылить ее крошечные пальцы ног.

Поскольку погода стала такой приятной, мы проводим много времени вместе. Она приносит с собой огромный черный зонт и одеяло, и мы идем к Марысину. Ложимся в траве. Зонт защищает нас от солнца и от глаз людей. Однажды я сказал ей: «Думаю, я люблю тебя, Инка», но не помню, что она мне ответила. Я не помню, что она мне говорит или что я ей говорю. Мы цепляемся друг за друга и болтаем, напевая между поцелуями, между ласками. Наши прикосновения не горячие. Он прохладный, освежающий и легкий, совершенно не похожий на запах одной знакомой мне женщины. Мы никогда не замечаем, куда ушло время. Внезапно мы оказываемся в темноте и идем обратно, свернутое одеяло на моем плече, раскрытый зонтик на ее плече. Люди следят за нами глазами, смеясь. Мы смеемся над ними.

Весна 1942 года - какая весна! Пока существует мир, такого мая, наверное, никогда не было. Кажется, будто можно прикоснуться к свободе пальцами. Я чувствую это внутри себя. Колючая проволока кажется жалко слабой, как будто солнце вот-вот растопит их. Я чувствую благодарность и радость. Как хорошо, что немцы не властны над солнцем и, следовательно, не надо мной. Никогда раньше в жизни я не знал, что такое весна. Только теперь я знаю. Это не позволяет мне подчиняться настроениям дома, на улице или в гетто. У меня есть оружие: Инка и Марысин!

Мать снова раздражительна и сердита; ей невозможно сказать ни слова. Возможно, она что-то знает. Я не хочу ее спрашивать. Она бледная и худая и ложится спать, как только приходит домой с работы. Я полностью отвечаю за домашнее хозяйство, хотя Авраам помогает мне, чем может. Он повзрослел. Работает на Металлургическом Курорте, стал профессиональным токарём по металлу. Пыль токарного завода вредна для легких, но важно, чтобы он работал на курорте, особенно сейчас, после эпизода штамповки, на случай новой эвакуации.

Мы оба пытаемся облегчить уныние дома. Вчера Авраам вернулся с несколькими шутками из Курорта. Жена *шишки*говорит нищему: «Почему ты всегда подходишь ко мне?» Нищий отвечает: «Врачи приказывают. Он сказал, что если я наткнусь на еду, которая мне не вредит, я должен ее придерживаться ». Другая шутка касается врача, который говорит своему пациенту: «Вы страдаете новой болезнью, которая обогатит медицинскую науку». Пациент отвечает: «Что с вами, доктор? Я настолько беден, что сам нуждаюсь в сборе денег ». Третью шутку не помню. Я плохо рассказываю анекдоты. Авраам, однако, так хорошо разыгрывает шутки, что от смеха можно свалиться.

Но, как я уже сказал, я убегаю из дома и из двора, когда могу. Раньше мне нравилось вишневое дерево, но сейчас сидеть под ним неприятно. Треть соседей уехали. Есть много новых лиц. А люди нервные, сварливые. От шума можно было оглохнуть. Люди дерутся в очереди у водяного насоса или дерутся из-за заброшенных *дзиалков,*семейных реликвий депортированных. Теперь у нас есть парень, бывший преступник по имени Моше Грабиаз, который принял на себя управление задним двором. В гетто он какое-то время был полицейским, поэтому считает, что все должны ему подчиняться. Шалом знает его еще до войны. Он говорит, что до войны Моше не выходил из своего дома без оружия, и что его дополнительным занятием было забастовка. Во дворе он применяет кулаки при малейшей провокации, мстя соседям за все, что с ним происходит. У него есть маленькая девочка четырех лет, которая следует за ним, как маленькая собачка. Его жена больна, прикована к постели.

Такая же нервозность наблюдается и на улицах. Спокойная атмосфера дней после эвакуации осталась в прошлом. Воздух ценный, мягкий, а люди дикие. Перед кооперативами, овощным двором, общественными кухнями происходят ссоры и драки. Что удивительного в том, что я сбегаю?

Однако, несмотря на свой эгоизм, я несколько раз выполнял свои товарищеские обязанности. Выяснилось, что у моего друга Исаака не декальцинация костей, а туберкулез костей. Я пошел навестить его в больнице. Он не нуждался во мне, чтобы подбодрить его. Он весел, потому что его нет дома. Он сказал мне: «Теперь я как принц, о котором заботятся, балуют, и никто не требует часть моего хлебного пайка».

Мы могли бы открыть филиал нашей организации в больнице, так много наших людей там. Среди них наша актриса Гиттеле и ее жених Маник. У них красные круглые щеки, и они не выглядят больными. На них приятно смотреть. Но их глаза лихорадочно светятся. Я перехожу с кровати на кровать, рассказывая им новости или анекдоты, которые приходят мне в голову. Когда я смотрю на них, мое сердце поет, как птица. Я все еще здоров. Я могу ходить. У меня есть Марысин и Инка!

Вышло объявление о новом рационе питания. Прискорбно. Два с половиной килограмма картофеля, двадцать дека муки (на пятнадцать дека меньше, чем за предыдущие десять дней), десять дека *роггенфлокен,*ни овощей, ни консервов, ничего. Сегодня я поставил себя в очередь на дрожжи. Открылся магазин, где выдают только дрожжи. Говорят, что это средство от опухших ног. Главное: дрожжи съедобные.

На фронтах сражений тихо. Я потерял любопытство к новостям, или, возможно, я специально приглушил их. Я хочу освободиться от всего, что способствует моему разрушению. Я должен беречь свое хорошее настроение. В любом случае война должна закончиться в этом году. Возможно, я «строю воздушные замки», но я хочу жить и поэтому должен надеяться. Если я не слушаю новости, я также могу лучше блефовать над своими соседями и друзьями. Мое воображение работает без помех, так что я сам возбуждаюсь.

Мне снится на корабле отец почти каждую ночь. Я вижу его таким, каким он был до войны. "Какие новости?" он спрашивает меня. Я сообщаю ему хорошие новости, которые я придумал. Он качает головой, отказываясь мне верить. Вчера он упрекал меня: «Ты съел мой сахар и мой хлеб». Во сне меня начала беспокоить совесть, поэтому я попытался сменить тему. Я сказал ему: «Посмотри, как хорошо на улице, отец». У меня создалось впечатление, что мы в нашем загородном доме. Но отец сказал мне: «Как я могу выйти на улицу, если на тебе мои брюки и куртка? . . и ты взял мои бритвенные инструменты? "

Половина людей в гетто страдает каким-то заболеванием желудка. Мы с Авраамом не можем жаловаться на это. Мы желаем себе как раз потерять аппетит. Я думаю, это происходит с мамой, что не очень хороший знак. Часто она дает нам свою еду. Он поддерживает нас и режет наши сердца, как ножом. Эх, что я пишу? Позвольте мне не позволить черным мыслям атаковать меня.

Исторический проклятый день в моей жизни. Мы позвонили маме доктору. Несколько дней пролежала в постели с болями в животе. Наш бывший сосед, доктор Левин, осмотрел ее. Он посоветовал ей много пить. «Лекарство, которое мы можем себе позволить. . . » - пошутил он. Я был удивлен, что его не волновал ее живот, а спина. Он дал ей записку на рентген. Собираясь уходить, он заметил на стене фотографию отца. Он заметил, что отец показался ему знакомым, и спросил, где он. Мать сказала ему. Выяснилось, что его отца арестовали в тот же день, что и моего. Его отец был лидером *Поале-Цион.*Мать спросила его, знает ли он, что случилось с этими людьми. Он сказал, что не знает, и ушел.

Я догнал его на лестнице. Сам он не такой уж здоровый особь. Он прихрамывает, худощав, с желтоватым лицом. На нем темно-синяя докторская фуражка и темно-синее пальто, отчего он выглядит жутким, фигура несет с собой дурные вести. Как только он увидел меня, он ускорил шаг. Я преградил ему путь. Он положил руку мне на плечо. «Возможно, у вашей матери проблемы с одним из легких, - сказал он, - но в ее возрасте это не так опасно. Смотри, чтобы она хорошо кушала ». Он нацелился на улыбку. «Легко сказать, не правда ли?»

Он слегка оттолкнул меня. Я последовал за ним и спросил: «Вы что-нибудь о них знаете?»

«Ничего», - сказал он. Было очевидно, что он лжет. Вдруг он энергично пожал мне руку: «Они вели себя храбро. Немцы сыграли с ними грязно, прежде чем прикончили их ».

Мое тело застыло, голова ревела; все закружилось вокруг меня. "Теп?" Я спросил.

«Давным-давно ... в начале сорок первого. Я вычислил дату. .. двадцать седьмое января ». Дата моего рождения. Я хотел убежать, но Левин схватил меня за рукав. «Я знаю, что это был неподходящий момент, чтобы тебе рассказывать. Но когда есть подходящий момент для таких новостей? Они были храбрыми, поэтому мы должны, по крайней мере, быть храбрыми, принимая правду об их судьбе. Мы в долгу перед ними и ... Я в долгу перед тобой.

♦ ♦ ♦

Я не сказал ни матери, ни Аврааму. Я ношу его внутри себя. Хромой доктор в темно-синем пальто с черной сумкой в ​​руке входит к маме. Каждый раз, когда он смотрит на меня серьезными глазами, я боюсь, что он снова собирается сообщить мне еще несколько печальных новостей. Я благодарен ему за то, что он мне уже сказал. Он сделал из меня человека, больше, чем человека, старика. Он погасил мою весну и мою надежду. Он лишил меня дня рождения. Прошло уже два года с тех пор, как мой Жизнедатель начал рассыпаться в прах, а я искал поддержки в мыслях о нем. Теперь я принимаю ясную чистую истину, я обнимаю непостижимое. Я даже не плачу. Я хожу на работу, забочусь о матери, о домашнем хозяйстве, и моя тяга к еде сильнее, чем когда-либо прежде. Почему мы повесили на стену портрет отца?

♦ ♦ ♦

Я не могу поверить, что отец мертв. Я не могу принять факт. Я спросил Левина, как он узнал. Он рассказал мне, что один из его пациентов сидел в тюрьме вместе с нашими отцами за то, что гулял по Петрковской без Звезды Давида. Он выкупил себя за десять тысяч марок, привилегия неполитических заключенных. Левайн дал мне адрес этого человека, и я пошел его навестить. Он уже наполовину ушел, но его ум, как и у большинства умирающих в гетто, остр. Он знал отца до войны. Он видел, как группа политзаключенных гуляла по тюремному двору - и видел гораздо больше. Я выслушал детали до последнего слова, но у меня нет сил повторять их здесь. Я увидел себя в отцовской шкуре. Это меня прострелили в стену. Я ходячий труп.

Но отец живет в моих снах. Иногда я вижу себя в тот день в деревне, когда мне было около тринадцати лет, и впервые обыграл его в шахматы. Я чувствую его гордый взгляд. Он был в восторге от моей первой победы над ним. Теперь я «праздную» свою последнюю победу над ним: я жив. В другой раз мне снятся вещи, которых никогда не было: отец бьет меня длинным кнутом. Больно, но я счастлива, потому что это доказывает мне, что он жив. Иногда мне снится, что я немецкий солдат на страже в тюрьме или в гетто

Снова ежедневно прибывают толпы людей из провинциальных городов. Они рассказывают, что их дети и старики были прикончены в лесах. Они похожи на беглецов из сумасшедшего дома. К счастью, голод не позволяет нам слишком много думать; возможно, есть Бог, Который позаботится об этом.

Я хочу изобрести себе Бога. В конце концов, я неплохо блефую; Иногда мне удается поверить в выдуманную ложь. Почему я не мог обманом поверить в Бога? Я все больше и больше завидую религиозным людям. Я не могу простить своих родителей за то, что они воспитали меня без религии, причинив мне вред на всю оставшуюся жизнь. Они дали мне социализм, веру в человека. Чего я могу сегодня достичь с таким идеологическим мусором? Я хочу Бога! Хочу всемогущего спасителя! Пусть Он будет ложью, но дайте мне возможность цепляться за Него, как если бы Он был правдой. Дай мне терпение ждать Его, ожидать Его. Это единственное, что может поддержать меня в этой бездне.

Я больше не хожу на партийные собрания. Я не изучаю и не читаю. Все это мусор. По вечерам, когда дела у меня закончились, я спускаюсь и смотрю в окно погреба Человека-тоффи. Иногда я захожу внутрь, чтобы навестить его, и сижу у плиты, где он готовит свои конфеты. Я заставляю себя находить смысл в том, что он мне говорит. Он говорит мне, что есть тайный смысл в том, что мы двое, которые однажды встретились в церкви и должны были вместе смотреть смерти в глаза, - соседи по гетто. Он говорит мне то, что сказал мне тогда, что мы родственники. Я слушаю его странные, глупые, необоснованные слова и жужжание мальчиков *ешивы*за столом; мальчики моего возраста, покачиваясь над открытыми томами Гемеры. Как я могу стать одним из них? Я хотел бы всем своим существом, но знаю, что никогда не добьюсь этого. Я нахожу в том, что они делают, не смысл, а трагикомическую чушь.

Я сказал Ириску, что немцы убили отца. Воскликнул он. Его слезы пошли мне на пользу, а его слова меня раздражали. «Не говори, что он ушел», - покачал он головой, плача. «Его душа обитает как внутри вас, так и на небесах. Он защищает тебя ... »

«Он прах и мерзость», - возразил я.

Ириска продолжал бормотать: «Его душа ... Его душа ...»

Он много плачет и повторяет слово «душа». Что есть душа? Пусть кто-нибудь придет и объяснит мне слово «душа». Еще один блеф. Я сказал Человеку Ириски, что во сне я вижу Отца во плоти и крови, и он сразу же объяснил мне это: «Его душа так одевается для тебя, чтобы ты мог это понять. Мы на Земле способны ухватить только то, что имеет физическую форму ».

«Тогда, может быть, мы тоже души одеты, чтобы Бог мог схватить нас», - с горечью шучу я. «Может, мы мечта твоего бога ... его кошмар?»

"Боже упаси! Мы такие же настоящие, как мир. Разве мы не чувствуем голода или боли? »

"Зачем? Разве мы не могли остаться душами на небесах твоего Бога, не чувствуя ничего, кроме счастья? »

«Как видите, ответ на этот вопрос ясен как день». Он качает своей тонкой бородкой. «У нас есть миссия, которую нужно выполнить на Земле. Потому что мы здесь, чтобы очистить мир. Мир - это Божья доброта, и человек должен быть ее эманацией. Вы думаете, что у Бога нет забот на Свою голову, не так ли? Но именно Ему предстоит вести настоящие войны ... с Ситра Ах.ру, с Темными мирами, которые стремятся уничтожить творение доброты Бога. И Ситра Ахра не ведет честную и честную борьбу. Он проникает внутрь нас, посланников Бога, в самое наше человечество. Потому что он хочет разъедать нас изнутри. Поэтому сердце каждого человека - поле битвы. Следовательно, боль и страдания, которые испытывает человек, заставляют страдать других. И конкуренция Добра и Зла неодинакова. Быть злом легко, а быть добрым - трудно. Чтобы зажечь свет, вам понадобится фитиль и масло, чтобы потемнеть, достаточно одного удара изо рта. Итак, я пытаюсь сказать вам, что мы, евреи, являемся жертвами войны между Добром и Злом больше, чем любая другая нация. Если в каждой из наших душ идет такая же война, как и в душах других людей, мы все вместе остаемся общим, частным полем битвы, где идет война между Добром и Злом мира. Поэтому мы страдаем вдвое, десятикратно, стократно. Но поэтому мы также бриллианты в короне Бога. Душа души Вселенной! »

Слушаю его, чтобы немного забыть о себе. Печальное развлечение. Я хочу найти в его словах если не логику, то хотя бы символ. «Скажи мне, - спрашиваю я, - Твой Бог, Он тоже во что-то верит?»

«Вот и ты снова! Я только что сказал тебе, не так ли? Конечно, он верит. Он верит в Доброту и Справедливость и за это ведет Свои войны ».

«Это означает, - продолжаю я, - что Сам Бог также поклоняется Богу, имя которого - Доброта и Справедливость, и ради которого Он страдает. Он тоже страдает, не так ли? »

«Конечно, он страдает».

«Тогда кто не страдает?»

«Зло не страдает. Тот, у кого нет ни сердца, ни души, не страдает. Дьявол не страдает ».

«Тогда я готов отречься от своего сердца и души. Я присоединюсь к партии дьявола. Хватит страданий! »

«Для чего вы говорите такие глупости?» Ириска плачет. «Что дьявол знает о жизни, скажи мне? Он мерзость. Его разъедают ненависть, зависть, жадность. Он пресыщается и пьет, и грабит, и оскверняет, и никогда не пресыщается. Мы даже не догадываемся о том, какой ужасный голод страдает дьявол ».

«Значит, он, Дьявол, тоже страдает».

«Конечно, он страдает. Но его страдания другие ».

«Тогда кто же не страдает, я вас спрашиваю?»

«Ой, - вздыхает человечек, - смерть не страдает ... Смерть одна».

«Но вы сказали, что смерти не бывает».

«Есть, есть. Тот, кто уходит с поля битвы, мертв. .. Эх, мы оба говорим глупости, горькие глупости. Да простит нас Всевышний ».

Я выбегаю из его подвала, мчусь по улицам, как будто меня преследуют. Что происходит со мной? За что держаться?

♦ ♦ ♦

А с другой стороны - да, Бог есть. Брутальный, равнодушный. Его зовут Жизнь. Он не доброта или справедливость, но Он могущественен и великолепен.

Мы кланяемся Ему и поклоняемся Ему. Все мы. Он хлестает нас, как отчима, а мы благодарим Его и цепляемся за Него. Он все, что у нас есть. Я опускаюсь на колени перед Ним, я молюсь Ему. Я не хочу, чтобы Он оставил меня. Он моя святая принадлежность. Он начало и конец. Я не хочу ни о чем спрашивать у Бога. Он все равно не ответит на мои вопросы. Он капризный Бог. Для Него евреи - не сливки урожая, а отбросы на дне. Почему? Есть ли на то причины или нет? А если есть? Факт важен. Дело в том, что Бог. Дело в том, что солнце и мум, день и ночь, ветер и воздух, и все, что я могу охватить своими чувствами. Остальное битого пфеннига не стоит. Все живое знает это. Следовательно - эгоизм и ненависть. Ненависть из-за зависти, соперничества, желания стать любимым чадом Бога, Бога. Эгоизм означает неистовое цепляние за жизнь. Эгоизм - единственный существующий вид Любви.

И все же как хорош, как милосерден мой жестокий Бог. Не прошло и двух недель с тех пор, как я узнал об отце, и я уже привык к этой мысли. Бывают дни, когда он даже не приходит мне в голову. Я только чувствую пустоту внутри себя, но это уже не так больно. Мне нетрудно смеяться и шутить с Авраамом. Я не возражаю против фотографии отца на стене. Я могу смотреть на это спокойно. Две недели назад его смерти со мной больше не было. Сейчас он занимает свое место во времени: более двух лет назад. Теперь мы должны спасти маму. Я готовлю для нее хорошие вкусные супы. Их аромат наполняет комнату. Но когда она отодвигает полную тарелку, я внутренне радуюсь в своем животе и молюсь, чтобы она не касалась еды хотя бы еще несколько дней. Это благородный сын!

Черт возьми, я не хочу быть евреем!

Book Three 89

Глава шестая

В *W1SSENSCHAFTLICHE ABTE1LUNG,*где теперь работала Рэйчел, *царила довольно расслабленная*атмосфера; дисциплина была делом совести каждого рабочего. Витрины должны быть готовы к определенной дате, которую менеджер *Рабинер*объявит за несколько месяцев до этого.

*Рабинер*понравился посетители прийти , чтобы увидеть экспонаты, или просмотреть коллекцию старых книг или ритуальных предметов или произведений искусства. Приезжающим писателям и художникам разрешалось сесть за столы для беседы с рабочими или войти в кабинет *Рабинера*- дверь всегда была открыта - и обсудить с ним весьма духовные вопросы. Здесь Рэйчел познакомилась с художниками Винтером и Гутманом, а также с другими, которых она не знала. Здесь заглядывал темноволосый болезненный товарищ Сендер, который был полностью сам по себе культурным учреждением. Время от времени приходил поэт Бурстин и пел для рабочих части симфоний, которые он знал наизусть. Нередко можно было услышать голос поэта, декламирующего свои стихи, или голос кого-то, кто рассказывает народные сказки, свежевыдуманные анекдоты, поговорки или песни - сокровища фольклора гетто, которые *Рабинер*собирал в толстые блокноты с черными обложками. Однажды Гутман привез с собой женщину по имени Итка, сбежавшую из психиатрической больницы в день ее эвакуации. На Итке было красное летнее платье с красными бусами на шее. Сидя неподвижно в кресле, глядя вдаль огромными глазами, она импровизировала длинные непонятные стихи, выразительные, мрачные и красивые. Рабочие в соседней комнате позволили своей работе выпасть из рук, пока они слушали, загипнотизированные ее мелодичным голосом.

Проблема Рэйчел заключалась в том, что эти интеллектуальные пиршества не могли успокоить урчание в ее пустом желудке, и она приобрела уродливую привычку пользоваться добротой *Рабинера*и каждый день мчаться домой на полчаса.

Быть дома в одиночестве могло быть удовольствием, потому что ей все еще нужно было уединение, как растению нужна вода. Однако время, проведенное дома, беспокоило ее. Двери кухонных шкафов не запирались, и если ее шкаф был пуст, то в шкафу матери всегда было что-нибудь найти. Затем началась борьба с собой и руками, которые были притянуты к шкафу, как магнит. Она злилась на Блюмку за то, что у нее остался кусок хлеба или мармелад. Она будет злиться на себя при мысли, что в начале своей жизни в гетто у нее все еще была сила предложить Дэвиду несколько ложек собственного сахара, и что теперь она стала такой слабакой.

Пока однажды ей не пришла в голову блестящая идея, которая ее спасла. На подоконнике стояла коробка Моше с сушеными листьями, которые он использовал в качестве табака. Она взяла лист бумаги и неловко скрутила себе сигарету, как она видела, как это делал ее отец. Плотная бумага вокруг «табака» загорелась. Она вздохнула. Дыхание жгло ей горло. Комната начала кружиться вокруг нее. Она села на стул, заставляя себя снова и снова вдыхать дым, пока не перестала это делать, и задохнулась. Она прислонилась головой к столешнице, и она тоже начала кружиться вокруг нее вместе с комнатой, быстро и головокружительно, затем медленнее - пока не остановилась - в точке победы. Она больше не чувствовала голода и храбро и хладнокровно смотрела на шкафы с едой. С этого дня бежать домой стало не удовольствием, а потребностью, как ежедневным уколом. Муки голода не должны были разрушить ее жизнь. Ей еще предстояло так много сделать.

Помимо работы в *Wissenschaftliche Abteilung,*она дала несколько частных уроков, самые важные из которых были у Святого Сапожника, инструктора в лагере для польской молодежи за пределами гетто. Он был одним из величайших филантропов гетто, величайшим покровителем художников и писателей, и он кошерно заслужил свое прекрасное прозвище.

Сапожником был молодой человек лет тридцати, темноволосый, с красивым бледным лицом и слабой улыбкой, которая всегда играла на его губах. Его невинный детский взгляд смотрел на мир с удивлением. Он был стройным, высоким, походка его была легкой, но несколько неуверенной. Его имя было популярно в гетто, и легенды о его доброте ходили во дворах и вдоль линий питания. Казалось, что он живет в гетто, не подчиняясь его законам. Очевидно, он делал свою работу в лагере для военнопленных настолько успешно, что мог жить как свободный человек, без напряжения и страха. Его домик в Марысине, приютившийся в небольшом фруктовом саду, был похож на открытку с картинками. Комнаты внутри были красиво обставлены, и у двух маленьких дочерей сапожника была отдельная комната и няня.

Хотя Святой Сапожник никогда не смаковал «ристократическую» жизнь до войны, он довольно легко приспособился к жизни геттократии. Его вежливость и изящество были по-королевски, и если бы не его хромой поляк и его незнание благовоспитанных манер, он, несомненно, мог бы сойти за человека, рожденного в шелковой майке. Более того, он любил людей и вел активную общественную жизнь. Многие курортные комиссары, а также хитрый мистер Зиберт были среди его частых посетителей. Сюда они приходили без всяких расчетов «одна рука моет другую», а скорее из-за чести дружить с таким «редким» евреем. Здесь также была хорошая еда, и в целом сапожник и его жена были приятными сердечными людьми.

Снаружи, в зеленом ухоженном саду, перед мольбертами всегда стояло несколько художников. Спрятавшись за своими холстами, они время от времени высовывались из головы, чтобы посмотреть на дом или на маленьких девочек сапожников, которых они рисовали в награду в виде корзины овощей или полбуханки хлеба.

Вдоль внешней стены дома обычно стояла группа просителей, ожидая, пока хозяин получит свободную минутку и прислушается к их мольбам, а затем вытащит свой бумажник или прикажет своему повару приготовить сверток с едой. Зимой просители собирались на просторной теплой кухне. Среди них были как интеллектуалы, так и простые нуждающиеся люди. Сапожник относился ко всем одинаково щедро и уважительно.

Сапожник хотел выучить польский, а также «ристократические» манеры, и его друг *Рабинер*заверил его, что более опытного учителя, чем Рахиль, ему нелегко найти в гетто. Правда, сама Рэйчел не чувствовала себя особенно уверенной в том, что касается «салонных манер», но она приложила честные усилия, чтобы поделиться всем, что она знала, со своей ученицей; и то, о чем она не подозревала, она изобретет с помощью своего богатого воображения. Она научила его разговаривать с дамами за столом и на улице. Она научила его выражениям вежливости и тому, как затрагивать «умные» темы в «умной» компании. Она также научила его искусно курить, поскольку курение казалось необходимостью для человека с хорошими манерами; и также казалось несправедливым иметь при себе кучу сигарет и не иметь возможности извлечь из них выгоду, в то время как гетто, полное мужчин, умирает от затяжки. Святой Сапожник ненавидел курение так же, как и Рахиль. Он покраснел и всегда закашлялся, задыхался, сплевывал и выпускал клубы дыма, как если бы его горло было дымоходом. Но он был дисциплинирован и упорно следовал указаниям Рэйчел относительно того, как изящно держать сигарету между пальцами и как элегантно стучать пепел. Рэйчел имела возможность курить с ним, а также получила две сигареты, которые она забрала домой для своего отца.

Она чувствовала себя намного лучше, когда учила сапожника польскому алфавиту, который ему приходилось каждый день записывать в новую тетрадку, потому что он никогда не мог найти старую. Он каллиграфировал бесформенные, волнистые и сворачивающиеся буквы, но был настойчив и добился бы больших успехов, если бы регулярно брал уроки. Проблема заключалась в том, что у него редко было время, и Рэйчел проводила большую часть своего часа на чердаке, куда он отправлял ее, пока не освободился от своих многочисленных обязательств. На чердаке, аккуратно побеленном, было полно ящиков, в которых сапожник хранил свои запасы еды и овощей, а также мешок, полный соблазнительного золотого лука. Каждый раз, когда Рэйчел покидала чердак, не украв лука, она считала это победой. Она гордилась тем, что ей не нужно было стыдиться смотреть в глаза своему красивому ученику.

Помимо святого сапожника, Рахиль давала частные уроки ветеринару, который осматривал мясо, которое довольно часто гнило, когда оно доставлялось в гетто. Ветеринар, мужчина с тяжелым телом, на которого диета в гетто, похоже, не оказала никакого воздействия, хотел выучить идиш. Своими густыми усами он напоминал Рэйчел здорового деревенского помещика. Он басом говорил на тяжелом краковском польском и своей осанкой, своей докторской фуражкой и высокими сапогами запугивал своего учителя, которого принимал в своем подвальном кабинете. Он вел святую ярость против Судьбы, которая внезапно заставила его, помимо всех его проблем, изучить язык, который он презирал и который он должен был знать, чтобы общаться со своими необразованными подчиненными, которые не могли говорят даже на ломаном польском. Он хотел сразу же заговорить и понять идиш; но, увы, у него была путаница, и слова, которые исходили из его уст, были неузнаваемыми. Он всегда злился на Рэйчел и пытался научить ее, как учить его. Она чувствовала его неприятное дыхание на своих щеках и вздохнула с облегчением, когда час подошел к концу, и в ее кармане было шестьдесят пять пфеннигов.

Рэйчел также дала еще один частный урок, который на самом деле вовсе не был уроком. Это был час, проведенный с самим *Рабинером*. Ее знакомство с ним подкрепил отец, который работал в кооперативе рядом с *домом Рабинера*, на Марысинской улице, где жили *шишки*второй степени и где уже можно было дышать прекрасным воздухом Марысина. У *Рабинера*был сад с беседкой, хорошенькая жена и две хорошенькие голодные дочери. Они приехали из Данцига, и дома говорили по-немецки. Только *рабин,*польский еврей, хорошо говорил на идиш. Дома он был одет в черный сюртук в немецком стиле с черной жилеткой. Его бледное лицо и аккуратная заостренная бородка резко контрастировали с темнотой его платья. Рэйчел никогда не уставала смотреть в его мерцающие глаза, когда она слушала его чистый, но таинственный голос. Он был завораживающим, завораживающим, человеком из плоти и крови, и все же - загадкой; он казался нестареющим, принадлежащим как прошлым, так и будущим векам. Он готовил устный перевод псалмов на идиш, и функция Рахили заключалась в том, чтобы помогать с грамматикой. Ее наградой были не деньги или еда, а изучение псалмов.

Обычно, когда она *выходила из*дома *рабинера*, Моше ждал ее снаружи с угощением, морковкой или редиской. В последнее время он ни разу не забывал приносить ей цветок из сада за кооперативом.

Рэйчел приснился сон; один из тех кошмаров, которые определяют настроение в часы бодрствования. Она была убеждена, что сны открывают некую скрытую правду, и она хотела взглянуть в лицо этой правде, но даже самый тонкий путь к ней исчез из ее памяти. Все, что осталось, - это тяжесть в ее сердце, от которой она не могла избавиться.

Она ехала домой с уроков. Были сумерки. Воздух был мягкий, летний. Ее блузка была расстегнута на шее; ее влажные от пота волосы были растрепаны и прилипали ко лбу. Ее босые ноги в тканевых тапочках чувствовали тепло тротуара. Она была в спешке. Часы после работы нужно было использовать осторожно. У нее все еще была работа в библиотеке и в своей учебной группе. Ей также пришлось навестить мисс Диаманд и посетить лекции в «университете». Нужно было читать книги, делать заметки, писать сочинения.

Она собиралась думать о своих проектах в пути, но незавершенные мысли вместе со странным настроением вчерашнего сна уносили ее в далекие миры. Внезапно в ее голове зазвонили колокольчики, вернувшие ее к реальности. На тротуаре через улицу она увидела Дэвида, медленно шагающего вперед, несущего на согнутом плече тяжелую доску. Она боялась встречи. Когда она не видела его, ей было легче дождаться его возвращения, убежденная, что их отчуждение не навсегда, что однажды оно исчезнет, ​​и они снова узнают друг друга. Случайные встречи с ним всегда заставляли ее надеяться. Тем не менее она перешла улицу и подошла к нему. Он неловко потряс плечом, и доска соскользнула с него.

«Они разбирают мебель депортированных, - сказал он, избегая ее взгляда, - я получил« защиту »и получил эту доску». Он холодно улыбнулся жестокой незнакомой улыбкой, которая не осветила его лицо, а скорее передала ей мрачное послание. Она не могла смотреть на него, но все ее силы кричали, чтобы обнять его - перезвонить мальчику, который ушел, которого она любила. Он вытер лоб рукавом и больше ничего не сказал. И больше она не могла произнести ни слова. Наконец он снова положил доску себе на плечо. «Я должен бежать», - сказал он, протягивая ей руку.

«Между нами все кончено, не так ли?» пробормотала она.

Он уставился на нее, как будто не понял ее вопроса. В его глазах вспыхнула горячая искра, как призыв о помощи, как крик боли. Он двинулся прочь, наклонившись под грузом, который он нес. Она побежала по улице. Мысленно она уравновесила его взгляд и его молчание. Как она должна была их объяснить?

Хотел ли он, чтобы она знала, что он страдает один, но она не может ему помочь?

Несмотря на встречу, остаток вечера прошел успешно. Она дисциплинировала себя. Только ночью, в постели, она давала волю своему горю.

После ночи наступил новый день и новое настроение. Ее сердце было свободно от всех зажимов, ее разум был открыт, готовый впитывать все виды новых стимулов, ассимилировать все, что могло предложить каждое мгновение. Она была готова снова метнуться, убежать от себя, к самой себе. У нее было ощущение, что ей не хватит времени, что она не достигнет той цели, которую поставила перед собой.

В то лето ее родители и Шламек много времени проводили на *диалке.*Там всегда было чем заняться. Усталые, но веселые, они приходили домой с пакетами, полными листьев для готовки. Рэйчел им завидовала. *Еще*ей понравилась *диалка*- успокаивающий контакт с почвой. Но она не могла заставить себя провести там больше нескольких минут, всегда обещая себе остаться подольше в следующий раз, немного поболтать с Моше, уделить немного внимания Блюмке. Но в следующий раз ей снова не хватило терпения. И то же самое происходило во время ее визитов к друзьям. Она заходила повидать того или другого из них, оставалась на несколько минут, а затем убегала.

Дни становились все более жаркими и знойными. Ночи были ненамного лучше. Утром толпа потащилась к курортам, струи пота стекали с их морщинистых лиц. На курортах изо дня в день проходили проверки. В них принимал участие и сам *гауляйтер Грайзер*. Неужели на улице было так жарко? Неужели кто-то действительно чувствовал себя таким слабым от истощения? Во время осмотра тяжесть конечностей исчезла, как будто они наполнились новой энергией, как будто густой воздух внезапно стал легким и освежающим. Народ работал лихорадочно. После этого по горячим улицам и домам разнеслась радостная весть: немцы остались довольны гетто. Теперь люди могли позволить себе роскошь сидеть на пороге домов после работы и жаловаться на жару. Они могли позволить себе отдохнуть от напряжения и позволить своей бдительности ослабнуть. Лениво, мечтательно они поделились своим оптимизмом: «Немцы придут к черному концу в любой день, и мы доживем до того, чтобы увидеть это своими глазами». Звук трамвая, бегущего где-то по улицам гетто, нагруженного едой и товарами, был музыкой для ушей; в нем звучали аккорды надежды: «Мир не может обойтись без нас. Мы полезны! »

По вечерам на одних и тех же трамваях приехали сотни людей из провинции. Они побрели по улицам и остановились, чтобы поговорить с отдыхающими в дверных проемах, сказав им: «В *Schtetl*of Turek детей бросали, как резиновых кукол, на грузовики ... В Ласке отбирали всего несколько сотен, остальные - увели в лес ... В Варте первыми повесили раввин и его сын, остальные последовали за ним. . . » Отдыхающие геттоники моргнули, вытерли пот со лба и, как только посторонние ушли, заговорили о новом изобретении: лепить блины из листьев редьки.

На стенах улиц появились плакаты. Для работы в Германии требовалось пятьсот мужчин и двести женщин. Это не было важной новостью. Такие маленькие «акции» были повседневным делом. Г-н Шаттен отвечал за то, чтобы собрать необходимое количество людей и скрупулезно выполнял свою работу. Прежде всего, в его распоряжении были добровольцы, которым надоели гетто и жара;

остальных ловили на улице или по ночам вынимали из постели. Сегодняшний заказ отличался от предыдущих только тем, что на этот раз транспорт должен был уйти в течение суток. Так было лучше для гетто. Таким образом, его нормальный рабочий ритм не нарушался.

Рэйчел спала на своей кровати, расставленной из стульев, у открытого окна. Ее подушка была мокрой от слез. Она часто плакала во сне, что на самом деле было более глубоким и тяжелым, чем нормальный сон. Ей снился кошмар, когда она видела себя в пустоте без видения. Внезапно что-то начало глухо стучать, пульсировать в пустоте, о которой она мечтала. Каждая пульсация поднимала ее выше, заставляя всплывать из глубины. Она услышала крики, кто-то звал. Пот струился по ее лицу, слюна текла из полуоткрытого рта. Затем крик подбросил ее в воздух. Она спрыгнула со стульев, широко открыв глаза. Она все еще мечтала? В дверь колотили кулаки.

«Эйбушиц! Эйбушиц! » кто-то взревел. В полумраке Рэйчел ударилась о Блюмку, выходившую из спальни. Им обоим с трудом удавалось отпереть и открыть дверь. Пара рук раздвинула их; кто-то встал между ними. Чья-то рука зажгла фонарик, а голос продолжал подстрекать: «Моше Эйбушиц, за транспорт!» Лучи фонарика прыгали вверх и вниз по стенам. Шламек спрыгнул с кровати. Блюмка что-то непонятно бормотала.

Рэйчел быстро взяла себя в руки, заявив: «Это ошибка. Он работает в кооперативе. Я покажу вам его удостоверение личности.

«Верно», - последовал ответ. «Он работает в кооперативе; он в нашем списке ». Фонарик уже был в маленькой спальне, как и голос: «Эйбушиц, вставай! В транспорт! » Две пары рук вытащили Моше из сна. Кровать громко и устрашающе скрипнула. Моше уже стоял у кровати в ночной рубашке, дрожа на тонких ногах. Фонарик светил ему в лицо: «Одевайся!» пришел заказ. «Закройте окна и включите свет!»

Блюмка изо всех сил пытался повесить оконную крышку. Моше включил свет. Прищурившись, он собрал одежду и повернулся к Рэйчел: «Сверни мне сигарету». Едва он успел натянуть штаны, как двое полицейских схватили его за руки. «Иди к Цукерману!» Моше удалось крикнуть, когда он помахал своей семье, и дверь за ним захлопнулась.

Блюмке и детям понадобилась секунда, чтобы одеться. Затем они остановились посреди кухни: «Что нам теперь делать?» Они начали бродить по кухне и маленькой спальне. Растрепанные, сморщенные, они дрожали от холода всю жаркую знойную ночь, не сводя глаз с часов.

Как только первые утренние огни осветили небо и на мосту появились первые люди, Рэйчел бросилась к Цукерманам. Полусонный Райзель встретил ее рычанием. Она попросила ее подождать, но Рэйчел последовала за ней и ворвалась в комнату больного. Она бросилась к кровати и столкнулась с телом в гипсовой броне. «Они забрали отца вчера вечером!» - пробормотала она. «Он сказал мне бежать к вам, мистер Цукерман! Он рассчитывает на тебя. . . Он . . . »

Самуэль втянул его щеки. С его губ сорвался тяжелый вздох. Он несколько раз открыл рот, но, похоже, не смог произнести ни слова. Наконец он перестал бороться с голосом и тупо покачал головой.

Рэйчел бегала по улицам. Казалось невероятным, что Моше не оказался среди спешащих на работу. Было невероятно, что она не увидит его сегодня или завтра ... или, возможно, когда-нибудь снова. Это не полностью проникало в ее разум, и поэтому она не чувствовала паники. Полно надежды и уверенности в себе, она поспешила к Святому Сапожнику. Он встретил ее у двери с тонкой улыбкой на тонких губах. Он шел на работу и не останавливался. Она выбежала за ним на улицу, разговаривая с его спиной. «Они могут прогнать его сегодня. . . »

Он позволил ей последовать за ним и поговорить со своей спиной. Когда ей больше нечего было сказать и она ждала его ответа, он повернулся к ней и вежливо пожал ей руку: «Все будет устроено, мисс Рэйчел». Она смотрела на него. Как будто ее душа вошла в его ясные глаза. Слышала ли она его правильно? Не было времени спрашивать его снова. Он был уже далеко, хотя она все еще чувствовала его присутствие рядом с собой. Ей следовало броситься за ним и обнять за его доброту. Она была влюблена в него по уши, за то, что он осуществил то, что, как она знала, должно было случиться.

Той ночью Моше вернулся домой. Он казался опьяненным, взволнованным. Он обнял Блюмку и заплакал, уткнувшись головой в ее волосы. Дочь и сын застенчиво наблюдали за парой из-за слез отца. Когда его плач превратился в продолжительный плач, они хотели отвести глаза, заткнуть уши, но не смогли этого сделать, зная, что вид их рыдающего отца в объятиях матери останется с ними на всю оставшуюся часть жизни. их дни.

Тем не менее, опыт с Моше был забыт в течение нескольких дней, унесенный ритмом времени в гетто. Даже сам Моше, казалось, забыл ту роковую ночь. Учитывались только настоящие, горячие и потные. Теперь, которые нужно было побеждать. Эвакуация, то большая, то маленькая, происходила почти ежедневно. Людей разыскивали в их домах и ловили на улицах. Но это стало проблемой для других. Моше больше не было в списках. Он находился под защитой Святого Сапожника. У него была «спина».

Он должен был восстановить свои силы. Он был удачливым геттоником, работал в кооперативе, умел съесть кусок украденной еды, немного сахара, полоскать мармелад. Но из-за бутылочек с *вигантолом,*лекарством от декальцинированных костей, которое Рэйчел получила для него через другого своего ученика, ветеринара, он не мог нормально ходить. Тем не менее, он не пренебрег своими визитами к Самуилу. Поскольку ему было трудно самому перейти мост, ему помогали Рэйчел или Шламек. Сэмюэля наконец сняли гипс, и ему разрешили гулять по комнате. Худой, высокий, седой мужчина с опущенными плечами, его угольно-черные глаза, казалось, смотрели на все вокруг с удивлением. Позже он спустится с Моше во двор; они оба чувствовали себя лучше всего, когда были вместе вне дома. Тем не менее, хотя они чувствовали себя ближе друг к другу, чем когда-либо прежде, их разговоры были короче. Они долго сидели вместе в тишине.

Что касается политической информации, то теперь ее предоставил Моше. Он сделает это коротко. Что, в конце концов, можно было сказать Самуилу? Что немцы взяли Себастаполь? Что практически весь Египет был в их руках? Лучше всего было как можно скорее вернуться в тишину, почувствовать целительную силу вишневого дерева и насладиться успокаивающим ощущением дружбы. Время от времени Моше нарушал их долгое молчание. Однажды он заметил: «Внешне я спокоен. . . внутренне же мне холодно. Странное чувство ... я иногда

просыпаюсь ночью и слышу стук моих зубов ". Или он сказал бы, как если бы про себя: «Раньше, даже в гетто, заниматься любовью было все равно, что праздновать. Настоящее время . . . ничего такого."

Сэмюэл улыбался. «Раньше мне казалось, что мужчина нес всю свою мужественность между ног. Теперь, когда я физически больше не мужчина ... я действительно начинаю чувствовать себя таковым ». Его голос все еще был глухим, свистящий сквозь дыры, оставленные выбитыми зубами.

Лишь однажды он подробно рассказал о своем пребывании в Красном доме. Он увидел, как лицо Моше покраснело и посинело, а сигарета у его губ задрожала. И все же Самуил чувствовал себя обязанным дать отчет хотя бы одной паре ушей. Его опыт должен был быть запечатан в памяти по крайней мере еще одного человека - его друга. Моше должен был последовать за ним туда, где он был. Бусинки пота на лбу Моше свидетельствовали о том, что Моше действительно был с ним в подвале Красного дома.

Самуэль говорил о боли. «Знаете ли вы, когда физическая боль переходит границу выносливости, она перестает быть физической. Через него я увидел всю свою жизнь. . . Но я все видел как в кривом зеркале. Говорят, страдание облагораживает. На время своего действия боль только превращает вас в массу сырого мяса. У вас есть два желания: перестать чувствовать, погибнуть раз и навсегда, и чтобы те, кого вы любите, услышали ваш крик и засвидетельствовали. Каждым горящим нервом внутри меня я звал детей. . . В частности, Белла. Но потом, когда все закончилось, зеркало изгибается в противоположную сторону. Те, кого вы любите, становятся далекими. Они никогда не были там, где вы их звали голосом своей крови; и они никогда не узнают. Боль отделяет вас от тех, кто не разделяет ее с вами. И это пробуждает в вас страх перед его возвращением. Вы безумно влюбляетесь в жизнь. В то же время вы осознаете, что после переживания должны прийти к некоторым выводам, что вы должны поправить зеркало; что твоя жизнь никогда не должна быть прежней. Я думаю, что каждый приходит к своим выводам, в зависимости от того, какой багаж он несет в себе. Все узлы развязываются сами собой. У меня никогда не было такой ясности, Моше. . . »

В другой раз Моше отплатил Самуилу оценкой его собственной жизни. Он не стеснялся говорить о своей любви к жене, руки которой были укушены мылом и пеной, о своей любви к женщине, к которой он не испытывал ни следа физического желания. Он говорил о своей гордости за своих детей. Он что-то посеял в их сердцах. Он говорил о своем восхищении Рахиль, о своем уважении к Шламеку. Его сын был близок к нему, физическая копия его самого. Его действия и образ мышления были ему знакомы. В то время дочь была очаровательной загадкой. Моше не боялся, что навредит Самуилу, превознося его гармоничную семейную жизнь. Он знал, что его друг свободен от зависти; это было как его страдание, так и его счастье, которым он поделился.

Однажды вечером Моше встретил Самуэля и сообщил ему: «Курорт плотницких работ горит! Ты должен спрятаться, Цукерман! Говорят, это диверсия! »

Сэмюэл пожал плечами, равнодушно и мудро улыбаясь. Он взял Моше за руку и вывел на улицу в сторону столярного курорта. Здание было оцеплено. Они остановились на углу улицы и наблюдали за пламенем издали. «Приятно смотреть, как оно горит», - сказал он. «Жаль, что я не могу гордиться этим достижением».

♦ ♦ ♦

Голодный *Джуд,*который часто замечал, что Рахиль ждет своего отца перед кооперативом, начал придираться к Моше, говоря, что он должен купить меховую куртку для своей дочери. Моше очень хотел купить меховую куртку, но *Иуд*просил за нее целую бутылку масла, и торговаться с немецким евреем было невозможно. *Jude*не остановить попрошайничество Моше , чтобы прийти к нему на квартиру и увидеть сокровища, которые Моше наконец сделал. И как только он увидел это, его сердце забилось сильнее при мысли о том, как идеально оно подошло бы его дочери. Однако бутылка масла была ценой, о которой он даже не мог позволить себе мечтать.

Но в один прекрасный день Рэйчел все-таки стала обладательницей изысканной меховой куртки. Произошло это в конце июня. Была суббота. Все молодые люди, пришедшие брать книги в библиотеке, ушли, и Рэйчел была занята подготовкой своей лекции для своей учебной группы. Кухня была теперь заполнена посетителями ее родителей, а она была в их спальне у окна, сидя на полу со стулом, служившим ее столом. Затем вошел Моше, одетый в белую рубашку с закатанными рукавами. Его лицо светилось мирно, даже сигарета в уголке рта казалась веселой. «Важные гости пришли повидаться с вами», - торжественно объявил он Рэйчел.

Товарищ Браха Коплович, чья поза и кудрявые светлые волосы делали ее похожей на львицу, вошел в маленькую комнату. За ней последовал Саймон, президент молодежной организации, одетый в свой лучший субботний костюм, с воротником белой рубашки, разложенным по моде, введенной поэтом Словацким. Позади них в комнату проскользнул улыбающийся лидер *Скифа*. Без особых церемоний они сели на кровати. Товарищ Браха сразу же высказал то, что она хотела сказать. «Это про библиотеку». . »

«Хотите отчет?» Рэйчел убрала прядь волос со лба и на мгновение задумалась. Рассказывать о достижениях библиотеки было приятным занятием.

Но прежде, чем она успела начать, Саймон заговорил с упреком в голосе: «За все время существования библиотеки ты никогда не считал это необходимым ...»

Рэйчел покраснела, у нее загорелись уши. «Я ждала, что руководство станет более заинтересованным ...» - запинаясь, проговорила она.

"А наличные?" Саймон задал вопрос. «Что ты делал с деньгами?»

«Я покупаю новые книги, есть книжный магазин, который продает книги по выгодным ценам».

Товарищ Браха спокойно объявил: «Руководство решило переместить библиотеку в другие кварталы». После того, как это было сказано, посетители обменялись рукопожатием с Рэйчел и ушли.

Всю неделю после работы приехали товарищи с мешками унести книги. Шалом убрал полки. «Вот так, миледи», - поддразнил он Рэйчел. «Библиотека в гетто тоже должна переезжать из одного места в другое».

Рэйчел надеялась, что ее направят в библиотечный комитет, но ее даже не назначили. На кухне остались голые стены. Рэйчел тоже чувствовала себя опустошенной. Моше и Блюмка пытались утешить ее, говоря, что все к лучшему; семья будет жить с меньшим страхом.

Рэйчел не смогла освободиться от обиды. «Я знаю, почему они удалили книги. Возможно, меня подозревают в хищении, но это не главная причина. Основная причина в том, что я считал библиотеку своим личным достижением, своей работой и не пошел спрашивать их, что делать, а что не делать. Правление демократической партии может быть столь же деспотичным, как и любая диктатура. . . и я их ненавижу ... ненавижу регламентацию, так называемую партийную дисциплину. Подожди и посмотри, - возмущалась она, - если я совсем не избавлюсь от этого в один прекрасный день.

На следующий день Моше украл бутылку масла в кооперативе и вернулся домой с необыкновенным подарком для своей дочери. Взволнованный, он вытер пот, капающий с кончика носа, и с энтузиазмом сказал: «У тебя никогда не было меховой куртки, Рэйчел. Вам понравится после войны. Подойди сюда, прикоснись к нему. .. мягкий, как масло. Примерь."

У Рэйчел было то же чувство, которое часто переполняло ее во время работы с *Рабинером,*или со Святым Сапожником, или с ветеринаром: сильное чувство гротеска. Что-то и смешное, и грустное. В комнате было жарко. Она была босиком, на ней была только комбинезон. Мягкая серая меховая куртка была прелестью мягкого милого котенка. Она надела его поверх комбинезона. Шелковая подкладка нежно ласкала ее кожу.

«Он подходит как перчатка!» Блюмка пришел в восторг.

Моше быстро скрутил сигарету. «Я знал, что это ей подойдет!» Он просиял, ожидая улыбки на лице Рэйчел. Она улыбнулась ему.

Шламек погладил Рэйчел по спине. «Что это за мех, отец?»

Моше почесал голову: «Он сказал мне, но я забыл. Когда-то он был крупным бизнесменом во Франкфурте, этот *Джуд,*и меховая куртка принадлежала его единственной дочери. Они с женой вызвались в эвакуацию во время зимней «акции» ».

Блюмка боялась, что если все руки дотронутся до нее, пиджак запачкается. Она сказала Рэйчел снять его. Она бы посмотрела, сможет ли она где-нибудь найти немного нафталина, а затем как следует упаковать куртку и спрятать ее после войны. Она боялась неприятностей в случае обыска дома, если обнаружится мех; все меха в гетто давным-давно должны были быть доставлены в *Verwertungsstelle.*Наконец Блюмке пришла в голову гениальная идея - превратить мех в подушку, накрыть наволочкой и дать Рэйчел спать на ней. Ночью Рэйчел положила голову на новую мягкую подушку. Она подумала о девушке, которая носила мех. В ту ночь она тоже плакала во сне.

Book Three 101

Глава седьмая

ИЮЛЬ. THE GHETTO оказался в центре пламени, которому больше нечего было пожирать. Земля была сухой, потрескавшейся, лишенной всех соков; уже не черный, а коричневый и пыльный, как песок. Деревья в Марысине засохли, кругом кишели черви и мухи. Их сморщенные, как полоски бумаги, листья свисали с ветхих веток. Последние недозрелые плоды с обгоревшей кожурой, похожие на лица стариков, словно с тоской всматривались в землю. И люди были подобны земле. Их лица были обожжены, как куски глины, сморщенные и желтые, они были похожи на связки костей, которые едва могли двигаться. Они тоже лишились всех своих соков. Над их головами висело небо, голубизна которого, казалось, испарилась, глубокая пустота, над которой лежало туманное гниющее солнце, борясь в собственном огне.

В тот июль продовольственные пайки были скуднее, чем когда-либо. Ни овощей, ни картошки не было. Размер порций хлеба был уменьшен, и супы состояли только из воды. В июле того же года дети перестали играть на улицах и во дворах. Старость овладела ими. Молодые мужчины и женщины, эти упорные вечерние прогулки, лежали на своих кроватях после дневной работы на курортах или смотрели в окна. Лишь изредка по улицам проходили молодой мужчина или женщина, щеки пылали, глаза горели, расцветали от внутреннего зноя, пожирающего их тела; это были туберкулезные, или те, у кого была «вода в легких» - направлялись в амбулаторию для инъекции кальция. Иногда можно было увидеть выходящих на улицу и других храбрых костлявых молодых людей: тех, у кого еще хватило смелости пойти на собрание, в учебную группу или даже на концерт. А еще был прохожий другого типа, у которых все еще было более или менее человеческое лицо, нормальное лицо, но глаза были полны безумия - группы евреев, ежедневно прибывающих из провинциальных городов; евреи, которые были источником всех ужасов. Именно они не позволили забыть невероятный слух, который ходил по дворам - о депортации всех стариков и детей из гетто.

На базаре, который когда-то кишел торговцами на черном рынке, стояла одинокая виселица. Черный труп молодого человека, который пытался сбежать из гетто, свисал с него на солнце. Это было третье повешение за неделю. Четвертый готовился к следующему дню - чешского еврея, случайно забредшего на запрещенный тротуар возле Красного дома. Когда он столкнулся с ним, герр Шмидт повалил его на землю. Мужчина с трудом поднялся на ноги и ответил шлепком по пухленькому лицу герра Шмидта.

Коллектив учителей, к которому принадлежала мисс Диаманд, распался.

Когда они потеряли работу в школах и *спортзале,*учителя, как и мисс Диаманд, оказались без земли под ногами и без ничего, что могло бы придать смысл их дням. Конечно, они пытались как-то остепениться, находя работу в офисах или на курортах, однако жизнь их быстро и основательно опустошила, как мужчин, так и женщин. Каждую неделю катафалк приходил для кого-то другого. Мисс Люба, молодая учительница латинского языка, с прошлой весны отдыхала на своем участке земли на кладбище. Профессор Люстикман, преподававший физику и химию, ходивший голодным и раздражительным, больше не был голоден или раздражителен, и в течение нескольких недель сам был отдан процессам физического и химического распада. За ним последовала фрау Брауде, учительница немецкого языка, больная зобом, которая испытывала отвращение к мужчинам. На той же неделе к ней присоединилась учительница декоративно-прикладного искусства миссис Браунер. «Кармелка», миссис Файнер, профессор Хагер и его жена продолжали жить, как и мисс Диаманд - к всеобщему удивлению.

Она знала, что по всем подсчетам ее очередь присоединиться к своим коллегам на кладбище давно назрела, и сама была поражена несправедливостью Судьбы. Другие, намного моложе ее, уже ушли. Она прочитала такое же удивление в глазах своих соседей, как если бы они спрашивали: «Что она все еще здесь делает?» Она соглашалась с ними, часто задавая вопросы сама. Летом она приобрела новое умение шутить. Весь мир и человеческая судьба в частности казались ей трагическим фарсом, инсценировкой. Она бы ни к чему не относилась серьезно, если бы не дети клуба, сироты, оставленные ее коллегами. Когда она смотрела на детей, ей не хотелось смеяться. Ей хотелось бушевать против невидимого клоуна-насмешника. Это была та ярость, которая каждое утро выгоняла ее из постели, держала на ногах, уничтожая всякое желание покоя или мира. Ее энергия была против законов природы и, следовательно, тоже была своего рода издевательством.

В последнее время она чувствовала себя очень хорошо. Потребность в пище ее не беспокоила, и она мало страдала от жары. На ней снова было розовато-лиловое платье, напоминающее греческую тунику, и она привыкла к своим деревянным ботинкам, не считая их слишком тяжелыми. Ее голова была практически лысой. Кусок волос отказался прилегать к ее черепу, но стоял подальше от него, его нечеткая текстура превращала его в белый ореол вокруг ее лба. Разум за этим лбом работал ясно и хорошо.

Своими крохотными шажками она бегала вверх и вниз по лестнице, из комнаты в комнату, по двору и умирающему саду, собирая детей. Рядом, в Lingerie Resort, для них организовали школу. Там оставшиеся учителя преподавали после рабочего дня на курортах. Это была веселая школа, в которой сами учителя становились учениками. Опытные профессора, хоть и измученные, возродили в себе давно спящих детей. Здесь детей учили игре на магнитофоне, а лучшие музыканты приезжали для них давать концерты; их также учили рисовать. Таким образом учителя и их ученики научились улыбаться красивым вещам. Верно, мир подходил к концу, земля умирала, гетто было в агонии. Но здесь, под бдительным «да» учителей, возродился дух молодости. Учителя стали почвой, корнями и соком для Древа Жизни, которое должно было найти свой путь к завтрашнему дню.

У мисс Диаманд появился новый друг: миссис Хагер. Тем летом Хагеры отказались от уединения и начали вступать в личный контакт со своим окружением; как будто их любовь друг к другу теперь достигла такой полноты, что им пришлось распространять ее. Старая миссис Хагер вызвалась работать. Она была отчуждена от детей и боялась их. Казалось, что дети всегда принадлежат к другой расе. Они казались одновременно хрупкими и дикими, и она предпочитала держаться от них подальше. Теперь она стала смотрителем спальни сирот. Она помогла им одеться и умыться; и в результате этой физической близости она начала меняться. Сама она теперь часто забывала помыться, расчесаться или сделать себя красивой. Она перестала красить засохшие губы и покрывать пудрой морщинистые щеки. И она стала разговорчивой, болтливой, как маленькая девочка. Ее старость приобрела детское обаяние.

Мисс Диаманд не вела с ней никаких возвышенных разговоров. Они обсуждали толстые гребни и способы их получения, чтобы дети не заразились вшами. Вместе они провели инвентаризацию белья и починили разорванные куски, что миссис Хагер выполнила ловко, а мисс Диаманд неуклюже. «О, Хагерова», - моргала мисс Диаманд полуслепыми глазами. «Ты волшебник!» и она просила подругу заправить ей нитку в иглу.

Тем летом профессор Хагер стал веселым стариком. В одночасье превратился в дедушку. У него появилась новая аудитория, которую он мог развлечь рассказами о своих прежних экспериментах по перекрестному опылению цветов, о чудесах живых существ. Еще он учил детей географии. Теперь за плечами у него не только карьера учителя ботаники в *гимназии*, но и карьера директора Департамента садов и плантаций. С этого периода произошла история, которую он любил рассказывать. Речь шла о козлах, которых в один прекрасный день привезли в гетто. Из-за этих козлов между Пресессом и Управлением плантаций разгорелся серьезный спор. Департамент придерживался мнения, что коз следует раздавать среди населения, в первую очередь, больным или многодетным. Каждая коза давала полтора литра молока в день, и семья, одолжившая такую ​​козу на две недели, могла, учитывая цену на молоко на черном рынке, снова встать на ноги. Пресесс, однако, решил иначе: козлы должны быть в его распоряжении; их будут держать в сарае, и их молоко будет способствовать улучшению финансового положения общества в целом. Когда козы, наконец, прибыли, они были больными, худыми и измученными, настоящие *клепсидры,*и каждую неделю *умирали*десять или пятнадцать из них. Через несколько недель коз не осталось. Все, что осталось, - это отвращение Presess к Департаменту плантаций и его начальнику профессору Хагеру, которого перевели в Straw Resort, а затем в Rug Resort, где ткали гобелены из грязного окровавленного белья, попавшего в гетто. . В настоящее время он был занят в Седловом курорте, а его вечера были посвящены школе для одаренных детей.

Он рассказывал детям о странах и континентах, их людях, их животных и растительности. Нет, мир не назывался гетто, объяснил он своим крошечным слушателям. Мир был даже больше и красивее Марысина. Он простирался за забором из колючей проволоки, над полями и лесами, реками и морями, островами и океанами. Какими были реки, моря и океаны? Как могут быть леса, по которым можно заблудиться, и где могут быть такие дороги, по которым можно идти и ходить, ездить и ездить верхом, не встречая при этом никаких заборов? И действительно ли были животные, кроме лошадей, собак или кошек? Были ли страны, где людей не называли евреями, немцами или поляками? И действительно ли существует земля, где можно есть столько, сколько душе угодно? А было ли место, где время не было сокращено эвакуациями и «акциями»? На все эти вопросы дедушка профессор Хагер постарался бы ответить в меру своих знаний.

Некоторые дети, старшие, уже слышали эти истории и запомнили их как сон. Теперь эти истории казались еще более выдуманными, более фантастическими, чем раньше. Но больше всего детям нравилось слышать, как «дедушка» Хагер пообещал им, что, возможно, через месяц, два или три забор из колючей проволоки будет разобран, и все они залезут на тележку и поедут на нее. дорога, которая постоянно продолжается и никогда не перекрывается. Сердечки трепетали от возбуждения, из открытых ртов капала слюна. А когда «Дедушка» Хагер переплетал свои рассказы с историческими сказками или о научных достижениях, дети оказывались на ковре-самолете, уносящем их между небом и землей, между временем и пространством в захватывающую дух бесконечность.

Часто уроки проходили на открытом воздухе. Дети сидели на одеялах на земле, а профессор занимал старое кресло. Ему нравилось, когда головы детей были на уровне колен, чтобы он мог видеть каждое из их лиц.

Мисс Диаманд тоже села среди детей. Она тоже внимательно слушала рассказы. Они тоже казались ей мечтой, и, поскольку она была убеждена, что мечта никогда больше не станет для нее реальностью, то, что она услышала, тронуло ее даже больше, чем детей. Ее птичье лицо обращалось к рассказчику, она прищуривала слезящиеся глаза, в то время как ее руки, сложенные на коленях поверх лилового платья, обвивали друг друга, напоминая корни дерева. Как будто она впитывала восстанавливающий эликсир.

Хотя она была занята с малышами, она не преминула заметить, что ее бывшие «мучители», выпускники *гимназии*, перестали ее навещать, что они наконец забыли ее. Однако она не могла их забыть. Вместо того чтобы быть удовлетворенной, она забеспокоилась. Было ясно, что они забрали с собой существенную часть ее, и быть отрезанным от них означало быть отрезанным от нее самой. Ее ученики были подобны растениям, выросшим из нее. Она должна была знать, что с ними случилось, точно так же, как корень должен знать, что случилось с ветвями, которые он взрастил.

Гетто было маленьким, но оно было похоже на море, в котором люди и имена тонули и терялись. Мисс Диаманд с трудом могла вспомнить лица своих учеников, не говоря уже об их именах. Однако однажды она отправилась на «другой конец света», в другую, меньшую часть гетто, в поисках «университета», сообщив себе точный адрес. Несмотря на это, ей все же потребовалось немало времени, чтобы обнаружить сарай, который находился глубоко внутри одного из задних дворов. Сначала она подумала, что там никого нет. Она вошла дальше, вытерла очки и огляделась. Наконец она заметила стол, доску и стоящего перед ней молодого человека. Он водил мелом по доске, заполняя ее математическими вычислениями. Она подошла ближе и спросила: «Это тот. . . университет?"

Молодой человек повернулся к ней, кланяясь с насмешкой и презрением: «Да, это тот. . . файл. . . И с кем я имею честь? »

Она подошла к нему очень близко, чтобы лучше его видеть. Он мог быть одним из ее бывших учеников, возможно, до войны? В одно мгновение он казался ей ребенком, в следующее - мужчиной средних лет. Приятно было смотреть на руку с мелом в пальцах. «Я Дора Диаманд. Я преподавала в *гимназии »,*- представилась она.

Молодой человек поклонился еще ниже: «Мне очень приятно познакомиться с коллегой. Меня зовут Рейнштадт, доктор физико-химических наук. Что я могу сделать для вас?"

Ее губы задрожали. "Где дети?"

«Что вы имеете в виду под словом« дети »?» он рассмеялся писклявым голосом. «Вы, наверное, думаете о студентах, ученых и гуманистах. Они ушли. Они предали математику, физику, химию, философию. Они изучают прикладную медицину, специализируются на заболеваниях легких, дизентерии и брюшном тифе ». Он придвинул к ней стул и сел на стол, играя с мелом. «Я слышал о вас, мисс Диаманд, - добавил он. «Они часто упоминали тебя». Она попросила его напиться воды, и он принес ей. Выражение его лица по-прежнему было надменным и высокомерным. Но ее нельзя было обмануть. Перед ней был грустный ребенок. Она потягивала воду вместе с измученным взглядом его мудрых глаз. «Все развалилось». Он протянул руки к пустому сараю. «Уже три недели. Как вы думаете, это из-за жары? Почему они не боялись холода? »

«Может быть, у вас есть реестр с их адресами?» спросила она.

Он засмеялся: «Вы думаете, что нам нечего было делать лучше? Все было импровизировано. Кто хотел, приходил послушать ».

«Они вернутся», - утешила она его.

Он подбросил мел в воздух и поймал его. "Вне вопроса!" - крикнул он. «Так и должно быть. Я приезжаю сюда сам, потому что здесь классно. Давайте не будем обманывать себя, мисс Диаманд. Это не имеет никакого смысла. Молодежь это понимает. Иногда ученики усваивают вещи лучше и быстрее, чем их учителя. Они объяснили мне безумие этого. Мы все собираемся сдаться ... Мозг, полный знаний, и мозг без знаний, гниют одинаково ».

Она не могла слушать его. «Пожалуйста, - умоляла она его. «Вы не должны так говорить. Впереди у вас долгая насыщенная жизнь. И пока жив, разница есть ... »

"Здесь? Конечно. Да здравствует наука и прогресс! Да здравствует немецкий народ и его великие математики, его выдающиеся ученые! С какой изощренностью и точностью они усовершенствовали законы джунглей! В джунглях одно животное все еще может прятаться от другого. Но от немцев никому не спастись. У них идеальные технологические ловушки, психологически рассчитанные до мельчайших деталей ». Он бросил мел в воздух, криво улыбаясь. «Как говорят в народе? Наука - свеча в руке человека. Один использует его, чтобы осветить мир, другой использует его, чтобы сжечь его ».

Она хотела ему что-то сказать, но поняла, что в этом нет необходимости. Она не беспокоилась о нем. Он был зол и ожесточен, грустен и измучен, но он стоял перед доской с куском мела в руке. Она не поверила, что он приехал туда, потому что это было круто. Если ее сердце содрогнулось от боли, то это из-за ее учеников, которых там не было. Она встала, посмотрела, как он играет с мелом, затем сказала с еле заметной улыбкой: «Не роняйте мел».

Она побежала по полупустой улице. Заходящее солнце облизывало тротуары горящими языками и сушило слезы на лице старухи. Мисс Диаманд чувствовала себя виноватой перед своими учениками, как будто она их бросила, а не они ее. Она уже была близко к мосту, когда вспомнила адрес: двор на улице Хоккеля.

Матильда Цукерман смешивала в маленькой чашке сухие зерна *эрзац-кофе*и сахар. Не отрываясь от еды, она приняла мисс Диаманд. «Мы продолжаем ждать нового рациона», - сказала она, приставив ложечку ко рту. «А пока набиваем желудок чем можем. «В сухих зернах *Ersatz-*кофе были растрескивание между зубами. «Вы хорошо выглядите, мисс Диаманд», - улыбнулась она, облизывая крупинки сахара, выпрыгнувшие на ее губы. «Очень любезно с вашей стороны приехали. Вы знаете, что хлебный паек был сокращен? » Она указала на чашку в руке. «Кофе, смешанный с небольшим количеством сахара, немного наполняет вас. Но есть ли что-нибудь, что может заменить кусок хлеба? » Мисс Диаманд спросила ее, как поживает Самуэль. Все еще жуя, она покачала головой. «Его нечем накормить, что могло бы поставить его на ноги, и с этим жаром ... Но он идет на курорт».

«А где Белла?»

«Конечно, на балконе. Она там живет ».

Матильда перестала быть толстой. Ее легкое платье без рукавов с большим декольте открывало ее дряблую дряблую кожу, которая напоминала желтоватую драпировку поверх короткого скелета. Она повела учительницу в комнату для девочек. Несколько кофейных зерен застряли у нее в горле, она закашлялась, а затем сказала шепотом: «Она сидит на балконе с того момента, как она приходит с работы домой, до того момента, когда она ложится спать». Она закусила губы. «Все развалилось, мисс Диаманд. . . и я не знаю, как это собрать. . . » Она подняла чашку, как будто пыталась спрятать за ней лицо.

Белла сидела на балконе, прислонившись головой к стене, с закрытыми глазами. Ее уродливое лицо было искривлено, нос заострен, уголки рта опущены, как будто она спала. Мисс Диаманд легонько коснулась ее плеча, и тяжелые веки Беллы медленно открылись, открывая тусклый взгляд. «Мисс Диаманд?» она подняла брови. «Давно не виделись». Ее голос звучал сухо и сухо.

Мисс Диаманд наклонилась к ней. «Я пришел посмотреть, как ты, дитя».

«Кто послал за тобой, мать или отец?»

«Никто, Белла. Иди и принеси мне стул. Я хочу немного посидеть с тобой ».

Девушка встала и посмотрела на мисс Диаманд с открытой неприязнью. «Я забыла все, чему ты меня научила, и мои хорошие манеры тоже», - сказала она с сарказмом, вынося стул из своей комнаты. Мисс Диаманд села, убрав со лба прядь волос. Белла возвышалась над ней. «Почему я тебе так любопытен?» спросила она.

Мисс Диаманд изо всех сил пыталась заставить улыбнуться свой морщинистый рот. «Я скучаю по нашим разговорам. Ты помнишь, как ты прибегал ко мне? »

«Я никогда не бегал к тебе». Белла прислонилась к перилам балкона и обвила их руками. «Вы помните, мисс Диаманд, что в начале гетто вы говорили, что здесь никто не сможет замаскироваться, что мы будем обнаженными, как Адам, предстать друг перед другом? Вот что происходит! Теперь ты видишь меня голым. Все остальное, чему вы меня научили, - блеф. . . треп треп! Высокие философии! Искусство, красота, любовь! Любовь? Кто был тот дурак, который придумал это безумное слово? А слово «Жизнь»? Что за чушь вы болтали о жизни! Необычные интерпретации, которые вы нам дали! Бедная мисс Диаманд. Правда в том, что в этом нет ничего, кроме желудка с кишечником. Еда идет в один конец, а в другой выходит. Два отверстия и движение между ними называется жизнью. Физиология - единственная наука, которая не является обманом ». Она искоса взглянула на старуху, заметив, что та опустила голову и ее плечи опустились на колени. «Зачем вы сюда приехали? Что тебе от меня нужно? » она злилась.

Дрожащая серая голова тряхнула. «Дитя, это не так. . . »

Белла опустилась на пол балкона: «О нет!» она позвала. «Ты больше не доставишь меня туда! Вы достаточно долго обмотали мою голову паутиной и мягким хлопком, моя милая мисс Профессорка. Это ты помог мне застилать постель из мягких подушек и перистых пуховых одеял. Как ты думаешь, не больно быть внезапно выброшенным на холод? Но у вас нет причин оплакивать меня. Вы даже можете меня поздравить. Я в порядке. Вы видите это дерево внизу? Это мой сосед. Мы не обманываем друг друга. Мы не говорим пустую болтовню. Мы не понимаем друг друга и все тут. Он там стоит, я сижу здесь. Это один. Я один. Мертвые, живые, все в одиночестве, по отдельности, и если все так, то перестают чувствовать. . . и так должно быть ».

"Ваша мать . ... - медленно, осторожно прошептала мисс Диаманд. «Ты ей нужен. . . »

«Пожалуйста, не рассказывай мне о ней!» Белла яростно махнула рукой. «Вы знаете, для чего я ей нужен? Чтобы разгрузить ее гнев и горечь. Ей нужен козел отпущения, жертва. Я думал, что время, когда отец был в *Крипо,*воскресило в ней мать, идиотом, которым я был. Как такое могло быть, если она никогда не была матерью. Вся идеализированная концепция материнства, мисс Диаманд ... это тоже не что иное, как пустой блеф. Все, что существует, - это жадность ... желание обладать другими и питаться ими. О, бедная мисс Диаманд, когда вы откроете глаза и увидите вещи такими, какие они есть?

«Не называй меня бедным». Мисс Диаманд восстановила нормальный звук голоса. «Это вы стали бедными. То, что вы говорите, неправда. . . нет. . . не полностью. Это только одно лицо истины. То, что вы кричите, - лучшее доказательство того, что в жизни есть нечто большее, чем просто механизм, как вы это называете. . . физиология. Почему бы тебе не спросить своего отца ... Он должен знать больше, чем мы двое.

Лицо Беллы изменилось. Ее лоб нахмурился, как будто ей было больно. Она говорила голосом, который тоже казался измененным, сломленным: «Потому что он самый далекий. .. Вот почему." Она вскочила на ноги. «Оставьте меня в покое, мисс Диаманд!» воскликнула она.

«Вы меня выгоняете?»

«Да, я не хочу тебя видеть!»

Измученная, потерянная, мисс Диаманд поплелась обратно по мосту. Она вспомнила, что в прошлом, переходя мост, она думала о своей подруге Ванде. Теперь она улыбнулась самой себе, улыбкой Беллы. Эта детская церемония на мосту показалась ей глупой. Ее туманный взгляд метнулся к колючей проволоке. Провода что-то перечеркивали, превращая в ноль. Она была подобна стволу и корням дерева. Провода были тупыми пилами, которые срезали ветви, которые вот-вот вырастут из нее. Куда пропали все соки, которыми она кормила побеги? Ее любимая ученица Белла была мертвой сучкой. Был ли смысл искать остальных?

Если так, значит, все кончено; это означало, что бесполезно посвящать себя маленьким. Мисс Диаманд почувствовала, что входит в темный туннель: безразличие. Она подняла голову и посмотрела на окрестности новыми глазами. Все было так же, но уже не то.

Церковь из красного кирпича попала в орбиту ее взора. Что случилось с церковью? Казалось, он потерял свои основы, казалось, спал на белых облаках гагачьего пуха. Входная дверь церкви была распахнута настежь, и белые облака проплывали сквозь нее, поднимая снежную пыль. Она подошла к церковному двору; внутри стояло несколько телег. Проходя сквозь мягкое облако перьев, она заметила голубую статую плачущей Девы Марии со сложенными в молитве руками, покачивающуюся вперед из ниши в стене. Некоторые мужчины забивали ногами Мэри, пока она не упала в их поднятые руки. Четверо мужчин унесли ее на плечах, как на гробу.

Молотки начали стучать по голове мисс Диаманд. То, что она видела, не было галлюцинацией. Ошеломленная, она пошла дальше в церковь. Ее охватила неземная прохлада. Ее шаги утонули в облаках гагачьего пуха. Вокруг нее было полутемно; только бледный свет проникал сквозь витражи. Где бы солнечные лучи ни касались пуха на земле, они превращали его в облако цвета радуги. Толпы женщин с белыми шарфами на головах сметали облака пуха в углы, складывая их в груды. Другие разрезали наволочки разных размеров и выпускали «снег» в воздух. Они обменивались криками друг с другом, размахивая руками, когда спускались через пушистые горы. Мисс Диаманд показалось, что они вот-вот взлетят в воздух на невидимых крыльях. Один такой «ангел», покрытый «снегом», предстал перед мисс Диаманд: «Кого ты ищешь, бабушка?» спросила она.

Старуха моргнула: «Что здесь произошло?»

«Что вы имеете в виду, что произошло? Ничего не произошло. Прибыл новый транспорт с еврейскими постельными принадлежностями ».

"Отсюда?"

«Лучше, чтобы мы не знали».

«Здесь, в церковь?»

«Ангел» сочувственно покачала головой. Тепло снаружи, вероятно, поразило старуху до мозга костей. «Куда еще он должен был прибыть, бабушка? Это курорт «Перо и пух». Здесь мы разрезаем подушки и чехлы из гагачьего пуха, выбираем их, чистим. . . подготовить подстилку для *йеков.*Давай, я тебя покажу. Она провела мисс Диаманд через гору, мимо телег на улице, к воротам. «Будь здоров, бабушка!» она крикнула ей вслед.

Мисс Диаманд долго шаталась в знойной улице. Перед ее глазами был образ церкви, полной перьев и постельного белья. Ее ученица Белла также говорила о постельных принадлежностях, мягких подушках и пушистых покрывалах. Блеф, - сказала Белла. Мягкие подушки в церкви, на которых она заметила, хотя она не хотела признаваться себе в этом, красновато-коричневые пятна крови, не были блефом. Она вошла в свой собственный двор и увидела детей. Пора было начинать занятия. Она ничего не могла с собой поделать. При виде возбужденной стаи костлявых юнцов ее безразличие исчезло. Ей пришлось начать заново, снова поверить. Дети тоже не блефовали.

На следующий день мисс Диаманд сделала последнее, что могла сделать для своей любимой ученицы Беллы. Из-под подушки кровати она вытащила роскошный толстый том в кожаном переплете с позолоченными краями: полное издание стихов Словацкого; книга, которую они с Вандой однажды подарили себе. Ее самое большое сокровище. Она отнесла его Белле. Она встретила ее на балконе в той же позе, полусонной, полусонной, что и накануне. Белла, похоже, не была удивлена ​​или тронута жестом учителя. Безразлично она слушала бормотание старухи, хладнокровно наблюдая за дрожащими руками, протягивающими ей книгу: «Подарок тебе, Белла ...»

Белла пожала плечами. «Зачем мне это нужно?» Она оттолкнула учителя вместе с книгой.

Мисс Диаманд, поддерживая бедро одной рукой, наклонилась и положила драгоценный том на пол балкона. «Делай с ним все, что хочешь».

♦ ♦ ♦

Мисс Диаманд очень мало спала по ночам. Ей хватило трех-четырех часов сна до рассвета. Однако это не было похоже на бессонные ночи прошлого года; ночи, наполненные мечтательным желанием слиться с их тьмой. Ее нынешние ночи были бессонными, наполненными сознанием, лишенным даже тени мечтательности. Она полностью осознавала, что с ней происходило. Все дороги, по которым она проезжала, были окутаны туманом полусна, полуреальности. Она смотрела на все сквозь пелену, издалека, сквозь смягчающий свет. Было ясно, что она хотела обернуть вуалью и своих учеников. Белла была права, когда говорила о мягких подушках: тоске по красоте, вечном поиске добра, благородства, желании шагать по тропинкам, идущим не по реальной земле, а по крайней мере на голову выше нее. Она была виновата. И все же она знала, что иначе она не смогла бы продолжить, что иначе она не могла бы быть учителем.

Теперь, когда порванные и смятые вуали упали, и ей осталась суровость «голой правды» Беллы, она знала, что бездна открылась, ожидая ее. Но как раз в момент ее неизбежной встречи с ним она потеряла желание погрузиться в него. (Она тоже раньше окутывала смерть пеленой красоты.) Внезапно она влюбилась в существование, полностью осознавая его грубость. Приятно было впитывать уродливое великолепие жизни. Цепляясь за него, как паук, чья паутина была разорвана, она очень хорошо знала, что скоро она прядет новые нити и сплетет их в вуали, чтобы не дать своей душе погибнуть.

И она знала, что дети на ее заднем дворе рано или поздно помогут ей возродить эти старые привычки. Они помогли бы ей создать для себя новую музыку, внутреннюю атмосферу, которая предложила бы ей то, что она называла «стилем бытия». Следует ли ей защищаться от этого? Или ей следует заняться этим? Ни то, ни другое не имело значения. Что было важно, так это нынешняя бессонная ночь, с которой она столкнулась с собственными чувствами. Никто не чувствовал равнодушия сияющего неба, благоухания земли так же, как она. Мир, каким она его воспринимала, не принадлежал никому, кроме нее. И это было сильное чувство. Это дало ей силы принять гетто таким, каким она его видела. Она слышала, как гетто тяжело дышало во сне, наполняя тишину своей мукой. «Насколько полной звука и движения может быть тишина», - подумала она. Очень часто тишину нарушал острый, как бритва, вой сирены. Воздушная тревога. Иногда за этим следовал далекий рев самолетов, иногда - штиль, звенящая в ее ушах.

Мисс Диаманд подумала о стальных птицах высоко в воздухе. Ее сердце переместилось в сердце одинокого пилота, который бродил по ночному небу. "О чем он думает?" - спросила она здесь. «Что он чувствует в этих стальных доспехах, когда он парит над городами, над домами, над миллионами кроватей, где сейчас спят мужчины, женщины и дети? Что он чувствует, когда держит их судьбу в своих руках? Разве он не чувствует себя одиноким в этой темно-синей пустоте? Разве он не жаждет того уголка на этой земле, к которому привязана его жизнь? Есть ли у него жена, любовница, мать, ребенок? Какая сила заставит его нажать кнопку и позволит сбросить зажигательные ракеты и бомбы на крыши домов других людей? » Она не задавалась вопросом, немец он, русский или англичанин. Он был одним из ее учеников, ее сыном. Она научила его читать. Он, вероятно, знал наизусть хотя бы одно стихотворение, хотя бы одну любовную песню или колыбельную, которые его мать спела ему. Возможно, он больше не верил, что с большой высоты за ним наблюдает око Бога. И все же в душе этого пилота определенно был глаз, через который он смотрел на себя. Вероятно, его воспитывала цивилизация, основанная на заповеди «Не убий», иначе он не смог бы управлять механизмом своей стальной птицы. Тогда что же заставило его нажать кнопку - тот ученик, тот ребенок, который когда-то играл на коленях материнской доброты, который однажды улыбнулся детской невинной улыбкой?

В Европе, в Азии и Америке было много учителей, проповедников и таких же благородных проповедников, как она сама, подумала мисс Диаманд. И это были ее ученики, их ученики, которые поднялись в небо на этих стальных птицах, сея смерть. Что же тогда она могла предложить детскому стаду у себя во дворе, в гетто? Что было предложить новому поколению немецких детей и детей других народов? Как можно заставить их расти руками, которым никогда не придется нажимать кнопку и использовать орудия разрушения? Как они могли вырасти и остаться невинными? Какое семя следует сеять в их сердца? Не хватало литературы, стихов, музыки, религии. Что тогда?

Когда она лежала в своей постели, борясь с такими мыслями, тишину ночи нарушил звук, потрясший ее больше, чем сирены воздушного налета. Последнее время дети плохо спали; возможно, их беспокоили жара, голод или дурные сны. Они ворочались на своих кроватях, и она слышала скрип через открытое окно. Дети часто кричали во сне - крик испуганных птиц, незаконченный крик, который оставался подвешенным на иглах страха. Часто очень маленький ребенок плакал криком, который, казалось, исходил из глухого леса. Или она слышала вздохи, или слово «мама». . . » который напомнил мисс Диаманд о парусной лодке, плывущей по ночам; потерянная парусная лодка, ищущая руки порта, чтобы обнять ее с нежностью и дать ей убежище.

Мисс Диаманд боялась криков и криков спящих детей. Она слезала с кровати и босиком спускалась в их спальню. Она переходила от одной кровати к другой, не в силах угадать, из чьих губ исходили звуки. Вернувшись в свою кровать, она сама почувствовала себя вынужденной издать крик беспомощности. Ее трясло от холода в ночную жару. Непонятная ноющая тревога разъедала ее сердце; никогда раньше не испытывал испуга. Это заставило ее почувствовать себя отстраненной от себя. Он нивелировал ее рассудок и кружил в болезненных лабиринтах предчувствий.

В последние дни июля Клара, жена Пресесса, часто навещала мисс Диаманд. Она приходила рано утром, практически на рассвете, чтобы соседи ее не заметили. В летней шляпе и белых перчатках она пахла мылом и духами. Ее туфли на высоком каблуке выглядели новыми; они неприятно светились и пищали. Она приехала с пакетами: с хлебом, колбасой, сыром и мармеладом для детей. Она пробыла недолго. У них с мисс Диаманд больше не было общего языка. Они обменялись практическими замечаниями о благополучии детей.

Однажды утром Клара внезапно сказала: «Заказ на тысячу детских кроваток прибыл в Carpentry Resort, а заказ на семьсот детских туфель - в Shoe Resort. Это может означать, что о тех, кто был отправлен из гетто, хорошо заботятся ».

«А может быть, эти вещи предназначены для немецких или польских детей?» - сказала мисс Диаманд, думая о постельных принадлежностях, которые она видела в церкви. Чем бы еврейские дети укрылись в новых кроватях? Затем она добавила: «Женщина на нашем заднем дворе работает на курорте Old Clothes Resort. Они сортируют окровавленную одежду, которая на телегах прибывает в гетто ».

Клара отвела взгляд, избегая открытого взгляда мисс Диаманд. «Нет уверенности, что это одежда евреев Лодзи. . . Возможно, они принадлежали к людям из провинции ... »

Мисс Диаманд задавала странные вопросы. Каждый раз, когда приходила Клара, мисс Диаманд возвращала ее к той же теме. Добрая и мечтательная мисс Диаманд превратилась в жестокую мучительницу. Им обоим было ясно, что ее одолевает отвращение к Кларе. Она боялась визитов Клары, ее запаха и скрипа новых туфель. Мисс Диаманд хотела запереть дверь или выйти из дома на целый день. Но она этого не сделала. Не было выхода ни от вопросов, ни от ответов Клары. Клара была посыльной, которая, нагруженная подарками, прибыла, чтобы доставить неприятные вести. Ночи мисс Диаманд становились все ярче. Их осенило дурное предчувствие. Они потускнели от огней суда.

Однажды Клара пришла с коробкой игрушек для детей: куклы, трубы, тряпичные зверушки, собачки, медведи, котята. Их откуда-то привезли в гетто, чтобы вымыть и починить - и Клара взяла коробку с ними для детей мисс Диаманд. Когда мисс Диаманд увидела выставку игрушек и ее сухие руки начали гладить их, прижимая к носу, к глазам, Клара повернулась к окну и уставилась во двор. Старуха так долго смотрела на тряпичных кукол и животных, что глаза ее затуманились. Она понюхала, она увидела жуткую историю, которую ей рассказывали игрушки. Она попросила Клару забрать все обратно. По ее словам, ее дети, даже самые маленькие, больше не играли.

Элегантная Клара плакала. «Присутствие Варшавского гетто покончило жизнь самоубийством», - сказала она мрачным шепотом. «Его попросили передать им семьдесят тысяч евреев. . . Теперь немцы делают эту работу сами ». Она вытерла лицо белой перчаткой. «Здесь до этого не дойдет. Мы полезны ... »

С этого дня их роли поменялись местами; Клара позволила себе уйти, пытая старуху «самой конфиденциальной» информацией, которую она, очевидно, не могла переварить самостоятельно. Каждый день она рассказывала новую историю об убийствах, делясь со своей бывшей учительницей ядом, который ее ел. Она больше не плакала. Ее глаза были полны безумия. Она также рассказала о своих снах мисс Диаманд. «Мне приснилось, что я - кусок угля; все гетто было грудой углей. Я был на самом верху, и я был черным и тяжелым, толкал угли под собой в огонь ... » Она закончила как обычно:« С нами ничего не случится ... Мы полезны. И я слышал, что Германия подверглась бомбардировке ... Гамбург. .. Бремен ... сровняли с землей ».

Мисс Диаманд пыталась выкинуть из памяти образ Клары. Она занималась школой, занималась мелкими повседневными делами и сидела на уроках профессора Хагера во дворе. Она много времени проводила с малышами, болтала с ними и слушала их истории. Она была полна энергии и весела, шутила со своими коллегами и детьми. Действительно, она приобрела чувство юмора.

Book Three 113

Глава восьмая

БЛАГОСЛОВНЫЕ ДОЖДИ лились с небес, оживляя истощенную почву. Они также принесли людям пользу. Дети выросли, как молодые травинки. Босые, полуголые, они наполняли воздух своим смехом и восторженными возгласами; молодые девушки выставляют горшки и тазики, чтобы собирать дождевую воду и мыть голову. В те дни цены на дрожжи на черном рынке упали, и их было легче достать в дрожжевых кооперативах. Кроме того, появилась новая порция картошки и было что положить в котелок. И когда желудки людей более или менее удовлетворены, их воображение начинает процветать, их надежды разлетаются во все стороны. В августе того же года они улетели в сторону далекого Кавказа, который вскоре должен был стать пламенем для рубки, о котором отрубили бы голову немецкой гидре. Или они летели на Западные фронты, призывая солдат поторопиться и принести спасение. Казалось, что дожди и новая порция картофеля были посланием мира: «Так держать, братья. Пройдет немного времени, и мы придем, чтобы спасти вас! » В Москве проходила конференция, где Черчилль пробыл десять дней и участники которой поделили между собой послевоенный мир.

Кто в такие дни думал обратить внимание на слова герра Саттера: «Если двенадцатый час обернется для нас, немцев, вы, евреи, не переживете одиннадцатый!» Люди смеялись. Девятнадцать сорок второй год был годом освобождения. Об этом говорили камни на улицах. Даже люди опухли от голода, высохли от дизентерии, горели туберкулезом, даже те, кто лежал на смертном одре, были уверены, что у них достаточно сил, чтобы спастись. Опьяненные духом обновления, люди после войны предались своей мечте о жизни. Теперь они будут знать, размышляли они, как этим наслаждаться и как изменить мир.

Шалом поделился хорошей вестью со своей матерью, обрадованный осознанием того, что он практически вкладывает новое сердце в ее иссохшее тело.

«Если судьба пожелает, - Шейн Песселе посмотрела на своего костлявого сына, от которого, как она выразилась,« ничего не осталось », - и мы дойдем до благословенного часа, я возьму целую буханку хлеба, круглую, хорошо - запеченные, такие как только дядя Хенек умел печь. Я вложу тебе в руку нож и скажу: «Ешь, сколько душе угодно!» »

Шалом поддразнил ее: «Ты хуже Бонси Швейг, мама. По крайней мере, он хотел белую булочку с маслом ».

"Ты глупый." Она покачала головой. «Почему я так говорю? Потому что для меня самое ужасное - драться с тобой из-за куска хлеба. Если бы вы только позаботились не съесть весь рацион за один день! Вы пожимаете плечами. Конечно, как понять материнское сердце? »

«После войны, - сказал Шалом, - мы будем есть такую ​​пищу в середине недели, о которой мы даже не мечтали даже в субботу. Будем есть запеченные, жареные, тушеные блюда. . . и всякая выпечка, и шоколадные конфеты. Выпьем крепкий чай с лимоном и полстакана сахара ». Чтобы рассмешить ее, он напомнил ей: «Вы помните ароматный чай, который я принес домой из Саттера?» Однако его слова заставили тень Иче Майера пролететь в их сознании; горе связывало взгляды матери и сына. Итче Майер не дожил до того чудесного часа. Шалом очень хотел вернуть настроение надежды. «Возможно, мы получим собственных цыплят или уток. Может, корова? Свежее молоко, яйца, масло ... »

Шейн Песселе покачала головой. «Посмотрите, какие у этого парня жадные глаза! Вы думаете, что могли бы съесть целые фургоны с едой, не так ли? Поверьте, вы не будете таким обжора. Как вы думаете, сколько человек может съесть? Богатые никогда не думают о еде, поверьте мне, потому что у них есть достаточно еды.

«Могу я дожить до того момента, когда у меня перестанет думать о еде».

«Насчет этого, понимаете, вы правы ... Я имею в виду цыплят, уток, корову ...» - она робко, задумчиво улыбнулась. «Как ты думаешь, я не против купить себе где-нибудь фруктовый сад с хорошими деревьями: груши, яблоки, вишни, сливы, несколько кустов малины ... немного клубники. Я бы не прочь иметь *клочок*земли, не жалкую *дзялку,*а настоящий клочок поля. . . с капустой и огурцами, с картофелем и луком; красивый, свежий, прямо из почвы. Ой, какая это была бы жизнь! Потому что, честно говоря, я так и не привык к городу. В городе люди скорее мертвые, чем живые. В городе я стал старым и холодным. Если вы живете между камнями и кирпичами, а не деревьями и полями, вы сами становитесь подобны камню, и вы тоже становитесь злом. Говорю вам, мир сумасшедший. Люди запираются в клетки по собственной воле. Я имею в виду, даже когда мы были свободны. Как можно быть свободным в городе? Один наступает другому на мозоли, один заглядывает другому в горшок, один съедает другого со своей завистью. Поверьте, человек не был создан для этого. Человек создан, чтобы жить в деревне. Там его характер лучше, и он свободнее. Согласно моим глупым рассуждениям, города - начало всего зла в этом мире. Кто ведет войны? Деревенские мужчины? Нет. Городские мужчины. Где воровство и грабеж? Куда гонятся за роскошью и дешевыми удовольствиями? Где раба на фабриках? Только в городе. Не скажу, что деревенская жизнь - это рай. Конечно, надо потрудиться. Но такой труд полезен. . . А, Шалом, клочок земли делает людей более честными, слышишь?

Шалом не согласился с ней: «Я всегда тебе завидовал. Вы провели детство в саду, а я вырос, гния в подвале. Но есть такое понятие, как прогресс. Вы можете узнать об этом из истории. Сначала человек был странником, затем он обосновался, создав поселения, затем деревни, затем поселки, большие города, огромные города. Цивилизация требует этого, а цивилизация никогда не идет назад, всегда вперед. В один прекрасный день, через несколько сотен лет, весь мир станет одним огромным городом ».

«Я рад, что не доживу до этого». Шейн Песселе откинула седую голову. «Кому нужна« сибилизация », я спрашиваю? Нам это нужно как дыра в голове. Кем стал человек благодаря этому? Он перестал быть дураком? Что это дало ему? Мягкая подушка под его спиной? Поезд вместо лошади и повозки? Автомобиль? Неужели человек настолько болен, что не может ходить своими ногами? Машины должны работать на него? А для чего у него две руки? И если машина у него работает, и если у него под спиной мягкая подушка, и если он едет в поезде и у него есть туалет, действительно ли ему лучше? Он счастлив от этого? Он только более ленив, и у него больше времени на то, чтобы волноваться и придумывать схемы того, как поступить с соседом, как жульничать и грабить, как улучшить свое огнестрельное оружие и убивать ».

«Мама, ты не понимаешь», - прервал ее Шалом. «Все это из-за капиталистического порядка. В социалистическом мире цивилизация была бы на службе у человека. Я желаю себе иметь все эти великие удобства. Желаю иметь возможность летать на самолете и видеть другие страны. . . посмотреть, как живут люди ... »

«Эх, оставь меня в покое», - она ​​не поддавалась влиянию. "Большая вещь! Другие страны, другие страны! В одном месте чуть теплее, в другом чуть холоднее; здесь течет река, там стоит гора. Что в этом такого важного? Ты должен знать, Шалом, что если ты хорошо знаешь одного человека, ты знаешь все человечество; и если вы хорошо знаете один участок земли, вы знаете весь мир. Вы можете сами убедиться, что чем больше люди путешествуют, тем больше они ненавидят друг друга. Ты знаешь почему? Потому что мужчины действительно созданы, чтобы жить друг с другом, но когда? Когда есть участок земли и небольшой забор между одним и другим. Ограда защищает людей друг от друга, а земельный участок объединяет их и учит помогать друг другу, когда это необходимо. Это и есть. Люди не созданы для того, чтобы жить стадами, как скот. Вы можете сделать многое для другого человека только на небольшом расстоянии. Тогда вам больше нравится другой человек. Я имею в виду ваш социализм. Каждый вкладывает в нее все, что хочет. Если бы они позволили мне дать совет миру, я бы представил свой тип социализма: каждому человеку участок земли с забором и маленькие ворота, чтобы входить и выходить ».

Ее слова ошеломили Шалома. Он считал свою мать убежденной социалисткой и бундовцем. «Социализм стремится убрать все заборы и границы, мама, и вот вы пришли, готовы поставить новые? Вот каким социалистом вы стали? Вы проповедуете эгоизм, а не социализм. Мы хотим, чтобы любовь человечества поднялась после этой войны, понимаете? »

Она не принимала близко к сердцу его упреки. «Любовь человечества, движение человечества! В наши дни такими словами можно было подавиться. Мы уже видели, какую любовь вы проповедуете. Один человек может душить другого любовью, пока тот не подавится. Ты должен знать, что человек может сделать много добра, и он может быть диким зверем, и из-за того и другого между одним человеком и другим должна быть небольшая ограда ».

«Зачем ты говоришь об этом заборе, мама? Вот вам забор вокруг гетто! Вам это нравится?"

«Это ловушка из колючей проволоки, а не забор. У него нет ворот. Ворота важны ».

Оба улыбнулись. Шалом покачал головой: «С каждым днем ​​ты становишься великим философом, Мать. Ваши мысли настолько глубоки, что до них невозможно добраться ». Она ответила нежным взглядом. Они никогда не были так близки друг другу, как сейчас.

♦ ♦ ♦

У Шейн Песселе опухли ноги. Отек начался с пальцев ног и поднялся по ступням и ногам до бедер. Но она оставалась активной. Она называла свои ноги «мои тыквы» и обсуждала их, как если бы они были двумя разными существами. Она сердито проклинала их, а когда они слишком беспокоили ее, ругала их. Пока что она все еще была хозяином своего тела, а не они. И она будет *командовать*ими, как хороший генерал, пытающийся собрать своих адъютантов.

Ноги ежедневно несли ее на работу в Old Clothes Resort, через мост и обратно. Они отнесли ее к очереди за едой и к женатым сыновьям и внукам. Они несли ее вверх и вниз по лестнице к соседям и детям-сиротам во дворе, о которых она заботилась и которые звали ее бабушка Шейн Песселе. Взрослые тоже начали называть ее этим именем, роясь вокруг нее, как дети. Она давала им всевозможные медицинские советы, а также лекарства собственного изобретения. Она практиковала на них свои методы, помогая им избавиться от плохого настроения или преодолеть приступ тревоги или депрессии.

«Король» заднего двора, бывший преступник Моше Грабиаз, очень уважал Шейн Песселе. Как только он видел ее во дворе, он кричал толпе: «Отойдите, все! Пусть проходит человек! » После чего он брал ее под свою личную защиту, докладывал ей о состоянии своей больной жены и просил совета.

Его маленькая дочь Маша, которая следовала за ним, как тень, повторяя взрослых своей болтовней и манерами, закутывалась в свободные складки юбки Шейн Песселе и, глядя на нее острым взглядом, умоляла: «Дайте меня пощекотать, бабушка Шейн Песселе.

Улаживать ссоры на водяной помпе или на *дзялках призвали Шейн Песселе.*Она вмешивалась везде, кроме ссор между мужьями и женами. «Никто не должен становиться между мужем и женой», - говорила она, вытирая рот. Чаще всего ее видели у вишневого дерева. Хотя теперь дерево официально было собственностью Совета общины, она не могла оставаться к нему равнодушной. Даже опекун общины, наблюдавший за деревом, считал ее «матерью» дерева. Он пожаловался ей: «Видишь ли, бабушка Шейн Песселе, в этом году урожая вишни не будет. Вишни опадают до того, как созреют. Дожди пошли слишком поздно ». У нее заболело сердце при виде дерева. Он умирал. Его разъедали стаи червей.

По утрам, по дороге на работу, у Шейн Песселе был спутник. Райзель, бывший повар Цукермана. По правде говоря, две женщины не могли видеть друг друга. «Ристократическое» прошлое Райзель упоминалось в каждом произнесенном ею слове: «В моем доме каждый вел себя хорошо. . . » была ее стандартная вступительная фраза. Шейн Песселе не могла этого вынести. Райзель, с другой стороны, не мог вынести ни той важной роли, которую эта простодушная женщина-плотник играла во дворе, ни того уважения, которое люди испытывали к ней, и она, Райзель, считала, что соседи будут очень мудрее доверять ей, «женщине мира». Но они с Шейн Песселе вместе работали на курорте Old Clothes Resort, и идти было легче, если можно было опереться на руку другого человека. Райзель тоже в последнее время еле могла ходить на ногах. Итак, они пошли рука об руку. У одной женщины ноги тонкие, как палки, у другой толстые, как тыквы.

Курорт старой одежды располагался во дворе, из которого недавно были эвакуированы все жители. Для установки такого курорта не потребовалось никакого ремонта. Стоило только освободить комнаты от мебели, поставить столы там, где их не было, поставить вокруг них скамейки, и курорт был готов. В основном там работали пожилые женщины. Работа не была сложной и никакой квалификации не требовалось. Какая женщина когда-либо не знала о качестве материала? Или о том, как отличить шерсть от более дешевой? Все, что им нужно было сделать, это рассортировать одежду по ее качеству и состоянию. Некоторая одежда была в пятнах крови и грязной; другие были совершенно новыми. Воздух в комнатах пропитан странным запахом, к которому нужно было долго привыкать.

На курорте не было строгой дисциплины. Немецкие комиссии никогда не приезжали в гости, ни Пресесс, ни его люди. Женщины делали свою работу не спеша, но работали хорошо, четко. Наблюдать за ними не нужно было, потому что они сами хотели, чтобы руки были заняты, чтобы время прошло быстрее. Более того, если они сидели сложа руки, их мысли могли сыграть с ними злую шутку. Не раз, глядя на одежду, они видели человека, который ее носил. У каждой одежды была своя индивидуальность; он раскрыл свой возраст, свои особенности и особенно в детской одежде - свое очарование. Лучше было скомкать одежду и сложить в кучу, чтобы она выглядела менее человечной. И все же, несмотря ни на что, женщины знали, что тела, пропавшие без одежды, принадлежали евреям из провинции, а не, не дай бог, из Лодзи, не из эвакуации прошлой зимой. Тем не менее, работать там было довольно жутковато.

Лучшим способом замедлить время было, конечно, привести язык в движение. Женщины ни на минуту не закрывали рта, растирая часы своей болтовней, как кофемолки, с утра до обеда. Во второй половине дня добавилась дополнительная забота: подготовка одежды для себя, чтобы забрать домой. Они помогли друг другу обернуть одежду вокруг своих тел. Обыск на выходе обычно был поверхностным. Управляющий, единственный мужчина на курорте, хрупкий болезненный малыш, смотрел «сквозь пальцы».

Иногда случалось, что женщины, занятые поиском одежды, чтобы забрать домой, находили в кармане письмо со знакомой подписью или фотографию знакомого лица. Так Шейн Песселе обнаружила пуловер Валентино. Она сразу узнала его, потому что он всегда носил его, и оно имело странный блекло-лиловый цвет. Другого такого пуловера во всем мире просто не было. В другой раз в нагрудном кармане она нашла пуговицу с изображением вождя бундовцев Бейниша Михалевича, такую, которую носили ее муж и сыновья. И однажды рабочий обнаружил в кармане женской куртки фотографию Слепого Хенека. Шейн Песселе схватила фотографию и быстро спрятала ее в бюстгальтер вместе с двумя детскими рубашками, которые она приготовила для своих внуков. Дома она спрятала фото в шкафу, никому не сказав. Она знала то, чего не должны были знать ее дети, чего не должно было знать гетто.

На курорте Шейн Песселе не пользовалась особой популярностью; она думала не о своей работе, а об Итче Майере, ее муже. Нигде больше она не видела его так ярко, как здесь. Он сказал ей важные, но странные вещи. Она видела, как он поднял сжатый кулак. «Шейн Песселе», - говорил он. «Почему ты скрываешь правду от детей? Почему бы тебе не запугать гетто? Какой еще риск? Мы обречены, Шейн Песселе. Курорты не помогут. Румковски не поможет. Все евреи рано или поздно уйдут. Так что, если это так, мы должны бороться, моя жена ... "

Она поссорилась с ним. Он всегда был горячим. Как он мог сказать, что ее сыновья уедут? Так что, если бы они были худыми? У них был здоровый фундамент. Они выживут. «Ты не Соломон, Итче Майер», - сказала она ему. «Взгляните на людей. Какие-то они бойцы! Гетто еле дышит. Величайшая битва, на которую они способны, - это подняться на несколько ступенек. А с другой стороны, Итче Майер, почему ты не понимаешь, что если мы бросимся на немцев, мы потеряемся хорошими и порядочными. Что вы хотите, чтобы мы сделали, перерезали колючую проволоку? Побег? Куда?"

Итче Майер поднял на нее кулак: «Оружие, Шейн Песселе! Гетто должно обеспечить себя оружием! »

Она спросила его: «Ты что, в своем уме, или просто *мешуга*? Как бы вы попали в гетто с оружием? По небу? Разве вы не помните, что все дома вокруг гетто исчезли, что никто не может отсюда выбраться живым? Мало виселицы на базаре поставили? А если бы нам удалось выбраться, разве поляки не сдадут нас в руки немцев, не моргнув глазом? »

«Но Шейн Песселе, - возражал ей Итче Майер, - если выхода действительно нет и если мы все должны погибнуть, евреи Лодзи должны падать, стоя в вертикальном положении. . . У нас, еврейских пролетариев Лодзи, прекрасные традиции. Только не надо чувствовать себя униженными, Шейн Песселе. . . не на коленях. . . »

«Традиции», - скопировала она его, ее сердце болело. «Кто стоит на коленях, скажите? Ноги у нас опухшие, правда, но мы стоим прямо. И мы хотим жить, а не погибнуть. Да, мой муж, мы должны набраться терпения и бороться, чтобы хотя бы некоторые могли спастись. . . возможно наши дети. . . наши внуки. . . возможно, даже я сам? Иче Майер, прости, но я тоже хочу жить, я хочу выжить. Мы тебя не приносили в жертву, но ты жертва. И те, кто уехал с эвакуацией, тоже в жертву. Тогда пусть будет хоть на что-нибудь ». Таким образом, она спорила с ним в уме, не подозревая, что в это время делали ее руки.

Вернувшись домой, она смыла кровь с детской одежды, которую контрабандой вывезла, и раздавала детям-сиротам или подарила внукам. Ей казалось, что она вернулась из Иного Мира. Она забыла про Итче Майер и курорт. Она была слишком занята.

Ночью, лежа на кровати, она ссорилась со своими двумя «тыквами» и гладила живот там, где поднялась опухоль. Это тоже она держала в секрете. Во сне Итче Майер возвращалась, чтобы продолжить обсуждение. Она сообщала ему только хорошие новости, вести с фронтов, давая ему смешанные названия местностей, которые она придумывала во сне. Она скрипнула зубами и сжала кулаки, как Итче Майер. «Ты же знаешь, что я упрямый, правда, Итче Майер?» - спросила она его. Он знал это, но тоже был упрям, и они не уступали друг другу.

В течение дня, когда она разговаривала с Шаломом, у нее было ощущение, что Итче Майер говорит ей через рот: «Почему бы нам не взять себя в руки и не сделать что-нибудь?»

"Что ты хочешь делать?" Шалом не понял.

"Драться!"

Слово «драка» на шатких губах его опухшей матери звучало и смешно, и дико. Шалом засмеялся: «Боже мой! Я вижу, ты стал настоящим умником. Не зря отец говорил, что ты должен был быть генералом.

В глубине души Шалом подумал, что в последнее время его мать начала странно говорить. Он не знал, стоит ли ему беспокоиться о том, что она сходит с ума, или действительно ли она знала секретную историю о письме, которое пришло на вечеринку от Крысы Грабова. Сам Шалом иногда сомневался, были ли его мысли нормальными, особенно во время жары, когда улицы были пусты. Разве ему не казалось, что те, кого отослали, вернулись, что они идут по раскаленным тротуарам? Только долгожданные дожди смыли эту иллюзию, прогнав призраков. С фронтов поступали хорошие новости. «Мы будем освобождены в 1942 году!» был пророческий лозунг партии. «Терпеть и выжить!» был другой лозунг. Но снова стало жарко, и хорошие новости угасли. Картофельный паек был съеден, и картофель больше не поступал. Вместо того, чтобы поддаться отчаянию, гетто, казалось, сошло с ума, как будто солнце ударило всех по голове.

Письмо от Крысы Грабова принес один из новоприбывших из провинции. Израиль прочитал его на совместном заседании партийного и молодежного советов, и Шалом знал его наизусть:

«Дорогие мои, к нашему сожалению, теперь мы все знаем. Сегодня свидетель вернулся из адского места. Он находится в деревне Хелмно, недалеко от Домбии. Все похоронены в лесу под названием Любовь. Туда же были привезены цыгане из Лодзи. Все они были уничтожены отравлением газом или огнестрельным оружием. Сердце превращается в камень, глаза высыхают. Не думайте, что вам это пишет сумасшедший. Это жестокая, жестокая правда. Сорви одежду, чувак, валяйся в пыли, беги по улицам с воплями или смейся как сумасшедший. Тем не менее, возможно, Всевышний по-прежнему позаботится о том, чтобы остаток был спасен. Помоги нам, Бог Творец! Напишите, известно ли все это вашему сообществу ».

Шалом вспомнил сцену, когда письмо было прочитано. Все они сидели в душной спальне, как восковые фигуры. Сам Израиль остался сгорбленным, сморщенным, со морщинистым лбом. Он кусал нижнюю губу, его взгляд был обращен внутрь. *Рав*из Grabow был не в своем уме. «Не думайте, что это вам пишет сумасшедший», - сказал он в письме. Ни один сумасшедший не верил в собственное безумие. В письме не было ни слова правды. Шалом был удивлен, что товарищи отказались это понимать. Товарищ Браха Коплович сидела, согнувшись пополам, неподвижно, непрерывно повторяя имя своей восьмилетней дочери. Кто посмел бы сделать что-нибудь с ее ребенком? Самыми безопасными из всех были дети. Ничего другого, кроме того, что самые разумные люди сошли с ума. Наконец, Израиль заявил, что письмо нужно передать Presess, чтобы он не мог притвориться незнанием. У сионистов тоже была копия письма, и они тоже доставили его в презесс. Пресесс сообщил им, что ему были известны факты, упомянутые в письме, в течение длительного времени.

Гетто было полно сумасшедших. На курортах люди стояли у своих машин в недоумении, инструменты выпадали из их рук. «Дети до десяти лет ...» - в головах гудели слухи. Потом пошел еще один слух: «Тоже старики ...» Кого считали стариком? Те, кому за шестьдесят? А как насчет тех, кому было ровно шестьдесят, как, например, Шейн Песселе?

По вечерам Шалом сидел со своей матерью. В последнее время она стала разговорчивой. Как только они были вместе, она начала выдавать свои странные мысли, свою «философию». Он шутил с ней, противоречил ей и ждал, что она скажет еще что-нибудь. Он чувствовал ее нежность к нему через ее слова, ее заботу, ее страхи. Он был привязан к ней. Он был самым преданным из ее сыновей. Он был ее ребенком. Он был глубоко убежден, что куда бы она ни пошла, он последует за ней. Он защитит ее. Он был мужчиной и защищал единственную настоящую преданность, существующую в этом мире.

Безумная неразбериха длилась несколько дней. Шалом был прав. Это было результатом раздутого воображения больных умов. Какую чушь они изобретали! Еще день, а потом прошел еще один. Гетто переварило кошмар. В этом мире никогда не было *Рава*Грабова, и все «утки, вылупившиеся в умах людей» о самом гетто, также были «высосаны из их пальцев». Люди снова вернулись к обсуждению продовольственных пайков. Картофель все-таки должен был прибыть, может быть, не в августе, но обязательно в первые дни сентября. Фургоны с продуктами ждали, чтобы их отвезли в гетто, и каждая ночь приближала к тому моменту, когда картофель затопит кооперативы.

Шалом ненавидел молодежные собрания, но не мог заставить себя пропустить их. Саймон, лидер молодежи, проталкивал новости и репортажи с подпольной радиостанции SWIT через рот. Немцы начали полностью уничтожать европейское еврейство, начиная с польских евреев. Саймон был высоким парнем, который работал на Metal Resort, и его жилистые руки казались сильными. Он был упрям ​​и скуп на слова. Его речи были точными, сухими, каждое слово звучало жестко, бесспорно. Однако Шалом сомневался в их правдивости. Кто знал, возможно, радиостанция SWIT была немецкой? Возможно, они хотели таким образом сломить дух евреев? Наконец-то пел Шалом. Они пели свои любимые песни, сентиментальные песни, боевые песни. По дороге домой Саймон стукнул себя кулаком в грудь: «Они никогда не возьмут меня живым!»

"И я!" остальные последовали его примеру. Это походило на пустое хвастовство, детскую игру. Это были слова, которые никогда не требовали поддержки.

Израиль оставался более далеким, чем когда-либо, также более серьезным и безмолвным. Время от времени он ужинал с Шейн Песселе и Шалом, но, казалось, слушал их только одним ухом. Шалом не мог простить ему его поведения, и он больше не стыдился своей обиды. Израилю действительно нужно было решить важные проблемы, но как он мог так отказаться от своих ближайших родственников? Шалому казалось, что тяжелее нести ответственность за одну мать, чем за все гетто. Однажды, когда Израиль ушел, Шалом побежал за ним, засыпая его вопросами.

«Итак, между нами, что готовится, Израиль?» Он изо всех сил старался сдержать свои упреки.

«В гетто нет ни одного огнестрельного оружия. Все попытки заполучить их потерпели неудачу », - ответил Израиль.

«Неужели« утка »об эвакуации всех тех, кому за шестьдесят, действительно не что иное, как« утка »?»

Израиль проигнорировал вопрос. «Кроме того, существует проблема коллективной ответственности. Один безрассудный шаг, и мы бесследно исчезнем. К тому же атмосфера в гетто не благоприятствует резким действиям. . . У каждого есть мать, отец или ребенок. Это нас парализует ».

«Все это могло быть не чем иным, как ложью. . . » Шалом попытался подать обнадеживающий тон.

«Черняков из Варшавы покончил жизнь самоубийством не из-за лжи». Израиль был жестоким.

«Но Лодзь - это не Варшава. Лодзь - рабочий лагерь. Мать работает на курорте. Она полезна ».

«Придется перерегистрировать ее и изменить ее возраст на пятьдесят. Она хорошо выглядит ».

"Ага. Отек заставляет ее хорошо выглядеть. Израиль, если это случится ... что нам делать? »

«Спрячься».

«Это все, что решило правление?»

«Мы расселяем на курортах всех, кого можем, даже детей до десяти лет. Мы меняем их свидетельства о рождении ». Он похлопал Шалома по плечу: «Подними подбородок ...»

Ночью, прежде чем заснуть, Шалом придумывал хитроумные планы, как освободить жителей гетто. Убить нескольких охранников у колючей проволоки казалось несложным. В конце концов, их было не больше десяти-пятнадцати. Шалом увидел себя и своих товарищей вместе с массой евреев, бегущих по всем улицам гетто - к свободе. Он держал мать за руку, тащил за собой и не отпускал ни на мгновение. Она, как и все, поднимала сжатый кулак. И перед ними бежал Саймон, высокий упрямый лидер молодежного движения. «Они никогда не возьмут меня живым!» он ударил себя в грудь. Симон был похож на Израиль. Он был Израилем, в то время как Исраэль был Итче Майером, а Итче Майер был он, Шалом. Все они вели гетто к свободе.

♦ ♦ ♦

Неожиданно случилось так, что Шалом забыл обо всех своих переживаниях и страхах. Вдруг он пришел в себя. У него было достаточно еды - такое неслыханное чудо, что все пессимистические мысли покинули его. Это послужило ему еще одним доказательством того, что все закончится хорошо.

Все началось с нового комиссара, занявшего курорт после Цукермана. Физически новый комиссар внушал благоговение. Его звали Гурни, и в начале гетто он работал на *Крипо.*Очевидно, он не был слишком доволен своей деятельностью там, и как только представилась возможность получить новую должность, он использовал свою «защиту», которая была самой лучшей из возможных, чтобы получить то, что он хотел. Это был красивый парень, высокий, светловолосый и здоровый; он был похож на боксера. У него была пара проницательных глаз. Но самым потрясающим была его прогулка. Он наступал каблуками ботинок, словно на каждом шагу давил червей. И он также поддержал мнение Presess о том, что «если вы не будете обращаться с ними палками, они будут слушать вас, как стену из кирпичей». На самом деле он не носил с собой палку, но его правилом было бить пощечину, как это делал Цукерман, и ему нравилось наносить удары ногами влево и вправо. Пинки он наносил часто и свободно, а пощечины оставлял для более серьезных случаев. Рабочие шутили, что Гурни у всех на спине строит сапожную фабрику. Гурни также мог наносить удары доской, плоскогубцами или тем, что попадалось ему в руки. Он не был разборчивым.

Рабочие его и боялись, и любили. Он никогда не заходил дальше ударов. Он никогда никого не отправлял в *Крипо,*где все еще чувствовал себя как дома, и не наказывал рабочего, помещая его в списки для депортации. Он никогда не звонил в полицию и никогда никого не позволял арестовывать. Рабочие были благодарны ему за его человечность и восхваляли его до небес. Они обменивались заметками о его интеллекте, превознося его безупречный немец и повторяя тот факт, что его отец, который до войны был ювелиром, очень гордился своим гением, сыном.

Поскольку начали распространяться странные слухи и невозможно было сосредоточиться на своей работе, дни Шалома начали тянуться, как свинец. В конце концов, он решил чем-нибудь заняться. Он начал тайно делать гребни, пудреницы, портсигары и бумажники из дерева и даже вырезал элегантные женские туфли, похожие на сабо. Он тайно вывез их из курорта и, в шутку, начал продавать их дочерям геттократии и офисным девушкам. Предметы, которые он производил, были привлекательными. Он вырезал их с мыслями о девушках, воображая себя их любовником, и его чувства, казалось, отражались в его работах. Со временем другие рабочие заинтересовались деятельностью Шалома и начали делать то же самое. Они помогали друг другу, присматривая за надзирателями. Приятно было унести с Курорта что-то, что противодействовало производству ящиков для боеприпасов, при этом принося немного денег.

Мебель производилась только на верхнем этаже санатория. Продукция «Отдела по делам», как ее называли рабочие, досталась г-ну Бибову и его друзьям, и только самые привилегированные работники были назначены для работы там. Шалом не был одним из них. Ему не повезло с Гурни, который прозвал его «Товарищ из Движения».

Был жаркий день. Шалом сидел на своем рабочем месте, вырезая пудреницу. Дела шли не очень хорошо. Его руки вспотели, и кусок дерева все время выскользнул из его пальцев. Перед его глазами кружились черные круги, словно он собирался упасть в обморок. Ему пришлось закрыть глаза и ждать, пока это пройдет, но потом он не мог их снова открыть. Коробочка выпала из его руки. Он услышал шум. Изо всех сил он разорвал глаза и увидел стоящего перед ним Горни.

Горни тоже было жарко. Его рубашка была расстегнута, лицо красное, глаза затуманились. По его щекам струился пот. Он взвесил коробочку Шалома на ладони. «Вы хороший резчик, товарищ из Движения», - тихо сказал он, вытирая пот с лица. Но затем он вскочил и бросился через холл, бросая дрова, пока он обыскивал зал. «Саботаж!» - взревел он, приводя в движение свои ботинки и руки, когда он напал на рабочих. Кое-где он выкапывал спрятанные «мелочи». Шалом был безразличен. Холл и Гурни вращались у него на глазах. Он спокойно ждал своей доли ударов, но Гарни не вернулся к нему.

На следующий день на двери холла появилось объявление, информирующее рабочих об их наказании: ежедневные супы будут отменены на две недели. Рабочие проводят митинг. Предлагалась забастовка протеста. Гурны ничего не мог поделать, кроме как лишить их супа, потому что без супа они пропали. Но большинство забастовщиков было против забастовки, что еще больше разозлило бы Гурни. Было предложено послать к Гурни делегацию с просьбой о снисхождении. Шалом и его брат Моттл были возмущены. Они не были нищими. Это раздражало других рабочих. "Это все ты виноват!" они бросились на Шалома. «Мы все страдаем из-за тебя!» Шалом озлобленно покачал головой. Это его товарищи по работе! Более половины из них были новичками, новичками в торговле. Некоторые из бывших рабочих погибли, а некоторые уехали с эвакуацией. Те, кто остались, были *шлемиэлями, клепсидрами, боявшимися*собственной тени.

Собрание решило послать делегацию из одного человека, и, к удивлению Шалома, выбор пал на него. "Не в этой жизни!" Он покачал головой, увидев черные круги перед глазами; он едва мог стоять на ногах. «Я не буду ни о чем его просить», - заявил он. «Я могу сделать только хуже, и тогда ты снова упрекаешь меня». -

Рабочие настаивали: «Если пойдет кто-то другой, его облизывают. Тебя он щадит. Разве вы не заметили, что он даже не прикоснулся к вам? »

Это действительно было странно. Шалом понял, что при всей своей враждебности Гурни на самом деле никогда не бил его. Следовательно, Шалом сдался и пошел к комиссару. Он вошел в кабинет Гурни и начал свою просьбу со следом страха в его сердце: «Я пришел как делегат из своего зала по поводу наказания».

Гурний подскочил. Он запер дверь, как будто поймал птицу в клетку. Но, к изумлению Шалома, лицо Гарни не было ни суровым, ни злым. Его лоб был красным и вспотевшим. Он казался измученным и ниже обычного. Его голос тоже звучал иначе. Он был глубже, тяжелее, чем когда-либо. «Нам повезло с огнем», - сказал он. «Но *Йеки*следят за нами. В любом случае они подозревают нас в саботаже, и я несу ответственность за все. А что будет, если весь курорт выставят на эвакуацию? »

У Гурни теперь было человеческое лицо, и Шалом, стоявший перед ним, на грани обморока, чувствовал себя внутренне более комфортно. «За что вы поймали меня с поличным, мистер Гурни?» Он говорил так, как будто Гурни был не великим комиссаром, а соседом по двору. «Крошечный кусочек древесного мусора - вот и все, что нужно для изготовления таких пудрениц. Вы называете это воровством и саботажем? »

«Конечно, это саботаж. Наш курорт пудрениц? А что было бы, если бы вдруг пришла комиссия? » - спросил Гурни.

Шалом сделал вид, что не слышит вопроса. «Почему вы не наказываете тех, кто вывозит вагоны дров?» он продолжил. «Как вы думаете, что мы покупаем на деньги, заработанные на этих игрушках? Картошка? Нет. Немного кофе не забивают нам желудки. А сколько настоящих плотников еще живы в гетто? Скоро вам будет не с кем возиться, мистер Гурни, предупреждаю. А где ты сам будешь без нас? »

Шалом знал, что переусердствовал, но, к его удивлению, Гарни не рассердился. Вместо этого он оправдывался. «Поверьте, я не такая собака, как вы все думаете. Разве я не хочу того же, что и все вы? Вы думаете, что я занимаюсь политикой для немцев на курорте. Что мне не терпится изготовить ящики для немецких бомб? Я хочу пережить войну так же, как и ты. . . » Он наклонился к Шалому: «Я хотел бы встретиться с твоим братом». В голове Шалома загорелся свет. Его голова закружилась еще быстрее, но в то же время он был веселым и ухмыльнулся, когда Гарни продолжил шепотом: «Я знаю, что ты скажешь обо мне после войны. Но это неправда. Вы должны понять мою ситуацию. Я не тусовщик, но не думайте, что моя позиция так отличается от вашей. Мой брат, живущий в Париже, является крупным бундовцем. А ты когда-нибудь видел, как я доставил кого-нибудь в *крипо*или в полицию? »

Шалом выпрямился, чувствуя себя на голову выше высокого Гурни. Какая мощь была у Бунда! Как хорошо было принадлежать к нему! Каким сильным и гордым он почувствовал себя в этом! И из-за его энтузиазма, из-за его напряжения и возбуждения его ноги начали подгибаться, как будто он собирался упасть в обморок. Боясь, что вскоре он не сможет произнести ни слова, он быстро выплюнул: «Отмените наказание, мистер Гурни».

Гурни покачал головой: «Я должен показать, что я начальник. Но я готов к компромиссу: неделю без супа! »

Голова Гурни вместе со всей комнатой плыла перед глазами Шалома, но он все еще мог говорить: «Помните, мистер Гурни, война подходит к концу».

«Я пойду с вами еще дальше, товарищ из движения», - дружелюбно сказал Гурни. «Я дам тебе всего четыре дня».

«Ни одного!» Шалом больше не видел лица комиссара.

Слова комиссара звучали так, как будто они исходили из дальних палат. "Очень хорошо! Я делаю это для движения. . . И скажи своему брату, что я хочу с ним поговорить.

Шалом попытался найти путь к двери. Он хотел гордо выйти из комнаты, подняв голову. Наконец он нашел дверную ручку. У него все еще были силы повернуться лицом к комиссару и сказать: «Пожалуйста, мистер Гурни. Вам не нужны все те мелочи, которые вы отбирали. Верни их нам ».

Шалом не смог заметить изменившееся выражение лица Гарни. Голос Гурни теперь звучал так же, как и всегда. «Я верну его тебе, чтобы ты увидела черное перед глазами! Убирайся отсюда, собачья душа! Если кто-то показывает вам один палец, вы хотите схватить всю руку, не так ли? " Затем он прошептал Шалому на ухо: «Ты хочешь работать в отделе по делам?»

Голос Шалома стал хриплым, с заиканием: «Брат мой. . . Крапчатость. . . возьми его тоже ... "

Гурни снова закричал: «Такое чудовище! Покажи ему один палец, и он захочет всю руку! Все в порядке! Твой брат тоже!

Шалом добрался до своего места в холле и упал в обморок.

Прошло некоторое время, прежде чем Шалом стал работать в «Отделе по делам». Сначала Гурни поручил ему и Моттлу выполнить срочный заказ на картотеки.

«Я едва могу стоять на ногах», - сказал Шалом, умоляя Гурни освободить его от работы.

«Насколько я понимаю, вы можете стоять на голове. - Ты тоже будешь работать по ночам, - скомандовал Горни.

Шалому удалось уволить Моттла с работы. «Больше ему не нужно», - предупредил он Гурни. «Возможно, нам придется выносить его именно в таком шкафу, и у вас будет на одного мастера меньше».

Для Шалома настало время, когда больше не было ни дней, ни ночей, ни даже часов. Все, что там было, это куча дерева, которую нужно было заставить встать и превратить в шкафы для хранения документов. Все остальное - курорт, гетто, Шейн Песселе, партия, товарищи - исчезло из его памяти. Перестал работать не только его разум, но и желудок. Все, о чем он знал, - это пара рук, которые пилили, строгали, скребли, покрывали лаком. Руки были сильными и поддерживали тело. Голова Шалома больше не кружилась. Он не упал в обморок. Каждый вечер Гурни присылал хорошие супы четырем рабочим, которые даже не подозревали, что едят. Однако однажды ночью все их чувства были предупреждены. Пресесс Румковски, который, вероятно, лично интересовался картотечными шкафами, пришел посмотреть на работу. Он обошел незавершенные шкафы, одобрительно кивнул растрепанной головой и сказал: «Вы хорошие мальчики». Он казался встревоженным, обезумевшим.

Один из рабочих подтолкнул Шалома локтем: «Сейчас подходящий момент, чтобы попросить у него дополнительный паек».

Шалом отказался слушать. «Разве вы не видите, что он зол? Может, что-то вот-вот должно произойти? »

Третий рабочий усмехнулся: «Может, у него от переедания болит живот?»

Подозрения Шалома не уменьшились. «Он не так хорошо выглядит. Посмотрите, как у него согнута спина. Что-то не так, говорю вам. Мне тоже не нравится его лицо. Посмотрите на его мятые волосы. Как давно он ходил как денди? А как вы думаете, зачем он сюда приехал? Может, он не может уснуть. Он должен что-то знать.

«Ты идиот», - сказал первый рабочий. «Давайте не упустим прекрасную возможность».

Пресесс что-то записывал в небольшой блокнот. Рабочие шепотом спорили, кому из них подойти к Старику. Выбор как обычно пал на Шалом. Поэтому он попытался избавиться от внезапного приступа беспокойства и подошел к Presess. - Герр Пресесс, - поклонился он, его сердце колотилось. «Могу я поговорить с вами, пожалуйста?» Пресесс не поднял головы. Зубы Шалома стучали, но он взял себя в руки. «Мы работаем день и ночь, герр Пресесс», - пробормотал он. «Мы лучшие мастера. .. и наши ноги опухли ».

Пресесс закрыл свой блокнот и сунул его в карман. «Я награжу тебя», - сказал он и вышел из зала.

Четверо обрадованных рабочих начали размышлять о том, сколько сахара, мяса или хлеба прописал бы им Presess. «Он не сделает из себя дурака, - заметил рабочий, - предлагая нам один дополнительный паек». Он, вероятно, даст нам постоянный, раз в две недели или раз в три. Он видел, как мы выглядим. Он знает, что без нас ему не обойтись ».

В холле появились двое пожарных, которые ночью охраняли санаторий. "Вы получаете дополнительный паек, не так ли?" - спросил один из них.

«Не скрывайте, мы слышали каждое слово», - сказал другой. «Вы должны спросить нас, что означает такое слово из Presess».

Было ясно, что они пришли по делам. «Я дам вам четыреста *румки*в качестве пайка, невидимое», - предложил один из пожарных.

Рабочий ответил отчасти серьезно, отчасти шутливо: «Я хочу тысячу!»

«Я дам тебе пятьсот!» сказал другой пожарный.

Глаза четырех рабочих расширились от удивления. Они превратились в защитные очки, как маленькие шарики, прыгая от одного пожарного к другому. Шалом овладел собой. Он попросил пожарных уйти, чтобы рабочие могли посоветоваться. «Давайте не будем глупыми», - сказал он им. «Ты слышал цену, которую они готовы заплатить, слепой? Они пожарные. Они уже получают дополнительные пайки и знают себе цену. И если оно так дорого для них, значит, оно того стоит и для нас. Подождем и посмотрим »

Шкафы для документов были готовы вовремя, но на следующий день Шалом не смог встать с постели. Моттл пришел домой из курорта, чтобы сказать ему, что Гарни доволен работой. «Заказ на дополнительные пайки уже прибыл?» - поинтересовался Шалом.

Заказ на дополнительный паек не поступал. Но когда через несколько дней Шалом прибыл на курорт, рабочие встретили его хорошими новостями, практически неся на своих плечах в офис Гурни. Гурни протянул Шалому записку, улыбаясь: «Вот заказ на один дополнительный двойной суп».

Настоящее спасение пришло от самого Гурни и от «отдела по делам», где Шалома наконец-то заставили работать. Гурни стал очень дружелюбным с Шаломом, часто давая ему свои собственные дополнительные супы, все время предлагая, чтобы брат Шалома, Израиль, знал о его добрых делах. Суп был приготовлен как для Шалома, так и для Моттла, и из-за этого между братьями возникли трения. Моттл придерживался мнения, что супы не следует делить поровну, но он заслуживает ровно две трети, поскольку у него есть ребенок. И разве Шалом не любил своего племянника? И все же Шалому было трудно уступить Моттлу. Он хотел снова поставить Шейн Песселе на ноги. Правда, ее перерегистрировали на пятьдесят лет, но ей пришлось выглядеть намного моложе, чтобы *йеки*в это поверили. Да и сам еле еле ходил ногами. Во-вторых, Гарни был его другом и сторонником его партии, а не партии Моттла, и если бы не он, Моттл не имел бы ничего. В конце концов, однако, Шалом уступил Моттлу. Он думал, что в любом случае ему никогда не дадут поесть в гетто.

Но очень скоро он оказался неправ.

Комплект мебели для всей квартиры был готов в «Отделе по делам», и когда пришло время его доставить, к Шалому прибежал Гурний и потянул его за рукав: «Я забираю тебя в город! ”

Мебель погрузили на грузовик и накрыли огромным брезентом. Гурни и трое его рабочих сняли свои «Звезды Давида» и спрятались под одеялом. В нем было несколько отверстий, через которые они смотрели на город. «Вы в городе. . . Вы в городе! » - повторил про себя Шалом. Но он не осознавал этого факта. Улицы и люди двигались мимо него, как кинолента. Они оставили его равнодушным. Он был удивлен, что не был удивлен. Квартира была частной резиденцией герра Бибоу. Когда он вошел в комнаты, у Шалома сохранилось впечатление просмотра фильма. Даже еда, которую он смаковал на кухне, глоток шнапса, хлеб с сыром, миска, полная картошки, казались нереальными. На самом деле был маленький сверток, который он принес домой: полбуханки хлеба и кусок бекона. Только дома, сидя напротив Шейн Песселе, он был способен переварить опыт. Шейн Песселе продавала хлеб и бекон. Цена на хлеб на черном рынке была заоблачной, а на бекон цены вообще не было. «Они смогут прожить две недели, как люди», - думали Шейн Песселе и Шалом.

И как неудача приходит не одна, так и удача приходит вместе с вами. Несколько дней спустя Гурни послал Шалома и Моттла поработать в *зондеркоманде,*конечно же *,*настаивая на том, чтобы их брат Израиль знал, что он для них делает. Шалом и Моттл взяли с собой не свои фляги, а самые большие горшки, которыми владела Шейн Песселе. *Зондеркоманды,*наиболее отличившийся единица еврейской полиции, хорошо питались. Шалом и Моттл со своими горшками ждали, пока полицейские насытятся. Раздача еды происходила в подвале, и после того, как их горшки наполнялись, два брата садились на пол, ставили свои горшки между ног и набивали себе еду. В *Sender*мужчина наблюдал за два короткие брат, пораженных в способности их желудков. Только после последней ложки Шалом начал стонать и пыхтеть. Но он не мог перестать есть. После того, как он и Мотл был Царапины сушить горшки, то *Sender*мужчины забавляются, спрашивая, «Вы хотите еще немного, ребята?» Между ног братьев снова поставили два полных горшка. Люди Сортдера парили над ними, подстрекая их, делая ставки на них, хохоча, в то время как два брата задыхались и хрипели, но продолжали есть.

После такого обеда Шалом не смог встать. Его голова была в поту. Его желудок вот-вот лопнет; суп внутри него искал выход. Он скрежетал зубами, глотая все, что попало ему в рот. Пища была здоровой, была жизнью, ее нельзя было извергать. Он поплелся домой с еще одним горшком супа. Шейн Песселе просияла. Суп легко можно разделить на восемь или девять хороших порций. Шалом бросился на кровать. «Мы богатеем!» - простонал он.

Шалом и Моттл работали в *зондеркоманде*в соответствии с лозунгом «TIE», «Успокойся». Но в один прекрасный день их работа была закончена. Шалом в последний раз шел домой со своим горшком супа и куском колбасы. Колбаса была таким сокровищем, что он и Шейн Песселе могли прожить на ней как минимум четыре недели. Он улыбнулся про себя, нетерпеливо увидеть лицо матери. Но тогда ему пришла в голову блестящая идея. Он навещал своих друзей в туберкулезной больнице и раздавал им суп; В конце концов, человек не предназначен жить только для себя. Он начал ходить более энергично, передав несколько объявлений, объявляющих, что Presess обратится к населению гетто на заднем дворе пожарной бригады. «Он сумасшедший, - засмеялся Шалом. «Все, что он делает, это произносит речи!» Он не мог простить Старику «дополнительный паек», который он дал ему за ночную работу.

Его не пустили в больницу. Полицейский, дежуривший у ворот, сообщил ему: «Не сегодня. . . вот порядок. . . »

Дома Шалом сказал Шейн Песселе: «У меня есть блестящая идея, мама! Давай поиграем сегодня вечером! Позовем всю семью на ужин. Я тоже найду Израиль и потащу его за уши домой ». Шейн Песселе сразу же занялась подготовкой к мероприятию. Она приготовила *бабу*из кофейных остатков и сделала несколько мацу из чистой муки для своих внуков.

Через два часа вся семья была собрана за столом, двое внуков сидели на коленях у Шейн Песселе. Шалом действительно притащил Израиль домой «за уши». Они потягивали суп и ели *пасту бабу*с мармеладом. Двое внуков получили кусочки колбасы, чтобы перекусить. Взрослые смотрели на крохотные толстые губы малышей, у них текли слюнки. Несмотря на то, что они были в рабочей одежде и уставшие после рабочего дня, все они чувствовали себя празднично во время неожиданного семейного застолья. Даже Израиль, казалось, тронул их собрание. Его маленькие серые глаза открывали то, что он никогда не мог поднести к губам. Он заметил: «Завтра исполнится три года с начала войны».

Шалом стукнул кулаком по столу: «Если по прошествии трех лет мы все еще сможем сидеть, все вместе, за столом, то немцы могут встать на голову, и это им не очень поможет».

Шейн Песселе уткнулась головой между головами внуков. Она думала об Итче Майере, всхлипывая и глотая слезы. «На следующей неделе, если того пожелает судьба, - обратилась она к невесткам, - вы должны прийти снова. Хотя бы раз в неделю я хочу видеть нас всех вместе. Ты меня слышишь, Израиль? Ты меня слышишь, Моттл? А ты, Йосси? Она предупредила своих невесток: «Вы должны повиноваться мне, или я заберу своих сыновей». Все засмеялись.

Book Three 131

Глава девятая

ПРЕССА НЕ ЗАБУДИЛАСЬ. Окно было открыто, и упорная песня сверчка разносилась по комнате; его тонкое резкое чириканье царило в его голове, пробуждая дурные мысли. Он боролся с этим. Он не был Титом, и сверчок не был комаром Тита. Он даже не встал, чтобы закрыть окно. Все равно это не помогло бы. Ум нельзя закрыть, как окно. Ум не слушал приказов. Да, думал он. Он не боялся думать. Его совесть была чиста.

В основном он по-прежнему уважал себя за настойчивость и отвагу. Он был вылеплен из глины, из которой сделаны герои. Никогда в истории евреев или, возможно, человечества не было такого героя, как он сам. Теперь он понял, насколько незначительным было общепринятое понятие героизма, так называемого «мужественного акта» вызывающего сопротивления. Такой героизм означал идти по прямой, разрезать как нож. Для этого не требовалось ни терпения, ни постоянных усилий, ни даже мудрости. Было довольно просто поставить на кон свою жизнь, иногда вместе с жизнью других. Неужели такая смерть действительно была большим достижением? Его героизм был гораздо более высокого качества. Это было самое неблагодарное, самое изолирующее. Его, героя, неправильно понимали даже те, ради кого он жертвовал собой, ненавидели те, за кого он был готов сложить голову; это был героизм, за который история плюнет в него. Для этого хватало только силы такого, как он сам.

С тех пор, как Румковский узнал, что случилось с евреями во время эвакуации прошлой зимой, многие вещи стали ему ясны. Во-первых, было ясно, что его планы, как ближайшие, так и отдаленные, которые когда-то казались такими трезвыми, были не чем иным, как фантазиями, пустыми химерами. Он был стариком, который обманул себя, полагая, что он реалистичен и практичен. На самом деле он был еще ребенком и мечтателем. А когда, - укоризненно спрашивал он себя, - когда человек перестанет быть наивным? Когда он перестанет обманывать себя и станет зрелым? Неужели только под тенью собственной смерти? В прошлом он был так занят жизнью, что у него не было времени даже на мысли о смерти. Теперь было не важно, думал он об этом или нет. Он был там, и в его тени, он теперь полностью осознавал, что для него настоящее все еще было не смертью, а жизнью.

Теперь он ясно знал, чего хотят немцы и для чего он им нужен. Он знал, что никогда не будет сидеть с Гитлером за одним столом, обсуждая создание еврейского государства. Гитлер не должен выиграть войну. Гитлер был ангелом смерти для еврейского народа и самого Мардохея Хаима. И именно против Гитлера он вел свою великую борьбу. Да, когда-нибудь будет создано еврейское государство, но он не будет Моисеем, ведущим свой народ к его границам. Его люди не захотят его. Его люди осудят его и избавятся от него. Возможно, евреи сами повесили петлю ему на шею в первый же день после войны, после того как он спас их как можно больше. В этом заключалась его храбрость. Чтобы знать все это и отдать себя в жертву; позволить себе погрязнуть в грязи, в крови, позволить себе растоптать себя и немцами, и евреями, позволить плевать на себя - и все же делать то, что ему дано. Шестьдесят тысяч евреев не были отправлены им на смерть из гетто, он не был их палачом. И все же он взял вину на себя. Он хотел сохранить остаток ... чтобы люди не погибли бесследно.

И он все еще надеялся достичь своей цели - перехитрить немцев. Разве он не построил курорты, творившие чудеса? Разве он не сделал все, чтобы немцы не смогли обойтись без евреев и их ловких рук? Разве он не совершил этот подвиг, несмотря на усилия всех его сородичей, которые клали ему под ноги камни, несмотря на интриганов и сторонников, которые пытались вырвать руль из его рук? Они рассказывали о нем истории, они вызывали у него отвращение в глазах Бибу. Только когда дело доходило до грязной работы, они прятались по углам, оставив его одного на переднем плане.

Если он все еще хотел держаться за руль направления, чтобы иметь власть, то это было уже не из-за его личных амбиций или личной выгоды. На что он мог теперь надеяться, если бы его высшие цели ни к чему не привели? Лестница, по которой он хотел подняться, сломалась. Даже его личные планы лопнули, как мыльный пузырь. Он женился, надеясь на немного счастья дома. Он хотел собственный уголок, возможно, сына. Но не вышло. Из-за гетто, из-за немцев или из-за него самого? Было уже слишком поздно для всего.

В высказывании о том, что любовь слепа, а брак - окулистом, была доля правды. Дом стал адом для Мардохея Хаима. Клара с ее постоянными вопросами и непрекращающимся ворчанием была настоящей упрямой мухой, которая уколола его разум. Она считала его преступником, убийцей. И у него никогда не будет с ней ребенка. Никогда. Все уколы ни к чему не привели. Возможно, судьба распорядилась, чтобы все его силы оставались внутри него, чтобы сделать его достаточно сильным, чтобы выдержать сверхчеловеческие испытания, которые его ожидали. Он не оставит потомства. Все, что останется после него, - это его опальное имя. Да будет так. Он тоже воспринял это спокойно - до тех пор, пока его народ может жить дальше. Он, Мардохей Хаим, был евреем. Его еврейство было всем, что ему оставалось. Если иудаизм продолжит существовать, он обязательно каким-то образом найдет свое место в его истории. Его, возможно, не будут хвалить или воспевать, о нем в лучшем случае забудут, но каким-то образом он примет участие в шествии будущих еврейских поколений.

Он лежал на кровати, впиваясь одной губой в другую, как будто месил свои мысли дряблым ртом. В постели напротив него лежала Клара. Он знал, что она тоже не спит; он слышал, как она металась. Незаметно, она попала в его кровоток, несмотря на ее деструктивное отношение к нему. Он мог бы сбежать от нее. Он мог бы бросить ее. Но он не стал этого делать. Магнитная сила удерживала его к ней. И хотя ее разговор был таким горьким, он редко сердился на нее. Иногда ему казалось, что ему нужны ее горькие слова. Время от времени он пытался открыть ей свое сердце. Никогда прежде в его природе не было признаться кому-либо. У него не было друзей, и он никогда не был очень близок со своим братом. Теперь ему хотелось признаться - Кларе.

Он попытался объяснить ей, что чувствует. «Я как канатоходец. Я должен ориентироваться. Немцы выбрали меня, чтобы помогать им в их делах ... пока я занимаюсь нашим. Служа немцам, я служу своему народу. Я хочу отложить ... облегчить ... помочь им выжить. Это моя борьба, Клара, почему ты этого не понимаешь? Немцы приказывают мне сохранять спокойствие в гетто, говорить людям: «Вы в безопасности, действия не повторится». Это нужно немцам для того, чтобы замаскировать свои цели, облегчить исполнение своих злых планов. И евреям это тоже нужно, чтобы не сломаться ... чтобы у них не лопнули нервы ... чтобы силы не иссякли, когда им это действительно нужно. Вы просите меня предупредить гетто о резнях, посоветоваться с политическими партиями. Что это мне даст? Если стороны сделают один безответственный шаг, все потеряно. Почему ты этого не понимаешь? »

Она отказалась понимать. Она требовала от него невозможного, и, поскольку стало ясно, что «действие» против детей и стариков неизбежно, ей в голову приходили безумные идеи. «Давай сделаем то, что сделал Черняков», - придиралась она к нему.

Он отругал ее: «Самоубийство не решает никаких проблем. А где моя ответственность? Что бы вы сказали об отце, который покончил жизнь самоубийством и оставил дом, полный сирот? И если я приму яд, разве меня не поставят на место? Будет ли ему лучше? Несомненно, самоубийство - самый простой выход. Но с другой стороны ... В моих жилах нет суицидальной крови.

«Нет, просто убийство ...» - вмешалась она.

На комоде лежал самый красивый подарок, который он когда-либо получал в гетто. Это был альбом, подаренный ему на *Рош ха-Шана.*Он был переплетен из дерева и кожи, и на нем были написаны добрые пожелания четырнадцати тысяч пятисот восьмидесяти семи школьников. Каждый ребенок подписал свое имя, и каждая страница альбома начиналась с молитвы или стиха, написанного ребенком. Стихи были написаны на идише, иврите или польском языке, а на первой странице была надпись на иврите: *Ata nasi doeg lanu.*Одно из стихотворений он даже выучил наизусть, не слово в слово, а его значение. «Ты отдал свою жизнь за нас», - говорится в стихотворении. «Мы - цель ваших стремлений ... Вы суровы внешне, но мягки сердцем ... Вы истекаете кровью за каждого раненого ребенка. Из самого чистого источника, из сердец детей тысячи благословений текут на вашу великолепную голову ». Почему он вспомнил альбом именно сейчас? Как он сможет заснуть? Он бросил взгляд на окно, на далекое темное небо. «Вы совсем один. . . в одиночестве . . . » пел сверчок. «Самый одинокий из одиноких». Он повернулся спиной к окну. Его кровать скрипнула.

«Хочешь воды, Хаим?» он услышал голос Клары.

Он не ответил. Сегодня у него не было сил завязать с ней разговор. Его мысли производили такой шум в его голове, что ему казалось, что Клара все равно их слышит. Они все больше и больше запутывались в его сознании, поскольку он чувствовал себя все более и более измученным. Комната наполнялась колышущимися тенями, глазами и ушами. . . с улицами гетто. Мардохей Хаим был деревяшкой в ​​море паники. Кричит. . . Ненависть ... Сколько ненависти! Он был маленьким еврейским мальчиком в далеком литовском городе. В темноте всплыло давно стертое изображение его матери. Он рванулся к ней: «Мама, спрячь меня! Детей хотят забрать! »

Лицо его матери было лицом старухи на смертном одре. «Ты не мой сын», - сказал мертвый рот. «У меня никогда не было детей. Я бесплоден ».

«Что мне делать с детьми из приюта, мама?»

Мертвая старуха ответила: «Ты сама сирота, так что тебе следует знать».

На рассвете он проснулся ото сна. Прибывший полицейский сообщил ему, что девять грузовиков въехали в гетто и направляются в сторону больниц. Мардохей Хаим оделся не спеша. Он не позавтракал и отправился в офис, чтобы не задавать вопросы Кларе. После последней немецкой инспекции больниц и требования, чтобы он предоставил списки всех больных, он понял, что витает в воздухе, и уже отказался от больных. Он предоставил список из трех тысяч пациентов и промолчал, опасаясь, что пациенты могут сбежать. Он незаметно приказал поставить охрану полиции перед каждой больницей. Его советники предупредили его, чтобы у него не было таких хорошо оборудованных больниц. Другие упрекали его в том, что он слишком мало заботится о больных. Как бы то ни было, все они сочли бы его виновником. Позволь им. Его совесть была чиста. Он думал, что, принося в жертву больных, он избежит или отложит самый злой указ. Он был готов принести в жертву даже стариков, лишь бы дети могли быть спасены.

Он расхаживал по своему офису, думая о детях. Семилетние, восьмилетние и девятилетние были в некотором роде в безопасности; они были перерегистрированы как пожилые и работали на курортах. А какие они были отличники! Он видел их у станков на курортах Metal Resorts и Tailor Resorts. Их постановку ему показали. И все же они тоже были в опасности. Все они.

Он глотал один стакан холодной воды за другим. Он жаждал немного алкоголя или другого наркотика. У него были силы вынести все, кроме этого. Он скажет об этом Бибоу прямо ему в лицо. Он не мог взять на себя «действие» детей. Пусть приходят немцы и делают все, что хотят.

♦ ♦ ♦

Клара бегала по улицам, нечесанная и небрежно одетая. Утреннее солнце стояло далеко и высоко в небе. Улицы все еще были пусты. Гетто еще спало. Ее проезжали группы милиционеров. Она побежала за ними. Внезапно она оказалась на Больничной улице. Перед больницей для больных туберкулезом стояли два грузовика, платформы их были забиты деревянными клетками. Что-то сломалось глубоко внутри нее. Она прикрыла рот, чтобы заглушить крик. Белые ангелы летели из окон больницы; больные в больничной одежде прыгали с подоконников и карнизов, пытаясь спастись. Ей хотелось бежать назад и найти старого седого мужчину, который выбрал ее в жены. Ей хотелось обнять его, упасть к его ногам и поблагодарить за то, что всего этого с ней никогда не случится. . . что ее имя не будет в списках, что ее не будут преследовать и ловить для эвакуации. . . что он был у нее, чтобы защитить ее жизнь.

Она не повернула назад, но оставалась приклеенной к своему месту, наблюдая, как полиция бежит за убегающими пациентами. Она слышала вой тех, кто лежал под окнами со сломанными конечностями. В то же время она наблюдала, как толпа молодых мужчин и женщин с горящими глазами и щеками, поцелованными утренним солнцем, вышла через дверь больницы в белых ночных рубашках и пижамах и пьяно двинулась в сторону грузовиков. Некоторые из них бросались на жандармов или на еврейских полицейских, плюясь, ругаясь. Остальные плакали, сгибаясь пополам. Но большинство из них, ошеломленные, но с виду величественные, сбитые с толку, но гордые, забрались в грузовики - как молодые невесты и женихи, поднимающиеся к брачному навесу. Воздух разрывали пронзительные крики. Казалось, что здание больницы раскачивается на фундаменте. Внутри что-то шипело, словно на грани взрыва. На крыше девушка в белой ночной рубашке с развевающимися волосами неистово бегала от края к краю. Жандармы и еврейские полицейские выносили чахотки, которые находились на последних стадиях болезни; просто скелеты, обрывки человечества. Один за другим их бросили в грузовики.

«Маник!» больная девушка обняла своего любовника, выкрикивая его имя, как будто он находился за много миль от нее.

"Gittele!" - перезвонил любовник, обнимая ее, как будто он прибыл издалека, чтобы спасти ее. Вместе они сели в грузовик.

«Да здравствует свобода!» - проревели несколько больных мальчиков, которые едва могли ходить.

Время от времени кто-то в белой пижаме или ночной рубашке прорвался через кордон еврейской полиции и умчался по пустой улице. "Помощь! Помощь!" кричали некоторые из больных женщин, как будто они пытались разбудить все гетто.

«Мама!» причитал испуганный маленький мальчик. Дверь больницы теперь выплевывала очень маленьких мальчиков и девочек. Проснувшись ото сна, дрожа, они умоляюще протянули свои тонкие, похожие на ветки руки к великанам в зеленых мундирах.

Гетто наконец проснулось. Все улицы заполнились людьми, спешащими в сторону больницы. Приехали родители и родственники, за ними друзья, соседи, все гетто. Сотни рук были протянуты через кордон милиции. Грузовики стонали и ревели; каждый грузовик как животное в агонии. Больных внутри не было видно. Они повалились на платформы, измученные испугом. Младенцы уже выносили. Применялась цепная работа; младенцев передавали от одного полицейского к другому, пока их не могли передать в грузовики.

Солнце на ярком небе вздрогнуло, как чахотка. Казалось, он плевал кровью на белые прозрачные облака. Толпа перед больницей впала в истерику, люди не могли различить, кричали ли они от страха за свою жизнь или за жизнь больных. Об этом знали только матери больных чахоткой. Их горло охрипло. Всем своим существом они держались там за лицо, которое было размыто, растворялось в бледности других лиц - плоть от своей плоти, костный мозг своего мозга; у каждой матери открытая рана, из которой хлынула жизнь - жизнь, которая так невыносимо болела.

Кларе показалось, что волосы у нее на черепе дыбом встают дыбом. Ее тело было мягким и рыхлым, как губка, всасывающая все. Толпа толкала ее вперед, ближе к полицейскому кордону. Глядя поверх их сцепленных рук, она увидела двух девушек, прижавшихся друг к другу. Их глаза никого не искали. Незаметно они бродили в суматохе, пока еврейский полицейский не заметил их и не погнался за ними с криком: «Быстро, в грузовик!»

Рыжая женщина нырнула мимо Клары в толпу людей перед ней, крича девочкам: «Вернитесь в дом! Сзади!" Девушка сделала знак девушкам, которые внезапно ожили. В мгновение ока они снова исчезли у входа. Странно, что их никто не заметил. Рыжая начала пробираться сквозь толпу. Клара последовала за ней. Они подошли к задней части здания. Здесь толпа волновалась даже больше, чем на фронте. Молодой человек стоял в обрамлении окна на первом этаже. «Прыгай, прыгай!» крики раздавались со всех сторон. Ему некуда было прыгать. Здание было окружено полицией. Один мужчина из толпы прорвался через кордон, еще один, потом еще один. Женщины последовали за ним. Немцы стреляли в воздух, чтобы подавить толпу. Свистки милиционеров пронзали уши людей. Белые ангелы все еще летели из окон. Многие схватили их за руки и бросились с ними, в то время как полиция гналась за ними.

Клара потеряла рыжую из виду. Она заставила себя бежать. Она приведет его! Силой она приведет сюда Старика. Пусть увидит своими глазами! Он понятия не имел, что все это было. . . Он еще не понял этого! Она бегала по улицам, то тут, то там замечая белые больничные халаты. Спасенных пациентов быстро внесли в ворота. Она не остановилась. Скоро она увидит его, старого преступника, убийцу, предателя! Мимо нее проехал груженый грузовик, за ним другой. Больных уже увозили.

Только когда Клара ворвалась в ее дом, она осознала, что Presess уехали рано утром, до завтрака. Ошеломленная домработница бросилась к ней. «Вы плохо себя чувствуете, миссис Румковски?» Она взяла Клару за руку и усадила на диван. Кларе хотелось встать. Ей пришлось бежать к Балутер Ринг и добраться до Мордехая Хаима, но она не могла двинуться с места. Она закинула голову через спинку дивана. Она никогда не добьется до него. Она ничего не добьется. Только для себя она чего-то добилась. Ее не отправят депортацией. Она будет жить. . . возможно выжить. . .

Домработница вернулась с бутылочкой капель *валерианы*. Она вытерла лицо Клары прохладным влажным полотенцем. Явилась горничная со стаканом ароматного крепкого чая. Завтрак Клары был поставлен на маленький столик перед ней; свежие булочки со сливочным маслом, тазик творога и яйцо всмятку в эгхолдере. Она поела с удовольствием. После завтрака она встала, оделась, уложила волосы и уехала навестить мисс Диаманд.

Мисс Диаманд бросилась ей навстречу. «Клара, дорогая, это неправда, что они требуют детей, не так ли?»

Земля закачалась под ногами Клары: «Дети требуют ...»

Старуха пробормотала: «Дети должны остаться».

«Мисс Диаманд, - простонала Клара, - пожилые люди ... те, кто старше шестидесяти. . . тоже."

Мисс Диаманд оставила ее на месте и поспешила к лестнице. Клара рухнула на кровать старухи. В открытое окно она видела чистое небо. Она увидела, что голова Румковски обретает форму на своей белизне. Его водянистые серо-голубые глаза смотрели на нее сквозь затуманенные очки. "Что еще вы хотите?" - спросила она его мысленно. «Что вы все еще ищете, если все потеряно? Чего ты еще пытаешься достичь, труп с пустыми амбициями? » Она с горечью скрежетала зубами: «А в какого человека вы меня превратили? Я был прямолинеен, уравновешен ... Я знал, чего хочу и куда иду ... Ты сделал из меня истеричную суку, преступницу. Вы преступник, вы убийца детей. . . ты нацист! » Да, она чувствовала, что этот незнакомец, серый старик, и она сама стали одним целым. Судьба навсегда соединила их вместе. И постепенно ее сердце начало наполняться жалостью к ним обоим. У них не было выхода, кроме как сделать то, что сделал Черняков, старший из варшавских евреев. Было бы недостаточно, если бы она делала это одна, и у нее не было бы сил делать это в одиночку. Она была напугана. Мардохей Хаим превратил ее в такую ​​же трусиху, как и он сам. Он разрушил все основы, которые поддерживали ее храбрость.

Она вскочила и вышла из комнаты. Когда она пересекала двор, она увидела собравшихся учителей через открытое окно и среди них белый пушок головы мисс Диаманд, головы хрупкой редкой птицы. Она ненавидела эту голову и боялась ее. Она бежала домой к тому, кто стал ее частью, чтобы быть рядом с ним. Он был ее палачом и спасителем.

Они сидели вместе за обедом, склонив головы над тарелками. Они почти не прикасались к еде. Они молчали. Тишина не была тяжелой, в ней не было гнева или упрека. Это звенело у них в ушах вместе с их одиночеством. Что-то сломалось внутри Мардохея Хаима. Он не был ни мужчиной, ни человеком. Он был удивлен преданностью Клары. Почему она больше не кричала на него? Почему она не напала на него своими жестокими вопросами? Или называть его болезненными именами? Он все это заслужил. Почему она так прижалась к нему сегодня? Может быть, было бы лучше, если бы она бросилась на него, выцарапала ему глаза или прокляла его? Может, это вернуло бы ему силы? Возможно, в бурю, разразившейся между ними, он почувствовал бы себя лучше. Тем не менее, если в тот момент он был благодарен кому-либо, так это Кларе - за ее молчание, за ее преданность. Может быть, в этом мире все-таки останется кто-то, кто его любит, или хотя бы думает о нем без ненависти?

Когда он был готов вернуться в Балутер Ринг, он сказал ей: «Я должен поговорить с матерями. . . Осталось не так много времени. Если сами немцы придут и сделают все, что хотят, все будет кончено ».

Она обвила руками его дряблую шею: «Давай, сделаем то, что сделал Черняков».

Он отреагировал немедленно. Его ярость вернулась и сделала его сильным. «Ты глупая корова!» Он оторвал ее руки от себя. «Как вы думаете, это спасет детей? Меня зовут Мардохей, и Мардохей хочет перехитрить Амана, а меня зовут Хаим, что означает жизнь! »

"Ты не должен!" она позвала.

"Я должен! Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь выбрался отсюда живым.

"Вы боитесь! Вы боитесь за свою жизнь. .. для твоей головы! »

Его голова тряслась от ярости. Его растрепанные волосы падали на лоб, закрывая очки. «Разве я никогда раньше не рисковал? Должен ли я напомнить вам, сколько раз я был близок к тому, чтобы его отключили? " Он ударил себя в грудь. «Я хочу, чтобы хоть кто-то выжил. Я готов заплатить за это этой жертвой. . . »

«Жертвоприношение детей?»

«Ты никогда не была матерью. Так почему ты так заботишься о детях? »

«И ты собираешься отомстить отцам, потому что сам никогда не был отцом!»

Он бросился на нее, тряся ее за плечи; ненависть и отчаяние отражались в их глазах. «Тихо, сука! Вот как вы отплачиваете мне за то, что я вас спас? "

«Из-за тебя я никогда не стану мамой!»

«Горе тебе, если бы ты был им сейчас!» В уголках его рта появилась пена. Его рыхлые щеки задрожали. Но он не мог оставить ее в таком состоянии. Не сегодня. Горе быстро погасило ненависть в его глазах. Он обнял ее.

«Клара, мое сердце», - прошептал он, опускаясь к ней лицом, чтобы лучше видеть ее в темном коридоре. «Я люблю детей, поверь мне ... Я хотел иметь от тебя сына. . . Судьба была жестока к нам. Я должен делать то, что не в моих силах ... Я должен поговорить с матерями ».

«Хаим». Она была вне себя. «Есть вещи, которые человек никогда не должен брать на себя».

"Я должен. Я беру это на себя ».

♦ ♦ ♦

Первое, что сделал Румковски в своем офисе, - запер дверь. Он также велел своим секретарям никому не сообщать, где он находится. Он выпил несколько стаканов холодной воды и сел за свой стол. На нем все было выложено в лучшем порядке, что напоминало старые добрые времена, когда за его спиной стояли люди, и он вел их, как хороший отец. Это было прекрасное чувство - иметь над ними власть и быть к ним добрым. Все это немцы уничтожили. Но он не сдавался. Он все равно им покажет. Он их перехитрит. Только пусть минуют ужасные дни «действия». Он все восстановит. Гетто снова заработало бы как часы.

Он не мог смотреть на стол и не мог сидеть за ним. Он начал ходить по комнате. «Он должен перестать так много копаться в себе», - подумал он. Он должен запереть свое сердце и свой разум семью замками, чтобы предотвратить прохождение через них даже одной мысли, даже одной искры эмоций. Он должен был стать подобен скале. И он должен был быть один. В одиночестве он чувствовал себя сильнее, увереннее в себе. Он отправит Клару в Марысин на две недели. Он никого не увидит.

Снаружи шум на Балютер Ринг достиг его ушей. Лимузины приходили и уходили. Взгляд Румковского упал на картотечный шкаф, где хранились списки детей полицейских, пожарных, директоров курортов и комиссаров; этих детей нужно было спасти. Да, в этих случаях ему приходилось делать исключения. Он также обратился к политическим партиям с просьбой предоставить ему списки детей, которых нужно защищать. В его памяти заплыла голова женщины - бундовского активиста Брахи Копловича. Бундовцы отказались предоставить ему такой список. Нет никаких избранных детей, заявила Браха Коплович, мать восьмилетней дочери.

В конце концов, ему пришлось сесть, чтобы подготовить речь к матерям. Как подготовить такую ​​речь? Что можно было сказать? Как матери понять и осознать необходимость? Делать записи по такому обращению было невозможно. Он скажет то, что диктует его сердце. Он говорил из глубины своего существа.

Двор пожарной части был переполнен людьми. Толпы забрались на крыши уборных и сараев, а также на пожарные фургоны. Тех, кто не смог пройти во двор, теснили в соседние дворы и на улицу. Все гетто собралось, встало рука об руку, тело к телу, склеилось, но каждый был наедине со своим страхом. Они стояли в мертвой тишине, в напряженном ужасном ожидании. Гетто затаив дыхание слушало «Шаги судьбы». Человеческая речь здесь не принадлежала. Слова потеряли смысл еще до того, как достигли губ. Глаза людей перестали переглядываться. Не о чем было думать, кроме собственной плоти и крови.

Так, возможно, люди стояли у подножия горы Синай в ожидании Бога.

С возвышения наконец всплыла белая пророческая голова Пресесс Румковски. Небо приобрело пару рук, которые поднялись над черной массой толпы. Небо приобрело рот, который сквозь гром и молнию выносил приговор. «Матери, вы должны бросить своих детей!» Он нанес оглушительный удар, который невозможно было поглотить. Слова как горы скатились в море голов.

Лица перед Мардохеем Хаимом расплылись. Они были одной черной массой, одно тело сжималось в припадке. Земля содрогнулась от конвульсий. На тысячах ртов появилась белая пена: «Нет!»

"Матери!" Пресесс позвонил. «Спасите гетто! Если мы не откажемся от детей, никто из нас не выживет. Мы сотрем с лица земли. Если жизнь продолжится, у вас будут другие дети. Ничего не могу поделать, братья! Требуются дети до десяти лет и старики старше шестидесяти пяти. Я взял на себя выполнение «действия». Если немцы войдут, будет кровавая баня. Матери! Принесите эту жертву ради людей! Пусть завтра все пойдет гладко ... чтобы мы были спасены ... - Его голос перестал служить ему. Затем другие из его окружения пытались убедить толпу мирно подчиниться приказу.

У черного содрогнувшегося тела тысячи извивающихся голов не было ушей. На лицах женщин вырос серый мох. Волосы на их коже превратились в проволоку. Вода сочилась между их ног.

В соседнем дворе, который также был осажден, вишневое дерево содрогалось от толпы. Его сухие иссохшие ветви были протянуты к небу, как руки, дрожащие в молитве, в мольбе; руки засохшей матери. Прижимаясь к стволу дерева, обнимая его, стоял Человек-тофифи, его редкая борода была приклеена к стволу, как вьющаяся лоза. Спина к спине с ним стоял Симха Буним Беркович, его очки на кончике носа, его верхняя губа между зубами. Его задвинутая кепка открывала его вспотевший лоб, борозды которого прорезаны набухшими венами, которые, казалось, вот-вот лопнут.

- Так вот и все, - бессовестно рыдая, пищал Ириска. «Если Бог не строит дома, то строители трудятся напрасно ... Если Бог не охраняет город, сторож смотрит напрасно».

В сознании Буним стенания толпы смешались с криками Мириам. Она родила прошлой ночью. Его жена родила ему ребенка мужского пола. Теперь Буним станет Авраамом, поражающим своим ножом. . . ибо барана не появится. . .

«Когда лес горит, не плачьте над погибающими цветами!» Голос говорящего прогремел по заднему двору.

«Блимеле», - пробормотал Буним имя дочери.

В другом дворе речи продолжались и продолжались, но масса людей начала раскачиваться в сторону ворот, улицы. Каждая улица превращалась в бурно текущую реку, каждый двор - в качающийся корабль. Гетто кишело, вопило, рушилось судорогами, теряло сознание от горя. Наконец-то никто не проголодался. Нигде не было огня в печи. Как отравленные крысы, люди носились по дворам в поисках берлог, нор, в которых можно было бы спрятать маленьких евреев с такими проницательными глазами. Дети были на собрании, они слышали выступления. Они ни на минуту не отпускали руки родителей.

В гетто забыли о комендантском часе. Никто не раздевается и не ложится спать. Настала ночь, но гетто она не коснулась. Здесь был день. Полный черный день острой настороженности. *Ваивку Хаам*... И люди плакали в ту ночь. Тьма плескалась в слезах, воздух задыхался от ужаса.

На следующее утро прибыли повозки с картошкой, посыпав дождем «золото земли» на скорбящие головы. Картофельный паек можно было забрать только утром. Рабочих отправили домой из курортов и офисов на неопределенный срок, а домашний арест, или *Сперре,*должен был начаться во второй половине дня.

Мягкий вечер пятницы. Огненно-пурпурное солнце стояло на горизонте, отказываясь зайти. С востока показалась далекая луна, неподвижно привязанная к небу. Солнце и луна пришли посмотреть, как дети отправляются на встречу с королевой Саббат, которая должна была прибыть на розово-фиолетовой колеснице. Пурпурное небо на западе было шалью над ее головой, свет луны был серебристой пылью над ее нежными бровями. Она тихонько спустилась вниз, наступив на землю в своих легких вечерних туфлях, пропитанных драгоценнейшей росой. Святая тишина.

Улицы были пусты. Мост был закрыт, а ворота закрыты. Все должны были сидеть дома и ждать ревизионной комиссии. Каждая семья в одиночку. Одиночество, из-за которого призывы о помощи, надежда на чудо тщетны. Бог был глухонемым.

Комиссии врачей и медсестер, полицейских и пожарных ходили со своими списками от дома к дому, от двери к двери. Они осмотрели иссохшие тела, искали детей и стариков. Вдруг почти не осталось ни детей, ни стариков. Но полицейские, которые пытались защитить своих детей, разыскивая чужих детей, не были дураками. Одна еврейская голова не могла так легко перехитрить другую. Ничего страшного, они умели вынюхивать ямы и укрытия, вытаскивать испуганных мышей и утаскивать их к грузовикам.

Мышки были одеты в свои самые красивые субботние наряды: маленькие девочки в аккуратно выглаженных платьях с яркими бантами в волосах; маленькие мальчики в ярких рубашках и куртках. Их матери одевали их таким образом для их субботнего пути, чтобы добрые люди из далеких стран были ослеплены сияющей красотой своих детей и не имели духа причинить им вред; чтобы они с трепетом смотрели на эти сладкие радости материнских сердец и были к ним добры.

Один грузовик за другим откатывались. Грузовики, полные очарования, разноцветных лент. Грузовики, полные плачущих глаз, рук, протянутых к пустоте, грузовики, полные трепещущих сердец. Вместе с каждым сердечком на каждом сундуке трепетал крошечный мешочек. В нем были имя и адрес ребенка, а также письмо добрым людям из далеких мест. Ибо было глупо думать, что никто не готов улыбнуться таким созданиям, погладить их по головам и стереть слезы с их больших испуганных глаз.

Погребальные кортежи матерей следовали за грузовиками. Женщины, казалось, почти не осознавали, что происходит.

Мимо них проезжали грузовики, груженные стариками. За ними почти никто не бежал. Почти никто не оплакивал их. Они были обречены; виноват в том, что он стар. Это были бабушки и дедушки, сидевшие в подъездах летними вечерами, старики, прятавшие бороды в шали или старые чулки, те, кто упорно следовал законам *кашрута.*Это были бабушки, которые объяснили жизнь в гетто в соответствии с их Библией на идиш « *Цена Варена»*. Они заботились о своих мужчинах, о своих детях и внуках, тихо служа им всем. Бабушки и дедушки, которые жили как тени, стараясь не мешать, не быть обузой; каждый их жест - извинение за то, что они хотят еще немного пожить, за то, что не имеют достаточно, за то, что они слабые или больные. У них за плечами долгие жизни, жизни, наполненные работой и печалью, цепочки дней, в течение которых они набирались опыта. Теперь они были брошены на грузовики, как пни. . . ненужный. Молча смотрели сквозь щели между бортами грузовиков - на удаляющиеся улицы.

Колеса катились все быстрее и быстрее, присоединяясь к колесам, прибывающим из других частей гетто. Длинная вереница деревянных клеток, оставляющая за собой пустые миры. И день еще был. Солнце еще не зашло, а королева Саббат все еще была в пути. Пока «солнце и луна не стали черными и звезды перестали сиять». Солнца и луны насмотрелись. Люди были ошеломлены темнотой, в ту ночь они не раздевались и не зажигали свет. Люди плакали в субботу.

Рассвет субботнего дня. *Sperre*было по- прежнему. Еврейские полицейские разыскивали спрятавшихся детей и стариков. Врачи и медсестры продолжали осматривать остальных, потому что внезапно выяснилось, что ищутся и больные, и слабые. Люди нападали на любую еду, которую они имели. Умывались, наряжались, щипали щеки, чтобы выглядеть здоровыми. Каждый с гордостью предъявил удостоверение личности своего рабочего. Некоторые врачи не могли найти ничего плохого в слабых распадающихся телах. Другие были более скрупулезны, и ни одна пара распухших ног не ускользнула от их внимания. Полицейские и их руководители были чрезмерно рьяными, они хотели иметь резерв депортированных на случай, если одна из «защит» будет освобождена, и им придется искать кого-то другого, чтобы дополнить число. Открытые окна завибрировали от криков, доносившихся из квартир, где осужденных отрывали от своих близких. Во дворах завязались потасовки с полицией. Путаница. Хаос.

Гетто было в одиночестве. Внутри не оказалось ни одного немца. Евреи ловили евреев. . . Евреи уводили евреев. . .

♦ ♦ ♦

Ночью в окнах Baluter Ring горел свет. Пресесс Румковски заперся в своем офисе. Указанное количество людей не было достигнуто ни вчера, ни сегодня. Несмотря на все его усилия, ничего не вышло. Многие из пойманных рано или поздно сбежали от полиции, спрятавшись во всех мыслимых местах. И врачи были бесполезны. Одни освободили слишком много, другие были слишком медленными и скрупулезными. Не очень помогло то, что он приказал увеличить число за счет выдачи детей из детского дома Марысина. А что будет завтра, когда у него не останется резервов?

Его сироты ушли. Он должен был почувствовать облегчение. Его самая трудная задача была завершена. Он пожертвовал своими детьми. Его сердце было разрезано на части. Как он сможет жить дальше? А что он еще надеялся спасти, если отказался от будущего? Он едва мог поверить, что это он приказал оцепить приют, чтобы не дать никому из детей сбежать. Это он днем ​​приказал прилично одеть детей, выстроился в ряд по двое и повел на вокзал. И что это была за сила, которая побудила его присутствовать и наблюдать «осквернение» через окно своего летнего дома? Теперь по той же песчаной дороге, по которой он не так давно наблюдал за их праздничным шествием, они шли, держась за руки. На мальчиках были темно-синие матросские костюмы, на девочках - белые блузки и темно-синие плиссированные юбки; цветные ленты в волосах, белые носки на ногах. Они шли по порядку, дисциплинированно, но очень медленно. Они не пели. Они плакали.

Мардохей Хаим не отходил от окна, пока последний ребенок не скрылся из виду. Затем ему нужно было увидеть Клару. Он не мог быть один. Клары не было дома. Он хотел принять ванну, чтобы восстановить равновесие, но впервые в жизни боялся остаться один в ванне, полной воды. Его ужин был на столе. Он его не трогал. Он проглотил стакан шнапса и поспешил в свой офис. Он посовещался с начальниками полиции, пожарной части и со всеми, кто мог помочь ему справиться с невыполнимой задачей. Он дал огромные обещания. Он бы уступил всему, что они хотели, если бы только они. . . Его голова плохо работала. Он не должен был пить стакан шнапса. Полночи он провел в офисе один, затем отправил гонцов за всеми членами эвакуационного комитета. Однако, прежде чем они смогли прибыть, герр Бибоу послал за Presess.

Presess недолго продержали в ярко освещенном офисе *Ghettoverwaltung.*Г-н Бибоу и его коллеги хотели избавиться от этой проблемы и отправиться домой, чтобы поспать. По-деловому они спросили Румковского, почему не доставили ожидаемое количество людей. Он заверил их, что завтра будет. Они покачали головами. Они сомневались в такой возможности. Они освободят его от обязанности. Завтра они возьмут на себя «действие» и сделают это по-своему. В их распоряжении должна была быть полиция гетто, пожарные, врачи и медсестры.

Румковски вышел из офиса Бибоу, сел в карету и уехал домой. Он бросился через дом и нашел Клару на диване в столовой. «Конец приближается!» - крикнул он и резко упал рядом с ней. «Немцы захватят власть завтра».

Она вздохнула с облегчением. «Слава богу», - пробормотала она, обнимая его за шею. «У нас будут чистые руки, Хаим. Пусть гетто увидит немцев. Это будет лучше . . . »

Book Three 143

Глава десятая

ДО *СПЕРРА,*когда только начали распространяться слухи о новом злом декрете, Симха Буним Беркович перестал писать свое длинное стихотворение. Он только сделал следующую запись на странице старого бухгалтерского реестра:

Иногда мне кажется, что гетто - это гора, имя которой Тщетность. Я нахожусь на его вершине и могу ясно видеть все дороги, ведущие к нему, и все дороги, ведущие от него. Я вижу леса и пустыни, по которым бродили поколения. Давным-давно, за вчерашним лесом, лежит горизонт творения. В этом заключается секрет, по которому человечество было сформировано. Оттуда запутанность ведет сюда, от первого человека - до моей дочери Блимеле - и до создания, которое со дня на день покинет утробу Мириам.

Гора, на которой я стою, - это вулкан ... Его кратер зевает. Гора - это алтарь. Мы жертвенные агнцы. Жертва тщетности? Сможем ли мы когда-нибудь стать факелом, освещающим тьму для тех, кто следует, указывая им дороги, ведущие отсюда? Увидят ли они свет, сияющий от нашей горящей гибели? Разве пламя, исходящее от нас, начертит новые заповеди не на камнях, а в сердцах людей? Станут ли слепые провидцами? Станет ли когда-нибудь Гора тщетности, пожирающая нас, Горой смысла?

Сразу после выступления Румковски во дворе пожарных Буним вбежал в свою хижину и опустился у постели Мириам. На руке Мириам на длинной подушке лежал новорожденный. Буним посмотрел на это. Морщинистое личико говорило ему о связи между агонией и рождением. Только тонкие губки излучали успокаивающую свежесть. Мириам была измучена и бледна. И все же в ней было сияние. Ее глаза сияли удивительным спокойствием.

Она прошептала: «Мы спрячем ребенка в ящик стола, Буним. Мы должны спасти Блимеле ». Буним вздрогнул. Как она могла так говорить? Что дало ей силы произнести эти слова? Может, она сошла с ума? «Вам нужно приготовить маленькую бутылочку подслащенной воды», - сказала она. «У меня недостаточно молока в груди». Он развел огонь и поставил чайник. Рядом стояла таз с первыми грязными пеленками ребенка и испачканными простынями, на которых Мириам рожала. Шейн Песселе положила их замочить на ночь и должна была выстирать утром. Он хотел сделать это сейчас, но Мириам умоляла его: «Оставь все в покое и позови ребенка».

Он позвал Блимеле. Она бросилась к кровати, ее голубые глаза сияли на ее грязном лице. «Как зовут моего брата?» спросила она.

Мириам улыбнулась: «Через несколько дней мы дадим ему имя».

«Он выглядит забавно. Он похож на маленького дедушку. Блимеле подняла брови, пристально глядя Мириам в глаза: «Они могут забрать его у меня».

«Мы его хорошо спрячем ...». и спрячу тебя тоже, Блимеле.

"Я знаю. С Машей. В резервуаре для воды. *Татеш*отвела меня туда и показала ». Она подошла к кукольному экипажу и достала куклу Лили, прижимая ее к себе. «Я не позволю им забрать тебя у меня, малышка», - сказала она Лили.

На следующий день комиссии приступили к осмотру домов. Утром Буним одела Блимеле в ее субботнее платье. Он попытался завязать ей в волосы голубую ленточку и сумел скрутить ее кривым бантом. Блимеле завернула куклу в одеяло и бросилась к кровати Мириам: « *Мамеш, у*меня тикает животик ...»

Мириам успокаивала ее: «Ты большая девочка. Позаботьтесь о Лили ».

Комиссия появилась во дворе, но не стала обыскивать чердак, где стоял пустой старый резервуар для воды. Также не учтена хижина Бунима рядом с уборными. Поздно ночью вернулся Буним, неся на руках спящего Блимеле. Свет не зажигали. Плач на заднем дворе можно было слышать через окна. Ночь была похожа на открытую рану. Буним и Мириам очень мало разговаривали. Время от времени Мириам засыпала. Буниму показалось, что стены хижины разваливаются. Он присоединился к ночным воплям, нашептывая все давно забытые псалмы, которые приходили ему в голову. Он был в самой кровоточащей сердцевине раны. На рассвете он проснулся и одел Блимеле. Она сонно сдалась его прикосновениям, ее голова свободно откинулась на бок. Он накормил ее супом и сунул ей в руку сумку с несколькими конфетами «Ириски». Он подтолкнул Лили под другую руку.

«Сегодня ты целый день просидишь на чердаке наверху», - сказал он ей. «Помни, нельзя плакать и разговаривать с Машей. . . Ни слова. Я буду заходить время от времени, чтобы посмотреть, как вы поживаете ». Он обнял ее. Мириам наблюдала за ними сквозь серость воздуха в комнате. Он почувствовал на себе ее взгляд, пока нес ребенка к двери. Его плечи дернулись. Снаружи двор казался пустым. Кое-где по стенам проходили тени, а за ними - более мелкие. Сквозь открытые окна доносился стук молотков, передвигаемой мебели под аккомпанемент непрерывных рыданий.

Поднимаясь по лестнице, он испытывал сильное ощущение, будто однажды поднялся этим путем сквозь темноту ... вверх по какой-то лестнице. . . где-то . ... Он уже подошел к алтарю с жертвой на руках. Холодный алтарь пустого ржавого резервуара. Голова у него закружилась, колени подкосились. Близорукие глаза ничего не видели. Только у его ног были глаза, он находил ступеньки в темноте; один шаг за другим.

На чердаке бледный свет наступающего дня пробивался сквозь окна. Буним медленно двинулся вперед, замечая быстрые маленькие тени, прыгающие по стенам, испуганные маленькие существа, беззвучно ползущие мимо него. Затем он услышал сердитый шепчущий голос человека, выходящего из сарая, в котором находился резервуар для воды. Затем был резервуар для воды. Большая каменная кровать. Рядом стоял окутанный тенями Первосвященник: Моше Грабиаз, отец маленькой Маши. Его пылающий кровожадный взгляд упал на Бунима и на Блимеле, спящего у него на руках. Он прыгнул к нему.

«Убирайся отсюда! Это мое убежище, и я никого не подпущу на чердак! » Он поднял кулак на Буним. «Позвольте мне спасти моего ребенка!»

Буним хотел умолять его о снисхождении. Накануне дети провели вместе и хранили молчание. Но его язык был хромым, застрявшим между зубами. Его жесткие руки были на грани разрыва. Он с трудом удерживал Блимеле. Наклонившись над ней, он ногами стал искать лестницу. Он медленно спустился, опираясь локтем о перила. «Бог не хочет жертвы», - забился он в его ошеломленной голове. Ему казалось, что к нему прикасается рука. Кто-то гладил его жесткие, похожие на проволоку волосы. Голос заговорил с ним: «Шагай осторожно. . . Сойди с жертвенника с благодарностью в сердце. . . Бог милостив. Ты не ходишь на собственных ногах ... Тебя несут с места жертвоприношения со спящим ребенком на руках ... » Он остановился и прижался опухшими губами к прохладной щеке Блимеле, чувствуя ее тело на своей груди. . Он поцеловал ее всем своим существом, и все ее существо, казалось, отвечало. Она зашевелилась в его руках. «Обними меня руками за шею», - прошептал он.

Задний двор, окутанный серостью, был в замешательстве. Родители и дети вбегали и выбегали из всех подъездов. Кто-то срывал доски вокруг водяного насоса, чтобы проверить, можно ли внутри спрятаться маленькое существо. Кто-то еще разгладил мусор над ящиком для мусора; под грудой грязи спряталось несколько двуногих крыс. Только туалеты остались в покое. Вчера были обнаружены все спрятанные внутри них дети. Сэмюэл Цукерман и Джуния стояли на лестнице, ведущей в подвал, где когда-то находился радиоприемник. Впустили Шейн Песселе со стаей сирот. Сэмюэл запер дверь на засов и запер ее. К воротам бежали другие соседи с детьми. В арке перед своим подвалом стоял Человек-Ириска. Буним пошел туда с Блимеле на руках. Ириска впустил всех, открыв подвал, где спрятались его собственные дети.

Буним остановился перед отверстием в полу. Открытая могила, заполненная маленькими живыми трупами. Он повернул назад, прошел двор и вошел в свою хижину. Он подошел к Мириам: «Моше Грабиаз отказался. . . А подвалы переполнены детьми ».

Мириам нахмурила брови. «В шкаф!» - скомандовала она.

Он опустил Блимеле на пол; она сонно покачивалась. Он потряс ее: «Блимеле, проснись. . . Слушать.. . Я спрячу тебя в шкафу. Сидеть спокойно. Не зови ... даже если вы слышите крики. Ты меня слышишь, Блимеле?

Она моргнула, затем бросилась к Мириам, крича: *«Мамеш,*возьми меня в свою постель. . . спрячь меня в животике. . . Я напуган."

Буним отнес плачущую девочку к шкафу и положил ее внутрь, за вешалки с одеждой. Он снял доску сзади, чтобы ей хватило воздуха. Он поймал последнюю слезливую вспышку испуганных глаз Блимеле и накрыл ее пальто Мириам. Он знал, что она не заплачет. Заперев шкаф, он увидел себя в зеркале на его дверце. Он столкнулся с растрепанным монстром. Он подошел к Мириам. Горячий тяжелый воздух вокруг них пульсировал. Он не мог отдышаться. Он задыхался.

Он слышал, как Мириам сказала: «Шалом Шейн Песселе появился недавно. Вы можете пойти и принести картофельный паек до начала «акции». Кооперативы открыли на час ». Его слова взволновали его. Как он мог покинуть хижину? Она настаивала: «У нас еще есть час покоя. . . Давай хоть немного поесть. Она добавила: «Заприте нас снаружи, чтобы не волноваться».

Она была права. Он запирал их и приносил картошку. Он тоже выносил хлебный паек. Ему тоже нужно было есть. Он заставит себя. Он должен быть сильным ... сильный . . .

Бегая с сумкой для покупок по двору, он строил планы. Позже, когда опасность миновала, он готовил немного еды, чтобы укрепить Мириам. Может, завтра она сможет ненадолго встать с постели? А еще Блимеле понравится хороший картофельный суп. Замочить их снаружи было отличной идеей. Может, ему стоит делать это каждый день, пока *включен Сперре*? Заприте их и покиньте хижину. Было странно, как он мог чувствовать взгляд Мириам на своей спине, когда он бежал. Ее рука, казалось, умоляюще ласкала его голову: «Успокойся, успокойся. . . » Завтра он, возможно, найдет укрытие еще лучше. Комиссар газовых центров может ему помочь; он благосклонно относился к писателям. А может быть, он, Буним, мог подойти к Владимиру Винтеру, который имел связи с немцами ...

Перед кооперативом скопилась нервная нетерпеливая толпа. Ни очереди, ни порядка. Все двинулись к двери. Буним врезался в толпу. Вокруг него ревела стая волков, стая диких зверей, тыкая локтями и царапая когтями. Буним снял очки и спрятал их в карман. Кто-то рвал мех на его воротнике; кто-то другой тащил его за фалды. Он сам превратился в дикого зверя, когда рвал у других воротники, лацканы и фалды. Доли дарованного часа падали, как лепестки с увядшего цветка, лепесток за лепестком, минута за минутой. Буним хотел сдаться и бежать назад с пустыми руками. Теперь от положенного часа оставалось всего пять минут. Буним уже стоял у дверей кооператива. Он уже видел, как сотрудники наполняют мешки картошкой. Через дорогу, перед пекарней, была такая же толпа. Выходили люди с буханками хлеба. Запах свежеиспеченного хлеба доносился до того места, где он находился, туда, где все, казалось, остановилось. Продвигаться вперед не было. Началась стычка. Кричит. Буним выбрался из толпы и направился к пекарне, где, казалось, дела шли быстрее. Его поразила сила, с которой он протолкнулся сквозь массу тел прямо к двери. Вдруг он оказался внутри. Какое чудо! В руки ему попала теплая яркая буханка хлеба - подарок жизни. Его сердце переполнилось, как будто он сам был буханкой хлеба, растущей на дрожжах надежды.

Вдали от толпы он почувствовал, как на него нисходит небесное спокойствие. Еще одно чудо: в кооперативе, где раздавали картошку, толпа уменьшилась. Попасть внутрь было легко. За долю секунды у него в сумке был весь картофельный паек. Он перекинул его через плечо и, прижав буханку хлеба к груди, отправился домой.

Улица была мертва. Буним запутанными шагами пробежал по ней. Огромный разноцветный грузовик завыл, проезжая мимо него. Через ворота под мостом вбежали ряды пустых грузовиков. Буним вошел в свой задний двор. Он был черным от людей, все качались, кружились в головокружительном, сводящем с ума танце. Женщины срывали волосы с головы, бились о стены; они лежали ниц на *диалках.*Весь двор объединился в один вой.

Ослепленный, согнувшись под грузом на спине, он бросился к хижине. Замок сломан. Мешок соскользнул с его плеча; картошка катилась по полу. Буханка хлеба выпала из его руки. Он вошел в другую комнату. Кровать Мириам была пуста. Он открыл шкаф и руками слепого постучал по пустоте между платьями Мириам. Ящик комода, в котором спрятали ребенка, был открыт. Ставни на окнах сорваны. Через них наступило утро и нашло свое отражение в зеркале открытой двери гардероба. В комнате было светло. Солнце, желтый кот, растянулось на изогнутом покрывале кровати Мириам. Буним упал на него с протянутыми руками, обняв, как если бы это было тело. Кровать была еще теплой и пахла Мириам. Лежа на ней, он с сухими глазами обнял комнату. На полу возле двери лежала кукла Лили, глядя на него своими стеклянными глазами.

♦ ♦ ♦

В ночь после трагедии во дворе женщины собрались в уборной, чтобы избавиться от напряжения в кишечнике и в сознании. Это были счастливые женщины, спасшие своих близких. Они посмотрели на хижину Берковича, качая головами. «Это то, что я называю сумасшествием», - сказал один из них. «Почему он не подумал спрятать жену сразу после того, как она родила? И я видел, как он отнес девочку обратно в дом ».

«Напротив, он вполне вменяемый», - ответил другой. «Это лучший способ избавиться от них».

Они подсчитали дневной урожай: «Девять воробьев Ириски исчезли, как один. . . Вы видели, как отец вытянулся на пороге, чтобы не пустить полицию в подвал, и как один из них ударил его ногой по голове? Самому ирисковому человеку, должно быть, уже конец.

«И Шейн Песселе тоже поехала с грузовиком, без всякой причины. Я могу понять, когда человек стар и слаб. Но только из-за пары опухших ног? Так что они забрали ее, оставив после себя еще худших калек ». «Возможно, они не взяли ее - потому что в шестьдесят она была более подвижной, чем другие в двадцать, - но она не позволяла им добраться до детей в подвале. Она бросила в полицейского железный болт и разбила ему голову ».

«К счастью, Моше Грабиаза завтра не будет во дворе, так что у нас не будет никаких предикторов. Слава богу, он сбежал со своим ублюдком ... и он также избавился от своей больной жены ».

«Неважно, никто не может сбежать из гетто. Шалом Шейне Песселе поклялся прикончить его, и вы можете положиться на сыновей Шейн Песселе ».

К группе подбежала женщина, чтобы поделиться информацией: «Они уже знают, куда отправляют людей. *Местечко*называется Ashpicin или Освенцим. Полицейский сказал, что все дети содержатся в лагере, и у них нет недостатка даже в птичьем молоке. О них заботятся медсестры и гувернантки из Красного Креста, и немцам больше нечего над ними говорить. .. Международное соглашение ».

"А старики?"

«Старых обменивают на военнопленных. Их везут в санаторий в Швейцарии ».

«Так сказал полицейский?»

«Так они говорят».

"Это имеет смысл."

Женщины разошлись, чтобы объявить хорошие новости другим соседям.

Утром Шейн Песселе вернулась с места собрания. Йосси, сын, который работал в Baluter Ring, воспользовался своей «защитой» и спас ее.

Когда она вошла в свою квартиру на рассвете, Шалома там не было. Он прибыл через несколько часов, и они стояли лицом друг к другу на расстоянии, как будто боялись обнять. Они приготовили еду, как ни в чем не бывало. Шалом хотел задать ей много вопросов. Он хотел испытать то, что она испытала, но вопросы не могли слетать с его губ.

«Полицейский пришел за мной посреди ночи и отвез меня на курорт, - сказал он ей, - чтобы соорудить виселицу. Уже на базаре вешают людей. Восемнадцать человек. Чтобы напугать гетто. Их не урежут, пока «акция» не закончится. Плотницкое дело превратилось в настоящую карьеру, а, мама?

Она вытерла лицо обеими руками. Как только они закончили есть, она приказала: «Иди спать прямо сейчас! Посмотри на свое лицо. У меня есть записка от самого начальника полиции, чтобы защитить меня, но с таким лицом вы пойдете с первым огнем ».

Он был так счастлив, что она благополучно вернулась, что у него создалось впечатление, что опасность для них двоих уже миновала. Тем не менее он послушался ее и бросился на кровать. Его глаза горели, руки болели от лихорадочной работы прошлой ночью. Перед тем, как заснуть, он увидел в своем уме виселицу с восемнадцатью подвешенными телами, ноги которых болтались над песками базара; в то же время он вспомнил, что Шейн Песселе вернулась, и с этой успокаивающей мыслью заснул.

• Как лавина, грузовики *Роллкоманды налетели*на гетто, разветвляясь на улицы и переулки. Каждую колонну сопровождали люди в зеленой форме с оружием наготове. Еврейская полиция оцепила улицы, один квартал домов за другим, а немцы разошлись по дворам, стреляя в воздух. *u Alle Juden*hunter! "

Еврейская полиция напала на квартиры, выломала двери, ворвалась во все подвалы и убежища, загоняя людей во дворы. На каждом дворе толпа собиралась в два длинных ряда: один из женщин и детей, другой из мужчин. Солдат с заряженным револьвером в руке производил осмотр, маршируя по кривым строениям, внимательно рассматривая каждого человека. Это уже не вопрос детей и стариков. Матери с детьми были исключены из очереди; иногда ребенка вынимали из рук матери, а мать оставляли стоять. Вытаскивали тех, кто выглядел очень слабым, а также тех, чьи носы были слишком острыми, или чья спина была слишком изогнутой, а также тех, чьи ноги были либо слишком тонкими, либо слишком толстыми. Произошло это быстро. Вытащенные из строя пьяно покачивались, пока тащились к воротам. Если кто-то хотел уехать с членом своей семьи, ему это позволялось. Если кто-то из выведенных из строя пытался повернуть назад, его останавливал выстрел. В то утро гетто было немым. Нигде в мире не было такой тупости. Рты были плотно зажаты. Слезы перестали течь. Все проснулись. Все было четко и ясно. Ясный и окончательный.

Во дворе на Хоккель-стрит два ряда людей начали прямо у ворот и потянулись обратно к вишневому дереву, которое, казалось, принадлежало к женской шеренге, как если бы оно вызвалось участвовать в выборах. Линии были кривыми и извилистыми, перелезали через *дзялки*и спускались по тропинкам между ними. Очередь мужчин подошла к дому, где жили Цукерманы. После нескольких первых выстрелов все выглядело мирно. В начале строк уже шел отбор. Ряды быстро сокращались. Вишневое дерево осталось позади с протянутыми ветвями, как будто оно хотело следовать за линией, но не могло. У ворот стояли полицейские-евреи, выталкивая выведенных из строя на улицу. На улице стояли другие полицейские, которые загоняли людей в грузовики.

Шалом стоял с удостоверением личности в руке у ворот. Прежде чем он успел отдышаться, немец коснулся его плеча, и в следующий момент он оказался в воротах. Он двигался вперед, как марионетка, ошеломленный, машинально растирая лицо обеими руками. Выйдя на улицу, он увидел *вагоны,*похожие на деревянные клетки, и людей, *тупо залезающих*в них. В этот момент он проснулся и сделал шаг, чтобы убежать. Полицейский схватил его за руку: «В фургон!» Шалом умолял его позволить ему увидеть, выйдет ли его мать тоже, чтобы они могли быть вместе. "В фургон!" - взревел полицейский.

Вены на все еще сильных руках Шалома вздулись. Он был готов атаковать полицейского, когда заметил Шейн Песселе. Записки начальника полиции больше не было в ее руке. Она подбежала к Шалому; милиционеры начали загонять их в вагон. Шейн Песселе пыталась вырваться из рук полицейского и оттолкнуть Шалома от себя. "Запустить!" она кричала на него.

Она уже была в фургоне. Шалом держался за него одной ногой. Шейн Песселе толкала его вниз, а полицейский подталкивал вверх. Шалом позволил полицейскому делать свою работу, и он злился на Шейн Песселе: «Дай мне встать, мама, ты меня слышишь?» Он вскарабкался к ней. Вагон был забит людьми и тишиной. Мать и сын стояли, прижимаясь друг к другу, сцепив руки и ноги. С улицы доносились выстрелы по тем, кто пытался бежать. Наконец, набитый вагон был заперт на засов. Он качнулся, и люди начали падать друг на друга; дети выскользнули из рук матери. Молчание продолжалось. Даже дети не плакали - как будто они, как и взрослые, были парализованы, захвачены невероятной нереальной реальностью.

Шалом держался одной рукой за доску, а другой прижал Шейн Песселе к груди. Они не упали, а остались стоять, глядя в глаза. Их взгляды были прикованы к лицам друг друга, пока Шейн Песселе тихо не сказала: «Шалом, мы должны спасти себя». Дрожание катящейся повозки разорвало ее слова. «Посмотри сюда, спрыгни и беги к Йосси, он заступится. . . а также . . . Давай, моя дорогая. . . спрыгивайте, не бойтесь. Мы не должны позволять себе ... »

Ноги Шалома болели, чтобы прыгнуть, убежать. Он не мог смотреть в лицо Шейн Песселе. Но он был привязан к ней тысячей веревок. Они оба хотели одного и того же. . . и они оба знали, что Йосси больше не сможет помочь. И все еще . . . Он, Шалом, спрыгнет. Он побежит к Йосси. . . Его мать приказала ему это сделать. Она отправляла его. . . Но она упадет, если он ее отпустит. Нет, она сама его отталкивала, но не упала. Она стояла на собственных ногах. Она наклонилась, чтобы найти отверстие между досками. Она отодвинула несколько ступней и подняла ступню Шалома. Он огляделся. Полицейские были далеко позади. Вагон сначала увеличил скорость, затем замедлил ход. «Мама, ты тоже прыгаешь!» - решительно сказал он.

Ее лицо озарилось: «Конечно, прыгну!»

«Сначала ты, мама. Я помогу тебе. Ждать. . . скоро ... когда скорость еще немного снизится.

«Нет, сначала ты, Шалом. Так лучше. Дай мне увидеть тебя там, и у меня будет больше сил ».

«Поклянись мне, что ты прыгнешь».

«Быстро, вагон замедляется. Клянусь тебе!"

Он почувствовал, как она подняла его. Она была такой сильной. На мгновение он был полностью подвешен к ее плечам. Он обеими ногами уже стоял вне грузовика. Он почувствовал ее руку на своей. Тогда он больше не чувствовал этого. Он спрыгнул; он больше не мог видеть Шейн Песселе. Он сбежал. . . За ним гнались. Он слышал выстрелы. Он оказался в воротах. Кто-то остановил его. Он поднял глаза и увидел фуражку милиционера. Внутри двора еще продолжался «отбор». Теперь Шалом заметил перед воротами вагон, наполовину заполненный людьми. Он был поднят в воздух. Он размахивал кулаками и наносил удары во все стороны. Вокруг него собралась группа милиционеров. Они предупреждали, что скоро немцы выйдут и прикончат его на месте.

Он снова был в грузовике. Он знал, что ему нельзя оставаться там. Он услышал голос Шейн Песселе над своим ухом: «Мы не должны позволять себе!» Фургон быстро наполнился и тронулся. Шалом много раз пытался взобраться на барьер из досок, пока ему это не удалось, и он спрыгнул вниз. Он заметил вдалеке ворота, перед которыми не стояло ни одной повозки. Он кинулся к нему. Пустой мертвый двор. Он поспешил через это, пока не подошел к другому. Здесь «отбор» еще не состоялся. Дорога к дому Йосси была бесплатной. Шалом шел вдоль стен, огибая пустые улицы. Гетто казалось безлюдным. На базаре стояла виселица, на которой раскачивались тела восемнадцати человек. Шалом почувствовал, как сильно болят его руки.

Йосси выглядел странно, когда не улыбался. Он был похож на рассерженного незнакомца с яростью в глазах. «Они забрали маму!» - выпалил Шалом.

Йосси уставился на него. «Записка не помогла?» Он хрустнул костяшками пальцев. "Я иду прямо сейчас!" Шалом оглядел комнату. Жена и ребенок Йосси находились в защищенных семьях тех, кто работал в Baluter Ring, и были собраны в отдельном здании. «Вы не можете оставаться здесь. «Отбор» скоро начнется, - пробормотал Йосси из-за двери. Он добавил: «Вы знаете, что они взяли Mottle? Я только что видел Израиль. Он сказал мне. Они забрали всех троих ».

Шалом знал, что Моттл уйдет. Моттл, коммунист, революционер, позволил втащить себя в повозку, как и его, бундовца, революционера. Но Моттл не спрыгнул с повозки. Дети Итче Майера, хотя и не были трусами, имели обязательства. Моттл не хотел оставлять жену и ребенка. Моттл был даже храбрее Шалома, который, по сути, вел себя как дурак, бросив свою мать, пусть даже временно. И он услышал торжествующий голос Моттла внутри себя, над собой. Моттл выиграл «последнюю и решающую борьбу» над всеми своими противниками.

Йосси стоял у двери, нетерпеливый, бешеный: «Разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Вы не можете здесь оставаться. «Действие» приближается! »

«Пусть придет».

"Ты сошел с ума? С этим твоим лицом *клепсидры*ты будешь в первом огне ... По крайней мере, используй немного помады. Нарисуйте щеки ». Раздался дальний выстрел. Йосси вернулся в комнату и потащил Шалома к зеркалу. Он открыл коробку своей жены с косметикой, которую Шалом сделал для нее, и поспешно накрасил Шалому губы и щеки. «Я должен бежать, чтобы узнать о маме», - выдохнул он. «Вот, возьми одно из моих удостоверений личности». Он вынул карточку из кармана, положил ее перед зеркалом и выскочил из кармана.

комната.

Шалом посмотрел на себя в зеркало. Он был похож на клоуна. Йосси залил лицо краской. Он поспешно вытер щеки, смазывая их румянцем. Нет, он никогда не переживет другого «отбора». Ему нужно было где-то спрятаться. Он побежал к двери. В доме было тихо; двор, пустой. Из соседнего двора доносились крики и стрельба. Внезапно в комнату ворвался Йосси. «Они не пропустят меня. Улица оцеплена. Поднимись наверх, куда ты бежишь? »

«Я не переживу другого отбора. Вот твое удостоверение личности. Я спрячусь в уборных ». Прежде чем Йосси успел сказать хоть слово, Шалом помчался в сторону уборных глубоко во дворе.

*«Все*сырье *Juden*!» раздался крик. Немцы вошли во двор. Сарай с уборными был заполнен прячущимися людьми; он скрипел. С другой стороны послышались шаги. В следующий момент у дверей туалетов рвались руки. Были сломаны замки и цепи. Пара рук милиционера уже тащила Шалома за шиворот.

Он стоял в очереди. На этот раз он одним из последних залез на повозку. Сразу за ним была закрыта клетка. Он ехал через гетто. Он тяжело дышал. Его ноги подкосились. Но он знал, что не должен позволять себе. Ни в коем случае. Он прыгнет. Он будет только немного подождать, чтобы отдышаться. У него еще было время. Повозка только что перебралась в другую часть гетто. Это было еще достаточно далеко от места сборки. Он выглянул через щели между досками. Все гетто *ехало*на *повозках.*Дома были похожи на полые фонари. Скоро он прыгнет. Шейн Песселе приказала ему прыгнуть. Она приказала ему спастись. Ему оставалось только дождаться благоприятного момента. Он выпрямился и глубоко вдохнул. Он был готов. Сыновья Итче Майера никогда не сдадутся. Сыновья Шейн Песселе никогда не сдадутся.

Солнце щекотало ему глаза. Впереди и сзади *катились тележки*. Фургон впереди его был забит, тела были сплетены в одну массу. В стороне стояла только одна женщина. Солнце окрашивало ее волосы в огненно-красный цвет. Знакомая голова ... мальчишеские рыжие кудри. Он где-то ее видел. . . Когда-то он любил ее. Он чувствовал, что ее волосы все еще горят в нем, горят в его сердце. "Эстер!" - крикнул он сквозь тишину. Или он звал ее только внутренне? Внезапно он почувствовал себя сильным. «Эстер, прыгай! Прыжок!" Он услышал собственный голос, сильный, громкий и громоподобный. Рыжая не двинулась с места. Шалом наполнил легкие воздухом. «Эстер, беги!» Он зарычал так, что вены на его шее вздулись. Рыжая не двинулась с места.

Они подходили к вокзалу в Марысине. Там ... на месте собрания ждала Шейн Песселе. Шалом знал, что Йосси не сможет ее спасти. Здесь ... в соседнем фургоне ехала Эстер. В его голове загорелся ясный свет: сыновья Итче Майера были доблестными людьми. Они никогда не предадут тех, кого любили. В этом был настоящий смысл отказа от сдачи. Он почувствовал облегчение и усталость. Его кровь, казалось, отступила из его вен и вытекала из его тела. Он глубоко вздохнул. Его руки отпустили доски. Он опустился на платформу, глядя на рыжую голову сквозь щели. «Моя прекрасная Эстер», - прошептал он.

Словно в этот момент она услышала его шепот, Эстер зашевелилась вдалеке, в фургоне, и двинулась с места. Через щель между досками Шалом увидела, как ее голова поднялась, двинулась вверх. Он видел ее всю над бортами грузовика. В следующую секунду она взлетела в воздух; теперь он проезжал мимо нее. Он увидел ее лежащей на тротуаре. Он вскочил на ноги, его голова была над самой высокой доской. Он видел, как она встала и побежала. .. беги от него.

Грузовик Шалома прибыл к месту назначения. Его окружили еврейская полиция и немцы. Рельсы мерцали, как полированные серебристые коньки - ножи. Где-то здесь ждала Шейн Песселе; в этом мире был только один вид преданности. Вскоре Шалом прилетит к ней, чтобы защитить ее, чтобы она была защищена ею. Он упал в объятия абсолютной тишины.

♦ ♦ ♦

Эстер мчалась через пустой задний двор; у нее создалось впечатление, что каждый выстрел, который она слышала, попадал в нее. Стук ее деревянных туфель по булыжникам тоже походил на выстрелы. Она оказалась во втором дворе, в третьем. Все было пусто и мертво. В конце концов, она больше не могла бежать. Она стучала в одну дверь за другой. Последняя была приоткрыта, и мужское лицо, покрытое румянцем и губной помадой, смотрело на нее свирепыми глазами.

«Впусти меня», - умоляла она. «Я выпрыгнул из грузовика». Дверь захлопнулась. Ей пришлось как можно скорее покинуть район. «Акция» здесь еще не началась.

Пот стекал по ее лицу ручьями. Вся одежда, которую она поспешно надела перед «отбором», прилипла к ее телу. Она последовала примеру своих соседей и надела столько одежды, сколько могла, чтобы выглядеть полнее. Также казалось практичным иметь дополнительную одежду на случай, если ее поймают. Но ей не следовало этого делать. Она снова выглядела хорошо, как всегда, после каждой трагедии. Она цвела. Она потеряла тетю Ривку, своих кузенов, сбежала с места сбора - и она цвела. Беда в том, что ее проклятая красота соблазняла самых отвратительных мужчин. Во время «отбора» перед ней стояли два волка. «Этот выглядит слишком аппетитно!» один из них крикнул, и они отправили ее к грузовику. Как она ненавидела свое тело! Как она ненавидела себя за то, что сделала себя еще красивее, за то, что накрасила свое лицо, как это сделали соседи, за то, что уложила волосы, чтобы понравиться, за то, что надела ту пару шелковых чулок, которые она купила во время своей карьеры *wydzielaczka.*

Собственно, теперь она могла бы поспешить обратно в свой дом. Там все было кончено, по крайней мере, на день. Но она не могла вынести мысли о том, что останется одна на чердаке. Сначала ей нужно было увидеть человеческое лицо, хотя бы перекинуться парой слов с кем-нибудь - эта потребность одолела ее, как только они перестали стрелять за ней. Где-то в этих дворах должны были жить ее товарищи, друзья и знакомые. Но в ее сознании все дворы смешались. Она понятия не имела, где она была. И так она металась от одной жестоко запертой двери к другой. «Смерть одиноким!» дверная тишина кричала ей. «Назад к грузовику!» Двери, казалось, прогоняли ее. Но в забитых грузовиках тоже не было людей. Стоя в грузовике среди сплетенных тел, конечности к конечностям, кожа к коже, она чувствовала себя еще более оторванной от людей, чем сейчас, лицом к закрытым дверям. Там она чувствовала себя бесконечно невыносимой сиротой. Она не хотела погибнуть одна, без свидетелей, без следа.

Вдруг она услышала рев: « *Alle Juden*raws!»

К ней прибежала когорта еврейских полицейских. Через ворота двора, в котором она очутилась, прошли два зеленых мундира, их пистолеты были нацелены на нее. Она бросилась к лестнице. Группа людей ударилась о нее, когда они устремились вниз по лестнице - толпа нарисованных клоунов, держащих друг друга и прижимающих своих детей к груди. Над ними парили полицейские-евреи в оранжевых полосатых фуражках, толкая и подталкивая тех, кто не торопился. Она позволила толпе течь мимо нее. Полицейский махнул ей дубинкой. «Эх, рыжая, давай!»

Она сделала шаг назад и опустилась на четвереньки. Она нашла место, где можно было держаться за лестницу, и поползла вверх между опускающимися ступнями, толстыми и тонкими, большими и маленькими. В этом мире не было более острой боли, чем боль, когда пальцы наступали на одну туфлю за другой. И все же она продолжала карабкаться вверх, проходя мимо сапог полицейского. Потом лестниц больше не было. На четвереньках она повернулась и вошла в длинный темный коридор, прорезанный лучами света от открытых дверей, каждая из которых обрамляла картину: заброшенный дом, все еще наполненный дыханием тех, кто его покинул. Последняя открытая дверь казалась самой привлекательной.

Резкий кислый запах проник в ее ноздри. Это напомнило ей что-то интимное и далекое. Шкаф был открыт. На неубранной постели лежал открытый чемодан с круглыми дырками, похожими на глазки, на крышке - детское убежище. Стулья в комнате были забиты мужской, женской и детской одеждой. Шнур проходил по комнате от стены к стене. На нем покачивались рваные пеленки - белые растрепанные вымпелы мира. Ее нога ударилась о перевернутый ночной горшок. Она вздрогнула и выбежала.

Она вошла в другую комнату и залезла под кровать. Разрозненные крики доносились до ее ушей со двора. Она облизнула пальцы языком. Они были жесткими, синими, прижатыми друг к другу. Она их совсем не чувствовала. Когда она их облизала, к ней вернулся запах из другой комнаты. Она погрузилась в сон и увидела крошечную девочку, ползающую на четвереньках. Ее мать сидела за швейной машинкой, ее ноги двигались вверх и вниз на педали, близко к полу. Наверху быстро вращалось маленькое колесико, и тонкая иголка издавала приятный кислый запах. «Под колыбелью маленькой Эстер спит белоснежный ребенок». Запах гудел. Мертвые белые дети висели на веревке, у которой, казалось, не было ни начала, ни конца.

Когда она открыла глаза, тишина окружающей среды напала на нее, разрывая уши, кусая глаза. Она вылезла из-под кровати и осторожно подошла к окну. Внизу наступила тишина. Акция закончилась. Спасенные бродили по двору. Фигуры лунатиков. Она вышла из комнаты. Через одну из открытых дверей она увидела мужчину на стуле, склонившегося над банкой с сахаром, которую он держал между коленями. Вид его изогнутой спины напомнил ей о Владимире Винтере. Зима ждала ее в своей большой светлой комнате. Он примет ее и защитит; он сокрушит ее невыносимое одиночество кончиком горба. Ей нужно было дотянуться до него, перетащить себя через мост. Но она не могла бежать. Из-за веса одежды она была слишком тяжелой. Ноги были в синяках, руки болели.

Она потащилась через задний двор, медленно стягивая свой вспотевший свитер. Она повязала его вокруг головы, чтобы ее рыжие волосы не привлекали внимания. Она решила, что завтра сбреет волосы. Возможно, она также вырвет несколько зубов и превратится в монстра. Однако сегодня она должна оставаться красивой - на зиму. Ей хотелось прикосновения его длинных бледных пальцев, его уродливого лица с ястребиными глазами, его большого белого лба, горящего, как кусок угля, волн его навязчивой болтовни. Ей пришлось перейти мост и добраться до него. Он был ее судьбой, ее жизнью. Она не боялась идти навстречу жизни.

Мост был пуст. Из глубины улицы она увидела, как подходят двое *зондеровских*полицейских. Их шаги раздавались двойным эхом. Она натянула пояс вокруг талии и сняла свитер с головы, уложив волосы. Она выбежала из ворот, где спряталась, и стала их ждать. «Пожалуйста, проведи меня через мост», - умоляла она с милой невинностью.

Милиционеры остановились. Пламя ее волос и зеленый свет ее глаз сияли на них. Это были два серьезных, измученных человека; один из них снял кепку, вытирая с ее края пот. Вид ее освежал. Впервые за день он услышал чистый спокойный голос и увидел гладкое расслабленное лицо. «Давайте возьмем ее за руки», - обратился он к своему спутнику. Они держали ее за руки, прося напрячься, чтобы казалось, будто они ее арестовывают. Она сделалась тяжелой. Ее деревянные туфли едва касались ступенек моста. Было восхитительно опереться на пару мужских рук. Когда они перебрались на другую сторону моста, они продолжали крепко держать ее. «Куда так храбро спешит барышня?» - спросил один из них.

«Чтобы увидеть моего жениха», - ответила она.

«Он, должно быть, какой-то мужчина, если вы готовы рискнуть своей жизнью, чтобы увидеть его».

«Да, конечно».

Приятно было после рабочего дня на грузовиках поболтать с юмором. Свежая рыжеволосая девочка помогла им немного забыться. Они не могли отпустить ее сразу. Они уже проходили мимо базара. Восемнадцать тел на виселице слегка покачивались. Эстер чувствовала себя в такой безопасности между двумя сильными руками, что осмелилась украдкой взглянуть на восемнадцать теней на песке. Все трое подошли к дому Винтер. Она поблагодарила милиционеров. «Это все, что мы получили?» - спросил один из них. Она поцеловала их грубые щеки.

Она вошла в комнату Винтер под впечатлением, что там никого нет. Все, что она видела, - это стены, покрытые картинами, и живое изображение через широко распахнутое окно: далекий город с его крышами и трубами, нарисованный на фоне огромного неба позднего вечера. Она глубоко вздохнула. Наконец-то она приехала.

Пара горячих костлявых рук обвила ее руку. «Ты пришел спасти меня», - услышала она шепот. Все снова было потеряно. Зима казалась меньше и более сморщенной, чем когда-либо, как будто время, в течение которого они не виделись, уменьшило его. Его горб был острым, как горная вершина. Его лицо было коричневым и потрескавшимся, кусок глины. Только лоб и острый нос были белыми. Его ястребиные глаза пронзили ее, испуганно и умоляюще.

Она улыбнулась ему мертвой улыбкой. Он начал танцевать вокруг нее, как карлик, помогая ей снять пальто и множество блузок. Время от времени он опускался на ноги, но тут же выпрямлялся. Как только она сняла дополнительную одежду, он снова упал на диван.

«Жизнь милосердна, Эстер», - вздохнул он. «Пойдем, сядь рядом со мной. .. нравится . . . » Он взял ее руку и приложил к своему горячему лбу. «Погладь меня», - пробормотал он. «У меня температура. Сорок градусов. Из-за страха, потому что я был

НО The Tree of Life

жду тебя, потому что ... Я стояла у палитры с удостоверениями личности в руке. Левин вошел со своей старухой и умолял меня спасти их. Левин снял медицинские знаки отличия, чтобы ему не пришлось участвовать в акции. Какую защиту я мог бы им дать? Эти документы предназначены только для меня. . . Это моя жизнь, понимаешь? » Она кивнула. Она бы никогда не поверила, что Зима может быть такой уродливой, монстром, полным бесконечной болтовни. «С тобой я не боюсь». Он не заткнулся. «Ты ... ты ... Дай мне немного молока. Я сгораю изнутри. . . Как красиво ты гуляешь, Эстер! Снимай свою обувь. Нет, лучше надень их. Они будут служить гирями, чтобы удерживать вас здесь. Босиком, возможно, ты улетишь от меня. Она протянула ему стакан молока. «Возьми себе тоже. Давай, - подбадривал он ее. «Все, что у меня есть, принадлежит тебе». В руке стакан с молоком, она села рядом с ним. Она смотрела на чистую белизну стекла в руках. Воспоминания о знакомом кисло-сладком запахе вернулись к ней, наполнив ее ноздри. Она поднесла стакан ко рту. Ее глаза переполнились. «Вы уже довольно давно не пьете молока, не так ли?» он спросил.

Она отхлебнула из стакана, всхлипывая. «Я думала, что больше не могу плакать», - рыдала она. Но потом она подняла голову и увидела часы на стене. "Шесть часов!" она закричала. Ее губы, все еще влажные от молока, озарились детской улыбкой. «Мир до завтрашнего утра!» Сумеречное небо отражалось в пустом молочно-белом стакане, во влажных глазах Эстер, в ее зубах, в ее улыбающихся молочных губах.

Зима спрыгнула с дивана. "Оставайся таким! Не двигайся! » - крикнул он. Его голос заставил ее замереть; она не двигалась. Он подошел к окну и посмотрел на нее оттуда. «Колоссально! Чрезвычайно! » Он был вне себя от энтузиазма. Его взлохмаченная копна волос стояла вертикально на черепе, окружая голову черным ореолом. Он быстро перебрал груду холстов в поисках чистого. Его ноги подкосились, и он сел на пол. Он решился на холст и попытался встать, но не смог. «Не двигайся. . . не двигайся. . . » - пробормотал он, хватаясь за грудь.

Он разразился резким кашлем, вытащил из кармана большой запачканный носовой платок и вытер рот. Некоторое время он смотрел на платок, затем бросил его на стул и каким-то образом снова вскарабкался на ноги. Положил холст на мольберт и пододвинул к себе столик с красками. Черный и сморщенный, он стоял перед холстом. На кончиках его волос мерцал свет уходящего дня. Его рука с пятью растопыренными пальцами, подобными пяти бесконечным дорожкам тоски, тянулась к холсту. Затем его десять пальцев скользнули по Эстер. Он погладил ее, как колдун, собирающийся произнести заклинание.

Она чувствовала, что этими движениями он берет ее в свои руки, привязывает к своим глазам, а через них - к холсту, пахнувшему молоком и напоминавшему белую простыню. Вскоре она в изнеможении растянулась на простыне - ягненок с рыжими кудрявыми волосами. Затем она засыпала сном, от которого никто не мог ее разбудить, белым вечным сном, который не причинял бы вреда. Красная шерсть на ее голове больше не горела. Она растворилась бы, как закат в белой пустоте.

Палитра свежей краски дрожала в руке Винтер, как веер, отказывающийся открыться. Краску он перемешал быстро, неуклюже. Наконец, он бросил палитру на стол и схватил окровавленный носовой платок со стула, расстелив его против света, напротив глаз Эстер. «Иногда на нем получаются красивые рисунки», - сказал он, бросая платок к ногам Эстер. «Вот так», - выдохнул он.

Book Three 141

«Он уравновесит композицию, соединится с рыжим цветом ваших волос и подчеркнет бледность вашей кожи. Посмотрите, как чудесно платок упал ... сам по себе. Не двигайся! » Это все, что он сказал. На небе появились первые темные полосы ночи. Казалось, Винтер тянет их своей кистью к белому полотну.

Молочно-красная улыбка Эстер все еще играла на ее губах. Ее глаза были обращены к небу, к долгой ночи. Зима уже не была такой маленькой, как червяк. Он рос вместе с ночью, каждую минуту, становясь все больше, все темнее, хватая ее с возрастающей силой. Она позволила себе уйти, отдавшись его рукам - рукам Бога. Святая троица: Бог, ночь и Зима. Она принадлежала им. Они были вечностью - до следующего утра.

В оставшиеся часы вечера они не обменялись ни словом. Эстер этого не заметила. Между ними завязался диалог без слов. Теперь, например, она передавала ему свою жизнь - начиная с дней, предшествовавших ее воспоминанию, до дней, когда она переживала печальную любовь, сдерживаемые страсти, одиночество и горе, потерянное материнство; дней, которые сияли светом лица тети Ривки и белыми больничными рубашками двух больных кузенов, которые прилетели к ней из окна больницы, но не дошли до нее. Она подарила ему свои ужасные моменты в *вагончике*и *холодную*дверь, закрывающуюся перед ее лицом. Она также дала ему дни, похожие на красно-белый аромат цветущей вишни, дни крови и молока. Она освободилась от всех этих сказок, чтобы впустить Великий Мир. В этом была сила Зимы. Он достиг всего этого с помощью своей магии, запечатав все это на нетленном полотне.

Была поздняя ночь, когда кисть выпала из рук Зимы. Холст, покрытый линиями и красками, сиял в темноте, как сырая масса тела без кожи. Он прислонился к подоконнику и уставился на холст, закинув голову и закусив губы. Его острые кривые зубы засветились победоносной улыбкой.

«Теперь ты мне больше не нужен!» воскликнул он. «Отсюда я могу идти один». Он подошел к ней, высокомерно глядя на нее, в его голосе прозвучала нотка мести. «Ты помнишь, как я боролся, не мог до тебя дотянуться? Теперь ты моя, моя! » Он расчесал свою прямую копну волос пальцами, затем схватился за запястье, чтобы проверить пульс. Он поплелся к кровати и рухнул. Когда она встала, он воскликнул в внезапной панике: «Куда ты идешь?»

«Чтобы закрыть окно и включить свет».

"Это необязательно. Иди сюда, - он протянул руки. Снова она увидела его растопыренные пальцы, десять тянущихся дорожек тоски, нацеленных на нее. Она чувствовала, что они начали терять свою власть над ней, и ей было жаль. «Эстер, - пробормотал он, - ты должна остаться со мной. Я великий художник. Никто не знает этого так хорошо, как вы. Сегодня мы стали одним целым. Высшая мудрость объединила нас и. . . нам так многого нужно достичь. Вы понимаете меня? Иди сюда, дай мне почувствовать твою близость. . . твоя кожа. Ты останешься, правда? »

«Конечно, я останусь», - спокойно ответила она.

Он облегченно вздохнул. Она видела его потерянным в большой кровати. Она не возражала против его уродства. Его голос хрипло в ее ушах. «У меня есть защитные документы, а ты ... твоя красавица. В случае, если они снова придут ... Ты тоже останешься завтра, не так ли? "

"Конечно."

«Тогда давай спать. Кипю ... Я вздрагиваю от холода. Приди, прикрой меня ... Будь добр ко мне. Она разделась рядом с его кроватью. Он схватил ее за руку: «Ты не пойдешь?»

"Куда?" Она растянулась рядом с ним. Его кожа обожгла ее, а ночное дыхание в комнату через открытое окно охладило ее лицо. Крылья окна слегка покачивались на петлях. Внизу гетто содрогалось от кошмара. Но она была вне кошмара - в покое. Жалко было стереть эти драгоценные часы сном, но Винтер, который храпел, прижался к ней, прижимаясь к ней, убаюкивая ее с ритмом своего дыхания.

С первыми лучами рассвета она вскочила на ноги. Она бросила единственный взгляд на спящую Зиму и оделась. Ее сердце снова было сковано обручами, которые не позволяли ей дышать. В следующий момент она бросилась вниз по лестнице, выбегая на улицу в поисках укрытия.

♦ ♦ ♦

Золотая осень флиртовала с миром, используя все прелести женщины средних лет. В своем стремлении ослепить он раскрыл все свои арсеналы красоты и с преувеличенной осторожностью попытался превзойти себя своим сладким запахом, своим теплым светом, напоминавшим весну и лето. Каждый день простирает свои часы по безупречно синему небу, по земле, смягченной солнечным светом и игривым бризом, за которой следует бархатная ночь - полная перевернутая корзина, из которой высыпается обилие прохладных спелых фруктов: луна и звезды.

На следующий день *Sperre*также развернул свое великолепие над дрожащим гетто. Все находились под домашним арестом, и те, кто еще были вместе, и те, кто вчера или позавчера осиротел. Они сидели между стенами своих домов, ни спали, ни бодрствовали, ни голодны, ни пресыщались, ожидая часа Судьбы, крика: «Alle *Juden*raws!» Напряжение росло вместе с солнцем в небе.

Рано утром миссис Сатин и ее дочь Тейбеле постучали в дверь своих соседей, Эйбушиц. Муж госпожи Сатин настоял, чтобы он не спускался во двор на «селекцию». Он был настоящей *клепсидрой,*и у него не было сил спускаться по лестнице.

«Если они хотят меня, - объявил он почти весело, - пусть окажут мне честь, придя за мной». С самого начала *Сперре*он «насвистывал» жене и подшучивал над ней. Насмешив ее страх, он попытался напугать ее своим смехом. «Спроси ее, - обратился он к Тейбеле, потому что никогда не обращался напрямую к своей жене, - спроси ее, корову, почему она так дрожит над своей жизнью? Скажи ей, что чем дольше она живет, тем дольше она будет бояться смерти ».

Миссис Сатин взяла с собой немного еды и пошла к соседям. На своей двери она повесила замок не потому, что она, не дай бог, хотела защитить своего мужа, а потому, что хотела защитить то, что было у нее в комнате. Боялась воров.

Помимо еды, она также взяла с собой сумку с косметикой. Великолепный знаток женской красоты, она практиковала свое искусство на лице Блюмки Эйбушиц, делая ее по крайней мере на десять лет моложе. Она также превратила Рэйчел в «настоящую куклу». Она втирала немного глицерина в волосы Рэйчел, чтобы они блестели и хорошо держались, и одела ее во все виды одежды, чтобы она выглядела полной и здоровой. Она также давала советы мужчинам в семье Моше и Шламеку. «Я знаю, мистер Эйбушиц, этот совет подобен касторовому маслу, его легко дать, но трудно принять ... Однако если вы меня послушали. . . Поверьте, я имею в виду ваше собственное добро ». Мистер Эйбушиц расстроил миссис Сатин. Он отказался красить щеки даже пятнышком румян. Он расхаживал взад и вперед по полу, и от звука его шагов у миссис Сатин заболела голова.

Миссис Сатин и ее дочь Тейбеле вошли полностью одетыми. Под платьями они носили лучшие предметы гардероба. На миссис Сатин была красочная юбка с цветочным рисунком и цыганская блузка, которая очень хорошо сочеталась с большими круглыми серьгами, свисающими с ее ушей, и с разноцветной нитью бус, украшающей ее шею. Ее густые брови были заштрихованы карандашом, большие мясистые губы накрашены в темно-красный цвет, а длинные черные волосы покрыты глицерином. Она была похожа на крепкую гигантскую королеву какого-то экзотического племени. Ее изящная дочь Тейбеле, одетая в материнские туфли на высоком каблуке, была на несколько сантиметров выше своего обычного роста. Она была наполнена и набита множеством платьев, поверх которых она носила вышитую блузку своей матери и широкую юбку. Над ее надутым телом парило маленькое нежное личико с невинными глазами. Время от времени миссис Сатин бросала озабоченный взгляд на Тейбеле и сжимала руку на сердце. Ее все еще не устраивала внешность дочери, и ее головная боль усиливалась с каждой секундой.

Женщины сидели на кухне на кроватях, сделанных из стульев, с которых было снято постельное белье. Миссис Сатин не переставала вздыхать. Остальные молча смотрели то на часы, то на окно. Шаги Моше в другой комнате, казалось, отсчитывали прошедшие минуты.

«Сегодня наша очередь», - прошептала миссис Сатин, раскачиваясь взад и вперед, держась одной рукой за сердце, а другой за голову. Даже ее горе и страх казались величественными. «Сегодня возьмут, кого захотят. Тейбеле, - простонала она, - боже мой, твоя вторая юбка торчит из-под первой. . . » Она начала поправлять одежду под платье дочери. Затем она обратилась к Блюмке: «Как только они выйдут на задний двор, мы должны сбежать и быть первыми в очереди. Во-первых, мы избегаем ударов, а во-вторых, они не так внимательно смотрят на первого в очереди. И мы должны стоять прямо, высоко подняв голову, чтобы выглядеть здоровее ». Она встала, убрала руки от сердца и головы и выпрямилась, как солдат. «Как я выгляжу, Тейбеле?»

«Ты прекрасно выглядишь, *Мэмеше».*- ответил Тейбеле.

«А теперь встань и покажи мне, как ты будешь выглядеть». Тейбеле встала, и миссис Сатин снова схватилась за сердце: «Я упаду в обморок! Выпрямите спину, выпрямите грудь и не стойте криво на пятках. Ты выглядишь так, будто у тебя две левые ноги. Поднимите голову и не выпячивайте живот. Они подумают, что ты беременна, горе мне. И что это?" Она почувствовала выпуклость на бедрах Тейбеле.

«Это не я», - печально улыбнулся Тейбеле. «Это юбки с двумя парами шерстяных трусов». Миссис Сатин притянула к себе Тейбеле, накинула девичью юбку на голову, как фотограф, прячущийся под одеялом, и снова стала поправлять спутавшуюся одежду на животе Тейбеле.

Блюмка подмигнула Рэйчел. Они оставили мать и дочь на кухне и пошли в соседнюю комнату, где расхаживал Моше. Шламек смотрел во двор сквозь прорезь в затемненной занавеске. "Что мы делаем?" - спросила Блюмка, избегая их взглядов.

Моше перестал ходить. Погасший окурок на его губах задрожал. «Мы не спускаемся, - сказал он. «Если миссис Сатин хочет спуститься, позвольте ей. Позволь ей запереть нас снаружи ».

Блюмка вернулся на кухню и объявил о своем решении миссис Сатин. «Мы хотим попросить вас запереть нас снаружи и положить ключ на дверной косяк».

Миссис Сатин вскочила на ноги, смертельно обиженная. Положить ключ на дверной косяк? Неужели Эйбушицы считали, что ее, миссис Сатин, могут увезти? Она схватила Тейбеле за руку. «Я иду вниз. Пусть нас осмотрят. Я не боюсь. Давай, Тейбеле, будем первыми ».

Блюмка последовал за ней. «Ты не хочешь запереть нас?»

Госпожа Сатин выхватила замок и ключ из руки Блюмки. "Почему я не должен этого хотеть?" Замок дрожал в ее руке. Она потеряла всякую уверенность в себе. Она умоляюще смотрела на Блюмку. «Вы думаете, что премьер-министр поступает неправильно, миссис Эйбушиц?»

«Я не знаю, кто поступает неправильно, а кто прав. Каждый должен решать сам ».

Миссис Сатин и ее дочь ушли. Замок на двери ставят снаружи. Часы внутри били все громче и громче. Колеса катились по улицам все быстрее и быстрее, приближаясь. Раздался выстрел. Потом еще один. Крысиный пулемет. *«Alle Juden rausl»*Крики были близки, но все же далеки. Откуда-то доносился звук сапог, бегающих по лестнице, взламывания дверей. Потом тишина. Шорох ног. Еще один выстрел.

Шламек доложил из окна: «Они должны быть через улицу».

Блюмка прогнал его от окна и велел сесть. Все четверо сели на кухне, уставились друг на друга, а затем отвернулись друг от друга. Это заняло много времени ... очень долго. Часы, казалось, не знали, что делают своими стрелками. В один момент они, казалось, торопились, а в следующий момент остановились. Шум внизу приближался и утих. Прошли вечности. Дрожащий окурок все еще прилипал к губам Моше. Его руки были связаны на коленях, он обвивал большими пальцами друг друга, как будто один большой палец пытался успокоить другой.

«Если они выломают дверь и схватят одного из нас?» он бросил вопрос.

«Тогда мы все идем», - сказал Шламек, вопросительно взглянув на Рэйчел.

Рэйчел поймала его взгляд и кивнула в ответ. Она устала ждать; устал от напряжения, неподвижного сидения между часами и окном. Перед ее глазами стоял образ пятничного полудня, когда началась « *Сперре»*. Через окно она увидела, как уводят детей. Невозможно было соединить розовый цвет сумерек с богато раскрашенными нарядами детей, заполнивших *вагончики.*Она видела женщин, матерей в их безумном танце за грузовиками, и тех других матерей, ошеломленных, прогуливающихся по двору, как будто то, что произошло, было всего лишь сном, кошмаром. И она видела матерей-победительниц, которые не давали вырвать своих младенцев из рук, а забирались с ними в грузовики. Не все матери так поступили. А это означало, что «Кровь моей крови, плоть от моей плоти» было ложью. Как же тогда найти силы для предстоящего переживания?

Блюмка вытерла лицо обеими руками, вытирая при этом всю краску, которую так осторожно нанесла миссис Сатин. «Нет, дети», - покачала она головой. "В случае . . . »

«В каком случае?» Шламек нетерпеливо перебил ее; последнее время они с Блюмкой не могли разговаривать друг с другом без тепла. «Зачем тебе так много вникать? Мы решили не спускаться, не так ли? Если они найдут нас здесь, нам не придется ничего решать »,

Моше взглянул на часы; они следили за ним глазами. Была половина десятого. Они услышали глухие крики и стук колес по булыжникам. Еще полчаса прошло в тишине. Рэйчел хотелось растянуться на стульях, но она боялась, что как только она закроет глаза и позволит своему страху расслабиться, немцы войдут во двор. Это был плохой способ преодолеть беспокойство. Ей нужно во что-то верить, найти способ мышления, который сделает ее сильной. Она позволила имени Дэвида звенеть в ее голове, как колокол. Она звонила ему. Нет, это он ей звонил. Теперь было больно думать о нем, но в то же время утешало. Она спросила себя, находится ли он еще в гетто. Последние несколько дней она не получала от него новостей. Каждый вечер после «акции» она бегала заглядывать через забор из колючей проволоки. Она спросила о нем свое сердце; он ответил ей только тиканью часов.

Они услышали голос миссис Сатин с другой стороны двери. «Сосед, они сейчас через улицу!»

В коридоре слышен был шепот соседей, готовившихся к «акции». Стоны миссис Сатин приблизились, затем стихли. Блюмка взяла Рахиль и Шламека за руки, как маленьких детей. Моше встал и остался неподвижным посреди комнаты, его глаза были прикованы к часам. Рэйчел хотела вырваться из рук матери. Это заставляло ее чувствовать себя беспомощной, парализованной. Ей хотелось разрыдаться. Плакать казалось благословением. Она слышала, как лошади очень быстро скакали, приближаясь. Затем был галоп одинокого коня ... приглушенный звук, как если бы его копыта были покрыты тряпками, или как если бы лошадь ехала по песчаной пустыне, тикая в ритме одиноких часов, висящих на стене дома. страх.

Не в силах больше терпеть, она вырвала руку из руки Блюмки и бросилась к буфету с едой. Она достала красную банку с последним кусочком мармелада и предложила каждому из них лизнуть кончик ложки, а затем взяла немного. Она выцарапала банку. Когда ложка коснулась стакана, она издала неприятный писк, отчего по ее спине пробежала дрожь. Она остановилась, облизнула сладкие губы и почувствовала себя отдохнувшей. Лица остальных тоже казались менее напряженными. В комнате стало прохладнее, как будто в последний момент что-то лопнуло. Они больше не избегали взглядов друг друга.

Из соседнего двора раздалось несколько выстрелов. Где-то поблизости кричал полицейский. Еще один выстрел. Звук шагов. Много шагов. Что-то трещало, катилось, гремело. Рев леопарда. Мяуканье кошек. Вой собак. Тишина. Тишина. Как долго это продолжалось? Второй? Вечность? Они не хотели обращать внимание на часы. Еще нет. Вскоре они посоветовались бы с ним. Теперь они должны были быть всеми ушами, чтобы измерять время своим застывшим дыханием.

Дом был мертв. Ни шагов, ни звука.

Моше первым позволил себе взглянуть на часы. "Двенадцать!" воскликнул он.

Какой прекрасный час! Успокаивающая музыка! Час, когда немцы обедали. Теперь семья ожила, наводила порядок в комнате, переставляла стулья. Моше зажег плиту, Шламек раздавил торфяные брикеты, Рахиль приготовила блюда, а Блюмка распахнула кухонный шкаф. Она достала половину репы, две картошки и свой хлебный паек и положила их на тарелку. Сегодня есть ее хлеб не имело значения. Моше скрутил новую сигарету, чтобы выкурить перед едой, чтобы притупить аппетит. Он всех затянул. Кастрюля на плите сильно шумела. Он весело крякал и пенился. Все стояли вокруг и смотрели, как Блюмка снимает крышку и добавляет соль в бурлящую воду. У них текли слезы.

В коридоре началась суматоха. Дверь была не заперта, и в комнате появилась миссис Сатин. «Полдня закончилось!» она позвала.

Блюмка подала еду. Пар поднимался от тарелок и кружился над их головами. В середине каждой тарелки была половина картофеля и несколько комков репы, как острова посреди моря. Блюмка разрезал хлеб на четыре равные части; четыре было священным числом.

После еды Моше взял оба ведра за водой. «Как бы то ни было, пусть в доме будет достаточно воды», - сказал он. Блюмка хотела поехать с ним. Водяной насос во дворе не работал, и ему приходилось протягивать воду через несколько ярдов. Шламек тоже вызвался пойти с ним. Но Моше покачал головой: «Никто не идет». Им нравилось, когда он был строгим, уверенным в себе. Поэтому они отпустили его одного. Но как только звук его шагов стих на лестнице, часы снова завладели им. Шли минуты. В дальнем дворе, где стояла водяная помпа, наверное, стояло много людей в очереди за водой. Моше пока нельзя было ожидать возвращения. Он ушел всего мгновение назад, а времени еще оставалось много - целых полчаса до того, как «действие» начнется снова. Блюмка не отходил от окна.

Шламек злился на нее. «Что с тобой? Он волшебник или что? »

«Почему вы не пошли ему на помощь?» - крикнула она и прикусила язык. Она была рада, что он не ушел. Внезапно она разразилась истерическими рыданиями. Все ее тело дрожало; ее крики, казалось, вырывались из каждой ее конечности. Она не могла контролировать свои спазмы, и когда дети пытались ее утешить, они заставляли ее трястись еще больше. Моше вошел с двумя ведрами воды. Его лицо блестело от пота; сухой окурок был частично отклеен от его губы. Блюмка успокоился, но было ясно, что им едва ли хватило сил противостоять приближающимся часам.

В тот день на той стороне улицы не было никаких других «действий». Часы до шести часов, измельченные в бесконечности минут и секунд, давили на мозги, перерезая им все нервы, то замораживая сердца, то заставляя их бешено скакать. Затем день, наконец, закончился, сползая с неба вместе с заходящим солнцем. Какое благословение было то, что немцам нужно было спать по ночам, как и всем людям.

Блюмка снова приготовила. Она позволила себе уйти с едой, не думая ни о завтрашнем, ни о послезавтра. Вечер и ночь были всем, чем они обладали. Весело, празднично они сели за стол - все вчетвером. Они не разговаривали. Они были голодны. Ели из четырех тарелок. Четыре ложки звенели, как четыре радостных колокольчика. Четверо были одним. После еды они отправились искать укрытие получше.

Улицы были заполнены людьми, несущимися во все стороны. Знакомые останавливали друг друга восклицанием: «Пока мы видим друг друга!» и продолжили свой путь, чтобы узнать о родственниках, друзьях или других знакомых. Они хотели рассказать, через что они прошли, успокоить свои сердца, попросить совета, подготовиться к завтрашнему дню или узнать какие-то новости. Возможно, случилось чудо. Возможно, немцы потерпели такое поражение, что на следующий день они не смогут войти в гетто со своими Колесницами судьбы. Брошенные женщины, осиротевшие мужчины покинули свои дома, где все напоминало им об ушедших, и бродили среди других, позволяя унести себя волнам, быть оглушенными шумом, чтобы притупить себя и избежать потери, от которой выхода не было.

Было темно, когда Эйбушицы подошли к Марысину. Почва пахла влажностью и засохшей травой. Рахиль оставила свою семью перед садом Святого Сапожника и перешла знакомую тропинку, ведущую к дому своего ученика. Трава в саду казалась черной в тени деревьев. Она ожидала, что из-за дерева выскочит фигура художника с кистью в руке, но сад был пуст; беззвучно падающие на землю листья поглотила черная трава. На кухне сапожника на нее обрушился порыв знойного воздуха. Кухня была забита людьми. Она едва могла войти внутрь. Она заметила густую прядь сапожника. Его теплые ясные глаза были устремлены на окружающих его людей, но, казалось, не видели их. Он разговаривал с кем-то, с двумя людьми сразу, со всеми. Он покачал головой один раз влево, один раз вправо, обращаясь к тем, кто стоял позади него. Она потянула его за рукав. Он сфокусировал свой взгляд на ней, его готовый ответ соскользнул с его губ: «Я ничего не могу с этим поделать. Я не должен ... У меня жена и двое детей.

Оттуда они поехали навестить *Рабинера.*Моше и *Рабинер*были друзьями. По возможности Моше оказывал *Рабинеру*небольшие услуги, например, снабжал его дефицитными продуктами в кооперативе или доставлял неожиданно объявленные продовольственные пайки.

*Рабинер*вышел в аккуратном черном сюртуке, свет в его глазах мигать. Он протянул всем свою гладкую мягкую руку и вежливо пригласил их в беседку. Но когда Моше спросил, могут ли он и его семья спрятаться где-нибудь в саду или в сарае, свет в глазах *Рабинера*погас. "Мне жаль . . . » он печально покачал головой. «У меня есть жена и двое детей».

По пути домой Рэйчел оставила семью и подбежала к забору из колючей проволоки, чтобы посмотреть на другую сторону, как она делала каждый вечер во время *Сперре.*Едва она поднялась на ступеньку, где останавливалась каждый вечер, как вдали перед ее глазами мелькнула черная шевелюра. Это была игра с ее памятью? Ее воображение? Она долго смотрела на голову, прежде чем сообразила, что он, на которого она смотрела с другой стороны, был тем, кого она ожидала видеть каждый вечер. Ее сердце взорвалось от радости.

"Дэйвид!" Ее крик был слишком сильным, чтобы вырваться из ее горла. Она спрыгнула со ступеньки. Он спрыгнул со ступеньки по другую сторону проволочного забора. Она помахала ему. Он помахал в ответ. Она хотела двинуться вперед, но там были провода, поэтому она снова поднялась на ступеньку. Он сделал то же самое. Он покачивался. Его лицо плавало перед ее глазами. Слезы хлынули из ее глаз, как проливной дождь, растопив все в ней. «Спасибо, что вы живы и здоровы», - пробормотала она. Если смотреть ее водянистыми глазами, Дэвид выглядел как одинокий на острове, подающий знаки проплывающему кораблю.

"Я люблю вас!" - раздался голос через забор из колючей проволоки.

"Я люблю вас!" - эхом раздался другой голос. Благословенная колючая проволока. Они пропускали образ лица, звук голоса. Через пустой мост Рэйчел и Дэвид шли навстречу друг другу, но все же оставались по разные стороны забора. Там, наверху моста, они обнялись; внизу, мертвая церковь парила над тенью, которую надвигающаяся ночь распространяла между ними.

♦ ♦ ♦

(Записная книжка Дэвида).

Я пополнил свой словарный запас новым словом: *Himmelkommando.*Это красивое слово пришло от одного из немцев; Говорят, его зовут Фокс. Еще говорят, что Фокс особенно мстит женщинам. Ему нравится стрелять в них. Сегодня был четвертый день «акции». Как я могу сейчас, в тот же вечер, взять перо и сесть писать, я не знаю. Как я могу быть таким «нормальным»? Я все еще помню? У меня были моменты, когда мои открытые глаза ничего не видели, мои открытые уши ничего не слышали, и мой разум был совершенно пустым.

Мне стала ясна трагическая правда: мир никогда не узнает, что мы переживаем. Кто сможет это сказать? Даже те, кто выжил, с трудом поверит, что то, что с ними произошло, было правдой. Кто бы мог *понять,*что значит сидеть в *забитом вагоне,*в деревянной клетке? Тогда почему я пытаюсь? Как странно, что в моменты опасности я клялся себе, что если выживу, то все запишу. Поэтому вместо того, чтобы броситься на кровать, закрыть глаза и собраться с силами для завтрашнего дня, я сел выполнять эту бессмысленную миссию. Я слышал, что в последние несколько дней писатели закапывают все свои писания в землю, чтобы остался «документ», который мир мог прочитать. Если бы я сделал то же самое со своими блокнотами, это бы означало, что я решил свою судьбу. Я не хочу, чтобы эта писательская книга пережила меня.

Наш задний двор, наверное, самый неудачный во всем гетто. У нас уже было три «акции», и неизвестно, сколько еще будет. В первый день еврейская полиция с помощью Моше Грабиаза очистила двор от детей и стариков. На следующий день, когда немцы захватили власть, мы спрятались с нашими товарищами Пудельмахерами, которые живут в трех домах от нас. Товарищ Пудельмахер хорошо знал отца, и поэтому он всегда разговаривает со мной с большим уважением, как если бы я был Бог знает кем. За полчаса до начала «акции» он подошел. Он сказал, что мама выглядела слишком слабой, чтобы противостоять «выбору», и отвел нас к себе.

Товарищ Пудельмахер начал строить свое убежище, как только начали распространяться слухи о том, что немцы требуют детей. Он начал незаметно воровать кирпичи из разрушенных домов, пока не набралось достаточно, чтобы построить стену вдоль стены между двумя своими комнатками. В этих двух комнатках живут две семьи. Пудельмахер снял обои с задней стены и покрыл ими новую стену. Вход между двойной стеной проходит через отверстие, закрытое обоями из картона, замаскированное столом, поставленным вплотную к стене. Мы втиснулись в убежище, которое, возможно, не шире одного фута, и внутри можно только стоять прямо. Воздух и немного света проникают через отверстие в стене, выходящее во двор.

Обе семьи уже были внутри, среди них было четверо детей в возрасте от шести до восьми лет, которые даже не пискнули. Пудельмахер вошел последним, закрыв отверстие картоном. Сразу стало трудно дышать. Шум во дворе был очень громко слышен через отверстие для вентиляции, так что мы знали, когда можно будет выйти на улицу. Пудельмахер погладил маму по спине, говоря: «Пожалуйста, не благодари меня».

Вернувшись во двор, мы узнали о тамошней бойне. Обрадованные удачей, мы съели все, что было в нашем продовольственном шкафу, и поиграли. Затем, когда я ел, глядя в свою тарелку с супом, мне показалось, что я вижу глаза Рэйчел, плавающие внутри. Они смотрели на меня так нежно, что мне стало жарко. Как давно я не жалел о ней даже одной мысли! Меня охватил страх, что я больше никогда ее не увижу. Я был уверен, что ее забрали - чтобы наказать меня. Я вышел на улицу и перебегал от одного друга к другому, расспрашивая о Эйбушицах. Никто не знал, что происходило на другой стороне.

Вчера вечером я ступил на порог и посмотрел на другую сторону. Я плакал внутренне. Какой смысл в моем выживании, если бы Рэйчел ушла? Ее лицо всплыло в моей памяти. Я видел ее в синем костюме. Я видел ее глаза, любящие и похожие на сон, покрытые тонкой дымкой, сквозь которую мерцает горячее пламя. Я вспомнил вкус ее губ - и вдруг увидел ее. Уже смеркалось, и церковь отбрасывала огромную тень между нами. Я стал прыгать по ступенькам, махать руками, звать ее. Наконец я увидел дежурного жандарма, смотрящего в мою сторону, и побежал, чтобы она тоже убежала. Я пришел домой и бросился на кровать. Я был спасен.

Сегодня утром мама разбудила меня криком: « *Роллкоманда*здесь! Одевайся быстрее! »

Я поспешил со своими вещами и подошел к окну. Немцы уже были во дворе. К входам бежала полиция. Паника в коридоре. Люди полуодетые, дети еще не спрятаны. Полиция уже была наверху, преследуя сонных жильцов. В следующий момент мы оказались во дворе. «Лос! Лос! » Немцы нас торопили, размахивая револьверами. Мы пытались перебежать к Пудельмахерам и уже проходили во двор пожарной части, когда приехала еврейская полиция. Они преследовали женщину, которая тоже пыталась сбежать. Я слышал выстрел. Что-то взорвалось у меня в голове; мне показалось, что пуля попала в меня. В тот же момент я увидел, как женщина рухнула под вишневое дерево. Милиционеры уже держали нас крепко.

«Ты тоже хочешь, чтобы тебя расстреляли?» - кричали они.

Авраам работал кулаками; Я сделал то же самое. «Убийцы!» Я закричал. Нам с Авраамом удалось вырваться из их рук, но они держали Мать. Мы начали ее тянуть, пытались оторвать от себя (мы были за стеной, и немцы нас не видели). Я стал говорить с совестью милиционеров: «Наша кровь будет на ваших руках!» и другие подобные фразы. Мы тянули маму вперед, а они тянули ее назад. Приехало несколько пожарных, которые схватили нас с Авраамом. Вскоре мы оказались в строю мужчин. Мать была в шеренге женщин и детей.

«У тебя больше шансов с людьми», - сказали пожарные Аврааму.

Авраам боролся с ними, чтобы позволить ему перейти к Матери. Немцы смотрели в нашу сторону, и пожарные наконец разрешили ему перебраться на другую сторону. Недалеко от матери и Авраама, которые были последними в шеренге, лежала раненая женщина, из нее текла черная струя крови. Я знал ее. Райзель, горничная Цукерманов. Я не смотрел на нее даже столько времени, сколько нужно, чтобы это записать. Я даже не видел ни Мать, ни Авраама. Я был наедине со своей жизнью. Я выпрямился, выпятил грудь, высоко поднял голову - чтобы произвести хорошее впечатление. На долю секунды мой взгляд упал на окно нашей комнаты, и это принесло мне запах в ноздри; это напомнило мне

наша дача. Я увидел зеленое поле. да. Зеленый. Зеленая форма немца закрывала мне глаза. У немца во рту была конфета, от которой пахло листьями мяты.

«Раус!» Конфета прыгнула между его зубами. Приклад его пистолета аккуратно срезал меня с линии. Я пересек двор, чувствуя, как меня охватывает ледяной холод.

Снаружи я увидел *повозки.*От одного из них Авраам, который был с матерью, кричал мне: «Беги! Запустить!"

К тому же вагон меня затащил милиционер. Вагон был упакован, и мы двинулись в путь. Мать была слишком измотана, чтобы стоять, и соскользнула на платформу. Мы оба заставили ее встать. «Вы социалистка», - проповедовал ей Авраам. «Если вы хотите, чтобы мы спасли себя, вы должны прыгнуть вместе с нами».

Она закинула голову во все стороны. Я не мог вынести ее вида. Что происходило в вагоне? Каково было стоять там? Не мне это описывать. Все, что я видел в тот адский момент, был Авраам, наш герой. Я благословил его энергию и подчинился его силе. Я повиновался всему, что он сказал.

Когда повозка свернула за угол, Авраам спрыгнул. Я помог маме. Ее тело было похоже на мешок. Я практически бросил ее. Со всех сторон из вагонов прыгали люди. Пришли немцы. Еврейская полиция преследовала убегающих. Я уже был на земле. Мы тащили маму за собой, когда полицейский схватил меня за воротник. Я оказался в другом вагоне. Я лежал на платформе, трясясь в такт колесам. Я попрощался со своей жизнью. Вскоре я был на месте сбора. Что Данте, великий поэт, знал об аде? Если бы он был здесь, он не нашел бы слова так легко.

Танец белоснежных лиц. Разделяющие небо крики, стоны, рыдания, детский вой. Гробовая тишина и головокружение. Внезапно в слепоте, охватившей меня, я увидел лицо моего брата среди сотен лиц. Он звал меня, протискиваясь своим худым телом, ища меня. "Я здесь!" Хотела позвонить, но не смогла. Кто-то задел его рукой, и он упал. Я больше не мог его видеть. Был ли это он, или у меня были галлюцинации? Он сбежал с матерью, не так ли? Но потом он снова всплыл. Я перепрыгивал через тела и конечности; Однажды я уже так летал над человеческими телами - в небольшом лесу, во время побега из Лодзи. Моя сила вернулась ко мне. Я звонил ему. Он перезвонил. В тот момент я увидел его, а в следующий - нет. Он начал подавать мне знаки следовать за ним. Я не знал, куда идти, но я верил в него. Он был моим маленьким Богом Жизни. Пока я видел его, я видел надежду. Он подошел к запертой двери и заговорил с полицейским, указывая на меня. Толпа, как волны, несла меня вперед и отталкивала назад. Я посмотрел на лицо полицейского. У него были добрые глаза. Когда я наконец добрался до него, он приоткрыл дверь, что-то прошептал одному из полицейских снаружи и вытолкнул сначала Авраама, затем меня. Полицейский на улице побежал, и мы последовали за ним. Он вошел в подвал, где многие люди устремились к разбитому окну. Он вытолкнул нас через это, и мы оказались на улице. Я спросил Авраама о матери.

"Все под контролем!" - ответил мой гордый спаситель.

Улица была пуста, оцеплена немцами и еврейской полицией. Мы двинулись во дворы, перелезая через крыши сараев и уборных. Все казалось легким. Дойдя до той стороны, где «действие» закончилось, мы решили отдохнуть и вошли в пустую комнату. Кровати были в беспорядке, рюкзаки все еще лежали на столе. Авраам нашел немного сухой петрушки, и мы поделились ею. Он в шутку сказал: « *Шишка*завтракает, когда хочет *...*простой геттоник должен есть, когда он есть ...»

«Ты рисковал своей жизнью ради меня», - сказал я ему.

Он гордо пожал плечами, как будто это был пустяк, не заслуживающий упоминания. Он сказал мне, что оставил маму у Саймона и побежал к месту собрания. Он держался за полицейских. Некоторые облизывали его и хотели заставить сесть в транспорт. Он продолжал спрашивать их, знают ли они отца, и один из них поймал себя на том, что спросил, был ли отец внутри. Поэтому он сказал ему, что немцы увезли его давным-давно и что его брат находится внутри. «Я сказал ему:« Мистер, война не будет длиться вечно ». И он впустил меня к вам ». Авраам заключил.

Мы решили не рисковать и вернуться к маме после шести часов. Мы закрыли дверь и окно и бросились на кровати, чтобы вздремнуть. Перед тем как заснуть, я подумал о героизме Авраама. Был ли это настоящий героизм или только смелость ребенка, который играл с огнем, не осознавая опасности? Я философствовал, что истинный героизм означает осознавать опасность, смотреть ей прямо в лицо - и все же действовать. Как дешево с моей стороны. Я хотел преуменьшить величие деяния Авраама, чтобы не испытывать к нему такой благодарности. Одно я знаю: я не герой. У меня бывают моменты, когда я смелее, чем обычно, а иногда - менее. Это все.

Мы проснулись очень поздно и подумали, что мама, наверное, уже дома. В тот момент, когда мы вошли в нашу комнату, Мать налетела на нас, как птица, нашедшая своих потерянных младенцев. Мы смеялись и плакали. Мать сказала нам, что мать Саймона умерла прошлой ночью. «Удачливая женщина, - добавила мама, - она ​​умерла в своей постели». Среди ночи меня разбудили рыдания матери. Я спросил ее, что случилось, и она сказала, что устала бегать.

Мать, моя Мудрая Знающая Печаль, ты, даровавшая мне жизнь, - скажи, объясни мне: что внутри тебя, во мне, в растерянных и измученных людях снаружи - что побуждает волков преследовать нас? Что есть в их крови, что заставляет ее кипеть против нас? Уместно ли здесь банальность, банальный ответ о Христе? Разве здесь не звучит страннее, чем где-либо еще? Иногда мне приходит в голову, что они мучают нас не потому, что мы убили Христа, а потому, что мы дали им Христа и потому что мы слишком много напоминаем им о Нем. Волки, преследующие нас сейчас, отвергли Христа. Возможно, этим они утолили желание всех христиан. Уничтожая нас, они убивают его. Убивая его, они ненавидят себя. Ненавидя себя, они убивают нас. Убивая нас, они убивают себя. Самоубийство, выраженное в убийстве.

Мама, как сильно они должны ненавидеть себя, если способны так нас мучить? Мы не лучше других, не святее других, не более похожи на Христа, чем другие. Только превратив нас в жертву, они поднимают нас над собой. И, видя, что мы выросли, они ненавидят нас еще больше, они еще больше сжигают нас, они еще больше наказывают себя через нас. . . и более . . . и более.. .

Как запутаны дороги, мама! Через какое из них приходит ненависть? Было ли это замешано в глине, из которой был создан человек? Может быть, он присутствует в дыхании Бога, которого я ищу? Куда отсюда ведут дороги, моя уставшая, моя знающая Мать, моя Печаль?

Сегодня шестой день *Сперре.*Прошлой ночью я снова был у проволочного забора и увидел Рэйчел. Ночью мы спали в одежде. Люди говорили, что вчера квота в три тысячи голов не была достигнута и что нас могут забрать с постели на ночь. Так что мы тоже лишены ночей. Этим утром на рассвете мама разбудила нас, и мы пошли к Пудельмахерам, где провели весь день. Вернувшись, мы узнали, что сегодня у нас во дворе тихо. Более того, меня ждал сюрприз. Там были Рэйчел и ее отец. Я подбежал к ней, желая обнять ее, но что-то удерживало меня.

Ее отец спросил меня о Цукерманах. Я сказал ему, что вообще не видел их во время *Сперре*и что их горничная была застрелена. Он сказал, что он и Рэйчел пришли сюда, чтобы спрятаться. «Акция» у них во дворе еще не состоялась, и они решили разойтись; Шламек с матерью ушли куда-то спрятаться.

Пока он говорил, Рэйчел не сводила с меня глаз. Постепенно барьер между нами исчез. Я протянул к ней руки, сжимая ее пальцы своими, пока знакомое тепло не овладело мной. Я попросил их ночевать в нашей комнате, а днем ​​прятаться в одном из погребов или на чердаке. В любом случае вероятность того, что еще одна «акция» у нас на дворе, была маловероятна. Когда мы проезжали хижину Берковича, Рахиль спросила меня о нем. Я сказал ей, что в первый день похитили его жену и детей и с тех пор я его не видел. Я также сказал ей, что Шейн Песселе и Шалом уехали с повозкой, а также что Человек-Ириска исчез со двора после того, как увезли его детей.

Рэйчел пошла со мной за водой, затем мы вышли на улицу. Было много чего сказать, много сказать, но мы оба молчали. Тогда я сказал ей: «Рэйчел, я люблю тебя. . . Что бы ни случилось, помни об этом ». Затем я задал ей такой же вопрос: «Когда у нас будет время жить и любить друг друга?»

«Время пришло, - тихо сказала она.

Она рассказала мне, что их сосед запирал их в своей комнате каждый день в течение пяти дней. Вчера они были уверены, что настал решающий момент, и радовались - лишь бы это закончилось их ожиданием. Незадолго до того, как сосед пришел запереть их, у отца Рэйчел случился приступ страха, и он убежал, чтобы спрятаться в другом месте. Правда в том, что он выглядит ужасно, и я не сомневаюсь, что он бы не прошел отбор. Но, видимо, его уход из дома лишил других ног землю. Рэйчел сказала, что ее мать не может его простить. Я чувствую, что Рэйчел тоже, хотя она так сочувственно говорит о нем, обижается на него. Ночью Израиль, который ходит в дома наших товарищей, чтобы посмотреть, кто остался, навещал их. Он посоветовал им расстаться. Так, по крайней мере, оставался шанс, что семья не будет полностью уничтожена.

Хорошо даже грустить с Рэйчел. Мы стояли под вишневым деревом, где застрелили женщину. «Вишневого дерева больше нет», - сказал я, показывая Рэйчел засохшие ветви. Ночное небо будто сидело на дереве, как черный стервятник. Мы сели на два камня и держались друг за друга.

«В следующем году, - сказала Рэйчел, - на дереве снова будут вишни. К тому времени мы будем освобождены ». Я собирался ответить своим пессимизмом, но она прикрыла мне рот рукой: белой повязкой на ране. Она смеялась. Никогда еще ее смех не был таким тонким, не легким и беззаботным, а горячим и насыщенным. Это увлекло меня.

К своему собственному удивлению, я начал рассказывать ей историю: когда-то вишни были белыми. Но они стали красными от крови двух влюбленных, таких как Ромео и Джульетта. Двое влюбленных были соседями, но их дома были разделены стеной из колючей проволоки. Они оба хотели быть вместе, но провода не позволяли. Возле забора росло вишневое дерево, и влюбленные собирались под его ветвями, чтобы посмотреть друг на друга через провода. Они были благодарны забору за то, что он позволил их взглядам и словам пройти мимо, и возмущались за то, что запретили их объятия. Они пытались его разрушить, но забор оказался сильнее их. Они пытались перелезть через него, но он их сбил. Поэтому они решили победить его, умирая вместе. Они так сильно прижались к колючей проволоке, что проволока прорезала им вены и пронзила сердца. Их кровь, смешанная вместе, капала на цветки вишневого дерева, и с тех пор цвет вишни стал красным.

Рэйчел рассказ не понравился. Она сказала: «Это слишком грустно и не соответствует вкусу вишни. У меня есть другая история: первый мужчина и первая женщина пришли в этот мир на Севере, где очень холодно; где дуют сильные ветры, и все темно и пусто. Первый мужчина и первая женщина должны были быть сильными и упрямыми, чтобы выжить. Но силы и упорства не хватило. Им требовалось тепло, чтобы преодолевать стихии. Итак, первый мужчина и первая женщина прижались друг к другу и поняли, что от этого им стало тепло. Они прижались все крепче и крепче. Потом они вместе легли на лед. Они стали одним целым, создав огонь. Огонь растопил лед и обнажил землю. Из земли выросло дерево. Дерево жизни. Он разветвлялся во все стороны и, как кисть, рисовал небо над головами двух людей. Небо было похоже на зеркало, в котором отражался огонь. Так и взошло солнце. Потом дерево начало цвести, и из цветочных стаканов вылетели новорожденные пчелы, бабочки и птицы. Затем цветы созрели и превратились в плоды, в вишню. Они были красными, потому что были отражением огня на земле и солнца в небе. Первая женщина сорвала вишню, откусила ее и дала попробовать первому мужчине. Они оба покраснели и поняли, что пора привести в этот мир ребенка ».

Мы больше не смеялись. Беззаботность между нами исчезла. Мы держали друг друга за руки. Они были горячими. «Наше время пришло», - слова Рэйчел звучали в моих ушах. Я провел ее в подвал Цукермана и запер дверь на засов. Внутри было кромешной тьмы. Я нашел руку Рэйчел и сказал: «Сейчас».

Земля была мягкой под нашими ногами. Песок и опилки. Мы разделись. Разлучившись на мгновение, мы вздрогнули и рухнули на землю. Свежее прохладное прикосновение кожи к коже. Вскоре песок под нами стал теплым. Подвал был полон губ, бьющихся сердец и пульсирующих вен. Мы были двумя влюбленными, которые обнялись сквозь стену из колючей проволоки. Мы были Адамом и Евой в холодной стране Севера. Нас было двое и один. Один и многие. С нами были миллионы и миллионы людей, животных и птиц. Был гром и молния. Яркость и тьма. Смех и слезы. Мы были заключены в оболочку кроваво-красной вишни. Между нами было ядро, семя; суть всего, окутанная тайной, которую мы хотели разгадать голодом и жаждой, нежностью и жестокостью. Мне казалось, что мы расщепляем атом бытия, достигая безмолвия смерти и начала жизни.

♦ ♦ ♦

В первый день *Сперре*, когда «действие» все еще находилось в руках евреев, Самуэль Цукерман решил перебраться на другую сторону гетто. Сначала он пошел один, чтобы найти укрытие. Это была непростая задача. Он никак не мог заставить себя постучать в двери своих бывших друзей- *шишек.*Некоторые из его сионистских друзей находились под защитой Румковского, а остальные были так же беспомощны, как и он. Единственным безопасным местом для него и его семьи, казалось, был маленький домик мисс Сабинки. В нем был подвал, который можно было легко замаскировать. Кроме того, дом находился в Марысине, где проживали высокопоставленные лица, а это означало, что «акции» не будут проводиться там с особой строгостью. Он доверил Юнию. Она знала о Сабинке, и он хотел сначала убедить ее. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Юния, прошлое больше не имеет значения».

«Пока мы живем, все имеет значение», - ответила она. «Я не против. Это Мать. Ты когда-нибудь ей говорил?

"Времени не было . . . »

«Когда будет время?»

«Разве вы не видите, что мы на грани. . . »

«Я не буду просить маму спрятаться там».

"Вы будете. Мы все спрячемся там ».

Райзель тоже столкнулся с серьезной дилеммой. Ей не хотелось оставаться одной в эти роковые дни. Правда, она больше не имела никакого отношения к Цукерманам и жила одна в одной из комнат дома; однако сам факт того, что столько лет прожила с людьми, был обязательным в такие времена, особенно с тех пор, как ее сестры и их дети уехали с зимним «действием», и она осталась одна в мире. С другой стороны, в такое время лучше было побыть одному и укрыться одному. Наконец, она объявила о своем решении Сэмюэлю: «Я не уеду с этого двора. Вот моя судьба ». И она позволила им уйти.

Мисс Сабинка не знала, что в ее подвал поселились посетители. У Самуэля был ключ от ее двери, и каждое утро она уходила в офис *зондеркоманды,*где работала. Там она чувствовала себя в большей безопасности. Она пришла домой только чтобы поспать.

В погребе было ветрено и ветрено. Под лестницей стояло несколько пустых ящиков, на которых семья провела первую ночь. Они сели рядом, чтобы согреться. На рассвете они услышали, как Сабинка встала, потом наблюдали, как она вышла из дома, расплетая белокурые косы. Матильда тоже проследила за ней глазами. Ни Самуилу, ни Джунии не пришлось говорить ей, где они были. Она видела, как Сэмюэл вынул ключ из кармана. Она чувствовала себя оскорбленной, униженной, растоптанной - и все же безразличной. Что-то внутри нее лопнуло и упало, как снаряд. Ее душой было фортепьяно, раздавленное молотком. Музыка кончилась навсегда, белые клавиши были разбросаны по сторонам, аккорды сломаны, стены рухнули. Это не причинило ей боли и не беспокоило.

Как только Сабинка скрылась из виду, Самуил предложил дочерям подняться с ним наверх и помочь ему найти одеяла. Он провел их в спальню. Там стояла кровать, на которой он часами проводил с Сабинкой. Для него это ничего не значило. Он открыл чемодан, набитый одеялами, платьями, мехами и кусками дорогих материалов. Из всего этого Юния вытащила белое платье медсестры с повязкой Красного Креста. «Раньше она работала в приюте», - объяснил Сэмюэл, позволяя Джунии примерить платье с повязкой на руку. Они услышали выстрел и далекие крики. "Они идут!" - вскричал он. Они схватили несколько одеял и побежали в подвал.

Они сидели часами, затаив дыхание. Шум приблизился, затем стих. Матильда растянулась на одеяле, расстеленном на земле. Рядом с ней сидела молчаливая Белла. Сэмюэл и Джуния опустились на колени у маленького отверстия, глядя наружу. Сэмюэл почувствовал на себе взгляд Матильды. Почему они так сильно обидели друг друга? Почему между ними было так, а не иначе? Снаружи бушевал ураган. Мир вот-вот рухнет, и вот они сели все четверо, заткнувшись, как в бочке, ударяясь друг о друга, подходя ближе, разваливаясь - голые и одни.

Теперь, когда они зашли так далеко, есть ли смысл уладить дела? Юния была права. Это было так. Было важно, чтобы они внутри трясущейся бочки, которая могла утонуть в любой момент, нашли какую-то нить, чтобы держаться вместе. Он знал, что в основном Матильда была той самой женщиной, которая когда-то с таким энтузиазмом отдавалась его ласкам, от которой у него было двое детей; что это та самая женщина, у которой когда-то было такое благородство сердца и такое таинственное обаяние. Давным-давно она своей музыкой открыла все, что было в нем заморожено. Сколько он заставил ее страдать? Нет, он никогда по-настоящему ее не любил. Он никогда не знал, что такое любовь к женщине. Только теперь, в своей физической немужественности, он почувствовал значение этого. Но как только он думал обо всем этом, он осознал, что дорога обратно к Матильде закрыта. Каждая связь была подобна дереву, которое требовало внимания и заботы. Срубленный по безрассудству сук больше никогда не вырастет. Матильда и он обнимали голый ствол: отчуждение. Между ними уже невозможно было создать язык. Он хотел быть способным предложить ей немного нежности в их одиночестве, приветствовать ее в их общем отчуждении. Если бы только он мог заставить себя взглянуть на нее так, как он смотрел на своих детей в их молчании. Но и этого ему не удалось.

Пять дней *Сперре*они просидели в подвале. Несколько раз спецназовцы заходили в район, но дом Сабинки не обыскивали. Юния стало нетерпеливым. После каждого действия она ходила по подвалу, не в силах расслабиться. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой подавленной, такой беспомощной. «Это было неправдой, неправильно сидеть здесь», - подумала она. Все внутри нее восстало, вынудило ее выйти наружу, назло тем, кто внушал ей этот страх. Нельзя этого допустить, подумала она, надо что-то делать ... делать ... делать ...

Фактически, они могли бы покинуть свое убежище каждый вечер, но Самуил запретил это. Он не хотел, чтобы ни Сабинка, ни ее соседи узнали об их присутствии в доме. Но их запасы еды были близки к концу, и в ночь после пятого дня Юния выбралась на улицу. Прошло много времени, прежде чем она вернулась с несколькими репами, которые нашла в заброшенной комнате. Она рассказала им, что встречалась со своими товарищами и пыталась уговорить их сделать что-нибудь вместе. «Они смеялись надо мной», - бушевала она. «Все, что у них на уме, - это как лучше спрятаться».

Самуэль улыбнулся. «Это еврейские войны, Юния. Евреи борются за каждый сантиметр жизни ».

Оставшись наедине с собой, Джунии пришлось признать, что в глубине души она также опасалась за свою жизнь, как и ее товарищи. Разве она не испытывала благодарности каждый день по окончании «акции»? Разве она не была храброй ночью, а не днем? А когда она заснула в темном подвале, что ей приснилось? Она мечтала о свободе, проститься с родителями через окно поезда. Пора было вылетать из гнезда. Она была в Татрах, радуясь ощущению свободных штормов, спускающихся с горных вершин. Она увидела альпинистов в костюмах и прислушалась к звуку флейт и волынки. Она прыгала с одной скалы на другую по оживленным горным ручьям. Водопады пенились и смеялись каскадным смехом. Да, она боялась смерти, она хотела жить. Ей было восемнадцать лет, и ее тело и душа взывали к тому, чтобы стать старше, расти. . .

На шестой день *Сперре*им больше нечего было есть, и, сидя в ловушке в одном и том же месте, их голод разрастался. Юния снова решила выйти на улицу. В целях безопасности она надела платье Сабинки с повязкой Красного Креста. Она направилась к окрестным полям, где надеялась выкопать что-нибудь у *дзялкасов.*Было раннее утро. Воздух был свежим. Вокруг было тихо. Солнце окаймляло крыши Марысина. Пасторальная красота. В одиночестве при дневном свете, посреди поля, она чувствовала себя странно неуютно. Она опустилась на четвереньки, исследуя землю на предмет следов свеклы или редиса. Она очень спешила и сначала ничего не увидела. Она взяла палку и начала копать ею. Наконец, она обнаружила несколько стеблей свеклы, засохших и вытоптанных. Она бросила их в сумку и помчалась обратно в дом.

"Стой!" она услышала позади себя крик. В ее сторону бежала зеленая форма. Это был высокий широкоплечий великан с серыми бровями и седыми усами. " *Wohin*?" - спросил он, подходя ближе. Его взгляд был не злым, а скорее дружелюбным. Был ли он пьян или был опьянен красотой утра?

«Я медсестра», - смело сказала она.

«Это я вижу», - неторопливо ответил он, сказав ей, что он также мог видеть, что она слонялась по полю, в то время как ее коллеги так усердно работали с детьми. Он заметил сумку в ее руке и спросил: *«Was ist denrt das?»*

Она открыла сумку и показала ему содержимое. Он взял сумку и бросил далеко в поле. Он позволил ей идти впереди себя. Недалеко от тюрьмы стояло несколько пустых *вагончиков.*Здесь также были собраны немцы, еврейская полиция и группа врачей и медсестер. Ряд *вагонов*начал двигаться, и гигантский солдат помог Джунии забраться на последний. Медленно колеса повернули в сторону центральной части гетто. Юния заметила, что кто-то смотрит на нее сквозь щели между досками. Она узнала доктора Левина. Она отвернулась. Ей не хотелось ни видеть хромого, ни смотреть в землю. Она высоко вскинула голову. Небо было молочным, солнышко - теплой буханкой хлеба. Она была очень напугана.

Хромой доктор крикнул ей приглушенным голосом. Вероятно, он тоже узнал ее. Возможно, ей стоит спросить его, танцевали ли они когда-нибудь вместе на новогоднем балу у нее дома. Она не могла вспомнить. Ей в голову пришла странная картина: хромая доктор и она сама танцуют здесь, в пустой повозке, на ее трясущейся платформе. Она заметила огромный немецкий подход Левина. Казалось, он смотрел на него с состраданием. Он предложил ему забраться в повозку, чтобы ему было удобнее болтать с « *Фраулейном».*В следующий момент она увидела рядом с собой Левайна.

"Пойманный?" он спросил.

"Нет да . - пробормотала она. «Он сказал, что им нужны медсестры. Я не медсестра.

Фургоны увеличили скорость, разветвляясь на улицы. Начались шум, свист и причитания. Левин сказал Джунии: «Я все время прятался, чтобы мне не пришлось участвовать. . . Но ночью они забрали меня с постели ». Он наклонился к ней: «Делай, что они тебя просят, и при первой же возможности заблудись».

Повозка остановилась. Его задняя стенка была незапертой. Огромный немец помог Юнии спрыгнуть, но он оттолкнул Левина, спокойно сказав ему: «Оставайся там». Он спросил Джунию, знает ли она, что делать. Она кивнула. Он поместил ее посреди ворот, а затем вошел во двор. Из рядов во дворе мимо нее стали проходить осужденные матери с младенцами, одинокие женщины, мужчины и дети. Появился огромный немец с двумя младенцами, завернутыми в длинные подушки. Он бросил их в руки Юнии. Какое-то время она стояла с ними, ошеломленная. Другой немец толкнул ее прикладом пистолета к фургону, где находился Левин. *«Das kommt здесь!»*Он указал на Левина и крикнул ему: «Помогите, герр доктор». Михал взял младенцев из рук Юнии. Их дрожащие пальцы встречались каждый раз, когда Джуния протягивала ему ребенка.

Хотя путь от ворот до фургона был коротким, он казался очень длинным, и Джуния вскоре устала. Пот начал струиться по ее лбу, короткие черные волосы прилипли к лицу; ее руки стали скользкими. Она прижимала младенцев к своей груди, пытаясь не дать им выскользнуть из ее рук, прижимая их крепче, чувствуя их тела на своих. Становилось все труднее оторвать от себя этих крохотных существ и передать Михалу. Ей казалось, что по пути от ворот к фургону она учится быть матерью. Ее руки были колыбелью. Ее лицо и шея стали чувствительны к прикосновению крошечных рук, к крошечным пальцам, которые скользили в ее рот, обвивали ее зубы и становились влажными от ее слюны. Младенцы, казалось, сосали ее глаза, большинство из которых были небесно-голубыми, одни ясными, другие плакали. Красные ротики нетерпеливо повернулись к ее белому платью, ища грудь.

Каждый ребенок становился ее, и каждый раз, когда она передавала узелок Михалу, ее боль усиливалась. Она посмотрела на бледного хромого доктора глазами коровы, у которой оторвали теленка, глазами суки, у которой отняли щенка. И хромой доктор уже не мог оторвать от нее глаз. Теперь не только дрожь их рук, но и трепет взглядов привязывали их друг к другу.

Вагончик для младенцев и маленьких детей был полон. Солдат запер ее. Из двора вышел огромный немец. Он вытер свои огромные усы и сказал Юнии: «Ты будешь сопровождать повозку, прилежный *Фраулейн».*

Она должна была идти рядом с повозкой, которая двигалась очень медленно, потому что с лошадью что-то не так. В тот момент, когда кнут коснулся животного, оно встало на задние лапы. Юния взглянула на повозку. Он казался пустым. Маленькие дети лежали или сидели на платформе, Михал среди них. Несколько старших детей плакали. Некоторые сидели неподвижно, ошеломленные. Крошечные, раскачиваемые трясущейся повозкой, спали в своих пеленальных подушках. Юния держалась за доски одной рукой. Люди выпрыгивали из фургона, следовавшего за ними, и огромный немец повернул в том направлении. Со всех сторон доносились выстрелы и судорожные вопли.

Сквозь щели между досками фургона Юния увидела полоску лица Михала и его глаз. Она вгляделась в них. «Я не понимаю», - сказала она ему взглядом. «Почему я дрожу? Почему я так трепещу? Это конец всему? Но это только начало. Это утро. Как здесь смерть? Как я могу так бояться этого, если все внутри меня так жадно хвалит жизнь? Что такое Смерть, доктор, скажите мне. . . научи меня понимать. . … Странно было видеть в мужчине только его глаза, такие глубокие, горячие, знающие глаза. Когда она шла, глядя на нее, она чувствовала, что растет; становясь все старше и старше, мудрее и мудрее. Она сделала гигантский скачок в своей жизни. Их глаза теперь были на одном уровне. Она крепче прижалась к повозке и приблизила свое лицо к нему.

«Меня зовут Михал Левин», - представился он, как будто они только что познакомились.

«Михал!»

«Меня почти некому называть этим именем. . . Помните: Михал ». Это были единственные слова, которыми они обменивались по пути. Когда они подходили к месту собрания, он быстро прошептал ей: «Как только мы повернем за угол, я передам тебе детей ... столько, сколько смогу».

Они подошли к Lingerie Resort, где Юния работала учителем гимнастики в «Школе для одаренных детей». Здесь они были в самом разгаре «акции», а перед фабрикой стояла полупогруженная повозка. Из подвала фабрики один за другим появились дети, за ними профессор Хагер с женой. Двое стариков сели в повозку. Юния бросилась к ним. Солдат схватил ее за руку, но она объяснила ему, что должна помочь детям, и показала ему повязку Красного Креста. Он отпустил ее, и она начала звать старую пару и подавать знаки. Посреди многолюдной узкой улицы царила неразбериха. Прибывшие со всех сторон вагоны остановились. Джуния заметила, что мисс Диаманд забралась в фургон. Двое полицейских-евреев отнесли ее туда, как деревянную куклу.

Мимо Юнии пробежали женщина и ее маленькая девочка. Светло-коричневый пучок на затылке женщины разваливался, и длинные пряди волос ниспадали ей до талии. Немец остановил ее и попытался оторвать от нее ребенка. «Ты свободна, прекрасная леди», - сказал он ей.

Женщина хотела забраться в повозку с дочкой, но капризный немец не позволил и попытался вырвать ребенка из ее рук. Мать и дочь крепко держались друг за друга. Наконец солдату удалось оторвать ребенка от матери. Он передал его еврейскому полицейскому. Женщина с длинными волосами бросилась к ногам солдата. «Пристрелите меня, пожалуйста. . . » - хрипло крикнула она. Немец поднял ее за густые локоны волос и прижал дуло револьвера к ее сердцу. Раздался выстрел. Женщина рухнула между фургонами.

Юния цеплялась за еврейского полицейского, который взволнованно стоял и смотрел на происходящее. «Сделай мне одолжение», - прошептала она. «Я вас умоляю. . . Вот ... на фургоне. . . учителя. Давай, никто не смотрит ». Она потянула его за рукав. Ошеломленный полицейский смотрел на фургон и не слышал ни слова из того, что она ему говорила. «Профессор Хагер! Мисс Диаманд! Она позвала, подталкивая полицейского к фургону, который все еще был открыт.

"Ваша бабушка?" милиционер наконец пришел в себя.

«Да, бабушка. Торопиться!"

Вместе они вынесли профессора Хагера и его жену из фургона.

Старики, взявшись за руки, поспешили обратно в здание фабрики. Оттуда уходил еще один немец. Он разорвал старикам руки и силой повел их к другому фургону. Юния этого не видела. Она была занята пиливанием полицейского, чтобы тот помог ей спасти мисс Диаманд. Полицейский предложил: «В таком случае было бы лучше спасти детей».

Да, спасите детей. Но мисс Диаманд тоже нужно было спасти. Юния запинаясь, пробормотала: «И старуха ... я тебя умоляю ...»

Полицейский уступил: «Скажи ей, чтобы она подошла ближе к спине».

Юния оббежала фургон и заглянула в него через щель в досках. Она позвала мисс Диаманд, и старуха повернула седую голову в ее сторону. Джуния сунула руку внутрь и помахала. - Мисс Диаманд, - поспешно прошептала она. «Подойдите ближе к краю. .. полицейский.. . Вы видите его? Он поможет ... »

Учитель начал что-то шептать детям в фургоне, и все они собрались у края фургона. Дети начали прыгать, разлетаясь во все стороны. За ними последовали выстрелы. Солдат с готовым к выстрелу ружьем сел возле фургона. Еврейский полицейский исчез. Джуния увидела, как мисс Диаманд протянула руки к детям, которых загнали и загнали обратно в фургон.

Немцы и еврейская полиция восстановили порядок. Закрепленные на болтах фургоны тронулись, в том числе и фургон с мисс Диаманд. Сквозь щели между досками Джуния увидела, как вздымалась белая прядь волос старухи. Сиреневый платок на шее слегка колыхался, колыхаясь ... размахивая. . .

Юния помчалась к повозке, которую она ехала. Скоро он будет приближаться к углу, где она должна была помочь Левайну. Она увидела его докторскую фуражку. Он стоял на платформе и искал ее. "Быстро!" - крикнул он, как только увидел ее. Как только они подошли к углу, он начал отдавать ей детей. Это было благоприятное место. Рядом с несколькими домами росли кусты. Она спрятала детей между кустами, приказав им бежать во дворы.

Один маленький мальчик отказался выходить из фургона: «Я хочу своего младшего брата!» - крикнул он, указывая на младенца на пеленальной подушке. Тут же у фургона появился гигантский немец. Он положил руку Джунии на плечо и спросил, что происходит. Она улыбнулась ему, не в силах вымолвить ни слова изо рта. Он взглянул на свои часы. «Можете идти домой, прилежная *фройляйн, -*сказал он, *- Mahlzeit!»*Затем он повернулся к Левайну в фургоне и кивнул ему. «Вы, конечно, продолжите, доктор, не так ли?» Затем он добавил: «Вы все равно калека». Он попросил Левайна передать ему фуражку от врача и бросил ее, как диск, в кусты.

Джуния вошла в ворота и помчалась через задний двор по маршруту фургонов. Вскоре она вернулась на улицу. Она заметила, что огромный немец больше не сопровождает повозку. Она прыгнула к нему, окликнув Левина, который сидел на платформе и смотрел сквозь щели.

«Меня зовут Михал, ты помнишь?» - спросил он, как только заметил ее.

"Прыжок!" воскликнула она.

Он покачал головой: «Я видел рождение очень многих детей. Теперь я хочу увидеть, как умирают дети ».

Она не слышала его, вне себя от напряжения. «Прыгай, трус! Не отдавай им свою жизнь. .. Михал! » При звуке своего имени он вздрогнул. Волосы на его небритых щеках встали дыбом. Ручка на его худой шее двигалась вверх и вниз. Из-за мучений они больше не могли видеться. Фургон двинулся, а Юния продолжала бежать рядом с ним. Она больше не знала, что с ней происходит. Она рыдала; Она предупредила Михала: «Я залезу к тебе на повозку, если ты не прыгнешь!»

Когда фургон свернул на последнюю улицу перед местом собрания, Левин спрыгнул. Они вбежали в небольшой сад и повалились на землю у забора. Они лежали близко друг к другу, но не видели друг друга. Их глаза были открыты, но они были ослеплены. Они тяжело дышали, по лицам струился пот. Снаружи, по ту сторону забора, колеса перестали катиться. Был полдень, перерыв на обед. Мир замолчал. Тишина привела Юнию и Михала в чувство. Они по-прежнему не осмеливались пошевелиться, но их дыхание стало спокойнее. Они прислушивались к тишине, вопросительно, испытующе глядя друг на друга.

Наконец они встали и начали бродить по задним дворам гетто. Каждый задний двор был колеблющимся морем печали, плач одного переходил в другой. Джуния и Михал позволили волнам уносить себя грустными волнами, не подозревая, что они делают. Вместе с группой милиционеров они перешли мост. Они пошли на расстоянии друг от друга, не обменявшись ни словом. Когда они проезжали виселицу на базаре, Михал странно пробормотал: «Это я здесь висю ... Я ушел с мамой. . . с детьми. Я иду сюда с тобой ... »

Она не поняла, что он имел в виду, но от его слов у нее поплыли глаза. «Когда-то я умел только смеяться. . . » она ответила ему.

Он привел ее в свою квартиру. Это было в пугающем беспорядке. Кровати были сломаны, одежда разбросана. Вдоль стен лежали картины. Один из них, незаконченный, казался портретом Матильды. Стол был завален посудой и остатками овощей. Михал подошел к шкафу и достал четверть буханки хлеба. Разломил пополам: «Материнский хлебный паек». Они сидели за грязным столом, ели хлеб, пили холодную воду из одной кружки.

«Я хочу, чтобы ты был моим мужем», - внезапно сказала Юния с кусочком хлеба во рту.

«Я хочу, чтобы ты была моей женой», - ответил он с кусочком хлеба во рту. В квартире еще оставалась репа. Они взяли сумку, наполнили ее репой и остальными остатками еды и поехали в дом мисс Сабинки в Марысин.

Подвал Сабинки был пуст. Юния и Михал побежали обратно через мост во двор на улице Хоккеля. В доме Цукерманов никого не было. Вскоре «акция» возобновилась, и Михал и Юния улеглись на балконе. Там они пролежали до шести часов. Затем они бросились к месту сбора. Михал был знаком со многими полицейскими и пожарными. Никто из них не знал судьбы Цукерманов. Во всяком случае, большая часть дневного транспорта уже уехала. Перед тюрьмой собралась огромная масса людей, отказывающихся уходить. Пробираясь сквозь толпу, они увидели Сэмюэля и Беллу. Узнать их было непросто. Они были покрыты грязью и выглядели дико. Самуэль едва мог говорить.

"Мать . . . » он сказал. «Я думал, она все еще внутри».

В тот же вечер было объявлено, что *Сперре*закончился.

Book Three 165

Глава одиннадцатая

Михал Левин Гетто Лодзь, сентябрь 1942 г.

Дорогая Мира:

Он становится все более темным и туманным. Представления о времени и пространстве стали размытыми. Мы тоскуем по прошлому, мечтаем о будущем. На самом деле нас обоих отрезала колючая проволока, как предложение за скобкой. Время между скобками постоянно и не меняется. Пространство - это бесконечность и одна точка. Что такое гетто, что снаружи?

Я с женщиной. Ее зовут Юния. Мы не являемся ни официально мужем и женой, ни де-факто. Я долгое время был импотентом, а она до сих пор девственница. Достаточно того, что я знаю, что она моя судьба.

Ангел смерти стал моим спутником. Он представляется мне оптимистом, старым знакомым. «Не пытайся обмануть меня», - говорю я ему. «Ты конец всему. Я обнаружил вас как со своим скальпелем, так и без него. Он говорит мне, что я ошибаюсь, что он продолжение, другая, бесконечная часть круга, в котором жизнь является лишь ограниченным фрагментом. Он просит меня вспомнить свое «Универсальное Я» и почувствовать себя им, чтобы я не злился на него так сильно. Я говорю ему: «Я хочу снова увидеть маму, Надю и маленькую Мину, ребенка Нади».

Он говорит: «Вы их видите».

Я говорю: «Я хочу прикоснуться к маленькой Мине, обнять ее, услышать ее смех, посмотреть, как она растет».

«Что в этом такого важного?» он спрашивает.

Я говорю ему: «Я люблю ее».

Он смеется: «Идиот. . . В жизни нет любви, особенно для тех, у кого разросшийся мозг и сморщенное сердце. Ваша болтовня о любви - не что иное, как детище вашего эгоизма. Вы философствуете о человечестве, потому что не можете быть рядом с людьми ».

"Это ложь!" Я кричу.

"Это правда!" он хохочет.

«Сколько любви нужно, чтобы назвать это любовью?»

«Слишком много для тебя. Вы ограничены своим телом, своим умом, своей привязанностью к своему существу. И любовь, которая есть свобода, истекает в пределах этих ограничений, как животное в клетке. Поэтому вы познаете любовь только тогда, когда захотите переступить порог моего царства. Ваш бесконечный «Универсальный Г» будет знать это ». Ангел смерти, мой товарищ, смеется надо мной. Он дразнит меня и искушает. Мои ночи черные от предчувствия.

Зелень со дворов исчезла. Серая бездна умножает свои силы. Когда на мгновение появляется солнце, люди приветствуют его с порога, их *клепсидры*улыбаются. Кое-где маленькие девочки, которые сбежали из *Сперре,*разыгрывают гальку *.*Кто будет победителем: жизнь или смерть? Мальчики играют в прятки. Смогут ли они спрятаться от Судьбы? Всюду за мной следуют катафалки, набитые моими бывшими пациентами.

Отличные часы для гетто! Благословенные мгновения и секунды, отсчитывающие победу: мы все еще здесь! Мы еще живы! Мы дорожим этими часами, как если бы каждое из них было драгоценным подарком. Мои еще живые пациенты сильнее меня, их врача; они храбрее меня, их целителя. Они слепые мудрецы, а я зрячий идиот. Им повезло.

Я звоню на дом, мысленно разговаривая с Надей. Я умолял ее не сообщать добровольно о депортации. У нее был один ответ: «Приглашение на свадьбу - судьба моего ребенка. Откуда ты знаешь, - спросила она меня, - что лучше остаться в гетто? Может быть, немцы хотят уничтожить женщин, детей и слабых, а затем сбросить бомбу на всех оставшихся здоровых евреев? » Я сказал ей то, что знал, что думал. Она отказалась слушать. Я хотел уйти с ней, но она умоляла меня не делать этого. «Вы следуете своей судьбе», - сказала она. «Я все равно тебе не ровня». А Надя, которая раньше смотрела на меня глазами побитой собаки, которая прильнула ко мне, умоляя о нежности, выглядела гордо, как королева. Я утешал себя тем, что ее материнский инстинкт, ее женская интуиция не сбивают ее с пути, и позволил ей следовать своей судьбе. А я, переживший цыганский лагерь, остался здесь со своей судьбой.

Я подружился с молодым человеком. Его зовут Дэвид. Судьба наших отцов свела нас вместе. Он живет во дворе на улице Хокель и часто навещает Цукерманов. Мы развлекаем друг друга своей философией. Он говорит мне: «Я ни во что не верю. Мое неверие - это моя вера. Из cogito ergo *sum*я сделал следующее: «Я не верю, и поэтому я верю». Однако я не могу сказать, что я не религиозен. Жизнь - мой Бог ».

Я повторяю его аргументы, заставляя его прийти к правильным выводам (моим, конечно же). «Если жизнь священна, - говорю я ему, - то это долг - поддерживать ее, а разрушать ее - преступление». А оттуда всего рукой подать до моего вегетарианства, которое я раньше никому не проповедовал, но теперь считаю важным проповедовать. Я объяснил Дэвиду, что мы безразличны к крови животных, как если бы это была не кровь, а более дешевая жидкость; и убивать становится легче, когда ты говоришь себе, что чужая кровь имеет меньшую ценность, чем твоя собственная. Именно так и произошло с немцами. Для них еврейская жизнь - то же самое, что жизнь животного для охотника. Разве это не основа каждой расовой теории? Такие люди могут быть добрыми, даже благородными в личной жизни и в то же время вести себя как каннибалы по отношению к другим.

Часто после такой «пропагандистской» беседы с Дэвидом я вспоминаю, как ходил с мамой покупать кур на Зеленом рынке. Тогда все гетто, окруженное колючей проволокой, мне кажется куриной клеткой. Моя мама сама превратилась в курицу, которую немецкая лапа вытащила из клетки. Все мы курицы, петухи, цыплята. Надо сказать, мама была практичнее немцев. По крайней мере, она кормила свою семью и поддерживала жизнь мясом мертвого цыпленка. Однако немцы тратят впустую много хороших пищевых продуктов. Это определенно грех. Человеческое мясо хорошее, еврейское мясо должно быть вкусным. Возможно, не за горами тот день, когда человеческие конечности будут поданы к столу, жареные, жареные, запеченные, вареные - вкус небесный!

PS Время от времени просматриваю свои письма к вам и прихожу к выводу, что мои мысли постоянно крутятся по одному и тому же кругу. Что сказал тот философ? «Многие люди думают, что они думают. На самом деле они всего лишь перестраивают одни и те же мысли ». Или что сказал тот другой мудрый человек? «Ум - это аппарат, с помощью которого мы думаем, что думаем».

♦ ♦ ♦

Дорогая Мира:

На ум приходит Бодлер: «Увы, это смерть утешает и застилает постели бедных и обнаженных». Постоянно идет дождь. Люди тонут в грязи. Капает отовсюду. По неотапливаемым домам проносятся бури. Когда я захожу в комнату, я не снимаю пальто. Я должен потереть руки и долго дуть на них, прежде чем смогу дотронуться до пациента. Люди заворачиваются в тряпки, одна на другую, и трясутся от холода. Я спрашиваю себя, что будет зимой. Сопротивление людей падает. Каждое тело - это гнездо для всевозможных микробов.

Общее настроение улучшилось до детской легкомысленности. Очевидно, чтобы и дальше жить в мире без детей, взрослые должны стать детьми. Мы дали повод к отпуску. Во всяком случае, это было причиной глупцов, которые ничего не понимали. Если мы время от времени и думаем, это своего рода бездумное безмозглое мышление. Мы думаем животом, гниющими легкими, опухшими ногами. И мы любим себя. Мы ласкаем собственные изношенные тела, балуем их и как дети, озабоченные своей физиологической деятельностью. Возможно, это потому, что мы потеряли тех, кто нас баловал и заботился о нас. Мы боремся с воспоминаниями о *Сперре.*Так же, как дети, которые хотят забыть болезненный опыт, мы стараемся вычеркнуть его из своей памяти, в то же время мы не перестаем говорить о тех роковых днях.

В нашей концепции *Sperre*стал поворотным моментом в хронологической системе. История человечества разделилась на две фазы: до *Сперре*и после *Сперре.*Один еврей может самым естественным образом сказать другому: «Я видел его последний раз за месяц до *Сперре»,*или: «Я переехал через месяц после *Сперре»,*или: «Это пришло мне в голову на третий день месяца». *Sperre «.*Потому что сама *Сперре*, как и создание мира, длилась одну неделю. И точно так же, как каждый день творения имел свою изюминку, свои чудеса, так и каждый день *Сперре занимал*свое место в работе разрушения. Поэтому нет сомнений в том, что те, кто выжил на этой неделе, такие же, но все же не те. те же люди. Я смотрю на них и вижу кривую двусмысленную улыбку на их лицах. Улыбка, которая говорит: «Ничто больше не может причинить мне боль», а также: «Хорошо, что я жив и все еще могу чувствовать боль». Взгляд людей - это взгляд сумасшедшего и пророка. Сегодня я встретил одного из этих пророческих лунатиков.

Люди, возвращавшиеся домой из курортов, столпились вокруг плакатов с подписью Бибоу, которые объявляли, что больше не будет депортаций, что гетто должно стать настоящим рабочим лагерем, который теперь, после периода отдыха ( *Сперре),*каждый должен снова выполнить свой долг и добросовестно трудиться. Рядом с этими плакатами висело объявление о новом рационе питания. Нам предложили целых десять дека-рыбы и полкилограмма моркови на голову, а также десять дека-петрушки и несколько граммов пищевой соды. Неудивительно, что толпа была в восторге. Я пробирался сквозь мокрую толпу. На каждом шагу меня останавливал кто-то, спрашивая мое мнение о новом рационе. Каждый представил мне отчет о состоянии своего здоровья, прощаясь со мной живым рукопожатием: «У нас есть *Йеки*на глубине тысячи миль в земле!» Я прошел мимо кооператива. Вся очередь дрожала от холода, но разговаривала неторопливо. Как и раньше, перед пекарней шла потасовка. Мы не стали ближе друг к другу со времен *Sperre, да*и дружелюбнее. Как и раньше, мы любим и ненавидим. Люди ссорятся или помогают друг другу. И все же кажется, что мы играем комедию, устраиваем драку, ведем беседу, играем в игру дружбы, совсем как дети.

Среди толпы перед пекарней я заметил Toffee Man и почувствовал желание конфет. В конце концов, я тоже как ребенок. Я не могу понять, как Toffee Man прошел отбор. Если раньше он был ничем, то в настоящее время он похож на тень этого ничто.

Он схватил меня за руку, глядя на меня слезящимися глазами. «Вы слышали последние новости, доктор? Мессия уже пришел! Вы спрашиваете, как? Не будь тупицей. Конечно, с *химмелкомандой!*Он выдавал себя за немца с автоматом, иначе его не пустили бы в гетто, не так ли? » Я притворился, что улыбнулся его шутке, взял конфету и попытался уйти, но он удержал меня. «Доктор, я хочу задать вам вопрос. Я имею в виду зеленые куски мыла, которые мы получаем вместе с пайком. . . части *Rif.*Скажите, а можно ли сделать мыло из ... В общем, Доктор ... Я им девять блестящих головок доставил. Конечно, Всевышний милостив и *Хедер*мальчики не пропустят даже в день их исследований. . . » Его слезы текли по его лицу вместе с дождем. «Это хорошо, доктор. Лучше не бывает. Какая разница, как приходит Мессия? Мы живем в новое время, не так ли? Тогда как он может приехать на белом коне? *Roliwagon, танковые*авто, бомбардировщик самолет, это путь для Мессии путешествовать в настоящее время. Он должен идти в ногу с духом времени, не так ли?

Он схватил меня за рукав и затащил в ворота. Если честно, я не мог решить, вменяемый он или сумасшедший.

«Вы помните этот подвал?» он спросил меня. "Я жил там. Хотите знать, где я сейчас живу? Я живу на небесах. Вы думаете, что мои лекарства для сердца, конфеты, сделаны из сахара гетто? Конечно, нет. Мои дети читают Тору на небесах, а я стою здесь, над горшком, смешивая сладость Бога, которая льется из их мелодичных голосов. Но что я хочу тебе сказать? Я хочу сказать вам, что Бог проиграл войну с дьяволом. Вы спросите, откуда я знаю? Простой. Если бы Он не проиграл, у меня были бы здесь жена и дети, и не было бы всего этого шумихи ». Он прижал меня за лацкан. «Вы должны спасти человека, доктор. Возможно, он вас послушает, потому что все мои разговоры бесполезны. Он мне не отвечает. Прошло четыре недели с тех пор, как он произнес ни слова. . . Мужчина болен с разбитым сердцем. .. И в целом он потерял жену и двоих детей. Конечно, это все, что у него было, но ведь Бог вел его к жизни. . . Да, наш Создатель иногда упрям, как мул. Все, что Он хочет, Он должен иметь ».

Я позволила Ириску провести меня через знакомый двор на Хоккель-стрит, мимо *дзялки,*где мама обычно сидела, завернувшись в свою белую шаль, и вязала. Маленький человечек держался за мою руку, от чего я хромала еще больше. Он не переставал говорить. «Например, доктор, между мной и мной есть какое-то взаимопонимание. Я имею в виду ... Ты купил у меня конфету. Была завязана нить. Но этот безумец внутри перерезал все нити. Это грех .. Он привел меня в хижину Берковича. Ставни были закрыты, дверь стояла открытой. «Иди внутрь», - подтолкнул он меня.

Я вошел. Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметил свернувшееся тело на кровати в другой комнате. Я крикнул, не зная, что на самом деле хотел сказать. Тело не двигалось. «Это я, доктор Левин, - сказал я.

В это мгновение Беркович вскочил на ноги и бросился на меня с поднятыми кулаками. "Убирайся из моего дома!" - взревел он. «Ублюдок, чудовище! Вы сопровождали *повозки,*не так ли? Вы сборище мясников! Не смей переступать мой порог, это святая земля! » Он выбросил меня и захлопнул за мной дверь. В воротах меня ждал Человек-Ириска. Чтобы избежать его, я миновал двор пожарных и убежал. Итак, я эскорт *повозок.*У меня нет причин защищаться от Берковича. Все мы, кто остались, были сопровождающими, включая Берковича. Он злился на меня из-за собственного стыда за то, что остался жив.

♦ ♦ ♦

Дорогая Мира:

Люди мира будут судить нас. Они скажут, что мы пошли на бойню, как овцы. Пусть знают, что овцы, корчащиеся в руках мясника, и овцы, охотно протягивающие шею к ножу, - все это одно и то же, не что иное, как овца. Месть, честь - в мире есть свои представления о таких вещах. Мы их не раз копировали. Здесь, однако, мы отбросили все такие понятия, как инопланетная кожа, и появились с нашим собственным лицом. Мы самые неуклюжие мстители. На протяжении веков, когда мы убегали от бойни, мы также убегали от бойни, и, возможно, по этой причине мы так редко получали удовольствие от охоты или рыбалки. Мы не делаем из смерти спорт. Нам противны вид крови.

Возможно, для того, чтобы стать такими же людьми, как другие, нам следовало научиться кровожадности или вернуться в те времена, когда мы были воинственными, в начале нашего существования. Стоило ли это того? Не лучше ли, что даже здесь, в гетто, мы меньше занимаемся мечтами о мести, чем мечтами о мире? Разве мы не чувствуем интуитивно, что жажда мести не принесет нам пользы и что честь имеет смысл только в жизни? Наше физическое сопротивление - не ради защиты чести Смерти, а ради чести Жизни - было невозможно с самого начала. У нас были наши близкие, и мы боялись подвергнуть их жизнь опасности. Теперь, когда мы потеряли своих близких, сопротивление потеряло всякий смысл. Во-вторых, мы не смогли бы спасти даже свою жизнь. Может, я так пишу, потому что хромой трус? Я хочу продлить свое существование в надежде, что откуда-то придет помощь, в надежде, что сами немцы, возможно, простят нам грех быть овцами - потому что мы с такой покорностью им подчиняемся - и они подарят нам нашу жизнь.

Интересно, остаюсь ли я еще в здравом уме. Я измучен и жажду мира больше, чем жизни. Может быть, мы втайне благодарны немцам, которые предложили нам поспать после многих поколений истощения - и не хотим, чтобы по этому поводу подняли шум? С нас достаточно. Мы хотим спокойного безболезненного мира и поэтому своим поведением помогаем мяснику, чтобы ускорить собственное избавление. Что говорит Человек-ириска? Немцы - Мессия, и мы преданно и свято подчиняемся ему. Может, нас уже нет? Нация трупов. Может быть, дух, который мы все еще несем в себе, не наш, а дух немцев? Их воля - наша. Их пожелания - наши. Они не хотят нас, поэтому мы не хотим самих себя. Мы ненавидим себя их ненавистью, и мы любим их любовью жертвы к своему палачу.

И все же на ум приходит слово «сила». Мы обладаем неслыханной демонической силой. Я могу прочитать это в глазах моей женщины, в глазах людей на улице. Меня окружает та же порода людей, которая в прошлых поколениях отказывалась от возможности избежать смерти, поцеловав крест. Народ, чьи сыновья и дочери рисковали своей жизнью как знаменосцы высоких идеалов; люди, члены которых, если им предоставляется возможность, в настоящее время участвуют во всевозможных движениях сопротивления, хотя их называют французами, голландцами, датчанами, русскими или поляками; народ, чьи сыновья активно участвуют везде, где только могут, в качестве солдат армии свободы многих стран. Те же люди. Они идут своей дорогой. Они выбирают свой собственный образ жизни и умирают. И кто бы ни посмел сейчас упрекнуть нас в «трусости», пусть его язык будет хромать во рту - прежде, чем он придет сюда, чтобы показать нам свой «героизм».

Моя дорогая Мира, позволь мне сказать тебе последнее. В этом письме я звоню вам и прощаюсь с вами. Это приветствие одновременно и с добрым утром, и с пожеланием спокойной ночи. Все, чем я был до *Сперре,*принадлежит тебе. Михал Левин, переживший *Сперре,*принадлежит другой женщине - и другой реальности.

Прощай,

Михал.

♦ ♦ ♦

Михал закончил свое последнее письмо бывшей возлюбленной, которую он жил в гетто, которую иногда называли Миражем. Он сидел на краю стола, полураздетый. В печи позади него гремел огонь. Вокруг него висела его одежда, сушившаяся на шнурке. Он долго смотрел на написанные страницы. Ему казалось, что в тот момент он поставил печать на своей судьбе.

У окна перед мольбертом стоял Гутман. Несколько кисточек он держал во рту, а еще несколько между пальцами. Шиле, уличная певица, позировала ему, когда он рассказал историю о том, как он скрывался во время *Сперре.*Его портрет был почти закончен.

Михал украдкой заметил Гутмана. Между ними двумя что-то подошло к концу со *Сперре.*После того, как Шафрана и его жену увезли, в день ликвидации приюта, Гутман исчез, но вернулся через неделю после того, как *закончился Сперре*. Он не сказал, что с ним случилось, и Михал не спросил. На самом деле они не знали, почему до сих пор живут вместе. Теперь в гетто не было недостатка в квартирах, и оставалось только приложить усилия к окончательному разделению. Если они откладывали это, то, вероятно, из-за их вины. Это была единственная спасенная дружба, и они разрушали ее собственными руками.

Михал положил страницы в ящик, где хранил остальные письма Мире. Он надел еще влажную одежду и взял сумку. Его рабочий день еще не закончился, но сначала он поспешил на встречу с Юнией. Она спустилась с моста и упала в его объятия. Она говорила быстро, обрадовавшись его встрече. Она обняла его за плечи и прижалась к нему.

«Ты все еще любишь меня?» - озорно спросила она.

"Я все еще ... немного", - улыбнулся он.

Он чувствовал тяжесть ее тела, но его шаги стали более живыми. Ее игривость, казалось, уменьшила его тяжесть. Когда он был с ней, все потеряло свой вес и поднялось в воздух, трепеща и пульсируя жизнью. Она проводила его до первого посещения дома, и ему было жаль, что путь оказался таким коротким. Он хотел, чтобы она ждала его, но она покачала головой: «У меня нет времени», - сказала она. Она сказала ему зайти к Самуилу, которого беспокоил кашель, и убежала. Он проследил за ней глазами. Ее стремительная, полубеговая походка радовала его. Он поднимался по лестнице, все время видя мысленно - ее фигуру, ее лицо, влажную растрепанную челку, маленький подвижный ротик, короткий вздернутый нос, с которого капает дождь. Ее образ заставил его ноги двигаться более энергично. Он терпеливо относился к больным и забывал собственные пессимистические прогнозы. Он верил, что его пациенты выживут, как и он, и Юния.

Джуния ждала его дома. Шиле, уличная певица, все еще спорила с Гутманом. Он настоял на том, чтобы забрать домой мокрый портрет, но Гутман отказался об этом слышать. Певец пообещал заплатить всем своим капиталом: две немецкие марки и пол супа.

«Пойми меня», - обратился он за помощью к Джунии. «Мне повезло во время *Сперре,*но что, если моя удача закончится? У меня никого нет. Если я умру, никто не узнает, что я жил. Но так, если будет мир, они найдут мою фотографию, они увидят меня, когда я стою здесь, и они будут знать, что я жил ».

Картина изображала церковную площадь осенью: листья, падающие с каштанов, серые полосы проволочного забора, часть моста, ярко-серую коробку и стоящего на вершине маленького певца в черном габердине, в круглой шапке. прикрыл одно ухо, его угольно-черные плутоватые глаза улыбались окружавшей его толпе. Юния объяснила ему, что у картины было больше шансов пережить войну, если бы она осталась у Гуттмана, и что в любом случае она должна сначала высохнуть, а затем покрыть лаком. Кроме того, картина немного принадлежала Гутману. Шиле кивнула в ответ на ее слова и не отступила от своего решения. Он поставил две отметки на столе.

«Тебе повезло, что на улице идет дождь», - повернулся он к Гутману. «Завтра, если будет угодно Богу, я приду домой сфотографироваться».

Он ушел, и все трое сели в стакан с горячей водой с сахарином. Пили молча. Глаза Джунии метались по стенам. Вокруг них стояли картины Гутмана: натюрморты, портреты *фекалистов,*брошенных детей, стариков, а также незаконченный портрет ее матери, Матильды. Джуния ненавидела картины. Она ненавидела квартиру. Между его стенами жили призраки ушедших: матери Михала, учителя Шафрана и его жены, а главное - Нади и ее ребенка. Юния мечтала о квартире, такой же новой, как ее и любовь Михала. Проблема заключалась в том, что в гетто такого жилища не было. Все пустые квартиры были полны призраков людей, населявших их не так давно. Так что она могла бы примириться с нынешним жилищем, если бы она могла жить в нем одна с Михалом, или если бы атмосфера между двумя мужчинами не была такой напряженной.

Она поймала пристальный взгляд Гутмана. Казалось, он читал ее мысли. Он скривил гримасу, которая должна была быть улыбкой, и сказал: «Это будет недолго, и ты избавишься от меня». Она собиралась возразить ему, когда он положил руку ей на плечо. «Не отрицай ...» И, опустив лицо к своему стакану, он добавил: «У меня тоже мог быть дом. . . мог бы взять жену. . . Но я не страус. Я сражался против Дольфуса в Вене, против Франко в Испании. . .

Пистолет выбит у меня из руки ... так что я борюсь с кистью. Конечно, вы не можете этого понять. Я очень хорошо вижу, как вы смотрите на меня, вы двое. Для вас моя картина - детская игра, побег ... Но вы увидите. Что-то останется от этой игры. Я борюсь ... Да, я создаю то, на что Сам Бог не способен. .. красавица из кучи мусора ». Подняв лицо к Михалу, он внезапно взорвался: «Это ты, великий альтруист и реставратор жизни, трус! Лицемер со святым лицом! Ты ставишь обреченных и проклятых на ноги, чтобы они здоровее добрались до виселицы ... А ночью утешаешь себя с ней. .. вайфай.

Джунию и Михал поразили его слова. Но только на мгновение. Юния вскочила на ноги, облила лицо Гуттмана остатком воды из своего стакана и прыгнула к нему с протянутыми руками, как будто хотела его задушить. «Если бы вы проспали одну ночь с женщиной и были счастливы, - кричала она, - вы бы достигли большего, чем со всеми своими идиотскими картинами!» И если ты такой герой, то почему бы тебе не присоединиться к тем, кто готовится к мести? Ты лицемер, тупой тупой маньяк, вот кто ты! » Она обвила пальцами его шею, тряся Гуттмана, который обмяк от ее прикосновений, как будто его позвоночник был сломан. Он медленно убрал ее пальцы со своей шеи, некоторое время смотрел на ее ладони, затем прижал их ко рту.

«Я хочу рисовать. Ты мне не позволишь. . … - рыдал он. Михал впервые увидел его плачущим. Тоже было в последний раз.

Гутман сделал то, что решил. Он переехал в пустой дом в Марысине. В последний раз, когда он пришел за едой, он пожал руку Михалу; они не могли смотреть друг другу в глаза. Михал простонал: «Почему это должно так заканчиваться?»

Гутман пожал плечами: «Я знаю, почему?»

В тот же вечер Юния и Михал отпраздновали уединение. Михал достал письма, которые писал Мире все эти годы, и дал их Юнии прочитать. Пока она читала, он ухаживал за огнем в печи, наблюдая, как ее темная голова склонилась над листами бумаги. Будут ли их читать только ее глаза? Возможно, он действительно написал их для нее?

Когда Юния закончила читать последнее письмо, они взяли большую жестяную коробку, в которой Гутман хранил свои краски. Это была красная коробка со словом «Чай», написанным по-английски с четырех сторон. Это была идея Джунии. Письма нужно было сохранить. Нет, они предназначались не только для ее глаз. Они должны были достичь Завтра, либо с Михал и ею, либо без них. Каждое письмо она свернула в вощеную бумагу. То же самое они сделали с эскизами, оставленными Гутманом. Они также бросили в коробку несколько фотографий своих родителей и друзей. Потом все завернули в тряпки и закрыли коробку. На следующий день они закопали коробку в заброшенном маленьком саду, где они спрятались после того, как Михал спрыгнул с *вагона.*

Book Three 175

Глава двенадцатая

ПРЕССА СБ съежилась в углу тренера. На нем было зимнее пальто; его ноги были покрыты тёплым пледом. Он ехал на вечеринку по случаю дня рождения, которую герр Шаттен устроил для себя. Пресесс ехал один. Он послал Клару вперед с подходящим подарком, так как был занят работой и, в любом случае, не любил приходить вместе с другими гостями. Его опоздание произвело лучшее впечатление.

Проезжая по улицам, он заметил на стенах старые рваные плакаты. Они привели его к темным мыслям, которых он так хотел избежать, по крайней мере, в вечерние часы. Это были первые плакаты, адресованные населению гетто не им самим, старейшим из евреев, а главой *Ghettoverwaltung*Хансом Бибоу. Исторические плакаты. Вместе с ними он ожидал, что его нанесут и другие удары; обеспечение гетто и надзор за курортами должны были быть взяты из его рук.

Вместе со всеми его иллюзиями, эта тоже лопнула. Он обманул себя, что может перехитрить Бибоу, что он сильнее этого эгоистичного немецкого торговца из-за его, Румковского, связей с Берлином. Это была ложь. Бибоу был арийцем и хозяином. Он отказывался ценить все годы каторжных работ, в течение которых Румковский в одиночку создал почти государственный аппарат. Бибоу начал отдавать предпочтение Лейбелю Вайнеру, лидеру *зондеркоманды,*испорченному голубю и безответственному охотнику за состояниями. Причина этого была ясна. И все же долг Румковского состоял в том, чтобы этого не произошло из-за овцы, чьим преданным пастырем он был.

Правда, он жаждал мира. Он устал от обязанностей. В последнее время его покойная жена Шошана стала часто навещать его во сне, говоря ему: «Корона, которую ты носишь, - это терновый венец ...» Она была права. С другой стороны, если бы он все отпустил, он поддался бы великому страху, страху шестинедельной давности. А потом сдаваться было не в его характере. Он мог быть крайне истощен, но пока он был жив, ему приходилось бороться, чтобы протянуть руку. . . за венец, хоть он и из терновника. Этого нельзя было отрицать. Это было у него в крови. Итак, он боролся, совсем один, в окружении стаи льстецов, воров и ленивцев, которые жили паразитами на его поту и крови, тайно облизывая сапоги своих новых хозяев. Это была старая правда: друзей, которых можно было купить с подарками, можно было купить и другим с подарками.

По мере того как он ехал, его желание увидеть Шаттена и его гостей испарилось. Какая ценность была в вымпелах, которые поворачивались везде, где дул ветер? Он приказал кучеру свернуть на Хоккель-стрит, в дом, где жил его бывший, самый искренний друг, Самуэль Цукерман.

Его приняла Белла.

"Где твой отец?" - спросил он, оставив ее, прежде чем она смогла ответить. Он вошел в комнату Самуила и увидел, что тот склонился над столом, уставленным бумагами. Он быстро подошел к нему и положил руку ему на плечо: «Что ты так старательно записываешь?» - спросил он. Сэмюэл повернул к нему свое костлявое лицо, на котором, казалось, был только длинный заостренный нос. Он сделал жест рукой, словно приглашая посетителя сесть. Пресесс немедленно рухнул на стул и подошел к Сэмюэлю, который быстро собрал страницы, разбросанные по столу. «Что ты скрываешь?» Румковски неловко ухмыльнулся. «Что такого необычного в каракулях? Тот, у кого есть рука и нога, строчит в гетто. Итак, между вами и мной, вы меня тоже нацарапали? Говорить правду. В любом случае я знаю, что все эти каракули не имели бы никакого значения, если бы я не был главным героем. Меня это беспокоило. . . что люди говорили обо мне ... Я был чувствителен к истории. Сегодня я немного не возражаю. Скажите, вы хотя бы помните, какие одолжения я вам оказал вместе с предполагаемыми неудобствами? Ты все еще помнишь, что я спас тебе жизнь? » С притворной легкостью он снял пальто. «А твоя жена? Где она?" он спросил. «Я не видел ее целую вечность».

- Ушел, - отрезал Сэмюэл.

Румковски на мгновение покусал губы и сменил тему. «Видите ли, как только я узнал, что с вами что-то не так, я пришел к вам. Клара сказала мне. Она встретила тебя на курорте, а? Вы действительно работаете в Metal Resort? Что ты можешь там делать? »

«Я опекун несовершеннолетних».

«А что с тобой?»

«Так же, как и со многими другими».

Румковски оживился: «Вы получите от меня дополнительный паек и двухнедельный отпуск в пансионате в Марысине. Я не затаил обиду слишком долго. Ты знаешь меня."

Сэмюэл улыбнулся: «Спасибо, герр Румковски. Я только что вернулся из отпуска. Меня отправили работать в пекарню на две недели, и я ежедневно ел четверть буханки хлеба ».

«Кто послал вас в пекарню?»

«Лейбель Вайнер из *зондеркоманды*».

Раздраженный Румковски оттолкнул себя и свой стул. «Вы знаете, почему он послал вас туда? Потому что он хочет привлечь вас на свою сторону. *Kriponik,*этот стукач, палач! Да, он корчится перед гетто, готовясь к войне, чтобы никто не догадывался о его грязной работе. Люди будут рассказывать о нем много хорошего; порядок в обеспечении гетто лекарствами для больных, рабочих для пекарен. . . положитесь на него. Он прекрасно умеет копать ямы под моими ногами, склоняя на свою сторону даже тебя. Скажи мне открыто, на чьей ты стороне? »

Самуил улыбнулся: «На стороне союзников».

"Хватит шутить! Я приехал, чтобы обсудить с вами серьезные дела. Вы должны мне помочь ».

«У меня создалось впечатление, что вы пришли мне на помощь».

"Одна рука моет другую."

«Мои руки чистые. И я больше не буду тебе помогать ».

«Цукерман, ты был моим самым преданным другом. Возможно, я недостаточно оценил это. . . »

- Не напоминайте мне об этом, герр Пресесс. Мы несем тяжелое бремя грехов ».

«Пока вы считаете себя партнером по нагрузке, я не возражаю. Вы знаете, что творится в Варшаве? Варшава находится на краю пропасти. Хочу сэкономить хоть малую часть. .. Разве ты не видишь, что они хотят стереть нас с лица земли? »

«Значит, вы должны им помочь?»

Румковски был вне себя: «Боже мой! Если вы тоже так говорите, то это конец света. Почему ты не понимаешь, что если бы на моем месте был кто-то другой, от нас не осталось бы и следа? »

«Вы платите слишком высокую цену. Никто не имеет права платить такую ​​цену. Кто вы такой, чтобы судить, кого оставить, а кого уйти? Есть ли способы измерить, чья жизнь важнее? Вы позволяете своей «защите» оставаться, вместо этого отсылаете остальных ».

"Это ложь! Мне нужны те, кого я ухожу. В остальном я не делаю исключений. А «действия» во время *Сперре*выполняли сами немцы. Ради всего святого, что ты думаешь обо мне? Камень, глыба льда? Вы думаете, мне было так легко видеть, как мои сироты уходят? Скажите, какой у меня был выбор? Просветите меня."

«Вы глава народа. Почему вы не сказали: «Братья, ситуация такая-то, делайте то, что считаете правильным». Но вы кричали: «Мамы, откажитесь от детей!» а если ... Да, почему ты не сделал то, что Черняков сделал в Варшаве? »

"Послушай его!" Пресесс кипел от ярости. «Моя кровь для тебя вода? А чего добился Черняков своим поступком? Имей в виду, Цукерман, что я не склонен к суициду и не буду уговаривать людей на самоубийство. Вы бы на моем месте сделали то, что мне проповедуете? Ага, что бы ты сделал на моем месте? »

"Я не знаю. Это никогда не было моей проблемой. Свои проблемы я уже как-то решил ».

Некоторое время они молчали. Румковски тяжело дышал и закусывал губы, ерзая на стуле. Наконец он наклонился над столом и сменил тему. - В конце концов, что ты пишешь? он спросил.

«Вы помните, я планировал написать историю евреев в Лодзи? Теперь я трачу на это свои вечера ».

Румковски прекрасно понимал, что их разговор окончен. Он попросил стакан воды, заставляя себя пошутить: «Зиберт говорит, что питьевая вода не делает мужчину больным и не делает его жену вдовой». Он проглотил воду и достал карандаш. Он выписал Сэмюэлю «направление» в загородный дом, решив таким образом завершить свой визит. «Я даю вам это, потому что вы честны со мной», - сказал он, кладя листок бумаги на стол.

Он снова был в своем тренере. Он чувствовал себя пристыженным, оскорбленным и преданным. В его большом одиночестве осталось одно утешение. Ему очень хотелось обнять Клару. Со времен *Сперре*она стала его гнездом, утешающей подушкой.

Вечеринка у герра Шаттена была в самом разгаре. В переполненном зале стоял сам хозяин в черной блузке и черных штанах для верховой езды. Его лицо было аккуратно выбрито и имело свежий розоватый оттенок, его густые волосы были жесткими и блестящими. Скрипка своей изящной формы странно смотрелась в руках этого парня в черном костюме и черных сапогах. И это выглядело странным, что он мог с такой деликатностью зачаровывать томное танго на его струнах, заставляя его вибрировать между стенами комнаты. Пары кружили в танце. Вдоль стен стояли или сидели серьезные зрители.

Никто в темной комнате не заметил, как вошел пресесс, и ему пришлось довольно долго постоять у двери, прежде чем все взгляды обратились на него. Только через несколько минут к нему подошла Клара в сопровождении мистера Зиберта. Пожав руку Presess, Зиберт повернулся лицом к комнате и *крикнул: «Meine Herren und Damert,*Presess Mordecai Хаим Румковски прибыл!» Как обычно, трудно было судить, серьезен ли его тон или циничен, но Пресесс был благодарен своему придворному клоуну.

Шаттен перестал играть. Зловещий шепот прошел по комнате: «Presess здесь!» Гости издали разглядывали лицо пресесса. Затем последовала еще одна волна шепота: «Он в хорошем настроении. . . Он улыбается. . . »

Со стороны Presess услышали острую шутку Зиберта: «Когда царь простужен, вся Россия чихает, когда царь смеется. . . »

Хозяин подошел к пресессу и поклонился по-солдатски, делая гримасу избалованному ребенку, отец которого мешал ему во время любимой игры. Пресесс пожал ему руку, по-отечески обнял его и выразил свои наилучшие пожелания в миниатюрной речи. Толпа аплодировала, распевая песню «Да живут они сто лет» в честь Presess и Schatten. Однако у последнего не хватило терпения для церемоний. Он затемнил комнату еще больше, оставив только одну горящую свечу. Он начал петь: «Луна предала меня / солнце насмехалось надо мной своим светом. / Только моя тень сдерживает свое обещание / и посещает меня ночь за ночью». Он пел теплым томным голосом. Его туманные, похожие на стекло глаза были устремлены на далекие миры. В черном костюме его почти не было видно в темноте; его лицо напоминало плывущую луну. Его руки и струны смычка, казалось, парили в воздухе.

Пресесс толкнул Зиберта локтем: «Это праздник или похороны?»

«Ему это нравится», - хихикнул Зиберт. «Чтобы зрители почувствовали себя романтичными. Он демон, а демоны ненавидят электричество. . . Посмотрите на него, герр Пресесс, и вы поймете, как выглядит Ангел Смерти. . . В остальном он хороший парень ».

Пресесс дружелюбно ткнул Зиберта локтем: «Вы смеетесь над всеми. Думаешь, смеяться над тобой не над чем? Мышки в сапогах! ''

- Кот в сапогах, герр Пресесс. Это история о коте в сапогах ».

"Верный. Вы фальшивы, как кошка ».

- Не в том, что касается вас, герр Пресесс. Честно. Я когда-нибудь подшучивал над тобой или, не дай бог, обманул? Никогда. А знаете почему? Потому что ты мне не доверяешь. Вы ведь знаете эту историю о господине, который спросил своего слугу: «Как ты мог обмануть меня? Я так тебе доверял. И слуга ответил: «Именно по этой причине, мой господин. Если бы ты не доверял мне, я бы не обманул тебя ». Зиберт похлопал Румковского по плечу. «Я просто шучу, дорогая Пресесс». Пресесс пристально посмотрел на Клару, которая тихо болтала с адвокатом, мистером Сиркиным. Нет, он не мог обнять ее прямо сейчас или даже стоять рядом с ней. Ему придется подождать, пока они останутся одни. Зиберт сразу заметил, что Presess был задумчивым, и спросил: «Вас что-то беспокоит, герр Presess? Возможно, вам нужно освежиться, кусок торта ... немного компота? В конце концов, это праздник ».

«Ерунда, мне нечего праздновать». Пресесс почувствовал на себе пристальный взгляд Клары. Она изучала его лицо, чтобы уловить его выражение, измерить его настроение. Она тоже, как и все геттоники, интерпретировала каждую его гримасу, чтобы знать, сможет ли она дышать легче или что-то опять пошло не так. Чтобы успокоить ее, он помахал ей, наклоняясь к Зиберту; «А что нового в партии?»

Зиберт пожал плечами. «Все эти вечеринки, в том числе и наши, вызывают у меня ужасное недомогание. Они ссорятся без остановки, наводя порядок в мире после войны. Коммунисты, бундовцы, сионисты, все та же фигня ».

«Вы отказались от сионизма?»

"Кто это сказал? Я понимаю сионизм так, как его следует понимать. Я бы исключил всех членов партии, оставив только двух человек, тебя и меня ». Он заметил, что Presess наблюдает за тем, как через комнату пробирается симпатичная молодая женщина, и лукаво подмигнул: «Вкусная цыпочка, а, Presess? Мисс Сабинка. Она работает в *зондеркоманде ».*

«Она была моей подопечной», - пробормотала Презесс, добавив конфиденциальным шепотом: «Отведи ее ко мне позже. У меня есть идея . . . Понимаете, она могла бы стать мостом между Лейбелем Вайнером и нами. . . Понимать?" Зиберт ухмыльнулся: «Конечно, знаю. По такому мосту стоит пройти. И если подумать. . . в конце концов, между коммунистом и сионистом расстояние больше, чем между Лейбелем Вайнером и нами ». Он встал, сделал издевательский рыцарский жест и щелкнул каблуками своих забавных ботинок: «Сказано и сделано, дорогая Пресесс. Я собираюсь зацепиться за «мост» и перетянуть его к тебе ».

♦ ♦ ♦

Ни снега, ни холода не было, но все было окутано туманом. Presess не выдержал серого света. Когда он ехал по улицам гетто, он задернул занавеску на окне кареты. Он предпочитал сидеть в темноте, чем видеть удручающую серость. В своем офисе или дома он держал свет включенным. И все же серость хлынула отовсюду. Он продолжал свою работу, но без энергии. Внутри него была пустота, которую даже Клара не могла заполнить. Более того, перестали поступать производственные заказы на курорты. Presess надеялись, что это всего лишь переходный этап. Тем не менее, чтобы успокоить себя, он ждал у двери Бибу, умоляя его дать слово, намек. Бибоу, как всегда, вел себя по-деловому. Он пообещал, что ситуация скоро изменится. Румковски потерял уверенность в себе. Все свои надежды он строил на работе, на полезности евреев для немцев. Без этого было не за что держаться. Бессмысленность ситуации стала его пугать. Он жил в мире без будущего, без детей, на плоту, который все глубже погружался в серое болото.

Лучше всего было пошуметь, окружить себя сильными, уверенными в себе людьми и забыть, что их сила и уверенность исходят от него. Он собрал комиссаров и менеджеров якобы для того, чтобы с ними посовещаться, а на самом деле для того, чтобы прочесть на их лицах уверенность в том, что еще не все кончено; что он ошибался в своих рассуждениях. И как ему стало горько, когда он заметил, что их взгляды остановились на нем, зная, что они интерпретируют его лицо так, как будто интерпретируют страницу Талмуда. Они оказались более искренними и искренними в своих словах преданности. Они льстили ему, как если бы он был волшебником, и слушались его, как если бы он был отцом. Каждый их жест выражал их веру в то, что он выведет их из гетто и спасет. В результате он почувствовал себя еще более подавленным, более подавленным.

Его брат Иосиф пришел навестить его и ждал его в столовой. Клара составляла ему компанию, пока не приехал ее муж. Хотя Джозеф и Клара нравились друг другу, им было трудно оставаться наедине в комнате. Их разговор никогда не складывался. Они сидели неподвижно, неловко улыбались друг другу, обсуждая погоду.

Пресесс появился в доме, его губы были сжаты, его серебристые волосы взлохмачены, торчали из-под шляпы, как терновый венец. Клара и Джозеф бросились ему навстречу. Он отвел глаза и подошел к накрытому столу, сев во главе его. Его жена и его брат заняли места по обе стороны от него. По лицу Пресесса было легко понять, что любое слово, произнесенное во время еды, вызовет его раздражение. Когда еда была закончена и Клара вышла из комнаты, Пресесс бросил на брата взгляд, который одновременно умолял его говорить и выражал страх перед тем, что он скажет. Но то, что сказал Джозеф, нужно было услышать, и Румковски храбро спросил: «Вы слышали последние выпуски новостей?»

Джозеф кивнул: «SWIT объявила сегодня второй раз. . . Все транспорты из Лодзи отправились в Хелмно, где их добили ».

Пресесс сразу почувствовал, как еда прижимается к его животу. Он позвал экономку и заказал чай. Два брата помешивали свои чашки с чаем, чокаясь ложками. «Иосиф, - простонал Мардохей Хаим, - Молох еще не насытился. . . » Он поспешно отпил горячего чая. "В случае . . . » он закашлялся, не заканчивая фразу.

Ночью Румковски не мог уснуть. Летом, когда он не мог спать, он мог хотя бы взглянуть на небо и увидеть несколько звезд или луну. Раньше он радовался, что ему нужно так мало сна, считая благословением то, что в конце жизни, когда оставалось мало времени, ему нужно было меньше спать. В наши дни все было по-другому. В настоящее время оконные стекла размыты; каждая панель напоминала зуб гильотины. Глаза Мардохея Хаима беспокойно перескакивали с одной тени на другую. Его сердце трепетало, как мышь в ловушке, в то время как в его голове плыли образы, одни двигались медленно, другие вспыхивали, как будто только чтобы подразнить его.

Он увидел свою мать в белом длинном фартуке, весь засыпанный мукой. Она была занята приготовлением субботней трапезы. С помощью нескольких утиных перьев, связанных вместе, чтобы получилась кисть, она *рисовала галлот*яичным белком, чтобы *покрыть*корку глазурью. Маленький Мардохей Хаим вошел с улицы, плача. Он был одет для субботы. Маленький мальчик в темно-синем матросском костюме. Сирота. Он хотел спрятаться под фартуком матери, но она прогнала его. «Оставь меня в покое», - кричала она. «Разве ты не видишь, что я готовлюсь к субботе?» И маленький сирота убежал - прямо в объятия разъяренного странного отца, который носил черные сапоги и зеленую форму. Симпатичный сильный отец поднял сироту и *толкнул*его на *фургон.*Маленькая сирота уехала куда-то на субботний день.

На другом снимке Румковский увидел себя среди друзей своей юности. Все они поднимались на гору на окраине *местечка.*Он вел их. Он помог им перепрыгнуть через огромные камни. Одним из членов его банды был невысокий мальчик с проницательными глазками. Каждый раз, когда Мардохей Хаим отворачивался, маленький человек, похожий на Зиберта, уколола его булавкой в ​​спину.

Каждый раз, когда Мардохей Хаим смотрел на него, мальчик делал невинное лицо и рассказывал ему забавную историю.

Или Мардохей Хаим увидел бы изображения женской груди. Многие груди, обвисшие, полные, как воздушные шары, подвешенные на прямом шнуре, как нить огромных бус. Грудь была теплая, молоко текло из них, как из фонтанов. Он видел, как протягивает к ним руки, пытается дотронуться до них, погладить их, размять. Ему хотелось выпить из них всех сразу. Но они ускользнули от его прикосновений. Он не мог их ласкать, даже не чувствовал их тепла. Молоко, льющееся из сосков, не доходило до его рта. Столько грудей, что его рука не могла удержать ни одной. Столько молока, и его нетерпеливый рот не мог почувствовать ни капли.

Окно ухмылялось своими стеклами, как зубы гильотины. Мардохей Хаим безнадежно звонил Шошане, своей второй жене. Она подошла к нему, ее тело превратилось в замороженную надгробную плиту, она прыгала по основанию, словно на одной ноге. Она заговорила с ним буквами, выгравированными на холодном граните: «Мардохей Хаим, где ты несешься сквозь ночь? Почему бы тебе не пойти домой поспать? Мне одной в постели холодно.

«Шошана, - жаловался он, - почему ты постоянно зовешь меня спать? Ты любишь меня, только если я сплю ».

«Верно», - ответила она. «Потому что только когда ты спишь, ты невиновен».

Он спросил ее: «Как я так много согрешил против тебя?» Она хихикнула от смеха Зиберта. Он почувствовал укол иглы, на этот раз в своем сердце. Он снова был маленьким мальчиком, сиротой. Он был уличным певцом гетто, стоял у стены с протянутой рукой. «Люби меня, *Мамеш,*люби меня, *Татеске. .*. Вы должны любить меня ... » - пел он, умоляя тысячи равнодушных прохожих о милостыне.

В комнате было холодно. Духовка погасла, и Мордехаю Хаиму захотелось залезть в кровать Клары, чтобы согреться. Он не знал, спит она или нет, но знал, что, как только он залезет рядом с ней, она заплачет. С тех пор, как она стала покорной и нежной к нему, она много плакала - и ее рыдания усиливали смятение в его голове.

Утром Зиберт, который в последнее время начал следовать за Presess, как тень, ждал его перед своим офисом. Это было обычным делом. Каждое утро клоунская фигура прыгала вперед, приветствуя и хихикая. Его острые маленькие глазки внимательно следили за лицом Пресесса. Он пришел выяснить, прошла ли ночь без происшествий. Он вошел в кабинет с презессом, рассказав обо всем, что он обнаружил среди геттоников, или *шишек,*или партий, или *зондеркоманды.*Он потер свои замороженные ручонки.

«Сионистские группы провели тайную встречу. Они решили, кто предатели еврейского народа или, вернее, польского еврейства. Вам нужны имена? " Зиберт вскинул правую руку с разведенными пальцами вверх и левой рукой согнул один палец за другим: «Сначала вы, герр Пресесс. Да, лично вы. Затем идет Шаттен. . . Потом Стейнберг. . . затем начальник полиции ... »

Кровь Пресессов замерзла. Он почувствовал скованность во всех конечностях. Да, он давно знал, что думают о нем его партийные люди. Он знал, что они и никто другой поведут его в историю - не на белом коне, а на черном катафалке. Его идеологические братья, те, кого он защищал, сделают это.

На самом деле то, что ему рассказывал Зиберт, не было для него новостью. И все же он чувствовал жар от унижения вокруг глаз. Но через несколько секунд к нему вернулось самообладание. Он не позволил бы никому побить себя камнями. Возможно, для внешнего мира все было потеряно для завтрашнего дня, но здесь все еще оставалась цель, которую нужно было выполнить, - спасти хоть следы людей, чтобы хоть кто-то мог оскорбить его имя. Это была бы его победа. Пресесс царственно выпрямился, подняв седую голову. "Что еще ты знаешь?" - спокойно спросил он.

«Двое полицейских-евреев потребовали, чтобы им разрешили присоединиться к митингу, - продолжил Зиберт. «Они сказали, что у них чистые руки, и что они помогут в незаконной деятельности. Все присутствующие на собрании принесли присягу, как это было на собраниях 1905 года. А теперь слушайте резолюции. Во-первых, никто не хотел бы покинуть гетто. Номер два, используйте саботаж на курортах. А вы знаете, кто предложил эти важные резолюции? Угадай. Да, ваш преданный сын Сэмюэл Цукерман. Представьте себе это. Но не нервничайте, герр Пресесс. Почему ты так бледнешь? А если решили, ну и что? Это так же, как если бы вы решили? Они просто разговаривают. Почему ты встаешь, дорогой Пресесс?

Румковски начал расхаживать взад и вперед по комнате, его растрепанные волосы стали жесткими, как грива раздраженного льва. "Что еще?" он спросил.

«Они решили вмешаться в вашу деятельность и деятельность Шаттена и собрать материалы, чтобы доказать преступления обоих из вас». Зиберт махнул пальцем: «Если вы примете это так близко к сердцу, шеф, я говорю вам, что я никогда вам ничего не скажу. Гетто нужен здоровый Presess, понимаете?

"Разговаривать!" Румковски взревел.

Зиберт скривился, словно испугался. «Было внесено предложение о создании движения сопротивления. Не бойся, Presess. Предложение было отклонено. Они не создадут движение сопротивления, потому что в гетто нет ни единой крупинки оружия. Невозможно связаться с партизанами, да и в антисемитах снаружи нет недостатка, не говоря уже о *фольксдойче,*которые живут повсюду в гетто. Да и с самими геттониками тоже невозможно сесть за стол. Нам не только не на что свистеть, но и некому свистеть. Стадо людей еле волочится. И в-третьих, в-четвертых, в-пятых: если мы начнем сражаться с тем ничем, что у нас есть, мы в мгновение ока будем стерты с лица земли. Как видите, они сами приняли вашу политику. Но что тогда? »

«Но они считают меня ответственным за то, что я это принял, а?»

«У тебя тоже есть хорошие друзья, например, у меня».

«Когда война закончится, ты встанешь на мою защиту, не так ли? Я могу представить. Ты плюнешь мне в лицо, чтобы умыться ».

«Чтобы вымыться начисто? Пресесс, чего? Вы сами говорите, что невиновны. И если так, то я определенно невиновен. Мы оба внутри. . . невиновный. Нет ничего, от чего можно было бы умыться ».

♦ ♦ ♦

В декабре зима прочно захватила мир. Белое опрятное гетто было погребено под снегом. Ночью кусал мороз. Пресесс, всегда чутко относившийся к красоте зимнего гетто, в этом году оценили ее еще больше. Серый воздух отчаяния исчез. Белизна снега оживляла. Иссохшее тело Мардохея Хаима наполнилось энергией. Наконец-то поступили большие заказы на курорты, и в пустых больницах были организованы новые курорты портных. Гетто теперь состояло в основном из молодых евреев, и хотя они не были гигантами, у них были производственные способности, так что не было праздных потребителей еды. Даже группа детей, которым удалось выжить, была перерегистрирована, получила взрослые даты рождения и работала так же много, как и взрослые. Их сходство с детьми восьми или десяти лет было оптической иллюзией. Казалось странным, что их волосы были такими здоровыми светлыми, черными или каштановыми, а не седыми или белыми, как снег. Пресесс боялся проявить к ним свою любовь.

Пресесс пытался убедить себя, что чувствует себя рыбой в воде. Он расправил ласты, плывя вперед, заставляя себя не смотреть ни назад, ни вперед, а сосредоточиться на настоящем дне. Его сила действительно была ограничена, но то, чего он надеялся достичь, все еще было возможно. Он пытался в это поверить.

Половина окна в столовой была засыпана снегом. На стеклах мерцал иней. Пресесс был в доме один. Клара уехала на осмотр в Дом культуры, а слуги навещали своих родственников. Недавно Presess открыли для себя радость одиночества. В одиночестве ему не нужно было скрывать лицо, чтобы притвориться. Он мог позволить себе почувствовать себя лошадью, с которой на мгновение сняли седло. Он также мог позволить себе роскошь быть дряблым стариком. Сделать себя моложе стало огромным усилием. Действительно, он теперь сидел за своим столом, в одних штанах с опущенными подтяжками, воротник рубашки расстегнут, на ногах - теплые тапочки. С картины на стене над ним сильный, мужественный Мардохей Хаим со своим безмятежным и мудрым лицом смотрел вниз на старого Мардохея Хаима, который прислонился к столу, уткнувшись головой в руки, и сильно храпел.

Но затем раздался глухой стук в входную дверь, и Пресесс вскочил на ноги, на мгновение не зная, где он находится.

В коридоре появилась зеленая форма. Румковски снял очки с носа и неуклюже вытер их. Прежде чем он успел их снова надеть, посетитель уже сказал то, что пришел сказать, и исчез. Был ли он привидением? Мечта? Нет. Мардохей Хаим весь вечер ждал здесь зеленой формы и своего приказа. Там царили тишина и уют редкого мгновения, проведенного в его теплом доме, - чтобы быть раздавленным этим стуком в дверь. Теперь ему нужно было спешить. Герр Бибоу был нетерпеливым хозяином. Все немцы были нетерпеливы и не любили слишком долго ждать. Надо было быстро прыгнуть за ними, охотно принимая их злые указы, их удары, - и нужно было с благодарностью поклониться им.

Он поспешно натянул жилет, застегнул воротник, завязал галстук и подбежал к зеркалу. Он должен был выглядеть достойно. Старший из евреев не был каким-то нищим стариком. Он был царственным патриархом. Пусть уважают. Он быстро причесал волосы и схватил шляпу. В такой спокойный зимний вечер приглашение от Бибу означало судьбу. Он, Мардохей Хаим, снова станет ложкой, кормящей никогда не насыщавшееся чрево Молоха. Если да, то как можно говорить об уважении? Нет, если это был вопрос уважения, то это было уважение к самому себе. Вот в чем проблема. И вдруг в его голове промелькнула мысль. В последнее время Бибоу, казалось, не мог выносить его вида. Бибоу посмотрел на вождя евреев глазами каннибала. И Румковски услышал в себе холодный шепот: «На этот раз речь идет не о людях. . . но ты . . . твои кости. . . на собственной шкуре ». При этой мысли его сердце замерзло. Его страх рос.

Когда Клара вернулась с просмотра, ее мужа не было дома. Она бродила по дому в поисках знака, объясняющего его отсутствие в такой час. Вернувшиеся слуги не смогли ей ничего сказать, а те, кого она послала в Балутер Ринг, сообщили ей, что в окнах офиса Пресесса нет света.

Поздно ночью в доме появились пресессы. Его одежда была в беспорядке. Его левая щека была опухшей и красной. Он обнял жену с мальчишеским энтузиазмом. «Только одна пощечина, Клара, дорогая, только одна пощечина!» Он тяжело дышал, подводя ее к дивану. Он сел рядом с ней и прислонился головой к ее плечу. «Его рука щекочет», - прошептал он. «Он знает, что без меня у него не было бы гетто. . . что без меня ему пришлось бы пойти на фронт, и это, мой ангел, приводит его в ярость ».

Book Three 185

Глава тринадцатая

ТРЕТЬЕЙ *НОЧЬЮ Сперре,*в темноте и тишине, дверь хижины Буним со скрипом открылась, и в ней появилась тень. Тень, крохотная и тонкая, склонилась над Буним. «Я пришел принести тебе хорошие новости, дорогой сосед», - причитала тень. «Врата рая открыты ... Мессия прибывает ». Буним не двинулся с места. Его глаза были сухими, открытыми, он смотрел в сторону куклы, которая все еще лежала у двери. Стеклянные глаза куклы загорелись в темноте странным сиянием. «Дорогой сосед, ответь мне», - умолял голос тени. «У нас должна быть сила принять Мессию. . . Вот, я принесла вам лекарство от сердца. Возьми его в рот, и у тебя будет сила встретить его песней и танцем ». Рука искала уста Бунима. Конфета скатилась на пол. Ириска упал на колени, чтобы найти ее. Он добрался до кровати Блимеле и бросился на нее. Кровать скрипела, дребезжала, раскалывая горные черепа. «Ответь мне», - причитала маленькая кровать.

Буним вскочил на ноги. Он подбежал к кровати Блимеле, поднял человечка в воздух и толкнул его к двери: «Выходи!»

"Ответь мне!" человечек протянул к нему руки. «Он не придет, если ты мне не ответишь».

Буним почувствовал под ногами тело куклы. Лили поднимала к нему руки. "Ответь мне!" Он поднял Лили, ощупывая пальцами ее прохладную клееную кожу. Он отвел ее в кукольную карету. Из окна дул холодный ветер. Он накрыл Лили ее прикрытием.

Маленькая тень стояла у двери. Буним оставил его там и вышел на улицу, чтобы закрыть ставни. Блимеле подбежал к нему, голый и босиком, по прохладным камням. «Я хочу посмотреть, как ты закрываешь ставни, *Тейт».*

Он позволил ей наблюдать за ним, затем взял ее за руку и вошел в хижину. «Пойдем, дочка, давай начнем ночь». Маленькая тень стояла в раме открытой двери, не давая ему закрыть ее. "Я. . . I. . » Буним хрипло простонал: «Я не могу тебе ответить». Раскинув руки, он рухнул на кровать.

Он не выходил из хижины, и Человек-Ириска не уходил от него, приходя несколько раз в день и вопя перед ним, как сумасшедший. Буним почти не замечал его приходов и уходов. Его чувства притупились. Лишь парой внутренних глаз он ясно видел Мириам и своих детей. Он постоянно выходил с ними на свободу. Вся семья. Они гуляли по залитой солнцем улице, заглядывали в дома через блестящие окна в поисках нового дома. Мириам улыбнулась: «Я хочу теплую солнечную квартиру. Я хочу, чтобы плита работала хорошо. Мы так заморожены, Буним ».

Закрытые ставни не пропускали даже пятнышка света. В темноте, между четырьмя невидимыми стенами, Буним собрал все дни своей жизни, дни своего прошлого и дни своего будущего, а также дни жизни своей жены и детей. Он видел минуты и секунды, как будто у них было тело. Он почувствовал запах головы Блимеле, он прикоснулся к округлости бедер Мириам, он увидел морщинистую стариковскую голову своего новорожденного сына, его *каддиш.*Он слышал смех и рыдания. Вчера и сегодня были смешаны с завтрашним днем. Блимеле было семь лет. Она впервые пошла в школу. Она была старшеклассницей. Она была невестой. Он видел себя идущим с дочерью по ярким садовым дорожкам, безмолвно передавая ей все сокровища своего сердца. Он читал ей свои стихи. Он посвятил ей свои произведения. И сын, его *кадиш,*сидел с ним над открытыми томами Библии и *Гевнары.*«Я заблудился, отец», - пожаловался Буним своему новорожденному сыну, который носил имя его деда, проповедника Линчицкого. Сын, большой неизвестный мужчина, гладил Бунима по голове, утешая его: «Начнем с начала ...» Они вместе открыли Библию. «В начале сотворил Бог небо и землю. .. »

Где-то посреди ночи Буним запел, читая наизусть Пятикнижие, страницы Талмуда, Плач, Песнь песней, Экклезиаст. Густая тьма наполнилась светом и песней. Он был белоснежным, и не было ни ночи, ни дня.

Иногда дни, собранные в комнате, редели и ускользали. Буним объяснил себе, что дверь закрыта недостаточно хорошо. Затем он почувствовал, как его сердце бьется внутри и стучат зубы. Он вскакивал на ноги и искал свои очки. Не в силах найти их, он пытался с протянутыми руками найти дверь и запереть ее. Он слепо постучал в темноте, ударившись о кровать Блимеле, которая начинала мяукать, как котенок. Блимеле поднимала к нему руки со своей кровати. *«Татеш,*расскажи мне историю. . . » Он сел рядом с ней: «Жил-был рассказ ... совсем не счастливая история. Спи моя маленькая птичка, спи мое дитя. Я потерял такую ​​любовь, горе мне. . . »

Во времена *Сперре*полиция несколько раз собиралась войти в хижину. Но дверь была открыта, и они были уверены, что внутри никого нет. "Я все еще здесь!" Буним хотел им позвонить. "Возьми меня! Я на кровати Блимеле, и она не дает мне встать! » Ему показалось, что милиционеры уже схватили его.

Иногда он ловил себя, вовремя осознавая, что Ириска засовывает ему в зубы кусок репы. Маленький человечек не переставал болтать: «Ешь, ешь. У вас должны быть силы для настоящего прыжка наверх. Отсюда, от этой ямы, до высот совсем близко. Ешь-ешь, глупый мальчик, такой боли, как наша, почти не чувствуешь. Буним жевала репу, почти не видя, почти не слушая.

Когда ему хотелось, он спал с Мириам на кровати Блимеле. Соседи или коллеги, писатели, пришедшие утешить его, приводили его в ярость. Они разбудили его своим разговором и забрали из рук Мириам. Поэтому он позволил им сидеть и забыл о них.

Со временем он проснулся, но не выходил из хижины. Он привык ходить по комнате, напевать, бормотать, разговаривать сам с собой. Он не нашел своих очков; он их тоже больше не искал. Его ноги научились видеть в темноте. Но его походка не пошла на пользу. Это сбивало с толку мирные образы, которые он вызывал в своей памяти. Это его беспокоило. Это усиливало его страсть, заставляя его слабые ноги набирать все большую скорость, из-за чего он не мог снова лечь. Теперь он мог только от изнеможения упасть на кровать Блимеле, его крики боли смешивались со скрипом пружин матраса.

Доктор Сонабенд, который заменил Бунима в Газовом Центре и который сам был удачливым человеком, чьи жена и сын все еще были с ним, каждый вечер приносил суп Бунима. Буним стал его ждать, торопливо расхаживая, разговаривая и напевая про себя. Он очень хорошо знал, что уходит от света и покоя, входя в пустоту, жаждущую супа. Доктор Сонабенд был воплощением доброты. Он тихо прошептал: «Шесть, семь кусочков картофеля в суп». Доктор Sonabend, то *Иуда*из Праги, был демон , который выключил свет. Буним прогнал его. Наполненный супом, он продолжал расхаживать, внутренне завывая. Он бросился к шкафу и начал копаться в ящиках. Он мял платья Мириам, ее нижнее белье, нижнее белье Блимеле. Он умолял одежду о помощи, призвав тела, которые когда-то заполняли ее. Они привели его к невыносимой боли. В промахе маленькой девочки открылась пустота невыносимого мира.

Он начал наслаждаться едой, которую приносили ему соседи и друзья. Ириска принес ему свой рацион, и Буним съел его за один прием. Он зажег огонь в печи, чтобы приготовить полученную муку. Он открыл дверцы шкафа и увидел, что горшки Мириам смотрят на него, как пустые глазницы. Он дотронулся до одного из них, и все разразились грохотом. Он ел приготовленную пищу, стоя у плиты. Глядя на огонь, он напомнил себе о чем-то, вошел в другую комнату и вернулся с бухгалтерской книгой. Внутри лежали исписанные его почерком страницы, главы его стихотворения. Он также достал откусанный карандаш, подошел к плите и снял конфорки. Он судорожно рыдал, пытаясь протолкнуть свернутые бумажные листы через горелки в огонь. Но затем он увидел руки Мириам на языках огня, отталкивающих дар, отказывающихся его поглотить. «Не убивай меня снова!» - прошипела она из печки. Он швырнул на пол полусклеющие простыни и закончил есть свою вкусную еду.

Он начал опасаться, что он распадается в хижине, которая удерживала его на другой стороне жизни. Он должен был выбраться из этого и спастись. Ириска нашел свои очки и умолял его: «Пойдем со мной помолиться».

«Да, отведи меня к Священным свиткам».

Буним не видел улиц и не слушал маленького человека рядом с ним. Он увидел себя стоящим перед хранилищем Священных Свитков. Двери Священного Ковчега были открыты. Он держал их обеими руками. Внутри него прятался Блимеле. Обложка «Свитков» была сделана из домашнего платья Мириам. Буним уткнулся в него головой и нащупал пергаментное тело Мириам своим лбом. "Где ты?" Лава бессмысленных пустых слов хлынула из его измученного сердца, словно из вулканической ямы.

Зима стала жить с ним в его избе. Сквозь щели в стенах свистели бури, кое-где сквозь стены влетал снег. Снаружи грохотали закрытые ставни. Буним спала на кровати Блимеле, накрытой всеми постельными принадлежностями. Ночи были теплые. По пути сна к нему возвращались яркие образы. Он двигался в существовании, напоминающем спиральные нити на головокружительно катящейся катушке. Они увлекли его за собой, запутав узлами. Он оказался в лабиринте разговоров, Мириам, Блимеле, в водовороте улыбок, взглядов, прикосновений и запахов. Все вместе,

все отдельно. Он просыпался без сожаления, без радости; откройте глаза и обнаружите, что ему холодно и вялость. Он оделся, надел черное пальто с волосатым воротником и пошел работать в Газовый центр. Он сидел, не подозревая о том, что происходило вокруг него, и смотрел на старые странные часы, которые, казалось, забивали гвозди небытия в безвременное пространство. Он отмечал непонятные минуты и часы, вел бухгалтерию и тосковал по супу; тоска по фляге жидкости, которую он проглотил или которая поглотила его.

Поздний вечер. Целый день солнце не уходило с неба, стоя на замерзших оконных стеклах Газового центра. Шла оживленная игра между морозом и солнцем снаружи и паром внутри. Буним сидел за своим столом, ведя счета. Весь день он чувствовал солнце на своей спине. Это было похоже на дружескую руку, которая подбивала его, ободряла: «Сегодня! Сегодня!"

Потом солнце исчезло, и иней начал заполнять щели на стеклах. «Потребители» пришли со своими горшками, чтобы согреть ужин. Все горелки гудели; пламя облизывало весело пузырящиеся горшки. Покрытия щелкнули, выпуская столбы пара, как дыхание из открытых ртов. Пар окутывал головы ожидающих и поднимался вверх, покрывая туманом стекло старых часов. Он заставлял стены сиять, когда заходил на потолок, свисая там, как облако, по небу. Только свет электрической лампочки светил. Лампочка была похожа на бледное далекое маленькое солнце или луну, смотрящие на землю сквозь длинные ресницы своих лучей.

«Потребители» крепкими пальцами схватили горячие кастрюли. То тут, то там кто-то помешивал его горшок, выпуская в воздух чудесный аромат. Женщина дрожащей рукой поднесла к губам ложку, пробуя суп, давая его на вкус членам своей семьи. Одинокие мужчины и женщины ели из своих кастрюль во время готовки, а затем вынимали их пустыми из горелок. Вдоль стены стояла очередь ожидающих горелки. Буним больше не держал их снаружи. Он не возражал против хаоса. Люди в очереди нетерпеливо топали ногами. Пол был засыпан грязью и темным снегом. Деревянные башмаки плескались в лужах. От пола холод поднимался по их ногам, но лица и руки казались теплыми.

«Потребители» открыто высмеивали сумасшедшего менеджера Бунима. Они проверяли его, потому что он часто ошибался в отсчете времени или брал слишком много. Он перепутал их имена, и, если бы не их добрые еврейские сердца, знавшие, что ему незачем завидовать, воцарился бы настоящий хаос. Несколько постоянных «потребителей» позаботились о том, чтобы Газовый центр работал больше. или менее правильно. Они следили за тем, чтобы выплачивалась нужная сумма, так что Буниму редко приходилось добавлять деньги из собственного кармана. Ему оставалось только смириться с издевательствами, и это было несложно.

Сегодня он остался один. С улицы пришла женщина с новостью: «Снова ходят слухи. Говорят, лицо Румковски вызывает проблемы ».

Ряд перед горелками стал неспокойным. Чтобы успокоиться, люди делали глоток из кастрюль. Женщина схватила горшок с плиты и с мстительным удовлетворением обратилась к людям: «Значит, мне повезло больше, чем вам. Мне больше нечего бояться ». Она сфокусировала свой взгляд на маленьком существе в таких длинных штанах, что они полностью закрывали его туфли, и в такой огромной шляпе на голове, что полностью скрывала его лицо. «Скажи мне правду», - попросила она. «Сколько тебе лет, девять или десять?»

"Семнадцать!" - гордо ответил ребенок.

«Моему Seinvel тоже было десять лет». Она покачала головой и уткнулась лицом в горшок.

Разговор стал общим, как если бы собрались члены одной большой семьи. Женщина из этой линии сказала: «Мои родители были достаточно мудры, чтобы умереть в 1940 году, поэтому они избежали всех неприятностей и эвакуации. У меня был жених и ... "

Высокий, худощавый мужчина с непрерывно текущим носом перебил ее: «Какая разница? сегодня или завтра каждый следует за своей Звездой Скорби. Спасение у нас за спиной, но смерть у нас на глазах ... »

Двое молодых рабочих из Metal Resort, оба грязные и покрытые жиром, отругали человека за его пессимизм. Он не знал, о чем говорил. На самом деле, говорили они, к спасению можно практически прикоснуться руками. У немцев была тяжелая зима. Им пришлось отступить на русском фронте. Африка была почти освобождена, и в 1943 году война должна была закончиться. Рабочим приходилось говорить все громче и громче, потому что у одной из горелок разгорелась перестрелка. Две женщины дрались за свою очередь.

Буним поднял голову от кассы. Разговоры, крики, напряжение. Часы остановились? Он этого не слышит. От пола поднимается холодный воздух. В грязи плещутся деревянные башмаки. Пар, идущий от кастрюль, поднимается к потолку. Электрическая лампочка - насмешливый глаз - всматривается в причудливые фигуры, покрытые тряпками. Он смотрит вниз на смятые лица, острые носы, глубокие глазницы, впалые щеки, покрытые волосатым мхом, с смертоносными сорняками. Рты скручены в гримасы, наполненные горем, болью, ужасом. Так много разговоров; слова падают на гул горелок, прыгают, разбиваются. Гудящие горелки уносят их. Они куда-то уезжают. Пламя облизывает горшки, обнимая их сине-зелеными языками. Горшки пузыряются, шипят, поют. Руки поднимают крышки, ложками размешивают драгоценные жидкости. Из носов, из открытых говорящих ртов вода капает в горшки, наполняя их. Здесь готовят священные волшебные бульоны. Завязывающие сказки переходят из одного горшка в другой. Между покрытыми паром стенами втайне тяжело дышит зеленая жаба, ее зеленый зоб движется вверх-вниз; зеленая жаба тоски.

Буним смотрит, но не видит. Он слушает, но не слышит. Он знает, что его переместили в фургон с множеством пар колес, сделанных из газовых горелок, что его несут на крыльях покрытых туманом часов - к встрече, которая его ждет. Все, что он знает, это то, что стены плачут слезами. Хорошо, что стены иногда могут плакать.

«Потребители» исчезают. Гаснут одна горелка за другой. Шум стихает. Грязь перестает хлюпать. Кто-то желает ему доброй ночи. Другой «потребитель» велит Буниму подарить ей завтра лучшую горелку и позволить ему, не дай бог, не забыть об этом. Маленький девяти- или десятилетний мальчик берет горшок в руки и просит Бунима открыть ему дверь. Там больше никого нет, кроме высокого человека, который стоит в углу и ест свой горячий суп. Он уже снизу чешет. Как клоун, он переворачивает горшок, колотя в нем ложкой, как язык в колокольчике. «Наша звезда сияет ярко, пора начинать ночь!» Когда он смеется, его голос хрипит от гравийного шума движущихся песчаных дюн.

Газовый центр пуст. Горелки перестают работать, и Буним Беркович знает, что приехал. Он встает и смотрит на ряды безмолвных горелок. Над ними парит облако пара; сквозь туман заглядывает электрическая лампочка. Он улыбается плачущим стенам. Буним уходит из-за стола. Его ноги холодные. Влажность пола просачивается сквозь носки. Его ноги затекли. Он еле двигается, но все же подбирается к горелкам и включает их. Огненный венок танцующих по кругу цветов. Буним стоит над одним из цветов, грея руки. Он смотрит на стены и морозное окно.

"Бог!" он шевелит губами. «Позволь мне снова стать целым. Верни мне то, что ты отнял у меня. Возьми меня в мир. . . где Блимеле, а также Мириам и мой сын, которые никогда не вырастут. Освободи меня от моих затруднений, Боже, если ты меня слышишь, предложи мне бальзам своего милосердного согласия ». Он чувствует, как влажность стен вытекает из его глаз, стекает по щекам и капает с его губ вместе со слюной, заставляя горелку перед ним шипеть и кипеть. «Боже, - рыдает он, - у меня есть сила. Ничего ... Ты трусом меня не заберёшь. Я не боюсь. Я бы кормил свои дни жаждой мести, если бы знал, что месть вернет мне Мириам, Блимеле и моего сына. Боже, мой счет с миром никогда не будет прямым, ни мой счет с тобой, ни с людьми, ни со мной. Будьте милосердны. . . Позволь мне вернуться домой. . . »

Он вытирает щеки рукавом и ходит от одной горелки к другой, выключая их. Затем он снова их включает. Он не вынимает спички из кармана. Горелки шипят, как заговорщики, как подземные змеи. Их звук наполняет комнату. Воздух насыщен резким запахом газа. Буним больше не чувствует холода в ногах. Он чувствует себя легким и комфортным во всех конечностях. Он возвращается к столу, садится, снимает очки с глаз и кладет их перед собой. Он закрывает голову руками. Он хочет, чтобы Блимеле выбежал поприветствовать его.

Писк. Стук. Холодный резкий ветер хлестает мозг Бунима: Дверь! Он забыл запереть дверь!

Над ним стоит Тофифи. «Пфуи. . . пфуи ... от мужчины такая вонь. Благословен Всевышний за то, что вовремя послал меня. Выходи поскорее! На свежий воздух! »

Его влажные глазки блестят. Взволнованно он изо всех сил тянет Бунима за рукав. Буним не может двигаться. Ириска кидается от одной горелки к другой, выключая газ. Он открывает дверь пошире и подходит к столу с кувшином воды. Буним мысленно кричит ему: «Убирайся отсюда! Из!" Он сжимает губы, отказываясь сделать глоток.

Маленький человечек все тянет его, болтая: «Ты еще не способен побыть один, дорогой сосед. Уметь побыть одному - это высокий уровень, доступный только избранным ». Он накрывает Бунима пальто и, понимая, что не сможет его нести, распахивает окно. В комнату влетает сквозняк, считая новые седые волосы Бунима. Маленький человечек стоит над ним и скулит: «Нас подняли на дно бездны, понимаете? Нас подняли на самые глубокие глубины. Ни один человек никогда не видел того, что мы видели, никогда не слышал того, что имеем. Неудивительно, что мы ослепнем, не удивительно, что мы оглохнем, неудивительно, что мы сойдем с ума. Вот пустынный *Пардес,*из которого лишь немногие могут выйти целыми. Они должны видеть и не ослепнуть, слушать и не оглохнуть, не утонуть в боли и не сойти с ума. Они, немногие, должны нырнуть на дно, где похоронены золотые рудники Истины. Как водолазы они должны собрать жемчужины *пшата, Ремез, д - р пепла ..*. Они должны раскрыть секрет. Тебе предназначено быть водолазом, дорогой сосед, так что делай, что должен. . . А теперь дай мне хорошую горелку, чтобы согреть мой горшочек.

♦ ♦ ♦

Буним больше не пыталась покончить жизнь самоубийством. Он чувствовал себя человеком, который приехал слишком поздно, чтобы успеть на поезд, и остался один на пустой станции. Он упустил возможность. Он знал, что он останется, что он и два сумасшедших с Человеком Ириски должны были создать своего рода сущность ясновидения.

Его тело перемещалось между двумя точками гетто: между его хижиной и Газовым центром. Он очутился в яме тупости. Его разум застыл. Только его тело не спало, чувствуя голод и холод. Он служил своему телу с преданностью робота. Ириска беспокоила его меньше. Его соседи тоже забыли о нем. Только в Газовом центре он общался с людьми. Но эти люди были фигурами; разговаривают, кричат ​​марионетки с горшками в руках. Он манипулировал ими, приставлял к ним горелки, забирал их деньги и не имел с ними никаких других контактов.

Однажды вечером появилась женщина с крошечным горшком в руке. Женщина была миниатюрной, с маленьким изящным лицом, словно высеченным из камня. У нее была пара глаз тихих, как два чистых колодца. Когда она стояла у горелки, завернувшись в складки пледа, в ней царила немота, неподвижная грусть. Она казалась статуей печали. Она повернулась к Буним спиной, склонив голову над горшком. Буним обнял ее фигуру взглядом. Что-то звало его из ее спины, из всего ее существа. Он подошел к ней.

«У вас есть такой горшок. .." он сказал. Она открыла рот, как будто собиралась что-то сказать или улыбнуться ему. На ее губах лопнул пузырь слюны. Она быстро выключила конфорку, взяла горшок и направилась к двери. Он прыгнул вперед и повернулся к ней лицом: «Куда ты идешь?»

Она не проявила никакого удивления по поводу его странного вопроса. «Домой», - ответила она, обматывая горшок своим пледом, как будто боялась, что он отнимет его у нее.

"Как твое имя?" - спросил он, не зная почему.

"Моя?" Похоже, ей было трудно вспомнить свое имя. "Моя?"

«Меня зовут Беркович. Буним Беркович, - представился он.

«Спокойной ночи, мистер Беркович».

Когда она в следующий раз появилась в Газовом центре, Буним решила последовать за ней и посмотреть, где она живет. Он вышел с ней на улицу и остановил ее. «Могу я навестить вас?»

Они смотрели друг на друга не глазами, а открытыми ртами. Горшок трясся в руке женщины. Она показала ему, где живет.

В другой день она пришла, когда он собирался закрыть Центр, и они вместе ушли. Она побежала впереди него. Ее приоткрытый плед взлетел в воздух, как пара крыльев. Из ее кастрюли по спирали хлынул пар. Буним последовал за ней, его черное тяжелое зимнее пальто было расстегнуто, его хвосты развевались, как пара крыльев. Женщина поднялась по лестнице и вошла в темную комнату. Буним ударилась о нее в темноте, и суп из ее кастрюли разлился. Они оба испуганно вскрикнули: «О!» и отскочили друг от друга. Он искал женщину руками, нашел ее влажное теплое лицо и упал губами на ее губы. Ослепленные, они оба раскачивались по комнате, приклеенные друг к другу. Кровать застилала их в темноте, как качели. Пустой горшок выпал из руки женщины.

С этого дня он начал видеть людей, замечать их лица. Он начал слышать их голоса и слушать, как они говорят. Опять начал поглощать ... так же, как и когда-то давно. Он ясно чувствовал, что возвращается из долгого путешествия. Но когда он снова попытался навестить незнакомую женщину, она включила свет. Вдоль стен стояли три заправленные кровати. Указывая на них, она представила ему свою потерянную семью. «Здесь я спала с мужем. Это кровать моей дочери Сони, а это кровать маленького Гершона и маленького Исаака. Я запер их всех и пошел за брикетами. Разжигать печь было нечем ». Она предложила ему стакан подслащенной воды. Ее тихие глаза ласково ласкали лицо Бунима, его близорукие глаза, завитки его седых волос. «Я не хочу больше ни к кому привязываться», - прошептала она.

«Я тоже», - ответил он, встал и ушел. В ту же ночь он обнаружил семнадцать полуобугленных глав своего стихотворения на полу, куда он их бросил. Он впервые включил свет. Он начал восемнадцатую главу.

Страстный порыв унес его. Он не знал о днях и ночах, о часах работы в газовом центре, о еде и сне. Он жил только на страницах бухгалтерского реестра. Его стихотворение стало его домом, его миром, его стремлением и его выполнением, его мечтами и его реальностью. Блимеле и Мириам снова были с ним, вокруг него. Они направляли его карандаш. Это были его Блимеле и его Мириам, близкие, как его собственное тело, но они оба стали могущественными. Он был вынужден взглянуть на них. Он едва мог обнять их своими словами. Комната была для них слишком маленькой, кровати слишком узкими. Они выходили на улицы. Спали на тротуарах. Их дыхание парило над гетто.

Он был в лихорадке. Иногда по его лицу струями струился пот, иногда он дрожал от холода. Он хотел избежать восемнадцатой главы своего стихотворения. Он не мог снова погрузиться в водоворот ужаса, вызванный *Сперре.*У него не было сил вернуться к своей двери и посмотреть на сломанный замок. Как упрямый вол, он часами ходил по замороженному двору, боясь листов бумаги, своего карандаша. И, как обреченный бык, судьба которого висела на петле на шее, он наконец позволил тащить себя к своему столу. Когда он сел к нему, сдавшись, всепоглощающая лихорадка вернулась к нему, заставляя его в моменты, которые были настолько острыми, что у него перехватило дыхание. Он кусал губы до крови, подавленный смирением и чувством вины. Было грехом передать такое переживание словами. Он отдалился от слов. Ему потребовались часы, чтобы заставить себя отшлифовать пропитанную горем бурную строфу и вписать ее в шаблон ритмов и рифм - красоты? Он презирал себя, он проклинал себя, но он знал, что старый голубь вернулся к нему, ворковав от радости творения. Слово, жалкое, пустое и стертое, все еще имело магическую силу, чтобы возродить воспоминания об исчезнувших мирах - и выжить в них.

Восемнадцатая глава была закончена. Буним почувствовал облегчение. Но теперь он оказался в пустоте другого рода. Вид бумаги вызвал у него отвращение; это его тошнило. Его усталая голова тосковала по подушке, телу хотелось, чтобы лежала постель, чтобы вытянуться и уснуть. Но он не мог оставаться под одной крышей с полными листами бумаги и сохранять душевное спокойствие. Снова ему захотелось скатать их все и бросить в огонь. Его желание сделать это было настолько сильным, что ему пришлось сбежать от него и выбежать на улицу.

Закутанный в тяжелое зимнее пальто, он носился взад и вперед по пустому двору, кружась по замерзшему стволу вишневого дерева. Мороз обжигал ему лицо и покалывал руки и ноги. Земля сверкала снежными бриллиантами. Были сумерки, и ранняя зимняя тьма окутала гетто. Буним вышел на безлюдную улицу Хоккеля. Все окна были темными, заклеенными плотной бумагой или пледами. По тротуарам гулял безумный ветер. Он не спал, как будто морозные иглы укололи его чувства. Затем его охватило беспокойство за сохранность своих письменных страниц, которые он оставил на столе. Он боялся, что огонь в печи выскочит, чтобы схватить его работу и поглотить ее, или что шторм откроет дверь, которую он больше не запирал, и сметет незакрепленные простыни. Внезапно ему показалось, что он оставил в своей хижине сокровище, которое он должен был охранять больше, чем свою жизнь. Он поспешил назад и нежными дрожащими пальцами собрал листы бумаги. На их границе он подписал свои инициалы. Он взял написанные листы и подошел к окну, где стояла кукольная коляска Блимеле. Он взял Лили и сделал для нее матрац из своих восемнадцати глав. Затем он лег на кровать Блимеле, накрылся одеялом Блимеле и всеми остальными постельными принадлежностями. Он спал спокойным сном без сновидений.

В следующие дни он гулял в надежде найти пару ушей, чтобы послушать свои главы. Возможно, он таким образом освободит себя от них или освободит их от себя, размышлял он. Он решил отвести их к поэтессе Саре Самет.

Услышав его стук, сосед Сары открыл дверь напротив. «Там никто не живет», - сообщил он Буниму.

«Семья Самет?»

Сосед пожал плечами.

Желание прочесть его стихотворение кому-нибудь надолго покинуло Буним. Потом оно вернулось, и он снова сунул восемнадцать глав в карман. На этот раз он пошел повидать Винтер. Владимир Винтер был правильным человеком. Буним нуждался в его резкой критической оценке. Он хотел, чтобы Зима рассекла, разорвала его на части, разорвала и рассекла сущность, которую создал он, Буним, чтобы увидеть, есть ли в этом что-то большее, чем иллюзия. Зима была холодным безжалостным судьей. Буним почти радостно подбежал к нему, его лицо пылало, как у мальчика- *хедера*. Его сердце, которое в последнее время начало бешено колотиться при малейшем волнении, теперь собиралось выпрыгнуть из его груди.

Молодая темноволосая женщина сбежала по лестнице дома, где жила Винтер. Она посмотрела на Бунима угольно-черными глазами, затем остановила его: «Разве ты не узнаешь меня? Дочь Цукермана. Мы были соседями на Хокель-стрит ». Он пробормотал приветствие и попытался пройти мимо нее, но она не позволила ему. «Вы, наверное, собираетесь увидеть Зиму? Так что я сэкономлю тебе сотню ступенек ". Она потащила его за собой. «Он находится в *Wissenschaftliche Ab teilung.*Пойдем, я расскажу, как туда добраться ». Она продолжила насмешливо: «Никогда не слышала о *Wissenschaftliche Abteilung*?» Он шел рядом с ней, радуясь ее живости и разговорчивости. «Они делают витрины для немцев», - пояснила она. «Еврейский образ жизни. Если хотите знать, мне не нравится все предприятие. Слишком сильно пахнет ... Не знаю чем. Но не воспринимай меня всерьез. У меня есть привычка ничего не принимать в гетто за чистую монету ... Я должен знать, откуда ноги растут ». Он был так занят, пытаясь не отставать от нее, что едва слышал, что она говорила. Она привела его к Baluter кольцо и показал ему , где *абтайлюнг*находился. Она попрощалась с ним, смеясь: «Вы понимаете, насколько прекрасен свежий воздух? Я слышал, что вы поэт, так что вы должны это почувствовать ». Она поспешила прочь по мерцающему снегу. Он почувствовал свежесть воздуха и глубоко вдохнул.

Как только Буним вошел в *Wissenschaftliche Abteilung,*его глаза увидели фигуру *Рабинера*в аккуратном черном сюртуке и его бледное лицо, лицо, которое *напомнило*ему довольного веселого Христа. R *abiner*вышел вперед с вытянутыми руками. «Пожалуйста, войдите», - ободряюще сказал он. Его светлые глаза приветствовали посетителя. Он внимательно разглядывал медвежью фигуру последнего, длинное зимнее пальто с волосатым меховым воротником и шапку, окруженную прядями седых волос. Его взгляд остановился на морщинистом лице с близорукими глазами, расположенными в паре водянистых мешков. Буним попросил Зиму, и *Рабинер*знакомо улыбнулся. «Вы принадлежите к его толпе, не так ли? Да, он здесь. Заканчиваем шоукейс, и я пригласил его высказать свое мнение. Вы еще не видели нашу выставку? »

Буним посмотрел на столы, покрытые всевозможными бумагами, красками, материалами, и заметил среди рабочих какие-то знакомые лица. В то же время он заметил, что в комнате было тепло. Он расстегнул пальто и позволил *рабби*провести его в другую комнату, чтобы посмотреть выставку. Винрер немедленно вышел ему навстречу. Он с большой помпой познакомил его с *раббирем,*«поэтом. Наш поэт! »

Свет в R *abiner в*глазах блестели. Он взял Бунима за руку и повел по витринам. Буним опустил глаза на стеклянные панели. Он увидел свой родной город Линчице ... свою улицу, колодец, синагогу ... девушки с кастрюлями *чолента*в руках. Однако было в этой сцене что-то неприятно-гротескное, или это только ему показалось? *Рабинер*не снимал его глаз от лица Бунима, хотя он не просил , какое впечатление выставки произвела на него. Затем, когда Буним закончил осматривать выставку, он пригласил его в свой кабинет. Зима уже сидела с чашкой кофе. Его лицо стервятника было оживленным, почти веселым.

«Итак, ты наконец нашел меня», - воскликнул он, - «И здесь я жаловался на своих друзей. Правда в том, что сегодня дружба нужна больше, чем когда-либо, иначе чувствуешь себя застрявшим посреди пустыни. Мое тело горит лихорадкой и тоской по человеческому лицу. Если вы сейчас смотрите на меня, Беркович, у меня температура около тридцати восьми градусов. Пойдем, пойдем ко мне. Моя духовка еще теплая, а я приготовила *бабу ».*

*Рабинер*смотрел на Зимы с укоризной, «Посетитель только что пришел, и вы уже хотите забрать его?»

«Он мой гость», - отрезал Винтер.

У *Рабинера,*похоже, был план, чтобы заставить Бунима остаться, потому что он исчез из комнаты и вернулся в следующее мгновение с Рэйчел Эйбушиц рядом с ним. Он познакомил ее с Буним. Она слабо улыбнулась ему, пожимая ему руку.

«Мы знаем ее дольше вас». Винтер махнул рукой в ​​сторону *Рэбайнера.*

«А вы знаете, что она пишет?» *Рабинер*не сдавался в его усилиях , направленных на пробуждают интерес посетителей. «Она помогает мне переводить псалмы на идиш. Давай, Рэйчел, давай послушаем стихотворение.

Лицо Рэйчел покраснело. Ее плечи опустились, и она, казалось, была готова выбежать из комнаты. Но *Рабинер*взял ее за руку и заставил сесть рядом с ним. Он наполнил чашки кофе для нее и Буним и посмотрел на Рэйчел с отеческим ожиданием.

Буним украдкой взглянул на девушку, которая смотрела на дверь, потягивая кофе, как будто она ждала подходящего момента, чтобы исчезнуть. Он помнил ее с тех времен, когда жил другой жизнью. Короткие каштановые волосы, покрывающие ее лоб клубящимися локонами, густо сияли, словно плывя к нему теплыми волнами. Он не мог видеть ее лица, так как она не отнимала чашку ото рта. Он увидел полоску света на ее затылке, полосу белой кожи, подчеркнутую каймой темно-красного шарфа, который она носила на плечах, завязанного свободным узлом на груди. Пока *Рабинер*продолжал восхвалять своего работника, Буним почувствовал, что краснеет от стыда, который он прочел на лице Рахили. «Вы писатель, вы должны ее послушать», - настаивал *Рабинер*. «Поверьте, она талантлива».

Винтер прервала его: «Талантлива она или нет, мы узнаем только через десять лет. Теперь она пишет с талантами юности ». *Рабинер*был назван снаружи одного из рабочих. Рэйчел поспешно поставила чашку и встала. Винтер схватил ее за запястье. "Скажи мне . . . возможно, вы знаете ... для каких дьявольских целей вся эта работа? Мне это совсем не нравится . . . И мне кажется, что это место вот-вот ликвидируют. Пришел приказ немедленно закончить все, что мы начали ... »

У Рэйчел не было времени ответить, как снова появился *Рабинер*. Он встал рядом с Рэйчел и отцовским тоном призвал ее: «Давай, Рэйчел, мы ждем».

Она покачала головой: «Вы же знаете, что я не пишу серьезно».

*Рабинер*сжал губы , улыбаясь и открыл ящик. «В таком случае пусть правда выйдет наружу», - сказал он тайно, вытаскивая толстую тетрадь. «Ваш отец скопировал это для меня». Рэйчел села на стул, глядя на *Рабинера*большими изумленными глазами. Он был в восторге от ее скромности. «Что случилось, Рэйчел? Хочу познакомить вас с ценителями. Здесь сидит человек, - он указал на Бунима, - который сам поэт. Ее взгляд неохотно упал на Буним. Только сейчас она заметила его опухшее лицо, такое искривленное и изменившееся, что он казался другим человеком.

Буним поймал ее взгляд. «Прочтите, - сказал он.

Она взяла тетрадь из руки *Рабинера*и на мгновение пролистала страницы, а другой рукой играла с узлом шарфа. Казалось, что вуаль упала с ее лица, сделав его более четким и открытым. Буним внезапно почувствовал побуждение прочитать девушке восемнадцать глав своего собственного стихотворения. Ему казалось, что ее уши впитают его строки, не так, как он хотел, чтобы их впитала Зима, а так, как кто-то впитает мелодию, созданную специально для него. Кроме того, лицо девушки привлекало его своим таинственным видом, дразнил его любопытство. Каким бы открытым и свободным ни казалось теперь лицо, оно все еще было покрыто слоем тайны.

Она облизнула губы и начала читать стихотворение о еврейских мальчиках и девочках, едущих по зеленым пастбищам Польши; через поля и леса, полные жизни, полные молодых крестьян и молодых животных, в то время как мир со всеми его прелестями убежал от них. Это была ритмичная наполовину напевная, наполовину устная декламация, во время которой Рэйчел раскачивалась на стуле в такт строкам. Сами слова были резкими, отрывистыми. Ее слушатели качались в креслах вместе с ней. На мгновение комната превратилась в трясущийся товарный вагон. Как только Рэйчел закончила, тишину нарушил неприятный скрип стула Бунима.

"Спокойной ночи!" - крикнул он преувеличенно громким голосом и неуклюжей поступью поспешил из комнаты. Зима побежала за ним.

Работа в *Wissenschaftliche Abteilung*закончилась на полчаса раньше, чем на других курортах. Обычно Рэйчел спешила домой, чтобы использовать полчаса для себя. Но сегодня ей стало тяжело, лениво. На голове у нее был красный шарф, а пояс пальто был затянут вокруг талии, чтобы ей было теплее. Ей нравилось неспешно гулять по белому тротуару между белыми домами и слушать голоса внутри себя. Перед ее мысленным взором стояло измученное лицо Берковича, и она чувствовала себя виноватой за то, что решила процитировать именно это стихотворение в его присутствии. Каким-то образом ей не удавалось высвободиться из морщин на его лице.

Внезапно она увидела, как он вышел из переулка. «Я ждал тебя», - пробормотал он. Их глаза встретились в слабом газовом свете в углу. В этом свете их лица приобрели желтовато-зеленый оттенок, как будто они были прикрыты маской или освобождены от нее. Морщинки на его лице теперь не было видно, толстые губы казались почти черными. Они слабо ей улыбнулись. Глубокая теплая тьма заполнила блики его опухших глаз. Снег беззвучно припудрил козырек его фуражки.

«Простите, что прочитал это стихотворение. Это не имело смысла, - прошептала она.

От нежности и боли его лицо казалось красивым. Казалось, что в нем запечатаны все фазы его жизни. «Возможно, смысл только в бессмысленности», - сказал он. «Наше священное безумие».

Они начали медленно идти, лицом друг к другу. Рэйчел сказала: «Я начала работать с глиной. Ты знаешь почему?"

«Чтобы придать священному безумию три измерения».

Она тихо засмеялась, затем наклонилась к нему с неожиданной интимностью: «Во мне есть две комнаты. У меня нет ключа к ним, и они открываются, когда им заблагорассудится. Первая камера загромождена, кипит от шума. Внутри все в беспорядке и разбросано. Но в счастливые моменты открывается другая комната. Он наполнен светом и покоем. Итак, понимаете, иногда я чувствую себя виноватым за то, что вошел в эту комнату, думая, что, возможно, это мой долг - чувствовать себя разорванным на части ».

Беркович ответил несколько нетерпеливо: «Вы избалованы. Я не сталкиваюсь с таким выбором ».

Рэйчел подумала, что она сказала то, чего не должна была говорить. Мужчина, идущий рядом с ней, был без брони. Она боялась говорить дальше, но молчать было напрасно. «Вы меня не понимаете!» она закричала. «Я не хотел сказать .. . Во всяком случае, я думаю. . . это искусство, вся философия и религия, все, что называется гуманизмом, предстает здесь перед судом. Что если мир будет продолжать существовать, ему придется думать по-другому, создавать по-другому ... быть другим. И мы должны быть теми, кто начинает с нового ... Не знаю как. . . »

«А я, видите ли, - он разгорячился, - я пишу свое стихотворение в традиционной старой форме. Четыре строки, первая рифмуется с третьей, вторая - с четвертой. Да, это должно быть рифмой. Я цепляюсь за ритм и рифму ... в противном случае я бы взорвался. Возможно ты прав. Возможно, грех применять старые формы, как ни в чем не бывало. Возможно, у меня нет сил дать ему новое платье ».

Она нерешительно сказала: «Интересно, можно ли вообще написать роман о гетто. Как можно писать, не обращая внимания на время? С другой стороны, если дождаться перспективы времени, воссоздать специфическую атмосферу этого места станет невозможно. Так что, возможно, наша жизнь должна быть записана в настоящем времени. А для этого нам действительно нужна новая форма ». Она затаила дыхание и вздрогнула. Она почувствовала гудение в ушах. Ее мысли были разбросаны. Она с трудом могла вспомнить, что хотела ему сказать. И все же ей как-то удалось продолжить: «Но тогда возникает вопрос: как искусство может быть хаосом? Как ты можешь вписать то, что не имеет формы, в форму? » Ее лицо пылало. Она подняла воротник. Она заключила пьяным мелодраматически громким голосом: «Мы живем на острие ножа, который разрезает историю на части. . . »

Он схватил ее за руку и повернулся к ней всем своим телом. «Да, будет новая хронологическая система, эпоха до и эпоха после нас. Мы пограничные. Вместе с нами все разрушается, новое будет строиться на основе нас. Я хочу прочитать вам свое стихотворение. Тебе холодно? Могу я прийти к вам завтра? Понимаете, - он возбуждался все больше и больше, - у меня такая же проблема с моей работой, хотя это поэзия. Потому что это тоже эпопея. Понимаешь? Я не могу позволить себе ждать перспективы. Я должен фиксировать каждый момент на бумаге, как это бывает. Вот что мы должны делать в такие времена. Ты прав. Позже вы можете вспомнить такие времена, но тогда память уже поставила барьеры, которые ваше подсознание запрещает вам пересекать. А также порез ножа ... топор Судьбы, его внезапный удар. . . И опять же: писатель должен оставаться вне эпического произведения. Они говорят, что чем больше он избегает этого, тем успешнее его результаты. Но как я могу держаться подальше? Даже если бы я мог, я бы не хотел. Поэтому, видите ли, мы заблуждаемся во тьме, когда пишем. И что? Разве это не судьба человека? Почему же тогда не следует работать и о том, что человек ошибается в темноте? »

Они стояли перед ее домом. Она протянула ему руку. «Простите, что сбежал», - прошептала она, стуча зубами. «Не знаю, почему мне вдруг стало так холодно». И все же ее глаза тепло улыбались ему. Она посмотрела ему в лицо, которое казалось ярче, чем раньше. Снег падал с края его козырька. «Вы знаете, когда мы впервые встретились, мистер Беркович?»

Он смотрел на заснеженные локоны ее волос, торчащие из-под красного шарфа на голове. Ее щеки, казалось, отражали покраснение шарфов. Он с благодарностью ответил на ее улыбку теплой улыбкой. "Конечно, я помню. Во дворе на улице Хоккеля ».

«Нет, до этого. По дороге в гетто. Вы тащили стол, превращенный в сани. Ты толкнул меня. «Видишь ли, - указал на тебя отец, - это писатель. Его зовут Беркович.

Буним с сожалением отпустил ее пальцы, которые до этого нежно, приятно согревали его ладонь. 1943 год был годом любви и надежды.

Book Three 201

Глава четырнадцатая

В СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после закрытия газового центра Буним ждала Рэйчел перед ее домом. Ему хотелось подняться наверх и постучать в ее дверь, но он не мог заставить себя сделать это. Он предпочел встретиться с ней на том месте, где они расстались накануне, протянуть ей руку и принять ее руку как подарок. Он оставил дома восемнадцать глав своего стихотворения. Всю ночь он был занят написанием очередного стихотворения. «Песнь радости». Радость. Он не мог найти другого слова для обозначения беспокойства, которое охватило его после того, как он оставил девушку. Он прекрасно знал, что это слово было неправильным. Это не отражало истинного цвета его настроения, но он не возражал.

Наверху в постели Блюмки лежала Рахиль. Рядом с ней в своей постели лежал Моше. У них обоих была высокая температура. Прежде чем Блюмка уехала работать в прачечную гетто, она положила сахар и мармелад Рэйчел и Моше вместе с их пайком хлеба у их кроватей. Блюмка не терпела больных и дралась со Шламеком. Она была уверена, что Рэйчел и Моше просто простудились, но не могла контролировать свои страхи. Иней на оконных стеклах становился все гуще, и на улицах снова циркулировали слухи о скорой депортации. У нее не было сил встретить долгий день, ожидавший ее на курорте. Она злилась на Моше: «Почему бы тебе не встать и не пойти на работу хотя бы на полдня? По крайней мере, там можно было бы собрать суп », - сказала она.

Моше покачал головой: «Я не могу пошевелиться».

Она знала, что он не может двинуться с места. Его остекленевшие глаза говорили ей об этом, но она не могла видеть его таким беспомощным. «Если мужчина хочет, он может все», - проворчала она.

Позже в тот же день Моше перевел взгляд на свою дочь. Она слышала, как он сказал: «Я больше не люблю твою мать. .. Между нами все кончено ». Рэйчел застыла, ошеломленная. Голос отца прогремел в ее голове, разрушая основы ее жизни. Все рухнуло головокружительным водоворотом. Незадолго до этого, во время *Сперре,*она испытала то же чувство, когда ее отец оставил их, чтобы спрятаться в *одиночестве*. Образ Моше, который у нее был, распался на две части. Одна его часть была чужой, а с другой она была привязана миллионом узы. Моше продолжал говорить, как будто он был опьянен собственной лихорадкой. «Как мы могли заставить немцев заплатить за то, что они сделали с чувствами между вашей матерью и мной? Дочь, любить становится очень трудно ».

Он погрузился в длинный монолог о своей любви к Блюмке, о том, как ее раздражительность, горечь и крик постепенно разрушили его чувства к ней, хотя он знал, что ее характер был результатом ее беспокойства о детях и о нем самом. Затем Моше начал тираду, восхваляющую дружбу, в особенности его и Цукермана. По его словам, немцы тоже заслуживают благодарности. Благодаря им возникла эта дружба. Такого глубокого взаимопонимания между двумя мужчинами никогда не могло возникнуть между мужчиной и женщиной. Моше улыбнулся: «Я забыл забрать мою бритву у Цукермана. Мужчина настолько слаб, что не может даже побриться. . . Теперь он принесет бритву и побреет меня. Сегодня я чувствую себя слабее его. В этом смысл Дружбы, Рэйчел. Один друг поддерживает мир за другого. А также. .. не беспокойтесь о том, что я сказал о маме. Я так говорю, потому что я избалован. У меня тоже хорошо. Сколько людей проживают всю свою жизнь без любви и дружбы? »

Рэйчел больше не слушала его. Она была в глубоком тяжелом сне. Позже, намного позже, она услышала чей-то разговор, голоса доносились до нее через далекие двери: «Тиф. . . Тиф ». Руки касались ее лба.

В ее мозгу был громкоговоритель, через который она начала слышать странные звуки. Через него она услышала тяжелые вздохи отца. Они отзывались эхом в ее голове: «Мы погибаем. . . исчезает ... безымянно. . . без цели. . . » Затем громкоговоритель замолчал. Все было кончено. Молчание перекрыло вздохи. Столбы дыма отступили за горизонт. Хотя все было потеряно, ее сердце все еще колотилось. Она была жива. Рот громкоговорителя стал синим, как спокойное голубое небо Пасхи. В нем тихо, как пчелы, жужжали самолеты. Они не сбрасывали бомбы, не объявляли огня, они несли мир. Это не имело значения. Так или иначе, все было кончено. Сердце Рэйчел превратилось в пушку, сотрясающуюся взрывами. Ее разум был самолет, грохотавший в небе Пасхи. Она боролась за каждый вздох. У нее шипела кровь. Ее глаза горели, как горячие брикеты. В ее забитые глиной уши просверливались винты. Брюшной тиф играл ее душой и телом.

Канун Субботы *Сперре показался*из-за пропасти. Она видела головы, набитые разноцветными лентами, маленькие рты, говорящие на детских разговорах, улыбающиеся детские улыбки, умоляющие ее, Рэйчел, разделить с ними свое тело и свою жизнь. Поэтому она поделилась ими с детьми, у которых из глаз потекли слезы. "Г-жа. Начумов! » Рэйчел крикнула: «Наконец-то я стала учителем!» Ее собственное горящее дыхание ударило ей в лицо, и она представила, что старый учитель гладит ее по щекам. Кровать ее раскачивалась, как качели, подвешенные на длинной веревке, раскачивая ее между небом и бездной, между бодрствованием и сном, между жизнью и смертью.

Когда она раскачивалась взад и вперед, появился Симха Буним Беркович. Он стоял у окна маленькой спальни, держась руками за белые створки окна, как если бы он держал раскрытую книгу, покрытую невидимым почерком. «Я погиб», - прочитал он шепотом из книги, качаясь над ней. «Исчез ... безымянно. ... без всякой цели ... » Она увидела мешки с водой у него под глазами. Внезапно он схватился за край ее кровати, встряхнул и подбросил в воздух. Стены рухнули. Земля уплыла под ней, небо уплыло над ней. Она, Рэйчел, была выжженным заходящим солнцем, тонувшим все быстрее и быстрее. Спускаясь вниз, она стряхнула с себя зимнее пальто Буним, которое было черным, обгоревшим и тлело на ее теле. Она чувствовала бы себя легкой и прохладной, когда она махала пальто от падающих качелей, если бы пальто не тянуло ее вниз, как якорь, как мешок с камнями, пока не оторвало руки от ее тела. Сложив пальто, ее руки упали в бездонную ночь. Ей хотелось посмотреть вниз и увидеть, куда упали ее руки, но отец поймал ее взгляд и оставил его при себе. «Подвинься, дочь», - умолял он. «Двигайся, потому что я упаду». Его лицо имело то же выражение, что и в тот день *Сперре.*В отчаянии и тревоге она начала двигаться к стене, чтобы освободить ему место в своей постели. Но потом она заметила его в быстро проезжающем поезде. «Блюмка! Блюмка! » - позвал он, махая Рэйчел. Его голос был черным, окончательным. Вдруг она увидела себя в поезде, сидящую у окна. В то же время она стояла на платформе заброшенной станции и смотрела, как поезд падает в пропасть. Кто-то выл; крик в оглушительной тишине.

Рэйчел почувствовала, как ее ласкает мягкая прохладная рука. Голос окутал ее дрожащее тело тонкой хлопковой рубашкой. «Рэйчел, трава скоро прорастет. .. Вишневое дерево скоро зацветет ». Это была улыбка Блюмки. «Я приготовила для тебя суп, доченька. Несколько кусочков картофеля, немного моркови. Пожалуйста, откройте рот, почувствуйте вкус. Глотать . . . Вдохните чудесный воздух. . . »

Рэйчел повиновалась ей. Она вздохнула. Она проглотила чистый воздух, и туман над ее глазами рассеялся, как облако, открывшее яркое небо. Рядом с ней сидела сморщенная маленькая женщина и шептала сладкие слова. Рэйчел их почти не слышала, почти не понимала, но они успокаивали ее душу, исцеляли ее; они охлаждали тепло ее тела своей мягкостью. У изножья кровати стоял худощавый молодой человек, его длинная тощая шея вытянулась к ней, а руки размахивали тонкими веточками. Она поняла: они были матерью. . . брат.

Рядом с ее головой сидел Дэвид. День был полон его лица. Он сиял. «Я принесла тебе яблоко. . . вот, ешь. Он сунул ей в руку что-то круглое, что-то сочное-гладкое, чудесное. Рэйчел уставилась на крошечное яблоко, как будто она впервые в своей жизни видела такое. «Откусите», - подбодрил он ее. Она послушалась его. Сок брызнул ей на лицо. Она хотела, чтобы он тоже откусил от яблока, но он оттолкнул ее руку. «Это только для тебя». Она понятия не имела, что его лицо могло выражать такое счастье. Она хотела благодарно улыбнуться ему, но не смогла. Он сидел между соседней кроватью и ней, как стена, загораживая ее обзор. Она знала, что соседняя кровать пуста. Она знала это давно. Нет, она не узнала этого ни по сморщенному лицу Блюмки, ни по измученному взгляду Шламека. Она вспомнила. . .

Она была в середине долгого разговора со своим отцом. Они разговаривали друг с другом из глубины своей души и так и не закончили. Пустота, которую никогда не заполнить. Но Дэвид был силен. Когда они остались одни в маленькой комнате, он поцеловал ее руки; каждый поцелуй сшивает пустоту, каждый поцелуй мост, который он построил, чтобы помочь ей пересечь пустоту. Ее пальцы нашли путь к его волосам, щекам, глазам и губам. Она вылепила из глины лицо своего возлюбленного.

«Я пробрался к вам до начала карантина», - гордо объявил он. «И вы знаете, я стал суеверным. Угадай, что я сделал? " Он вытащил из кармана сложенный лист бумаги. "Читать!" Она нахмурила брови, напрягая глаза. «Я хочу, чтобы ты жил», - было написано на листе бумаги. Он добавил: «Я засунул это тебе под подушку. Позже, когда ты был на карантине, меня не пустили к тебе. Кусок бумаги под подушкой сделал всю работу за меня. Я приказал тебе жить, и ты послушался меня ».

Он не всегда был рядом - между ней и соседней кроватью. Она могла часами смотреть на кровать. Она не возражала. Ее воображение не могло постичь этой окончательности. Она увидела Моше живым, говорящим - как если бы он что-то говорил, когда он внезапно вышел из комнаты, оставив свое последнее слово в воздухе, чтобы дождаться, когда он вернется и заберет его. Он все еще был обязан ей своей отцовской любовью. Он приходил, чтобы вернуть ее, потому что невозможно было поверить, что Священная Четверка сломалась. Конец было знакомым словом, но оно не имело отношения к этому священному числу. Сам Моше был хранителем этого числа; да, несмотря на то, что он оставил их одних во время *Сперре.*Она ждала, когда он снова появится со своим слегка усталым лицом, с засохшим окурком у рта; она ждала его, чтобы протянуть ей свои княжеские руки. Он входил в комнату, погруженный в свою мечтательность, в романтическую возвышенность, в которой он был одет. Тому, кто был способен так красиво любить, он, красивый отец, нельзя позволить снова предать их, снова покинуть их. Она не плакала по нему.

Ни Блюмка, ни Шламек не упомянули имени Моше. Они знали то, чего она никогда не узнает. Они видели то, чего она никогда не увидит. Она хотела прочитать последние минуты жизни своего отца по их лицам. Ей было любопытно, ревновато, и все же она чувствовала облегчение от того, что для нее правда не была подтверждена, что она могла продолжать ждать его. Только ночью Рахиль услышала, как Блюмка произнесла имя Моше. Блюмка спал в постели Моше. Она позвала его, обнимая его подушку. Только однажды Блюмка позвал его по имени днем. На тридцатый день после его смерти.

Последние несколько ночей одна за другой следовали воздушные тревоги. Слышны были взрывы бомб. Как только завыли сирены, войдет миссис Сатин со своей дочерью Тейбеле. На обоих были длинные белые ночные рубашки и белые шляпки. Их трясло от холода и страха. Каждый раз, когда она слышала взрыв или близкие выстрелы немцев, которые целились в те окна, через которые проходил свет, миссис Сатин закрывала уши руками. Между одним взрывом и другим она оплакивала потерю спутника своей жизни, своего защитника, которого отняли у нее во время *Сперре.*Когда она восхваляла его, он превратился в рыцарского гиганта, преуспевающего, кормильца, мастера в искусстве любви. Она настаивала на том, чтобы Блюмка стала соучастником ее траура. Разве они не были похожи на двух сестер в своей потере? Однако Блюмка отказалась плакать с ней. Миссис Сатин не могла понять, как Блюмка могла так хорошо «держаться вместе» и как Рэйчел и Шламек могли продолжать спать в такую ​​жуткую ночь.

Она подтолкнула сонного Тейбеле локтем: «Не засыпай, горе мне! Разве ты не слышишь грохот? "

Тибеле хотелось немного поспать, и, наконец, она оставила мать и забралась в кровать Рэйчел. Блюмка не могла держать глаза открытыми, и, оставив миссис Сатин следить за своим страхом, она тоже снова заснула.

В общем, Блюмка еле держалась на ногах. Кожа ее лица была зеленой и в пятнах, как старое сухое яблоко. На ее щеках вырос серый мох. Волосы на ее голове выпадали; у нее были глубокие залысины над висками, и весь ее скальп был виден глазу. Пена и моющие средства настолько разъели кожу ее пальцев, что отслоились, как бумага. Влажность, в которой она стояла весь день, и сырость из дымящихся тазов и чайников в прачечной гетто проникли в ее кости, заставляя болеть все суставы. У нее были частые приступы головокружения, и несколько раз в неделю она теряла сознание у своего таза. Она тайно отдала Рэйчел большую часть своего продовольственного пайка.

Миссис Сатин, подозревавшая в деяниях Блюмки, взяла на себя задачу спасти свою гордую соседку от гибели и поддерживала ее частыми порциями *бабы,*приготовленной из кофейных остатков; она отказалась уходить, пока последний кусочек не скользнул по горлу Блюмки.

Рэйчел мучил дикий посттифозный аппетит. Она была способна съесть все, что можно было жевать. Для Блюмки возвращение дочери к жизни было захватывающим зрелищем, и ей было больно не иметь возможности помочь ей собраться с силами. Она испытала странное сожаление о том, что сама она несъедобна, что она не может простираться ниц перед Рэйчел со словами: «Возьми меня, съешь меня». Ей никогда не приходило в голову, что, давая Рэйчел свою еду, она делала именно это. Но тяга к еде сделала Рэйчел слепой и глухой. Она никогда не спрашивала, откуда у нее хлеб или хорошие супы. Ее бессмысленный, упорно молчаливый брат сидел рядом с ней, желая заболеть брюшным тифом. Брошенный отцом, брошенный матерью, он дал волю своей ревности.

♦ ♦ ♦

Той холодной зимой Рэйчел расцвела. Очарованная чудом своего возрождения, она находила нескончаемое удовольствие в ходьбе на ногах. Она взволнованно смотрела, как ее груди наполняют блузку, как бутоны, пробуждающиеся к новой весне. Бедра стали округлее, шире. Ее глаза заблестели жизнью. Она вряд ли могла быть серьезной даже на мгновение. Она чувствовала себя избалованной, как ребенок, игривой, всегда готовой к смеху и очень любящей себя. Она могла часами стоять перед зеркалом, расчесывая волосы, укладывая их в разные стили или примеряя блузки и платья бесчисленное количество раз, взад и вперед. Ей потребовались часы, чтобы подготовиться к визитам Дэвида. Когда она была одна в доме, она вынимала из наволочки меховую куртку, которую дал ей Моше, и расхаживала в ней по комнате. Опьяненная собой, она хотела видеть своих мать и брата веселыми и пробовала всевозможные уловки, чтобы заразить их своей веселостью. Затем, когда приходил Дэвид, она бесстыдно бросалась на него, прижималась губами к его губам и сообщала ему своим телом, как она скучала по нему.

Они запирались в маленькой спальне. Это был их остров побега. Они будут лежать на кровати Рэйчел, покрытые инеем оконные стекла изолируют их от мира. В их приглушенном смехе была озорная игривость, в их попытках перехитрить кровать, чтобы она не скрипела слишком громко. То, что Шламек, вероятно, заглядывает в щель в картонной стене, или что Блюмка с заткнувшимися ушами чинит чулки на кухне, для них не имело никакого значения. Потому что, хотя Рэйчел и Дэвиду нравилось быть наедине, у них было чувство, что даже если бы кровать стояла в самом центре мира, свободная для всех, чтобы видеть и слушать, они нашли бы уединение и убежище в объятиях друг друга. Только ночью, во сне, беззаботность Рэйчел исчезла. Она часто просыпалась с криком. Каждую ночь она видела Моше во сне, а каждое утро снова стирала его из своей памяти.

Ей не терпелось выйти на улицу. Ей стало тесно в ее новой энергии, и ей хотелось отодвинуть стены. Ей не терпелось видеть людей, многих людей. Ей хотелось быть окруженной шумом, слушать и говорить, достичь чего-то великого, начать что-то новое. Жить.

Когда она впервые вышла на улицу, был холодный день. Бури взяли ее в свои объятия, унося вперед. Она еще не была такой сильной, как ей казалось; она была похожа на игрушку в руках ветра. Мимо нее проходили люди, завернутые в тряпки и пледы. Их деревянные башмаки плескались в грязном снегу, с деревянных каблуков капала вода. Вода лилась с крыш и стен, с сосулек, свисавших со всех решеток и ворот. Она подошла к *Wissenschaftliche Abteilung*и представила, как *раббиционер*выходит, чтобы поприветствовать ее с распростертыми объятиями. Она была возмущена его поведением во время *Сперре,*когда он отказался прятать ее и ее семью в своем саду, а также его поведением во время ее болезни, поскольку он не послал ей ежедневные супы, на которые она имела право. И все же он не мог не понравиться ей, и она с нетерпением ждала встречи с ним, увидеть его святое лицо и согреться в свете его глаз.

Дверь Wissenschaftliche *Abteilung*была заперта и заколочена. Она попыталась заглянуть в окно, тоже засыпанное досками. Она подунула маленький «глазок» в замороженное стекло и увидела внутри пустые столы, пустые полки и перевернутые скамейки. Ей стало очень холодно, и пальцы на ее перчатках начали покалывать. Согревая их своим дыханием, она вошла в арку ворот, чтобы стряхнуть ледяную грязь со своих ботинок, и заметила там двух старух. Она чувствовала нежность к ним, двум спасенным бабушкам. Она хотела поблагодарить их за то, что они все еще здесь.

«Вчера вечером людей вытаскивали из кроватей», - услышала она слова одного из них.

Другая покачала головой: «Последние два месяца я спала в своей одежде».

Первый уставился на нее. «Чего тут бояться? Они не хотят нас, потому что нас больше нет, помнишь? Сейчас на повестке дня те, кому от семнадцати до шестидесяти пяти ». Затем она добавила: «Вы могли подумать, что теперь, когда вам понадобится зажженная свеча, чтобы найти старика, они возьмут нас с собой на руках. Но правда в том, что лучше себя не показывать. Куда бы вы ни пошли, на вас указывают пальцем: «Она жива, а моих детей нет». Они смотрят на вас, как на привидение. «Что ты все еще здесь делаешь?» они спрашивают. «Почему ты ешь наш хлеб?» они кричат ​​на вас в очередях. Честно говоря, я не знаю, для чего мне нужна моя спасенная жизнь. Жил ли я ради детей ... или внуков? Боже милостивый. Я остался совсем один. . . »

По спине Рэйчел пробежала дрожь. Она вышла на улицу и вскоре оказалась на полупустой Марисинской улице, подходя к кооперативу, где работал Моше. Она ждала его здесь, чтобы он принес домой немного сахара или муки, а летом принесет ей цветок. За массивным забором летом цвели самые красивые цветы гетто. Она вошла в сад *Рабинера*, ее глаза впитали его печальную красоту. Заснеженные плаксивые деревья и кусты; гирлянды серости на узкой, покрытой льдом тропинке в никуда.

Жена *Рабинера*впустила Рахиль в дом. Ее улыбка обнажила два ряда здоровых зубов, когда она протянула обе руки, как ее муж: «Рэйчел! Входи, входи! » Рахиль спросила у нее *Рабинера.*Женщина пожала плечами: «Он на работе». Затем она поймала себя на том, что «ты не знаешь, а? Да, *Wissenschaftliche Abteilung*было закрыто властями. Он . . . мой муж работает в городе ... в Литцманштадте. . . для властей. Моя дочь его секретарь ». В безупречно чистой кухне было тепло. На жене *Рабинера*было безупречное платье с безупречным фартуком.

Она возилась у сверкающей печи, готовя кофе для гостя. Но Рэйчел уже была у дверей.

Она побежала к своему бывшему ученику Святому Сапожнику. Его повар узнал ее. «Они пьют чай в гостиной», - сказала она фамильярно и пошла за своим хозяином.

Кухня была наполнена восхитительными ароматами свежезаваренного чая и свежей выпечки. Форма для выпечки с частично незакрытым пирогом привлекала внимание. Святой Сапожник с пылающими щеками вошел в кухню своей легкой подвижной походкой, его рот все еще был влажным от чая. Рэйчел улыбнулась ему. Приятно было смотреть на его сияющее мальчишеское лицо. Его стройная фигура, хорошо скроенный костюм, изящные движения делали его похожим на утреннего кумира, который подошел к своей примадонне и заключил ее в свои объятия. "Мисс Рэйчел!" - вскричал он. "Я не видел тебя целую вечность!" Он энергично пожал ей руку.

"Я болел. Тиф, - сказала она ему, надеясь тронуть его и пробудить в нем сострадание.

Он сострадательно покачал головой. «Да, доктор говорит, что сейчас эпидемия. Мы должны позаботиться ». Он задумался, потер лоб и, наконец, поклонился, разведя руки в стороны: «Прошу прощения, но я не могу продолжать исследования, мисс Рэйчел. Времена плохие, и в голову ничего не лезет. Вы должны меня понять.

Она его понимала. «Я не об этом пришел. Дело в том, что у меня нет работы ».

"Это то, что это?" - воскликнул он веселее. «С огромным удовольствием, мисс Рэйчел. Я найду тебе работу, *прима класс.*Положись на меня. В холодную воду опускать палец не придется. После такой болезни ты этого заслуживаешь, и я думаю, что уже знаю, что и как. Например, скажем, Курорт старой одежды. Вы бы пошли туда только за супом и. . . просто подожди секунду. Одним прыжком он исчез. Рэйчел сосредоточила свое внимание на поваре, который вошел с подносом, усыпанным незаконченными кусками торта. Загипнотизированная, она следила за каждым шагом повара и смотрела, как она чистит тарелки и собирает кусочки торта в бумажный пакет. Она поместила сумку на расстоянии вытянутой руки от Рэйчел. Но тут сапожник вернулся: «Все устроено!» - воскликнул он, протягивая ей руку. «Вы ведь знаете, мисс Рэйчел, что ради вас я прыгну в огонь». Он последовал за ней до двери. «Не благодари меня, пожалуйста».

Она повернула к нему голову. «Возможно, я мог бы. . . мог бы кусок пирога? " Ее лицо покрылось густыми красными пятнами, покрывавшими уши и шею. Она хотела извиниться, объяснить ему, что значит страдать от капризной тяги к еде после брюшного тифа.

Сапожник сделал величественно широкий жест в сторону повара. «Отрежьте приличный кусок торта для мисс Рэйчел!» он приказал и снова исчез.

Рэйчел шла по улице, беря крошечные кусочки торта и медленно затирая их в рот; она была благодарна за то, что в мире есть святые сапожники. Красные пятна не исчезли с ее лица. Ее радость жизни, ее еда, ее здоровье, ее поцелуи с Дэвидом были греховными. Они превратили ее в нищую, лишили гордости. Но как только кусок торта исчез, она забыла и о нем, и о своей вине. Ее голова наполнилась новыми великолепными проектами. Ей не придется проводить дни на курорте. Она сможет быть одна, работать на себя. Столько недель она ничего не делала. Она совершенно забыла, что в этом мире есть книги. Теперь ей снова стало любопытно, она была готова впитать черные маки мудрости, разбросанные по белым страницам.

Так ее душа начала окутываться вуалью. Мир снова был украшен красками и светом, загадочной новизной. Она была в состоянии полного осознания и забывчивости. В нем снова слился сломанный мотив, сопровождавший ее индивидуальность. На этот раз это вызвало у нее потребность вылепить символы из глины.

Рэйчел сидела в большой мастерской Rag Resort, вычерпывая последние кусочки супа из своей столовой. Стол, на котором она прислонила свою флягу, был покрыт грудой помятой, спутанной одежды: платья, блузки, костюмы, нижнее белье для мужчин, женщин и детей; некоторые уже рассортированы, некоторые все еще в беспорядке. В комнате стоял неприятный влажный запах. Рэйчел заметила это только утром, войдя в комнату. Теперь единственным запахом, который она осознавала, был запах ее фляги; своеобразный запах олова, ржавчины и супа. Рядом с ней за столом сидели другие женщины, склонившиеся над своими флягами. Большинство из них были среднего возраста. Среди них было несколько по-настоящему старух, но с шарфами на головах, с согнутыми спинами и морщинистыми лицами все женщины выглядели старыми. Серая тьма витала над комнатой; Бесцветные потрескавшиеся стены и бледная грязная электрическая лампочка, сияющая на горах старой одежды на столе, делали комнату похожей на место развала и старости.

Женщины не прекращали болтать; они, казалось, получали скрытое удовольствие от возрождения самых ужасных, самых пугающих моментов последних недель и от передачи всех самых ужасных «уток», циркулирующих в гетто. «Людей снова забирают. . . Что-то снова упадет нам на голову ». Губы женщин дрожали, их глаза блестели, как у ведьм. Казалось, они впадают в транс, как будто тайная рука выбрала их в качестве медиумов для предсказания трагедии оракулом.

Проблема Рэйчел заключалась в том, что, хотя ей не приходилось работать, ей приходилось сидеть с женщинами весь день. Управляющий, кроткий испуганный человечек, ходивший, как маленький петух, среди стаи кур, назначил ее в мастерскую. Он опасался проверок, хотя никаких проверок там никогда не проводилось. Никаких посетителей, только грузовики с одеждой: тысячи пальто, платьев, костюмов, нижнего белья. Здесь они были отсортированы, а затем отправлены в прачечную, в Dying Resort или Tearing Resort. Другая проблема Рэйчел заключалась в том, что она не могла читать в часы на курорте. Из-за столов на нее смотрели окровавленные одежды, казалось бы, заполненные телами. Они вызывали у нее головокружение и тошноту. Поэтому вместо того, чтобы сидеть сложа руки, она начала убивать время, научившись распознавать материалы, чтобы сортировать их. Женщины включили ее в свой круг, заставив ее понять, что работа не может выполняться молча. Постепенно она присоединилась к их болтовне. Вскоре она начала чувствовать себя такой же старой, как они. Она обнаружила, что погружается в яму отчаяния, из-за которой все ее проекты и планы казались бессмысленными.

Вскоре она взбунтовалась. Она хотела получить право прийти только за супом. Напуганный менеджер сначала отказался ее слушать, но она пригрозила ему вмешательством Святого Сапожника, и эта угроза творит чудеса.

Теперь, когда ей не приходилось физически оставаться с женщинами на курорте Rag, она постоянно думала о них. Она думала, что этот курорт был самым устрашающим уголком гетто. И не только гетто. Это было связано с ужасом греческих трагедий, вернее, с ужасом, которому не было названия. «Если бы можно было только выразить эту атмосферу или хотя бы предложить ее», - размышляла она. Потому что настроение этого места нужно было передать, пусть даже в неловкой форме. Она решила вылепить из глины группу женщин, сидящих за столом в Rag Resort. Но все, что она смогла выявить, - это морщинки на женских лицах. Глина не могла передать атмосферу или раскрыть разговор женщин, что было так же важно, как и выражение их лиц. Поэтому она отказалась от глины и взяла карандаш и бумагу. Ей пришлось смириться с неудовлетворительным употреблением слов. Они были единственным средством, с помощью которого она могла хотя бы заикаться.

Однако главное, что случилось с Рэйчел в те дни, - это пробуждающаяся женственность. Как будто она легла спать девочкой и вылечила от болезни женщину. Сама она бы этого не узнала, если бы не Владимир Винтер, к которому она время от времени навещала. Как только он увидел ее, он взорвался: «Ты, должно быть, влюбился!»

Она позволяла ему смотреть на нее, восхищаться ею, с радостью соглашаясь с ним. «Да, я влюблен».

В его проницательных глазах затуманилась романтическая дымка. Затем он проповедовал ей о том, как быть настоящей женщиной: «Взгляни на своего возлюбленного, как на мужчину, но никогда не забывай, что он всего лишь ребенок. Веди себя с ним, как с ребенком, но не забывай, что ты гнездо, ты мир и зрелость. Вы земля, а он небо. Ты зеленый, он синий. Вы твердо стоите на своих основаниях, а он парит в воздухе. Он вечно ищет то, что вы нашли вечность назад. Вы - фон картины. Вы зеленый, но в этой зелени должны отражаться многие цвета, все цвета палитры и многое другое. Чем больше нюансов растушевки, тем красивее будет ему ваш зеленый цвет. Постоянно меняйтесь и трансформируйте себя. Нарядитесь в новинку, оставаясь прежним. Само по себе бесцветное небо любит цвета. Его синий, его серый, его фиолетовый он подбирает у вас. Прячься от него, беги от него и жди его; соблазни его, позвони ему. Он придет. Он любопытный и беспокойный. Создатель хочет, чтобы он был таким. . . в Его собственных целях ».

Любопытство и беспокойство Рэйчел прочитала на лице Буним, когда они впервые встретились после ее болезни. Все, что сказала ей Зима, ее тело, казалось, знало в присутствии Буним.

Он ждал ее у ворот каждый день на протяжении всех недель ее болезни, и когда он наконец увидел ее, он был настолько потрясен, что в первые несколько минут ничего не мог сделать, кроме как пристально смотреть на нее. Затем он полез в нагрудный карман и провозгласил: «У меня есть стихотворение!» Он провел ее обратно в арку и быстро прочитал ей свою Песнь радости. Закончив читать, он протянул ей лист бумаги. "Это ваш."

Она сложила страницу и сунула в карман. «У меня в кармане Джой», - с благодарностью пошутила она. "Прийти!" она позвала. «Я иду к тебе на задний двор. Мой друг живет там." Она шла рядом с ним, бодрая и легкая.

Он не сводил с нее глаз. Его сердце неудобно подпрыгнуло в груди. Он едва мог за ней поспевать. «Сначала зайди ко мне, - умолял он, - хотя бы на мгновение». Она согласилась. Он попросил ее подождать перед его хижиной, пока он немного отремонтирует комнаты. Она ждала возле вишневого дерева, с которого капал тающий снег, и посмотрела в окно Дэвида. В нем не было света. Буним снова появился на пороге и позвал ее. Он выглядел намного моложе без черного пальто, одетый только в свой коричневый клетчатый пиджак. Из его нагрудного кармана выглядывал желтый надкушенный карандаш и верх его футляра для очков. Большие боковые карманы были забиты чистыми листами бумаги.

На кухне горела бледная электрическая лампочка. В другой комнате было темно. Буним встал между тьмой и Рэйчел, не позволяя ей войти внутрь. «Подойди сюда, - указал он на стол возле плиты, - я зажгу печь в вашу честь».

«Ты пригласил меня только на мгновение», - напомнила она ему.

«Два момента», - умолял он ее.

«Я останусь на три минуты», - сказала она. «Моего друга нет дома».

Он был в восторге. Затем он, казалось, что-то взвесил в своей голове, прежде чем сказать: «Я начну читать вам свое стихотворение сегодня. Хочешь, чтобы я?"

Он снял горелки с печи, готовясь развести огонь, но заметил, что ему нечем его разжечь. Он исчез в темной комнате. Рэйчел закуталась в пальто и подняла воротник. В комнате было холоднее, чем на улице. Было что-то гложущее и грустное в холодной печи, в стенах, в запыленных тарелках на полках, в нескольких закопченных горшках, в паутине, вышитой пепельными занавесками. Комната казалась изолированной от мира, как и комнаты в Rag Resort. Она не могла освободиться от серости, и ей хотелось как можно скорее сбежать. Но затем снова появился Беркович. В другой комнате он не нашел ничего, чтобы накормить печь; но он нашел свитер Мириам. Она позволила ему накинуть свитер ей на плечи поверх пальто. Было хорошо остаться с ним и не убегать. Она мысленно отметила дату, когда он начал читать ей свое стихотворение. Это казалось важным событием, она не знала, почему.

На следующий день она начала серьезно работать над своим рассказом о Rag Resort. Подобрать подходящие слова, чтобы передать его особую атмосферу, было трудной и болезненной задачей. В конце концов она устала, она пришла в ярость от собственной беспомощности. Она схватила пальто и побежала на улицу. Она встретила Берковича, ждущего в воротах. Они чуть не упали друг другу в объятия. «Ты бежишь к другу?» он спросил.

"Да . . . Нет ... Я только что вышел. . . »

"Потом!" - крикнул он. «Я достал сегодня свою порцию брикетов». Он смотрел на нее с ожиданием и, когда он прочитал одобрение на ее лице, застенчиво предложил: «С этого момента зовите меня Симха».

Они поспешили через мост. Во дворе на Хоккель-стрит перед ними появился Дэвид. Он обнял Рэйчел, поцеловав ее в обе щеки: «Я шел к тебе!» - сказал он, таща ее за собой.

Она позволила ему увлечь себя и лучезарно улыбнулась Буниму: «Я зайду к тебе завтра!»

Дэвид был геем. Он только что принес новый продовольственный паек. Она пошутила: «Ты любишь меня только тогда, когда выходит новый рацион и ты набиваешь себе желудок».

«В таком случае я совсем не люблю тебя, потому что мой желудок никогда не бывает полон». Его хорошее настроение было заразительным. Он сказал ей, что в Германии издан приказ молиться во всех церквях за здоровье Гитлера, так как бедный фюрер был очень болен. Он сказал ей, что сегодня у него, Дэвида, был настоящий приступ оптимизма и что он был уверен, что они двое переживут войну, и что это требует особого празднования на месте. Он сказал, что им абсолютно необходимо найти место, где они могли бы побыть в одиночестве, например, маленькую спальню в ее квартире.

Наконец, он больше не мог сдерживаться: «У меня для тебя сюрприз!» Он сделал крошечную паузу, чтобы держать ее в напряжении, затем объявил новость: «Вы получите направление в Дом отдыха!» Он гордо стучал кулаком в грудь. «И это, моя дорогая, я устроил сам! Надеюсь, вы осознаете мой героизм. Почему ты так на меня смотришь? Вы не верите, что я тоже могу добиться успеха? Вы думаете, что я в долгу перед доктором Левайном? Не в последнюю очередь. Он только предпринял необходимые шаги, а я сдвинул небо и землю! » Он прижал ее к груди, преданно глядя ей в глаза. «За целую неделю ты будешь пресыщен собой и станешь сильным, как скала!»

Book Three 213

Глава пятнадцатая (Записная книжка Давида)

Не так давно у меня было несколько дней оптимизма. Теперь это в прошлом. Интересно, что этот оптимизм был вызван не политическими новостями, а чем-то связанным со мной. Мне казалось, что я все-таки не был таким уж большим эгоистом. Я никогда не любил Рэйчел так сильно, как в те дни, когда я ухаживал за ней. Обычно, когда я говорю ей: «Я люблю тебя», я имею в виду скорее то, что люблю себя. Я люблю ее любовь ко мне. Но в то время, когда я боялся ее потерять и радовался тому, что она выжила, все было по-другому. Я впервые дал ей кусок собственного хлеба и купил для нее яблоко. Моя беготня в поисках «защиты» и то, что я придиралась к Левину из-за места в Доме отдыха для нее, вызвали у меня такое настроение, которое не могло быть равным.

Я несколько раз навещал Рэйчел в доме. У них там царственные обеды, которые подаются за царственно накрытыми столами. У них есть развлечения и всевозможные музыкальные и литературные вечера, чтобы они могли забыть о существовании гетто. Единственная проблема в том, что меня не пустят, и что Рэйчел должна проводить там все семь ночей в неделю. Так что нам пришлось довольствоваться разговором за забором. Она изменилась до неузнаваемости. Ее лицо сияет, и она, кажется, стала выше. Несколько раз встречал у забора нашего соседа Берковича. Какое его дело было приходить к ней, я не знаю. Как только он меня видит, он исчезает.

♦ ♦ ♦

Рэйчел вернулась домой. Выглядит она очень хорошо, но настроение у нее испортилось. Она отказывается идти со мной в их маленькую спальню. Во время наших прогулок молчит. Я спросил ее, в чем дело, и она сказала мне, что это связано с ее отцом; что только теперь, когда она вернулась, она понимает, что он ушел. Я ее понимаю, но меня это раздражает. Как будто она неблагодарная. Она портит мне настроение. Ясно, что мой долг - оставаться рядом с ней, оказывать ей поддержку; но это непросто. Мне хочется убежать от нее, а это значит, что я снова в своей эгоистической оболочке. Да будет так. Я не ангел. Я не могу смотреть на Рэйчел, когда у нее кислое лицо. Я больше не навещаю ее; прошло уже четыре дня и сегодня пятый. Она тоже не приходит ко мне. Она стала мне безразлична? Она меня больше не любит? Этот вопрос меня немного беспокоит. Но я не буду подползать к ней на коленях. Так или иначе, я снова вижу Инку и еще одну симпатичную девушку Зосю.

♦ \* ♦

Сегодня пришла Рэйчел, чтобы узнать, что со мной случилось. Она мрачная. Некоторое время назад эта печальная дымка в ее глазах побудила меня обнять ее. Сейчас меня это раздражает. «Я беспокоюсь. . . » - прошептала она мне, прося пойти с ней на улицу.

Дьявол, сидящий внутри меня, побудил меня ответить: «Я этого не чувствую».

Она уставилась на меня, как будто ничего не поняла. Она попросила меня поцеловать ее. Ненавижу целоваться по приказу и ледяным тоном чмокнул ее в щеку. Это только усугубило ситуацию, и она сбежала. Я не пошел за ней. Я посмотрел в окно и увидел, что она вошла в хижину Берковича. Это меня взбодрило. Нет сомнений, что она любит меня, и это поможет мне продержаться дольше без нее.

В целом, я считаю, что жители гетто взбодрились, оправились от *Сперре*и зимы. Повсюду капает вода и сидеть на улице по-прежнему невозможно; но двор оживился. Мама нашла друзей среди новых соседей и вечером тоже спускается к ним поболтать. У нас с Авраамом постоянное место в воротах, где мы встречаемся с бандой коммунистов, которые усилили свою пропаганду с тех пор, как распространилась новость о том, что Москва снова признает Коммунистическую партию Польши. Они не очень охотно говорят о соглашении Молотова-Гитлера, но, если их надавить, заявляют, что это означает спасение мира и мирового пролетариата. Их философия заключается в том, что чем темнее ночь, тем ближе день. В общем, именно Авраам вступает с ними в дискуссии, потому что мне все эти склоки кажутся нелепыми. Каждый из спорящих поет свое песнопение, не слушая друг друга. Они так же фанатичны, как и религиозные евреи, цепляясь за то, во что верят, и игнорируют разум и логику. Вера в Советский Союз поддерживает жизнь коммунистов.

Я считаю, что нам следует отложить все обсуждения. Давайте сначала покончим с войной. Я не понимаю политические партии, в том числе и мою. Они ссорятся из-за устаревших концепций, потому что все изменится, когда мы выберемся отсюда. В конце концов, мы переживаем катаклизм, стирающий не только жизнь, но и теории и идеологии.

В принципе, я по-прежнему оптимист и надеюсь, что все закончится хорошо (по крайней мере, что касается меня, потому что для тех, кто ушел, все закончилось; точка). Может, я обманываю себя, чтобы продолжить? Иногда я скучаю по разговорам с Ирисковым человеком. Он никогда не давал мне удовлетворительных ответов, но все же дал мне кое-что. Не знаю что. Теперь Ириски сошел с ума. Во время *Сперре*он хотел защитить своих детей, и полицейский ударил его ногой по голове. Он ходит, говорит и плачет. Его невозможно понять.

После комендантского часа я иногда навещаю Цукермана. У него есть карта Европы, Азии и Африки, и она вдвойне ценна, потому что на ней указаны точные позиции развития войны от ее начала до наших дней. У Цукермана я встречаюсь с его дочерью Беллой, одноклассницей Рэйчел. Она худая и некрасивая. Однажды я в шутку заключил на этих страницах, что это, наверное, так и со всеми идеалами, если на них присмотреться. Сегодня я пришел к выводу, что Белла каким-то образом прекрасна в своем уродстве. (Может ли это быть верно и для идеалов?) У Беллы великолепные глаза; тепло, грустно, отстраненно. Меня заинтриговала еще одна загадка: почему мне так неприятна печаль Рэйчел, а Белла - привлекательной? Кто это может понять?

Когда я иду к Цукерманам, я автоматически поднимаю настроение. Развлекаю больного отца и его дочь, разыгрывая мой ура-оптимизм. Мое хорошее настроение улучшается, когда приезжают Юния, младшая дочь Цукермана и ее муж Михал Левин. Мы с Юнией зажигаем друг в друге клоунские искры. Присутствие Левина меня не беспокоит. Правда, всякий раз, когда я его вижу, мое сердце начинает колотиться от страха, что он снова может сообщить мне какие-то ужасные новости. Но похожая судьба наших отцов заставляет нас чувствовать себя ближе друг к другу. Мы братья по судьбе. Время от времени у нас возникают интересные беседы.

Приближается весна. Люди уже *меряют*землю во дворах, делят ее на *дзиалки.*Между соседями идут стычки из-за того, кому *достанутся*оставленные депортированными *дзялки*. Мне не приходит в голову бороться за *дзиалку.*Мне противны крики и склоки. Мама меня упрекает и критикует. Она снова обнаружила, что я *шлемил.*Авраам тоже пилит меня. Я не могу помочь этому. У меня нет ни капли энергии.

В последнее время мне постоянно снится, что я немецкий солдат.

\* ♦ ♦

Я был полон энергии несколько дней. *Подала*заявку на *диалку*в *Марысине*. У меня нет особой надежды. В *shishkas*захватить лучшие участки земли, а также сады и фруктовые деревья для себя. На каждого жителя гетто должно приходиться пятьдесят квадратных метров на душу населения. Но очевидно, что одни головы больше других. Например, голова Presess огромна. Он выделил себе не больше и не меньше сорока тысяч квадратных метров. Итак, что может остаться таким крохотным головкам, как наша? Еще я подала заявку на пару туфель для мамы. Деревянные туфли, которые она носит, развалились, съеденные грязью в хижине, где она чистит картошку. Так что увидим результаты моих запросов.

Ночью разбудил меня шум во дворе. Я слышал стук в дверь. Людей вынимали из кроватей для депортации. Гетто должно доставить еще тысячу голов. Никто не хочет уходить. Полиция действительно собрала необходимое количество, но пойманные сбежали.

Первого мая исполнится три года со дня закрытия гетто. Многие курорты отмечают свои дни рождения. Проводятся банкеты, спектакли и выставки продукции. Presess это любит. Он приходит на торжества, произносит речи, кричит: «Мои курорты, мои рабочие, мое гетто!» и взамен осыпается хвалой. Он принимает подарки, расплачивается подарками; Проще говоря, любовь царит безраздельно.

Сегодня, в самый разгар подготовки к выставке в моем Paper Resort, прибыл полицейский и «тайно» забрал своих братьев и двоюродного брата домой. Сразу стали шептаться, что после работы на улице будет налет. По дороге домой была паника, люди бежали как сумасшедшие, а я с ними; хотя мне даже и в голову не приходило, что меня могут поймать. Говорят, что необходимое количество мужчин уже уехало. Говорят, депортированные читали псалмы, а сопровождающие их милиционеры плакали.

С вишневым деревом происходит чудо. Мы потеряли надежду на его выживание прошлым летом, когда его поедали черви. Окружающая его трава уже прорастает, и снова у нас есть «Сад». Наши соседи во дворе стоят на коленях, обрабатывают почву. Белла каждый вечер выводит отца на балкон. Он кашляет. Он распадается практически на глазах. Во дворе говорят, что он страдает чахоткой. Я захожу к нему на балкон и пытаюсь подбодрить его хорошими новостями.

Рэйчел часто появляется у нас во дворе. Иногда она ведет у нас группу по изучению, к которой принадлежит Авраам. Потом она спит с нами. Вечер проводим вместе и гуляем во дворе. Иногда Беркович появляется на пороге своей хижины. Растрепанный, засунув руки в карманы, он близоруко смотрит на нас, глупо улыбаясь. Или он прыгает обратно в хижину, как только видит нас, хлопая дверью. Чудак. Когда я подшучивал над ним, Рэйчел злилась. Я не понимаю, как она может общаться с таким персонажем.

Сегодня я услышал необычную новость о восстании в Варшаве. Евреи и поляки якобы оказывают вооруженное сопротивление немцам, не позволяя им проводить депортации. Говорят, что курорты Варшавского гетто горят, и что немцы бомбят гетто с воздуха.

♦ ♦ ♦

Моя заявка на *диалку*и на пару туфель для мамы, конечно же, результатов не принесла. (К счастью, приближается лето, и у мамы будет хорошая вентиляция через дырочки в деревянных туфлях.)

Я встретился с Саймоном, нашим молодежным лидером. Он слушает передачи SWIT каждый день. Новости из Варшавы подтвердились. Сопротивление сосредоточено в гетто. Невероятный. Сегодня первый день Пасхи. Все мои товарищи одеты в свои лучшие одежды, без остановки скрежетали ртами о Варшавском гетто. Мы вздрагиваем от волнения, гордости, напряжения и страха. Если немцы приступили к ликвидации Варшавского гетто, это тоже плохой знак для нас. Наши оптимисты говорят, что с нами этого не может случиться; во-первых, потому что мы не принадлежим к Протекторату; во-вторых, потому что мы находимся в рабочем лагере и без нас немецкая промышленность существовать не может; в-третьих, потому что. . . и потому что . . .

♦ ♦ ♦

Это правда! Варшавское гетто воюет! Бунт! Я бегаю на все собрания нашей организации. Все говорят о Варшаве, но думают о Лодзи и о нашей судьбе.

Я вижу Рэйчел каждый день. Дважды на этой неделе я ночевал у нее дома. Мы оба беспокойны. Мы говорим, что идем гулять, а на самом деле бежим по Марысину. Цветут деревья, прорастают свекла, морковь, картофель. Трава мягкая, а солнце мягкое. В Варшаве, наверное, такая же погода. Пасха. Праздник свободы. Я пытаюсь представить, как это выглядит там ... в варшавском гетто.

Мы были сегодня у *Дзиалки*Рэйчел, и она дала мне пучок редиски. Потом мы перешли в *гимназию,*которая была преобразована в санаторий. Вечером там тихо. Мы нашли скамейку под окном бывшего класса Рэйчел. Я спросил ее, верит ли она в героизм. Она ответила, что да. Я спросил ее, были ли варшавские евреи героями. Она с удивлением посмотрела на меня: «Конечно».

«Вы верите, что если бы нам грозила ликвидация, мы бы тоже защищались?» Я спросил ее.

«Я в этом сомневаюсь», - ответила она.

«Тогда почему одна еврейская община состоит из героев, а другая - из трусов?» Я спросил.

Она сказала, что не знает, как так вышло, что, возможно, это зависит от лидеров общины, от общей атмосферы и от условий. В нашем герметично закрытом гетто вооруженное сопротивление невозможно. Она сказала, что не уверена, трусы мы или нет, но уверена, что Варшавский

Евреи - герои. Я сказал ей, что не верю в героизм. У каждого бывают моменты героизма и трусости. Например, во время *Сперре*меня иногда от *страха трясло*в штанах, а иногда я был довольно храбрым. Вот так вот.

Что на самом деле значит быть смелым или храбрым? Я много об этом думаю. Дети часто играют с огнем, потому что не осознают опасности. Есть такие взрослые, но их называют смелыми. Настоящее мужество означает знать об опасности и при этом не бояться действовать. Я думаю о людях, которые совершают героические поступки. Боятся ли они смерти? Если да, то как они могут действовать? Потому что страх парализует. Истина должна заключаться в том, что они растворяются в своем действии до такой степени, что забывают о смерти. Их действия приводят их в лихорадочное состояние, которое требует такой большой концентрации, что исключает все остальное. Это случается, когда у человека есть цель более важная, чем его жизнь.

Я хотел бы быть в шкуре варшавского еврея, знать его цель. Мои товарищи настаивают на том, что варшавские евреи не так озабочены спасением оставшегося населения гетто (осталось всего сорок тысяч), и спасти их всех невозможно - как и о спасении их достоинства; достоинство погибших родителей, детей, товарищей и соседей, достоинство всех нас. Бойцы хотят стереть позор и доказать, что еврейская кровь - это не вода. Но разве это не похоже на воду? И когда я слышу пение о стыде, я скрежетаю зубами. Стал ли он *наш*позор, а не немцы? То, что я вижу в восстании, является одновременно актом мужества и актом отчаяния. У евреев Варшавы была возможность активно участвовать в борьбе с немцами, и они использовали эту возможность. Так или иначе обреченные, они борются не за свою жизнь или за достойную смерть, а за идеал свободы.

Последняя встреча молодежи прошла в Марысине, на лужайке. Мягко светило заходящее солнце. Воздух был восхитителен. Саймон сообщил последние новости; мы обсуждали Варшаву. Один парень болтал о том, как мы, евреи Лодзи, ведем себя как трусы. Это меня сожгло. Я спросил их всех, думают ли они, что мы были вылеплены из другой глины, чем варшавские евреи. Я объяснил им, что мужество, которое мы проявляем каждый день в году без вооруженного сопротивления, нельзя сбрасывать со счетов так легко; что я видел героизм в нашей жизни, и да, в редкие моменты, тоже в своей.

♦ ♦ ♦

Это невероятно. Прошло уже две недели, а Варшавское гетто все еще продолжается. С каждым днем ​​бойцы в моих глазах растут. С каждым днем ​​восхищаюсь ими все больше. Я хотел бы узнать о них так много всего. Как они снабжают себя оружием? Как они выглядят физически? У них опухли ноги? Декальцинация костей? Туберкулез? Я молюсь за них.

♦ ♦ ♦

Сегодня я играл в шахматы с мистером Розенбергом. Все говорят, что он работает на *Крипо.*Я боюсь выиграть у него, и все же я не могу заставить себя проиграть и отказаться от нескольких *румки.*Когда он побеждает, его макушка начинает сиять, и он смеется надо мной, показывая все металлические колпачки во рту. Когда он проигрывает, он смотрит на меня так свирепо, что муравьи начинают ползать по моему позвоночнику. Однако, как я уже сказал, я стараюсь побеждать - и это мой мужественный поступок.

Вышел дополнительный продовольственный паек. Четыре дека маргарина, пять дека творога, полкилограмма моркови, десять дека «вонючей рыбы» и три килограмма петрушки. Мы готовим супы из петрушки каждый день, и я чувствую, как в моем животе растет огород петрушки.

Восстание в Варшавском гетто длится уже две с половиной недели. Как только я об этом вспоминаю, у меня укол, как скрытая зубная боль, и я должен с кем-нибудь поговорить. Но об этом невозможно говорить с Цукерманом, которого я очень часто бываю. Как только я упоминаю Варшаву, его начинает трясти - не знаю, от лихорадки или энтузиазма. Слова вылетают из его рта, и он начинает тяжело дышать.

Но я нахожу хорошего собеседника в лице Джунии, которого, как и меня, увлекает эта тема. Я спросил ее, что, по ее мнению, было бы, если бы варшавские евреи не имели оружия. Бросились бы они на немцев с голыми кулаками? Юния сказала «да»; Я сомневаюсь. Они бы уничтожили их быстрее, и я не верю, что такое сознательное самоубийство со стороны сообщества гетто возможно. Мы слишком дорого заплатили за свою жизнь. В таком случае нужно прежде всего быть уверенным, что все пути к жизни непременно перекрыты и больше не на что надеяться. Однако до момента смерти никто не верит в ее неизбежность. Юния спросила меня, что, по моему мнению, нам следует делать, если дело дойдет до полной ликвидации нашего гетто. Я честно сказал ей, что понятия не имею, что не могу даже предвидеть собственное поведение. Возможно, меня парализовал бы страх, и, возможно, я бросился бы на немца, который вел меня на смерть. Как бы я ни старался поставить себя в такую ​​ситуацию, я не могу себе представить. Должна ли смерть потребовать меня? До последнего вздоха ждала чуда и, наверное, погибла в ожидании.

♦ ♦ ♦

У меня сегодня был хороший день. Адам Розенберг, толстая лысая свинья, снова пришел поиграть в шахматы. У меня почти моральная проблема: стоит ли мне вообще играть с таким персонажем? Сегодня я сказал ему, что если я выиграю, я не хочу, чтобы мне платили никчемными *румки,*но что я хочу либо сахар, либо хлеб, либо мармелад. К моему удивлению, он согласился. Я выиграл, а он должен мне один килограмм сахара и десять дека хлеба. Я сказал ему, что у Цукермана «галопирующая чахотка», и, как только он это услышал, он захохотал, как дьявол, и с удовольствием разгладил несколько волосков, оставшихся на его макушке. Я был почти готов сказать ему, что больше не хочу его видеть. Но я прикусил язык и проглотил свой гнев.

После того, как он ушел, Авраам пошутил: «Нет ничего уродливее, чем лысый мужчина, притворяющийся, что у него волосы. Лысым везет только в одном. Им никогда не нужно расчесываться, и они всегда выглядят причесанными ».

Рэйчел очень рада созданию незаконного школьного отдела. Спасенные дети, которые работают на курортах, будут обучаться в классах, устроенных в укромных местах на заводах. Рэйчел была назначена учительницей в Metal Resort Number Two. Я закончил свою педагогическую карьеру. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я взял книгу в руки. Мне наплевать на учебу. Единственное, что меня интересует, - это вопрос о том, когда закончится война. Моя единственная цель - поддержать свое тело и выиграть сначала в один день, а в следующий день у немцев.

На курорте мои мысли совершенно пустые. Перед обедом я считаю часы, пока не получу суп, а после обеда - часы, пока мы не вернемся домой. Дома я большую часть времени занимаю уборкой, приготовлением пищи и стоянием в очередях. Мама мало чем поможет. Она приходит домой из пилинг-сарая и сразу ложится спать. Авраам протягивает мне руку помощи, но дом не в его мыслях. Он бегает. Он стал активным членом организации, опоры Молодежного движения. Он по-прежнему шмыгает носом и вытирает нос рукавом, но он стал *mentsch.*Он носит волосы «дикобраза» и ходит под руку с девушками из своей группы. Вчера он спросил меня шепотом, принадлежу ли я тоже к «группе из пяти человек». Я не знал, что он имел в виду, и он отказался дать мне какие-либо объяснения. Я же не такой идиот. Скорее всего, партия создала своего рода боевую организацию. Почему меня не причислили к «группе из пяти человек»? Каких качеств не хватает мне и Аврааму? Я обижен. Но, с другой стороны, я тоже очень доволен. Я не верю в эти глупые игры боевых организаций. Их вдохновило Варшавское гетто - но из этого ничего не выйдет.

Book Three 219

Глава шестнадцатая

САМУЭЛЬ БЫЛ ЛИХОРАДКОЙ. Он лежал в комнате, которая когда-то принадлежала его дочерям, недалеко от балкона. Со своей кровати он мог видеть часть кроны вишневого дерева и крыши сарая пожарных во дворе напротив. Когда он отвернулся от балкона, он увидел Беллу с другой стороны своей кровати. Она не отходила от него.

Их привязанность много лет назад казалась подготовкой к близости, связывающей их в настоящее время. Период их отчуждения был стерт. Говорили очень мало, но все было ясно. Для Сэмюэля глаза Беллы были подобны тихим лодкам, которые после бурь ярости и горечи достигли мирного порта. Казалось несправедливым, что, несмотря на ее преданность и безмятежность, он не выздоровел. Ибо он тоже не чувствовал себя бунтовщиком или гневом. Он был горд. Он чего-то добился. Он победоносно покорил волны, которые пытались его утопить. У него были две прекрасные дочери, которые поднимут флаг свободы над страной его мечты. Сам он был слишком измучен, слишком устал.

Однажды вечером он позвонил Белле и попросил ее собрать его заметки для книги, которую он намеревался написать; обернуть их плотной тканью и хорошо спрятать.

Она с удивлением посмотрела на него: «Почему, папа?»

Он ответил: «В какой-то момент жизни каждый думает о том, чтобы написать книгу. Только писатель на самом деле пишет один ».

Она не поняла. Какая она все еще была наивной. Из-за ее веры в то, что он поправится, ему было труднее сказать ей, что он должен делать. Она мудро, преданно улыбнулась, вытирая пот со лба. «Вы напишете историю евреев Лодзи. Мы будем работать над этим вместе. Пора мне кое-что узнать об этих вещах ... » Она сказала это и из убеждения, и из желания доставить ему удовольствие. «Мы закроемся в вашей комнате и никого не впустим до того, как книга будет завершена».

«Да», - согласился он, но тем не менее настоял. «Хорошо заверните. Жалко, что нотки должны погибнуть. Спрячьте их в подвале ... на случай «акции» или обыска ».

«Пока что. . . » она сдалась. «Пока ты не выздоровеешь».

Он закусил губы. Как он мог причинить ей боль, пробудив ее к истине? Но он должен был это сделать для ее же блага. И однажды вечером, когда он почувствовал себя лучше и сильнее, он сказал ей: «Белла, ты знаешь мое состояние, не так ли?»

«Да», - мягко ответила она. «Михал сказал мне. Твои легкие поражены.

«Сильно пострадали».

Она чувствовала себя зрелой, опытной и материнской. «Ты поправишься. На улице тепло, и приближается лето ».

«Я хочу, чтобы ты сделал с записями то, что обещал мне. После войны их нужно хранить в архивах, пока не появится историк. . . Возможно, тебе удастся найти кусок клеенки, чтобы защитить их от влажности ».

«Сколько раз ты должен мне это говорить, папа?» Она погладила его мокрый лоб.

«Тогда почему бы тебе не сделать то, о чем я тебя прошу?» - в отчаянии крикнул он.

Она обняла его. «Тише, папа, не сердись на меня. Я сделаю это. Клянусь тебе." Она грызла ногти и разрыдалась. Он был охвачен чувством вины и попытался поднять руку к ее голове, но его рука была слишком тяжелой. Белла долго сидела, приклеившись мокрой щекой к его мокрой от пота рубашке. Синева сумерек заполнила комнату. По мебели и стенам ползли теплые тени. Через открытую балконную дверь проник ленивый легкий ветерок. Снаружи тихонько шелестели листья вишневого дерева.

Наконец она пошла умываться. Он остался один, его чувства были свободны, чтобы поглощать свет и тени, тончайшие нити тишины. Он был горящим терновым кустом в тишине, всепожирающим пламенем с шипящим дыханием. Таким образом, пылающий, он наслаждался покоем не только вокруг себя, но и внутри него. Все войны были выиграны, все бури утихли, все долги выплачены, все грехи искуплены. Какая прекрасная безграничная свобода! Он мог парить из вечности в вечность, над всеми границами, над всеми горизонтами, петь с чистой самоотдачей.

Он много думал о жизни. Он был лихорадочным от жизни, он взорвался в тишине жизнью.

Но сам этот энтузиазм навел его на холодные мысли. Его разум стал суровым судьей. Он слишком рано освободился от своей вины. Ибо свобода в жизни не была безграничной, не бесконечной. Это закончилось там, где началась свобода чужой жизни. Не обидеть, не навредить - вот граница свободы жизни. Например, он должен был причинить вред Белле, подготовив ее к правде. Но если на самом деле это помогло Белле, то как насчет того, что он причинил вред ей, а также Джунии и Михалу - незнакомцу, который стал для него братом и сыном - тем, что ел их творог, пил молоко, которое они купили вместе с едой? пайки? Разве они не обменивали свои порции хлеба на лекарства, которые все равно не помогли? Огонь в его теле пожирал не только его, но и его детей. Как он мог позволить этому случиться и при этом чувствовать, что все его войны выиграны?

Белла вернулась отдохнувшая. Улыбка, которую она оставила только ему, снова появилась на ее лице. Она принесла блюдо с творогом и сметаной и стала его кормить. Он проглотил несколько ложек, затем оттолкнул ее руку. «Спустись, немного подыши свежим воздухом», - умолял он ее.

Она пожала плечами: «Здесь тоже хороший воздух». Воздух в комнате действительно был в порядке. Сэмюэл с усилием вдохнул его вместе с улыбкой Беллы.

Вечера были обычно тяжелыми, критическими. Позже он почувствовал себя лучше. Придут Юния и Михал и сядут у его постели; они говорили с ним, говорили мимо него. Приятно было их слушать, знать и в то же время не знать содержания их слов, слышать шорох их голосов, как будто листья вишневого дерева шелестят над его головой, быть частью этого шороха - и все же порознь. от него. Михал изучал Самуэля и никогда не говорил ни слова. Самуил давно перестал задавать ему вопросы.

После одного из посещений Михала, когда Белла сопровождала его и Джунию снаружи, она заметила, что лицо Джунии исказилось, как будто она собиралась заплакать. Белла обняла ее: «Тебе не нужно ничего приносить. Отец очень мало ест ». она успокоила ее.

Михал взял Беллу за руку и, избегая ее взгляда, сказал: «Пойдем, я обещал твоему отцу, что возьму тебя на прогулку».

Они шли по узкой тропинке между цветущими грядками. Листья свеклы и картофеля колыхались на вечернем ветру. Михал крепко держал Беллу за руку. Ее посетило далекое воспоминание о том, каково было ходить, опираясь на плечо молодого человека. В голове гудело. Что-то гудело в ее крови, создавая шум по всему ее телу.

«Знаешь, Михал», - к ее собственному удивлению, она стала разговорчивой и доверительной. «Я когда-то любил мальчика. . . Он отличался от тебя ... Но когда ты так меня обнимаешь ... Она закусила губы и была рада, что ни Михал, ни Джуния не обратили внимания на ее глупые слова. Затем ее разум был рассечен, как если бы лезвие ножа. Она остановилась, оторвав руку от руки Михала. «Вы хотите рассказать мне что-нибудь об отце».

«Да», - мягко ответил он.

Она быстро зажала уши обеими руками. «Я не хочу этого слышать!» Они стояли под цветущей вишней. Белые лепестки падали им на головы. Лицо Беллы между руками выглядело сморщенным и сморщенным, как лицо старухи. Ее глаза были черными, глубокими и полными страха. На нее было нелегко смотреть. И вообще невозможно было смотреть на маленькое, заплаканное лицо Джунии. И все же Михалу пришлось заставить себя. Он обещал Самуилу. Белла отскочила от него. «Я больше не хочу тебя видеть!» она истерически крикнула и побежала в дом, белые лепестки упали с ее головы и плеч.

Время от времени температура Самуила снижалась до нормы, и странное возбуждение, вызванное лихорадкой, покидало его. Именно тогда он развил удивительно точное чувство времени. Он не бежал слишком быстро и не тянулся слишком медленно. В те годы, когда он был поглощен созиданием, творчеством, время бежало слишком быстро. В гетто он не раз отчаялся в его застойной вечности. Но теперь, когда лихорадка покинула его, его чувство времени стало синхронизироваться с часами. Он мог легко угадать, когда прошел час или два. Это стало развлечением, игрой - измерить время.

И все же, несмотря на то тонкое чувство, которое он развил, лицо окружающего его мира изменилось. Он создал на этот счет свою собственную теорию. Он думал, что удерживание тела в горизонтальном положении влияет на сознание человека. Это изменило точку зрения. «Возможно, человек был таким тщеславным и высокомерным, потому что он ходит прямо», - подумал он. Давление воздуха на его голову небольшое, поэтому человек чувствует себя легким, он чувствует себя правителем. Однако, когда он лежит ровно, давление воздуха распространяется на все его тело; он становится раздавленным тяжестью всей вселенной. Вот почему люди чувствовали себя на этом посту скромными и незначительными. Из этого наблюдения Самуил пришел к поучительным выводам. Он придерживался мнения, что каждый молодой человек, прежде чем начать действовать, должен испытать опыт лежания в постели в течение примерно шести недель, днем ​​и ночью, в горизонтальном положении, в одиночестве в комнате. Это научит скромности и обострит чувствительность. Когда впоследствии он ходил на двух ногах, человек вспомнил, что он не пуп земли и что его взгляд на вещи не обязательно был верным; что за пределами человека существовала истина, которая была объективной, в отличие от человеческой субъективной и иллюзорной истины.

Самуил подумал, что только теперь, когда он смотрел на мир не из центра, а сбоку, снизу, он стал полноценным человеком. Только теперь им овладела любовь и нежность, о которых он прежде имел слабое представление. Теперь он совсем иначе, более откровенно любил своих дочерей, зятя, а также свою жену Матильду, к которой никогда не отвечал любовью. Как хорошо он теперь понимал Матильду. Какой прекрасной она казалась ему в своем щедром приношении себя. Человек так жаждал любви, размышлял Самуил, в этом мире так мало любви, однако он, Самуил, удачливый, благословенный, в своем самом деле пренебрегал этим сокровищем, не ценив его и не присматривая за ним.

Эти мысли привели его к размышлениям о мире в целом, о гетто, о немцах. Евреи считали, что уничтожение одного-единственного человека разрушает мир. Субъективный мир. На самом деле немцы не уничтожали сотни или тысячи миров - даже один. Трава не переставала расти, ветер не переставал дуть, солнце не переставало светить, и жизнь по всему земному шару продолжалась, как ни в чем не бывало. Все, что происходило, было убийством, совершенным червями против червей.

Он с нетерпением ждал Михала. Ему нужно было обсудить с ним эти темы. И как только перед ним предстал Михал, он высказал то, что его беспокоило. «Мы жили иллюзиями, Михал. Для нас жизнь каждого человека была равна целой вселенной. Поэтому было невозможно представить себе разрушение сотен, тысяч вселенных. Мы почти превратили человека в бога ».

Он смотрел на Михала с ожиданием, и Михал знал, что Самуэль ждал его, чтобы вернуть ему уважение к человеку. Михал его не разочаровал. «Вы знаете мое мнение по этому поводу», - ответил он. «Вселенная безразлична. В сферах безразличия мерцает божественная искра, помещенная туда или созданная неизвестно как, неизвестно кем. Эта искра - человек. Поистине пылинка, поистине не более чем маленький червяк, но единственное существо, которому небезразлично. Насколько нам известно, он - единственное живое существо, которое не только существует, но и меняет, формирует и окрашивает жизнь. И, как я вам когда-то сказал, человек, на мой взгляд, самая трагичная часть творения. В своем высокомерии он осознает, что в основном он не что иное, как червь и что он вернется на землю как один. . . таким образом он ценит жизнь. Если бы все человечество погибло, мир как таковой не исчез бы, согласно объективной истине, на которую мне наплевать, - тем не менее, он не мог бы существовать, потому что не было бы сознательного существования. Следовательно, тот факт, что я вижу себя червем, обязывает меня уважать жизнь другого червя. Хм. . . Говорят, что нельзя заставить себя любить. Смотря какая любовь. К любви, которая означает обязательство одного человека по отношению к другому, нужно заставить себя. Почему? Ради нашего же блага. Вы заметили, как мало времени люди уделяют ненависти к немцам? Ты знаешь почему? Потому что мы не хотим погибнуть. Ненависть разъедает душу, разрушая жизнь человека, даже если человек продолжает жить. Мы цепляемся за мысли о поддержании жизни так же сильно, как и за наш кусок супа и хлеба ».

Самуэль улыбнулся. Слова Михала, конечно, были в русле его собственного мышления, только мысли время от времени запутывались. Но он не сдался. «Ты говоришь как какой-то Христос», - заметил он.

Михал улыбнулся. «Я не могу проповедовать, что мы должны подставить другую щеку, потому что мы получаем удары по обеим щекам. И если вы хотите знать, я яростно ненавидел немцев во время *Сперре*; Я чуть не погубил себя этим. Но потом. . . Потом я влюбился в вашу дочь. Когда я действительно втянул ее себе под кожу, чувство к ней настолько пересилило меня, что я просто забыл о своей ненависти. Немцы становились все меньше и менее значимыми в моих глазах. Мне казалось важным защитить свою любовь. Итак, все мои так называемые наивные философские рассуждения о человечестве, о разрушении барьеров между народами вернулись ко мне ».

Сэмюэл весело похлопал Михала по руке. Михал действительно был наивен. Он, Самуил, в первую очередь хотел иметь дом и убежище для своего народа. Когда это будет достигнуто, у нас будет достаточно времени, чтобы посвятить себя дальнейшим мечтам.

Несколько раз товарищи из сионистской партии проводили свои собрания в комнате Самуила. Он был удивлен, что они слушали его с таким вниманием, и еще больше удивился тому, что все, что они обсуждали, все еще интересовало его. Однако впоследствии он редко следил за обсуждением дольше нескольких минут. Были времена, когда он никак не мог понять, о чем они говорили. То же произошло и с анонсируемыми новостями. Тот, кто когда-то цеплялся за радиоприемник, который был экспертом в языке официальных сообщений и волшебником в объяснении передач новостей, теперь был на уровне идиота. Карта войны трех континентов стерлась из его памяти. Он не мог себе этого простить, потому что считал эти вещи чрезвычайно важными.

Часто от разговоров товарищей он засыпал. Он издавал громкие скрипящие звуки, храпел. Товарищи незаметно переходили на кухню. Однажды, проснувшись один в комнате, он уловил обрывки разговора, доходящие до него с балкона. Он узнал голоса. Товарищ Видавский чего-то требовал от Михала. Они жонглировали словом «цианид». Самуэль не мог вспомнить, что означает «цианид». Забавное иностранное слово. Сначала Михал казался рассерженным, но постепенно сдался. Видавски сказал: «Я слишком много знаю ...». Игра в слова была окончена. Видавски выиграл.

Когда жар в его теле усилился, у Самуила сложилось впечатление, что он был гигантским светлячком, татуировавшим свою любовь на безразличии вселенной.

♦ ♦ ♦

Чем теплее становились дни, тем сильнее разгорался огонь в теле Самуила. Перед тем, как Белла уезжала на работу в Центральную бухгалтерию, она приходила с тазом, полным прохладной воды, и со своей освежающей улыбкой. Вид ее наполнил его гордостью. Тот, кто мог нести такой тяжелый таз и в то же время улыбаться, несомненно, обладал силой гиганта. Она вымыла его мягкой тканью. Он не постеснялся показать ей свое тело. И она не стеснялась на это смотреть. Все было просто; такой же чистый и приятный, как прикосновение мягкой воды к его горячей потной коже.

«Я люблю тебя, дочь», - пробормотал он.

Она попрощалась с ним, поцеловав его в лоб. В одиночестве он будет измерять часы, которые отделяют его от нее. Тем временем он позволил себе уйти. Он превратился в мальчика с легкой пустой головой, бывшего Самуила, озорника, клоуна. Кувыркался на большом столе в отцовском доме. Он намазал клеем сиденья стульев своих учителей в школе, и учителя застряли. Он сбил отца с ног и покатился от смеха, когда заметил, что это Румковски упал в грязь.

Около полудня он почувствовал на лбу прохладную руку. Он открыл глаза и увидел Беллу. Он был уверен, что она была свидетельницей всех этих игр. Он проделывал для нее все эти фокусы, чтобы ее грустные глаза светились весельем. Иногда, видя ее, он снова закрывал глаза, тихо и удовлетворенно возвращаясь к своим развлечениям. Да, он был рожден для удовольствия и радости. В течение стольких лет они были пойманы в ловушку внутри него, а теперь освободились благодаря его громкому свободному смеху, который был таким же молодым и беззаботным, как в тот майский полдень.

Дневной свет играл с ним на стенах. Противоположная стена представляла собой огромный спортивный стадион, разрезанный пополам сеткой из колючей проволоки. Самуэль играл сам с собой в теннис. Он был одет в белые, белые брюки, белую рубашку, белые туфли и чулки. Он был горячим. По его лицу струился пот. Он улыбнулся себе - своему партнеру, своему сопернику - по ту сторону сетки. Скоро игра закончится. Они подходили к сети и обменивались рукопожатием над проводами. Они оба хотели выиграть, и не важно, кто это сделает, главное, чтобы игра была интересной, сложной. Где-то поблизости Белла, вероятно, стояла с глотком холодной воды. Достаточно было покинуть стадион и поднять глаза. Он хотел пить.

Однажды, когда он оторвал взгляд от стены и протянул руку к дочери, он почувствовал неприятное рукопожатие и странный ветерок от фигуры у его постели. Кто был обладателем такого противного лица? Самуилу пришлось улыбнуться самому себе. Лицо напомнило ему Ангела Смерти. Но Ангел Смерти обычно появлялся в виде *клепсидры,*скелета, а этот был толстым, как свинья. Кошмар. Он сиял красной паштетой и полным ртом металлических колпачков. *«Шалом алейхем»,*- сказал рот.

Этот толстый Ангел выглядел так забавно, что Самуил, хотя и хотел пить, стал беззаботным и веселым. «Дайте мне стакан воды», - лукаво усмехнулся он посетителю.

Толстый посетитель начал беспокойно оборачиваться, оглядывая комнату. В голове Самуэля бурлил смех. Он указал на бутылку и стакан у постели, прислушиваясь к дыханию дряблого незнакомца. Они коснулись пальцами стекла друг друга. Их взгляды встретились. Самуэль проглотил холодную реальность.

Адам вытер руки чистым носовым платком и подошел к дальнему краю кровати. «Видите ли, я приехал к вам в гости, - сказал он. «Да, ты по-прежнему мой единственный друг. Я много согрешил против тебя, но поверьте мне, я сделал это не для удовольствия. Прошу прощения.

Самуилу пришло в голову, что его посетитель сам превратился в маленького клоуна, возможно, даже лучше, чем он сам, потому что Адам даже не улыбнулся, декламируя свои строки. «Ты говоришь так, как будто я вот-вот умру», - произнес Самуил своими словами. «Идиот, что тут прощать? Ты не причинил мне никакого вреда, даже пятнышка ... - Он озорно подмигнул. «И если я умираю, лучше сделать это до того, как я совершу то, что заслуживает смерти. Вы так не думаете? Адам был очень горячим, горячим, чем Самуил. Ему тоже нужно было выпить стакан воды, и он спросил, где найти чистый стакан. «Этот стакан чистый, - протянул ему Самуил. «Возьми, выпей».

«Я знаю, что он чистый, - простонал Адам, - но. . . Разве у тебя нет другого стакана? »

«Что значит« у меня нет »? Да защитятся мы от сглаза, мы большая благородная семья. Идите на кухню и жрите, сколько душе угодно. В конце концов, зачем тебе пить из того же стакана, что и я? Нас родила одна и та же мать, или мы вместе пасли свиней, или что? » Его позабавило то, как Адам тащился к двери.

Адам долго не появлялся. Сэмюэл уставился на дверь, подсчитывая, сколько воды человек может выпить за такой промежуток времени. Он начал беспокоиться о ведре с водой, которое Белла принесла утром. Наконец Адам вернулся. Он снял пиджак, обнажив безупречно белую рубашку, когда сел на достаточном расстоянии от кровати. Но Самуил немедленно сказал ему: «Ты говоришь, что ты мой друг, не так ли?»

«Да, честно».

«Тогда сделай мне одолжение. Вы вылили половину ведра воды или даже больше. . . Тогда будь так любезен, подними свою выдающуюся задницу и принеси мне ведро воды, чтобы Белле не пришлось это делать ». Адам скривился, обмахиваясь белым платком. «Итак, - настаивал Сэмюэл. «Принеси мне два ведра воды. Покажи мне щедрость своего сердца. . . Двигаться! Разве вы не спортсмен, в конце концов?

Адам тяжело встал и вышел из комнаты. Самуил слушал звяканье ведер, а про себя хохотал, словно разыграл с Адамом забавную шутку. Издалека он услышал скрип водяного насоса. Его звук, казалось, проник в комнату и дошел до груди Самуэля. Он хотел глубоко вдохнуть свежий майский воздух, но его дыхание было остановлено стеной внутри него. Он попытался снова, надеюсь, игриво. На этот раз он почувствовал покалывание в груди и спине. Адам тяжело дышал на лестнице снаружи. Вскоре он вошел в комнату и сел на стул.

«На улице жара. . . » - проворчал он. Затем он погрузился в молчание, явно готовясь к тому, что хотел сказать. Наконец, он заговорил: «Послушай, Цукерман, я готов многое для тебя сделать ...». Твоя дочь . . . Она ужасно выглядит. Где она работает?"

«В Центральной бухгалтерии».

«Некоторая работа! Чем она может там набить рот? С цифрами? Один большой круглый ноль. А другая твоя дочь? Я слышал, что она вышла замуж. *Мазл тов*тебе. Видишь ли, я знаю о тебе все. Я был заинтересован. И послушайте, я буду посылать вам запас еды каждый день, вот увидите. И вам также будут регулярно давать дополнительную порцию творога. Говорят, творог - это лекарство от болезни. И твоя дочь. . . Белла ее зовут, не так ли? Видишь ли, я все еще помню. Прекрасный ребенок. Она любила мою Сучку. Я найду ей работу в пекарне. Вы удивлены? Я легко справляюсь, у меня в кармане целое гетто. Да, даже сам Король Нищих, маленький Мардохей Хаим трясется в штанах передо мной. Итак, у вас есть идея, а? Но ты, Цукерман, переживешь войну благодаря мне. Никто не спасет тебя, кроме меня. Говорят, ты страдаешь от чахотки галопом, что дольше четырех недель не протянешь. Смейтесь над этим. . . » Он заметил, что Сэмюэл медленно опускает веки, поэтому он прервал свой монолог и подошел немного ближе к кровати. Кончиком пальца он коснулся руки Самуила, как будто хотел его разбудить, и продолжил говорить, но медленнее, чтобы дать своим словам время проникнуть в разум больного. «Вы знаете, что вам нужно больше всего? Свежий воздух. Марысин, видите ли, мог бы поставить вас на ноги. Цукерман, я сказал, Марысин ... "

«Я слышал тебя, Розенберг», - ответил Сэмюэл, не открывая глаз.

«Я куплю тебе дом в Марысине или предложу свой. Дом как в деревне. . . с красивым садом. Ты меня слышишь? Что касается меня, я перееду сюда. Я не против оказать вам эту услугу. Мы сможем это сделать даже завтра. И о транспорте тоже можно не беспокоиться. Как тебе мой план? "

«Какой-то план».

"Так что вы скажете?"

«Я говорю, что со мной здесь все в порядке».

"Ты идиот. Мужчина не должен сдаваться. Надо все попробовать. Вы отец двух дочерей, и война подходит к концу. Во-вторых, как друг ... То есть одна рука моет другую. Я готов заплатить тебе ».

«Зачем тебе мой дом?»

Адам не ожидал такого прямого вопроса. Он закашлялся и продолжал вытирать лицо платком. Он поспешно придвинул свой стул поближе к кровати и еще более поспешно отодвинул его назад.

«Слушай, это секрет. . . » он начал с усилием. «Но тебе я могу доверять. Дело не в доме. Речь идет о сарае в коридоре. Дело в том, что я собираюсь завести щенка. Мне это обещал немец. Завтра или послезавтра. Я не могу держать его дома, слишком тонкие стены в моем доме. В конце концов, я еврей из гетто, и мне не разрешают держать собаку. Это прочный каменный дом. Пока Сучка был здесь, с ней ничего не происходило. Понимать? Новая собака будет крошечной ... Я дам ему привыкнуть к сараю и спрячу там, если что-то случится. Я бы подождал с обменом домов, клянусь, что буду. Но это срочно. Я одинокий человек, Цукерман ... - Он ждал слова сострадания. Самуил молчал; он держал глаза закрытыми. Адам становился нетерпеливым и раздражительным. Здесь он говорил из глубины своей души, а человек перед ним лежал, как мумия. «Вы знаете, - сказал он в ярости. «Если бы я захотел, я мог бы заставить Саттера выселить тебя отсюда в кратчайшие сроки». Сэмюэл моргнул. Внезапно правда пронзила его сознание, как лезвие, ослепляя его так жестоко, что он дернулся в своей постели. "Ты . . . у вас есть . . …! »- хотел он прореветь, но ему не хватило дыхания. Его язык оставался подвешенным в середине его открытого рта. Адам хитро ухмыльнулся, наблюдая, как Самуэль борется с дыханием, закидывает голову и шевелит открытым ртом. «Нацист!» Рот Самуэля наконец зашипел.

«Если бы я только мог быть нацистом!» - воскликнул Адам. Ему надоело играть в комедию, достаточно наблюдать отвратительное трупное лицо больного. Он встал и начал ходить по комнате. «И если вы хотите знать, - сказал он теперь свободно, - я спас вас от рук Саттера, я, который так много страдал от вас. Вы считаете себя лучше меня, не так ли? Вы благородный этичный человек, не так ли? Затем внимательно посмотрите на свою дочь, и вы увидите, насколько вы этичны. Вы думаете, мне потребовалось много времени, чтобы понять, что вы питаетесь ею, как паразит, своей собственной плотью и кровью? Ну разве ты не преступник больше меня? Разве ты не знаешь, что ничто тебе не поможет? Почему бы тебе не покончить с собой, мой великий герой, скажи мне? Тебе это не нравится, не так ли? Вы лучше украдете кусочек жизни из собственной плоти и крови с каждым кусочком еды, которую вы берете. Но ты считаешь меня дьяволом за то, что я хочу того же, что и ты, хотя я не делаю этого за счет жизни своего ребенка ».

Самуил не слышал его. Он только чувствовал присутствие могущественного устрашающего Адама внутри себя и вокруг него. Все его битвы были еще далеки от победы, и из всех битв оставалось самое важное - с Адамом. Сэмюэл уставился на стену. На нем играли последние огни дня. Он снова оказался на стадионе. "Терпеть! Терпеть!" он командовал руками, ногами, сердцем. Пространство разделяла сеть из колючей проволоки. С одной стороны стоял Самуил, с другой - Адам. Они играли страстно, всем своим существом. Все пульсации в теле Сэмюэля учащались, пот струился по его лицу, слезы текли из глаз - беспомощные теннисные мячи. Он плакал.

Холодная рука коснулась его лба. Он открыл глаза и увидел Беллу. Ее губы шевелились. Она что-то говорила, он не знал что. Он нахмурил брови и напряг уши. "Понимаешь?" спросила она. «Все гетто гудит. Даже Presess сказал в своем выступлении. . . »

«Кто здесь был?» он спросил.

Она пожала плечами: «Никто ...» Она погладила его лицо. «А знаете что еще? Он сказал, что мы должны подготовиться ».

«Да, надо готовиться», - рассеянно повторил он.

«Люди вне себя от радости от благой вести. Голова кружится. Говорят, что через несколько дней начнут разбирать проволочный забор. Этого требуют союзники и Международный Красный Крест ».

Его глаза засветились таким светом, что ей пришлось отвести от них взгляд. "Терпеть!" он выдавил сквозь зубы.

Ее глаза плавали. Она грызла ногти. Ей стоило усилий продолжать говорить: «Внизу люди говорят, что гетто давно бы открыли, но Румковски этого не хотел. . . из-за безопасности. Антисемиты, поляки или немцы могут напасть на нас. . . Так мы в безопасности ».

«Дайте мне стакан молока», - сказал он.

Она потерла лицо, оживившись: «Может, морковь с сахаром? Может, немного супа? » Избегая его взгляда, она отвернулась.

«Хорошо, морковь! Хорошо, немного супа! " - позвал он ей вслед.

Она остановилась у двери: «Знаешь, папа, меня начинает интересовать политика». Она ушла, но вернулась в мгновение ока. «Кто-то был здесь, папа! Ведра полны воды.

«Кто здесь был?» - спросил он и вспомнил: «Адам Розенберг. Он хочет вывести нас из дома ».

Она кормила его, и ему показалось, что он видел пену слюны в уголках ее голодного рта. Он ел, хотя не был голоден. Он должен был принять жертву ради нее. Ради нее он должен был поправиться; больше, чем ради нее: ради высшей справедливости, которая не должна допускать справедливости их двоих, Адам должен быть тем, кто доживет до дня мира. Он сказал Белле: «Мы не будем драться с ним из-за дома. Мы должны сконцентрировать нашу энергию на важных вопросах ». Она с благодарностью кивнула: «И нам не сбежать», - добавил он. «Посмотрим, на что способен этот *Крипоник*».

« *Крипоник»?*она смотрела на него изумленно.

Он был на грани того, чтобы разразиться истиной, которая только что открылась ему, но он закусил губы. «Да», - сказал он с притворным безразличием. «Он подружился с несколькими негодяями *крипо*, поэтому ведет себя очень важно».

На улице еще не было совсем темно, когда Белла разделась и легла спать. Она хотела, чтобы ночь была как можно дольше. Она любила свой сон, это было ее самым большим сокровищем. Она смотрела на кусочек неба в балконной двери, глубоко вдыхая ароматный ветерок, витавший по комнате. Она была измотана. Каждый день был длинным путем по волшебным кругам, медленно двигаясь вокруг умирающего фитиля свечи. Она знала, что она была зачарованной мотыльком, вынужденной слиться с фитилем, стать пищей для его пламени. Важно было, чтобы пламя усилилось, чтобы полная тьма не поглотила ее, чтобы она осмелилась вдохнуть майский воздух, вкусить сладость летних вечеров, которые наверняка где-то ее ждали. Казалось странным, что болезнь отца пробудила в ней все эти желания. Она обнаружила в себе неудовлетворенное желание наслаждаться, процветать, созревать. Здесь, соприкоснувшись с интимными ранами отца, с его голым беспомощным телом, она осознала, как прекрасно все физическое, все чувственное. И если ей снова стало не хватать пианино, то это было из-за ее стремления выразить через музыку свое увлечение всей земной красотой. Каждую ночь она закрывала глаза с молитвой, чтобы она могла встать утром и что-нибудь случилось бы. У нее были большие планы на себя, только на себя. Самуэль выздоровеет, и она отправится в мир - своим собственным бегством.

Сэмюэл продолжал смотреть на Беллу, но почти не видел ее. Он слышал ее регулярное дыхание, и его ритм возвращал его в те дни, когда она была крошечной девочкой, и он стоял над ее кроваткой. Он всегда считал ее хрупкой; его сердце всегда было полно нежности и страха, что с ней что-то может случиться. Да, и он всегда знал, что ее уродство было маской. Что на самом деле она была ароматным цветком, распускавшимся в его саду, что человек, открывший ее красоту, будет удачлив и благословлен. Лицо ее матери, Матильды, выплыло из глубин его памяти. Белла была ее копией. Вот почему он никогда не был счастлив. Ему не дано было открыть для себя красоту матери Беллы. Он был способен принять в свое сердце только ребенка. Он мысленно позвал Матильду.

Затем он подумал о Юнии, другой своей дочери. Он никогда не беспокоился о ней. В шесть месяцев она на четвереньках мчалась по коридору дома на Новомейской. С самого начала она намеревалась завоевать мир своим свободным, экспансивным высокомерием. В то же время она была такой же упрямой, как и ее предки, и очень походила на своего отца внешностью, своей любовью к озорству; может быть, еще и в ее силе? Возможно, в конце концов, он был не тем слабаком, которым себя считал, возможно, он жил с этим заблуждением, потому что это было удобно. Разве он не осознавал свою внутреннюю силу прямо сейчас, во время болезни? Да, эта сила теперь сказала ему что-то неприятное, что он должен был признать. Адам Розенберг был прав. Враг иногда был более способен оценить человека, чем друг. Он, Самуил, был виновен. Белла увядала. . . Юния была тонкой, как палка. Может быть, горячие металлические глаза Михала горели осуждением? Может быть, эти цветущие майские дни тоже были упреком? Страх смерти? Воля к жизни? Разве он не был сильнее обоих?

На следующий день они напрасно ждали Адама и гостей из *Крипо.*В последующие дни никто не появлялся. Сэмюэл и Белла торжествовали. Дни становились все более жаркими, и энтузиазм гетто рос. Воздух был полон надежд. Свобода казалась достаточно близкой, чтобы ее можно было коснуться. Сэмюэл и Белла сказали себе, что Адам испугался хороших новостей и отказался от своих злых намерений.

♦ ♦ ♦

Чтобы отметить свою третью годовщину, многие курорты организовали торжества, а Центральная бухгалтерия, хотя сама не участвовала в таких беззаботных мероприятиях, устроила лотерею с билетами на выступления различных курортов в качестве призов. Такую путевку на просмотр в Millinery Resort выиграла Белла. Хотя ей не приходило в голову использовать билет, она была рада, что выиграла его. Мать Удача улыбалась ей. Она ждала Дэвида на балконе, чтобы предложить ему билет. Он заслужил это своим частым посещением, тем, что разбавил тяжелую атмосферу в доме немного веселостью.

Увидев его сидящим под вишневым деревом, она босиком побежала к нему. Ей нравилось ходить босиком. Это дало ей ощущение, что у нее есть дополнительное чувство, позволяющее миру войти в нее еще одним путем. Это было восхитительно. Тем не менее, как только она добралась до него, ее колени подкосились, и она чуть не упала на Дэвида. Что-то заревело у нее в голове. Перед ее глазами распространилась тьма. Она зажала билет в пальцах и тяжело опустилась рядом с Дэвидом, ожидая, пока темнота, кружась перед ее глазами, исчезнет. Она была спокойной и терпеливой. Это случилось с ней не в первый раз. И действительно, вскоре перед ее глазами начал рассветать, и она подняла голову к Дэвиду.

«У меня есть для вас билет на осмотр в Millinery Resort». Он жевал травинку и даже не взглянул на нее. Она стала грустной, разочарованной тем, что ее удача так мало значила. Она протянула руку с билетом: «Вот, возьми ... Если ты не хочешь идти, возможно, твой брат пойдет».

Его пальцы медленно начали ползать по влажной траве. Он накрыл ее руку своей, и приятное тепло поднялось по ее телу, окрашивая щеки. Он взял билет и поблагодарил ее, она не могла понять почему. Это она была ему благодарна. И она задавалась вопросом, насколько чувствительной и благодарной может быть рука, как сердце. Ей хотелось немного посидеть рядом с этим незнакомцем, который был так знаком, чтобы вдохнуть милосердную доброту земли и травы. Но сидеть так было грехом. Наверху стояла кровать, обитатель которой значил для нее все. Благодаря телу в этой постели были день и ночь, был май и свет неба. Не сводя глаз с балкона, она встала и пожелала молодому человеку спокойной ночи.

Он не ответил и не проследил за ней глазами. Но затем он услышал глухой стук и крик. Он вскочил и побежал ко входу в дом Цукерманов. Белла лежала возле лестницы, уткнувшись головой в камни. Женщины прибежали со всех сторон. Вскоре подъезд заполнился шумом и народу. Несколько мужчин отнесли Беллу наверх и уложили ее в кровать напротив Сэмюэля.

«Ничего подобного, - сказал Дэвид, склонившись над больным. «Она упала с лестницы».

Сэмюэль наморщил лоб, поправляя одеяло руками. "Вызов . . . » пробормотал он.

Дэвид побежал за Михалом. Когда они вернулись, в доме было полно соседей. Женщины обыскивали комнаты, исследовали кухню, открывали шкафы и ящики, как будто в доме не было хозяев. В комнате, где лежал Сэмюэл, женщины, которые были экспертами по оживлению, были заняты работой с Беллой, окропляя ее лицо холодной водой, растирая руки и шлепая ее по щекам. Ей дали понюхать странно пахнущие флаконы, и кто-то дул ей в рот.

Михал отослал их всех, оставив одну женщину на кухне. Он приказал ей приготовить немного супа. И действительно, как только ложка с горячей жидкостью коснулась губ Беллы, она открыла глаза. Съев весь суп, она встала, как будто только что хорошо отдохнула, и подошла к больному. «Ты видел, что со мной случилось, папа?» - спросила она, украсив лицо своей особенной улыбкой. Она разгладила его морщинистый лоб рукой и поправила подушку.

Они провели приятный вечер у постели Сэмюэля: Михал, Юния и Белла. Сэмюэл, казалось, забыл об инциденте с Беллой. Он был в хорошем настроении. Его температура упала, и это, казалось, оживило и других. Обсудили ситуацию на полях сражений и тот факт, что война действительно подходит к концу. Юния полусерьезно, полушутя описал, как могла бы выглядеть еврейская родина, которую нужно было создать сразу после того, как они покинули гетто. На прощание они с Михалом поцеловали Самуэля. Это был обычный, но праздничный вечер.

Белла была в постели, готовая принять ночь, когда голос Самуэля достиг ее уха: «Это не займет много времени, дочь». Его голос звучал обнадеживающе.

Она доверчиво ответила ему: «Я тоже так думаю», и закрыла глаза.

Жаркий день. В этом году май имел характер. С раннего утра солнце охватило комнату Самуила, наполняя ослепительным светом каждый угол. Самуэль приветствовал его, как приветствуют любимого родственника, приехавшего в гости. Он был в настроении клоунады, когда Белла мыла его.

В ярком дневном свете его раны и пролежни выглядели острыми и блестящими. Гной явно торчал из красной сырой плоти. Как обычно, каждый палец Беллы болел от прикосновения к его коже. Запах от его гниющего тела был невыносимым, резким, так как он наполнял ее ноздри и, казалось, проникал в ее мозг. Ее голова кружилась, когда она пудрила и стирала трещины на его коже. Тем временем она весело болтала. Сэмюэл горел от лихорадки, но, похоже, это не повлияло на его прекрасное настроение.

«Теперь, - сказал он, - после того, как ты так изящно припудрила меня, дочь, я хочу от тебя еще кое-что». Он бросил взгляд на открытую балконную дверь, в которой полотно неба сияло так ярко, что казалось прозрачным. Его вид заставил его вздрогнуть. «Я чувствую себя сегодня таким великолепным, - продолжал он, - что могу позволить себе быть высокомерным. Белла, ты знаешь, что мне хочется делать? Хочется выйти на балкон ... Такой каприз ... »

Белла была взволнована. Ее голова закружилась. Желание Самуила было прекрасным знаком. «Тебе так хорошо, папа?»

«Отлично, доченька! Я знаю, что обременяю тебя ... но . . . расставь несколько стульев, чтобы я мог лечь, как ты это делал раньше. Может, ты вызовешь кого-нибудь, кто тебе поможет? »

Она энергично покачала головой: «Мне не нужна помощь».

«Хорошо, мы сделаем это вместе», - сказал он. "Это не далеко . . . с кровати на балкон. Максимум четыре шага ».

«Да, самое большее четыре шага, - согласилась она, - ты хочешь сразу двинуться?»

"Сразу."

Они серьезно посмотрели друг на друга. Белла глубоко вздохнула и подошла к шкафу, потому что сначала он хотел одеться. Она нашла его одежду, которую он давно не носил. Руки у нее дрожали, лоб покрыл пот. Она почувствовала слабость. В этот момент происходило необычное. Словно опьяненная, она подошла к Самуилу. Отец и дочь были настолько поглощены своим делом, что, несмотря на близость, не видели друг друга. Наконец Самуил был одет. Его бледное небритое лицо словно прилипало к свободному костюму. Сам костюм казался без тела, рухнувшим в дупле кровати. «Дай мне немного воды», - умолял он ее. Она подняла его на подушку и напоила. Она тоже с нетерпением выпила стакан воды. Они смотрели друг на друга гордо, испытующе.

Она устроила ему место на балконе. Было еще раннее утро. Огромная тень покрывала одну сторону двора, делая другую сторону ярче. В центре этого сияния стояло вишневое дерево, залитое золотом. Воздух был горячим.

Самуил хотел самому сделать несколько шагов наружу, но сразу стало ясно, что это невозможно. Он даже не мог стаскивать ноги с кровати. Белле пришлось держать его за колени и двигать безвольными ногами к полу. Он обнял ее за шею, и таким образом она заставила его сесть; затем она подняла его на ноги. Когда она тащила его к балкону, он двигал ногами, и ему казалось, что он идет один. Оба они тяжело, громко дышали, склеены друг с другом, переплетены телом, конечностями, сердцем трепещут - их обоих объединяет одно намерение - дотянуться до стульев на балконе.

Они попали в открытый глаз солнца. Еще несколько минут, и Сэмюэл отдыхал на стульях. Неприятный запах его тела, его ног достиг ноздрей Беллы; ежедневное мытье его не избавляло от запаха. Она накрыла Сэмюэля одеялом. Он держал глаза закрытыми. Она подумала, что он устал и хочет спать, но он сказал ей: «Подними меня ... Я хочу сесть. Я знаю, что утомляю тебя ... »

Она помогла ему сесть. «Что ты имеешь в виду, что утомляешь меня?» она задыхалась. «Ты справился сам».

Он широко открыл глаза. "Действительно?" он слабо улыбнулся. «О, я буду очень благодарен вам за все. . . А теперь дай мне еще немного воды, и можешь приступить к работе. Я буду ждать тебя здесь до обеда. Она дала ему выпить, и он вдохнул столько воздуха, сколько смог достичь болезненного барьера в легких. «Белла, смотри, я одет, сижу, чувствую себя нормальным человеком», - сказал он. «Но ты знаешь, прежде чем уйти, сделай мне еще одну услугу. Дай мне инструменты для бритья. . . не мой, а Эйбушица. Вы помните, что он оставил их здесь и никогда не забирал обратно? Прекрасные профессиональные инструменты ». Она смотрела на него широко открытыми глазами. Она не знала, плакать ли ей от радости или обнимать и целовать его. Он поймал выражение ее лица и заставил себя растянуть улыбку на своих губах. «Давай, девочка, двигайся. Делай то, что велит твой отец. Почему ты так на меня смотришь? Боишься, что я сам не смогу? Глупый ребенок, я брился. . . угадайте сколько лет. . . В конце концов, мне не обязательно делать это с идеальной точностью в данный момент, не так ли? "

Она пробормотала: «Я помогу тебе».

"Вне вопроса! Я мужчина или нет? Во-вторых, никуда не торопиться. Сделаю чуть позже. Приятно быть здесь. Давай вместе позавтракаем.

"Вы проголодались?"

«Как волк».

Как только она ушла, Сэмюэл закрыл глаза. Суматоха во дворе достигла его ушей. Люди уже мчались с ведрами к водяной помпе или со звенящими горшками в кофейни. Фляги и ложки звенели, как колокольчики. Окна были открыты, подушки и пуховые одеяла присыпаны ковровыми отбивателями.

Из-за его сидения на стуле-кровати пролежни горели, как огонь. Самуил еле держал голову в вертикальном положении, она постоянно падала то в одну, то в другую сторону. Все было ясно, четко и все же туманно. Легкий ветерок, играющий с его волосами, пробудил на его коже гусиные прыщики, каждый волосок на голове укололся, как игла. Шум во дворе достиг его ушей одним ревом, частью которого был шелест вишневого дерева. То же самое относилось и к жужжанию надоедливых мух, которые нападали и роились вокруг него.

Хотя каждая часть его тела была отдельным источником боли, внутри него была целостность. Внутри него был угол, до которого боль не доходила; где он чувствовал себя спокойно, светло, солнечно. Он испытал то же чувство после того, как прошел «лечение» в *Крипо.*Это было началом его великого выздоровления - через боль. Да, страдание может работать в двух направлениях. Он был способен разрушать и восстанавливать. Это зависело от того, кого поразить. Его восстановили, как восстанавливают замок из руин. Теперь он был великолепным воздушным замком, двери и окна которого были широко открыты во все стороны света. В замке обитали гордость и достоинство. И в его Святом Святых зажглась свеча нежности, заботы, неравнодушия, как называл ее Михал.

Белла села рядом с ним, запихивая ему в рот ложки творога. Он держал глаза открытыми, пытаясь придать взгляду решительный вид. Творог был классным. Некоторое время он держал их на языке. Ясными глазами он проглотил вид своей дочери. «Спасибо», - сказал он, когда тарелка была пуста.

Она смотрела на него. Сегодня он продолжал извиняться и благодарить ее. «Разве ты не говорил, что поблагодаришь меня целиком?» - заметила она.

«Не забудь бритву», - напомнил он ей.

Когда она появилась с инструментами для бритья, она была одета в белое летнее платье, ее длинные коричневые локоны были заплетены в тугую корону на голове. Свет ее больших глаз, казалось, омыл все ее лицо. Чистый свет. От нее пахло невинностью, свежестью и обновлением. Она принесла стул.

«Вот, я выложила их для вас», - сказала она. «Вот зеркало, бутылка воды, тарелка ... стакан. И помните, будьте осторожны, не напрягайтесь. Если тебе будет сложно, подожди меня ».

Он попросил ее поцеловать его. Он никогда не спрашивал ее раньше. Обычно она целовала его всякий раз, когда ей хотелось. Она прижалась губами к его горячему лбу.

В следующий момент раздался глухой удар, как будто дверь была закрыта навсегда. Он изо всех сил хотел разбить его и вернуть фигуру, исчезнувшую из его поля зрения. Что-то поползло по его лбу, потом пощекотало щеку. Муха. Не важно было прогнать это. Над ним плыли облака. Один из них имел форму лица Адама Розенберга. Затем он растворился. Это было бессмысленно, незначительно, прямо как муха. Игривая мысль пришла в голову Самуэля. Он сказал облаку Адаму: «Ты сам подсказал, какой путь мне выбрать, чтобы победить тебя».

Он широко открыл глаза и вздохнул. На этот раз легкие позволили ему глубоко вздохнуть. Запертых дверей не было. Был только открытый майский день, который медленно отступал, становился непонятным, чтобы уступить место другим дням и другой ясности. Он, Самуил, был отреставрированным дворцом, в который вошла новая жизнь. Скоро, очень скоро он будет праздновать новоселье. Приходили гости: товарищи, друзья, их столько. Матильда играла на пианино, а он сидел у камина и смотрел на нее. Затем он преподнесет ей подарок, которого она так долго ждала. Он обнимал ее, прижимал к своему телу, и они присоединялись к другим гостям в танце; присоединиться ко всем их гостям, включая Адама Розенберга. Адама нужно было бы пригласить - из благодарности ... человечности ... из жалости. Он должен был быть приглашен из-за крошечного вечного света, горящего в Святое Святых, горящего также внутри бедного Адама, вероятно, плачущего и грызущего свое сердце в своем стремлении к искуплению.

Самуэль перестал чувствовать боль в своем теле. Он собрал все свои силы, сосредоточив их на руке, протянутой к стулу. Он проследил за рукой и улыбнулся. Наивная Белла не принесла мыла ... полотенца. Возможно, она знала, что все, что ему нужно, - это бритвенный нож с черной ручкой.

Между рукой Самуила и бритвой стоял стакан с водой. Его пальцы невольно перевернули его. Пальцы стали влажными и холодными. Стекло покатилось по сиденью стула и упало. Что-то треснуло, отразившись внутри его черепа. Он был удивлен, что разбивающееся стекло могло издавать такой шум. Его рука напряглась, как у вора, парализованного страхом. Ему казалось, что Белла может появиться в любой момент и побеспокоить его. Его пальцы быстро схватили ручку бритвы. Ручка, теплая от солнца, была похожа на теплое рукопожатие Моше Эйбушица. Это было хорошо. Дружба была благословением; это оказало поддержку. Сэмюэл снова почувствовал себя здоровым, излечившимся от стремительной чахотки. Без особого усилия он открыл нож. Весь свет неба отражался в клинке.

Он полностью осознавал, что делал. Он вынул из-под покрова левую руку, повернув ее ладонью вверх - не как просящий милостыню, а как засеявший поле и ожидавший дождя. На запястье его левой руки отчетливо виднелась веточка синих жилок под кожей. Сэмюэл поднес к ней свою правую руку со сверкающим клинком. Этим он снова и снова рассекал синюю ветвь жил.

Ручей вырвался из-под кожи его запястья. Сэмюэл вздохнул, позволяя бритве выпасть из его руки. Обе его руки упали на бок. Его голова на мгновение покачнулась, затем осталась лежать на плече. Ручей вытекал из него, сочился, уступая место свободе. Он чувствовал себя хорошо. Открытое лицо его прекрасного смеха Белла улыбнулась ему. Духи ее белого платья проникли глубоко в него. Как сильно он любил жизнь! То, что он только что сделал, было тому доказательством. Он хотел поклоняться ему таким образом, используя единственно возможные средства. Для этого требовалась сверхчеловеческая, богоподобная сила.

Он держал глаза открытыми. Кровь, которая не переставала сочиться из его запястья, капала на пол балкона, издавая приятный звук. Сердце Самуила так переполнилось нежностью, что глаза его затуманились. Открытая балконная дверь стала терять очертания, как и небо с его светом. Вокруг него становилось все темнее и темнее. В его голове подул ветер. Он ехал в туннель, который не пропускал ни страха, ни радости. Весь его багаж упал, оставив его только в своей спешке. Белла должна была прибыть. . . Ему пришлось поторопиться еще больше, чтобы она его не догнала. Торопиться? Иллюзия. Белла была с ним.

Сэмюэл перестал спешить. Его зрачки в последний раз кружили на горизонте белки глаз, садясь, как два черных солнца, под его полуприкрытыми веками. Недалеко от балкона шуршала вишня. На нем появились крошечные красные шарики: точки фруктов. Новорожденная вишня.

Book Three 237

Глава семнадцатая

Прошло совсем немного времени, прежде чем Адам Розенберг сообразил, что немец, обещавший ему щенка, выставляет его дураком. Двадцатичетырехлетний парень, украсивший свою форму черной нарукавной повязкой с *надписью*T *otenkopf*, ходил по гетто с полицейской собакой и возглавлял рейды и обыски. Сначала Адам боялся его не столько из-за его формы или жестокости, сколько из-за его внешности, роста и молодости, которые напоминали ему Миетек.

Поначалу Адама также испугала собака эсэсовца по имени Черчилль. Потом собака стала напоминать ему Сучку, и Адам, невзирая на себя, то и дело ласково ласкал собаку; пока не установилась дружба, которая привела к сближению между Адамом и хозяином собаки. Это, в свою очередь, вдохновило Адама на то, чтобы заботиться о собаке, мыть, расчесывать и выгуливать ее, когда ее хозяин должен уезжать в город. Наряду с этой функцией Адам получил прозвище от мужчин *Крипо*. Они звали его *Hutidsmann.*Адам принял это прозвище весело, даже с некоторой гордостью. Служба собаке казалась ему менее унизительной, чем служение человеку, поскольку, по его мнению, собака превосходила человека. Собаки обладают большей человечностью, чем люди; они были преданными, не искали прибыли, не были эксплуататорами или садистами. Теперь, когда он так хорошо изучил человека, как немца, так и еврея, Адам сомневался в правильности своего мнения меньше, чем когда-либо прежде.

Таким образом, к нему внезапно вернулась мощная тоска по Сучке. Он чувствовал себя ужасно одиноким. Не раз горе хватало его за горло, душило. Слезы часто наполняли его глаза, когда он предавался жалости к себе. Проблема была в том, что ему стало скучно. Его работа в *Kripo*, наряду с его деятельностью в качестве *Хундсманна, занимала*лишь несколько часов его дня. Это давало ему достаточно времени для размышлений, и даже те ночи, которые он проводил с женщиной, не спасали его от мрака одиночества. Женская преданность, купленная за кусочки сахара, муки или хлеба, пробудила в нем тягу к тому, что он не мог купить. Даже его полупостоянная женщина, которую он накормил едой для удовлетворения своих физических аппетитов, не могла удовлетворить эту потребность. Ему не хватало тепла Сучки.

Он потерял интерес к тому, что когда-то занимало его. Он коллекционировал иностранную валюту, «мягкую» и «твердую», а также украшения, которые до сих пор находились в руках самых известных *шишек.*Когда-то он наслаждался игрой в обеднение других, обогащая себя. Однако теперь, хотя он уже вкусил голод, ценности начали терять для него свою привлекательность. Они означали не что иное, как защиту от голода. В наши дни он считал день без тревог своим величайшим сокровищем. Беспокоиться о будущем казалось глупым. Его самое отдаленное беспокойство было о следующем дне. А с таким представлением о времени владение ценностями значило очень мало. Конечно, он был уверен, что станет свидетелем окончания войны. У него даже был, как и любой другой практичный мужчина *крипо*, наряд, состоящий из женской одежды и женского парика, которым он планировал замаскироваться, если земля начнет гореть под его ногами; он также знал, что его дорога ведет в Швейцарию. Но это было разумное планирование. Его воображение было неспособно представить себе такой момент. Его твердый вывод заключался в том, что человек живет настоящим, а не прошлым или будущим. И поэтому его охватила печаль. Настоящее, данный момент был пустым - потерянным сокровищем.

Ему срочно понадобился друг, собака. И вот этот пес, Саттер, отказался уступить мольбам Адама. Саттер неторопливо объяснил ему, что собаку нельзя держать в ловушке в гетто, как еврея. Собака не будет уважать заборы из колючей проволоки и может стать переносчиком микробов. Адам в отчаянии покачал головой. Саттер понятия не имел о природе собак.

Ему оставили возможность тайно поработать над молодым парнем из СС. Последний должен был его понять. И действительно, он это сделал. Он сказал: *«Ого»,*и Адам с трудом поверил своим ушам. Он был готов с благодарностью пасть ниц перед эсэсовцем. Эсэсовец лукаво ухмыльнулся и сказал: «Завтра утром».

Завтрашнее утро казалось далеким. Адам думал, что этого никогда не произойдет. Но пришло так. Затаив дыхание, он побежал поприветствовать немца, глаза его затуманились от нетерпения. Этот парень дружелюбно положил руку Адаму на плечо и сказал: «Ты не сказал мне, какую собаку ты хочешь, *Хундсманн».*

Каким идиотом он был! Как мог парень догадаться, что ему нужен смуглый доберман. Доберманы были умными и преданными. Адам отдал бы все, чтобы иметь молодого добермана. Тем временем он искал приют для собаки и отправился в дом Цукерманов, чтобы посмотреть на сарай в коридоре.

Сначала, каждый раз, когда Адам выбегал ему навстречу, эсэсовец говорил: «Завтра утром». Затем он начал говорить: «На следующей неделе». Адам спросил его, должен ли он заплатить ему заранее, и эсэсовец сказал: « *Да ладно».*Адам дал ему золотое кольцо в качестве аванса по счету. Парень сунул кольцо в нагрудный карман, вышитый черным орлом. Только тогда сделка была действительно заключена. Адам имел полное право ожидать молодого добермана.

В последующие дни немец не менял пения. «Morgen, *nechste Woche. .*. » он бы сказал. Пока правда не поразила Адама, как молния, в то же время подчеркнув обоснованность его философских мыслей. Завтра или послезавтра не было. *«Морген»*означало никогда. Сегодня означало все. У него никогда не будет молодого коричневого добермана, который заполнит пустоту в его жизни. В результате пустота стала более разрушительной. Он потерял надежду. Адам оплакивал собаку, которой никогда бы не стал.

В доме в Марысине, в котором он жил, был один большой недостаток. Перед ним прошли погребальные кортежи, направлявшиеся на кладбище. И однажды Адам наблюдал за похоронами Сэмюэля Цукермана, узнав дочерей покойника, когда они следовали за катафалком. Сами похороны произвели на Адама не больше впечатлений, чем какие-либо другие. Напротив. Он почувствовал некоторое облегчение, как человек, заканчивающий бухгалтерскую книгу, зная, что ему больше никогда не придется ее открывать.

Тем не менее мысли о Самуиле начали мучить его, и чем больше он думал о нем, тем больше его наполнял страх собственной смерти.

Он упрекал себя: «Твоя жизнь - это все, чем ты обладаешь. Не тратьте его зря. Посмотри, какое прекрасное время года. Ваш дом залит зеленью. На деревьях яблоки сверкают, как щеки девушек, вишня - как губы, чернослив - как глаза, а трава мягкая, как самая бархатистая кожица. Ваш дом чистый и уютный. У тебя хорошая кровать, хороший матрас. У вас полки полны вкусностей. Помните: это рай. Там нет другого." Он так хотел повеселиться. Жизнь была такой драгоценной. Но вместо того, чтобы наслаждаться этим, он лежал на ароматной траве, предаваясь мыслям о смерти, вызванным похороненным Цукерманом. Да, его сад, хотя и обнесенный забором, был не чем иным, как продолжением кладбища. И всякий раз, когда Адам осознавал этот факт, у него возникало впечатление, что его сердце вот-вот остановится, что он не сможет встать, но должен оставаться там навсегда.

Земля стала его пугать. Цветы и сочная трава закрывали его лицо маской. На самом деле земля означала смерть, в том числе и его собственную. Каким же глупым было тогда его желание завести собаку! Это было не что иное, как желание забыть себя, не обращать внимания на то, что тень Самуила шептала ему на ухо.

Он не стал сидеть в траве и подошел к порогу своего дома. Позже он отказался от этого и долгие часы дремал в своей душной комнате. Хотя сон напоминал состояние, которого он боялся, по крайней мере, его не мучила забота о своем здоровье в те часы, когда он спал. Позже сон тоже перестал помогать. Ему снились кошмары.

Ему оставалось только бежать на улицу. Правда, он ненавидел толпу и, проходя очереди перед кооперативами, всегда вспоминал след своего латинского образования: *Odi profartum*vulgus. Но в толпе он чувствовал себя в большей безопасности. Таким образом, он пришел к другому философскому выводу: одиночество напоминало смерть. Смерть была окончательным одиночеством. Это была причина, по которой мужчины искали общества. Любовь, дружба, политическая, национальная или расовая принадлежность - все это было просто прикрытием желания заглушить крик одиночества и смерти.

Когда он бродил по улицам, Адам подумал, что, хотя он был счастлив с Сучкой, он испытал еще одно особенно сильное чувство благополучия на короткое время, в начале гетто, когда он сидел за столом с Ядвигой. и Миетек, и даже сильнее - когда он жил с Крайне-золотоискателем. Это означало, что отношения с людьми, даже если их ненавидели, давали то, что даже самая преданная собака не могла дать. Адам сделал вывод, что если было невозможно избежать смерти, он должен, пока он был жив, попытаться избежать ее страха. И человек был единственным существом, которое могло ему в этом помочь.

В чистой рубашке, галстуке с цветочным рисунком, соломенной шляпе и темных очках он гулял по улицам в вечернем воздухе, наблюдая за прохожими. Женщина остановила его: «Мистер. Розенберг, могу я поговорить с вами? Он измерил ее глазами. Она была того же возраста, что и все женщины гетто, и ей могло быть не меньше тридцати, а также пятидесяти лет. У нее были впалые *клепсидры*, острый нос и синие губы. На лбу у нее были глубокие проплешины, простирающиеся над висками, как у мужчины, начинающего терять волосы. Глаза у нее были такие же, как у всех женщин из гетто, темные, большие, беспокойные и острые, полные страха. На ее костяном теле безвольно висело хлопчатобумажное платье, явно сделанное из скатерти. «• Моего мужа держат в *Крипо,*мистер Розенберг!» она побежала за ним, когда он ускорил шаг. «Может, ты сможешь мне помочь?»

Он с достоинством покачал головой, сказав: «Я сделаю все, что смогу. Бог поможет тебе ». Все еще бегая за ним, женщина назвала ему свое имя, и когда она заметила, что он что-то записал на листе бумаги, она начала петь за его спиной литанию благодарностей и благословений.

Этот небольшой инцидент привел его в веселое настроение, что удивило его, поскольку такая встреча привела бы его в ярость всего несколько дней назад. В последнее время его имя стало известно в гетто. Люди бегали за ним по улицам, умоляя его заступиться за своих родственников или друзей. Он не мог избавиться от них. Он не мог вынести их стенаний, их умоляющих глаз. Но сегодня он чувствовал себя иначе. Он не был уверен, спустится ли он в подвал *Крипо,*чтобы проверить человека, имя которого он записал; но на данный момент у него были добрые намерения. Его собственное имя звенело у него в ушах нежным женским голосом. Было приятно.

Миновав забор, где росло несколько маргариток, он выбрал самую красивую и засунул ее за лацкан. Он снял солнцезащитные очки и протер их чистым носовым платком. Солнце уже садилось, и он легко мог обойтись без солнцезащитных очков, но носить их стало слишком сильной привычкой. В тот момент, когда он вышел на улицу, его глаза и все лицо почувствовали необходимость спрятаться за темными очками. На порогах домов сидели и болтали женщины. Время от времени он кивал им в знак приветствия. Он впервые сделал такое, сознательно и трезво претворив в жизнь свои недавние решения.

У Адама болела грудь. Он провел целый день, массируя область своего сердца и прикладывая к ней компрессы, будучи уверенным, что его конец настал. На следующий день у него заболел живот и он снова подумал, что все кончено. То же произошло и в последующие дни. Каждый день следующих двух недель он чувствовал, что находится в одном шаге от могилы, и снова мысленно видел похоронный кортеж Сэмюэля Цукермана. Самуил загипнотизировал его. В своих кошмарах Адам видел черные стеклянные глаза, которыми Самуил смотрел на него с подушки. Взгляд Самуила не был ни добрым, ни враждебным, но властным.

В результате, несмотря на сильную боль, Адам заставил себя отправиться на место, которого он боялся больше всего - на кладбище. Он сказал себе, что для того, чтобы быть побежденным, нужно скорее столкнуться с навязчивой идеей, чем избежать ее. И он сказал себе, что его одержимостью увидеть могилу Самуила.

Ему не нужно было далеко идти. Едва он закончил объяснять себе, что именно делает, как увидел кладбищенскую кирпичную ограду и железные ворота. Из-за пустых катафалков, стоявших на улице после их дневной работы, вышли две стаи нищих, направляясь прямо к нему. Они были похожи на трупы, сбежавшие из своих гробов. Нищие щелкали щипцами и хрустели костяшками пальцев, прося милостыню. Они тянули его, толкали, кричали: «Милосердие спасает от смерти! Благотворительность от смерти спасает! » Он не понимал их пения. Ему казалось, что они сопровождают его на собственные похороны, продвигаясь вперед, чтобы показать ему его могилу. Они сопровождали его далеко на кладбище, прежде чем постепенно разошлись, наложив проклятия на его голову.

Он осознал тишину, которая повисла над этим местом. Надгробия

отбрасывать длинные тени. Деревья и трава качнулись. Высокие сорняки росли над могилами и их черными коваными ограждениями. Плакучие ивы тянули свои длинные, похожие на волосы ветки, к земле, а последние лучи света украдкой мерцали на листьях. Ночная тьма накатывалась ковром под ногами Адама. Ему казалось, что за каждым деревом, каждым надгробием скрывается темная фигура, которая может выскочить в любой момент и прикрыть ему рот холодной рукой. Это был бы его настоящий конец; его сердце остановится навсегда. Но, к своему собственному изумлению, в этот момент он обнаружил, что боль в его сердце полностью прошла. '

Он подошел к новой части кладбища. Здесь не было ни парка, ни деревьев, ни травы. Сотни глиняных кирпично-красных куч были плотно разбросаны по необработанному полю. Тут и там кто-то стоял перед грудой. Рыдания достигли ушей Адама. Он шел загипнотизированный, мимо груд, заблудившись в лабиринте троп. Здесь остановилось мертвое гетто. На мгновение Адам почувствовал себя ищущим квартиру.

Бессмысленно пытаться найти могилу Самуила. Каждая могила принадлежала Самуилу, и каждая передавала Адаму одно и то же послание: «Даже если тебе удастся избежать депортации, ты тоже придешь отдохнуть здесь, даже если ты еще здоров и работаешь на *Крипол».*Вот что говорил Самуил. его, и он согласился с ним. Ибо он где-то читал, что люди, у которых не было четких представлений или мечтаний о будущем, приближаются к своей собственной смерти; и он перестал думать и мечтать о будущем. Если бы он умер сейчас, результатом было бы то, что он все-таки не победил Самуэля, и счет был бы равен нулю против нуля - ничья. Разница между ними будет только в том, что у Самуила было две дочери, которые сопровождали его в это место.

Миетек пришла ему в голову. Он представлял, что Миетек сейчас с ним, и фантазировал, как они могут жить и есть вместе. Он видел, как Миетек собирает фрукты с деревьев, пожирает банки с сахаром. Потом он подумал о Сучке и спросил себя, кого из двоих он предпочел бы иметь с собой. Жизнь с Сучкой будет простой: чистая безоговорочная преданность, без каких-либо обязательств. С Mietek жизнь была бы намного сложнее. Даже если бы они вели идиллическое существование, придуманное его воображением, возникли бы смешанные чувства, сложности, недопонимание и обязательства. И все же он не сомневался, что выбрал бы Миетек, что только Миетек мог заполнить пустоту и усмирить его тревоги.

Он ускорил шаги, чтобы поскорее выбраться с кладбища. Пройдя выход, он почувствовал легкость. Какие странные мысли у него только что возникли! Конечно, он победил Самуила. Он был еще жив. Он победил его, одержав столько побед, сколько дней он переживет. Однако теперь его чувство победы не было окрашено чувством мести. Он был положительно склонен к проигравшему. Он сентиментально вспоминал их злополучную дружбу и сожалел о том, как она закончилась, так же как он сожалел о разрыве своих отношений с женой и сыном.

Его прогулка на кладбище сделала его прогулку по улицам еще более приятной на следующий день. Он собирался развлечься на смотровой площадке Straw Resort, которая располагалась на территории бывшего лагеря цыган. Ему казалось, что он идет в довоенную оперу. Он особенно почувствовал это, когда увидел, как толпа собирается у входа. Обзор имел большой успех. Хаос перед кассами был похож на тот, который имел место перед бойнями, когда вышел мясной паек. Люди толкались, ссорились, дрались с милиционерами, дрались из-за билетов. Единственная разница заключалась в том, что, несмотря на скопление, лица были веселыми, в глазах игриво-детски блеснули.

У Адама не было проблем с получением билета. Ранее, возвращаясь с работы домой, он зашел к директору Straw Resort и выразил желание увидеть спектакль. Директор, вежливо поклонившись, подозвал блондинку и заказал: «Билет в первом ряду для герра Розенберга».

Блондинка привела Адама в кабинку, где он мог выбрать свой билет. У девушки были длинные косы. Ее фигура была идеальной формы, формы одновременно зрелые и юношеские. Она смотрела на него взглядом, одновременно невинно покорным и вульгарно кошачьим.

«Присядьте на минутку, мистер Розенберг», - пригласила она его. Голос ее был теплым, хриплым и вампирским. «Вы же знаменитый герр Розенберг, не так ли?» - спросила она, предлагая ему сигарету. Он заметил ее длинные красные ногти. "Вы не курите?" она улыбнулась, обнажив два ряда жемчужных зубов, к которым она изящно подняла сигарету. В молодые годы она напоминала Ядвигу, но во всех отношениях была более совершенной и соблазнительной. Над низким вырезом белой блузки девушки он увидел признаки полной богатой груди, достоинства, которым Ядвига никогда не могла гордиться. «И ты тоже отказываешься сесть?» девушка продолжала кокетливый монолог, воодушевленный нетерпеливым взглядом Адама, который бесстыдно скользил по ней. «Вы понимаете, как вас все чтят?» Она очаровательно сжала рот, выпустив тонкий столб дыма. «Без промедления вы получите билет в центре первого ряда, практически рядом с самим Presess». Она покачала своей белокурой головой. «Я держу тебя. . . хм. .. зря тратишь время ... "

Он рыцарски поклонился. «Немного поболтать с такой восхитительной девушкой, что я не считаю пустой тратой времени».

Это замечание воодушевило ее. «Вы взяли один билет, мистер Розенберг. . . Значит, вы идете один. Если ... Если хочешь, мы могли бы пойти вместе. Меня зовут Сабинка ».

Он снова поклонился, взял ее руку и поднес ко рту. «Я буду в восторге, Сабинка». Он поцеловал кончики ее тонких пальцев. Перед тем как уйти, ему удалось мельком увидеть ее внезапно изменившееся лицо и смятение в ее глазах. Этим она понравилась ему еще больше.

Итак, в этот вечер он шел в театр с дамой; факт, который, конечно, усилил его странное, но приятное впечатление от похода в настоящий театр с настоящей дамой. Теперь он ждал ее рядом с группой противоборствующих людей. Волнение и беззаботность одетой толпы заразили его. Он уже видел себя сидящим внутри, под руку с кокетливой девушкой. Свет гаснет, он берет ее за руку, когда поднимается занавес. Он поправил ромашку на лацкане. Он думал, что в основном он романтик, совсем не равнодушный ни к красоте, ни к очарованию такого мягкого летнего вечера.

Автобус остановился у входной двери курорта. "Пресесс!" шепот прошел по очереди кассовых сборов. Кучер слез со своего места и открыл дверь кареты. Сначала появился белый шелковый шарф, потом жесткая шляпа, потом сам Пресесс, одетый в легкое летнее пальто. Он опирался на трость и шагал быстрыми, несколько шаткими шагами, опустив плечи. Со всех сторон люди кланялись, крича: «Герр Пресесс! Герр Пресесс!

Руки протянуты, чтобы коснуться его, остановить его. Более смелая рука сунула конверт в карман Пресесса. Полицейские пытались защитить пресессов, как могли, но они, как и мафия, относились ко всему легкомысленно. В конце концов, они пришли повеселиться.

"Где его жена?" кто-то потянул милиционера за рукав.

«У нее камни в желчном пузыре», - ответил кто-то другой.

Кто-то спросил: «Герр Пресесс, зачем на этот раз такой маленький паек репы?»

Другой, в более революционном настроении, воскликнул: «Почему бы вам не прекратить *выдачу*дополнительных паек для *шишек*?»

Другой был еще более непокорным: «Мы требуем хлеба!»

Женщина благословила Presess: «Пусть сглаз никогда не коснется твоей головы, дорогой Presess».

Пресесс двигался своей палкой, размахивая ею во всех направлениях. Наконец он исчез через вход. Адам улыбнулся. Старик выглядел на много лет старше, чем он предполагал. Он видел его впервые с момента основания гетто.

Затем прибыл соперник Румковского, Лейбель Вайнер, в окружении офицеров *зондеркоманды*. Он лукаво поднял руки, приветствуя толпу, которая ответила добродушными возгласами: «Лейбель! Лейбель! » Вайнер дружелюбно похлопал стоящих рядом с ним по плечам. Женщина потянула его за край пиджака, говоря ему что-то, что он делал вид, что слушает. "Что он сказал? Что он сказал?" к ней со всех сторон звонили.

«Да будет он благословлен долгой жизнью», - некоторые удовлетворенно покачали головами. «С тех пор, как он начал говорить в гетто, жизнь стала проще».

«А как насчет его ссоры с пресессом?» - громко спросила женщина.

«Они примирились во время обзора Tailor Resort, но во время обзора Paper Resort они снова стали врагами», - сообщил ей кто-то.

«Если честно, они оба катаются на наших спинах», - заключил другой.

Беседа продолжалась до тех пор, пока Вайнер не исчез в подъезде и не *появились*несколько *шишек с*женами. Запах мыла и дешевых духов доходил до ноздрей публики, слушавшей громкую болтовню *шишек*по-польски. Кто-то прокомментировал: «Вы видите геттократию? Одетые по-королевски, они каждую ночь ходят на другое представление, а после этого действительно переживают! Поверьте, до войны у них никогда не было такого вкуса рая ».

"Верно!" кто-то добавил. «Мало того, что война для них уже закончилась, она даже не началась».

В *shishkas*игнорировала вопросы , брошенные на них толпой, и пропускают через него с их головы надменно поднял. Кто-то прокомментировал: «Те, кто любит деньги, ненавидят человечество».

Адам с удовлетворением слушал людей, наслаждаясь выступлением перед выступлением. В тот момент он не чувствовал неприязни или ненависти к толпе, она ему скорее нравилась; толпа напомнила ему парад цирковых клоунов.

Подошла Сабинка. На ней была широкая юбка-колокол и черная блузка с глубоким вырезом. Ее косы были заколоты в виде короны вокруг головы, что делало ее старше и еще привлекательнее. Как только Адам заметил ее, его игривое настроение исчезло. Он стал серьезным и напряженным. Сабинка тоже выглядела серьезной. Она пожала ему руку, и он прочитал на ее лице какое-то замешательство, граничащее со страхом. Они ворвались в густую кучу людей, продвигаясь вперед, не обменявшись ни словом. Она прижалась к нему, и он почувствовал очертания ее тела. Они вошли в зал и заняли свои места. Не говоря ни слова, они украдкой наблюдали друг за другом, время от времени неуверенно обмениваясь улыбками.

Вскоре погас свет. Публика притихла и, затаив дыхание, наблюдала, как занавес поднимается над сценой, построенной из необработанных досок. Единственным украшением сцены был рисунок лестницы, который должен был символизировать мост гетто. Картонная панель задрожала за кулисами, дверь открылась, и из нее выскочила группа молодых людей, одетых в традиционные платья и тюбетейки. Они исполнили хасидский танец. Оркестр перед сценой сыграл хасидскую мелодию. Толпа присоединилась, напевая и хлопая в ладоши. Как только они закончили, зал разразился овациями: «Бис! *Бис!"*

Артисты, большинство из которых были молодыми девушками, одетыми как юноши *ешивы*, повторили свой танец, хотя было очевидно, что они еле стояли на ногах. Когда они танцевали, взволнованная толпа заметила, что голова Presess поднялась и двинулась в сторону лидера группы. По рядам прошел шепот: «Он дал ему записку. . . »

«Он отдал ему заказ на дополнительный паек».

«Все танцоры отправятся в Дом отдыха на неделю».

Ноги танцоров начали путаться, когда они посмотрели сначала на голову Presess, а затем на голову лидера группы. Толпа прощала им ошибки и снова бурно аплодировала.

Затем был показан скетч, который подшучивал над кухонным отделом, воссоздав сцену перед общественной кухней во время раздачи супа. Толпа в зале хохотала, топала ногами и хлопала в ладоши после каждой юмористической реплики. В следующем скетче рассказывается о романе между *фекалистом*и девушкой, которая работала на молочном курорте, превращая испорченные молочные продукты в съедобную пищу. Затем последовала сатира на руководителей важнейших курортов и серия «портретов» *шишек.*Публике оставалось гадать, кого изображал каждый портрет. В финале хор исполнил народные песни на идиш. Публика гудела и подпевала, настолько увлеченная, что забыла аплодировать в конце.

Адам полностью осознавал качество предлагаемого ему «искусства». И все же общий энтузиазм охватил его тоже. Он смеялся, когда все смеялись, и аплодировал, когда они смеялись. Он даже стал сентиментальным, когда услышал песни, которые не мог понять. Очевидно, девушка рядом с ним делала его сердце мягким и восприимчивым.

Как только включился свет, снова начался хаос и шумиха. Адам взял Сабинку за руку и протолкнулся сквозь толпу вместе с ней. Внезапно он оказался лицом к лицу с пресессом. Он услышал, как мужчина позади него сказал: «Люди, вы знаете, что Старик прописал актерам? Конфеты! » Адам почувствовал, что взгляд Пресессов остановился на нем. Было ясно, что пресесс искал в его голове имя, которое соответствовало бы знакомому лицу перед ним. Наконец, он поднял брови, наморщил лоб и расчистил путь к Адаму своей палкой.

"Как твое имя?" он спросил.

«Адам Розенберг, герр Румковски. Мы хорошо знали друг друга до войны ». - ответил Адам.

Пресесс отступил на шаг: «Ты еще жив?»

«Жив и здоров, герр Пресесс!» Адам свободно рассмеялся. Он торжественно поклонился и представил Сабинку: «Знакомьтесь, мисс Сабинка, герр Пресесс».

Взгляд Старика упал на девушку. Ошеломленный, он закашлялся, стуча палкой по полу: «Ты! Ты!" - хрипло проревел он между кашлем и кашлем.

"Вы знакомы друг с другом?" Адама это позабавило. «Какой маленький мир!» Он вежливо покачал головой Пресессу и, ведя Сабинку за талию, двинулся к выходу.

Адам пошел с Сабинкой в ​​сторону своего дома. Он был нетерпеливым из-за охватившего его двойного голода. В его голове созрел философский вывод: когда человек открывается людям, вещи начинают происходить. Он поздравил себя с собственной мудростью, когда его глаза пожирали кусочки шеи Сабинки и царственную корону ее кос. Она говорила с ним. Да, она сказала, что предпочитает прямую дорогу. Она не любила притворяться. Она не была той невинной девушкой, которой, возможно, казалась. Он заверил ее, что любит невинных девушек, которые не были невинными.

Она сказала: «Я выбрала тебя, потому что. . . »

Он ответил с легким хихиканьем: «Это я выбрал тебя, дурочка».

У них был веселый неторопливый ужин, а затем Адам воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить другие свои аппетиты. Позже, когда он ожидал, что она уйдет, она удивила его, сказав: «Я останусь с тобой на ночь, чтобы нам было веселее». В голове зазвенели колокола. Он увидел перед собой красивую, преданную, человечную Сучку. Она рассказала ему о своих дневных и ночных переживаниях в гетто. По ее словам, в течение полутора лет она работала в *зондеркоманде*, *завершая*главу своей биографии, *посвященную*гетто, но ее выгнали оттуда за кражу стрихнина, *вигантола,*глюкозы и корамина для сионистов. Из всей ее группы комиссаров и полицейских единственным, кого она любила, был сионист по имени Сэмюэл Цукерман. Он был ее последним любовником. Но как только она собиралась рассказать Адаму больше подробностей, он оборвал ее. Он приказал ей одеться, пойти домой и больше никогда не показываться ему.

На следующий день он ждал ее перед «Соломенным курортом», чтобы извиниться. Накануне он забыл на мгновение, что все, что имеет значение, - это настоящее, и что Сабинки тоже никогда раньше не существовало, насколько ему было известно; что и Румковски, и Самуэль принадлежали к бессмысленному прошлому, и тот факт, что он унаследовал от них Сабинку, означал, что он вышел победителем в своей борьбе с ними.

Однако как только Сабинка его увидела, она убежала. Он не собирался следовать за ней. Он пошел на просмотр полицейских, который ему очень понравился, потому что он проводился на польском языке. Но его возвращение домой было печальнее, чем накануне. Его дом казался более запущенным, чем когда-либо, и он решил любой ценой вернуть Сабинку. Это решение было для него приятным предвкушением игры, потому что он знал, что здесь, между проволочными заборами гетто, нет силы, которая могла бы отнять ее у него, пока он ее не хотел. Он чувствовал себя мальчиком, который поймал бабочку в свою сеть.

Каждый день он ждал ее перед курортом. Он выскакивал из-за угла, из-за стены, прямо перед ее испуганным лицом, получая удовольствие от вида ее испуганных глаз. Когда она умчалась, он не последовал за ней. Он узнал, где она живет, и однажды вечером удивил ее, постучав в ее дверь. Она отказалась открыть его, и, заглянув в окно, он увидел, что она сидит, свернувшись в углу. Пугать Сабинку стало для него любимым занятием. Но это также увеличило его желание иметь ее для себя, напуганного, дрожащего, но все же преданного. Итак, через некоторое время ему надоела игра, и однажды вечером он схватил ее, прежде чем она успела войти в свой маленький домик.

«Я буду кричать!» - предупредила она, борясь с ним.

Он засмеялся: «Хочешь переночевать в Красном доме?»

Это сработало как заклинание. Она разразилась рыданиями: «Чего ты от меня хочешь? Что я тебе сделал?"

Он сказал ей, что все, что он хочет, это чтобы она пошла с ним домой, что он никогда больше не будет ее пугать. Он будет добр к ней. Она послушно сопровождала его, покорно глядя на него, но не без подозрения.

В постели к ней нельзя было прикоснуться. Ее тело и все ее конечности были ледяными, и осознание того, что она хотела сбежать как можно скорее, лишало его удовольствия быть с ней. Он не мог простить себя за то, что разрушил сладость ее добровольного подчинения, рассматривая ее как козла отпущения своих глупых вновь пробудившихся разочарований. Он снова приказал ей одеться и уйти. Она исчезла в ночи. Он хотел бежать за ней и вернуть ее, но его собственное поведение удивило его, и он остался в постели, чтобы проанализировать себя. Он хотел, чтобы Сабинка была привязана к нему преданностью, смешанной с каплей страха. И он хотел, чтобы она охотно приняла такое положение вещей. Но он пришел к выводу, что это могло произойти только в том случае, если она искренне любила его. Как тогда он должен себя вести, чтобы это стало возможным? Он обдумывал необходимую тактику.

Адам стал наслаждаться летом больше, чем когда-либо. Он наслаждался вкусом каждого кусочка хлеба, нежным ароматом масла, ароматом и сладостью фруктов. В особенности он любил мыться холодной водой по утрам летом. Он установил кран в стене снаружи, прикрепил к нему трубку и принял душ на траве своего сада. Каждая пора его кожи радовалась чистоте нижнего белья, которое он менял каждый день.

Сабинка навсегда исчезла из его жизни. На этот раз отследить ее было невозможно. Адам продолжал играть в детектив, посвящая поискам все свое свободное время. Он много времени гулял энергично, весело. Он допрашивал многих людей, затем проверял их информацию. Ему так понравилась игра, что он молился, чтобы его поиски длились как можно дольше. Его единственная проблема заключалась в том, что его мужское нетерпение не соответствовало этому желанию. Таким образом, он пришел к другому философскому выводу; а именно, что если человек сопротивлялся искушению, то это происходило из-за его слабости, а не из-за его собственной силы воли. Это, конечно, было не совсем применимо к Сабинке. Он не видел причин отказываться от нее, так что его сила воли вообще не подвергалась проверке.

Book Three 249

Глава восемнадцатая

ЛЕТО НАСЛАЖДАЕТСЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ волнами тепла. В *shishkas*покинули свои зимние дома, двигаясь в их дачах в Marysin, *orTsarskoye Sielo,*как его называли. Те шишки, у которых не было дачи, потому что они не хотели беспокоиться о двух хозяйствах, проводили две-три недели в одном из домов отдыха, где гости жаловались на переедание. По вечерам жители домов ходили в гости друг к другу, переходя из одного сада в другой. Они сгруппировались по своему месту в иерархии гетто и по источникам дохода. Люди Румковского навещали людей Румковского, друзья Вайнера посещали приятели Вайнера, а голуби *Крипо*собирались вместе с членами своей собственной клики. В братском согласии они обсуждали политику и желали скорейшего успешного окончания войны. Чем лучше были радиосюжеты, чем ближе подходил конец войны, тем больше было причин устраивать всевозможные вечеринки и торжества. Участники нервно, беспокойно развлекались, повторяя любимую поговорку г-на Шаттена: «Apr ^ s moi, *le deluge!»*Сам герр Шаттен стал большим пьяницей, и все были рады, что он никогда не появлялся на этих увлекательных вечеринках в саду.

Поздно вечером незаметно играл патефон. Люди вставали со своих шезлонгов, оставляя несъеденную пищу слугам, своим родственникам или знакомым до войны, и собирались на лужайке. Мужчины расхаживали в своих белых рубашках, женщины - в платьях, сшитых на заказ лучшими швеями курортов. Воздух был романтичным. В траве пели сверчки. - прохрипели лягушки. Пары ностальгически танцевали в лунном свете. Недалеко был забор из колючей проволоки, и маршировал немецкий стражник с перекинутым через плечо ружьем.

Пресесс Румковски отправился на прогулку по песчаной дороге Марысина. Его преданный товарищ, герр Зиберт, был с ним. Пресесс теперь спал не больше трех-четырех часов в сутки, и сегодня его голова была в таком смятении, что он даже не пытался лечь спать. Накануне вечером его соперник Лейбель Вайнер был арестован и вывезен из гетто. Пресесс был обрадован этой новостью и был так взволнован, что споткнулся о собственные ноги и нуждался в поддержке как своей палки, так и плеча Зиберта. «Эх, Зиберт», - вздохнул он от усталости и восторга. «Все указывает на то, что я выйду победителем. И как вы назвали этот остров? »

«Лампедуза, герр Пресесс».

«Неужели это так важно, как ты думаешь?»

«Это начало конца, герр Пресесс».

Presess был счастлив. В последнее время, несмотря на опасность, он не мог удержаться от посещения курортов, чтобы объявить всем новостям о том, что война подходит к концу. Рабочие с благодарностью аплодировали ему, как если бы он сам побеждал в боях на фронте.

«Видишь ли, Зиберт», - сказал Пресесс, опираясь на своего товарища. «Теперь они начинают понимать ... Да, я спасу от западни стаю евреев. Этого еще никто не добился, вы сами в этом убедитесь. Вычеркнута Варшава, стерта Вартегау. Во всей Польше мое гетто - единственное, что существует. Ой, Зиберт, когда я доживу до часа. . . » Растрепанные серебристые волосы Пресесса слегка поднимались на вечернем ветру. Его удовлетворение было двойным, потому что он также устал от бремени и забот, которые он нес все эти годы. Он жаждал отдыха, чтобы хоть ненадолго освободиться от ответственности ни за кого, ни за что; через некоторое время он вернется, чтобы возглавить свой освобожденный народ. «В другой раз я бы побеспокоился, - сказал он Зиберту, - почему немцы присылают так мало овощей, но не сегодня. Важно то, что в гетто собираются открыть три завода по производству боеприпасов ».

Маленькие глазки Зиберта лукаво загорелись в темноте. - Вы дадите толпе поесть, герр Пресесс?

«Ты еще не знаешь моих евреев, Зиберт. Мои евреи с мелочью умеют. Просто дайте им надежду. Этого им нужно очень много ». Далекий звук граммофона достиг их ушей, и они остановились. "Что это такое?" - спросила Пресесс.

«Они топят червя, поедающего их. Это должно быть на вечеринке у Зондермана Райсмана.

Пресесс поправил очки и топнул палкой по земле: «Я им покажу!»

Зиберт умиротворяюще взял его за руку: «Слушай мой совет, Пресесс, и ничего подобного не делай. Как говорится? «Человек своими речами превосходит скот. Мудрый человек своим молчанием превосходит глупого ». Зачем создавать себе врагов? Моя система - бить врага сзади и показывать не свое, а чужое лицо. Это то, что я узнал из психологических методов немцев. Трудно ненавидеть врага, который не показывает своего лица ». Пресесс понял, что Зиберт был прав. Он не должен спровоцировать открытую войну, особенно сейчас, когда их вождь понизился на голову. Скорее он должен был склонить их на свою сторону, дипломатично обойти их сзади. Зиберт держал обе руки в карманах, позволяя Presess опираться на него всем весом своего тела, как преданный сын, ведущий своего слепого отца. В этот момент он также вел его своей мудростью: «Послушай меня, дорогой Пресесс. На вашем месте я бы тихонько появился на празднике и позволил толпе принять себя ... »

Пресесс категорически покачал головой: «Я никогда не перейду за этот порог!» Некоторое время они шли молча, а затем уже составленный Presess спросил: «Как вы сказали, как называется тот другой остров?»

«Пантелерия».

«Пусть это будет Пантелерия, лишь бы это было хорошо для евреев. Но боюсь, что политики гетто приготовят сумасшедшие сюрпризы. Кто знает, что могут сделать эти горячие головы в последний момент ».

Через несколько дней герр Бибоу приказал всем, кто жил в Марысине, вернуться в гетто, и началось большое движение ручных тележек. Любопытные геттоники наблюдали за ходом, злобно улыбаясь. Сам Presess выразил удовлетворение.

Presess устроил грандиозный банкет в честь трехлетия работы отдела. Толпа была необычно взволнована. Зиберт бродил среди гостей, и всякий раз, когда к нему подходили какие-то новости, он сначала прикрывал рот пальцем и говорил: «Муха никогда не заберется в закрытый рот». Затем он поделился бы с большой секретностью: «Старик говорит, что евреи были изгнаны из остальной Польши, а из всех гетто осталось только наше. Он говорит, что все Старейшие евреи стали короче на голову, и что только его голова осталась нетронутой ». Когда его спросили о Лейбеле Вайнера, Зиберт пожал плечами: «В Варшаве все началось точно так же. . . » Он указал на стол, качая головкой. *«Apres moi, le deluge*!» Затем он хихикнул и лукаво предупредил собеседников: «Помните, братья, не ложитесь спать, потому что вы можете проснуться слишком поздно!» Они смотрели на него, как будто он сошел с ума.

Когда пришло время выступлений, Пресесс, его лицо пылало после ванны, сел во главе стола. Его жена Клара села рядом с ним. Ее волосы были плохо уложены, а лицо, казалось, было покрыто мелом. Она сидела неподвижно, неподвижно, как восковая фигура. Рядом с ней сидела графиня Елена, невестка Пресесс, величественная и элегантная. На ней была шляпа с перьями, ее внушительная голова добавляла безошибочному блеску столу изголовья. Именно она, а не Клара сыграла роль Первой леди. По другую сторону от нее сидел ее муж Иосиф, брат Пресесса. Худой, прямой, он высоко поднял аристократическую голову и уставился на Клару.

Уже прозвучало около десяти речей, восхваляющих Presess Rumkowski. «Когда мы можем назвать человека великим? Мы можем называть его великим с того момента, когда он начинает понимать малое! » Г-н Бидерман из отдела согласования завершил свою речь патетически. Г-н Шаттен, одетый в полувоенную черную форму, выглядел сегодня трезвым и произнес по-немецки трезво суровую речь. Он рассказал о поведении населения гетто. Евреи привлекали слишком много внимания немцев; они не снимали фуражки при встрече с проезжающими представителями власти, ленились на работе, всегда искали возможность повозиться и украсть. «Этот еврей, которого недавно повесили за кражу кожи, навлек позор на все гетто, а также на Пресесс Румковски!» Г-н Шаттен пообещал, что сделает все, что в его силах, чтобы помочь Presess превратить гетто в рабочий лагерь без ленивцев и аферистов.

Когда подошла очередь Presess Rumkowski отвечать на выступления, он встал и, как хороший психолог, объявил: «Мои дорогие гости, я не буду выступать сейчас, потому что эти столы хотят говорить раньше меня. Так что я буду держать свою речь в животе, пока вы все не наполните свою ».

Толпа захохотала, потом энергично зааплодировала. Стулья сразу же начали скрипеть, когда их придвинули ближе к столам. Пресесс подал знак начинать есть, и в следующий момент гости забыли и его, и весь остальной мир. Столы, уставленные всевозможными вкусными блюдами, были настолько увлекательны, что не оставляли места для разговоров. Дело не в том, что гости, не дай бог, приехали сюда голодными. Но даже *шишка*ценила лакомство, да и то, как поесть в целом. Наконец посетители осторожно отодвинули свои тарелки с едой, для которой они больше не могли найти места в желудке, и подняли головы, чтобы посмотреть, где они оказались. Внезапно все стали тяжелыми и сонными.

Пресесс встал и поднял руки. «Мои дорогие гости, - медленно начал он, - когда-то вы были слишком голодны, теперь я вижу, что вы слишком наелись, чтобы меня выслушать». Гости бурно хохотали и старались избавиться от сонливости. Они надеялись, что Presess не произнесут длинную речь. «Поэтому я не задержу вас надолго», - угадал общее желание Пресесс. «Я только хочу сообщить, что я желаю всего наилучшего отделу труда и даю каждому сотруднику отдела дополнительный паек в размере полкилограмма мяса и полкилограмма колбасы». Браво и приветствия прервали его слова. Он дождался, пока шум стихнет, прежде чем продолжить. «Друзья мои, все, кто здесь собрался. Каждый из вас по-своему помог мне сохранить гетто. Я хорошо знаю, что, помогая мне, каждый из вас тоже помогал себе, но я проигнорировал очень многие из ваших проступков, учитывая ответственность, лежащую на ваших плечах, я имею в виду ответственность за то, чтобы не дать себя поймать *на месте преступления. '. ”*Presess посмеялись над его шуткой, и толпа послушно засмеялась, а затем снова зааплодировала. «Но кроме шуток, я обращаюсь к вам и к вашей общественной совести. В этот исторический момент давайте вспомним обязанности, которые нам возложила судьба. Вспомним наш народ, братья! » Он драматично приподнял брови. «Это ненадолго, друзья мои. Приближается славный час. Вы все, наверное, чувствуете это так же хорошо, как и я. Давайте соберемся. Давайте будем сильными, и пусть мы очень скоро покинем эту долину слез. Am *Israel*Chai! »

Presess аплодировали стоя. Гости снова полностью проснулись и были разговорчивы. Они прокомментировали выступление Пресесса. Если он мог так говорить и быть в таком хорошем настроении, то, должно быть, действительно близок к двенадцатому часу.

Появился полицейский и что-то прошептал Пресессу на ухо. Пресесс подозвал начальника полиции, который застегнул куртку, поправил манжеты, придал важному выражению лица лицо и вышел из сада вместе с пресессом. Сразу же толпа окружила Зиберта. "В чем дело?" Они нервно дернули его за фалды.

Зиберт махнул рукой: «Ничего особенного. Убийство, вот и все.

Гости сначала вздохнули с облегчением, потом в изумлении пожали плечами. Убийство в гетто? Женщины заинтригованно перешептывались между собой. Вечер был теперь полон волнения и сенсаций. Гости считали своим долгом дождаться возвращения пресесса, как дети ждут отца. Кроме того, им также пришлось дождаться Зиберта, который сбежал, чтобы догнать Presess.

Первым вернулся Зиберт, и именно от него толпа узнала о сенсационном событии. "Понимаешь?" - начал он, не сводя глаз с женщин в толпе. «Девушка лет пятнадцати, с парой стройных ножек и головой, покрытой великолепными локонами. И она шла домой из пекарни, самая счастливая девушка в мире. Да, представьте, друзья мои, тело пятнадцатилетней, свежее, вкусное, идущее по улице Миодовой со свежей вкусной буханкой хлеба в руках ». Голос Зиберта звучал насмешливо романтично, когда он продолжал петь. «И воздух пьянящий, как вино, небо такое же голубое, как. . . глаза девушки. Какие страсти может пробудить в сердце такое манящее зрелище! Итак ... он следил за ней, загипнотизированный. Кто? Двадцатилетний бездельник, в штанах длиной три четверти и грязной рубашке с дырками на локтях. Представьте, дамы, пара черных, как ночь, глаз, обжигающих и облизывающих принцессу и хлеб, когда она споткнулась по улице Миодовой. Его ноздри были полны запаха хлеба, запаха ее тела. . . И поэтому он пошел по запаху к дому и поднялся по лестнице. Он был босиком, поэтому она его не слышала и не видела. Она вошла в свою комнату, оставив дверь открытой, потому что, понимаете, друзья мои, она тоже была в состоянии алкогольного опьянения. Она достала из ящика нож. Видите ли, она жила одна; все ее родственники были *похищены*во время *Сперре,*пока она пряталась на чердаке, потому что думала, что пятнадцать - это слишком *мало,*чтобы уезжать ... Так что она осталась с ее жизнью и с ее буханкой хлеба. Она села на кровать и из-за нетерпения даже свет не включила. Однако в квартире через коридор горел свет и дверь тоже была открыта. Свет, исходящий оттуда, осветил девушку, как прожектор. Этот парень, наш оборванный герой, стоял у двери и смотрел на нее, пока она сидела с буханкой хлеба на коленях, готовая отрезать себе кусок. Он видел, как слюна капала из ее голодного рта, и слюна начала капать и из его. А потом, друзья мои, он бросился на нее, положив руки на ее круглые бедра, на круглый хлеб. Девушка потеряла голос. . . но она держалась за хлеб ... за свою жизнь ... за свой хлеб. Итак, они боролись за хлеб. Пока он не выхватил нож из ее руки. Он разрезал свежий хлеб, ее свежее тело. Затем он схватил буханку обеими руками и в комнате рядом с кроватью съел ее целиком. Из квартиры напротив в комнату заглянула женщина, удивленная происходящим. Она была так удивлена, что начала кричать, и поэтому была вызвана полиция, и это конец истории ».

Гости слушали сказку Зиберта с открытым ртом. По их спинам пробежала легкая дрожь. Женщины вытерли глаза. Мужчины закурили сигареты.

♦ ♦ ♦

Клара завтракала одна. Новая комиссия должна была посетить гетто, чтобы найти подходящие здания для заводов по производству боеприпасов, и Presess ушел рано, чтобы осмотреть некоторые здания самостоятельно, чтобы сформировать представление о том, какие здания предложить. Клара ела без особого аппетита. В последнее время она плохо себя чувствовала. Врач не смог найти с ней ничего плохого и в конце концов пришел к выводу, что все ее жалобы имели «нервную основу». Однако от этого ей не стало легче. Но она не поддавалась своим симптомам и настаивала на продолжении своей деятельности. Она заботилась о детях, которые были спасены во время *Сперре*и теперь работали на курортах. Сегодня у нее была полная сумка конфет, чтобы раздать их детям в Tailor Resort.

Этот особый портной курорт состоял только из детей. Они были зарегистрированы как взрослые и рожали как взрослые. Они работали на швейных машинах и делали всю необходимую ручную работу. Клара ходила от одного ребенка к другому с подарком - четырьмя конфетами на каждого ребенка. Она видела, как слюнки текут из уголков их рта, кончики языков проходят по губам. Они поблагодарили ее, быстро положили конфеты в карман и взяли свою работу. Клара уважала этих маленьких взрослых.

Она знала о нелегальных школах, организованных для них в подвалах и чердаках заводов. В определенные часы они исчезали группами в соответствии с их реальным возрастом и посещали занятия. Она с радостью помогла бы в этой деятельности. Но официально ей не разрешили узнать о классах, и ей пришлось довольствоваться информацией, предоставленной Зибертом, который помогал в незаконном школьном отделе. Так она узнала, что дети создали общество взаимопомощи с коммунальным банком, который выдавал ссуды тем из них, кто был кормильцем семьи. Она узнала о комитете, члены которого навещали своих больных товарищей и при необходимости помогали по дому. Она также обнаружила, что они, как и взрослые, разделились на политические фракции и вели между собой жаркие дискуссии. Но в отличие от взрослых, сказал ей Зиберт, дети не строили планов на послевоенное время и не «наводили порядок в мире». Потому что они почти не имели представления о мире. Политика была для них игрой. Они жаждали игр.

Прежде чем Клара успела опорожнить сумку, она заметила, что дети внезапно стали необычно шумно; их глаза радостно кувыркались во все стороны. Затем молодой человек выпалил: «Муссолини упал!»

Она поспешила сообщить новости Presess. Пресесс встретил ее в своем офисе неприятным рычанием: «Давайте сначала закончим с комиссией», - сказал он. «Немцы хотят, чтобы церковь стала заводом по производству боеприпасов, и курорт Feather Resort придется переехать». Он отослал Клару и позвал Зиберта. Он поинтересовался радиосообщениями, о которых он уже слышал от своего брата. Зиберт сказал ему, что немцы сами заявили, что они отказались от Орла на Восточном фронте и Катании на Сицилии. Где был Орел? Где была Сицилия? Пресесс давно не видел карты, но сегодня ему нужно было знать, где находятся эти места, и особенно, как далеко они находятся от гетто. Он все больше чувствовал себя измученным посыльным, который должен был доставить сокровище, но с трудом держался на ногах. Зиберт обещал принести ему карту.

В эти дни Presess чувствовали себя особенно сплоченными с народом. Он реагировал, как сейсмограф, на настроения, на лихорадку гетто, который был подобен истеричной женщине, способной в мгновение ока переходить от слез к смеху; гетто могло с высоты энтузиазма и ликования окунуться в самые глубокие ямы страха и отчаяния.

Сначала люди горячо поздравляли друг друга с хорошими новостями. Они пожали друг другу руки на улице и весело побежали к курортам. Пока не возник вопрос: «Что с нами будет?» Слухи ходили от курорта к курорту, от улицы к улице. Нервы были натянуты. Терпение висело на волоске. Все кружилось в головокружительном вихре. Зрелое лето сияло на мир своим теплым светом; но солнечный свет раздражал людей еще больше. Его свет сбивал с толку. Ночи были мучительными. Воспоминания о *Сперре*вернулись, *душив*тела ужасом. Гетто было похоже на узкую клетку, кишащую существами, ожидающими приговора.

Пока однажды ночью напряжение не исчезло. Во многие двери постучали. Многих людей подняли с постели. В ту ночь Presess тоже спал в одежде. В последнее время каждое требование предоставить определенное количество людей для депортации врезалось ему в сердце, как лезвие бритвы. Теперь, когда война была близка к концу, каждая жизнь казалась более драгоценной, немец требует более высокомерного, а его собственное раскаяние больше, чем когда-либо прежде. Пресесс бродил по своей столовой, окруженной стенами, покрытыми его портретами. Клара не спала с ним. Ее болезненное искривленное лицо раздражало его. Он не мог вынести ее вида.

Наконец, он отправил ее обратно в постель и стал более свободно расхаживать по комнате. Чтобы часы не видели, он потушил свет и открыл окно. Сад источал сладкий аромат спелых фруктов. Запах раздражал Пресесс. С далеких улиц доносились голоса и плач. Он слышал торопливые шаги. . . люди бегут ... Тонкий свист прорезал воздух. Пресесс сунул обе руки в копну волос, снова и снова расчесывая их. Затем он положил руки на подоконник, как будто собирался произнести речь. Деревья стояли толпой слушателей. «Я Мордехай Хаим Румковски», - вздохнул он, словно представляясь деревьям. Вверху висело шутовское лицо косоглазой луны, покрытое облаком, похожее на кривой козырек фуражки. Вдалеке раздался свисток милиционера. Это проникло в его сердце. Он не мог больше терпеть напряжение. У него не было сил. Его старые усталые ноги вот-вот поддались. Он поднял морщинистое лицо к луне: «Боже, чего ты от меня хочешь?» На него заморгали лукавые насмешливые глаза луны. В своем одиночестве Пресесс пытался вернуть себе силу и упорство. «Настойчиво! Вы так долго терпели это, подождите еще немного! » Он сжал кулаки.

Он никогда не был мыслителем и ненавидел копаться в себе. Он все еще был уверен в одном: он пришел сюда, чтобы выполнить миссию. Не ему было задавать вопросы судьбе или восставать против нее. Он услышал внутри себя зов судьбы и слепо последовал за ним. Это был единственный полководец, которому он подчинялся, как и Моисей. Тогда какой смысл спрашивать свое сердце: что ты чувствуешь? Спросить у уставшего тела: чего ты хочешь? Мардохей Хаим использовал их как инструменты. Они должны были помочь ему выполнить его волю. И если они выполнили свои обязанности, момент искупления не мог не наступить. Он, Мордехай Хаим Румковски, оставит после себя след. Он не погибнет, как безымянные сотни и тысячи. Он был бы подобен звезде, сияющей своим светом на небе вечности. Это все еще было для него важно.

Пресесс заключил, что для того, чтобы выполнить свою миссию от имени своего народа, он должен был быть мудрым и использовать свое тело, своего уставшего слугу с пониманием. В последнее время он пренебрегал своим здоровьем, и это сказывалось. Теперь он пойдет спать. Он ничего не добьется, думая о тысяче человек, которых нужно собрать сегодня вечером. В его распоряжении по-прежнему было семьдесят тысяч рабочих евреев. Он приказал принять больных, безнадежных, туберкулезных, *клепсидр*и составить баланс: мужчин и женщин, которые жили одни, без семей, чтобы не снижать моральный дух и избегать причитаний и слез. Он чувствовал близость к тем, кто уезжал. Таково было их предназначение - быть жертвой ради тех, кто остался, так же как его судьбой было спасти тех, кто остался. Его шея тоже подверглась удару немецкого ножа. Теперь, когда все еврейские лидеры гетто ушли, настала его очередь.

Тем не менее, он не мог лечь спать. Он не был в настроении, способствующем заботе о своем здоровье. Он вспомнил, что у него в ящике была маленькая бутылочка шнапса, и сделал из нее глоток. По нему разлилось тепло. Он оглядел комнату, залитую бледным металлическим лунным светом. С портретов на него смотрело собственное лицо. «Я Мордехай Хаим Румковски, хранитель народа», - гордо представилось каждое лицо.

Луна ухмылялась в окне. "Это ложь!" он лукаво прищурился. «Настоящий Мордехай Хаим Румковский расплачивается другими жизнями за свое старческое существование!» Мардохей Хаим снял очки и дрожащей рукой вытер затуманенные пьяные глаза. Он ложился спать назло луне, которая хотела его уничтожить, назло всем силам, которые были готовы стереть его с лица земли. Он будет спать спокойным здоровым сном.

Он услышал шум в саду. Кто-то щелкал ветками и шептал. Он понял, что полицейский, дежуривший у ворот, ссорится с незваным гостем. Румковский высунулся в окно и сразу заметил фуражку полицейского. Он также увидел фигуру женщины.

- Герр Пресесс, - отсалютовал полицейский. «Она говорит, что она твоя подопечная. Она боролась со мной. Транспорт уезжает в течение двух часов ».

Женщина прыгнула к стене и подняла голову. Ее рыжие волосы блестели в лунном свете. «Я ваш подопечный, герр Пресесс! Меня зовут Эстер! » она позвала. «Вы не должны отсылать меня, герр Пресесс!»

Он узнал ее; он все еще помнил ее рыжую голову, когда столько других голов исчезло из его памяти. Неужели это он ее прогнал? Это было невозможно. Это было глупо. Он поморщился от горя. «Вы в списке?» он наклонился к ней, как судья, склонившийся над своей скамьей, чтобы увидеть подсудимого.

«Да, потому что я один. Я сбежал во время налета. Меня ждут за забором. Я молод и здоров, герр Пресесс. Я хороший работник! »

Он посмотрел на нее. Она была молода и здорова. Ее фигура была стройной и изящной, голова горела. В свете луны она обладала неземной красотой; красота, которая увеличивала боль в его теле и душе. Однажды в прошлом она сидела в его офисе и тоже чего-то от него требовала. Раньше он посылал за ней, а она не приходила. Наказал ли он ее тогда? Должен ли он наказать ее сейчас? Его ноги задрожали. У него закружилась голова. «Убирайся отсюда!» - простонал он. "Убирайся! В транспорт! »

Ее лицо было похоже на кусок твердого холодного мрамора. "Почему я?" он услышал ее заикание. «Я последний в семье!»

«Именно поэтому!» он услышал свой собственный голос. «Чтобы некому было оплакивать тебя».

«Я последний. . . последний. . . »

"Забрать ее!" Пресесс приказал полицейскому.

Полицейский, тоже тронутый красотой женщины и сценой перед окном, шагнул к Эстер. Но она отпрыгнула, плюнув в сторону Пресесса. "Убийца!" воскликнула она.

Полицейский потащил ее к воротам. Снаружи ее схватили еще двое полицейских. Судя по тому, как они ее уводили, Presess решили, что они отпустят ее и позволят сбежать. Она была слишком красивой. Ребята не могли позволить ей уехать с транспортом. Мордехай Хаим почувствовал ком в горле, когда представил, что немцы сделали с такими красотками. . . что они вообще сделали.

Он решил избежать встречи с депортированными любой ценой. Для него это было нехорошо. Он чувствовал то же самое во время *Сперре*, наблюдая, как *уходят*дети из его приюта. Он сурово накажет любого полицейского, который позволит кому-либо войти в этот сад. "Убийца!" - позвала его девушка, плюнув ему в лицо. Он не чувствовал себя обиженным. Он знал, что был убийцей, хотя не совершал никакого убийства. Его руки были пропитаны кровью, хотя он не пролил никакой крови. Он принял смерть за партнера, чтобы спасти жизни. Это была трудная, невыносимая задача. Но так должно было быть.

Лицо Эстер отказывалось исчезать из его памяти. Это преследовало его, мучило его. Ее тело было создано для ласки рук. Ее зеленые глаза, огонь ее волос были созданы для обожания. Даже сейчас, в преклонном возрасте, Мардохей Хаим все еще был способен ценить женские качества. Эстер была воплощением женственности, самой жизни. Он был благодарен милиционерам, которые освободили ее. Она была его подопечной, его ребенком. Он был полон отеческой гордости. Это он вырастил этот цветок в своем саду. Вдруг он испугался. А что, если бы милиционеры все-таки увели ее к транспорту? "Позволь им!" луна моргнула на него. «Она назвала вас убийцей. Если вы позволите ей жить, она станет вашим обвинителем, вашим ангелом смерти ». Румковский высунулся из окна и вызвал дежурного полицейского. «Девушка, которая была здесь, беги за ними и прикажи им немедленно освободить ее!» Чтобы убедиться, что его приказ будет выполнен, он написал записку.

Он глубоко вздохнул с облегчением. Он чувствовал себя так, как будто только что спас от депортации целый транспорт. Он вышел в сад. Земля сладко пахла. Шуршали деревья. Луна теперь казалась далекой; он потерял сходство с человеческим лицом. Румковски заметил еще одну луну, более близкую: лицо Клары в окне спальни. Ее рот был похож на рот трупа. Волна холода прокатилась по его конечностям при виде ее фигуры в белой ночной рубашке. Она протянула ему руку, белую восковую руку смерти.

«Ты хорошо поработал, Мардохей Хаим», - услышал он ее слова. Затем она добавила: «Но вы понимаете, что вместо нее должен уйти кто-то другой?»

Чтобы спастись от Клары, он вышел на улицу. Там он встретил милиционера, возвращавшегося с места собрания. «Она убежала, герр Пресесс!» Полицейский отсалютовал.

Румковски захотелось улыбнуться, но вместо этого он нахмурил брови и строго приказал: «Позовите полицейских, которые ее увели. Идти! Это порядок!"

Утром по гетто прошел ропот: за ночь увезли тысячу человек. Гетто ощущалось как тело, из которого пиявки высасывали кровь и снимали напряжение. Люди снова встали на ноги. Война подходила к концу, а было лето. В один прекрасный день они встанут утром, и все будет кончено. А пока они должны были пережить день. Они должны были сосредоточиться на данном моменте и ни о чем другом не думать, чтобы освобождение было неожиданностью. Они сделали вид, что не ждут этого, и занялись своими повседневными делами, чтобы не спугнуть его. Но продолжать такую ​​игру было трудно. Стремление к свободе было настолько сильным, что им пришлось предать ее. И снова жители гетто позволили броситься от смеха к слезам, от слез к смеху.

Настроения Пресесс Румковски не изменились. Его тело сжималось день ото дня, и он не мог передвигаться без трости. Так он метался от одного курорта к другому, дрожа над гетто, как если бы это был карточный домик. Он больше не произносил обнадеживающих речей. Он был укоризнен, увещевал людей и размахивая палкой: «Помните, ленивцы, мошенники, дабы своим поведением вы могли навлечь на нас бедствие. Вы должны работать, а не играть в политику! Работа - это наш пропуск в жизнь. Не забывайте об этом, бездельники! Гетто должно тикать как часы! »

Рабочие Corset Resort собрались, чтобы послушать выступление Presess. Он стоял на вершине ящика, перед ним стояло море растрепанных выцветших женских волос. Но потом он заметил одно красочное пятно в бесцветном море: огненно-красное. Он не узнал лица на расстоянии, но был уверен, что знает, чье это было. После своей речи он расчистил путь к женщине своей палкой.

"Ты!" - крикнул он. «Тебя зовут Эстер. . . »

«Да, герр Пресесс», - громко ответила она холодным ржавым голосом, в то время как ему хотелось, чтобы ее голос был таким же теплым, как цвет ее волос.

"Что ты здесь делаешь?" - сердито спросил он, потому что она не собиралась его благодарить. . . потому что она совсем не красива. Та памятная ночь превратила ее в красавицу. На самом деле ее лицо было желтым, веснушчатым, измазанным грязью и потом. Ее зеленые глаза казались потухшими, щеки впали. Она была тонкой, как палка. Казалось, только завитки ее волос расцветают, обжигая его глаза своим злобным пожирающим огнем.

«Я работаю здесь», - ответила она.

Он не знал, что на это ответить, и спросил более спокойно: «Ты одна из моих сирот, не так ли?» Это был глупый вопрос. Разве он не знал, кто она?

«Все евреи - твои сироты», - парировала она, и потухшие глаза женщин вокруг нее игриво загорелись. Он не мог решить, довольствоваться ее ответом или нет; улыбнуться и дать ей дополнительный паек или наказать ее.

На обратном пути, сидя в карете, он думал о ней. Он был уверен, что ему никогда не удастся завоевать ее расположение и что она никогда ему не простит, хотя благодаря ему она все еще жива. Он остановился на другом курорте и слез с кареты усталый, обмякший. Он тяжело опирался на свою палку, своего друга, свою опору; в отличие от других друзей это его не мучило.

Вечером он послал за Зибертом, без которого уже не мог обходиться. «Скажи мне», - он повернулся к нему своим морщинистым лицом. «Почему они все так меня ненавидят?»

Зиберт озорно моргнул своими маленькими глазками: «Смейся, Пресесс. Они ненавидят не тебя. Через вас они ненавидят немцев. Вы маска нацистов. Не обвиняйте меня за то, что я вам говорю. Теперь, когда игра почти закончена, вам стоит немного отойти в сторону, чтобы некрасивое немецкое лицо стало более заметным. Тогда они будут больше любить вас и больше ненавидеть их.

Book Three 259

Глава девятнадцатая

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЭСТЕР клялась, что переедет в другое место. Столько квартир сейчас пустуют. Но каждый вечер она приходила домой измученная, и у нее не было сил претворять свои планы в жизнь. Она также знала, что побег с чердака, где ей постоянно напоминали о тете Ривке и ее семье, не поможет ей избавиться от страха, которому она сдалась. Она лежала в постели, натянув одеяло на подбородок, и дрожала. Она услышала звук приближающихся все ближе и ближе полицейских сапог. Снова и снова ей казалось, что они пришли за ней. . . пока сон не овладел ее.

Все огни в ее душе погасли, кроме одного тонкого мерцающего пламени; пламя бытия, существования. Хотя она была слабой и одинокой, она все же была способна превратиться в львицу, чтобы защитить это маленькое пламя. Сколько у нее было сил, чтобы бороться с схватившими ее полицейскими! Как будто она была не измученной женщиной, а целой армией людоедов.

Она не была больна, у нее не опухли ноги, не было декальцинации костей, не было слабого сердца. Проблема была только в том, что внутри нее что-то увядало. Ей никогда не приходило в голову, что когда-то она была коммунисткой, общественным деятелем. Она отдалилась от своих товарищей, от коллег по курорту, от людей в целом. Одиночество ее не беспокоило, но дорога домой с работы иногда занимала несколько часов. Она тащилась по улицам, свернув в переулки или вставая в очередь, которую видела по пути.

Однажды, бродя по улицам, она встретила Владимира Винтера в развевающейся накидке с картонными листами художника под мышкой. Он все еще довольно энергично двигался на ногах. Он подскочил к ней и схватил ее руки своими длинными холодными пальцами. Его горячий взгляд пронзил ее, словно искал искру жизни в потухших зеленых глазах. «Почему бы тебе не прийти ко мне?» - нервно прошептал он. «Я не злюсь на тебя за то, что ты убежал от меня во время *Сперре,*уверяю тебя. Ты выглядишь такой бледной. . . »

"Вы дадите мне кусок хлеба?" спросила она.

"Ого!" - с энтузиазмом крикнул он. «Я дам тебе хлеб с колбасой! Ты ничего не помнишь? »

"Как часто?" спросила она.

«Что ты имеешь в виду, как часто? Когда бы вы ни пришли. Я поделюсь с вами. Если хотите, можете присутствовать на литературных встречах. Это стало прекрасным кружком художников. Мы встречаемся каждую субботу вечером. Есть новые таланты. . . Читаются и обсуждаются великие произведения. Вы могли бы петь для нас. . . » Она оставила его на середине предложения и ушла.

Было первое сентября. Четвертая годовщина войны. Эстер сидела на курорте, склонившись над своей работой, повторяя в уме: четыре года. . . четыре года. Она не могла понять, как четыре года могут показаться такими долгими. Она пыталась вспомнить, что произошло за эти четыре года, но не смогла. По дороге домой она услышала, как люди напоминают друг другу сегодняшнее свидание, поэтому снова напрягла память. На Балутер-Ринг ветер развевал песок, трепал огромные флаги со свастикой, висящие над бараками. Там, за забором, в окнах *Ghettoverwaltung*уже *горел*свет. Перед воротами стоял немецкий стражник с ружьем. Она вспомнила, что несколько раз оказывалась перед этими воротами. Однажды ей даже удалось увидеться с Румковски; она не помнила, по какому случаю. Далее она увидела очередь перед кооперативом и подошла узнать, для чего это нужно.

«Мухоловки! Два в голову! » Кто-то проинформировал ее. «Все лето, когда роились мухи, они их не выдавали, но теперь, когда приближается зима, они предоставляют вам мухоловки».

Когда она вышла на улицу, ее схватила соседка, тоже возвращавшаяся с работы домой. Женщина считала своим долгом рассказать Эстер обо всех новостях, которые она слышала за день.

«А вы знаете, что пятьдесят больных туберкулезом снова забрали из больницы?» Пока она говорила, ее фляга и ложка звенели. «А вы знаете, что случилось с людьми, захваченными во время *Сперре*? Вы слышали о месте под названием Хелмно? Я услышал об этом впервые сегодня, и пусть я никогда не услышу об этом снова. Говорят, что там добили всех евреев из Лодзи. А еще говорят, что в окрестностях Кракова есть еще одно место. . . пусть наши глаза никогда этого не увидят. И когда вы видите меня здесь, я бы плюнул в лицо всем, кто распространяет подобные истории. Ясно, как день, что *йики специально*выпускают такие слухи, чтобы мы молчали и тряслись от страха, как будто мы заболели малярией. Я сам знаю из надежного источника, что все, кто уехал со *Сперре,*находятся в безопасности в немецких лагерях и всем им хватит. Дети и старики находятся в Швейцарии под присмотром Красного Креста, и пусть мы все будем освобождены так же искренне, как я слышал о людях, которые получают оттуда открытки. Когда вы видите меня здесь, я надеюсь и верю, что вскоре сам получу такую ​​открытку с новостями о моих детях, написанную медсестрой в Швейцарии, потому что мои дети еще не умеют писать. . . »

Рассеянные облака неслись по небу, и вечерний холод поднимался над землей. Эстер подняла воротник пальто, словно защищаясь не только от холода, но и от разговоров женщины. Она повернулась, чтобы пойти домой, но не смогла собраться с силами, чтобы взобраться на свой чердак. Она простилась с соседкой и продолжила прогулку. Она затянула пояс пальто, потянула ручку фляги вверх по руке и засунула руки в карманы.

Она почувствовала, как рука скользнула под ее руку, сильно сжала и потянула вперед. Прежде чем она успела повернуть голову, она услышала голос, шепнувший ей на ухо: «Быстрее, не оглядывайся!» Она продолжала смотреть вперед, но краем глаза мельком увидела лицо. Голос прошептал: «Давай свернем налево, в ворота». Оказавшись в воротах, она повернула голову и внимательно посмотрела на незнакомца. Она хотела спросить его, куда он ее ведет, но они двигались слишком быстро. Ее сердце колотилось. Нервозность незнакомца заставила ее дрожать всем телом. Он тащил ее за собой, практически унося с собой, его пальцы крепко сжимали ее руку. В конце концов, она больше не могла этого выносить. Она отставала, ее ноги спотыкались. Голос ее не покидал: «Поторопись. . . сделай мне одолжение и поторопись. . . они преследуют меня ».

Она приподняла брови. Воспоминание шевельнулось в ее голове. Ее глаза загорелись воспоминаниями о знакомых чертах лица. Снежное первое мая. . . «Херш. . . Херш ... - имя ударилось в ее трепещущее сердце. Она больше не возражала торопиться; она отдалась силе мужской руки и позволила волочить себя по заднему двору. Но теперь она не сводила с него глаз. Она увидела его морщинистый лоб, блестящий от пота, его губы, сжатые вместе, его беспокойный взгляд. Она давно не впитывала взгляд в лицо таким образом. Кем мог быть этот человек? На данный момент это было неважно. Важно то, что у нее была цель - его цель.

Наконец, он расслабился и стал реже оглядываться. Ходить под руку стало приятно. Приятно было прислониться головой к плечу мужчины. В ее памяти проносились образы прошлого, пока она не остановилась на мгновение в исчезнувшей вечности, чтобы вспомнить маленький флакон духов, который кто-то предложил ей в ее комнате на Хокель-стрит ... пара восхищенных глаз, следящих за ней каждый раз, когда это она прошла двор. Это были не те глаза, не то же лицо. Незнакомец без всякой причины вернул это воспоминание из забвения.

Они остановились на углу улицы. «Спасибо», - сказал он. «Табурет из гестапо преследует меня последние два часа». Он собирался покинуть ее, когда бросил на нее еще один взгляд. Вдруг он поймал себя на мысли: «Это ты!» воскликнул он. - Племянница Хаима Чулочно-носочного мастера, не так ли? Твое имя. .. »

«Эстер», - она ​​выручила его. «А ты - Итче Майер, сын плотника!» теперь она вспомнила его без труда.

«Да, я Израиль». Он энергично пожал ей руку: «Большое вам спасибо».

Она почувствовала, как все кости в ее пальцах смягчились под его рукопожатием, и пожелала, чтобы это длилось вечно. Еще один образ пришел ей в голову. Она стояла перед запертыми воротами на Хокель-стрит; это было до того, как было создано гетто, после того, как ее дядю Хаим и всех жителей улицы увели. Израиль тоже стоял там, и она не могла отпустить его, как и сейчас.

"Куда ты направляешься?" спросила она. «Может, мне еще стоит немного погулять с тобой ... Так было бы безопаснее».

Он огляделся на улице и махнул рукой: «Уже поздно. Я ночусь на другой стороне моста.

«По ту сторону моста! Вы не можете перейти мост сейчас. Смотреть!" она указала на пустой мост вдалеке.

«Это нехорошо», - он потер лоб.

Она собралась с духом и на этот раз взяла его за руку и потащила за собой, сначала медленно, а затем со все возрастающей поспешностью. «Зачем вас ищет гестапо?» - спросила она, пытаясь отвлечь его.

Он позволил ей тащить себя за собой. Вдруг он спросил: «Возможно, вы знаете о пустой квартире. . . где я мог бы переночевать? На случай, если голубь все еще присматривает за мной. Я не могу подвергать опасности своих товарищей ».

«Да, я знаю о пустой квартире в моем доме». Она смотрела на его усталое лицо, на морщинки вокруг рта. Он был ненамного выше нее, но казался высоким и сильным; казалось, он заполнил всю улицу. В голову ей пришло внезапное желание: держать его на руках, как ребенка.

Когда они подъехали к ее сараю, он спросил: «Вы ведь здесь живете?» Казалось, он читал ее тайные мысли. "В одиночестве?"

«Одна», - ответила она.

Она восхищалась яркостью его голубоватых, почти детских глаз. Она предложила ему сесть в единственный стул, который у нее был, и села напротив него на кровать. Они избегали смотреть друг на друга и даже не пытались разговаривать. В своем беспокойстве они начали улыбаться, но не друг другу, а, скорее, мимо друг друга, глупой застенчивой улыбкой. Наконец, он положил этому конец. «Ты приглашаешь меня спать здесь?»

«Я приглашаю вас поужинать со мной».

Он вскочил на ноги: «Не может быть и речи!»

Она тоже вскочила на ноги: «У меня есть картофельные чистки ... их много. Я просил тебя . . . »

Он нетерпеливо принялся расхаживать по полу сарая. Она бросилась к «пушечной» печке и заглянула внутрь. Потом у нее возникла идея. «Если хочешь», - предложила она, - «можешь пока разжечь огонь в печи, чтобы он разгорелся быстрее». Она указала на куски дерева и несколько торфяных шариков на полу. Он молча подошел к плите и наконец снял пиджак. Она нарезала картофельные цедры в кастрюлю. Она почувствовала слабость в конечностях; что-то просыпалось в ней, и у нее едва хватало на это сил.

«Вы закрываете окно и днем?» - спросил Израиль, зажигая печь. «Похоже, у вас не было окна».

"Кому нужно окно?" Она искоса взглянула на него. «Кроме того, мне лень снимать затемняющую крышку, а затем снова ее ставить». Он вымыл руки и подошел к окну, чтобы снять крышку. Она подбежала к нему. «Не делай этого. Свет будет сиять ».

«Тебя легко напугать», - сказал он, взяв пиджак и повернувшись к двери. «Спокойной ночи и еще раз спасибо».

Она преградила ему путь и умоляюще уставилась на него. «Еда скоро будет готова». Она держалась за его руку. «Клянусь, я не напуган. Пойдем, помоги мне переместить стол к кровати. Садись на стул, - приказала она, и он сел на стул. Она попросила его сесть. Кастрюля на плите кипела. Они сели за стол и слушали его, пустая столешница разделяла их, молчаливое ожидание висело между ними, как облако.

Вскоре перед ними стояли тарелки с супом из картофельных кожуры и листьев петрушки. Ели поспешно. Сидеть друг напротив друга стало невыносимо. Лицо Израиля окаменело. Эстер знала, что он сидел с ней только из благодарности или вежливости, что в этот момент он думал о том, как уйти, не причинив ей слишком большой боли. Она была ему благодарна за внимание. Она быстро сняла со стола миски, потушила свет и, стянув крышку с окна, широко открыла его. Ветер раскачивал створки и дул ей в лицо. Пруд за печью для обжига кирпича по ту сторону забора из колючей проволоки был бледно-серебристым. Вдали очертания надгробий кладбища врезаются в хоризон. Далее темный лес отмечал небо толстой черной линией карандаша.

Рядом с ней стоял Израиль. «У вас прекрасный вид», - сказал он. «Что вас здесь пугает?»

«Откуда ты знаешь, что меня что-то пугает?» спросила она.

"Я знаю."

«Вот, - указала она. «В кирпичной печи каждую ночь что-то происходит, а может быть. . . возможно, это на кладбище. Я слышу крики, рыдания. Иногда я слышу это очень близко, почти из-под окна ». Было приятно вырвать нити страха, которые так долго лежали в ней узлом. «Иногда ночью, - продолжала она, - я не могу этого вынести. Я вскакиваю с кровати и хочу куда-нибудь бежать. . . Затем я слышу шаги на лестнице и чувствую себя в ловушке. Я провел не одну ночь, сидя на кровати полностью одетым. А когда засыпаю, слышу свист. Думаю, полиция преследует меня. Вы должны понять, что ... Вы должны знать ... "

«Сегодня никто не придет», - сказал он таким же ясным, как его глаза, голосом.

«Сегодня я не боюсь», - заверила она его.

В его честь она решила делать блины из кофейной гущи. Она попросила его закрыть окно и включить свет. На этот раз, когда они смотрели друг на друга через стол, расстояние между ними казалось меньше. Что-то было растворено и развязано. Они съели горячие блины и потягивали горячий кофе. Эстер показалось, что Израиль улыбается в свою чашу. Не сводя глаз с чаши, она сказала: «Ты смеешься надо мной».

«Я смеюсь над тобой», - сказал он. «Я рад, что мы встретились».

Он хотел спать на полу чердака. Она сказала ему, что у нее была еще одна кровать и больше матрасов, когда с ней жила семья дяди Хаима, и что она сожгла все, кроме своей кровати. И она пригласила его в свою постель.

Окно было открыто. Ветер играл крыльями, раскачивая их на скрипучих петлях. Узкая кровать была неудобной. Их незнакомые конечности пытались отодвинуться друг от друга как можно дальше, но кровать не позволяла. Они хотели спать, но сон не шел. Между ними возник шум. Они хотели обменяться парой слов, но не знали, что сказать. Они улыбались в темноте, пока не перестали сдерживаться, и расхохотались. Их смех заставлял их тела двигаться, объединяя голову Эстер с плечом Израиля, ее талию и его руки, ее щеки с его, ее рот и его.

В какой-то момент ночью она рассказала ему о Херше, о Валентино. В какой-то момент он рассказал ей о Фейги, его жене и дочери Маше. Он также сказал ей, что его брат Йоси с женой и ребенком был пойман на улице во время рейда в феврале прошлого года, и что он, Израиль, как и Эстер, был совсем один в гетто. Внутри них что-то одновременно плакало и ликовало.

«Не оставляй меня в покое», - прошептала Эстер.

«Я не оставлю тебя в покое», - пообещал он.

«Все равно все кончено».

"Это еще не конец. Но я не оставлю тебя в покое ».

«Мы погибнем».

«Мы будем жить».

После той ночи они не искали слов, чтобы прояснить свою ситуацию или свои чувства. Все было как было. Израиль не всегда спал с Эстер. Он часто пропадал по ночам подряд, и его исчезновение вернуло Эстер прежние настроения, когда она жила с Хершем. ] Подобно Хершу, Израиль хранил секрет, о котором она догадывалась. И еще она догадалась, что Израиль был противником. Однако именно этот противник возродил в ней интерес к собственной партии. Знакомство с ним начало выравнивать в ней все не только морально, но и физически. Желтизна ее лица исчезла. Глаза ее заблестели. Ей снова понадобилось зеркало, и она нашла его среди своих вещей. Она снова стала красоваться каждый день после работы. И она держала свое окно открытым, чтобы смотреть на Израиль.

Вещи Израиля состояли из ранца с несколькими предметами одежды и его продовольственных карточек. Эстер начала стирать ему рубашки и чинить носки. Она достала паек на двоих и теперь, когда выстраивалась в очередь, не для того, чтобы побыть с людьми, а с определенной целью. У нее больше не было достаточно времени. Она была важна. У нее была семья.

Израиль предложил им выйти из сарая и найти для себя лучшую комнату. Она пожала плечами: «Это не имеет смысла». Она посмотрела в глаза Израилю, наслаждаясь видом своего собственного отражения. В его глазах она видела, как растет и расцветает. И она заметила, что он был удивлен переменой в ней. Она объяснила: «Я подобна цветку, который не может жить без воды ... Я могу умереть без любви ... Я имею в виду действительно умереть. Когда любовь уходит из моего сердца, все во мне распадается, все увядает. .. »

Когда Израиль спал дома, они вместе уехали на работу, Эстер - на свой курорт, он - на его. Они обменивались полусловами, оборванными фразами, и Эстер не возражала, что довольно часто Израиль не слышал ни слова, которое она говорила, когда он шел, его лоб наморщился, погруженный в далекие мысли. И все же ее рука была надежно сжата в его руке, и разговор их пальцев был жизненно необходим.

Она усердно работала на курорте. У нее были быстрые руки, сильные ноги, легкая голова. Ее мысли, увлеченные ритмом машин, мучили ее назойливыми глупыми желаниями, которые невозможно исполнить; греховные желания, которых никогда не было в гетто, никогда в ее жизни, были такими сильными, как сейчас. Она хотела ребенка. Она смаковала столько вкусов жизни, что все еще хотела смаковать только этот; ей пришлось. Часто, сидя за машиной, она фантазировала, как было бы иметь вместе две вещи: свободу и ребенка. Это было простое желание, но высокомерное, как будто она хотела слишком многого. Слезы выступили на ее улыбающемся лице, когда она склонилась над швейной машиной. Она не вынесет такого счастья. Это было бы выше ее понимания. Ее сердце разрывалось от радости. Вместе со своими фантазиями ее одолевала дикая тяга к еде.

Не раз, когда она была погружена в свои мысли, слышала ли она гул голосов вокруг себя. Слова, шепот достигли ее ушей. Ее друзья снова распространяли новости о списках. Кому придется уйти на этот раз? Конечно, те, кто жил один, без семейных уз, без кого оплакивать их или оплакивать их. Эстер увеличила скорость своей машины. Она хотела, чтобы его жужжание затмило то, что она слышала. Все это было ложью, плодом чьего-то воображения.

На коробке рядом с ней росла куча розовых корсетов. Каждый раз, когда она встряхивала готовый корсет, чтобы избавиться от лишних ниток, она приходила в ярость при мысли о женщинах, которые связали себя в таких одеждах. Она не думала словами, но ее сердце было полно проклятий. Она оглядела зал и увидела розовые корсеты тысяч толстых немцев. «Они зашнуровали себя веревками ненависти, - подумала Эстер, - проклятиями, которые костлявыми пальцами тех, кто формировал эти одежды, проникали в каждый стежок, в каждую пору материала. Она чувствовала, что каждый шов, который она наложила, был полон яда, и визуализировала, как яд заливает поры женской кожи. Она видела, что кожа соприкасается с кожей немецких офицеров, генералов. Она видела, как яд заразил их мужские тела, уничтожив их семя. Казалось странным, что немцы боялись только саботажа, а не другого еврейского оружия: проклятия, пронизывающего униформу, платья, пальто и обувь, производимые гетто. Она была уверена, что куда бы ни доходили продукты еврейских рук, они выполняли секретную миссию - уничтожать пользователей, преследовать их до могил. Она хотела, чтобы проклятие подействовало немедленно. У нее не было терпения. Опять заговорили о списках ... и она все еще хотела насладиться вкусом матери.

Когда она переживала эти моменты сильной ненависти, она начинала петь, а девушки у машин подбирали мелодию. Их голоса были вызывающими, упрямыми. Машины гудели вместе с ними. Эстер не особо разбиралась в своих песнях. Революционные песни и песни о любви, колыбельные и юмористические народные песни сменяли друг друга. Но все эти известные песни здесь звучали иначе, наполнены новым содержанием, новым смыслом. Таким образом, пение продолжалось час или два, пока внезапно мысль о списках снова не начинала клевать в сердца женщин. Песни, которые раньше звучали так мощно и свободно, теперь стихли. Кричащая тишина затопила зал. Машины на время остановились, пока одна девушка украдкой наблюдала за другой. Ни один из них не нуждался в корсетах. Напротив, их выступающие кости нуждались в большом количестве плоти, чтобы округлить их. Какая из девочек пропадет завтра? Чья машина будет замолчать завтра? А послезавтра корсеты, созданные этими пропавшими руками, будут обвиты вокруг живых тел.

Трудно было терпеть такое мгновение слишком долго, и как избыток радости мог вызвать слезы, так и переполнение отчаяния могло привести к смеху. Фрейда, «коза», не могла вынести мрачного и обреченного настроения, и своими шутками и уловками она вывела зал из его тяжелого настроения, как выводят лодку из водоворота. Колокола судьбы звенели для кого-то, может быть, даже для нее самой, но в этот момент звук смеха оглушил их.

Судьба. Хотя Эстер снова стала коммунисткой, она создала для себя некоммунистическую теорию. Она считала, что этот роковой инцидент стал главной причиной человеческой жизни и что это сила, с которой бесполезно бороться. В конце концов, чем, в конце концов, было каждое важное событие в ее жизни, если не несчастным случаем? Разве Израиль взял ее за руку на улице не случайно? И как этот факт повлиял на ее жизнь! Или, например, физическая красота, которой ее наделила Судьба. Была бы она когда-нибудь связана с Шаттеном или даже с Винтер, если бы не ее красота? И как часто она проклинала эту красоту именно потому, что она подвергала ее жизнь опасности.

По пути домой из курорта она часто встречала соседа, который держал ее в курсе всех слухов. «У меня есть племянник в Metal Resort, который узнал из надежного источника, что запрос из Берлина спросил Бибоу, сколько вагонов потребуется, чтобы перевезти всех евреев Лодзи с машинами и всем остальным в город недалеко от Люблина. . Итак, Бибоу, по-видимому, ответил, что для этой цели потребуется не менее шести тысяч фургонов. Итак, мой племянник, который не дурак, говорит, что шести тысяч было бы недостаточно и что все это не имеет смысла. Потому что где немцы теперь возьмут шесть тысяч повозок, если им нужно все, что у них есть для их армии? И почему именно в Люблин, который ближе к русскому фронту, чем Лодзь? Как бы то ни было, это странная история, и либо это знак к лучшему, либо не дай бог, к худшему ».

Эстер слушала разговор женщины, вызывая в ее памяти черты Исраэля, вспоминая его лицо, которое она склонялась читать наизусть. Это помогло ей сказать женщине, что ей не о чем беспокоиться. Она забралась в их комнату и ждала его, молясь, чтобы он провел с ней ночь.

Следующий день на курорте напоминал предыдущий. Опять резкая смена настроения под аккомпанемент машин. Снова песня, пробуждаемая волей к упорству и жаждой мести. Снова беспокойство, мучительный страх, внезапная тишина, а затем - смех.

Машины гудели, а руки бежали вперед, запихивая розовый материал под иглы. Колеса машины вращались. . . развинчивание воспоминаний. ..отражение изображения. .. Однажды, очень давно, в самом начале, мама сидела, крутя колесико, ступая ногами под швейную машинку. Крошечная девочка поползла по полу, потом подняла глаза. Высоко было лицо матери, сиявшее, как солнце, обещанием счастья. И вот эта мать снова сидела за машиной, а крохотная девочка, еще не родившаяся, смотрела с пола и ползла где-то поблизости. . . Где-то далеко; лицо еще не родившейся девочки: солнце, обещание счастья. Весь этаж зала, если не вся земля, был полон ожиданий.

Как только она пришла домой, Эстер взяла таз, полный зеленовато-красных листьев свеклы, и подошла к водяному насосу, чтобы помыть их. Вокруг нее царила суматоха. Другие соседи тоже мыли овощи. Небо было серым. Издалека послышался какой-то рев. Соседи подняли головы. Стройка самолетов рассекала воздух. Они спустились так низко, что на их крыльях были видны свастики.

«Они идут на восток», - заметил сосед.

Как только самолеты накатились, Эстер сложила ладони и сделала глоток воды из насоса. Она отпила его и смотрела, как вода течет сквозь ее пальцы. Она сделала себе знак. Если ей удастся сделать еще три глотка, прежде чем вода вытечет из ее пальцев, Израиль приедет, чтобы провести с ней ночь. Ей удалось, и она быстро вытерла лицо и волосы мокрыми руками; как довольная молодая курица, она стряхнула капли и схватилась за таз с набухшими листьями. Наверху она занялась уборкой в ​​комнате, готовкой, красотой.

Она уже расчесывала волосы, когда услышала звук. Шаги Израиля поднимались по лестнице. Она знала, что он придет. Она повернулась к нему, когда он вошел. Боясь, что он прочитает на ее лице слишком много радости, она немедленно отвергла его. Когда она была поглощена сервировкой стола, Израиль обнял ее; от его грязного небритого лица пахло потом. Она хотела остаться в его объятиях навсегда, но оттолкнула его.

Он взял пустые ведра и исчез. Она слышала, как ведра звенели на лестнице, как колокольчики. Она поспешила к зеркалу, чтобы закончить причесываться, и уставилась в отражение своих улыбающихся глаз. Она хотела выглядеть красиво, быть красивой. Она хотела, чтобы Израиль сказал ей, что она красива. Он никогда ей этого не говорил. Ее красота казалась ему неважной. Она думала, что ей это понравится, но вместо этого сомнение грызло ее сердце. Может, она ему не нравилась? Возможно, она была недостаточно красива для него? Может, ей стоит узнать, в каком платье она ей больше всего нравилась?

Израиль вернулся с ведрами, полными воды, и снял ветровку и рубашку. Она наполнила его водой в таз и смотрела, как он умывается. Его блестящая влажная кожа говорила ей о его силе, хотя его плечи были опущены, а позвоночник и лопатки торчали костлявыми. Он был невысокого роста, но в ее глазах он казался гигантом, почти таким же высоким, как Валентино. Да, когда она смотрела на волосатую грудь Израиля, ей в голову приходил этот крупный парень с вьющейся черной копной волос и горящими цыганскими глазами, которые очаровывали ее. Эти двое были такими разными, но в то же время очень похожими. Чем ближе Эстер чувствовала себя к Израилю, чем ближе она чувствовала себя к Валентино, тем ближе она чувствовала себя ко всем мужчинам в своей жизни. Ей казалось, что все, что она чувствовала к ним, было вылито в новую форму в ее привязанности к Израилю, как драгоценное вино в новом сосуде.

За столом они посмотрели друг на друга, прежде чем опустили глаза на свои миски. Эстер медленно глотнула, спрашивая себя, не было ли сегодня лицо Израиля серьезнее, чем обычно. Она все еще с трудом сориентировалась в его настроении. В конце концов, он ни разу не улыбнулся ей с тех пор, как вошел в комнату. На самом деле он еще не произнес ни слова. Она поняла, что он не ел, а смотрел на нее ясными и в то же время серьезными глазами. Она увидела две глубокие борозды на его щеках, идущие от носа к уголкам рта; его лоб был сморщен двумя параллельными линиями. Его влажные волосы, которые начинали сохнуть, ниспадали прядями, пронизанными тяжелыми серыми линиями.

«Почему ты не ешь? Чего же ты ждешь?" спросила она. «Вы видите, какой густой суп? В нем ложка может стоять вертикально ». Каким трудным собеседником он был! Она не знала, как завязать с ним разговор. Почему он не ел? Разве ему не понравилось, что она готовит? Он не был голоден? Почему он не сводил с нее серьезного взгляда? Она потягивала его взглядом вместе с ложками супа. Она взяла на ложку свекольный лист. «Свекольные листья хороши», - сказала она призывно.

Две резкие линии соединялись над его бровями. Он сжал челюсти и протянул руку, накрывая ее руку. «Списки составляются», - сказал он.

Она равнодушно спросила: «Кого? Те, кто не замужем? » У нее не было причин для страха. На этот раз она не предназначалась. Она не была одинокой. У нее была семья, дом, основанный в то время, когда дома разрушались, и из-за этого тем более священный. И еще у нее был кто-то, кто оплакивал ее. Он, человек с морщинистым лицом, скупой болтун, сидевший напротив нее, заболел бы за ней. Ей не нужно было, чтобы он ей это говорил. Она знала это.

В этот момент на его лице появилась странная необъяснимая улыбка. «Я считаю, что нам нужно пожениться», - сказал он.

Она отрывисто рассмеялась: "Мы?" Комната заколебалась у нее на глазах. Она поняла. Они были в опасности.

Он сел рядом с ней на кровать. "Что ты говоришь?"

Она кивнула. Он был прав. Им пришлось объявить миру, что они больше не одиноки. Это нужно было зафиксировать в книгах гетто, где имена вычеркивались. Она высвободилась из его объятий и встала, чтобы убрать со стола. Ее руки дрожали, пальцы запутались в скатерти. Чаша выскользнула из ее руки. Она услышала голос Израиля, последовавший за звуком разбитого стекла: *«Мазал-товл».*Ее голова *кружилась*. Израиль стоял рядом с ней и обнял ее. Он поднял ее подбородок рукой. Ярко-зеленые ее глаза сияли на него.

*«Мазалтов,*невеста моя». На мгновение он прикоснулся к ее лбу. Затем он предложил: «Пойдем, пойдем гулять».

"Прогулка?" Она была удивлена. Они никогда раньше не гуляли.

«Да, давай ... В честь. . . »

«Ты не уезжаешь сегодня?»

"Позже. Теперь идем гулять ».

Медленно, торжественно они вышли на темную улицу. Израиль обнял Эстер за плечо; ее голова прислонилась к нему. Воздух был прохладным. Запах гниющих листьев поднимался от земли в Марысине. Грядки земли были вскапаны, сыры. Эсфирь и Израиль прошли между ними, опустив головы. Постепенно язык Израиля начал развязаться. «Я не знаю, кем вы были ... до сих пор. Ты мало что знаешь обо мне, но в данный момент в моей жизни ты самое дорогое, что у меня есть ». Он заметил, что ее голова опустилась еще больше. "Ты плачешь?" он спросил.

«Наверное, от радости ...» - прошептала она.

Через несколько минут он снова заговорил: «Я думал. . . как поверхностно люди когда-то относились друг к другу, даже к мужу и жене. Контакт поверхностей. Я сказал, что не знаю тебя? Это действительно глупо, Эстер. За мной гнались, как за собакой. . . Если бы они поймали меня той ночью, ты разделила бы мою судьбу. Ты открыл для меня не только свою дверь ... У меня есть дом ». Он закусил губы, расплывшись в улыбке. «Что я должен так говорить. . . о моих чувствах к женщине. . . Кто бы мог такое представить? »

«Тогда остановись», - сказала она, ее сердце переполнилось невыносимой благодарностью.

Он не остановился. «Интересно», - улыбнулся он. «То, что я только что сказал, - не единственное. Есть еще блеск ваших глаз, цвет ваших волос. . . твое тело. Ты самая красивая ... - Она положила руку ему на рот. Это было слишком. Ее радость причинила ей боль. Моменты счастья иногда было невозможно вынести, и не следует их продлевать. На обратном пути Израиль добавил: «Ты должен знать обо мне одну важную вещь. Я бундовец ». Она не отреагировала на его замечание, хотя тоже собиралась ему кое-что сказать. Ей пришлось рассказать ему о своих политических взглядах. Она была в долгу перед ним. Однако ее рот отказывался открываться.

В течение двух недель, когда составлялись списки, Пресесс не проводил никаких брачных церемоний. Когда последние пятьсот человек покинули гетто, Presess снова стали объединять пары в браки. Эстер и Израиль стали мужем и женой по законам гетто. Израиль взломал дверь в том же доме, где они жили, и они спустились на два этажа. Новая квартира состояла из одной большой комнаты. Израиль починил окна и установил новую печь. «Тебя больше не трясет от холода», - сказал он Эстер, работая с трубами, которые он протянул вдоль потолка, чтобы распространять больше тепла.

Она держалась за лестницу, на которой он стоял, и у нее возникло ощущение, что она помогает ему. «Как вы думаете, мы останемся здесь на зиму?» спросила она.

"Наверное . . . »

Она не поверила. Все признаки указывали на то, что война близится к концу, что Израиль и она выживут. Она также увидела добрый знак в том, что «акция» прошла и их не тронули.

Было приятно обставить комнату. Делала она это на рассвете или в течение нескольких минут после работы. У нее не было много времени. Израиль не мог стоять в очередях, и ей приходилось готовить и чинить их одежду, которая разваливалась. Затем ей пришлось спешить на собрания. Она снова с энтузиазмом погрузилась в партийную работу, хотя товарищи приняли ее с большой сдержанностью. Они помнили ее слабости и капризный характер, и не могло быть и речи о назначении ее в закрытую группу, задачей которой было подготовить почву для приема Красной Армии и начать движение сопротивления против немцев. Но ей разрешили позаботиться о спасенных детях партии, «пионерах», и она была за это благодарна. Это было странно. Приверженность партии заставила ее почувствовать себя ближе к Израилю. По дороге на встречи она могла угадать, что он переживает. И это было хорошо. Потому что ее настоящим домом была не новая комната, а он. Она жила в нем, и ей было любопытно, куда переместилось ее сердце. Она всегда приходила домой раньше него и ложилась спать, чтобы дождаться его. Часто она засыпала до его прихода, но всегда чувствовала, когда он был рядом с ней, и прижималась к нему.

«Сегодня ты приготовишь большую *бабу»,*- сказал он ей однажды утром, когда они сели завтракать из кофе и крошечных ломтиков хлеба.

«Вы ждете посетителей?» спросила она.

«Мы собираемся провести здесь встречу».

Хлеб, который она ела, застрял у нее в горле. Потом она поймала себя и стала торопливо есть, чтобы он не заметил ее нервозности. «Я все подготовлю и уеду. Я не бундовец. .. Я. ... - запинаясь, пробормотала она.

Он посмотрел на нее с благодарностью, удовлетворением. "Куда ты пойдешь?"

"Для моих друзей."

«Тебе придется там спать».

"Нет. Я вернусь ночью через задний двор ».

Он рассказал ей о встрече Румковского с левыми партиями. Она понятия не имела, что такая встреча имела место. Presess произнес на конференции сладкую речь. Израиль процитировал его: «Конечно, я делал ошибки, но я всего лишь человек. Вы, как люди с опытом социальной работы, должны были мне указать на эти вещи! » Израиль улыбнулся: «Старик прислал нашему народу дополнительные продовольственные пайки, а они вернули его ему. Он простирается ниц и стал очень дружелюбным со мной. Он называл меня хулиганом и изгоем и следил за тем, чтобы я не устроился на достойную работу. Теперь он хлопает меня по плечу всякий раз, когда видит меня. Однажды, не так давно, я спросил его, какие у него планы после войны, и он сказал мне, что предаст себя суду, и после того, как он реабилитируется, он уедет в Эрец-Исраэль, чтобы дожить до последнего. лет в мире. Больше ему ничего не нужно ... никаких почестей ».

До поздней ночи Есфирь сидела у ворот через дорогу, ожидая, пока товарищи Израиля уйдут. Израиль спустился с последними посетителями, вероятно, чтобы дождаться ее. Она подбежала к нему и упала в его объятия.

«Я бы хотел, чтобы мои товарищи познакомились с вами», - прижал он ее к себе, когда они лежали в постели. «Но, видите ли, мне немного не по себе. Они знают Фейги, и для них это означает, что я оставил жену и ребенка в Варшаве и живу здесь с другой женщиной. И не исключено, что Фейги и ребенок еще живы. Иногда мне кажется, что я не должен был связывать себя ни с тобой, ни с кем. Дилемма. Это не мелочь. Я приехала сюда побыть одна, полностью посвятить себя партийной работе. Поэтому я иногда чувствую себя предателем. Я такого еще не испытывал. . . такие внутренние бури. И здесь я должен быть цельным человеком, сосредоточенным только на одном. Нет смысла скрывать эти вещи от вас. Я должен быть ... Я должен быть ... Я требую этого от себя, а другие требуют этого от меня. Товарищи мне доверяют. Молодые смотрят на меня снизу вверх. Я отдаю приказы, и это меня обязывает ... » Он долго молчал, затем добавил:« Для нас двоих, для тебя и меня, все ясно, естественно и, я бы сказал, священно. И все же. . . Понимаешь?"

Она оторвалась от подушки. В голове гудело. Она едва могла усвоить все, что он ей сказал. «Нет, я не понимаю!» Она взорвалась, едва в состоянии выразить свои смущенные мысли словами. «Теперь вы спрашиваете себя, имеете ли вы право? Еще не поздно? Что я сделал с тобой, что ты поднял меня до такого? . . такое счастье, а потом снова в темноту выбросить? Разве не было бы лучше, если бы ты оставил меня в покое, если бы я не вкусил такой жизни? Ты хотел поиграть со мной в игры, с моей жизнью, дразнить меня? »

Он пытался успокоить ее и не позволял ей вырваться из его рук, когда она боролась с ним. «Молчи, глупая женщина. Так что, если я задам себе эти вопросы, и что, если я отвечу на них. Так что, если другие будут судить меня. Я все равно не мог оставить тебя, Эстер. Это безнадежное дело. Ты моя слабость и моя сила ».

Она была поражена тем, что он смог такими несколькими словами успокоить смятение внутри нее. То, что он сказал ей, было великолепно, каждое слово - ее победа, каждое слово - узел, который крепче привязывал ее к нему.

Осенние дожди начали свое однообразное господство над гетто. Все упало в сети серости. Очертания домов, лица людей стали расплывчатыми, нечеткими. Туманные улицы казались короткими и бесконечными. Эстер почти не заметила туман. У нее была цель, не та, что раньше, когда улицы были чистыми, а ее цель туманной.

В один из таких дней, прогуливаясь по дымке, она заметила Израиль на противоположном тротуаре. Она подбежала к нему, упала на него всем своим телом, прижалась лицом к его щеке. "Ты . . . Здесь?" она засмеялась, собираясь двинуться с ним дальше.

Его лицо было холодным, а взгляд чужим. Он крепкими пальцами схватил ее за руку. «Да, я, здесь!» - прошипел он. «И я искал тебя. Ты красный, не так ли? " Он не стал ждать ее ответа, а крепче сжал ее руку. «Методы товарища Сталина, а? Они назначили вас для миссии, не так ли? Чтобы переспать со мной и обмануть меня, чтобы раскрыть секреты социальных предателей, бундовцев, а?

«Израиль», - простонала она.

Он потряс ее изо всех сил, глядя ей в лицо холодными ненавистными глазами, пронизанными искрами боли. "Ад! Почему ты мне не сказал? » Он отпустил ее руку. Она оставалась как бы висящей в воздухе. Ливень, хлынувший на улицу, отделял ее от Израиля игольчатым занавесом. Теперь они оба держали руки в карманах и шли, согнув спину, на некотором расстоянии друг от друга; она в своей беспомощности, он в своей ярости. Его лоб был красным, каждая складка сияла, как стрела. Когда они поднимались по лестнице, он добавил: «Я больше не могу жить с тобой».

Стены комнаты были серыми. На полу лежали печальные тени. Израиль вынул из-под кровати свой рюкзак и наполнил его своими вещами. Эстер преградила ему путь к двери: «Израиль, ты не должен . . . Вы обещали мне . . . » Она обвила руками его шею и держалась за него. «Клянусь тебе ... Если ты хочешь, чтобы я это сделал, я все брошу ... Если ты этого хочешь. . . Прошу вас, я вас умоляю ».

Он оттолкнул ее от себя: «Я тебе не доверяю».

«Поверьте мне, я сделаю все, что вы хотите. Я тебе помогу. Я буду. . . стать бундовцем ».

Он горько ухмыльнулся: «Так ты думаешь, как стать бундовцем? Благодарю вас за то, что вы пожертвовали своими принципами ... »

«Я не это имел в виду. Израиль. . . Не оставляй меня ».

Он бросил на нее желчный взгляд: «У меня создалось впечатление, что я имею дело с честным человеком».

"Я люблю вас."

«Почему ты не сказал правду, если любишь меня?» Он стоял у двери, держась за ручку. Есфирь, сморщенная, стояла рядом с ним, склонив голову. Он мог уйти сейчас. Однако он не двинулся с места. «Какая ты загадка!» - сказал он более спокойным тоном. «Я не знаю, какое состояние свело меня с тобой. В любом случае в гетто нет времени для любви; не для меня. Я здесь для работы. Я несу ответственность, и у меня есть совесть ». Он грустно посмотрел на нее. «Если бы ты хотя бы сказал мне ...»

Он открыл дверь, и она подошла к нему ближе. «Ты мой муж, - прошептала она, - я буду следовать за тобой повсюду, если меня не отправят, пока я не умру. . . »

Он взорвался: «Я свободный человек со свободной волей, и я уважаю свободных людей. Вы не будете держать меня привязанным к шнуркам вашего фартука! » Он увидел, как она резко упала, ее плечи начали дрожать. «Ты мне противен!» он бушевал. «Я думал, что ты цельный человек, а не тряпка».

«Я - цельный человек только с тобой», - рыдала она, подгибаясь под ногами. Комната кружилась перед ее глазами, пока все не остановилось, и она оказалась в темноте. Пол закачался, и она упала к ногам Израиля, ее мокрый плащ накинулся на нее. Сквозь глухоту в ушах она отчетливо слышала эхо его голоса.

«Я поговорю с товарищами, пусть решат ...» - услышала она его слова. В своей темноте ей вдруг захотелось улыбнуться. Так говорил цельный и свободный человек. Насколько цельным и свободным он был, если не мог решать свою собственную жизнь? Затем она услышала, как он сказал, на этот раз умоляюще: «Не стой на моем пути. Не усложняй мне задачу, чем она есть на самом деле. Вы должны меня понять, если .. . если ты когда-нибудь служил идеалу ».

Ей действительно хотелось улыбнуться, как мать улыбается ребенку, увлеченному игрой. Прижав рот к его туфлям, она громко и ясно сказала: «Я буду ждать тебя».

В ту ночь он не вернулся домой, но на следующий день вернулся. Эстер приняла его так, как будто между ними ничего не произошло. Она ни о чем не спрашивала, а он ничего не сказал. Через несколько дней он попытался завязать с ней политическую дискуссию. Эстер разгладила его наморщенный лоб и не отреагировала на его приглашение. Он настаивал: «Итак, что вы хотите сказать?» Когда она засмеялась, отказываясь принять вызов, он серьезно добавил: «Я бы предпочел, чтобы мы проветривали все это открыто, как свободные люди».

Она посмотрела на него по-матерински. «Единственная разница между вами и мной, - сказала она, - в том, что вы мужчина, а я женщина. А что касается политических дискуссий, давайте отложим их до тех пор, пока мы действительно не станем свободными ».

В ту же ночь он сказал ей, что Presess снова созвали представителей всех левых партий и обратились к ним с призывом взять на себя совместную ответственность и дать ему совет - и что они послали его искать совета у тех, с кем он искал до сих пор. Еще позже он ласкал Эстер, шепча: «Моя прекрасная Эстер, нет силы, которая могла бы нас разлучить, ни гетто, ни освобождение».

Она вздрогнула: «Только одно могло ...»

Он закрыл ей рот своим.

Book Three 275

Глава двадцатая

ПЕРВАЯ Ссора между Юнией и Михалом Левином произошла из-за мешка с морковью. Она прибежала в амбулаторию, чтобы показать ему полную сумку. Он спросил, откуда оно взялось, и она ответила: «От Марысина. Люди Румковского копали его поля, поэтому я притворился одним из них; Я наполнил сумку и убежал ». Она посмотрела на него, ожидая, что он похвалит ее.

Он покачал головой. «Это означает, что вы его украли».

"Посмотри на него!" она обиженно вздернула нос. «Взять с полей Румковски - значит воровать для вас?» Она знала, что он неодобрительно относится к ее «левым» уловкам, но в данном случае она чувствовала себя невиновной.

«Я не хочу иметь к этому никакого отношения», - резко сказал он.

Она закипела от гнева. «Я знаю, моя дорогая святая. Твоя единственная цель в жизни - быть трупом с чистыми руками ». Атмосфера между ними была напряженной три дня подряд.

Их вторая, более серьезная ссора касалась более существенного вопроса. Юния снова навестила Михала в его офисе. Он занимался подготовкой лекции для своих коллег о смертности в гетто, которая должна была быть прочитана в тот же вечер. Она села за его спину.

«Поторопись, мой дорогой, самый милый Михал». Она беспокойно болтала, таща его за воротник. Она была нетерпеливой. Она терпеть не могла ждать. Понимая, что многого не добивается, она начала танцевать вокруг него, поправляя его волосы, щекоча за ушами и вообще следя за тем, чтобы он не смог произнести ни слова. Он снял белый халат, собрал свои бумаги и ушел с ней.

Он прислонился к ее руке. В последнее время он стал хромать больше обычного. Не столько поведение Джунии не позволяло ему сосредоточиться на лекции. Скорее, это было утреннее распоряжение отправить несколько пациентов из больницы домой в течение 48 часов. В последнее время в больницах не было много пациентов. Те, кого принимали, обычно некому было заботиться о них дома. Он задавался вопросом о причине приказа и, погруженный в свои мысли, не осознавал, что Юния ведет его не в направлении их дома, а от моста. Когда он внезапно осознал это, он спросил: «Куда вы меня ведете, цыганка?»

Она игриво и лукаво взглянула на него: «Где-то», - сказала она, и показала ему кончик языка.

Она была полна очарования. Она заставила его почувствовать себя легче и полнее надежды. Он поцеловал ее в щеку. И все же он не должен уступать ей; ему предстояло так много сделать, прежде чем он сможет получить удовольствие от общения с ней. Он не только не закончил свои визиты на дом, но, несмотря ни на что, ему пришлось завершить свои записи к лекции и присутствовать на встрече со своими коллегами.

Кроме того, он взял на себя дополнительную задачу. Его друг Шафран, который был депортирован, оставил свое психологическое исследование незавершенным, и он, Михал, решил довести его до конца. Это была нелегкая работа. Он не знал предмета. Он должен был познакомиться с методами и техникой записи наблюдений. Он понятия не имел, имеет ли то, что он делал, какую-либо научную ценность. Он просидел до поздней ночи, изучая труды по психологии, впервые соприкоснувшись с психоанализом. Он начал изучать современных философов, которые, казалось, повлияли на область психологии. Его проблема заключалась в том, что с помощью всех этих теорий было чрезвычайно трудно объяснить психологические явления в гетто. Человек существовал здесь в условиях, которые никакое научное воображение не могло вообразить. Более того, его самого больше всего интересовали человек как жертва и мужчина как преследователь, если смотреть с выгодной позиции гетто. Здесь душа жертвы находилась под микроскопом, но, исходя из природы жертвы, можно было сделать предположение о природе преследователя. Это были причины, по которым он задавал вопросы, сформулированные Шафраном: как мужчина ведет себя как мужчина, женщина или ребенок; как рабочий, *шишка,*судья, милиционер или *фекалист.*

Он позволил Джунии вести себя еще немного, затем остановился. «Я должен идти ... Уже почти вечер».

Она держалась за него: «Ты должен пойти со мной. Это важнее всего на свете. Вы поговорите о первой помощи. Вы можете вытряхнуть его из рукава. Мои друзья ждут тебя. Они будут задавать вопросы, а вы ответите ».

Он в замешательстве уставился на нее: «Что это за безумие?»

"Безумие? Михал, мое золото, это ты называешь безумием? Я думал, ты будешь в восторге. Это действительно важные дела. Команда часа! Почему ты корчишь такое кислое лицо, милый? "

«Вы очень хорошо знаете, что для меня значит каждый час».

«Мы хотим, чтобы вы приходили к нам два или три раза в неделю».

"Что это, приказ?" Его лицо стало хмурым. Она никогда не видела его таким обиженным. «Может быть, вы думаете, что из-за того, что я хромаю и опираюсь на вас, вы имеете право водить меня за нос?»

Он не должен был этого говорить, потому что это было неправдой. Но он был неугомонен, обеспокоен и недоволен собой. Она отпустила его руку. Сначала на ее маленьком лице появилось удивление. Затем в ее глазах загорелось пламя. «И поскольку ты хромой, - рассердилась она, - ты думаешь, что имеешь право выманивать свои самые важные обязанности?»

«И кто вы такой, чтобы говорить мне, какие у меня самые важные обязанности?» он выстрелил в ответ.

«Ты думаешь, достаточно ли тебе погрузиться в сизифов труд по исцелению обреченных и спрятаться между страницами своих глупых каракулей? .. ваши гниющие книги? Ваш физический недостаток не оправдание. Не для меня! И ты прекрасно знаешь, что мы делаем единственное, что имеет смысл, ты трус! » С этими словами она оставила его посреди улицы и убежала.

Они долго не разговаривали. Джуния, которой было трудно находиться в тихой комнате, и которая обычно первой мирилась, на этот раз сопротивлялась, не реагируя, когда Михал заговорил с ней. Он, со своей стороны, был слишком подавлен, чтобы найти в себе силы объяснить ей, что на самом деле его раздражало. Он нуждался в ней, чтобы облегчить бремя на его сердце. Сто тридцать девять пациентов увезли из больницы. Сто тридцать девять файлов с историями болезни были выброшены в мусор. Он посмотрел на Юнию, которая без ее озорного взгляда, без ее улыбки походила на заблудшего, сбитого с толку кролика, и упрекнул себя за молчание между ними. Как они могли позволить себе сейчас играть в такие детские игры?

Наконец она помирилась с ним. Она сделала это неловко. Как-то поздно вечером, не в силах выносить тишину, она склонилась над лежавшими на столе бумагами Шафрана. «Психея еврея из гетто», - прочитала она название вслух, и ее голос был окрашен оттенком иронии. «Вы знаете, что это такое, психика еврея из гетто?»

«Я изучаю это», - ответил он.

«Тогда что, например, вы знаете о психике еврея из гетто, который готовится к борьбе?»

Он скромно ответил: «Насколько я понял еврея гетто и условия здесь, я не предвижу, что он окажет какое-либо сопротивление».

Она вскочила на ноги: «Ты так думаешь! А я говорю вам прямо противоположное. Если хочешь знать ... Возьмем, к примеру, Беллу. Она тоже еврейка из гетто, не так ли? К тому же она самое пассивное существо в мире. Знаете ли вы, что она живет исключительно и абсолютно одной мыслью, а именно мыслью о мести? » Михал старался не допустить, чтобы между ними вспыхнула новая ссора, не потому, что он был готов уступить ей, а потому, что он не мог обойтись без ее улыбки, без ее жизнерадостности. Так что он принял вопрос Беллы. Это была тема, которая их объединяла. Вскоре Джуния села к нему на колени и обвила руками его шею. Она все еще была серьезна, но в глубине ее черных зрачков уже таилась улыбка. «Странно, правда?» - сказала она задумчиво. «Я полностью отличаюсь от Беллы. . . и все же мы оба хотим одного и того же ».

«По разным причинам», - заметил он.

"И что вы имеете в виду?"

«Вы любите жизнь, а она ее возненавидела».

Она склонила голову набок, подозрительно глядя на него. «И даже если бы это было правдой, не думаете ли вы, что она оправдана? Я все равно горжусь ею. У нее характер лучше, чем у меня. Если она что-то берется делать, то делает это основательно. Вы должны увидеть, насколько она вовлечена, как она изучает сионизм и иврит. И она будет знать язык, в отличие от меня, который знает только несколько песен на иврите. А знаете что еще? Она начала изучать Библию ».

Михал улыбнулся: «Нужно ли изучать Библию, чтобы отомстить?»

«Но ведь это ведь не повредит?»

«И это не поможет».

«Тогда как вы думаете, почему она занялась изучением Библии?»

«Я думаю, что смерть отца была для нее страшным ударом. И я думаю, что то, что она учится ... это знак к лучшему ».

Юния навещала сестру каждый день. Белла теперь жила одна в большом доме.

Она заперла балконную дверь и комнату, в которой Сэмюэл провел свои последние дни. Она также держала двери других комнат закрытыми и перебралась на кухню. Она отказалась слушать предложение Джунии жить с ней и Михалом.

Движения Беллы утратили свою томную медлительность, и ее глаза больше не были покрыты задумчивой дымкой. Иногда Джунии казалось, что Белла потеряла что-то важное, что раньше было для нее характерно. Она казалась холодной, незнакомой. Даже голос ее стал жестче, как будто она высохла не только физически, но и в душе. Лицо у нее было зеленоватое, глаза надулись, скулы торчали наружу. Со своим длинным заостренным носом она была похожа на уродливую хищную птицу, парящую в тишине, но готовую атаковать в любой момент. Джуния презирала себя за то, что видела свою сестру в таком свете, и чем более чуждой и пугающей представлялась ей Белла, тем чаще она ходила к ней.

Они вместе ходили на собрания группы сионистской молодежи. Белла была активна. Она заняла ответственную должность и вызвалась выполнять самые трудные задания. Вскоре она стала, как и Юния, членом правления. Они часто ссорились. Белла была против любой деятельности в области культуры, считая, что, во-первых, на это некогда, а во-вторых, такая деятельность ослабляет организационную дисциплину. Она была против пения и танцев на *хоре*даже для самых молодых участников. По ее мнению, даже дети должны были вести себя как взрослые. Юния же, напротив, не могла обойтись без часиков песен и танцев. Она думала, что, несмотря на все серьезные приготовления, они не должны забывать, что они молоды. Она была поражена тем, как Белла, которая раньше не интересовалась политикой и избегала любой организованной деятельности, так легко вписалась в политическую работу. Юния не могла скрыть своего энтузиазма.

«Белла, как здорово работать с тобой сионистами». Она не прекращала болтать по дороге домой с их встреч, как будто пыталась словами заполнить пропасть между собой и Беллой. Она была беспомощна перед тем, что с ними происходило. Часто она пыталась убедить себя в том, что преграды нет, а только в недоразумении, и старалась завязать разговор по душам. Но ей это так и не удалось. Ее восхищение и уважение к Белле росли прямо пропорционально их отчуждению.

Хотя Джуния никогда не стремилась стать первоклассным поваром, она всегда старалась изо всех сил готовить ужин в пятницу. В пятницу, когда не было встреч, она могла позволить себе больше времени, чтобы попробовать рецепты праздничных блюд: «рыбу», «куриный суп» или *«цимес»*из свекольных листьев, петрушки и редиса. Как обычно, Михала все еще не было дома после его визитов на дом, и когда Юния закончила работу по дому, у нее все еще было время подбежать к Белле и в тысячный раз настоять на том, чтобы она хотя бы раз присоединилась к ним на субботней трапезе. хотя бы для того, чтобы увидеть, какой хорошей поваром стала ее сестра.

На этот раз Белла снова отказалась идти с ней, и Джуния в замешательстве побежала домой с тревогой в сердце, которая всегда сопровождала ее встречи с Беллой. Она не могла оставаться одна в квартире и ждать Михала, поэтому она поднялась наверх, к Винтер, чтобы убить там немного времени.

В комнате Зимы было холодно. Окно было открыто. Винтер стоял в своем рабочем пальто, с шалью на шее и беретом, натянутым на уши, и зависал у мольберта. Она бросилась закрывать окно, но он оттолкнул ее локтем. «Сделайте мне одолжение и не беспокойте меня», - сказал он. «Разве ты не видишь, что я рисую город на расстоянии».

Она пожала плечами. «Я не понимаю, почему вы не можете нарисовать город с закрытым окном».

«Потому что мне нужно чувствовать плотность воздуха», - сказал он, обращаясь к холсту. «Нюансы серого ... его взаимодействие с дождем, которого нельзя увидеть, но который есть. Я не хочу, чтобы между моим объектом и мной была стеклянная преграда. Теперь это ясно, полный невежда?

Она наморщила нос: «Ради этого ты считаешь стоящим рисковать своим здоровьем?»

«Я не рискую твоим», - отрезал он, добавив: «Если ты хочешь остаться здесь, ты должен помолчать и почистить немного картошки, чтобы я хоть немного от тебя получил пользу. Вы можете приготовить *бабу.*Завтра вечером я жду человек двадцать. Джуния поморщилась, но послушалась. Подготовка *бабы*была утомительной работой, и она не собиралась делать это молча. Она не переставала говорить, и как только она закончила, Винтер начал ее пилить: «Иди домой. Я не могу сосредоточиться, когда ты здесь ». Она сделала вид, что не слышит, и растянулась на софе. Винтер работал быстро, манипулируя щетками, застрявшими между пальцами левой руки. Юния следила глазами за его движениями, комментируя каждую краску, которую он наносил на холст. Винтер был вне себя: «Я никогда не встречал человека, столь мало связанного с искусством, как вы. Никакого смысла в этом нет. Ты полная противоположность своей сестре.

Джуния поморщилась, диван скрипнул. «Откуда вы так хорошо знаете мою сестру? И знаете ли вы, что она заткнула бы себе уши, если бы услышала ваши проповеди об искусстве и литературе?

«Она бы, не так ли? И все же у нее есть чувство близости с искусством, от которого у тебя даже нет волос.

"Я так делаю!"

«Ни пятнышка!»

«Тогда почему бы тебе не начать свои творческие вечера до моего приезда?»

«Я жду не тебя, а Михала».

«Ты подлец!»

«Вы сами пришли из-за Михала. Неважно, я не раз видел, как ты зеваешь.

«У меня есть свои вкусы. И если они не согласны с твоим, это не моя вина ». «Конечно, они не согласны. Вы невосприимчивы. Вы не чувствуете ничего хорошего или глубокого. Если что-то вас привлекает, так это вульгарное, резкое, поверхностное. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что такое восторг души ».

Сделав вид, что обиделась, Юния села: «Если ты скажешь еще одно слово, я уйду!»

«Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Вы слишком сильно контрастируете с моей работой, и я не могу справиться с обоими одновременно ».

"Негодяй!"

Он подмигнул ей. Его большой рот расплылся в улыбке. «Вы антипод искусства, потому что вы воплощение жизни. Поверхностный, пошлый, резкий и восхитительный ».

Она спрыгнула с дивана и бросилась к нему, тряся ему перед лицом своими черными растрепанными волосами. «Фразеолог! Заявитель! Блеф! Я не дам ни цента за твое слово, и уж тем более не за мазок твоей кисти! »

Горшок с *бабой*начал громко пузыриться на плите, и она прыгнула, чтобы убрать его с огня. Потом она снова растянулась на диване, подтянула колени и обратила взор на тоскливое вечернее небо, которое выглядело фоном для мольберта и горбатой фигуры Винтер. Она молчала. На самом деле она не хотела беспокоить Винтер. Ей понравилась его комната, потому что она отличалась от всех других комнат, которые она когда-либо видела. В нем была особая атмосфера, особая атмосфера, которую она знала, хотя часто шутила по этому поводу. «Возможно, Винтер права», - подумала она. Она не понимала должным образом искусство и не понимала его. Но она действительно чувствовала себя как-то связанной с ним. В нем была свежесть, как будто он постоянно обновлялся. Ей никогда не было скучно с ним, как никогда не было скучно с Михалом, хотя и по разным причинам.

Наконец она увидела, как Винтер убрал кисти. Он проверил пульс, вытер лоб и снял берет. Он повернулся и крикнул: «Ты все еще здесь!» Он сел рядом с ней. «Скажи мне правду», - он пожал ей руку. «Что Михал думает о моем состоянии?»

«Он ничего не думает».

«И он называет себя другом?»

«Вы думаете, что вы пуп мира? Что нам нечего обсуждать более важного, кроме тебя? В любом случае, все знают, что вы остановили свою болезнь, потому что вы колдун, сильнее десяти здоровых людей ».

«Кто это знает?» - спросил он с детским недоверием в глазах.

"Все. Михал ... я.

«Боже мой, как великолепно звучит твоя ложь!» воскликнул он. «Но если это так, тогда встаньте с дивана, закройте окно и прикройте его». Как только она встала, он занял ее место на диване и расстегнул свое рабочее платье.

«Здесь картина обнаженной женщины с рыжими волосами, - услышал он вопрос Джунии, - почему ты повернул ее к стене?»

«Потому что это нехорошо. - Мое величайшее фиаско, - ответил он. "Ты знаешь ее? Эстер? Она будет здесь завтра. Странная вещь о ней. Она похожа на свечу, иногда зажженную, иногда погашенную. Однажды я встречаюсь с ней, и она выглядит как тень, в другой день она выглядит сияющей. И на этот раз. . . В ней было что-то особенное. Пока не видно, но я хорошо смотрю на. . . молочность лица, черные тени под глазами, прожилки на щеках и руках, и главное: меланхолическая сладость ее взгляда ».

«Твоя бывшая любовница, не так ли?» Юния игриво подмигнула ему.

«Вы банальны. Нет слов, чтобы описать ... Я бы хотела нарисовать ее сейчас ... в ее беременности. Это была бы моя лебединая песня ».

Юния прикрыла окно и стала бродить по комнате, останавливаясь перед портретами Эстер. «Здесь она выглядит так, как будто она беременна», - она ​​указала на картину Эстер на диване со стаканом молока в руке.

Зима ухнула. «Хорошее наблюдение, невежда! Возможно, в тот момент, когда я ее рисовал, я пропитал ее душу. . . вполне возможно! »

Юния больше не слушала его. Она услышала шаги снаружи и с криком «Михал!» Выскочила из комнаты. Она упала на Михала, обняла его за шею и чуть не опрокинула. В следующий момент они сели за стол, уткнувшись лицом в тарелки. Первые ложки Юния проглотила молча, но затем подошла к Михалу, лаская его, целовала и рассказывала о своем дне. Наконец, она описала свой разговор с Винтером и закончила, запинаясь: «Михал, не могли бы вы уговорить Беллу приехать завтра вечером к Винтер. Я уверен, что ей это понравится.

«Я только что оставил ее, - сказал Михал. Юния напряглась. Она почувствовала дискомфорт в своем сердце, когда заметила, что лицо Михала стало серьезным, мрачным. «Я хотел увидеть, какой она была. Есть кое-что о Белле, чего мы не знали. Представьте, она сидит на кухне в белой блузке, стол накрыт белой скатертью. . . две зажженные свечи. За столом сидели мужчина, женщина и несколько детей. И угадайте, кто сидел во главе стола? Человек-ириска. Когда Белла увидела меня, она странно улыбнулась мне, как будто не узнала меня. Затем она встала и медленно подошла ко мне. «Доброй субботы, Михал», - сказала она на идиш ».

Юния вскочила и схватила пальто, потянув Михала за рукав. «Пойдем, мы должны пойти к ней! Она больна!"

Он не двинулся с места. «Мы не можем ей помочь. Она борется за свою жизнь. Сионизма явно недостаточно ».

Юния была вне себя: «Забудь свою психологию, Михал, давай, помоги ей!»

Он встал, глядя на нее: «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Сделать ей укол?

«Тогда я пойду один!» Юния бросилась к двери.

Он сердито перезвонил ей. «Снимай пальто!» он заказал. «Вы не должны нарушать ее покой». Он начал стягивать с нее пальто. Сначала она не позволяла ему, и она боролась с ним, но в конце концов она сдалась и разразилась рыданиями. Он прижал ее к своей груди, и на мгновение они стояли, обнимая друг друга. «Я обещаю тебе, - прошептал он, - что я позабочусь о ней, насколько смогу».

Они сели, чтобы закончить субботнюю трапезу. «Почему это,» она смущенно улыбнулась в свою тарелку « , которую я использовал , чтобы чувствовать себя настолько уверенным в себе .. . такой взрослый, и с тех пор, как я был с тобой, я чувствую себя ребенком, таким глупым? »

«Иногда нормально быть ребячливым и глупым, моя цыганка», - ответил он. «Вы добавили слишком много соли в куриный суп, а это значит, что вы влюблены».

♦ ♦ ♦

В субботу у Михала обычно было больше всего посещений на дому. Сила, которая держала геттоников на ногах в течение недели, достигла предела изнеможения в субботу, позволяя всем видам болей овладеть их телами. В темно-синем плаще, с повязкой Красного Креста на руке, с сумкой в ​​одной руке и списком пациентов в другой, он обошел всех вокруг. Люди на улице обычно узнавали его и здоровались. Некоторые считали своим долгом остановить его и сообщить о своем здоровье, а также о состоянии своих семей и соседей. Другие сопровождали его часть пути, рассказывая обо всех своих симптомах и прося на месте поставить диагноз. Третьи из благодарности рассказывали ему обо всех надежных «утках, вылупившихся в умах людей» или делились с ним самой точной радиоинформацией, которую они слышали от кого-то, кто слышал ее от кого-то другого. . .

Он был с ними терпелив и относился к ним очень серьезно. Иногда это спасало его от визита. Он не упускал случая подарить каждому из них прививку мужества. Он тоже рассказывал им новости, но только хорошие, которые при необходимости украшал и раскрашивал. Он знал, что его сводки новостей и веселые слова имели вес: «это сам доктор сказал», и что это было на самом деле самым эффективным лекарством в его распоряжении.

С женщинами он был особенно мягок. Когда он смотрел на младших, ему было физически больно, что они такие костлявые, такие лишенные женской красоты. Его жизнь с Джунией заставила его почувствовать себя ближе к ним. Они были сложными, наполненными неудовлетворенными стремлениями и настроениями, но все же они были приземленными и хитро практичными. Он гладил их по щекам и рукам, в то время как он ласкал их уши, обещая, что война не может длиться долго. Что касается пожилых женщин, то чувства, которые он испытывал к собственной матери, помогли ему уделить им внимание. Он сыграл роль сильного, мудрого сына, который знал все и имел лекарство от каждой жалобы. Он погладил их седые головы и произнес слова, которые, как он знал, успокоили бы тяжелое сердце его матери.

Были и женщины, похожие на ведьм. Плачущие от вынужденных слез, они тянули его за фалды, постоянно требуя от него чего-нибудь: бутылки *вигантола,*глюкозы, стрихнина, нескольких капель для сердца или нескольких снотворных. «Вы, дорогой доктор, можете получить его даром. И цены на черном рынке заоблачные ... » Другие ждали его в темных сводах ворот, маленькую бутылку масла или маленький пакетик сахара в руках, предлагая его ему с благодарностью. «Доктор, клянусь, вы должны принять это. Врач, который ничего не принимает, ничего не стоит ... » Они его раздражали. Он не нуждался в их масле или сахаре и ненавидел их за то, что они искушали его взять дары. Третьи бегали за ним по улице, плевали в него, ругали и жестоко оскорбляли - за то, что он не спас кого-то дорогого им человека.

Были дни, когда он чувствовал себя ничуть не сильнее своих пациентов. Он, как и они, был благодарен за то, что еще имел, и молился о том, чтобы спасти Джунию и его дом. В такие дни он позволял вздохам пациентов проникать в него, и это не было хорошо ни для пациента, ни для врача, потому что тогда он был менее терпим, менее уверен в себе. В такие дни он быстрее ходил по улицам, делая вид, что не видит тех, кто его приветствовал, его мысли уходили в абстрактные миры, не имевшие отношения к настоящему.

В такие дни он не только не мог сесть за работу Шафрана, но даже не мог думать об этом. Копаться в этих бумагах казалось бессмысленным и бесполезным. Действительно ли он понимал, к чему стремился Шафран своими наблюдениями, с записями, которые он оставил? Шафран записал поведение еврея из гетто, его реакцию на трагедии, влияние голода на его психику, эффект от того, что он оказался в ловушке между колючей проволокой. На первый взгляд, это было ясное намерение. Однако выбор фактов и их освещение, даже если внешне объективные, зависели от личности Шафрана, от его интеллекта. Михал видел одни и те же явления по-разному, но при этом думал, что видит их объективно. Возможно, Шафрана научили видеть проблемы с правильной точки зрения, а он, Михал, - нет.

Даже в формулировке самих вопросов было различие. Узнав больше о жертве и палаче, Михал хотел сформулировать комментарий о человеке в целом. Еще до войны он развлекался теорией, согласно которой человек был преходящим существом в процессе эволюции и в то же время поворотным моментом в этом процессе. Человек был великой новостью, случившейся с животным. Михал думал, что чем больше времени пройдет в процессе эволюции, тем больше места займет человеческий дух; чем лучше, чем точнее будет работать человеческий мозг, тем меньше будет животного и тем более человечным станет человек. Но с тех пор, как он услышал о Хелмно, где в 1941 году опломбированные грузовики депортированных были заправлены бензином; с тех пор, как он узнал, что сделали с депортированными во время *Сперре,*с его матерью, с Надей и ребенком, с Шафраном и его женой, с детьми гетто; с тех пор, как он был в цыганском лагере; с тех пор, как он заболел брюшным тифом - он начал думать, что животное инстинктивно более этично, чем человек, что животное было убийцей только по необходимости. Следовательно, человек казался морально ниже животного, потому что он использовал свой разум и интеллект, чтобы усовершенствовать вид спорта, называемый убийством, чтобы удовлетворить свою агрессивную разъедающую ненависть. Это была эволюция? Или это было конечной точкой в ​​развитии жизни?

А Шафран, что он хотел узнать? Какой великий вопрос он поставил перед собой в своей работе? Придет ли он также к выводу, что человеческий дух всего сущего был топором в руке *Голема,*которым он уничтожил бы все, включая себя самого? Придет ли он также к выводу, что если поставить положительные достижения человеческого разума - в технологии, медицине или искусстве - на одну шкалу, а немецкие убийства - на другую, то другая утяжелит первые в глубочайшие бездны мира. отчаяние? Сможет ли он тогда прийти к выводу, что убийца и его жертва были не только немцем и евреем, но и мужчиной и мужчиной? Каин и Авель? И к каким выводам пришел бы Шафран, наблюдая, например, за своим другом, Михалом Левином, который предпочитал быть уничтоженным, а не уничтожать?

Этот субботний день был днем ​​разбитых размышлений. Ум Михала был подобен доске, на которой возникали и стирались мысли. Он спешил по улицам с полным списком пациентов в своих и. Он также пообещал Джунии привести Беллу на собрание к Винтер.

Под мостом стоял немецкий гвардеец, его голова была покрыта мокрой зеленой фуражкой, воротник мундира был поднят. Рядом с ошейником висело ружье, его дуло было направлено вверх, как темный глаз. Руки в карманы, охранник резво расхаживал взад и вперед, чтобы согреться. Когда Михал спустился с мостика, их взгляды встретились. Если ненависть была выражением мужественности, то и Михал, и жандарм в тот момент не были ни мужчинами, ни героями. Их взгляды были похожи на приветствие двух мокрых собак, дрожащих от осеннего холода, жаждущих немного тепла у домашнего очага. И все же Михал был уверен, что если бы он подошел к жандарму и спросил его: «Вы меня ненавидите, *герр Ойфизир*? ответ был бы: *«Ja, Ich hasse dich kreziger Jude, mach das du fortkommstl»*

У Михала была утешительная мысль. Ненависть была безумием, истерией. Человеческий разум был слишком прекрасным механизмом, чтобы его можно было презирать, потому что один из его элементов работал плохо. Это нужно было вылечить. Вопрос только в том, как? Михал был уверен в одном: нация перестанет поднимать меч против нации только тогда, когда не будет наций. Но это еще не означало, что ненависть исчезнет из сердца человека. Немцы, например, были только самым беспрепятственным, самым безграничным каналом, через который изливалась ненависть, наводняя мир. Но где был источник самого канала?

Дверь квартиры Беллы была открыта. Кухня была аккуратно убрана; на столе постелите такую ​​же скатерть, как накануне, во время субботней трапезы. Остальные комнаты тоже были чистыми и пустыми. Михал ушел и, проходя через ворота, вспомнил, что безумный, вечно плачущий Человек-Ириска, которого он вчера видел за столом Беллы, когда-то жил в подвале со своими девятью детьми. Спускаясь по нескольким ступеням в подвал, Михал услышал изнутри пение.

Кто-то схватил его за руку: «Куда ты идешь?»

Он стряхнул руку: «Я друг».

"Какой друг?" Рука не отпускала. Михал назвал свое имя, и голос стал более дружелюбным. «Добрый вечер, доктор! Простите меня тысячу раз, но раввин сказал мне никого не впускать. Вы хотите, чтобы я позвал кого-нибудь для вас? С величайшим удовольствием ». Голос, звучащий частично женским, частично мужским, говорил с нотками *Гемары*.

«Я хочу спросить вашего раввина, знает ли он, где находится дочь Цукермана».

Только тогда рука отпустила Михала, и молодой голос с энтузиазмом пропел: «Дочь Цукермана! Мелочь! Святая женщина! Конечно, она внутри. Она готовит и убирает для раввина и студентов *ешивы*. Раввин говорит, что она - воплощение самой матери Рахили. Она делает величайшие дела для сломленных и бедных. Да, спросите у кого-нибудь во дворе. А знаете ли вы , что она преподается на идиш , а также Пятикнижие с R *Ashi в*комментариях, тоже. Могу я жить, пока это правда. Раввин говорит, что у нее голова *гаона*. Вы не поверите, что у женщины могут быть такие мозги, - так говорит раввин. И разве я не слышал, как она своими ушами объясняла кусок *Раши*? Это звучит немного криво на ее ломаном языке, но объяснения прямее, чем прямые, и мои добрые дела, которые она делает! »

«Вызови ее», - прервал поток восторженных слов Михал.

Молодой человек засмеялся: «Что ты имеешь в виду - позвать ее? Ты думаешь, потому что ты врач ... »

Михал потерял терпение. Он распахнул дверь, и перед его глазами предстало необычное зрелище. Вокруг стен подвала стояло несколько столиков, на каждом по горящей свече. В свете свечей сияли бледные молодые лица, склонившиеся над раскрытыми страницами огромных томов. Как только Михал вошел, пение прекратилось, и лица повернулись в его сторону. За одним из столиков затряслась редкая длинная борода. Рядом с ним Михал заметил Беллу. Он едва узнал ее в черном платье и черном шарфе. Она что-то прошептала Ириску и подошла к Михалу.

«Ты меня ищешь?» спросила она. "Что-то случилось?" Он крепко взял ее за руку и вывел в коридор.

«Сломал учебу, ой, сорвал учебу!» молодой человек на страже писклял им вслед, когда они вошли в ворота.

В темноте Михал вытащил из кармана фонарик и направил его на лицо Беллы. В его свете она казалась женщиной давно минувшей молодости, ее уродливое лицо выражало жизненную усталость. Когда он заверил ее, что ничего не произошло, ее лицо несколько прояснилось, а глаза загорелись теплом.

«Я пришел, чтобы взять тебя с собой в Винтерс», - сказал он. «Это будет интересно. . . Пожалуйста, сделай это для Джунии ».

Она не двинулась с места. «Я не хочу, Михал».

«Пойдем, найдешь. . . »

«Я уже все нашел. Доброй ночи. Передай привет Джунии ». Он не хотел ее отпускать. Он заметил ее улыбку. «Я знаю, что вы думаете», - сказала она. «Вы думаете, что я сумасшедший».

«Нет, Белла».

"Вы понимаете меня?"

"Я думаю, я сделаю."

Она молча вглядывалась в его лицо. «Тогда объясни это Джунии. Скажи ей, что я всю жизнь блуждал в темноте. Вот почему я всегда был так напуган. . . всегда эгоистично занят самим собой. Я потерялся в пустоте, понимаешь, Михал? Но здесь ... во мне зажегся свет. Отец зажег его. И теперь даже пылинка не кажется мне одинокой. Ничего не теряется. . . ничего не умирает. . . Отец по-прежнему мой отец, а я все еще его ребенок. Все едино, и целостность означает мир. . Вы чувствуете, что все вокруг вас, как и вы, стремится к центру. Вы чувствуете себя связанным со всем этим. Каждый мужчина тебе близок. . . и, Михал, чувствуешь себя таким ... таким вечным. Так много поколений позади вас. Так много поколений впереди вас. Знаете ли вы, что смерть существует только для тех, кто выпадает из целостности, для тех, кто отрицает священную паутину или хочет ее разрушить. . . для немцев безбожники. . . не для отца или для меня ».

«Почему ты избегаешь нас? Почему ты сторонишься Джунии? » он прервал ее.

«Я должен сделать это пока. Мои шаги все еще шаткие, малейший удар. . . Понимаешь? На самом деле я люблю вас обоих больше, чем когда-либо. Скажи ей это. Понимаете, я заново строю свой мир, и у меня дрожат руки. Я учусь жить, и я впервые как танцовщица на цыпочках ... новичок ». Она придвинулась к нему ближе, поглаживая его шершавую щеку. «Я знал, что вы меня поймете. Я почувствовал это в первый раз, когда встретил тебя, на новогоднем балу у нас дома. . . помнить? Что-то в твоих глазах подсказывало мне тогда, что ты поймешь меня сегодня ». Он услышал ее тихий шелестящий смех. «Я рад, что ты потушил фонарик, чтобы я мог тебе все это рассказать. Такие люди, как ты и я, Михал, должны полюбить друг друга. Но нас привлекают именно нерелигиозные типы ... Я Миетек ... ты Джунии. И это к лучшему. Доброй ночи." Она пожала ему руку. Он не мог удержаться от того, чтобы снова зажечь фонарик. Он посмотрел на их сцепленные руки и заметил, что кожа вокруг ее ногтей, которыми она грызла, стала розовой и зажила.

Шел сильный дождь. Пустые улицы сдались ночи и мутной воде. Михал поднял воротник и зашагал по заднему двору. Его голова была полна разговоров Беллы. Он не был уверен, жалел ли он ее или завидовал ей, презирал ли он ее или восхищался ею. Он не знал, нормальная она или сумасшедшая, точно так же, как не мог решить насчет Ириски. Стало трудно найти границу между нормальностью и безумием. Внезапно он почувствовал, как его сердце сжалось от страха. И он сам, с его мыслями и поисками, с его приступами ощущения отсутствия и присутствия одновременно, с его слабостью к белому цвету, которая вернула ясный образ его матери, завернутой в ее белую шаль - был ли он нормальным?

Он поспешил. Он хотел увидеть Юнию, прикоснуться к ней, обнять ее.

Из-за двери Винтер раздался женский голос. Кто-то читал стихотворение мелодично живым голосом. Михал снял мокрое пальто и стал ждать. Он не хотел беспокоить. Голос продолжался и продолжался, не становясь ни тяжелее, ни светлее. Он попытался уловить слова, но все, что он мог слышать, это ритмичный поток слогов, изливающийся волнами голоса. Его любопытство росло. Он медленно вошел в комнату. Он был частично освещен. Двери «пушечной» печи были распахнуты, на лицах присутствующих, на увешанных картинами стенах плясали отблески игривых языков огня. Человек, изо рта которого исходил голос, сидел на полу рядом с духовкой. Михал не мог отвести взгляд от этого рта. Было что-то устрашающее, захватывающее в виде движущегося рта, без лица и тела. Огонь в духовке тихо потрескивал, сопровождая странный голос.

Он внимательно изучил лица слушателей. К нему протянулась пара рук. Юния сидел на полу, закутанный в белую вязаную шаль своей матери. Ее густые черные волосы закрывали лицо, сквозь них просвечивали только светящиеся глаза. Он осторожно пробирался между раскинутыми на полу ногами, пока не достиг Джунии и не сел рядом с ней. Ее теплые руки взяли его лицо между пальцами. Они скользнули по его лбу и по мокрым волосам. Момент полного покоя. Джуния шепотом спросила о Белле, и он прижался губами к ее уху. «Она передает привет. Она попросила передать тебе, что любит тебя больше, чем когда-либо ».

Затем голос декламирования полностью овладел им. С того места, где он сидел, рта не было видно; вместо этого его глаза обняли женскую спину; фигура, обрамленная светом духовки, словно вырезанная ножницами из языков пламени.

Винтер, закрыв глаза, лежал на диване, подложив одну руку под щеку, а другая лежала сбоку, частично сложенная, как ухо, и слушала. Кривая экзальтированная улыбка играла на его губах. Прислонившись к дивану, сидел Беркович, его седая копна волос встала дыбом, каждая прядь была восклицательным знаком, его надутое лицо было красным от отражения пламени из печи. Из-под очков выглянула пара мигающих точек. Их взгляд был подобен паре лучей, достигающих другого конца комнаты, где сидела Рэйчел Эйбушиц. Девушка держала лицо повернутым к духовке. Беркович, казалось, обратил внимание на лицо Рэйчел вместе с ее голосом, громким, тяжелым и теплым. Его губы шевелились, как будто он бормотал непонятные фразы. Рядом с Берковичем сидело несколько человек, которых Михал не знал, и среди них рыжая Эстер. Ее лицо выглядело прозрачным, а волосы резко контрастировали с ее пышностью. Ее покрытые прожилками руки свободно лежали на животе. Михал сразу заметил, что она беременна. Смутное, похожее на сновидение воспоминание: однажды он родил ее ребенка. Мертвый ребенок. Или, может быть, он просто видел себя на такой сцене однажды ночью, во сне?

Рядом с Эстер сидел скрипач Мендельсон. В наши дни он и Михал встречались редко, потому что им было еще меньше сказать друг другу, чем раньше. Мендельсон стал апатичным. Он был занят заботой о своем теле, получал сигареты и поклонялся своим рукам. Только когда ему нужно было что-то, чего Зима не могла ему обеспечить, он стал искать Михала. Лицо Мендельсона не выражало никаких чувств, никакой чувствительности к голосу, разносящемуся по комнате.

Декларирующий голос начал колебаться. Он становился все более стремительным, бурным, трагичным. Михал мог понимать каждое слово и предложение по отдельности, но ничего не понимал. Какое это было странное длинное стихотворение! Казалось, он вьется по крышам домов, пел вокруг церкви с ее красными башенками и мертвыми часами, описывал больных ворон, каждая ворона - дом в гетто. Раскинутые крылья ворон были крышами над пустыми гнездами. Поэма пела о кровати для дров. Слова стихотворения заполнили кровать телами мужчины и женщины. Затем он заговорил об огне, пожравшем постель; голос, казалось, прыгнул вместе с кроватью в огонь, ревя изнутри диким устрашающим ревом и предаваясь истерическому неистовству, которое было невыносимо слушать.

Затем поток слов прекратился, но их эхо задержалось в воздухе, как дым после пожара. Винтер открыл глаза, его рука начала трепетать в воздухе. "Великолепный! Невероятный!" воскликнул он.

Никто не ответил. Две дюжины человек, сидевшие друг против друга, казались одним парализованным телом. Затем голос возобновил излияние слов. Сначала он был шатким, но вскоре он поднялся на измеренную высоту, поднимая свои образы на плаву над тишиной на ритмично покачивающихся волнах. Голос говорил о струнах дождя, которые напоминали плетеные бороды молящихся дедов; он пел об осени и о скрипе и стоне высохших водяных насосов, желая, чтобы зима заморозила их горе. Голос пел о небе без птиц и о городе без детей. Вскоре он стал тяжелее, пока снова не начал корчиться в истерических спазмах. В комнате можно было услышать вздохи и шепот, своего рода анти-ритм, который слушатели начали, чтобы защититься от бешеного голоса.

Один из слушателей не выдержал и включил свет. Чтение остановилось. Люди стали вытягивать конечности и протирать глаза. Михал встал, направился через переполненную комнату к человеку, который включил свет, и схватил его за руку. Гутман имел густую бороду и выглядел как старик. Но он казался живым, веселым.

«Посмотри на нее, - он указал на женщину, которая читала, - я ее рисую».

У женщины были растрепанные светлые волосы, молочно-белое лицо с красными пухлыми щеками и кукольные круглые глаза. Они были широко открыты, полны небесно-голубого цвета, казалось, они ничего не смотрят и не видят. Одна глубокая борозда рассекла ее лоб пополам, доходя до заостренных бровей. Ее бесцветный и надутый рот расплылся в тупой улыбке. Она погладила пол обеими руками, ритмично раскачиваясь взад и вперед.

"Кто она?" - спросил Михал.

«Итка, этакая поэтесса. . . Вы слышали ее импровизацию. Это я ее привел, - не без гордости сказал Гутман. «Вначале ей всегда лучше, она больше уравновешена. Но как только она устает, она впадает в такой тон. . . невозможно слушать ». Он наклонился и прошептал Михалу на ухо: «Она сбежала из сумасшедшего дома во время рейда. Мой. . . та странная красота. . . музыка. .. сокровище образов ... » Они обсуждали Итку, а их взгляды говорили о них самих. Они смотрели друг на друга с таким же любопытством, как и целую вечность назад, когда они впервые встретились.

♦ ♦ ♦

Юния стала более занятой своей партийной работой, и у нее почти не оставалось времени, чтобы провести с Михалом. Он будет ждать ее, пытаясь работать над рукописью Шафрана. Это все еще не продвигалось гладко. Часто он бросал работу и поднимался наверх, чтобы навестить Винтер. Но и Винтер в последнее время на него не было времени. Он лихорадочно рисовал; доводил все до конца, как будто готовился к выставке. Он был поглощен своей работой, и присутствие людей в комнате его раздражало. И когда Винтер был недоволен кем-то, он не стеснялся слов, но давал этому кому-то точно знать, что он чувствовал. Он не мог даже вынести молчания Михала.

«Меня беспокоит, - сказал он Михалу своим улюлюкающим голосом, - когда Джуния возится здесь. Но она так далека от того, что я делаю, не может повлиять на меня. Но ты . . Вы похожи на осенний дождь. Ты проникаешь в мои кости даже при твоем молчании. Так что я не хочу, чтобы ты был здесь. Приходите в субботу вечером. Субботние вечера я резервирую для своих гостей ».

Михал не возражал против него. Он был бы даже рад, что Винтер был таким энергичным, таким позитивным и уверенным в себе, если бы не тот факт, что он, доктор, нуждался в компании своего пациента.

Однажды после такого приема от Винтера Михал отправился навестить Гуттмана, который жил недалеко от грязной свалки в Марысине. Его дом был в полуразрушенном состоянии, единственная приличная комната служила Гутману студией. Снаружи дом был черным как земля, ставни сломаны, балки гнили, но внутри комната выглядела почти как музей. Стены были побелены и покрыты картинами Гутмана. Картины были связаны между собой игрой цветов радуги. Гутман использовал чистые синие и желтые, резкие красные и зеленые, без какой-либо смеси. Хотя картины изображали жизнь в гетто и точно изображали совсем не веселые сцены, их атмосфера была, благодаря цветам, довольно яркой, оптимистичной, напоминающей разноцветные крестьянские гобелены.

Здесь, в своей студии, Гутман тоже выглядел повеселее. Он принял Михала с прежней сердечностью и с такой же болтливостью. «Ты понимаешь, Михал, - он с гордостью указал на стены, - Шагал был прав, говоря, что цвет - это состояние души. Новый тон. . . Ты видишь? Вот как я себя чувствую сейчас. Я работаю без перерыва. Угадай, что я делаю? Вы будете смеяться. Готовлю выставку после войны. Как только я узнаю, что мы свободны, я загружу все в фургон и буду путешествовать из города в город, из страны в страну. . . и пусть мир увидит ». Он предложил Михалу кусок хлеба и кувшин кофе. «Ешьте со спокойной совестью», - подбодрил он его. «У меня есть покровитель. Вы когда-нибудь слышали о Святом Сапожнике? Я рисую его жену и маленьких дочерей. Полбуханки хлеба еженедельно, до конца войны. И вы думаете, что он защищает только меня? Взять хотя бы Берковича. Беркович пишет отличное произведение, делая пером то же, что и я кистью. Понимаешь, Михал, есть связь между пером или кистью и пистолетом. Отношения заключаются в разнице между ними ». Михал кивнул. Это был еще один друг, который больше не нуждался в нем, в котором он нуждался. «Если я начну воображать, - продолжил Гуттман, - как начнут петь сирены и как церкви будут звенеть хорошими новостями, я почти взорвусь от напряжения. Мне кажется, что когда настанет час, я упаду в обморок или у меня случится сердечный приступ. Как можно будет воспринимать такие новости? А знаете, что творится на курортах, как Румковский и *шишки*стараются угодить толпе? Нужен ли нам лучший знак? Михал! Мы должны быть готовы к великому часу, внутренне готовы. Новый мир восстанет из руин. Нам нужно ясное мировоззрение ... ясное видение ». Он остановился перед Михалом. «Вы слышали о приказе сдать все музыкальные инструменты на *йеков*до первого января? Они не хотят, чтобы мы играли на их похоронах ».

Михал покинул яркую хижину Гутмана и снова попал в объятия осенней серости. Он шел по темным мокрым улицам, думая о Мендельсоне. Он бы тоже с радостью навестил его. Возможно, Мендельсону сегодня понадобится его товарищество. Он думал о скрипке Мендельсона, как о больной жене музыканта, которую вот-вот заберут. Но чтобы увидеться с Мендельсоном, он нуждался в Юнии рядом с ним, и он поспешил домой, чтобы дождаться ее.

Подобно убийце, который украдкой набрасывает петлю на голову своей жертвы, зима прокралась в гетто, задушив ее своим холодом. С шестью килограммами отопительных материалов в месяц и уменьшенным рационом питания не осталось ничего, чем можно было бы противостоять морозу - кроме надежды. Люди надевают свои изношенные зимние одежды, которые они носили годом ранее, двумя или тремя годами ранее; ноги обматывали тряпками, а остатки мебели рубили на дрова. Все, что им нужно было согреть свои сердца, - это хорошие новости.

Но были также дни, когда хорошие новости теряли свою силу согревать. В один из таких дней два зеленых мундира появились на Baluter Ring, вошли в офис Румковски и пригласили Presess выйти на улицу. Его посадили в черный лимузин и увезли. В тот день и следующую ночь гетто ждали с тревогой. Только утром, когда они услышали, что Старик вернулся, люди вздохнули с облегчением.

Затем настал более веселый день. Распоряжение было направлено на встречу в Доме культуры делегаций рабочих, инструкторов и руководителей. Глава *Ghettoverwaltung, сам*г-н Ганс Бибоу, выступил перед собранием и говорил час, а затем еще час. Это была суровая речь. Он ругал своих слушателей за условия в гетто, за плохо вымощенные улицы и хаос в офисах и департаментах. Он рассказал о повышении продуктивности курортов и об экономии сырья. Он говорил снова и снова - пока гетто ликовало. Впервые в истории выдающийся герр Бибоу обратился за помощью непосредственно к тем, кто до сих пор заслуживал только того, чтобы им командовали. Его критика и упреки почти подняли орды рабов на уровень равных.

Было жгло холодно. Михал хромал по улицам. В последнее время он стал навещать своих безнадежно больных пациентов, умирающих от голода, больных с разъеденными легкими, истощенных дизентерией кишечника, тех, кто стал жертвой неизвестных болезней. Редко кто-либо из его пациентов находился без сознания. Напротив. Большинство из них осознавали свое положение в борьбе за жизнь. Михал чувствовал к ним близость.

Он мало видел Джунию, и они почти охотно уничтожили то короткое время, которое у них было вместе перед сном, как будто они хотели сделать сносной удачу быть вместе. В основном они ссорились из-за упреков Юнии в том, что Михал уделяет слишком мало времени ее товарищам, что он пренебрегает уроками по оказанию первой помощи, которые он, наконец, взял на себя, и, прежде всего, из-за того, что у него не было ни капли энтузиазма по поводу этого дела. которой Юния посвящала каждую свободную минуту. Оба боялись участившихся ссор, но все же провоцировали их. Глубоко внутри они знали, что их борьба не сломает их, что они были подобны двум воздушным змеям, которые ударялись друг о друга, но не могли лететь слишком далеко друг от друга, потому что одна и та же рука держала обе струны.

В субботнюю ночь перед крайним сроком сдачи музыкальных инструментов Мендельсон появился в дверях Винтера со скрипкой в ​​руке. Он принес его не для игры, а потому, что не мог расстаться с инструментом. Куда бы он ни пошел, он брал его с собой.

Прекрасный инструмент лежал на столе. Его рот, открытый и темный, покрытый рядами струн, был немым. Казалось, что из-за этой тупости он заговорил. Гости зимы не могли оторвать от него глаз. Мендельсон беззастенчиво воскликнул: «Почему они такие садисты? Что они потеряют, если оставят мне скрипку? »

Гутман утешил его: «Они не хотят, чтобы мы играли на их похоронах».

Беркович дал свой совет. «Бросьте это в огонь, а не отдайте им».

«Сжечь, да, сжечь здесь, на наших глазах», - подхватили идею остальные.

Они разожгли огонь в «пушечной» печи, чтобы охватить всю скрипку. «Там мы сидели у вод Вавилона. . . » - пробормотал Беркович.

Мендельсон вытер глаза, снял со стола скрипку и прижал ее к груди, как если бы это было тело любовника. Его лицо постепенно менялось, пока снова не стало лицом гордого виртуоза. «Я не сломаю и не сожгу скрипку», - сказал он сдержанным голосом. «Пусть скрипка переживет меня. Пусть держат его в руках. . . Пусть к нему прислонится чье-нибудь ухо. Изнутри скрипки это ухо обязательно услышит мой голос. Я внутри него. . . » Он положил скрипку себе на плечо, оперся на нее подбородком и поднял смычок. Он хотел дать свой последний концерт, но никак не мог найти работу, подходящую его настроению. Он начал играть собственное произведение, затем начал импровизировать. Но его руки дрожали, и ему пришлось остановиться. Наконец, он наморщил лоб, криво улыбнулся и положил инструмент в футляр. «Поэт Рильке сказал, - обратился он к собравшимся, - что, когда музыка говорит, она обращается к Богу, а не к нам. Мы стоим на его пути, поэтому он проходит сквозь нас. Это мы скрипки ».

Book Three 293

Глава двадцать первая

НАЧАЛСЯ 1944 ГОД. Днем гетто, замороженное, покрытое снегом, измученное метелями, выглядело как город-призрак. Дым из труб не выходил. Дворы были пусты; замерзшие водяные насосы с длинными ледяными бородами выглядели как экзотические стеклянные фигурки. По белым пустым улицам изредка проезжала трясущаяся *фекалия,*покрытая коричневыми сосульками, которую тащили человеческие лошади; или грузовик с сырьем, направляющийся на курорты, или тележка с продуктами для кооперативов; крохотная тележка, окруженная армией полицейских с дубинками в руках. Над городом-призраком парил его верный хранитель: церковь Пресвятой Девы Марии. Башня церкви со снегом на спине выглядела как священник в белом, ее циферблат, мертвые часы, выражали застой; руки все еще указывали на десять минут десять - долгий час одиночества.

И все же в этом городе за пределами времени были места, где время имело значение. Например, на курортах и ​​в желудках тех, кто там работал. В своей последней речи *амцлейтер,*герр Бибоу, строго запретил людям покидать рабочие места и выходить на улицу с семи утра до пяти тридцать вечера. Когда настал этот час, пустые улицы на время ожили. Они были похожи на ветви замороженного дерева, по которым ползли стаи черных муравьев. Люди бросались в продовольственные кооперативы, или чтобы согреть свои горшки в Газовом центре, или устроить похороны любимого человека, или зайти к родственнику, или послушать последние новости по радио.

Вскоре гетто снова опустело. Некоторое время люди ходили по домам. Соседи собрались, чтобы посоветоваться: как защитить себя от «эпидемии умирания», которая в последнее время со всей силой обрушилась на гетто. Или горячо обсуждали, правда ли, что йеки ушли из Львова. Затем они пошли домой и сразу же легли спать, укрывшись всем, что там было, и позволили морозу и ветру захватить остальные комнаты. Вскоре пришел сон, который стер и эту иллюзию времени. Гетто было приостановлено в пустоте.

Было около полудня. Пресесс сидел в своем хорошо отапливаемом офисе на Балутер Ринг. Вокруг него на стенах висели графики и художественно выполненные схемы производства различных курортов. Среди них были также оформленные в рамках поэзии и прозы отчеты о достижениях некоторых ведомств, учреждений или исполнительных органов, а на специальном столе лежали альбомы, наполненные словами восхваления Presess, перемежающимися благословениями, одами и красочными иллюстрациями.

Часы интервью закончились, и Presess устали. Сегодня он принял слишком много женщин. Их кокетливые манеры, которые когда-то заставляли его придвинуть стул поближе, теперь заставили его отодвинуть стул. Однако сегодня его разозлили две женщины, которые, напротив, были без тени кокетства и лести, это были «Товарищи по Движению», коммунистка, товарищ Юлия, и бундовская «Львица», Браха. Коплович. Две стальные женщины. Пресесс ужасно боялся таких женщин.

Он позвал их с намерением поговорить с ними. Он хотел сотрудничать с ними и их партиями в секретном проекте: подготовить гетто к часу освобождения, чтобы сохранить порядок и избежать хаоса и ненужного кровопролития. Но две женщины прямо сказали ему, что его первым шагом должно быть открытие тайников с закопанными припасами, которые хранились на «черный час», и раздать их населению. Он терпеливо объяснил им, что, учитывая сложившуюся ситуацию, зиму и трудности с транспортировкой, новые запасы еды не скоро дойдут до гетто, и поэтому он должен быть бережливым и хорошо спланировать раздачу еды.

Обе женщины покачали головами, надуваясь, как гордые индейки. Они заявили, что в этот самый момент люди голодают, смертность велика и что его планы привели только к гниению тысяч килограммов еды. Он почти вскочил на ноги от ярости. Что они знали о планировании? Несут ли они на своих плечах долю ответственности? Тем не менее, он не потерял спокойного тона голоса. Он пригласил их вместе с представителями других партий на тайную встречу. Затем он поинтересовался, как они поживают и достаточно ли у них дома обогревателей.

Как только они ушли, он дал волю своей ярости. Он ненавидел женщин, ненавидел всех женщин, включая свою собственную. Он послал за Зибертом, который вошел, комично подпрыгивая в своих блестящих сапогах и потирая уши красными ручонками. Он прыгнул к духовке, потерся спиной о ее плитку и шутливо улыбнулся.

«Пусть у всех еврейских детей будут такие теплые комнаты, как эта, Пресесс, будьте здоровы и здоровы». Пресессу пришлось закусить губы, чтобы не улыбнуться, несмотря на нервозность. Зиберт выглядел нелепо в сапогах, с изогнутой набок фигурой, стоя, как маленький плюшевый мишка у печи. Проницательный Зиберт не преминул увидеть выражение лица Пресесса и немедленно отреагировал. «Я совсем не против, что ты смеешься надо мной, Пресесс. Ну и что, если я выгляжу как Кот в сапогах. Пока мне тепло и комфортно, дьявол может забрать все остальное. Не всем дано быть высоким, как и не всем дано быть умным. То, что человеку не хватает в одном, он компенсирует в другом. Не так, Пресесс? Наконец он отошел от плиты и подошел к столу Румковски. Сразу же ему пришлось рассказать анекдот из гетто по поводу жары в комнате: «Комиссара спросили в его кабинете:« Скажите, а почему здесь так жарко? » Комиссар ответил: «Чего вы ждете? В конце концов, именно здесь я пеку свой хлеб ». Зиберт хихикнул, протягивая свою теплую ручку Presess. *«Шалом алейхем*!» Он поднял руку Румковски со стола и потряс ее кончиками пальцев. «Я в вашем распоряжении, герр Пресесс».

Пресесс, значительно успокоенный присутствием Зиберта, начал добродушно жаловаться: «У меня сегодня был женский день, Зиберт».

Как только он это сказал, в кабинет вошла Клара, одетая, как обычно, в черное. Зиберт лукаво поклонился: «С уважением, госпожа Пресессова».

Она даже не взглянула на него, а прямо обратилась к пресессу: «Хаим,

Я должен с тобой поговорить! » Зиберт почесал в затылке и направился к двери, хотя заметил, что глаза Старика зовут его обратно. Оставшись наедине с Кларой,

Пресесс поморщился. Он определенно сыт по горло женщинами.

«Хаим, я хочу защищать дело в Апелляционном суде», - сразу перешла она к делу.

Лицо Пресесса стало еще более искривленным. В последнее время Клара начала действовать ему на нервы, надоедая ему всякими судебными делами. Она хотела заниматься своей профессией. В основном он ничего не имел против. У нее будет чем заняться, и она, возможно, оставит его в покое, но он боялся ее женской головы. Ее способ рассуждений часто резко отличался от его, и она была способна «приготовить суп», от которого его лицо почернело. Как только дело доходит до так называемых вопросов справедливости, она может забыть, кто говорит.

Кроме того, рассматриваемый случай, история о молодом человеке, который изготовил фальшивые хлебные карточки, затронул лично Presess. Было неслыханно, чтобы парень из-за мошенничества стал разносчиком хлеба и, таким образом, соперничал с самим Presess. "Вы можете извиниться за него?" - спросил он после того, как она представила ему дело. «Такого человека следовало депортировать, но у него всего восемь месяцев».

Она с укоризной сказала: «Восемь месяцев тюрьмы в гетто не сравнить с тем же самым в другом месте. А потом ... он еще несовершеннолетний.

Пресесс знал, что она не оставит его в покое, и он хотел избавиться от нее. В конце концов, у него не было причин ее бояться. Он дал парню восемь месяцев, и даже если суд встанет с ног на голову, ничто не сможет изменить его приговор. Он разгладил лоб и протянул к ней обе руки. «Что мне делать с тобой, Клара, дорогая? Вы настаиваете на его защите? Защити его. Он поцеловал ее в лоб. - Но тогда вам придется отплатить мне небольшой деликатной услугой. Скажите дамам, женам наших друзей, чтобы они перестали красить лица - никаких румян и пудры, и не носить шляп; новый указ, который вас, собственно, не трогает. Вы все равно не используете эти уловки, и они вам не нужны ». Он подтолкнул ее к двери.

На этом «женская» часть дня Presess закончилась. Сумеречный свет уже исчез из грязного снега снаружи, на Балутер Ринг, когда тюремный фургон въехал в ворота и остановился перед офисом Пресесса. Двое гестаповцев вышли из машины и вошли в теплую комнату Пресесса. Они вежливо пригласили Старшего из евреев сесть в фургон.

Следующие двадцать четыре часа были исключительно «мужскими».

На следующий вечер, когда Presess вернулись в гетто, бушевала метель. Тюремный фургон появился на Балутер-Ринг в нерабочее время, и в окнах казарм *Ghettoverwaltung*или других отделов не было видно света . Сопровождавшие пресесс гестаповцы были слишком ленивы, чтобы помочь ему сойти на берег. Белая снежная буря промчалась мимо открытой двери фургона, растерзав седые волосы Старика. Его шляпа слетела с его головы, закружилась в воздухе и покатилась в вихре ветра и снега. Пресесс неуклюже поставил ногу на ступеньку, держась одной рукой за очки. Что-то толкнуло его, и он упал в снег.

Он медленно встал. Сквозь мокрые очки он видел линии проволочного забора вокруг Балутер Ринг. За проводами он увидел черные тени, одну за другой. Он подполз к стене и прислонился к ней. Его рот был слишком сжат, чтобы вырваться наружу больше, чем сдавленное рыдание. Там, снаружи, стояли люди; в снегу и на ветру они ждали его. Он, Мардохей Хаим, только что пережил двадцать четыре часа ужаса ради них. Неужели они ждали из-за любви и заботы о нем? Или они пришли посмотреть, как он, великий человек, упал в снег? Как бы то ни было, теперь они спешили домой, и, вероятно, от дома к дому ходила радостная весть: «Старик вернулся!» Нет, Старик не был таким дураком. Он знал, что все, что они думали, были они сами.

Он едва мог вспомнить, когда он когда-либо плакал в своей жизни. В этот момент он приветствовал свои слезы. Они сняли его напряжение после долгих часов жестокого обращения. Теперь он позволил себе роскошь жалости к себе, оплакивания судьбы одинокого нелюбимого пастыря народа, оплакивания своего унижения, того факта, что вместо теплоты, которую он мог бы ожидать от людей, он должен был теперь довольствовался теплом угасающего огня в своем кабинете. Все, что он хотел от них, - это немного привязанности, частичка признания жертв, которые он принес ради них. Разве он не сделал все, чтобы заслужить эту частичку любви? Он поставил на карту свою собственную голову. Были лидеры других народов, которые гораздо меньше рисковали ради своего народа, но при этом пользовались популярностью в массах. Почему не он? Почему до его ушей не дошло ни одного дружеского восклицания, ни слова ободрения?

Его слезливые глаза метались по стенам его кабинета, украшенного одами в рамочках, со словами похвалы. Все это было холодной расчетливой лестью. Он знал это и все же собирал все это и дорожил им, успокаивая свое сердце ложью. И он продолжал ожидать лжи и лести. Он останется таким же, каким был до этих роковых суток. И они, его евреи, тоже остались бы такими же. «Есть что-то в тебе, Мардохей Хаим, - сказал он себе, - что не позволяет людям любить тебя, в то время как твоя судьба - больше всего на свете нуждаться в любви людей. . . » Это была правда о нем. Прошедшие двадцать четыре часа казались незначительными по сравнению с моментом, когда он увидел черные тени по ту сторону Балутер-ринга. Он был бы способен победно петь, если бы услышал хотя бы один голос, хотя бы одно выражение преданности. Мардохей Хаим медленно расчесывал свои взъерошенные волосы руками, как будто гладил его по голове.

Наконец он вытер лицо и выпрямился. Он сжал кулаки. Он заставит их полюбить его, заставить быть благодарными ему. Он спасет остаток людей в обмен на остаток любви. И словно в ответ на его решение, дверь медленно отворилась, и кучер Пресесса осторожно просунул голову внутрь.

«Герр Пресесс!» он крикнул: «Ты вернулся, слава богу! Камень скатился с моего сердца. Вот, Пресесс, кто-то вручил мне вашу шляпу. Румковский практически упал в объятия здоровенного широкоплечого кучера и позволил провести себя к карете.

Дома его ждали распростёртые объятия Клары. Ее лицо было надутым, а глаза наполнились слезами. Как ни странно, ее беспокойство было ему неприятно. "Они не причинили тебе вреда?" она похлопала его, ища в его глазах.

«Вовсе нет, - простонал он, освобождая себя от ее объятий, - у нас была конференция».

«Ты выглядишь измученным, Хаим», - прошептала она. Но потом она вспомнила, что он не любит, когда ему говорят такие вещи. «Ты выглядишь замороженным», - поправила она себя, помогая ему снять пальто.

Она провела его в столовую, принесла чай с печеньем и села рядом с ним, ожидая, что он расскажет ей, что произошло. Что произошло? Ничего такого. Игры, в которые он играл, были ужасной мечтой

которую он отказывался вспоминать, которую он никогда не вспомнит. Теперь он вернулся в свое королевство, очнувшись от кошмара. Он быстро отослал Клару и послал за Зибертом. Он хотел услышать последние политические новости.

Утром гетто поднялось до известий о том, что пресессы вернулись из города, рыдая. В тот же день начала распространяться «утка» о том, что вождь *Ghettoverwaltung*г-н Бибоу не появился в тот день на Балутер-Ринг, но был арестован за мошенничество, и что гетто, вероятно, станет козлом отпущения. И все же гетто заснуло в хорошем настроении, так как поздно вечером еще одна «утка» начала ходить с улицы на улицу, из дома в дом, из постели в постель: *йекы*действительно *выезжали*из Львова. .

На следующий день в гетто появилась немецкая комиссия, которая посетила все курорты. Затем последовала новая «утка», а именно, что в комиссию вошел начальник лагеря под Люблином. Он приехал исследовать возможность перевозки евреев из этого лагеря в гетто в Лодзи. Еще одна «утка» утверждала обратное: комиссия искала способы переправить евреев Лодзинского гетто в лагерь под Люблином. Постепенно выяснилось, что визит комиссии связан с поездкой Пресесса в город и его рыданиями по возвращении. Люди с нетерпением ждали вечера, когда начнут распространяться новости от тайных радиослушателей. Не было сомнений, что фронт приближается.

В гетто царила лихорадка, и на этот раз лихорадка охватила не только рабочих курортов, но и менеджеров, полицейских и высокопоставленных чиновников. В гетто появились новые пророки: те немногие радиослушатели, которые из укромных уголков объясняли послания лаконичных оракулов, исходящие от священных радиоприемников. Имена этих слушателей, которые все эти годы тайно охраняли нить волн, соединяющую их с миром, стали известны всем в одночасье. Их благословляли и хвалили все, включая голубей *Крипо*. Последнему даже не приходило в голову рассказать о тех немногих героях, которыми еще оставалось гетто.

Сам Пресесс Румковски полностью потерял равновесие. Если до сих пор его настроение было переменчивым, то теперь стало совершенно невозможно знать, чего от него ожидать. Когда можно было ожидать похвалы, он сделал выговор, размахивая палкой; когда в его присутствии трясся от страха, он добродушно улыбался и выдавал дополнительный пищевой паек. Но и в хорошем, и в плохом настроении он был нетерпеливым. Казалось, он постоянно торопился, из последних сил мчался к своей цели. Едва в состоянии остаться на час или два в своем офисе, он мчался по курортам и департаментам. Здесь он молчал, там он произносил речи; здесь он похлопывал людей по плечу, там он хлопал их по лицу. Он приказал: «Работай, работай и еще работай!» затем убежал, озабоченный и взволнованный.

В один из таких дней его секретарь появился в офисе Presess и объявил: «Герр Розенберг из *Kripo*желает поговорить с вами, герр Presess. Должен ли я впустить его до его очереди? »

Пресесс, занятый бумажной работой, воскликнул, не поднимая головы: «Не может быть и речи! Здесь должна быть справедливость! »

Адам Розенберг вошел в офис через полтора часа. На нем была полная зимняя одежда. Шубу купили у чеха.

*Джуд,*меховая шапка от берлинского *джуда*и темные очки унаследованы от Ядвиги. Он выглядел вдвойне здоровым, вдвойне толстым, и его лицо было красным как свекла от столь долгого сидения в отапливаемой комнате ожидания. Не дожидаясь приглашения, он сел в пустой стул у стола и медленно снял меховую шапку, обнажив блестящую макушку. Он вытер капли пота с верхней губы и усмехнулся: «Доброе утро, герр Пресесс». Рукой он проверил, правильно ли распределены несколько волосков, оставшихся на его голове, по его макушке, затем протянул ту же руку к пресессу.

Его рука оставалась подвешенной в воздухе. Старик на противоположной стороне стола уставился на него парой ошеломленных холодных глаз. "Ты?" он задыхался. «Кто вас сюда впустил?»

Адам проглотил «ты» с сопровождающим его тоном голоса и ответил, все еще улыбаясь: «Я попросил об интервью и терпеливо ждал своей очереди». Он широким жестом расстегнул шубу и вытащил чистый батистовый носовой платок. Громко высморкавшись, он продолжил: «Я немедленно перейду к делу, герр Пресесс. Я приехал как по делам, так и по личным причинам ». Он глубоко вдохнул, играя пальцами во время разговора. «Вы знаете, господин Пресесс, что все эти годы я ни о чем вас не просил, несмотря на наше близкое знакомство до войны. Я тоже не пришел ни о чем просить. Я гордый человек. У меня есть достоинство, и мне не нужны ничьи милости. Поэтому я могу разговаривать с вами как с равным ». Адам прекрасно понимал, что терпение Старика висит на волоске. С притворной беззаботностью он перекинул одну ногу на другую, а скорость, с которой он начал мотать пальцы, выдавала тот факт, что он начал терять самоуверенность. «Я советник *Крипо*и не сомневаюсь, что вы знаете об этом факте . В самом деле, я пришел к вам по этому поводу, а именно, я хочу от вас хорошего положения ».

Румковски приподнял брови и открыл рот, сомневаясь, разыгрывает ли Розенберг какую-то свою клоунскую роль или его послал Саттер. Но он заметил нервные руки Розенберга, и в его глазах вспыхнуло небольшое пламя. "Это и есть!" - крикнул он.

"Это и есть. Я же сказал вам, герр Пресесс, что пришел не просить милостыню, а предложить деловую сделку.

«А что это за бизнес, например?»

«Вы понимаете, герр Пресесс, война подходит к концу. И как только это произойдет, герр Пресесс, мы двое, вы и я, окажемся в одной лодке. Итак, для работы, которую вы дадите мне сейчас ... у меня есть значительный капитал, обеспеченный в Швейцарии. Я сделаю тебя своим партнером. Мы можем исчезнуть в красивой маленькой стране и прожить годы в мире ».

Presess начал получать удовольствие. «Вы беспокоитесь о сохранении своей кожи».

«Так же, как и вы, герр Пресесс».

«Сколько еврейских душ на вашей совести; ты, вонючий испражняк, скажи правду.

«Никогда не так много, как вы, герр Пресесс».

Румковски захохотал: «А я, видите ли, не хочу никуда бежать!»

Чем увереннее становился Presess, тем больше неуверенности начинал чувствовать Адам. «Вы действительно думаете, герр Пресесс, - его голос начал вибрировать, - что вы великий герой? Итак, я говорю вам, что вы поступаете глупо. Может случиться так, что слишком много евреев спасутся, и не волнуйтесь, они узнают вас после войны и поймают. Вы доставили сотни ... тысячи. . . И те, кто останется. .. даже если один из них останется ... »

«Я молю Бога, чтобы осталось больше одного. И зачем тебе от меня работа? Вам не нравится работа в *Kripo?*Тебе больше не нравится смотреть, как твоих братьев пытают и убивают? »

«Герр Пресесс ... Я на вашем месте. . . не упомянул бы об этом. Во-вторых, они мне не братья ».

"Действительно? Разве ты не еврей? »

Адам хотел сказать ему, что еврей - это только тот, кто хочет им быть, но он прикусил язык и опустил голову. «Не все евреи братья, герр Пресесс».

«Это, конечно, так», - с удовольствием отрезал Пресесс. «Я, например, не считаю себя твоим братом».

Плечи Адама опустились. Его голос стал отчаянно звенеть: «Я больше не могу работать в *Крипо*. . . » пробормотал он. «Я ... я слишком много знаю. Понимаешь? Если бы вы дали мне работу, я бы сменил имя и внешность. Я покрашу волосы. . . » Неловким жестом он обвел рукой свою макушку: «Я хочу за это заплатить. Я сэкономил несколько золотых монет. Сокровищница гетто пуста. Я все знаю, герр Пресесс. Мы в одной лодке. Так или иначе, петля затягивается у нас на шее. Давай убежим вместе ». Адам осмелился поднять голову и взглянуть на Presess взглядом неописуемой печали. «Я одинокий человек, герр Пресесс. У меня нет никого в этом мире. И имейте в виду, если вы мне откажете. .. Саттер по-прежнему мой лучший друг. Вас дважды, трижды возили в город, не так ли? Ты ускользнул кожей зубов, но промахнулся только на волосок ... "

Пресесс вскочил на ноги, указывая пальцем на дверь. "Отсюда!" - заорал он, трясясь так сильно, что его свободные очки прыгнули на кончик носа, и он едва успел их поймать. «И помни, если ты скажешь еще одно слово, я сам позвоню Саттеру и расскажу ему, о чем ты пришел ко мне!» Адам, согнувшись под потоком проклятий Презесса, выскользнул из офиса.

Когда в тот день появился Зиберт, Пресесс немедленно рассказал ему о его встрече с Розенбергом. Все еще потрясенный, он спросил: «Как вы можете объяснить такого антисемита, такого монстра?»

Зиберт покачнулся на каблуках ботинок. «Не будем обманывать себя, Пресесс». Он сжал губы в легком смешке. «В каждом из нас скрывается антисемит; внутри одного - больше, внутри другого - меньше. Вопрос в степени, больше ничего. Многие ли из нас не выпрыгнули бы из собственной шкуры, если бы дали шанс? Вы думаете, что этого хотят только голуби *Крипо*? А что с нашими полицейскими? А наши Штейнберги? И даже просто никто, еврей из гетто, и даже я, великий сионист, например? Но почему мы должны заходить так далеко? А как насчет Создателя этого мира, нашего Небесного Папы, разве он не немного антисемит? Поверьте, я не раз представлял Его гитлеровцем со свастикой на руке ».

Пресесс моргнул. Зиберт сегодня не был «в супе», и было предпочтительнее не вступать с ним в серьезный разговор. «Избавь меня от своих шуток», - приказала Пресесс. «Лучше расскажи мне, что нового на фронтах».

Book Three 301

Глава двадцать вторая (Записная книжка Давида)

Я много думал о своей сестре Галине, о Варшаве. Галина наверняка родила ребенка. Что с ними случилось? Я много думаю о двух своих депортированных друзьях, Мареке и Исааке. Также в последнее время в моем сознании навещает меня еще одна фигура: Сократ, который без возражений принял стакан с ядом от тех, кто стоял намного ниже него. Как понимать смерть Сократа?

Я ужасно страдаю от голода, ни о чем другом не могу думать. Безумие. Я знал и не знал, что жажда еды - самая сильная из всех страстей. Я становлюсь животным. Меня ни о чем не волнует, когда мне нужно перекусить, даже о новостях. Но как только я немного поел, я становлюсь умным алеком, философом, спасителем мира, мировым политиком. Я говорю о свободе, героизме, любви.

На сколько мог я откладывал пожертвование в виде пяти деках хлеба для больных товарищей. Сегодня, час назад, я достал наш хлебный паек. Я отрезал его и взвесил на наших весах (высшее технологическое достижение. Состоит из ниток, двух консервных банок и небольших камней, служащих гирями). Я немедленно отнес сокровище Саймону, нашему выдающемуся лидеру, и в то же время проглотил целый ряд упреков с его стороны за то, что я не хожу на собрания и не веду общественной жизни. Я вернулся домой со свежей информацией прямо из радиобудки и с грузом обязательств перед движением: стать одним из медсестер, обслуживающих больных, одиноких товарищей, руководить детской группой и так далее. Когда мой желудок более или менее удовлетворен, мой ум становится настолько энергичным, что я могу брать на себя самые фантастические обязательства. Их выполнение, конечно, другое

Я старательно готовлюсь к лекциям для детей. Я прочитал им прекрасную книгу о восстании Спартака. Дети восхищаются героями. Сам я неравнодушен к этой теме. Меня интересует вопрос, кто такой герой. Кстати, во время моего последнего разговора с Саймоном у меня был момент напряжения. Я ожидал, что он попросит меня присоединиться к движению сопротивления, но он ничего подобного не упомянул. Тем не менее я точно знаю, что и мать, и Авраам были вовлечены в подпольную деятельность. Мне любопытно, какую психологическую формулу использовали наши лидеры, чтобы устранить меня, отделяя меня от моей семьи. Из-за этого мои отношения с Авраамом пошатнулись. Он смотрит на меня сверху вниз. Возможно, мне следовало прямо спросить Саймона и услышать, что он хотел сказать. И что бы я ответил, если бы он спросил меня прямо: хочешь присоединиться?

Не знаю, хочу ли я присоединиться. На самом деле я очень рад, что меня исключили. Мне лучше не анализировать причину - я имею в виду более глубокую причину. Поверхностная причина в том, что я не верю в свои силы, в нашу силу. Я не вижу, чего мы могли бы достичь, вступив в открытую битву; мы, еле ходящие скелеты, гниющие туберкулезом, голодные, опухшие. Чего мы могли добиться, бросившись на нашу вооруженную охрану? Акты бессмысленной храбрости, которые заканчиваются смертью, играют только на руку немцам. Хонор-шмонур ни гроша не стоит. Я не хочу, чтобы нас зарыли в землю, а мир ставит в нашу честь памятники, возлагает венки и воспевает наш героизм. Нет, спасибо. Я до сих пор помню разговор, который у меня был однажды с Цукерманом. Он сказал мне, что немцы оскорбляли не нашу честь, а свою собственную честь и весь мир; что для нас, евреев, борьба за выживание - единственное средство защиты нашей чести, и что добровольная смерть бесчестна. Он был прав.

Как я уже говорил, все эти «философии» приходят мне в голову, когда мой живот более или менее полон. Затем я перебрасываю оптимистические фразы направо и налево. Я артист не только обманываю других, но и себя.

♦ ♦ ♦

Мы голодны. Это невыносимо. Еще никогда не было так плохо. На черном рынке килограмм картофеля стоит сто пятьдесят *румки*. Немного масла стоит тысячу. Невозможно достать кальций или бутылочку вигантола, не говоря уже о глюкозе. Смертность растет день ото дня. Нет никаких лекарств. Мы готовим в Газовом центре, а дома носим пальто. Мы спим в одежде. Товарищи приносили на наши собрания торфяные шары или тряпки для костра; сейчас мы. сидят в холодных комнатах, прижавшись друг к другу, тело к телу, согревая друг друга.

Несмотря ни на что, те люди, которые еще стоят на ногах, стали проворными. Если говорят, что в гетто происходят чудеса, надо этому верить. Активизировалась партийная работа. Культурная жизнь гетто снова процветает. Чучел, то *klepsidras,*улыбка от уха до уха, приветствуя друг друга возгласом «Пусть они идут к черту!»

Я редко встречаюсь с Рэйчел наедине. Во время встреч мы сидим близко друг к другу, но это скорее для того, чтобы согреться, чем по какой-либо другой причине. Иногда во время обсуждения я намеренно отстаиваю точку зрения, противоположную ее, чтобы рассердить ее. Она такая позитивная и на сто процентов знает, чего хочет. Меня это шокирует. Кроме того, она тусуется с этим сумасшедшим Берковичем. Что она видит в этом седом орехе, знает только Бог.

\* ♦ ♦

Возможно, в поговорке «Бог не оставит тебя» есть доля правды. На прошлой неделе я заработал состояние - не на курорте, не дай бог, а на игре в шахматы. *Kriponik*Адам Розенберг посетил меня день за днем, и как он потерял голову, или качество моей игры улучшилось. Я легко выигрывал каждую игру. Проблема только в том, что он мне теперь платит не едой, а *ромки,*а на черном рынке цены заоблачные. Но не будем жаловаться. Честно говоря, я боюсь так часто выигрывать от этого зануды. *Меня тревожит то, что*у нас дома есть *крипоник*. Мусор. Главное: купил двадцать пять с половиной картошек.

♦ ♦ ♦

Как только у меня появляется свободная минута, я залезаю в кровать со своим Спинозой. Книгу купил на улице за десять пфеннигов случайно, хотя в гетто несчастных случаев не бывает. Ириска говорит, что все, что происходит с евреем в гетто, имеет высокий и глубокий смысл. Так что тот факт, что Спиноза попал в мои руки именно сейчас, тоже должен иметь какое-то значение.

Трудно приступить к работе: длинные запутанные немецкие предложения со связными словами, а также мелкий шрифт. Сама книга - развязанная, порванная, вся в грязи - разваливается. Интересно: я купил книгу, думая о Человеке-ириске. Мне пришло в голову, что Спиноза - пантеист. Он думает, что Бог везде. «Если так, - подумал я с юмором, - возможно, Спиноза убедит меня в том, что Человек-Ириска прав и что Бог действительно присутствует в гетто. Пока у меня только проблемы с книгой. У меня не было подготовки к такой «тяжелой артиллерии», и мне приходится перечитывать одни и те же отрывки снова и снова, и при этом оставлять их непереваренными. Но, несмотря ни на что, книга меня увлекает.

Сегодня я была в постели со своим Спинозой, когда вошла Рэйчел. Она замерзла, ее нос и щеки покраснели. Увидев меня в постели, она подбежала ко мне с криком: «Ты болен?» Я не мог вынести ее вопросительных озабоченных глаз. Я заверил ее, что здоров, как рыба, и больше ей нечего сказать. Она заметила: «У тебя на стенах снег». Я подтвердил, что да, на наших стенах был снег. Она подошла к окну и прикоснулась к затемненному одеялу. «Жесткий, как ледяной покров», - сказала она.

«Жестче, чем это», - ответил я.

Я спрашивал себя, мучаю ли я ее, потому что люблю, или потому что ненавижу. Так или иначе, я отложил свою Спинозу и подозвал ее, чтобы она села рядом со мной. Я обнял ее, прижавшись щекой к ее щеке. Она сразу сказала: «Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что между нами стоит не проволочный забор, а что-то еще ».

"Какие?" - спросил я не из любопытства, а скорее автоматически.

"Что-то другое."

Я засмеялся и сказал, что между нами стоит ее одежда, и я предложил ей раздеться и залезть ко мне в постель, так как мама и Авраам были на встрече и не скоро вернутся домой. Она сняла пальто и туфли и залезла под одеяло. Она была похожа на кусок льда; ее платье и чулки были неприятны рядом с моим теплым телом. Я хотел помочь ей расстегнуть платье, но она заплакала. Это меня полностью заморозило. Вскоре она встала с постели и надела пальто и туфли. Я спросил ее, знает ли она что-нибудь о движении сопротивления. Она сказала «нет» и выскочила из комнаты.

Как только она ушла, мне стало тепло вокруг глаз. Я взял Спинозу, но это не помогло. Я пробежался глазами по отпечатку, а то, что я увидел, было взглядом Рэйчел. Почему я не могу этого вынести? Что в ней я возненавидел? Не потому ли, что, когда она рядом со мной, я больше осознаю колючую проволоку, свою тягу к еде, свою собственную слабость? Или есть, как она говорит, еще одна причина?

♦ ♦ ♦

Любимая «утка» крякает по всему гетто. В Америке сформирован комитет по спасению оставшейся части европейского еврейства. Получим посылки с одеждой и продуктами. И нас заверяют, что распространение всех этих лакомств будет в руках не Румковского или *зондеркоманды,*или немцев, а Международного Красного Креста. Я, остальные европейские евреи, думаю, что это было бы неплохо, если бы это было правдой. Люди счастливы, как будто их животы уже были наполнены содержимым посылок Красного Креста. Между тем циркулирует совсем другая «утка»: немцы снова требуют тысячу голов. Я слышал, что многих уводили ночью с постели. Кто имеется в виду на этот раз, не ясно. Кроме того, каждый день на курорты приезжают немецкие комиссии. Их никогда не было так много.

♦ ♦ ♦

Немцы требуют полторы тысячи интеллигенции и полуинтеллигенции. (Каково определение полуинтеллигенции? Есть поговорка, что полумудрец - полный идиот.) Они боятся, что интеллектуалы и полуинтеллектуалы могут разбудить толпы, подстрекая их к актам сопротивления. А это значит, что транспорт, несомненно, будет «утилизирован».

Приступила к работе бригада врачей. Говорят, что в ближайшее время состоится депортация десяти тысяч человек. Я сложил одно и то же: сначала интеллигенцию, потом все гетто.

♦ ♦ ♦

Я в списке! Получила записку, чтобы явиться в комиссию врачей. Мы переехали в квартиру Рэйчел. Если бы я только скрылся, они бы взяли в заложники Мать и Авраама. Говорят, что в Tailor Resort шьют пальто и костюмы для перевозчиков. Это значит, что их отправят на работу, а не «списывают». Ходит «утка», что мужчины будут работать на заводах, где производятся точные инструменты. Мне любопытно, как меня классифицировали - интеллектуалом или полуинтеллигентом? Черт возьми их. Я не уйду. Я не позволю им поймать меня.

♦ ♦ ♦

Наши карточки на питание аннулированы. Мы не можем забрать еду. Мать приносит из партийного штаба хлеб и овощи. Остальное - из семьи Рэйчел. Мы живем вместе. Я слышал, что другие депортированные тоже скрылись. В СИЗО явились всего пятьсот тридцать человек. Дураки. Никто не должен сообщать добровольно. Ходят слухи, что *Ghettoverwaltung*хочет продать гетто другой коммерческой компании за тридцать пять миллионов марок. Компания хочет заплатить всего тридцать миллионов. Мы, товар, должны гордиться своей высокой ценностью.

А пока я здесь в ловушке и ни с кем не обмениваюсь ни словом. Я сижу в углу Рэйчел, в маленькой комнате, между кроватью и окном. Я сейчас одна в квартире. Рэйчел и ее семья на работе, а мать и Авраам, которые не ходят на работу, потому что через них меня можно было проследить, бегают весь день в поисках «защиты», чтобы освободить меня. У меня бывают моменты, когда я схожу с ума от страха.

♦ ♦ ♦

Дни ужасно длинные, но я здесь мало пишу. Я немного читаю Спинозу, а в остальное время просто считаю часы до прибытия Рэйчел. Мы мало разговариваем, но мне лучше, когда она садится на пол рядом со мной. Она научила меня курить. Это не доставляет мне удовольствия, но убивает аппетит. Мать и Авраам постоянно бегают. Я сплю под кроватью, на случай, если полиция ночью совершит обыск в доме.

♦ ♦ ♦

Выдан приказ, что в воскресенье никто не может выходить из дома. По всему гетто будут искать тех, кто прячется. Сегодня пятница. Я хочу верить, что есть Бог, который защитит меня. Я чувствую себя подавленным, несчастным. Насколько хорошей была бы жизнь, если бы миром руководил отцовский дух, добрая заботливая рука. Я плачу как младенец.

♦ ♦ ♦

Сегодня, в воскресенье утром, меня поймали. Я в тюрьме. Я взял с собой этот блокнот. В холле горит лампочка. Сейчас ночь. Все заключенные лежат на полу. Зал хорошо отапливается. Также нам подали вкусный суп и кусок хлеба с колбасой. Все спокойно, но никто не спит. Я тоже спокоен. Я подожду еще час и попытаюсь сбежать. Пишу сюда, чтобы уберечь нервы и убить время.

Я все утро простоял у забора тюрьмы. Рейчел стояла с другой стороны. Я не могу сейчас о ней писать. Я попытаюсь сбежать через уборную.

♦ ♦ ♦

Ура! Я свободен! Бесплатно! Не благодаря моим подвигам, упаси Бог. Но позвольте мне рассказать это в некотором порядке. Я спрятался в уборной и около полуночи бросился к забору. Но этот забор не был создан для такого героя, как я. Полицейский потянул меня вниз, подбросил и провел обратно в холл. Через два часа я повторил то же самое с уборной. Милиционеры сразу схватили меня на заборе и еще раз обработали кулаками.

«Идиотский ублюдок, - сказали они, - тебе нечего делать лучше, чем карабкаться по прямой стене?»

На этот раз стоявшему у дверей милиционеру приказали не выпускать меня. Милиционеры самоотверженно выполняют свою работу. За участие в сегодняшней акции они, пожарные и трубочисты получают один килограмм хлеба, десять дека колбасы, десять дека жира, десять дека мармелада, двадцать дека белого сахара и остальное, что я не помню. Сторож у двери сам этим хвастался.

Мне пришлось оставить свой решительный побег на тот момент, когда группу вывели бы наружу. Но на рассвете в холле появился милиционер и позвал меня по имени. Я пробирался сквозь тела. Только сейчас, на пути к «свободе», я увидел лица лежащих на полу. Мне не стыдно было их покинуть. Я гордился тем, что меня освободили, что у меня была «защита». Полицейский, который меня выпустил, дружески похлопал меня по плечу. Я упал в объятия матери. Авраам поцеловал меня, затем миссис Эйбушиц, потом Шламек. Я побежал вперед с Рэйчел. Было семь утра. Люди шли на работу. Шуток туфель и звон фляг были музыкой для моих ушей. Сразу уехали на работу. Весь день я почти не понимал, что происходит вокруг меня. Мне не составило труда действовать по лозунгу «TIE» (расслабься). В общем, если то, что мы делаем на Курорте в «поле» саботажа, когда-нибудь обнаружится, я не завидую. Мы тратим столько материала, сколько можем. Машины ломаются каждый день, и из нашего цеха вовремя не ушел ни один заказ.

После работы пошла на базар. Я сняла папиный свитер и продала его за три килограмма картофельной кожуры. Мы отпраздновали мое возвращение на родину и нашу последнюю трапезу с Эйбушицами. Мы ни на секунду не закрывали рта.

Все возвращается в норму, включая тягу к еде и холоду. Мать очень слаба после моего ареста. Два дня назад, когда я брился перед зеркалом, я был ошеломлен своим сходством с отцом. Это странно. Не то чтобы я был против походить на него, я просто не хочу думать о нем. Во-первых, о нем больно вспоминать, во-вторых, он был моим идеалом мужчины, и размышления о нем заставляют меня осознать, насколько я никчемный. Я чувствую себя обязанным попытаться быть достойным его, пойти по его стопам и так далее. Моя дилемма состоит в том, что я хочу пойти по его стопам и не хочу. Я как мужчина хочу открыть свои собственные истины. В то же время я хочу быть уверен, что он их одобрит.

Я чувствую присутствие Отца внутри и вокруг себя, даже когда не смотрю в зеркало и не думаю о нем. Вероятно, взаимодействие воображения и разума в сознании голодного человека отличается от взаимодействия в сознании удовлетворенного человека. Иногда в голову приходят глупые мысли. Я думаю, например, что человека можно уничтожить только физически, что только материя может распасться, что существует такая вещь, как вечное дыхание жизни, таинственная не-материя. (Ирисковый человек был бы счастлив услышать это от меня. Возможно, Михал Левин тоже.) И так я, рационалист, обманываю себя такими сумасшедшими мистическими средневековыми сказками - что дыхание жизни моего отца, например, находится во мне. И не только мой отец, но и дыхание жизни всех евреев, которые уехали, с нами на улицах, во дворах, в домах. Они проходят через нас днем ​​и ночью. Они советуют и ведут нас, упрекают и утешают, предупреждают и требуют. Больше всего на свете они требуют. Мы не можем вынести их требований и пытаемся заглушить их своей болтовней, изгнать их, как *диббуков.*Они одержимы нами, отказываются признавать нашу слабость, отказываются исчезнуть.

Пишу глупые вещи. Неважно. Бумага терпеливая. Так что позвольте мне продолжить мои нелогичности. Мне иногда кажется, что воздух вокруг нас полон, и не только душами тех, кто покинул гетто. Потому что, если душа бессмертна, тогда воздух должен быть заполнен душами всех поколений, которые когда-то жили. Каким же, должно быть, тесно в воздухе! Может быть, поэтому души живых тоже переполнены и запутаны, полны хаоса? Каждый из нас должен нести в себе души своих предков. Наши настоящие желания, страсти, страсти должны быть почерпнуты из какого-то далекого начала, проходящего через нас, стремясь куда? Душам наших детей. Мы, вероятно, несем в себе души тех, кто когда-нибудь родится, или тех, кто никогда не родится.

На мой взгляд, гетто слишком озабочено культурой. То, что немцы это терпят, - плохой знак. Они хотят, чтобы мы ослабили бдительность. Мы должны заставить замолчать поэтов и художников. Надо бойкотировать Дом культуры. Мы должны перестать петь, мечтать, строить планы на послевоенное время. Мы должны быть начеку.

Как странно, что, несмотря на холод, голод, эпидемии, искусство процветает, опровергая латинскую пословицу: *Inter arma silent musae.*Нет заднего двора, где бы люди не собирались, я имею в виду в основном молодежь, чтобы вместе обсудить, петь или читать. И я, разве я сам не заражен этим? Мой Спиноза все больше и больше меня увлекает. Я стал сентиментален по поводу грязных рваных страниц книги. Подумать только, что между пятьдесят четвертой и пятьдесят пятой страницей моя жизнь висела на волоске! В книге нет и следа того рокового перерыва. Где от этого след? Есть ли в жизни человека место, где регистрируется ночь опасности? Эх, должно быть, со мной что-то не так. Мои рационалистические ноги начинают дрожать. .. именно сейчас, когда надо быть умным, практичным и бдительным. Я должен взять себя в руки. Я выброшу Спинозу.

♦ ♦ ♦

Сегодня я чуть не поссорился с Рэйчел. Она болтается с этим писаком Берковичем, и я часто вижу их вместе. Она держит его за руку, а он широко улыбается. Мы останавливаемся и приветствуем друг друга, затем я убегаю в одном направлении, а Рэйчел уходит с ним в другом, как будто между мной и ней ничего не произошло. Это меня бесит. О чем она так много болтает с этим негодяем? К тому же он лет на пятнадцать старше ее и седой, как старик.

♦ ♦ ♦

Сегодня вечером я прогуливался, засунув руки в карманы, на пятнадцати градусном морозе. Было темно, но белый тротуар, белые стены делали темноту ярче. Вдруг я увидел их двоих, Рэйчел и Беркович, то есть в нескольких шагах от меня. Они стояли под светом газа, пар поднимался изо рта. В темноте их лица казались красной свеклой; козырек его фуражки был повернут набок. Он держал в руке лист бумаги, позволяя свету фонаря падать на него, пока он что-то ей читал. Она обняла фонарь, глядя ему в лицо. Объективно это была довольно странная сцена, и некоторые прохожие улыбались им. Но мое сердце забилось от этого зрелища. Я подошел ближе, очень близко, и потянул ее за рукав.

«Сервус, Рэйчел!» - закричал я.

Они оба уставились на меня, как будто я разбудил их ото сна. Но вскоре глаза Рэйчел приятно загорелись, и она пожала мне руку. "Что ты здесь делаешь?" спросила она.

«Я собираюсь прогуляться», - сказал я, глядя ей прямо в глаза и игнорируя ее спутницу. «Пойдем со мной», - скомандовал я.

Она повернула голову к своему спутнику, и я тоже. Он посмотрел на нее такими скользкими глазами, что мне захотелось чмокнуть его сквозь зубы. Он улыбнулся, как идиот, и протянул ей лист бумаги: «Возьми, прочти сам», - сказал он. Он пожал ей руку, а затем мою. Я оттащил ее так быстро, что она умоляла меня остановиться, потому что у нее не было сил бежать. Сил у меня тоже не было, но меня двигали нервы.

На голове у нее был темно-синий толстый шарф; в темноте это выглядело так, будто у нее были синие волосы. Она была красивой, хрупкой, хрупкой, в вечернем свете снега и газовых фонарей. Это заставило меня взорваться: «Зачем ты ходишь с ним?» Она не ответила, и я пришел в ярость еще больше. «Я не могу понять, что вы в нем видите. Я вижу вас двоих почти каждый день ».

«Ты видишь меня каждый день?» Она посмотрела на меня изумленно.

"Почти."

«И я не видела тебя девять дней», - сказала она, похожая на раненую Мадонну.

«Почему ты смотришь на меня так укоризненно?» Я спросил: «Почему вы ходите со странными мужчинами?»

«Я не хожу с незнакомыми мужчинами. Он знает, что я люблю тебя."

«Тем не менее, он ходит с вами и знает, что вы делаете это назло мне».

«Это не назло тебе».

"Тогда почему?"

«Я не знаю почему».

Мы долго молчали. Нам было очень холодно и мы вошли в подворотню. До комендантского часа оставалось всего несколько минут. Я прижал ее к себе, чтобы согреться. В темноте я увидел, как ее глаза разбегаются, и мое сердце наполнилось нежностью к ней. Я держал ее крепче. «Рэйчел, ты моя ... Почему ты этого не понимаешь?»

«Объясни мне это», - прошептала она.

Я не знал, как объяснить. Я только сказал: «Ты прав».

Она сказала: «И если я права, разве это заставит тебя любить меня еще больше?»

Я не мог заснуть по ночам, думая о встрече с ней. Мне стало ясно несколько важных вещей. Во-первых, я могу потерять ее навсегда; во-вторых, что я люблю ее; в-третьих, у меня есть потребность освободиться от нее. Одним словом, очень явный хаос. Из-за этого напряженного мышления я проголодался. Съел половину завтрашнего хлебного пайка и теперь, в два часа ночи, записываю все это на бумагу.

♦ ♦ ♦

Сегодня я посетил Рэйчел и рассказал ей о трех сбивающих с толку истинах, которые я открыл вчера вечером. Она сказала, что они не удивили ее и что она все это знала давно. Она также добавила, что Беркович сделал ей предложение, предложил ей переехать к нему и что она отказалась, потому что любит меня.

После этого обмена между нами все стало просто и понятно. И все же я был удивлен и ошеломлен тем, что последовало за этим. Я сжал ее руки между своими руками, говоря: «Рэйчел, я хочу стать мужчиной». Когда я сказал это, я был так тронут, что почувствовал ком в горле. «Я должен уйти от тебя ... чтобы побыть одна. Твоя любовь хороша и прекрасна. Но я не готов к этому. Он связывает мои крылья. Я должен быть свободен. Не знаю почему, но чувствую, что так должно быть. Я чувствую, уверен, что вернусь к тебе ». Здесь мне пришлось ждать, пока уляжется мое внутреннее напряжение. Я долго молчал, прижимаясь к ее голове. Затем я собрал все свои силы, чтобы добавить: «Возможно, на мои сегодняшние чувства нельзя положиться. Я не должен ничего тебе обещать, и ты не должен мне ничего обещать ».

После того, как я оставил ее, я почувствовал облегчение, но не беззаботный. Глава моей жизни окончена.

♦ \* ♦

Мать умерла две ночи назад.

Book Three 309

Глава двадцать третья

ДВОР Металлического курорта был завален сломанными частями механизмов, ржавыми котлами и металлическим мусором, засыпанным снегом. Стены здания задрожали; окна задрожали. Удары молотов можно было услышать издалека, а затем резкий металлический звук, который присоединился к общей какофонии писков, скрипов и свистящих звуков.

Рэйчел пришлось подниматься по многим ступеням. Дверь в холлы была открыта, и сквозь серый пыльный воздух она могла видеть черных монстров, машины. Рядом с ними стояли человеческие машины с черными лицами и руками и глазами, белки которых вспыхивали, как крошечные электрические лампочки. Некоторые маленькие человеческие машины, одетые в грязные комбинезоны, повернулись к ней своими черными лицами, обнажая яркие ряды зубов, когда они улыбались. Это были ее ученики из нелегальной школы, расположенной на чердаке.

На чердаке пол дрожал под ее ногами, раскачиваясь от грохота здания. Ветер завывал над крышей, крошил снег и швырял его о замерзшие стекла крошечных окон. Несмотря на шум, Рэйчел показалось, что здесь царит полная тишина. Она вошла в небольшой сарай, служивший учительской, и достала нужные ей книги. Затем она начала выравнивать ряды скамеек в классе, придвигая к ним доску. Она любила сидеть рядом со своими учениками и часто садилась на скамейку лицом к классу. Она поставила свою скамейку в среднем ряду напротив студентки Фреймана, очаровательной четырнадцатилетней девушки, которая жила одна; он выпрыгнул из фургона во время *Сперре.*У него были очень большие черные глаза, и когда он слушал Рэйчел, он держал рот открытым, так что казалось, что рот тоже слушает. Действительно, было несколько молодых людей, об отсутствии которых Рэйчел глубоко сожалела бы. Однако были и другие, которые оказали Рэйчел услугу, не явившись на нее. Они не позволяли ей сконцентрироваться; либо их внешний вид давал ей ощущение, что то, что она делает, не имеет смысла, либо их высокомерные горькие замечания сбивали ее с толку.

Она поставила флягу в угол, чтобы ее не видели ученики. Ей было немного стыдно за то, что она их учила. Она ходила по полу. Мороз укусил ей кончики пальцев. Незадолго до этого директор все еще получил немного нагревательного материала, и он зажег небольшую печь на чердаке. Но те времена прошли.

Когда она плотнее закуталась в пальто и подняла воротник, она услышала звук многих шагов, одни легкие и ритмичные, другие тяжелые и усталые. Чердак был заполнен шестьюдесятью черными чертиками. Шестьдесят черных лиц сияли на ней яркими глазами, и ей стало теплее. В тот момент она была уверена, что профессия, которую она выбрала маленькой девочкой, была самой красивой в мире. Она села на скамейку, сняла перчатки, положила раскрытую книгу себе на колени и обняла класс глазами. Там были ее любимые ученики. Их лица, измазанные грязью и машинной смазкой, были открыты; грязные черные руки расслабленно лежали у них на коленях.

«Сегодня мы изучим рассказ И. Л. Переца под названием« Чудеса на море », - объявила она, поднимая книгу. «В Королевстве Голландии, - начала она читать, - в полузатопленной хижине на берегу моря жил скромный еврейский рыбак по имени Сатия ...»

Чердак превратился в море. Сатья и его жена сушили сети, их дети катались по песку или искали янтарь. Сатия, единственный еврей в деревне язычников, мало знала об иудаизме. Море не позволяло ему покинуть село. Его отец, его дед и прадед погибли в море. Такой мощью обладало море. Это был самый опасный враг человека, часто коварный. И все же рыбакам это нравилось; они были привлечены к нему и не могли оторваться от него ... Потому что они хотели жить и умереть на нем.

Шестьдесят мальчиков покачивались в сильном штормовом море. Они не могли оторваться от этого. . . Они тоже хотели жить и умереть на нем. Словно сквозь туман Рэйчел увидела директора, который пересчитывал детей и затем входил в «учительскую». Она продолжила рассказ:

«... Сегодня канун Йот *Киппура,*когда Сатия следовала еврейскому обычаю. Он ловил большую рыбу и уезжал в город, чтобы присутствовать в синагоге, чтобы послушать пение кантора и хора, и съесть рыбу после поста ... Итак, Сатия уходит ловить рыбу. Утром море еле качается; он почти не дышит, едва слышен шепот. Лениво, как будто все еще мечтает, оно растягивается и сжимается. И все же цепь лодки Сатии рычит, предупреждая: «Осторожно, осторожно!» И его соседи, рыбаки, говорят ему: «Осторожно!» Босоногий старик указывает на черную точку в небе и говорит: «Она превратится в облако. . . У тебя есть жена и дети, Сатия ». Но Сатия отвечает: «И великий Бог на небесах». И вот он в море, и море качается и качается сильнее и сильнее. Солнце заплыло в небо, но его блеск кажется влажным. Плачущее солнце. А Сатя вытаскивает пустые сети ».

Кусок рыхлой гудронированной бумаги сердито хлопнул по крыше чердака; казалось, шторм был полон решимости сорвать его. Класс покачивался печально и трепетно, и Рэйчел покачивалась вместе с ними.

Затем начинается буря. Бушует море; волны поднимаются все выше и выше. . . Вот рыба! Сатья должна его поймать. Но рыба его только дразнит своим ослеплением. Внутри Сатиа голос кричит, чтобы он повернул назад, но рыба соблазняет его. Ветры обрушиваются на него с непристойной яростью, поражая его, взбивая море еще сильнее. Море грохочет и грохочет, в нем играют тысячи басов; в его волнах скрыты могучие барабаны чайника. "Дом! Дом!" Сердце Сати колотится. Он начинает быстро грести. Лодка как орех прыгает по волнам. Но он снова ослеплен, и снова что-то побуждает его повернуть назад и двинуться дальше в море. Он видит тело своей жены в волнах. Она зовет его: «Сатья, помоги!» Он борется с волнами. Но внезапно он вспоминает: « Сегодня Йом *Кипур*!» И он отпускает весла из рук. «Делай со мной, Боже, что хочешь!» он взывает к небу: «Я не гребу в Йом *Кипур».*

Рэйчел прочитала еще несколько строк, но услышала шум, доносящийся со скамейки. Фрейман бил кулаком по скамейке. Он встал и повернулся к Рэйчел своим грязным лицом. Его глаза были острыми, полными гнева: «Эта история для собак!» он фыркнул.

Ветер стучал горстями снега по замерзшим окнам чердака. Он ревел в трубах холодной печи. Рэйчел глубоко вдохнула, плотнее стягивая пальто. Она провела рукой по волосам, чтобы поправить их, и внезапно ей показалось, что она мисс Диаманд, ее старый учитель, а Фрейман - она ​​сама. «Садись, Фрейман», - спокойно сказала она. «Давайте сначала закончим рассказ». Ее глаза вернулись к книге. Сатия напевает мелодию, которую он внезапно вспоминает, мелодию, которую хор пел каждый год в Йом *Кипур*. Сатья хочет умереть пением.

Теперь весь класс возмутился. Шум усилился. Фрейман снова вскочил на ноги, обжигая ее взглядом. «Если бы я был Сатией, - взорвался он, - я бы не был таким идиотом! Если бы я был Сатией, я бы продолжал грести, пока у меня не кончились бы силы, и я бы не захотел умереть с пением! Если бы я была Сатией, я бы никому не позволила поступать со мной так, как ему заблагорассудится, даже Богу! »

В воздухе поднялся лес черных пальцев. Это был ее момент, момент, когда она, Рэйчел, должна была доказать, что она за учитель. И она была такой неопытной! Она приготовилась, обнимая класс взглядом, который принадлежал ей и мисс Диаманд. Ободряюще нервно кивая, она пыталась помочь молодежи выразить то, что они хотели сказать.

Дискуссия была в разгаре, когда в комнату вмешался директор школы и объявил, что урок окончен. Он пригласил Рэйчел в «учительскую комнату» и строго ее увещевал.

«В следующий раз, мисс Эйбушиц, вы не должны надевать пальто во время урока. Это непедагогично и производит плохое впечатление на учеников. Мы должны создать атмосферу учебного заведения, а не трамвая ».

Она хотела спросить его, почему сидение в пальто в холодной комнате создает атмосферу трамвая, но он с книгами под мышкой был готов взять на себя класс. Как только он вышел, осторожно зазвонил колокол, и на чердаке началась суматоха. Директор открыл боковую дверь и выпустил мальчиков через нее. Рэйчел подбежала к окошку, забралась на скамейку и увидела на улице немецкий автомобиль.

Она спустилась в офис фабрики, чтобы дождаться окончания проверки. Вскоре она услышала новости. Комиссия прибыла в связи с шестью вагонами техники из концлагеря Понятова, который был ликвидирован. Немцы пришли, чтобы решить, размещать ли машины на существующих металлических курортах или строить для них новые заводы. Офисные девушки размышляли о том, что случилось с людьми, которые работали на этих машинах в лагере Понятов.

Как только комиссия уехала, Рэйчел принесла суп и съела его перед кухонным окном во дворе. Подняв глаза, она увидела Бунима, стоящего рядом с ней, с красным от холода носом, с синим лицом и прищуренными глазами; пар поднимался из его улыбающегося рта. «Я вышел на минутку из Газового центра», - сказал он. "Иди со мной. Там тепло ».

Она взяла его за руку и наклонилась к нему: «Невозможно».

Они не могли разговаривать. Ветер дул им в лицо, перехватывая дыхание; он пытался разорвать их на части, запутывая их шубы. Веки их застыли от холода, ресницы жесткие, замерзшие; их взгляды могли различить лишь небольшой участок тротуара. Время от времени Рейчел удалось украдкой взглянуть на Буним. Его надутые красные губы выглядели как открытая рана. Он сунул ее руку в карман и прошептал ей на ухо: «У меня новая глава!» Ветер оборвал его слова. Она не могла ответить. Она спрятала лицо в воротнике пальто и позволила ему вести себя. Он провел ее в газовый центр, предложил ей кружку горячей воды и отказался отпускать ее до того, как она согласилась приехать к нему в тот вечер.

♦ ♦ ♦

В вечерней темноте показалась хижина Бунима, украшенная зимним великолепием. Крыша, покрытая толстым слоем снега, блестела. С него свисали длинные сосульки, как бахрома изысканной занавески. Сосульки также подвешивались к выступающим балкам и закрытым ставням; они были тоньше, нежнее и напоминали незажженные свечи.

Внутри хижины стены сияли параллельными полосами замерзшего снега, просочившегося через щели между досками. Рваные бело-серые занавески походили на застывшую паутину, туго цеплявшуюся за оконные стекла. На кухне было полутемно. Свеча в углу освещала тусклый свет. Из этого угла появился Буним и медленно пошел к Рахиль. Она развернула шарф на голове, но не решилась расстегнуть пальто. В освещенном углу на стуле стояла оловянная таз.

«Стираешься?» - спросила она, избегая его сияющих глаз.

«Я замачиваю рубашку ... Я принес из Газового центра чайник с горячей водой», - пробормотал он и двинулся в сторону другой комнаты. «Иди сюда ...»

В начале их знакомства он ни разу не позволил ей войти в другую комнату. Однако в последнее время он принимал ее только там, вытаскивая из кухни, как только мог. Он не хотел, чтобы она видела, насколько ему неловко по дому. В другой комнате было темно, Буним никогда не зажигал электрический свет. Рэйчел двинулась вперед, вытянув обе руки, пока не коснулась кровати Блимеле и не села на нее.

Он принес свечу из кухни. «Я не знаю, стоит ли мне читать вам сегодня вечером», - сказал он. «Завтра, возможно, будет более подходящим. Моя рубашка высохнет, и ... я немного приберу в комнате. Несколько мгновений спустя новая глава его стихотворения лежала у нее на коленях. Он разобрал стул и скормил его огню, засыпав торфяной пылью и песком. «Таким образом, - сказал он, - огонь будет гореть на протяжении всей главы».

Холодная печь была печальным зрелищем, но вид теплой печи в унылой комнате был почти невыносимым. Огонь с приятным шипением и потрескиванием, казалось, еще ярче обнажил бездомность этого полутемного дома. У Рэйчел создалось впечатление, что стены гонят ее. Кровати, шкаф, зеркало, кукольная коляска у окна, где грязная пустая ваза для цветов стояла за жесткой порванной занавеской, преследовали ее. Между двумя окнами на стене висела крохотная красная бархатная подушечка в виде сердца. На нем было воткнуто несколько булавок и иголок; на одной из иголок свисала тонкая черная нить.

Буним достал из шкафа женское пальто и накинул его на плечи Рэйчел. Внезапно ей стало жарко, она не могла дышать. Она хотела сбросить пальто и сбежать. Но она осталась сидеть на кровати Блимеле и позволила Буниму укрыть ноги одеялом Блимеле. Он сел рядом с ней. Его жесткие волосы были похожи на серый венец из скрученных шипов, указывающих во все стороны. Между его опухшими веками и его надутыми щеками его серые глаза моргнули, окликнули ее. Его потрескавшиеся губы обожгли его синее лицо, как болезненная рана. *«Ахава.*. . » Слышала ли она, как он шептал на иврите слово «любовь», или ей это показалось? Она взяла рукопись и протянула ему.

Он начал быстро читать, проглатывая слова. Он читал с легкостью изучающего *Тору*, подстраиваясь под ритм строф. Глава была о зиме и о молодом человеке по имени Исраэль Благородный, которого поймали при побеге из гетто и повесили на базаре. В стихотворении описывается его спокойный гордый поход к эшафоту и следы, которые молодой человек оставил после себя на снегу. Стихотворение звучало со свободой шеи внутри петли, поскольку оно повторяет слова Исраэля Нобла, как эхо: «Я никому не принадлежу, никому. Только мое тело принадлежит тебе, но не моя душа ... »

Буним качался на коленях Рэйчел, держась за них, как за стол. Он читал о вишневом дереве, с ветвей которого нежность, как белые голуби, падала на измученное тело гетто. Он читал о ночах глубже вздоха, громких, как крик, запутанных, как кошмары. Он сжал кулаки, позволив им упасть на колени Рэйчел. Его голос сорвался. Глава была закончена. Они понятия не имели, как случилось, что поцелуй склеил их рты, как точка после последнего слова последней строки. Ей казалось, что его рот был бархатной подушкой, которая висела на замерзшей стене. Она коснулась губами раненого рта, поглаживая седую голову Бунима и поглаживая его небритые опухшие щеки. Вскоре она была полностью окружена его руками и позволила ему впитать успокаивающую сладость их объятий.

Но в следующий момент она вырвалась и встала. Он помог ей закутаться в пальто и завязал шарф под подбородком. Он настоял на том, чтобы отвезти ее домой. Они ходили по улицам, как два слепых. Он держал ее руку в кармане, пока они вели друг друга. "Ты придешь завтра?" он спросил.

Когда она была дома одна, Рэйчел часто хотелось надеть меховую куртку, подаренную ей отцом, чтобы ей было тепло. Но у нее не хватило смелости сделать это, боясь мыслей, которые нападут на нее, как только ее обнимет теплый мех. Она была уверена, что подумает о девушке, которой принадлежал мех, девушке, возможно, такой же старой, как она сама, - которая никогда не становилась старше.

Однако накануне вечером она сидела на кровати Блимеле, закутавшись в пальто Мириам, а ее ноги были прикрыты одеялом Блимеле. А сегодня утром, за несколько минут до отъезда на работу, она осмелилась снять мех с наволочки и надела ее. Ей было тепло. Мех ласкал ее шею. Она не боялась приходивших к ней мыслей. Она думала о том, о чем боялась думать, и все же ей нравилось расхаживать по комнате в мехах. Она улыбнулась себе в зеркало, извиняясь за то, что пришлось снять мех и снова спрятать его. Она надела свое поношенное гимнастическое пальто, обернула шарфом голову и шею и взяла флягу; продев ремень через ручку, она сунула ложку в карман и вышла из комнаты.

Едва она вышла на улицу, как она упала в объятия Бунима. «Я ждал тебя», - моргнул он. «Я выскользнул из газового центра. Нет потребителей. И у меня есть новое стихотворение! » Он потащил ее обратно к лестнице, поднялся на ступеньку и достал из кармана лист бухгалтерской бумаги. « *Ахава».*.. это название. " Читал, как обычно, быстро. Она стояла на ступеньку ниже его, когда он покачивался над ее головой. Его голос скакал в ритме; расщепляя, сокрушая звуки слов, слогов, вытирая рукой мокрый нос и мокрый морщинистый лоб. Затем он сложил лист бумаги и протянул ей. Он вымыл очки и вывел ее на улицу. Он сунул ее руку в карман и спросил: «Где твой первый урок?»

«В Tailor Resort», - ответила она.

Они шли молча. Пар выходил из их ртов и ноздрей. Рэйчел защитила лицо от холода, спрятав его за плечо Буним. Они остановились в Tailor Resort. "Ты придешь сегодня вечером?" он спросил.

Она ушла той ночью. Буним скормил свой последний стул и две двери водной скамейки в огонь, и в комнате было тепло. Он пригласил ее сесть на кровать Блимеле, и она повиновалась ему. На нем была выстиранная рубашка, клетчатый пиджак и кривой галстук. Он был выбрит, и его седые волосы были зачесаны. Он выглядел молодым и веселым. Выражение его радости, так часто смешанной с гримасой боли, было сдержанным, более мягким. Его прищуренные глаза задумчиво улыбнулись. «Снимай пальто», - предложил он. «Тебе не будет холодно». Он расстегнул ее пальто и развязал шарф. Узлы волнистых каштановых волос падали ей на лоб и щеки. Он впервые включил в комнате электрический свет.

Она цеплялась за него взглядом, как будто боялась оглянуться. Его губы шевелились. Он пробормотал какие-то тихие непонятные слова. Он взял ее за руку, как бы ободряя. В углу стоял шкаф с зеркалом. В нем отражалась противоположная стена с окнами, жесткими серыми занавесками и крохотной подушечкой в ​​форме сердца. У одного из окон стояла карета с Лили, куклой Блимеле. Голубоватая карета с откидным капюшоном. Было легче смотреть на отражение этих вещей, чем на сами вещи.

Но Буним потянул ее за руку, заставив встать. Он повернулся к ней лицом к комнате. Он подвел ее к карете, вытащил Лили, протянул ей куклу и позволил ей подержать ее некоторое время. Прежде чем положить его обратно, он показал Рэйчел законченные главы своего стихотворения, которые служили Лили матрасом. Он накрыл куклу пледом и отвел Рэйчел обратно к кровати Блимеле. Там они привыкли сидеть в темноте при свете свечи. Теперь он хотел, чтобы она увидела кровать, дотронулась до нее руками.

Он подвел ее к большой кровати, где он спал с Мириам. «Сегодня я впервые застелил кровать», - прошептал он. «В твою честь». Он подвел ее к столу и наблюдал, как Рэйчел положила на него руки. Здесь Мириам, Блимеле и он поели. Стол накрыт белой скатертью. «В вашу честь», - сказал он. «А вы видите, я подметал пол». Он оставил ее и исчез на кухне. Вскоре он вернулся с тарелкой в ​​руках. Он шагнул медленно, чтобы не пролить ни капли, поставил тарелку на белый пустой стол и побежал за ложками. Они осторожно перенесли стол к большой кровати и сели. Он протянул ей ложку. «Ты не должен отказываться», - прошептал он. Она ела с ним его порцию супа из одной тарелки. Их головы были закрыты, их глаза, их губы напротив друг друга. Пар, поднимающийся из их ртов, смешался в воздухе между ними. "Ты . . Рэйчел услышала, как он прошептал: «Зови меня Симха».

«Симха».

Тарелка была пуста. Буним начал изливать страстные слова. Он говорил о Мириам, Блимеле и его маленьком сыне без имени. Он был так занят всем, что ему нужно было сказать ей, что ему пришлось встать. Засунув руки в карманы, он начал расхаживать по комнате. Наконец его речь сменилась гудением. Он напевал *хасидские*мелодии; возвышенные, буйные, возвышенные мелодии. Внезапно он прыгнул к Рэйчел, схватил ее на руки и поднял высоко над своей головой.

Его ноги подкосились, и они оба упали на пол. Они сидели молча, скривив рты в застенчивых ухмылках. Они долго смотрели друг на друга. Взгляд Рэйчел метнулся к стене над полом; она почувствовала сквозняк и заметила отверстие размером с орех. «Почему бы тебе не заблокировать это чем-нибудь?» спросила она. «Это не будет так сильно».

Улыбка все еще была на его губах. «Когда я был один, через эту дырочку проходила маленькая мышка. Иногда через дырочку ко мне приходило стихотворение. Если вы пообещаете, что будете приходить ко мне и дальше, я чем-нибудь это заблокирую.

«Откуда же тогда твои стихи придут к тебе?»

«От тебя ... *Ахава».*

Она вскочила: «Я должна бежать».

Он отвез ее домой.

♦ ♦ ♦

Буним ждал Рахиль каждое утро, часто с новым стихотворением в руке. Он тоже ждал ее после работы. По вечерам он сопровождал ее на встречи, а потом снова ждал. В конце концов, он приходил к ней домой и ждал ее там. Он познакомился с Блюмкой и Шламеком и иногда ужинал с ними. Рэйчел настолько привыкла к его присутствию, что больше не удивлялась, встречая его, куда бы она ни шла. Казалось естественным, что всякий раз, когда она появлялась откуда угодно, он выходил вперед из-за стены или из какого-то темного уголка. Когда она не сразу его заметила, она автоматически стала искать его черное зимнее пальто с меховым воротником и лицо в тяжелых очках. Она ожидала, что он засунет ее руку в карман и плечом защитит ее лицо от холода. Он сопровождал ее также на встречи с Дэвидом.

Прощаясь с ней, он умолял: «Заходи ко мне на минутку позже».

С Дэвидом все было как прежде, на поверхности. Но они оба знали, где они стоят, и всякий раз, когда она видела его, она вспоминала то, что он сказал ей незадолго до этого. Дэвида больше не было с ней. Он искал Святой Грааль. Он оставил ее, чтобы участвовать в рыцарских битвах. Он пошел искать человека внутри себя. А она, которая была так близка к нему, ждала его где-то в другом, далеком и одиноком. Они обменялись простыми ясными словами, но Рейчел была поражена, что они все еще могли слышать друг друга на расстоянии. «Нет, сейчас не время убегать», - подумала она. Это было время держаться вместе, цепляться за то, чем обладаешь. Достаточно было иметь дело с внешней рукой, грозящей разлукой. Разлучить по собственному желанию было грехом. Рэйчел знала это, и она прочитала по лицу Дэвида, что он тоже это знал; но они знали это только своим разумом. Странные силы, действующие внутри каждого из них, независимо от разума, толкали их на небезопасные дороги, которые они выбрали для себя. В своем отчуждении они прикоснулись бы. Их тела иногда притягивались друг к другу, и они оставались в объятиях, напоминающих прошлое, но уже не прежних.

Не раз она оставляла Давида, опьяненная его поцелуями, которых он не видел, полная мучительной сладкой тоски, но в то же время грустная и униженная - упасть в холодный воздух двора и в объятия Бунима. Он будет ждать ее у ворот, чтобы увидеть ее еще раз или провести в свою хижину, чтобы посмотреть на нее, почитать ей. В такие моменты его настроение напоминало ее. Он тоже чувствовал себя униженным, стыдным за себя, полным тоски. Его разговор прекратится. Он заикался. Между одним словом и другим его любовь умоляла ее. Это заставило ее цепляться за него всем своим существом, ища защиты от него - и от себя самой.

Когда она пришла к Буниму после встречи с Давидом, накал чувств Буним, казалось, нарастал. Ослепленный ее физической красотой, жаждущий ее жизненной силы, он будет держать ее в своих объятиях крепче и дольше, чем когда-либо. Он ничего не хотел знать о ее предыдущем опыте и не задавал вопросов. Быть с ней в такие моменты - это все, чего он желал, как будто его радость не могла быть выше.

В течение такого вечера он будет заниматься с ней больше, чем обычно. Он кормил мебель в духовку, предлагал ей ложки своего сахарного пайка и заставлял попробовать его порцию мармелада. Его лицо сияло, он развлекал ее, и казалось, будто весна вошла в его жизнь, сделав его моложе и сильнее. Он ласкал локоны растрепанных каштановых волос Рэйчел, повторяя: *«Ахава. .. Ахава ",*и заставил ее сесть на кровать Блимеле.

«Прочтите мне новую главу стихотворения», - попросила она однажды.

Покраснев, он сел рядом с ней. «Нет новой главы».

«Разве ты не пишешь?»

«Вы очень хорошо знаете, что я».

«Я имею в виду ваше длинное стихотворение. . . »

Он обнял ее и прижал ее рот, еще теплый от губ Дэвида, к своим. Она чувствовала его присутствие повсюду, вокруг нее, внутри себя. Он был между ее зубами, в ее глазах, заполняя ее ноздри. Она лежала на кровати Блимеле напротив кровати Мириам и Буним, напротив платяного шкафа, стола и кареты. Вид ее обнаженного тела заполнил комнату. Вдруг он отскочил от нее: «Ты плачешь?»

Плача, она медленно надела одежду и закуталась в пальто. Впервые он не стал ее сопровождать. Снаружи все было покрыто льдом. Она впитывала холодный воздух своим горячим лицом. На мосту Буним догнала ее с раскрытым зонтиком.

«Возьми, можешь простудиться».

На следующий день он снова ее ждал.

Рахиль отказалась от работы с глиной и начала писать рассказы и стихи, от которых тоже отказалась через некоторое время. Результатом она осталась недовольна. Они были слишком далеки от того, что она пыталась выявить, и только подчеркивали ее беспомощность и запутанности ее души. До сих пор она думала, что живет на двух уровнях, в двух мирах, внутреннем и внешнем. Во внешнем мире она могла бы достичь некоторой ясности, осознания того, чего она хотела и куда она направлялась. Однако это был внутренний мир, запутанный и запутанный, в котором она не могла найти свой путь. Все, что она знала, - это ее смущение и настроение, которое оно создавало. Она знала только сопутствующие мотивы, окраску этих настроений, и только через них она могла определить себя - самой себе.

Но теперь она обнаружила внутри себя третий уровень жизни. Это была болезненно мрачная яма, в которую она спускалась только во сне. Теперь она была погружена в него и в часы бодрствования, как слепая. Она спросила себя, исчез ли из ее жизни ее отец или ее расставание с Дэвидом заставило ее соскользнуть в эту яму. Она чувствовала себя настроенной на судьбу, как муха, запутавшаяся в осенней паутине, как слепая танцовщица, которую кто-то учил хореографии танца, который она не могла ни контролировать, ни понять.

Она увидит своего отца в этих темных комнатах. Он шел с ней в кооператив за продуктами. Он называл ее «Дочь», рассказывая ей о своей жизни, жестикулируя своими княжескими руками в вечном приветствии, вечном прощании. Внутри этих темных комнат она могла видеть вишневое дерево, покрытое цветами и снегом одновременно. Там было и лето, и зима. Она с радостью каталась с Дэвидом по белоснежным пастбищам, по прохладным просторам мира, а над их головами были молнии и гром, лезвия ножей и вой собак. Она увидела себя в *Сперре*вечности, *спешащую*, чтобы спрятаться со своей семьей, с Давидом, с Бунимом или одна. Кто-то мчался за ней - вечная гонка. Между ней и Дэвидом стояли леса заборов из колючей проволоки. Учительница иврита «Кармелька» написала на доске перед тем, как ее увели во время рейда: «Мимамаким. . . De profundis. . . » Рэйчел слышала, как она зовет на помощь в этой черной комнате. Что-то должно было с ней случиться.

По какой-то причине она чувствовала себя такой виноватой - та, которая закутывалась в пледы Мириам, которая лежала обнаженной на кровати Блимеле, которая наслаждалась своей меховой курткой ... та, которая ела хлеб и пила суп из своей столовой, которая могла смеяться и плакать, у которой была пара живых теплых рук, которые были готовы обвиться вокруг шеи любовника. Там, в этих темных комнатах, она ненавидела Дэвида за то, что он держал ее в ловушке. Это он, которого она любила, уничтожит ее, а не немцы. Там она ненавидела Буним. Это он, любивший ее, пожрет ее, а не немцы.

Она решила не видеть ни Давида, ни Бунима, чтобы заново укрепить свои внутренние силы. Но день, когда она не увидела Дэвида, был днем ​​без искры света. А Буним? Он стоял за стеной, ожидая ее со стихотворением, написанным ночью. Буним держал ее руку в кармане и вел ее работать по скользкой улице. Он заставлял ее есть его суп и каждый день стирал рубашку, чтобы носить ее, когда она приходила к нему. Он зажег свет в другой комнате, развел огонь и накормил им двери шкафа.

В комнате Буним стены плакали, упрекали, гнали ее; и все же они обнимали ее. Она сидела с Буним на кровати Блимеле. В другом конце комнаты, прислонившись к стене, стояло зеркало частично сгоревшего шкафа. Рахиль увидела в нем себя и Буним. Она знала, что сегодня, как и вчера, она заплачет, а он вскочит на ноги, раздраженный, сбитый с толку, спрашивая: «Почему ты плачешь?» Она не знала, что ответить. Одно ей было ясно: чем больше он злился на нее из-за ее слез, тем более она была готова остаться с ним. Его гнев, его крики высвободили что-то в ней.

«Почему бы тебе не пойти?» Он будет ждать, пока она оденется. «Почему вы пришли ко мне? Почему бы тебе не оставить меня в покое и перестать мучить меня? Неважно, мне не нужна твоя жалость. Я могу вынести это одна ».

Она протягивала к нему руки, смиренно ожидая, что он подойдет ближе. Когда он снова обнял ее, она услышала внутри себя голос, шепот: «Этот могущественный мужчина с опухшим лицом и больным сердцем хочет поглотить меня, чтобы встать на ноги. Я хочу, чтобы он меня поглотил ». И она шептала, разгладив его нахмуренный лоб губами. "Простите меня.

Затем, влюбленная в себя, видя себя таким великолепно отраженным в его глазах, она позволила бы ему служить ей; потому что она дорожила своим образом, который он ей дал. Она заслуживала, чтобы ее обслуживали. Она была правителем его стихов, которого он называл *Ахава.*Ее обожали. Ее душа и тело были единым целым, и они были полны света. Когда она ела с ним еду Бунима, его супы, его сахар и его хлеб, именно она чувствовала себя щедрой, гордой за то, что она была способна предложить себя ему в своей доброте.

Он подчинялся каждой ее прихоти. Она сдалась ему. Иногда, когда они смиренно смотрели друг на друга, Буним шептал: «Мы погибаем, *Ахава».*В их глазах не было страха. То, что он сказал, также означало: «Мы нетленные».

♦ ♦ ♦

Долгие дождливые дни. Снег таял; лед начал трескаться. И все же, хотя было начало весны, воздух был пронизан влажным, резким холодом. Гетто купалось в воде и грязи. По улицам и дворам плыли растущие кучи снега. Крыши постоянно трескались, с них падали глыбы льда. Мост стоял в грязи, перевернувшаяся гондола в Венеции заброшенного мира. Церковь была красным кораблем, который забыл, к какому порту он направлялся. Гетто плескалось в грязи, гудя, как затопленный улей. В сердцах геттоников уже наступила весна, и когда они в своих гниющих деревянных ботинках мчались к очередям с едой или на собрания, их глаза сияли, как тысяча солнц. Они не могли оставаться дома. Они должны были быть снаружи, двигаться, разговаривать.

Рэйчел и Буним много времени проводили на открытом воздухе. В ее квартире было холодно, и пол в его хижине был затоплен. Они шли по улицам до тех пор, пока, промокшие до мозга костей от дождя и холода, они не входили в ворота, садились на ступеньку и на время называли их своим домом. Они ели вместе или Буним читала, пока она не воскликнула: «Я должна бежать!»

«Опять бегство», - обычно говорил он, и она никогда не знала, было ли это с упреком или только с сожалением.

Однажды вечером она встретила его и сообщила ему новость: «Сионист Видавски покончил жизнь самоубийством. Принимал цианид. Кто-то из *крипо*рассказал о нем ».

В тот вечер Буним много разговаривал. Он говорил быстро, в уголках его рта выступила пена. Впервые он не взглянул на Рэйчел и, казалось, забыл, что она здесь. Он говорил о Видавском, которого однажды встретил - молодом человеке, который, боясь выдать товарищей на допросе, принял цианистый калий. Молодой человек был настоящим мужчиной. Самоубийство не было слабостью. Только те, кто сами были трусами, осуждали такие поступки как трусость. Даже человек, покончивший с собой из-за страха перед жизнью, также выкрикивал свое презрение к Богу, став хозяином своей судьбы. Тогда насколько большего уважения заслужил тот человек, который покончил с собой из благоговения перед жизнью?

Book Three 321

Глава двадцать четвертая

Самоубийство сиониста Видавски потрясло гетто. Буним не мог думать ни о чем другом. Тень юноши переходила в хижину Бунима и по ночам становилась у изголовья его кровати, упорно, пытливо спрашивая: «А ты? А вы?"

Буним лежал на своей кровати, заложив руки под голову, его глаза были обращены на закрытые ставни. Тень Видавски принесла с собой Мириам и Блимеле, родителей и сестер Бунима, поэтессу Сару Самет и поэта Бурстина, которые знали наизусть целые симфонии и ушли с «действием» одиноких людей. Тень Видавского увела со двора соседей, персонажей стихотворения Бунима. Буним пролистал все эти лица, как страницы книги. Он прошептал их имена и услышал, как они спросили: «Почему вы бросили нас?» Они вопили, требовали, проклинали: «Ты должен был носить нас внутри себя. Не дай нам исчезнуть безымянно. Снова возьми карандаш в руку ».

С помощью тени Видавски Буним зажег свечу у его постели. Он взял пустой бухгалтерский лист и карандаш и уставился в темноту. Медленно он начал раскачиваться, пытаясь уловить ритмы своего длинного стихотворения и вернуть в него свой разум. Но затем он увидел лицо Рэйчел в теплом пламени свечи; ее сияющие глаза звали его. Буним все еще раскачивался, но ритм был новый, молодой, пульсирующий энергией. Он покрыл белый лист ароматными танцующими словами. Тень Видавски все еще была у его постели, но чем больше Буним чувствовал его присутствие, тем с большим рвением он отдавался новому ритму, тем более опьяненным он становился в своем возбуждении.

Когда он закончил и карандаш выпал из его руки, он вздохнул, избавившись от десяти строф яркого любовного стихотворения. Но затем он взял страницу, скомкал ее в кулаке и зажег пламенем свечи, позволяя огню облизать кончики его пальцев. Он погасил свечу и накрыл голову гагачьим пухом. Тень Видавского снова привела к нему персонажей его стихотворения. Буним крепко зажмурился: «Дай мне жить!» он позвал их в своем сердце.

Блимеле коснулся кончиков пальцев ног холодными пальцами: *«Татеш,*возьми меня на руки. . . Пойдемте со мной. . . » она умоляла его.

Буним ходил с Рэйчел на писательские собрания к Владимиру Винтеру. Его спросили о его великом стихотворении. Его попросили прочитать главу вслух. Рэйчел тоже мучила его вопросами. "Вы остановились?"

«Да, я перестал», - сказал он ей.

"Почему, Симха?"

«Я не умею писать!»

"Почему?"

Однажды он воскликнул: «Вы очень хорошо знаете, почему!» Она оставила его и ушла. Он догнал ее и схватил за руку: «Я не могу продолжать без тебя». Он взял ее руку и сжал с такой силой, что у нее возникли судороги в пальцах. Он тяжело дышал, измученный; меховой воротник на его груди двигался вверх и вниз. Она знала, что его ноги все больше опухали. Врач сказал ему, что с его сердцем что-то не так, что он должен часто отдыхать. Она пошла с ним домой и заставила его лечь.

Он стал лежать в постели. Ирис снова стал его частым гостем; он также принес продовольственный паек Бунима. Когда Рэйчел хотела помочь по хозяйству Буним, он отругал ее: «Если вы пришли заниматься благотворительностью, вы можете уйти прямо сейчас!» Но когда она собиралась уйти, он извинялся, а затем звал ее: «Сядь рядом со мной. .. Просто сядь рядом со мной ».

Хижина приобрела прежний унылый вид. Теперь, с частично разрушенным шкафом, со столом без стульев, с мокрыми стенами вокруг него, казалось, будто вошло само отчаяние. В тот момент, когда она вошла, Рэйчел снова захотелось выбежать. Она немного посидела с Бунимом, а когда она больше не могла этого выносить, она вставала и, отводя от него глаза, бормотала: «Я должна бежать».

Он хватал ее за руку: «Почему ты убегаешь от меня?»

«Я не убегаю от тебя ...» Чтобы убедить его, она снова садилась, взяв его небритое надутое лицо руками. «Что нового в стихотворении?» она спросит.

Это его раздражало. Он был в ярости. В конце концов он говорил: «Иди, иди, если хочешь!» и покажет ей дверь.

♦ ♦ ♦

Первые запахи весны. Голубые полосы неба, пастельные полосы золота, которые ветерок, словно волшебник, вытаскивал из своей облачной шапки, где пряталось солнце. Мокнущая мутная земля Марысина, набухшая, ждет удобрения. Цветущие деревья. Листья нежной морской зелени. Землю уже измеряли, чтобы разделить ее на *дзиалки,*и на этот раз говорили, что *шишки*отказались от ста пятидесяти квадратных метров *pro publico bono.*Ириска уговорил Бунима обработать участок земли перед хижиной.

Буним стоял в очереди, чтобы принести два килограмма картофельной кожуры на карточках еды для себя и Ириски. Очередь была толстой, люди толкались и толкались. Но в их движениях была игривость, а в словах - легкая легкость. Это произошло из-за восхитительного воздуха и того, что стоять в очередях скоро перестанут. Это произошло из-за двух килограммов картофельной кожуры, которых люди так долго ждали. Женщины видели, как они готовят блины, пельмени, «рыбу», «мясо» или «цимес» из картофельной кожуры.

Уши Бунима были полны шумихи. Он позволял себе *толкаться*взад и вперед и думал о своей *диалке.*Он боялся этого, боялся Мириам и Блимеле, которые станут его партнерами. У них было право. Моменты, когда он преклонил колени на грядке земли с Мириам, сажая свеклу, морковь и капусту, в то время как Блимеле стояла рядом с коляской своей куклы и смотрела, были моментами, которые налились на него, как вино, наполнив его душу до предела. Те редкие моменты, о которых он тогда лишь поверхностно знал, теперь казались округлыми и завершенными в своей простоте и умиротворении. Поэтому он боялся, что Мириам и Блимеле могут заявить о своем праве во имя этих моментов. И все же он хотел иметь участок земли. «Это не ослабит его сердце, но укрепит его», - подумал он. Он хотел свеклу и редис, чтобы приготовить для Рахили маленькие угощения. Он слушал болтовню женщин в очереди, чтобы уловить рецепты, которыми они обменивались. В самом деле, теперь он стоял здесь в очереди, чтобы приготовить *бабу*из картофельных шелух для визита Рэйчел в тот вечер.

Сегодня был важный день. Новое пальто он должен был забрать у портного, жившего во дворе на Хокель-стрит. Портной был очень больным человеком и сшил пальто вручную после того, как уехал в курорт. Вот почему ему потребовалось два месяца, хотя Буним пообещал наградить его дополнительными пятью дека хлеба сверх той половины буханки, которую он уже заплатил, если он поторопится.

Очередь медленно продвигалась вперед. По нему бродил Человек-Ириска с коробкой конфет, подвешенной к его шее, и кричал своим плачущим голосом: «Лекарства для сердца! Хорошие, вкусные средства для сердца! »

Его борода и локоны были завернуты в грязный коричневый чулок. Он сделал это, чтобы доставить удовольствие Буниму, который настоял на том, чтобы он прикрыл свою «запрещенную» бороду и косы и не подвергал опасности свою жизнь. Печальные ручейки воды стекали с глаз и носа Человека-тоффи. А если кто-то звал его купить конфету, он расплакался еще больше, с энтузиазмом вытирал нос рукавом и высыпал на голову покупателя благословения и оптимистичные цитаты. Толпа знала, что он не в своем уме, и на его странные вопросы давали странные ответы.

Наконец он присоединился к Буниму в шеренгу. Он ни на мгновение не прервал свою болтовню, не отрывая глаз от Бунима, и плакал: «Ой, свет Божий исчез с твоего лица, дорогой сосед. Я видел это в тебе. Я видел это тогда, ой, той зимой я ясно видел это на твоем лице ... Твоя жена, святая женщина, разжигала огонь в печи листом картона, варила суп из листьев петрушки. А маленькая девочка в зимнем пальто, похожая на свою Маму, как одна капля воды похожа на другую, шла гулять со своей куклой вокруг стола. А ты сам, дорогой сосед, лежишь в перчатках, с карандашом в пальцах, и пишешь ... пишешь. Тогда Божий свет был на вас, я могу поклясться в этом. . . »

«Ты перестанешь меня беспокоить и заткнешься?» Буним зарычал, отталкивая Ириски. «Давай, ты можешь заработать немного денег, пока ждешь». Маленький человечек отошел от него всего в одном шаге.

Человек-Ириска преследовал Бунима, говоря плачущим голосом жгучие, мучительные слова. Слова оставались запечатанными в памяти Бунима, по ночам сверляясь в его сознании. Ирисок тоже часто заходил в хижину, когда там была Рэйчел; она сидела на кровати Блимеле в своей белой блузке, ее лицо было свежим, ее волосы были беспардонно растрепаны, а щеки покраснели. Или он видел ее на кухне, греющей свои длинные белые пальцы над конфоркой плиты.

Он быстро кивал, останавливался на некотором расстоянии от нее и спрашивал, отводя глаза: «Как дела, дочь?» Буним попытается его выгнать. «Хорошо, я вернусь позже», - говорил человечек. Но вместо того, чтобы уйти, он входил в другую комнату и останавливался перед шкафом, поглаживая платья Мириам. «Сожгли двери, сожгли их. . . » Он вытирал глаза и подходил к коляске куклы, заставляя ее пищать, когда он ее раскачивал. Или сказал бы, оглядываясь: «Стулья исчезли, дорогой сосед, не так ли?»

Буним вынужден был вывести его силой. Маленький человечек рыдал: «Дорогой сосед, ответь мне. Почему ты мне не отвечаешь? »

«Сумасшедший дурак!» Буним яростно кричал ему вслед.

Несколько минут, что Человек-Ириска простоял с Буним в очереди, было достаточно, чтобы весна исчезла из сердца Буним. Он яростно ненавидел Человека-тоффи и боялся, что потеряет самообладание и разорвет его на куски. Что это существо хотело от него? Почему все вокруг, казалось, было настроено отравить его жизнь? Он не позволил бы себя затащить. Он будет драться - и Рэйчел ему поможет. Она должна ему помочь, особенно сегодня. . . когда он впервые должен был надеть свое новое летнее пальто. Он готовил *бабу*и садился рядом с ней. Он снова просил ее переехать к нему. Он должен убедить ее, что это ее судьба, их судьба. «Ты должна решить», - говорил он ей. «Я не могу так продолжать ...» Он признавался ей в этом, как много раз прежде. Он знал, что она ответит.

«Хорошо, я решу», - говорила она и не появлялась несколько дней, оставляя его беспокойным, его сердце трепетало.

Воздух стал сиренево-серым, тусклым. Едва заметный розовый отблеск покрывал ярко-голубую окраску окон церкви и домов на улице. Запас картофельной кожуры в магазине почти заканчивался; люди в очереди рассердились и начали всерьез пихать друг друга.

Ириска отказался отойти от Буним.

«Это будет недолго, дорогой сосед, и мы с этим покончим». Он с грустью посмотрел Буниму в глаза. «Клянусь, я знаю, что у тебя на уме. Вы можете прогонять меня сколько угодно, но я не могу этого допустить. Твоя душа парит в небесах, не так ли? И сколько времени прошло с тех пор, как ты валялся в пыли, ползая, как червяк? Теперь вы вышли из кокона, вы стали бабочкой, не так ли? И все, дорогой сосед? Вы больше ничего не можете сделать? Итак, я говорю вам, что вы не должны. . . Кто угодно может это сделать, но вы не должны. Кто угодно может позволить вам, но я не должен. Вы очень хорошо знаете, что вы родственник мне, больше, чем родственник, поэтому я могу высказать вам свое мнение. Из этих тридцати хороших газовых горелок, которые вы когда-то включили, должно вылупиться нечто большее, чем бабочка. Конечно, я знаю, что вы способны как опьянеть смертью, так и отравиться жизнью, но это не должно делать вас слабыми или побеждать вас. Ты должен выйти из *Пардеса,*дорогой сосед, с плодом, несущим семена *пшат, драш, ремец, дерн.*. .״

Наконец они прошли через подъезд сарая. Стая нервно пищавших женщин стояла вокруг кучи намокшей картофельной кожуры. Один из них схватил сверху пригоршню, бросил на грязную чешую и высыпал в открытый мешок Бунима. Между трещинами темных досок сарая проникали ярко-фиолетовые лучи, делая женщин похожими на синие фигуры на картине Шагала.

По дороге домой Ириска продолжил свою плачущую проповедь. Но на этот раз Буним его не слушал. Он был истощен, настолько изможден, что едва мог ходить. Его разум перестал работать, заставив его почувствовать, что нечего понимать, не нужно нести бремя, нет обязательств, которые нужно выполнить. Он никому ничего не должен. Он ехал домой с мешком мусора. Он бросился на кровать, и все.

Последние полосы света исчезли с неба. Идя дальше, Буним увидел себя в плену в Египте, несущего кирпичи для строительства огромной пирамиды. Точно такие же сумерки опустились над пустыней.

Кто-то снял с его спины ношу и предложил растянуться на прохладном песке. Кто-то накрыл его песком, шепча: «Покойся с миром. . Он моргнул. Из оконного стекла все еще светилось синее отражение. Откуда могла взяться эта голубизна, если бы все небо было темным? Он начал медленно ткать серо-голубую полосатую ткань его летнего пальто. Насколько он помнил, это было его первое летнее пальто. Какой парадокс! Приобрести летнее пальто именно здесь, в гетто! Он видел себя одетым в нее. Наступала не ночь, а день, его свет был таким же нежным и мягким, как кожа Рэйчел. Взойдет солнце, свежее и сочное, как губы Рэйчел. Его сердце начало биться, как будто десятки барабанных палочек стучали по нему, разбудив его. «Пальто готово! Беги к портному за ним. Торопиться!"

Буним повернулся к Ирискам: «Возьми сумку, поделись сам. Я скоро вернусь".

Когда он вышел из портного в новом пальто, было уже очень темно. В небе проплыли черные лоскуты облаков. Это было его старое черное зимнее пальто с плывущим от него отвратительным меховым воротником. Если бы только его ноги не были такими слабыми, если бы только его плечи не опускались, как будто все еще давили тяжелый груз. Как все могло быть по-прежнему? Было ли еще обязательство выполнить. . . кирпичи нести? Вместо этого над его головой висело черное пальто, которое, казалось, уплыло прочь. Так и останется. Это не было закончено. Только то, что теперь у Буним было два пальто: одно черное и одно синее, зимнее пальто и летнее пальто. Они будут ссориться друг с другом и мучить его. Но он отказался, чтобы его разорвали на части, хотя его опухшие ноги отставали, и его сердце было усталым. Ириска не позволила ему утонуть. Буним носил оба пальто. Оба будут служить ему и украшать его, они не ослабят его, а сделают сильнее.

Он шел на встречу с Рэйчел, но внезапно повернул назад. Он не увидит ее сегодня вечером. Сегодня вечером он впервые откажется от нее по собственному желанию. Он придет к ней другим путем, более похожим на буним. Его чувства к ней должны были стать пламенем, которое вместо того, чтобы пожирать его, согревало его. Теперь, когда он был опьянен тоской и любовью, он должен вернуться домой. Вместе с Toffee Man он готовил *бабу,*и они оба ели ее в другой комнате, где он не зажигал свет. Он будет держать уши открытыми, а сердце жаждет безумных и разумных слов Человека Ириски. Он проглатывал их вместе с блюдом с картофельными очистками.

Той ночью Ириска спал в постели Блимеле. Он очень долго говорил и плакал в темноте. В комнате было большое поглощающее ухо. Через него Буним услышал первые строки новой главы своего большого стихотворения. На рассвете он встал и взял несколько страниц бухгалтерской бумаги.

♦ ♦ ♦

Буним стоял на лестничной клетке дома Рэйчел и слышал, как она закрыла дверь наверху, слышал, как ее ноги скакали по лестнице, его ухо улавливало мягкий скрипящий шорох ее руки о перила. Она стояла перед ним, ее пальто было перекинуто через плечи, тонкий темно-красный шарф, завязанный узлом на ее груди, касался его кончиками локонов. Пряди волос у нее на лбу дрожали. Ее лицо все еще было покрыто пеленой сонливости, в ее глазах было отражение ее снов; удивление смешалось со страхом. Она посмотрела на него сквозь дымку. Затем ее лицо просияло.

«Поздравляю!» - воскликнула она, проводя рукой по пальто. "Повернись. Дай мне посмотреть, как это подходит ». Он почувствовал, как она погладила его по плечу и спине. «Гей

цвет!" ее голос дошел до него. Затем она повернулась к нему лицом. "Классно выглядишь!"

Он взял ее за руку. «Хорошо, что сегодня был день отдыха», - сказала она и наблюдала за ним со стороны, удивившись, увидев, что он так изменился. Он с упреком подумал, что она даже не спросила, почему он не явился накануне, но тут же сдержался. Зачем поддаваться деструктивным мыслям? Это был важный день для него, для них двоих. Он вёл Рэйчел на кладбище, к могилам родителей. В кармане у него было стихотворение, посвященное им, глава его длинной эпопеи. Он сделал две копии этого. Он читал ее Рэйчел, а затем хоронил одну копию в могиле своей матери, а другую - в могиле отца.

То и дело останавливались у окна пустой квартиры и заглядывали внутрь. «Почему бы тебе не переехать сюда?» Рэйчел указала на домик с запущенным садом в Марысине.

Он пробормотал: «Только если ты переедешь жить со мной. . . В противном случае я предпочитаю это там ». На кладбище он почувствовал, как она сильнее прижимается к нему. «Живи со мной ...» - прошептал он ей на ухо. Она опустила голову. Он увидел белизну ее шеи между волосами и красным шарфом. Он говорил с этой белизной: «Рэйчел, мне трудно так жить. Моя работа ... Мне нужно душевное спокойствие, уравновешенность. С тобой я мог бы этого добиться, и. .. Ириска говорит, что гетто - это ужасная *пара.*Лишь немногие из них могут вернуть плод .. . Те, кто умеют, должны. Я должен хотя бы попробовать ... Надо. Сейчас нет ничего более священного ».

По обе стороны главной дороги царила тишина, полная жизни. Земля между старыми деревьями и могилами кишела пчелами и мухами, жуками и бабочками. На ветвях пели птицы. В заросших боковых дорожках сучья оплетали сети света и тени. На большом поле, полном сырых могил без надгробий, прорастала молодая трава. Из-под зелени выглядывали деревянные маркеры с именами погибших. Маркеры выглядели как большие бабочки, сидящие у изголовья каждой могилы.

Буним ходил среди могил 1940 года, читая метки. Рэйчел последовала за ним; отозван, неуверен. Она смотрела на новое пальто Бунима и наблюдала за его медвежьей походкой. Ей хотелось убежать. Ее сердце начало колотиться, а ноги дрожать от беспокойства, которое охватило ее. Но затем Буним повернулся, показывая: «Здесь лежит мой отец».

Он положил руку ей на плечо и вытащил из кармана несколько листов бумаги. Своим быстрым невнятным голосом он начал читать стихотворение, посвященное родителям. Затем он вынул еще один лист бумаги, на котором написал любовное стихотворение, которое он сжег и затем вспомнил тем утром. Воздух был теплым, солнце обжигало спину Рэйчел. Лицо Буним было ясным, красивым. Даже острые глубокие борозды на лбу теперь были едва заметны. И все же ей было холодно. Она завидовала мухе, жужжащей над ее головой, завидовала птицам в ветвях, листьям на деревьях. Буним свернул два листа бумаги и закопал их возле маркера с именем своего отца. Держась за плечо Рэйчел, он отправился искать могилу своей матери. Когда он его нашел, он повторил церемонию. На этот раз он попросил Рэйчел сесть рядом с ним на траве у могилы. Когда они сели, прижавшись друг к другу, он сказал: «Теперь ты мой». Она широко открыла глаза. Он приложил руку к ее рту.

Она встала: «Пойдем, пошли».

«А / г *ава*...» он схватил ее за руку, сжав ее пальцы. Он с силой притянул ее к себе. Она лежала в его объятиях.

«Я люблю Дэвида ...» - пробормотала она между его поцелуями.

«Это ложь», - ответил он. "Ты любишь меня. Ты моя *Ахава.*Вы должны поддержать меня ». Наконец он отпустил ее, мягко улыбаясь: *«Ахава,*я тебя понимаю. Конечно, ты ничего не можешь с собой поделать. Я помогу тебе, сделаю тебя готовым ... »

Она оторвалась от него: «Оставь меня наедине со своим разговором».

Он продолжал улыбаться. «Вы знаете, что то, что я говорю, правда, потому что, если бы это было не так, вы бы давно порвали со мной. Почему ты не убегаешь? »

«Ты не позволяешь мне!» Она высвободилась из его хватки и красного шарфа на шее и побежала, перепрыгивая через могилы и между ними.

Буним остался один в поле. Он растянулся на траве, уткнувшись лицом в ладони. Затем он сжал кулаки, прислонившись к ним лбом. «На четвереньках ... на четвереньках буду ползать. . . и я приеду, - прошептал он себе.

На следующий день он радостно ждал Рэйчел. Он показал ей флягу в руке. «Угадай, что у меня есть для тебя», - крикнул он.

«Суп!» она пыталась угадать.

«Нет, на *зиммесе*из редьки! У меня есть рецепт. Заходи в угол и попробуй! » Он достал из кармана ложку и протянул ей. Она попробовала ложку *цимес,*пока он не сводил глаз с ее губ.

"Небесный!"

Он взял ложку из ее рук и стал ее кормить. «Я уже поел», - заверил он ее. «Это все для тебя, иди, я тебе кое-что покажу. Моя новая *дзиалка.*Поменял свой старый на участок в Марысине. И да, вы знаете, что в этом году цветет вишня? »

♦ ♦ ♦

В последующие дни Буним вернулся в свою длинную эпопею. Он работал до поздней ночи, утром забирая написанные листы в Газовый центр. Он ждал Рэйчел реже. Весь день он тосковал по своему месту у окна своей хижины. Туда заглянула вишня со своей праздничной копной из листьев и цветов. Его возрождение было чудом. В его честь Буним открыл ставни. Как только он входил в комнату, он ставил ящик на стол у окна и ставил флягу со своим супом на стол. Ему всегда было трудно есть одному. Теперь дерево составляло ему компанию. Она сидела с ним, ела с ним, разговаривала с ним.

Затем он занялся стиркой. Он повесил ее снаружи на веревке, которую он привязал между деревом и ставнями, затем вернулся к окну в хижине, положил перед собой несколько пустых листов бумаги и вынул карандаш. Он одел свою душу так, как она была написана до написания, обратившись за помощью к библейскому Иеремии. Затем карандаш улетел сам по себе. Никогда еще его карандаш не скакал так победоносно по линиям, как в те дни его нового энтузиазма. Глубоко, глубоко внутри него другая пара глаз смотрела на цветущее дерево, а другой рот прошептал: *«Ахава,*ты со мной. Вы Мириам. Вы Блимеле. Ты голубь ».

Вокруг вишневого дерева собрались молодые соседи. Иногда одна из них тепло насвистывала, а другие жужжали: «Золотой павлин пролетел над Черным морем ...» Некоторые пожилые женщины рассказывали болезненные истории о том, что произошло в прошлом году или позапрошлом году. Подальше от дерева и молодые, и старые стояли на коленях на земле, копали, сажали, сеяли.

На нескольких грядках нежные листья свеклы уже были зелеными, молодой лук прокладывал свой путь вверх слабыми тонкими линиями. Где-то в другом месте женщина, игривая, как маленькая девочка, шагала по слою земли с мешком с семенами в руке. Медленно она позволила им просеять сквозь пальцы.

Часы шли. Изображение двора в окне стало тускнеть. Грядки земли погрузились в темноту вместе с силуэтами соседей. Вечер был темной губкой, все впитывающей, стирающей; ночь - доска, на которой остались только очертания вишневого дерева. А перед Буним оставался белый лист бумаги, который губка стереть не могла.

Близорукие глаза Бунима уже не могли разглядеть буквы, но карандаш его продолжал работать. Казалось, что карандаш не имеет точки и не оставляет следов. Это заставило его чувствовать себя свободнее, менее сдержанным. Он парил между небом и землей - каждая написанная линия становилась линией горизонта. Но на самом деле он писал главу о Человеке-Ириске. Он поместил его в свое стихотворение таким, каким он был - его миниатюрная фигура, его летящий габердин, его тонкая борода и косынки, а также коробка, подвешенная к его тонкой шее. Он скопировал свое пение: «Люди, купите лекарство от сердца!» И описал свои крошечные глазки - источник его великого слезливого причитания. Он повторял свои изречения - непонятные и ясные, безумные и разумные - от которых он, Буним, так часто хотел убежать. Повседневные разговоры Человека-тоффи приобрели в стихотворении поразительные размеры.

Наконец карандаш начал замедляться. Нить, сворачивающаяся из сердца Буним, медленно уходила. Его рука остановилась. Он поднял голову от бумаги и туманными глазами посмотрел на дерево снаружи. На его губах заиграла улыбка. Его сердце было легким, спокойным. Мирная гордость. Белый голубь, радость созидания, остывал на краях написанного листа бумаги.

Потом он перестал что-либо видеть; На лбу у него выступили капельки пота. Он почувствовал боль в спине, его позвоночник окоченел. Его сердце билось в поспешном нерегулярном ритме. Он поднялся из ящика, позволив ему упасть за собой, и, сложившись пополам, вытянув обе руки перед собой, он двинулся к своей кровати и упал на нее, как бревно, положив обе руки на свое сердце, как бы удерживая его. Сердце передало движение его рукам, и они тоже начали подпрыгивать. Вместе с руками все его тело начало пульсировать. Он жаждал глотка прохладной воды и с тоской посмотрел на дверь, в сторону кухни. Но у него не было сил встать. Ведро с водой было слишком далеко. Он испугался. Утро никогда не наступит, никогда больше. Он никогда не закончит свое стихотворение. . . Никогда. Он добрался только до внешних ворот. . . нужно было только *ремез*и не дальше, а он уже был таким измученным, таким слепым. . .

Завыли сирены. Воздушный налет. Буним насторожился. Приближались самолеты. Земля содрогалась. Взорвались бомбы. Громко и ритмично тикали зенитные орудия. Молния. Гром. Луч света демонически засмеялся, освещая окно. Стены хижины загудели. Дьявол сидел на сердце Бунима, которое бешено колотилось. Рот Буним был открыт. Он глотнул воздух, высунув сухой язык. Но затем среди грохота и грома он услышал тонкое слабое жужжание. Сверчок в стене запел мелодию для Буним, освежающую, как глоток воды: «Может, ты придешь. Возможно, ты будешь ... несмотря ни на что.

«Вода», - простонал Буним, увидев, что сверчок приобрел человеческое лицо; личико с бородкой и боками, завернутое в чулок.

Когда он открыл глаза, ставни на окнах были закрыты, и в комнате горел свет. Ириска склонился над ним и причитал. «Дорогой сосед, как может человек потерять сознание, находясь один в комнате? А кроме того, в то время, когда весь задний двор ликует в ночном белье? Я пришел сообщить вам хорошие новости. Весь Лодзь спрятан в бункерах, только мы, геттоники, празднуем посреди ночи. Приближаются русские! Вы слышите гром? » Ириска покачивалась над Буним. «Еще воды? Вот, возьми еще. В конце концов, вода не нормируется ». Вдруг он залился слезами. «Горе мне, как ты выглядишь, дорогой сосед! А ноги у тебя опухли, как тыквы, горе мне! И посмотрите на лицо, которое вы наделили! Ради всего святого, почему бы тебе не позаботиться о себе! Разве вы не знаете, что в таком человеке, как вы, разум и тело связаны вместе? Вы думаете, что я не знаю, что вы делаете? Я имею в виду .. . делиться своей едой. Я имею в виду, есть ваш суп вместе ... из одной тарелки ... Да, возможно, это питает душу, но не все, что питает душу, удовлетворяет тело ... И кувшин должен быть целым, дорогой сосед, чтобы в нем можно было вмещать вино. Итак, открой рот, возьми лекарство для сердца. Возьми, отсоси, вот так. Я вижу, тебе лучше. Затаил дыхание? Ты слышишь? Опять гремит; это разрывает землю на части. Благословение русских голов. Все человечество ждет их, как дневного света ».

Во время монолога Человека Ириски сердце Буним медленно начало успокаиваться. Мысленно он сравнил его с Человеком-Ирисками из своего стихотворения. Между ними была разница. Но в Буниме двое были одним целым. Буним снова захотел поднять карандаш. Он сел и посмотрел на Человека Ириски, который стоял перед ним с кружкой воды в руке. «Спасибо», - сказал он, слегка оттолкнув его. «Сейчас я занята. Иди в добром здравии ».

Они услышали взрыв. Ириска насторожился. "Ты слышишь? Такая тревога! С тех пор, как гетто превратилось в гетто, ничего подобного не было! » Он достал две конфеты и бросил их на кровать. «В случае чего, дорогой сосед, положи ириску в рот. Это лучшее лекарство для вас ».

Как только Ириска ушел, Буним вернулся к работе, но у него не хватило терпения. Он вышел на улицу. Двор казался пустым; пока он не заметил движущихся по стенам теней; белые лица, стоящие рядом друг с другом, были обращены к срезу неба, прорезанному окружающими крышами, к светящимся и гаснувшим огням. Лица блестят, как тарелки нищих. С каждым взрывом они звенели тонкими приглушенными звуками радости. Налетчики двора пытались сдержать толпу. Один из них подошел к Буниму.

"Ты сошел с ума?" он отругал его: «Ты думаешь, я позволю тебе возиться посреди двора?»

Буним укрылся под вишневым деревом. Несколько соседей стояли там, глядя в небо. Он сел в траву. Вскоре он вернется в свою хижину и возьмется за письмо. Ириска был прав - нужно заботиться о своем теле. Лепесток упал с дерева, закружился в воздухе и угодил в ладонь Бунима. Он посмотрел на это. Был ли кто-то за лепестком цветка? Был ли кто-то за той ароматной ночью, раздираемой взрывами? Был ли кто-то за этими тенями с лицами, похожими на тарелки нищих? Был ли за ним кто-то, Буним, поэт с опухшими ногами, с диким сердцем и близорукими глазами? Был ли кто-то за этим зеркалом, или все, что в нем отражалось, было иллюзией - с одной стороны, и ничто - с другой?

Он сжал лепесток цветка в кулак и встал. Он вошел в темную хижину, зажег свечу и поставил лепесток на стол. Белый лепесток впитал тепло свечи и свернулся клубочком, словно в спазме удовольствия или боли. Когда Буним смотрел это, он вспомнил Рэйчел. На мгновение ему показалось, что она была там. Но потом он вспомнил, что вчера его глаза не смотрели на нее. Ему стало любопытно время, и он взглянул на часы, начиная отсчитывать часы до утра. Он посмотрел на написанные страницы на столе. Он даже не читал написанного в темноте. Он посмотрел на газету, но увидел только белую блузку Рэйчел. Завтра он увидит ее. Теперь он не будет читать страницы, а будет читать их в ее присутствии.

В следующий момент он сидел за столом, положив голову на свечу, и работал. Через белый лист бумаги вел кратчайший путь к Рэйчел, через колеблющиеся в ритме строфы, через рифмующиеся слова. Буним перелез через них, как по ярко освещенной лестнице, перепрыгнул через них в сторону темно-красного шарфа и белой шеи под волнами каштановых волос. Но затем лестница постепенно начала трястись, становясь тяжелой и неровной. Слова, которые он выбрал, были плохими; они были холодными, плоскими и фальшивыми. Теперь, когда рядом с ним горела свеча, он чувствовал себя ослепленнее, чем раньше, в темноте.

Белый голубь перестал ворковать, он улетел. Карандаш все еще хромал по бумаге - твердый остроконечный костыль. Сердце Бунима горело разочарованием, бушевавшим против голубя. Это было капризно, но он побеждал его и не позволял ему покинуть себя. Он просидел за столом всю ночь и заканчивал двадцать первую главу. Он хотел снова прокрасться в его ряды, но они отвергли его. Слова кричали ему: «Вы не понесли нас до конца срока! Мы не твои! Вы нас умно истолковали. Мы сухие. Потому что вы имеете в виду не нас, а ее. Это она забирает тебя у нас. Это она прогнала голубя ». Буним боролся со строфами, ссорился с ними: «Это ложь. .. Она голубь ». В внезапной вспышке гнева он погасил свечу и остался в темноте, раскинув руки на листах бумаги, прислонившись к ним головой. Завыли сирены. Тревога закончилась.

Он разделся и лег в постель. Беспокойно поворачиваясь и извиваясь, он поддался ненависти к Рэйчел. Сирена завыла в его голове: «Я ненавижу тебя, *Ахава».*Он не должен позволить ей уничтожить его. В то же время в его сердце закипало беспокойство. Почему она не пришла к нему? Она больна? Что-то случилось с ее семьей? Он не мог простить себе, что не побежал до комендантского часа, чтобы проверить, как она поживает. Он упрекал себя в том, что так поглощен своим письмом. «Эгоист! Мегаломанический писатель! » он ругал себя.

Когда он наконец заснул, ему во сне явился Блимеле. Мириам изо всех сил дул в открытые горелки печи, не в силах разжечь огонь.

Утром он бросился к Рэйчел. Он встретил ее на улице. На ней было летнее платье, которого он никогда раньше не видел. Он был бледно-бирюзового цвета, усыпан маленькими цветочками. Платье было плотно прилегающим, раскрывая форму бедер и груди. Лицо и уши Бунима покраснели. Как будто он впервые увидел Рахиль обнаженной; женщина - сук, ее голова - бутон цветка.

Она тоже покраснела и сказала: «Я знаю, что это слишком туго. . . слишком короткий. Вот почему я никогда его раньше не носил ». Она подняла руку к своей шее, не зная, смотрит ли он на Звезду Давида на платье или на ее грудь, и попыталась прикрыть обе руки рукой. «Неужели это так плохо выглядит?»

Он убрал ее руку с груди. «Нет, это тебе очень идет».

Она стала серьезной. «Я купила это платье в Rag Resort ... У меня тоже есть несколько блузок, но пятна невозможно удалить. Только это платье как новое. Мне нечего надеть. И я уже не против носить такие вещи. В такие дни мне хочется надеть что-то новое ».

Они посмотрели на небо, обещающее солнечный свет. Рэйчел обняла Буним голой рукой. Он спросил: «Почему ты не пришел вчера?»

Она смеялась. «Я пришел. Я заглянул в окно и увидел, что вы работаете, и ушел. У тебя новая глава, правда, Симха? »

«Нет, еще не готово . ... и больше не называй меня Симча. Их глаза встретились, ее глаза были изумлены, а его глаза полны внезапной враждебности. Ее голые руки, ее покачивающаяся фигура, босые ноги в сандалиях, высокая белая шея и рот, полный сладкого яда, только сейчас заставили его понять, что она действительно была Змеей.

«У нас еще много времени», - виновато сказала она. «Пойдем, пойдем к твоей *диалке».*Она позволила своей руке скользнуть по его и взяла его за руку. Он почувствовал ее прохладные пальцы в своих. Даже нагота ее пальцев обожгла его.

«Скорее зайди ко мне на минутку», - предложил он.

«Сидеть у себя в хижине в такой день?» Но она уступила ему. По мосту она побежала впереди него. Он посмотрел на ее ноги, на ее розовые каблуки. Его усталое сердце трепетало. Он едва мог поднять опухшие ноги.

Перед воротами на Хокель-стрит стояла группа соседей, среди которых был Человек-Ириск со своей коробкой конфет. При виде Бунима он, рыдая, выступил вперед: «Бедняга, портного нет. Прошлой ночью лег спать и так и не проснулся. Ваше новое пальто живое, не так ли? И он мертв ». Он прошел через двор с Буним и Рахиль. «Слышишь крики?» он спросил. «Они идут от портного. Два соседа дерутся из-за реликвии. Под подушкой нашли четверть буханки хлеба ».

Пока Ириска продолжал говорить, Буним краем глаза наблюдал за Рэйчел. Он видел, как ее взгляд блуждает по окнам. Затем он увидел, как ее взгляд остановился на вишневом дереве. Там стоял Дэвид. Буним увидел, как лицо Рэйчел загорелось. В следующий момент она ушла от него, взлетев своими белыми руками к паре рук, которые держали ее за талию. Ее руки обвились вокруг шеи Дэвида.

Буним отослал Тоффи и ворвался в его хижину. Ему не хотелось подходить к окну, но он стоял там мгновение спустя, глядя на пару, которая обнималась под деревом, их рты сомкнулись. Они говорили быстро. Они смеялись. Буним не злился или не ревновал, не злился или не обижался. У него было только одно желание: чтобы белые змеиоподобные руки расслабились с шеи Дэвида, а платье с цветочным принтом отделилось от него и подошло к хижине. Он был терпеливым. Он был уверен, что встреча этих двоих под деревом была не чем иным, как еще одним шагом к их вечному расставанию. В объятиях другого Рэйчел казалась более похожей на змею, более соблазнительной и более бунимской, чем когда-либо прежде.

В самом деле, вскоре он увидел, как она прощается с Дэвидом и почти танцует, слегка покачивая бедрами, приближается к хижине. Сердце Буним забилось от изнеможения, она бросилась ей навстречу. Она заполнила окно своей цветущей грудью цвета моря. «Я не могу войти, - засмеялась она, - мне нужно бежать на работу». Когда она увидела выражение его лица, она добавила защищаясь: «Я вижу по твоему лицу, что ты вдохновлен. Я приду завтра, и я уверен, что глава будет закончена ». Она помахала рукой и убежала.

"Снейк!" - прошипел он ей вслед.

Буним больше не читал свое стихотворение Рахиль и избегал разговоров с ней о своей работе. Он решил полностью освободиться от Рэйчел. И все же его влечение к ней было страстью, с которой он не мог справиться. Это был бурный поток, спускающийся каскадом вниз. Если бы только этот ручей мог, вместо того, чтобы затоплять его пастбища, помогать ему удобрять их, обогащать его почву, каким легким стал бы для него самый тяжелый труд! Он не мог простить ей того, что она не поняла этого, не уступила. Но он, Буним, все равно был великаном. Все, что ему нужно было достичь, он достигнет, несмотря на нее, несмотря на стремительный поток вниз.

Он изобрел мальчишеское развлечение. Он перечислил себе недостатки Рэйчел. Она была совсем не такой красивой, как он видел ее в своем заблуждении, ни физически, ни в душе. Она создавала иллюзию внутреннего богатства. На самом деле она была гораздо поверхностнее, поверхностнее и в то же время избалованная и вовсе не такая умная, как ему казалось. Он уловил злобу в ее взгляде, замаскированном под покровом ласковой сладости. Это змея выглянула из ее глаз.

Однако без некоторой нежности он не мог думать об этих мыслях. Ее недостатки не делали ее более отстраненной. И лезвие ножа, которое он вставил между ней и собой, не принесло ему никакой пользы. Потому что он работал лучше всего, когда чувствовал свою любовь, когда Рэйчел мирно наблюдала за ним. Она была *Шечиной,*голубем. Именно его страсть к ней заставляла его страстно петь о жизни, о печали и потерях, о жажде мести, о гордости, о том, что его растоптали, но при этом он оставался свободным. В такие моменты он втиснул образ Рэйчел в свои лучшие строчки. Недаром она облачила свою наготу в цветочное платье, которое прибыло вместе с телегами с окровавленной одеждой. Она сделала это ради его стихотворения. Это были Мириам и Блимеле. В своей оскверненной красоте она валялась в сточных канавах гетто. Жандармы у забора целились в нее. Немцы издевались над ней во время *Сперре.*Ее вели через все «действия», на все эвакуации; она полезла на все виселицы. Он оплакивал ее, оплакивал ее. Он закутал ее в накидки мужественной, отеческой нежности, в накидки из своих очищенных стихов, прижимая к себе, как оскверненный Священный Свиток.

И поэтому постепенно он начал принимать как клинок между Рэйчел и им самим, так и его близость к ней, превосходящую любые препятствия. И в его повседневной жизни, в часы, когда он не был с ней, его щедрость иногда заменяла его самомнение, его любовь заменяла его горечь. Он гордился тем, что победил Рахиль и восстановил свою творческую силу. И все же он был скромным и покорным, поскольку знал, что не смог бы обладать такой силой, если бы Рэйчел отказалась предложить ему то немногое от себя, которое она сделала. Теперь он стал беспокоиться по другой причине. Сам он понятия не имел, как примет ее; будет ли он спокойным и счастливым или агрессивным и враждебным. Случалось, что он ждал ее несколько раз в день, и бывало, что он выходил из своей хижины, когда ожидал, что она придет. Не раз ее прогоняли, когда она навещала его, называя ее «Снейк!» и предупреждая ее никогда не возвращаться. Но он ждал ее на следующее утро с чашкой *цимес,*с кофе *баба,*с конфетами ириски или со стихотворением и называл ее - *Ахава.*

Book Three 335

Глава двадцать пятая

САД АДАМА РОЗЕНБЕРГА принадлежал к тем немногим участкам земли в гетто, которым летом не уделяли должного внимания. Он стоял в растрепанной зелени, заросшей высокой травой и сорняками. В том мае у Адама были более важные заботы, чем забота о грядках с почвой. Ему приходилось беспокоиться о своей жизни. Он чувствовал, что под ним незаметно вырыли могилу, и что в один прекрасный день он погрузится в нее, и все будет кончено.

Конечно, раньше у него было подобное настроение много раз, но это были гипотетические опасения, а опасность - воображаемая, а не реальная. Теперь ситуация была серьезной. Ангел Смерти теперь мог подойти на цыпочках, спокойно схватить его за шею, чтобы ни один лист не потревожился, а цветок не лишился лепестка. Как будто ничего не произошло; с Адамом или без него все было бы так же.

Адам не осмелился переступить порог. Он боялся трещин в заборе, через которые он мог видеть катафалки, идущие на кладбище. И действительно, двое из его коллег, оба мужчины *Крипо*, за неделю до этого прошли мимо его дома, направляясь на свои похороны. Они пошли «100-100», как говорили его коллеги, другие мужчины *Крипо*, которые были большими циниками, вместо того, чтобы использовать выражение «шарик из мацы в голове». Его коллеги, люди *Крипо*, также печально скандировали: «При Румковски вы никогда не будете есть достаточно, при Саттере вы никогда не будете достаточно умны, и вы все равно проиграете войну». Действительно, на этот раз Адам был не одинок в своих страхах. Земля горела под ногами «доверенных лиц *крипо».*Они слишком много знали и были слишком близки к Саттеру и его банде. Кроме того, они больше не были нужны герру Саттеру. Так или иначе, сокровища евреев Лодзи уже давно были в руках немцев. Г-ну Саттеру не понадобилась помощь голубей, чтобы пригласить какого-нибудь геттоника в Красный Дом, хотя бы ради развлечения.

Теперь, если бы Адаму пришлось предстать перед герром Саттером или герром Шмидтом, его парализовало бы напряжение, страх, что в любую минуту кто-нибудь схватит его сзади и уведет. Каждый раз, когда он стоял перед герром Саттером, он пытался прочитать свою судьбу в лягушачьих глазах Саттера или в его голосе.

Адам работал усердно и нервно. Правда, сокровищ среди серых масс гетто больше не было, зато остались *шишки*, у которых остались последние ценности. Они обеспечили себя после войны, когда ни *румки,*ни немецкие марки не имели никакой ценности. А Адам специализировался на том, чтобы нюхать, какой *шишка*потерял свою полезность и по инерции держится на плаву. С тонкой чувствительностью он проанализировал властную структуру гетто и познакомился с запутанными интригами: кто с кем против кого. Это была непростая задача, поскольку, несмотря на разногласия, *шишки*были закрытой высшей кастой и редко *доверяли*евреям- *крипо*. В конце концов, никто из них не доставил своих братьев в Красный Дом для пыток; они только пресытились, бросив своих бедных братьев на произвол судьбы и смерти; они служили только в комиссиях, которые составляли списки, решая, кого из своих бедных братьев отослать. Адам смеялся над этой «основной разницей» между ними и собой. *Лучших*лицемеров, чем *шишки, не было*; нет никого, кто мог бы более решительно доказать, что человек был самой низкой формой жизни на земле. Они убедили Адама, что лучше всего было бы изгнать весь человеческий вид и сделать собаку царем природы.

Таким образом, его удовольствие от удаления *шишки*доставило бы ему такое же удовольствие, как и выигрыш в шахматы, если бы не тот факт, что в этот самый момент он сам был фигурой в шахматной партии, фигурой, оставленной в одиночестве на шахматной доске. , вот-вот будет повязан, обезглавлен. Ему пора было стать пешкой, ведь только пешки имели шанс выжить.

В конце концов, Адам осознал, насколько истерично он себя вел, побежал к Румковски просить о хорошей должности. Он сделал это во время приступа настоящего безумия, после ночи, когда он услышал быстрые шаги под окном. Он не мог избавиться от изумления по поводу того, что страх может превратить умного человека в такого идиота. Зачем ему нужна была хорошая позиция, если единственное, что могло его спасти, - это потеряться в толпе?

Он приготовился изменить свое имя и внешний вид и каждую ночь примерял женское платье и парик перед зеркалом. Зеркало, казалось, вот-вот лопнет от смеха и отвращения. И он также сомневался, было ли это таким прекрасным решением; таких толстых женщин в гетто уже не было. Ему придется сильно похудеть. И все же еда была для него единственным утешением. Более того, похудание грозило ему болезнью и новой опасностью.

В один из таких дней мисс Сабинка попала в руки Адаму, как птица, вернувшаяся в клетку. Незадолго до этого он искал ее, играя в детектива. Теперь она стояла перед его домом, ожидая его.

Узнать Сабинку было непросто. Ее золотые локоны исчезли, и она стала худой и некрасивой. Ее проблемы начались зимой. Один из ее бывших покровителей, очевидно, хотел стереть ее со своей совести, а Сабинка, которая была холостяка, получила «свадебное приглашение» присоединиться к транспорту одиноких людей, депортированных в первую неделю февраля. Она скрывалась, никогда не спала дважды в одном и том же месте. Её продовольственные карточки были аннулированы, и когда «акция» закончилась, она не вышла на работу. Ее тошнило от страха.

К счастью, в одной из заброшенных квартир она нашла карточку на питание. Несколько раз она добиралась до Пресесс Румковски и умоляла его о помощи. Но герр Румковски вспомнил, что видел ее с агентом *Крипо*, Розенбергом, и отправил ее к себе. Она также пыталась сблизиться с некоторыми из своих бывших поклонников, но она никому не нужна. *Мягкосердечные сунули*ей в руку несколько *румки*или попросили ее прийти на их курорты с горшком для их дополнительного супа.

Когда она навестила своего учителя, герра Шаттена, он с отвращением плюнул при виде испорченного «шедевра». Он был занят воспитанием нового поколения девочек, которые за последние четыре года достигли зрелости. Как раз в то время была «акция» по задержанию пятисот женщин, и герр Шаттен предложил Сабинке: «Ты распадаешься в гетто, Сабинка, почему бы тебе и нет. .

В конце концов она последовала «совету» Пресесса и пошла к мистеру Розенбергу, которого очень боялась. Он заметил ее, когда вышел из дома по дороге на работу в темных очках и соломенной шляпе. Сабинка схватила его за руку и горячо потрясла: «Как поживаете, герр Розенберг? Ты меня не узнаешь? Никто меня не узнает. Я Сабинка. Я только что зашел. .. »С тревогой и мольбой она искала его глаза под темными очками.

Смущенный Адам долгое время держал ее за руку. На мгновение он подумал о том, чтобы принять ее, но как он мог? Он должен был быть один. В одиночку легче было осуществить задуманное. Он отпустил ее руку, бормоча: «У меня нет времени». Он оттолкнул ее и направился в сторону Красного дома. Услышав топот ее деревянных каблуков за ним, он почувствовал, что Сучка его сопровождает. Приятное ощущение. Он остановился и подождал, пока она не приблизится к нему. «Ты перестанешь преследовать меня, как собака?» он пытался ее прогнать.

«Пожалейте меня, герр Розенберг», - умоляла девушка.

Он с отвращением скривил рот: «Паршивая корова!» Он хотел выкопать из кармана несколько пфеннигов, но его рука коснулась ключа от дома. Он протянул ей: «Иди домой и подожди меня». Их пальцы коснулись холодного ключа. Адам двинулся прочь, недоумевая, что он только что сделал, как он мог так усложнить себе жизнь.

Адам жил с Сабинкой. Он бил ее, когда злился на нее или на себя; он целовал и ласкал ее, когда жалел ее или себя. И это не сработало. Между ними стоял страх. Это не позволяло Адаму сосредоточиться на своем удовольствии, а само удовольствие было костлявым и сухим, создавая у Адама впечатление, будто он держал в руках скелет. Сабинка покорилась его воле каждой косточкой и выступающим ребром; она так хотела доставить ему удовольствие, что Адам не чувствовал к ней ничего, кроме отвращения. Иногда он даже терял желание бить ее. И все же он не мог заставить себя выбросить ее.

Сабинка шептала ему: «Вы лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни, мистер Розенберг», и, говоря это, она дрожала, стуча зубами.

«Почему ты так трясешься?» он рычал.

«Мне холодно, мистер Розенберг. Мне всегда холодно.

На рассвете, когда он проснулся с осознанием того, что ночь прошла и за ним никто не пришел, его сердце наполнилось благодарностью. Он будет наблюдать за Сабинкой. В свете зари она выглядела прекрасно; ее лицо прозрачное, нежное, рот прекрасный, а волосы, рассыпанные по подушке, напоминали первые лучи солнца. Он осторожно прикоснулся к ее волосам, его сердце наполнилось нежностью. Сабинка выглядела святой на христианской иконе, Мадонне. «Ты ангел», - тихо шептал он, чтобы не разрушить иллюзию. Часто его нежность превращалась в желание поглотить ее, и его чувства пробуждались. Он наслаждался испуганными криками Сабинки, которые пробуждали его, побуждая его еще больше отомстить ангельски милому существу и насладиться моментом полной забывчивости.

За домом ухаживала Сабинка. Она готовила, чистила Адаму туфли и вытирала пыль с его костюмов. Она съела остатки еды с его тарелки, и он с удовольствием наблюдал, как она атакует мясные кости, мурлыкая и облизывая губы. Это сделало его добродушным и доступным. Она была двуногой Сучкой. Но у нее была одна большая ошибка. Она не любила мыться, настаивая на том, что ей слишком холодно и что вода заставляет ее чувствовать себя жестко. И Адам боялся микробов больше всего на свете. По натуре он был преувеличенно чистым человеком.

Каждое утро перед его уходом она умоляла его: «Не уходите, мистер Розенберг».

Он засмеялся: «Паршивый идиот!»

«Я в списке, мистер Розенберг. Они меня найдут. Запри меня! »

«При одном условии», - говорил он с улыбкой. «Если вы пообещаете вымыть как следует».

Он запер ее снаружи, заперев часть своего собственного страха. Действительно, с тех пор, как он стал жить с Сабинкой, он меньше боялся Красного Дома и более хладнокровно выполнял свою работу. Он также стал более нетерпеливым поехать домой в конце дня. Каждый раз, открывая дверь, ему казалось, что Сучка вот-вот взволнованно прыгнет вперед, чтобы поприветствовать его. Он позвонит Сабинке и проверит, сдержала ли она свое обещание. Хотя она не казалась грязной, он сомневался, что она проделала работу так хорошо, как он мог бы пожелать.

Однажды Адам понял, что весна действительно пришла. Он энергично шел домой, размышляя о том, что человека беспокоят потерянные дни своей жизни, в то время как он не беспокоится о днях, которые он разрушает собственными руками. Сколько дней он прожил, не подозревая, что жив, разъеденный настроениями, которые в любом случае не помогли изменить ситуацию. Он решил дать своему отчаянию отпуск в тот же день и немного развлечься. Он решил искупать Сабинку. Как только он вошел в дом, он увидел, что она сидит на краю кровати, согнувшись пополам, трясется, звякнув зубами.

Он зажег печь, поставил на нее два ведра с водой и закатал рукава. Затем он отрезал кусок хлеба от своей буханки. "Здесь!" он бросил ее в нее широким жестом. «И вставай. Очистите картофель и откройте банку с мясом. Хорошо пообедаем. Я должен немного вас заполнить. Женщина без пазухи подобна постели без подушки ». Проверив воду на плите, он начал, к собственному удивлению, насвистывать мелодию одной из своих любимых хитов довоенных времен. Свистнув, он открыл дверь и сел в дверном проеме. "Идите сюда!" он звонил. Она оставила картошку и кусок хлеба, которые пережевывала, и сдержанными шагами подошла к нему. «Мы должны начать работу в саду», - сказал он. «Это будет твоя работа». Она тупо смотрела на сад, пока он не закричал: «На что ты смотришь? Иди, приготовь еду. Он услышал шипение ведер, вошел в комнату, запер дверь и снял рубашку. Он вытащил умывальник из-под кровати и наполнил его ведрами с горячей водой. Комната наполнилась паром. На лбу тут же выступили капельки пота. Его багрово-красное лицо сияло. "Идите сюда!" - крикнул он сквозь дымку. "Раздеться!" Он ждал Сабинку, как ребенок в ожидании увлекательной игры. Но вскоре он потерял терпение и прыгнул к ней, схватив ее за руку. «Пойдем, я тебя раздену». Он тяжело дышал, старательно расстегивая ее платье, натягивая его на ее худое тело. Между ними клубился пар. Его обнаженный торс, окруженный скоплением жира, влажно сиял и трясся, как желе.

Сабинка сняла нижнее белье. Она тоже дрожала. «Нет, мистер Розенберг, нет!» Она повернула голову. Ее короткие светлые волосы туго касались черепа. Адам видел на нем гусиные прыщики. Он внимательно осмотрел ее костлявое тело, выступающие суставы, тонкие свисающие руки, волнистый выдавленный живот и маленькие сухие груди. Ее тело поддалось его прикосновению, и его охватило сострадание.

Он положил руки ей на бедра. «Залезай внутрь», - нежно пригласил он ее, подталкивая к ванне.

Она окунула ногу в воду и с криком удалила ее: «Слишком жарко! Я не могу, мистер Розенберг! " Зубы стучали. «Добавьте немного холодной воды!»

«Смотри, как тебя трясёт, идиот, садись, тебе будет тепло!»

«Нет, мистер Розенберг ... Немного прохладной воды ... пожалуйста!»

Он поднял ее над ванной и спустил в воду. Сабинка визжала, рычала, поднимая одну ногу, потом другую. Она попыталась выбраться, а он оттолкнул ее, наслаждаясь ее криками и судорогами, бегущими по ее телу, которое сжималось и растягивалось, как резина. Он энергично толкнул ее. Она поскользнулась и упала ниц, окунувшись в ванну. Затем она снова поднялась, дико ревя, как животное, снова пытаясь убежать. Он вытер свое забрызганное лицо и пощекотал ее куском мыла.

«Если ты так закричишь, я передам тебя в транспорт», - пригрозил он ей, сразу оборвав ее крики. Она выглядела забавно, со сжатыми детскими ртами, не позволяя ни звука ускользнуть, когда она боролась с кипятком. "Оставайся там!" он заказал. «Я собираюсь достать щетку для пола». Она оставалась в воде неподвижной, ее глаза были остекленевшими и налитыми кровью. Она держалась обеими руками за край ванны, тяжело дыша. Адам вернулся. "Щетка для пола!" он задыхался. «Только это удалит грязь ... и этот кусок хорошего мыла тоже. Вы видите это? Я вмою его духи в твою кровь, чтобы ты вечно пахла приятно. Он намылил жесткую щетку и начал тереть ее. Ее кожа стала полосатой, выросли красные линии. Ее тело казалось окутанным красной сеткой. Он работал так усердно и с таким удовольствием, что не заметил, как Сабинка упала в обморок на спину, ее голова и верхняя часть тела болтались по краю ванны.

Ему было жаль, что она так скоро очистилась, и он не хотел отказываться от игры. Но в конце концов он пришел в себя и заговорил с ней. Он заметил ее вялость, висящую голову и выпученные глаза. Он поднял красную массу мяса из воды и поставил ее рядом с ванной. Ее окружала лужа. Казалось, она была очищена от ее собственной кожи. Адам был охвачен необыкновенной привязанностью к ней. Он снял одежду и бросился на нее.

Он остался на полу рядом с Сабинкой и чуть не заснул в теплой мокрой луже. И все же он заставил себя встать. Он вылил Сабинке в лицо кувшин с холодной водой, но одного кувшина не хватило. Он принес еще, пока она не застонала и не начала двигать головой. Он вытер ее, поднял и перекинул через плечо, отнес к кровати и лег рядом с ней, измученный и счастливый. Однажды он уже так лежал рядом с падающей в обморок женщиной. Тогда опыт был ужасным. На этот раз это было великолепно.

Адам посвятил несколько минут философской мысли: подобные обстоятельства иногда могут быть приятными, а иногда - нет. Сучка пришла ему в голову. Он тоже любил купаться и чистить Сучку. Но с Сучкой он никогда не пил слишком горячую воду и никогда не мыл ее так сильно. С другой стороны, с Сучкой он никогда не получал того особого удовольствия, которое испытал сегодня. Таким образом, Адам пришел к выводу, который в последнее время становился для него все более ясным, а именно, что, хотя люди в целом стоят на более низком моральном уровне, чем собаки, он обречен быть привязанным к ним, и что он должен принять эти связи, если он хотел продолжить свою жизнь. Даже такое странное общение с людьми, как в его отношениях с Сабинкой, было лучше, чем полное одиночество.

Он нежно взглянул на Сабинку и хлопнул ее по обеим щекам. Белки ее глаз начали медленно двигаться, пока ее зрачки не остановились на Адаме. «Эй, ты!» он начал энергично трясти ее. «Картофель готов!»

Но потом он решил укрыть Сабинку одеялом. Он прислушивался к ее дыханию. Она спала. Он встал с кровати и наведал порядок в комнате, чувствуя себя так, словно его вымыли и очистили. Он сел за стол и поел с большим удовольствием. Он напомнил себе, что решил откормить Сабинку, и оставил для нее несколько кусочков картофеля на своей тарелке. Он стал очень сонным. Он закрыл окно, через которое все еще светило солнце, и вернулся в постель.

Позже через туман он увидел, как Сабинка выползла из постели. Он услышал лязг ложки о тарелку. Потом он услышал снаружи шум и крик Сабинки: «Группа на транспорт!» В мгновение ока она оказалась рядом с Адамом, прикрыв голову одеялом.

Сонно моргая, он пробормотал: «Чего ты боишься, идиот? Я не позволю никому забрать тебя у меня ».

Одеяло медленно двинулось, открывая лицо Сабинки с двумя рядами ярких зубов, сияющих между ее улыбающимися губами. Это зрелище пленило его. Эти великолепные зубы заставили его забыть о металлических колпачках во рту. Изящные белые зубы во рту Сабинки принадлежали ему. Затем он увидел, как зубы и рот шевелятся, когда он услышал, как Сабинка сказала ему: «Выходи за меня замуж, мистер Розенберг, пожалуйста».

Адам наморщил лоб: «Что ты сказал?»

«Выходи за меня замуж, мистер Розенберг, только ... в качестве уловки. Они гонятся за одиноким, одиноким ... »

Адам задохнулся от смеха. Он, готовивший свое неминуемое превращение в женщину, считал ее предложение руки и сердца необычной шуткой. Он не выдержал и сказал: «Зачем тебе жениться на мне? Будем жить как две сестры ... » и тогда он признался ей в своих планах. Все еще хохоча, он спрыгнул с кровати и, игриво вытащил из-под матраса женскую одежду и парик и оделся в них. Он ждал, когда Сабинка его оценит. В конце концов, она была большим мастером в этой области, чем он. Он не заметил, что Сабинка задрожала и у нее стучали зубы.

♦ ♦ ♦

К Сабинке постепенно вернулась прежняя внешность. Но она не перестала придираться к Адаму своим предложением руки и сердца. У него был один способ заставить ее замолчать: нанести ей несколько ударов. Тем временем менялся и сам Адам. Он спал по ночам без страха, по утрам делал зарядку, чтобы похудеть, и весело шел на работу в Красный дом. Дата его превращения была уже зафиксирована в его сознании, и он ждал ее с приятным нетерпением.

Несмотря на его план переехать из дома, он тем временем решил серьезно позаботиться о саду. Он приказал Сабинке начать прополку и полив земли. По этой причине он отказался запереть ее, несмотря на ее мольбы и слезы.

Однажды, работая в саду, она почувствовала усталость и заснула на теплой земле в тени дерева. Снаружи, на улице, прошла последняя колонна задержанных для депортации. Женщина сбежала и через калитку ворвалась в сад. Она промчалась мимо спящей Сабинки, свернула за угол дома и исчезла через дыру в заборе с другой стороны. За ней погнались двое полицейских. Они вошли в сад и увидели женщину, лежащую под деревом. Неужели она потеряла сознание при побеге? Лица ее не запомнили, да это и не имело значения. Подняли Сабинку за руки. Она не боролась с ними. Ужас в ее глазах свидетельствовал о том, что они не ошиблись. Они несли ее всю дорогу, и она не произнесла ни слова. Сабинка гребла ногами в воздухе и отплыла от хижины Адама.

Адам пришел домой рано. В *Крипо*под его ногами горела земля *.*Опасность внезапно снова витала в воздухе. Казалось, все изменилось, и каждый немец, которого он видел, своим взглядом выдавал страшную тайну. Адам поддался острому приступу страха, и никогда раньше он так не спешил домой, как сегодня. Он должен был быть с Сабинкой. С ней он научился владеть собой. Она, скромная, покорная, придала ему силы. Его совесть начинала мучить даже его сердце за то, что он так ее мучил. Но он сразу успокоился. Если были люди, которые любили мучить, то были и те, кто любил, чтобы их мучили. И почему он подумал, что мучает ее? Он спас ее. Она была ему обязана жизнью. И если он причинил ей боль, то это было из-за своей нежности к ней, которую он почему-то не мог выразить иначе. Может, это из-за его любви к ней? Должно быть, он испытывал к ней любовь. Возможно, он наконец научился любить человека. Он хотел быть с ней навсегда.

Войдя во двор, он огляделся. Дверь в дом была открыта. Он остановился на пороге и ошеломленно застонал. Покрывала и подушки отсутствовали. Все дверцы шкафов были открыты, вся еда исчезла, а куски нижнего белья и одежды Адама исчезли. Он прыгнул к окнам, приподнял подоконник и снял кирпич. Он вздохнул с облегчением, когда обнаружил, что носок, наполненный его сокровищами, все еще в дыре. Он приподнял матрас своей кровати и вздохнул с еще большим облегчением, когда увидел женскую одежду, которую он приготовил для себя, лежащую нетронутой.

Он сел на кровать, вытирая пот со лба и паштет. Он улыбнулся, как обманутый дурак. Итак, он позволил Сабинке обманом засунуть себя в мешок, поверил в ее притворную беспомощность, обманул себя ее привязанностью к нему. Он сравнивал ее с Сучкой, воображал, что влюблен в нее. Он не мог простить себе того, что из-за своей ненависти к человечеству мог доверять и наивно верил человеческому существу. Он оставил все открытым, все свое имущество доступным для этого хитрого ложного незнакомца.

Он вытянулся на матрасе и закрыл глаза. Он увидел в своем воображении хрупкую фигуру Сабинки и удивился, что, несмотря на все, что она с ним сделала, он не так сердился на нее, как должен; что, напротив, он готов простить ее. Потому что он боялся за свою жизнь. Только она могла оказать ему поддержку. Потом еще одна мысль пришла ему в голову: возможно, это было хорошим предзнаменованием, как то время, когда Крайн уехал. Чтобы спастись, лучше было побыть одному.

Он медленно вынул из-под матраса женскую одежду и парик, взял сумку и собрал все, что осталось и еще пригодилось. Он засунул носок со своим сокровищем в нагрудный карман, надел солнцезащитные очки и панамскую шляпу и вышел на улицу. В саду он остановился на мгновение, снял солнцезащитные очки и швырнул их на куст жасмина у забора. Он также снял панамскую шляпу и небрежным жестом повесил ее на забор.

Он пошел на базар, чтобы купить немного еды, затем двинулся через двор искать укрытие. По дороге он вспомнил, что не взял с собой ни кастрюль, ни столовых приборов, поэтому вернулся к себе домой. Он был измотан и решил спать. Его усталость несколько притупила его страх, и он сказал себе, что спать еще одну ночь в доме не имеет значения. Он даже не запер дверь и не закрыл окно. Он плакал во сне. Он мечтал о себе: маленьком толстом мальчике, с которым никто не хотел играть. Затем он увидел Сэмюэля Цукермана, который посмотрел на него с постели и спросил: «А чем ты не похож на всех других людей, Адам?»

Адам ответил ему: «Это мой способ быть таким, как все люди».

Самуэль схватил его тонкими руками, крича: «Ты нацист!»

Затем наступил час призраков. По тротуару бок о бок бежали трое мужчин. Их шаги эхом разносились все громче и громче. Двое шли сбоку и один посередине. С одной стороны был Самуэль, с другой - Митек. Оба были в униформе СС с *надписью Totenkopfe*на фуражках. Между ними прошел маленький мальчик-монстр. Все трое были замаскированы. Они сделали вид, что идут на кладбище. Это была всего лишь игра. И все же маленькое чудовище испугалось и умоляло своих товарищей сжалиться над ним; он умолял всех, кто шел сзади: Ядвига, Крайне, Сабинка. Все вместе шли, чтобы присоединиться к транспорту. "Я ничего не мог с собой поделать!" - закричал маленький монстр, умоляя сохранить ему жизнь. Двое рядом с ним вели его прочь и вели сами.

Во сне Адам увидел, что зеленая форма сбоку от него украшена звездами Давида. От этих звезд луч света пробежал до Звезды Давида на его груди. Заглянув глубоко внутрь Звезды, он увидел лицо своей матери, неряшливой продавщицы металлолома. «Мама, не прогоняй меня! Помоги мне!" - плакал маленький мальчик. Мать пришивалась к одежде и отказывалась протягивать ему руки.

Самуил, высокий товарищ рядом с ним, сказал: «Ни один человек не имеет права причинять страдания другому».

Внезапно чудовище превратилось в дряблого человека, и на нем тоже была зеленая форма. «Почему ты не понимаешь, Цукерман?» Адам разговаривал со своим спутником на равных. «Я не мог жить без конфет во рту». И теперь настала очередь Адама в ярости: «А ты сам, Цукерман, - крикнул он, - ты никому не причинил страданий? А ты, Миетек, - он повернулся к другому своему товарищу, - ты никому не причинил страданий? Теперь они все увели друг друга, и их вели.

Затем Адам увидел, что пишет письмо. Он написал так мало писем за свою жизнь. Ему некому было писать. И во сне он не знал, кому адресовано письмо. Он сидел в офисе своей ревущей фабрики. Нет, он сидел на матрасе в этом самом доме и читал свое письмо: «Таким образом я был привязан к тебе. Все хорошее, что было во мне, я предложил собаке ... Я по натуре *гундсман*. . . » Читая письмо, он услышал приближающиеся шаги. Адам оказался на кладбище, которое шумело, как пустыня. Он был один; охотник с ружьем на плече. Между деревьями выскочила красная стена. Адам зажмурился все сильнее и сильнее, чтобы не видеть, не слышать. Вдалеке виднелся яблочко: Желтая звезда. . . лицо его матери ... его собственное лицо. Он прицелился, и последовал выстрел. Адам был освобожден от Желтой Звезды. .. от его матери. .. от самого себя. Он, стрелок и стрелявший, были на свободе. Но собака все еще где-то выла. Откуда был этот вой? Почему он чувствовал себя таким связанным с ним - тот, кто никогда не чувствовал родства, тот, кто всегда был инопланетянином? Может быть, даже после выстрела. . .

Адам открыл глаза. По его лицу струился пот. Его одежда была приклеена к его телу. Открытое окно было полно ночи. Он встал с кровати. На цыпочках, словно боясь разбудить кого-то, он подошел к шкафу, достал горшок и ложку и вышел на улицу.

В саду деревья, кусты и трава стояли неподвижно. В воздухе не было ни малейшего дуновения ветерка. Адам глубоко вдохнул тишину и разгладил несколько волосков на своей лысине. Он вышел через ворота, тихо закрыв их, чтобы они не скрипели и не нарушали покой ночи. Перейдя улицу, он легкими беззвучными шагами направился к заднему двору. Хотя его шаги были такими легкими, плечи давили на него, как будто он нес тяжелый груз. «Я ношу свою мечту на спине», - прошептал он себе. На самом деле у него создалось впечатление, что он все еще блуждает во сне. Но затем он услышал шаги на тротуаре снаружи. Тяжелые шаги при загрузке. Он вздрогнул и пустился галопом по дворам. Кто-то бежал за ним. Он больше не мог отличить звук своих шагов от звука преследующих его. "Стой!" он услышал крик. "Стой!" его собственное усталое сердце умоляло его.

Наконец он больше не мог бежать. За ним никто не шел. Никто ему не звонил. Воздух был тихим, прохладным, полным ночи. Он поднялся в комнату, которую выбрал для укрытия. В комнате было зеркало. Адам подошел к нему и сразу же отскочил от него. Перед ним в зеркале стояла дряблая лысая женщина. Адам не мог вспомнить, когда и где он надел женскую одежду или когда и где потерял парик.

Book Three 345

Глава двадцать шестая

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРАГЕДИИ Эстер засыхала, а затем оживала, став более здоровой и сильной, чем прежде. Она часто повторяла высказывание Винтера, позаимствованное у Ницше: «То, что меня не разрушает, делает меня сильнее». Трагедии были дрожжами, на которых она созрела. Они дали ей мудрость различать то, что действительно имеет значение, и то, что имеет лишь сиюминутное значение. Теперь пришло время, когда ей нужно было учиться не на своих страданиях, а на своем счастье.

Был жаркий день. Она лежала на кровати, не сводя глаз с выступающего живота, который, казалось, колыхался. То поднималось, то опускалось то с одной стороны, то с другой. Ребенок двигался, толкая ногой или рукой стенки ее живота - приятное, хотя и неприятное чувство. Она положила обе покрытые прожилками руки на живот и закрыла глаза.

Она вспомнила, что чувствовала во время своей первой беременности. На этот раз все было по-другому, и опыт был даже более мощным, чем тогда. И как ей хотелось, чтобы все было иначе! Это была причина, по которой она видела доктора Левина. Сам он был лучшим доказательством того, что на этот раз все будет по-другому. Ибо мог ли человек когда-либо измениться так же сильно, как изменился доктор Левин? Теперь он хромал. Его хромота вызвала доверие, заставило ее почувствовать себя родственной ему. Кроме того, она выбрала его, потому что хотела доказать себе и миру, что она не суеверна, что она оптимистичная мать. Она не знала, как она так привязалась к доктору Левину. Прикосновение его мудрых рук успокоило ее. Выражение его морщинистого лица заставляло ее относиться к нему как по-матерински, так и защищенно и защищенно. Она поклонялась ему. Они редко обменивались словами и всегда избегали взглядов друг друга. Их контакт происходил через его руки, через его ухо к ее животу, когда он слушал другое сердце, которое пульсировало внутри нее.

Она слезла с кровати и налила себе стакан молока. Она чувствовала, как каждый глоток тек через нее к маленькому озорнику, который так нетерпеливо двигался внутри нее. Скоро он прибудет в светлый мир. Приближалось его время. Она уже перестала работать, ждать его. Она избегала быть среди людей. Она догадывалась о тайных мыслях соседей. Так что она прикрыла живот от их взглядов, хотя сама не возражала. Она смеялась над миром. Она была беззаботной и беззаботной, и хотя она избегала людей, она скучала по ним. Целыми днями она сидела у окна, глядя во двор. Она хотела, чтобы соседи заметили ее, поздоровались. Она хотела, чтобы они увидели, какая она красивая, несмотря на темно-коричневые пятна на лице. Женщины сказали, что это знак того, что у нее будет мальчик. Она была влюблена в себя, даже в отметины на лице.

Она решила сделать то, к чему ее принуждали, и вышла из комнаты, медленно двигаясь по жаркой улице, скрестив руки на животе. Она сделала вид, что не видит косых взглядов людей. Прогуливаясь в тени домов, она перешла мост; она шла искать квартиру во дворе на улице Хокель. Она надеялась, что квартира тети Ривки пустует. Она не была суеверной или капризной, но у нее был один двойной каприз: родить ребенка во дворе, где жила ее тетя и где она провела свое детство, и быть ближе к доктору Левину.

Квартира тети Ривки была совершенно пуста, от мебели не осталось и следа. Эстер какое-то время ходила по нему, словно овладевая им, затем спустилась во двор и села под вишневым деревом. Она прислонилась к его стволу и размышляла о том, насколько странной была жизнь. С этого двора и Израиль, и она ушли в большой мир. Они оба сделали такие большие круги перед возвращением, чтобы принести в мир новую жизнь.

Она ждала Израиля, который должен был присоединиться к ней и помочь ей найти место. Она не беспокоилась о том, чтобы установить себя. У Израиля была пара «золотых» рук, и он мог творить чудеса, чтобы сделать жизнь более комфортной. Он уже работал, строил люльку из ящика и дерева.

Когда он приехал, она послала его осмотреть квартиру. Затем он подошел и сел рядом с ней. Он расстегнул рубашку, и она увидела его влажную волосатую грудь. Оба молчали. Это был еще один круг, который они сделали. В начале совместной жизни они часто молчали. За этим последовал период разговоров. Однако в последнее время они не нуждались в разговоре. В своем возбуждении, предвкушении, с головой, полной мечтаний и планов, Эстер не замечала, что она редко произносила хоть слово. Иногда ей было любопытно, что чувствует Израиль по отношению к ребенку. Он пришел в тот момент через иной опыт, чем она. Он уже был отцом. Но она не видела смысла спрашивать его. Слова побледнели бы только от того, что она могла прочитать на его лице. Она была уверена, что скоро для них настанет время большой разговорчивости, когда их болтовня смешается с болтовней третьего - пришедшего.

Израиль посидел с ней недолго. Вскоре он скрылся за воротами. Она растянулась на траве и закрыла глаза. Земля была ленивой и сонной. Даже травинка не пошевелилась. Сучья вишневого дерева неподвижно висели. Эстер играла с горстью земли, позволяя ей просеивать пальцы. Она лежала на траве, Мать Земля и Мать Эстер общались друг с другом, обе прислушивались к себе, тяжелые и спелые. Эстер лежала с закрытыми глазами, представляя себе форму своего ребенка. Ее интересовал цвет волос. Возможно, это будет мальчик, белокурый, как Израиль, или, возможно, похожий на одного из его братьев, младшего, Шалома, например, который обычно следил за ней глазами, полными преданности. Глаза Шалома говорили с ней об Израиле, но она этого не заметила. А может быть, у нее будет маленькая девочка с черными волосами, похожая на Шейн Песселе, или с красновато-желтыми волосами, похожая на ее собственную мать или тетю Ривку? Как странно и как увлекательно! Так много возможностей. Столько комбинаций наследственности в одном крошечном существе!

Она улыбнулась про себя. В последнее время она стала банальной и ограниченной в своих мыслях. У всех была только одна тема, не имевшая отношения к внешнему миру. У нее было много времени, но ей даже не приходило в голову читать, и ей не хотелось встречаться со своими товарищами или посещать художественные собрания Винтера, и ее, конечно же, не интересовали новости, какие-либо новости, ни о гетто, ни о гетто. мир. Все, что ей хотелось делать, - это петь. Отрывки из старых глупых песен постоянно отзывались эхом в ее памяти. Она была праздна, ленива и сонная, ожидая того момента, когда она будет лежать, как сейчас, но с маленьким ртом, привязанным к соску ее груди.

После часового сна под деревом она проснулась от голода и жажды. Она тяжело, неловко встала, хлопая себя по животу, как бы проверяя, как он принял изменившееся положение. Живот молчал. Весь день было тихо. Она чувствовала себя несколько одинокой из-за тишины внутри нее, но все же довольной. Маленькое существо, вероятно, спало. Он чувствовал дневную жару. Дайте ему отдохнуть, чтобы у него было больше сил для ожидающего его великого путешествия. Она потащилась к водяному насосу. Соседка привела ее в движение, и она наполнила ладони водой. Она пила из них. Она вытерла лоб и причесала волосы мокрыми руками. Она достала из кармана крошечную картошку и вымыла ее. У картофеля была тонкая мягкая кожица, открывающая его яркое тело. Новый картофель. Эстер сломала его зубами. Ей нравился сырой картофель.

Медленно она вышла на улицу. Она смотрела в окна, глядя на свое отражение. Она выглядела забавной, но красивой и величественной. Затем она заметила издалека Израиля, который бежал к ней и махал рукой. Что-то случилось. Но она не побежала ему навстречу. Она продолжала медленно идти и ждала, пока он ее доберется. Какое ей дело до того, что случилось? Она была здесь, посреди улицы, и ее крошечный товарищ тоже был здесь. У нее не было причин торопиться. Израиль подошел к ней. Он улыбнулся. Слава богу.

«Вторжение началось!» Он прижал ее к себе, целуя ее лицо. «Мне пришлось бежать домой, чтобы сказать тебе это, Маленькая мама! Сегодня утром в девять! Англичане и американцы переправились через Ла-Манш ... »

Эстер засмеялась и вздрогнула, слезы навернулись на ее глаза. «Мои глаза вспотели», - в шутку прошептала она, прислонившись к нему.

По дороге домой они попали под дождь. Весь день приближалось тяжелое облако, теперь оно разорвалось молнией и громом, выпустив свои воды. Летняя буря. Есфирь и Израиль ждали у ворот, чтобы он прошел. Все быстро закончилось, и улицы остались мокрыми и свежими. Мокрые окна весело, слезливо светились, Улица была полна шума, люди летели сквозь нее, как на крыльях. Вторжение началось! Израиль оставил Есфирь и убежал к своим товарищам. На этот раз Эстер не смогла подняться в комнату и остаться там одна. Она решила навестить семью Эйбушиц. В последнее время она подружилась не с Рэйчел, а с Блюмкой, которая напомнила ей тетю Ривку.

На следующий день Израиль и Эстер решили переехать в квартиру на улице Хокель. Израиль был занят весь день своими партийными обязанностями и попросил Эстер все упаковать и оставить ему переехать вечером. Она сделала, как он просил. Хотя их вещи были практически ничем, она работала целый день, дремая каждые несколько часов. Упаковка казалась огромным усилием. И все же она не обижалась на то, что Израиля не было рядом, чтобы помочь ей. Разве она сама ни разу не работала над идеалом? Разве деятельность Израиля не имела первостепенное значение для будущего их ребенка? Они оба хотели, чтобы их ребенок рос в свободной Польше. Нет, в эти дни между ними не было политических разногласий. Как полноценный коммунист, Израиль радовался победам Красной Армии. А ночью, когда они слышали канонады, они оба восторженно восклицали: «Наши!»

Эстер уехала ждать Израиля в новой квартире. День снова был душным и сырым. Несколько раз шел дождь и шторм, и только с наступлением сумерек воздух стал остывать. Гетто неспокойными волнами плыло мимо Эстер. Ожидание витало в воздухе. Эстер держалась за живот обеими руками, словно защищая его от возбуждения, от беспокойства. Она была одна в чужом шумном мире. Все, чего она желала в этот момент, - это тишины, покоя и прикосновения руки близкого человека к ее голове. Она очень скучала по тете Ривке. Внезапно слезы стали заливать ее лицо.

Двор на улице Хоккеля походил на корабль во время шторма. Люди ступали среди грядок с поднятыми к небу головами. Над гетто появилась радуга. Эстер посмотрела в окна своей новой квартиры. Ей показалось, что сейчас пятница и тетя Ривка вот-вот крикнет: «Эстер, подойди помыть голову!»

Беркович вышел из барака уборщика. Она вспомнила, что у него была маленькая девочка, и ей казалось, что чья-то рука тянет ее назад, чтобы не показывать ему свой живот. Но он уже стоял перед ней, засунув руки в карманы, близоруко моргая. "Ты видишь? Радуга!" Их взгляды встретились во взаимопонимании. «Извини, я должен вернуться внутрь», - конфиденциально сказал он через некоторое время. «Я держу Муз за волосы». Она кивнула. Они были связаны друг с другом. Их души ходили на цыпочках, дрожа от чего-то священного, что вот-вот выйдет из них. Они ничего не хотели, кроме как остаться в покое до момента освобождения. Радуга соединила ее с Берковичем совсем иначе, чем со всеми остальными людьми.

Радуга погасла, и воздух стал серым. Люди во дворе разошлись. Есфирь видела, как Израиль прибыл с телегой, нагруженной своим имуществом. Она сразу заметила, что он обеспокоен. Она не задавала ему вопросов, молясь, чтобы он ничего ей не рассказывал, только не сейчас. Она хотела помочь ему распаковать вещи, но не смогла. Она чувствовала себя очень тяжелой, и ее беспокоила спина. Она попросила Израиля помочь ей сесть на подоконник на кухне. Ей нужно было больше воздуха. Здесь, к этому подоконнику, крепились чулочно-носочные станки дяди Хаима. Ее сердце гудело, как машина. Израиль стоял рядом с ней, положив руки ей на колени.

«Эстер, кантор. ... а остальные радиослушатели арестованы ».

Она обняла его за шею и криво ухмыльнулась. Она поняла, что он снова хочет уйти. Она позволила ему помочь ей спуститься с подоконника и медленно проводила его до двери. «Я уверена, что они никого не предадут», - успокаивающе сказала она.

«Нет, не будут», - согласился он с ней.

"Будь осторожен!" - позвала она ему вслед.

Он вернулся поздно ночью. Он был рад, что она не спала и что он смог с ней поговорить. Она не остановила его, хотя и не хотела ничего слышать. «Кантор, - сказал он, - посвятил себя прослушиванию передач все эти годы в гетто. День и ночь он проводил у радиобокса. У него была феноменальная память, сразу переводил с английского, русского, голландского. . . с точностью до последней буквы. Даже история о Видавском его не испугала ». Эстер закрыла глаза. По крайней мере, ей нужно было немного поспать. У нее болела спина, и ей было особенно неудобно.

♦ ♦ ♦

Младенец прибыл с рассветом. Израиль едва успел привезти врача и провести необходимые приготовления. Ребенок появился практически сам по себе, молниеносно - и с громким криком. Это был мальчик. Она не была блондинкой, как Израиль, и не рыжей, как Эсфирь. Он прибыл с копной черных как смоль волос на самом кончике головы. Его глаза не были зелеными, как у Эстер, и голубовато-серыми, как у Израиля, а были раскосыми в восточном стиле и бархатно-черными.

«Вы знаете, на кого он похож?» - спросил Израиль.

«Твой брат Шалом».

Эстер лежала на кровати, чувствуя крошечную головку на своей груди. Она смотрела на морщинистое личико, искаженное гримасой старика, на тонкие губы, которые не переставали сосать, на крошечные руки с крошечными пальцами, сжатыми в крошечные кулачки - и она не могла поверить, что это чудо произошло из ей, ей, ей. Это была пьянящая правда. Если во время беременности ей казалось, что она не ходит по земле, то теперь казалось, что она празднует на небесах, что ее постель была облаком.

Хотя все внутри нее злило, чтобы выйти наружу, к соседям, к ее товарищам, чтобы объявить миру, что у нее есть сын, она держала эту новость при себе, чтобы ревнивый мир не бросил сглаза. Она оставалась дома, во всем полагаясь на Израиль, и сама не отходила от колыбели. У нее было одно желание: чтобы ее груди были наполнены молоком для нетерпеливых крошечных губ. Ей хотелось целый день держать сына на руках. Когда она предложила ему свою грудь, внутри нее закипел голос, радостно крикнувший ему: «Вот, возьми, пожри!» Она хотела скормить ему все свое существо, сделать его сильным своей силой. Она хотела пасть ниц перед ним, чтобы он научился ходить, ее тело было ковром для его шагов.

Она встретила доктора Левина с огромным восхищением, краснея и робко бормоча. Не раз ей хотелось поцеловать его руку. Ей было больно, что доктор Левин уделял так мало внимания ее сыну и так много ей. Он ни разу не похвалил ее сына, хотя весь мир знал, что он необычайно красив. Напротив, Левин казался обиженным на малыша, как будто хотел сказать: «Этот ребенок толстый и сытый, а мать еле жива».

На самом деле доктор Левин тоже не смотрел на Эстер. Когда он добродушно отругал ее, посоветовав отдыхать не менее двух часов в день и подышать свежим воздухом, он, казалось, смотрел где-то между ее сыном и ею. Так что она была немного разочарована в нем из-за отсутствия энтузиазма. Но она последовала за ним до двери, оставив ее открытой, чтобы он не поранился в темном коридоре. Она благословляла каждый его шаг.

Начали прибывать посетители, Эстер не могла этого избежать. Всем не терпелось увидеть это чудо, освежиться видом новорожденного ребенка в гетто; и из всех ее посетителей больше всего нравились Эстер Белла Цукерман и Беркович. Однажды утром в комнате появилась Белла и сказала: «Я слышала, что ты родила ребенка. Могу я взглянуть на это, пожалуйста? Я никогда не видела новорожденного ». Она посмотрела на ребенка так, как Эстер хотела, чтобы люди смотрели на него. И из благодарности она позволила Белле сделать за нее некоторые трудные дела.

Беркович часто приводил с собой Человека Ириски, который приносил «лекарство от сердца» Эстер и своим плачущим голосом говорил ей слова, которые она едва понимала, но которые успокаивали ее сердце. Беркович принес ей подгузники и одежду, которая точно подходила ребенку. Она никогда не спрашивала его, как он дошел до этих вещей. *Еще*Беркович приносил морковь со своей *дзялки.*Он часто сам процеживал их, посыпал сахаром, а затем настаивал, чтобы Эстер их съела.

Придет и Блюмка Эйбушиц. Она похвалила Берковича за то, что он принес морковь. Морковь полезна для глаз и матери, и сына. Она сама вязала для малышки небольшой наряд из шерсти старого свитера Моше. Она научила Эстер, как ухаживать за младенцем, и смеялась, ругая молодую мать: «Почему вы берете его на руки в тот момент, когда он пищит? Пусть немного покричит, это даст ему здоровые легкие ». Она наклонялась над плачущим ребенком и ободряла его: «Кричи, кричи так сильно, как только можешь! Сотрясите основы мира! »

По вечерам гости окружали колыбель. Эстер с гордостью проверила, какое впечатление производит на них ее сын. «Да будет он защищен от сглаза», - скулил Человек-Ириска, пытаясь покачать кроватку одним пальцем. «Как вы его называете, может ли он жить в добром здравии?»

«Мы зовем его Шалом».

*«Шалом*тебе, Шалом». Он покачал своей длинной бородой, глядя на ребенка.

Эстер не боялась слез Ириски. Когда он говорил, она не осознавала своих слез. Это был тот вид плача, который успокаивал и приносил облегчение. Каждый раз, когда Человек-Ириска спрашивал имя ее сына и повторял его, ей казалось, что он хотел напомнить ей, что, когда разразилась война, она родила мертвого ребенка. На этот раз она родила живого ребенка по имени Шалом.

Израиль становился все более озабоченным своей партийной работой и не мог помочь даже во время церемонии купания младенца. Но Беркович очень хорошо заменил его. Беркович подходил сразу после работы с ведром, полным горячей воды, которую он подогревал на газовой горелке. В качестве награды Эстер позволяла ему взять ребенка в свои трясущиеся руки и бормотать ему непонятные слова. Если он вдруг не почувствует себя свидетелем всей церемонии и бросится к двери, она не перезвонит ему ни ради него, ни ради себя. На самом деле она предпочла побыть наедине с сыном. Тогда она сможет высвободить скованное возбуждение.

Кожа мальчика была яркой, как солнце, и гладкой, как тонкая кожа. Его ноги были сильными, а его чудесная задница тверда, как два маленьких шарика. Когда она мыла и намылила его, его кожа стала скользкой и приятной на ощупь. Она намылила его несколько прядей черных волос, мягко завивая пену, массируя его кожу головы. Малыш визжал, щурился, сгибал и вытягивал ноги, как на пружинах. Он брызнул на нее всю, а она стонала от его удовольствия.

"Крик!" она взывала к нему, как опытная мать, побуждая его покорить мир: «Кричи, мой мальчик, громче! громче! »

Она нежно намылила его животик. Мыло пищало, как будто оно тоже получало удовольствие от прикосновения живота и пупка. Тем временем малыш забыл закричать, понимая, что вода была вполне приятной, а мягкие руки его матери - щекотными. Его рот расплылся в улыбке, обнажив красные десны, ожидающие зубов. Раскосые глаза, все еще наполненные слезами, озорно загорелись, как лампочки. Теперь он потянулся и игриво потянул, брызнув на вспотевшее лицо матери. Она намылила одну ногу, затем другую, позволяя пальцам соскользнуть до крошечных пяток с десятью пальчиками на ногах размером с горошину. Она поиграла с ними мгновение, а затем поспешно намылила что-то чужое между его ног, что-то, что однажды станет мужественным. Несколько застенчиво, нежно она разглядывала его, желая поцеловать. Желание, за которое он наказал ее струей воды, которая пролилась прямо на ее лицо, в ее ноздри, ее рот и ее грудь. Она перевернула его. Едя на ее руке, он действительно начал плескаться. Его влажная голова была высоко поднята, его шея и спина были полны розовых складок.

Ванна была окончена, и как только Эстер вынула ребенка из воды, он снова закричал. Его веселье было испорчено. Она положила его на одеяло на столе и, завернув в полотенце, начала скатывать и мять его. Она корчила ему рожи, смеялась и чмокала. После того, как он был высушен и «посолен» порошком, она действительно позволила себе уйти с ним. Она уткнулась головой в его живот, трясли его рыжими волосами против его лица и щекотала его под подбородком, произнося бессмысленные слова, звук которых убедил его, что она очень забавная, и он начал хихикать и хохотать. Она была мокрая от воды и пота, опьяненная светом его тела.

Единственная проблема была со сном ребенка. Во дворе каждый день был шум. Хорошие новости с фронтов, арест радиослушателей, голод и жара сделали людей раздражительными и беспокойными. Соседи ссорились, другие пели или смеялись. Были постоянные разговоры.

Эстер решила больше не прятать себя и ребенка, а спуститься с ним в самый центр суматохи, чтобы ему было легче заснуть. В конце концов, им обоим нужен был свежий воздух. Она действительно боялась взглядов и слов соседей, но неважно, теперь у нее было достаточно сил, чтобы все вынести и не принимать близко к сердцу. Она завернула себя и ребенка в плед, который ей подарил Беркович, и спустилась к вишневому дереву. Она села на траву и прислонилась к стволу дерева. Маленький Шалом спал у нее на коленях, его крошечные кулаки над головой, его ноги были согнуты и расслаблены, все его тело было в покое. Она смотрела на него. Ей было что открыть в нем. Она слушала его дыхание, и ей казалось, что она видит, как он растет по мере того, как дышит. Она посмотрела на его закрытые веки, обрамленные тонкими черными ресницами, похожими на мазки кисти. Как легко тонкие веки закрывали его глаза! Каждая крышка закрывала кусок такой невесомой ткани, что казалось, будто легкий ветерок может унести ее и открыть зрачки его глаз. Поэтому она наклонилась над своим сыном, чтобы защитить его от легчайшего ветерка. У нее заболела спина, но ей казалось, что так удобно сидеть и отдыхать с Шаломом.

Вокруг нее во дворе царил шум. Она не обратила на это внимания. Также как Шалом, она ничего не слышала, ничего не видела. Однако мало-помалу эхо крика проникло в ее сердце и начало копать глубоко внутри. Ей хотелось сбежать, закрыть глаза, склонить голову над Шаломом и уснуть. В конце концов, она немного устала. Маленький Шалом был обжорой. И он вел себя плохо, намочил много пеленок; - кричал он, отказываясь оставаться в них. Но она не могла уснуть. Она должна была присматривать за своим сыном.

Иногда, когда она так сидела со спящим младенцем, в воздухе поднимался шум, словно из-под земли. Он удвоит свою интенсивность и превратится в громкие вопли, тяжелые, оглушительные. Сирены. Она вскакивала на ноги с младенцем на руках и какое-то время оставалась согнувшейся пополам, не зная, что с ней происходило.

Когда она вошла в свою комнату, ее начало трясти. Комната наполнилась криками сирен. Она положила ребенка в колыбель, но тут же снова подняла его, прижимая к груди. Сирены прекращались только для того, чтобы сопровождаться рычанием пилы. Рев самолетов. Тиканье пулеметов. Она пыталась овладеть собой. «Они наши ... наши», - прошептала она Шалому, заставляя себя сесть на кровать. Она положила ребенка рядом с собой, бормоча: «Ты должен мне помочь, Шалом». Сжав пальцы в его кулачки, она прижалась губами к его холодному лбу. Все больше и больше эскадрилий самолетов трещали по небу. Издалека и издалека доносились звуки взрывов. Она снова была на ногах, прижимая ребенка к груди, расхаживая взад и вперед. Куда она могла сбежать с ним? Она с ребенком на руках подверглась распутству мира. Ее бросили. Ей придется обсудить это с Израилем. Они должны найти место, где можно спрятаться. Она чувствовала приближение. Судьба приближалась. Она была слабой, но она не должна быть беспомощной. Ей нужно было что-то сделать ...

Тревоги длились недолго, но для нее они никогда не прекращались. Бывали дни, когда она чувствовала дрожь земли под ногами. Она сказала себе, что ее смущала усталость, но она знала, что в этом есть еще кое-что. Страх овладел ею, как безумие. Она считала часы, ожидая Израиль; она бродила по комнате, все выпало из ее рук. Внутри нее раздался кричащий голос, который она не могла заставить замолчать. Она закусывала губы, хрустела костяшками пальцев, рвала каждый кусок ткани или бумаги, которые попадали ей в руки. Когда она больше не могла этого выносить, она наклонилась над кроваткой, расстегнула платье и засунула сосок в маленький ротик. Она нетерпеливо ждала, пока рот начнет сосать. «Вот, возьми», - прошептала она. Как только она почувствовала приятный поток в своей груди, почувствовала, как крошечные согнутые пальцы касаются ее кожи, ее нервозность утихла, медленно, постепенно, как будто крошечный великан высасывал ее слабость.

Израиль вернулся домой в сопровождении соседей, жаждущих услышать последние новости. Эстер попросит их уйти. «Младенец спит», - говорила она с кривой улыбкой и закрывала за ними дверь. Она возилась у плиты, готовя еду для Израиля. Она не смотрела на него. Она не хотела, чтобы он ей что-то говорил. И все же она знала, что лучше знать, что она должна была знать. Поэтому она села напротив него и спросила: «Что нового?» Он отпил суп, избегая ее взгляда. Как и другие, он в последнее время стал неспособен смотреть ей в глаза. Как и другие, он был далек, хотя и был самым близким. Она сказала себе, что это не он убегает, а что это она удалилась из своего окружения. Она слушала, что говорил ей Израиль, и до нее не дошло ни слова.

Наконец однажды она прервала его. «Израиль», - сказала она. «Я думаю, мы должны найти укрытие».

Он очистил свою миску, заставив ее долго ждать ответа. Наконец он кивнул: «Я тоже так думаю». Он потер кулаками по столу. «Это не исключает других планов. Мы должны поддерживать организованность молодежных групп, не допускать депортации и, если придет момент, иметь вокруг себя людей, способных действовать. . . Почему ты плачешь?"

«Я хочу, чтобы ты пообещал мне ... Мне нужно место, где можно спрятаться ...»

«Будет где спрятаться». Он взял ее за руку и подошел с ней к колыбели. «Что он сделал сегодня?» - спросил он.

Со двора поднялся шум. Она вздрогнула и подбежала к окну. "В чем дело?" спросила она.

«Я же сказал тебе», - сказал он, оставаясь у колыбели.

«Что ты мне сказал?»

«Бибоу сегодня сошел с ума. Никто не знает подробностей, но он так лизнул Старика, что у него пошло кровотечение, и его отвезли в больницу.

Он даже избил секретаршу старика. Он сломал мебель в их офисе и никого и ничего не щадил. И есть новый приказ сдать пятьсот человек. Люди на улицах говорят, что Советы пересекли Вислу и идут на Варшаву с юга ». Он заметил, что плечи Эстер дрожат, и подошел к ней: «Что с тобой, Маленькая мама?»

Она не ответила. У нее не было достаточно времени, чтобы разгрузить сердце. Он должен был уйти. Она взяла его за руку и повела к двери. «Помни», - она ​​обняла его. «Убежище». Когда он вышел в коридор, она крикнула ему вслед: «Осторожно!»

♦ ♦ ♦

Как молния, в гетто ударила новость: депортация! До конца месяца должны были уехать шесть тысяч человек. Три тысячи в неделю. Через несколько дней стали известны более подробности. Депортированного отправят в район недалеко от Лейпцига или Мюнхена. Ликвидация некоторых курортов или, возможно, всего гетто была неизбежна. На Baluter Ring уже работала комиссия, составляющая списки. Эти шаги якобы предпринимались в угоду геттоникам, у которых не было защиты от бомбардировок. Гетто было кораблем без капитана. Пресесс Румковски все еще находился в больнице, и у него не было возможности прокомментировать его речи или угадать правду по выражению его лица.

Эсфирь ждала Израиля до поздней ночи. Она выбежала ему навстречу с вопросом: «Что нового?» Он категорически рассказал ей обо всем, что знал: несколько зданий возле тюрьмы опустели, чтобы стать местом сбора депортированных. Завтра будут разосланы первые «свадебные приглашения».

«Кто уйдет?» спросила она.

«Пока никто не знает. Я встретил Берковича во дворе. Он всю ночь бродит по улице. Странный человек. Однако он дал мне идею. Белла Цукерман показала ему подвал, где ее отец прятал радиоприемник. Моя мама и несколько детей попали в этот подвал, правда, но над подвалом, в квартире наверху, есть сарай. Можно было придумать какое-то устройство, засыпать вход в подвал кирпичом, чтобы снаружи ничего не было видно, и сделать вход из дома, или сделать два входа. Я должен обдумать это. В любом случае, мы начнем работать над этим завтра вечером ».

Следующие ночи были полны волнений. Полиция забирала людей с кроватей, разыскивались скрывающиеся. Свист и крики пронизывали воздух. Израиль и Буним работали в подвале каждую ночь до рассвета, редко обмениваясь словом. Однако однажды, после ночной работы, Израиль обратился к Буниму: «Я хочу попросить тебя об одолжении, Беркович». Ему было трудно выразить то, что он хотел сказать, и он пытался глазами найти какое-то понимание с Буним, чтобы слова давались легче. "Я имею в виду . . . Что касается Эстер и ребенка ... Я, понимаете, не буду прятаться в подвале. . . Поэтому я хочу попросить вас, мистер Беркович, позаботиться о них. Буним пробормотал что-то, когда Израиль начал говорить быстрее, горячее: «Я бундовец ... мы ищем контакта с другими партиями. Мы не должны позволять людям уезжать. Мы хотим иметь ядро ​​активистов, чтобы организовать сопротивление в момент ликвидации гетто ».

Буним снова что-то пробормотал, потом взорвался: «Вы спасаете своих товарищей, не так ли? А если вместо них уйдут другие, все будет хорошо, не так ли? И почему вы придумываете оправдания своими разговорами о сопротивлении? Вы прекрасно знаете, что до этого не дойдет. И вообще, какое это будет теперь значение? » Здесь он оборвал свои горячие слова, запустив руки в взъерошенные волосы. «Конечно, если ты не придешь прятаться, я позабочусь о твоей жене и ребенке, но я прошу у тебя разрешения принять другую семью. Эйбушицы. Я уже говорил об этом Белле. Без Эйбушиц я здесь не скроюсь, понимаете? А еще миссис Эйбушиц могла бы помочь Эстер ».

На следующий день убежище уже использовалось. Симха Буним Беркович получил «свадебное приглашение». Он принес свой рюкзак в подвал. Он был заполнен листами из бухгалтерской книги и несколькими овощами из его *дзялки;*Лили, кукла Блимеле, была в его руке. Перед тем, как спрятаться в подвале, он поспешил навестить Винтера и его коллег-писателей, чтобы уговорить их составить список имен и передать его в Комитет по эвакуации, чтобы защитить писателей и художников от депортации. В конце концов он сам составил список. Но когда оно было готово, он разорвал его. Он взял свечу и спички с собой в подвал.

Ночью Израиль спустился, чтобы продолжить работу. Буним сказал ему: «Знаешь, я последний из всей семьи Берковичей. Согласно теории Комитета по депортации, похоже, что уничтожение всей семьи - лучшее дело, чем ее разрушение ».

Прежде чем он успел закончить свои мысли на эту тему, перед ними появился Человек-Ириска. «Да будут благословлены руки ваши, братья», - причитал он. «Я тоже могу протянуть руку, если вы не возражаете». Израиль был вне себя. Очевидно, они слишком громко выполняли свою работу, если бы Человек Тофифи их унюхал. Он боялся, что последний распространит эту новость среди соседей, и не хотел больше пускать людей в укрытие. Ириска сразу же уловил мысли Израиля и гордо стукнул кулаком по желтой звезде на своем габердине. «У меня тоже есть тайник для всей моей *ешивы.*И на этот раз Вседержитель нам поможет, потому что Он не узнает Себя, где мы прячемся. Так ловко я и мои мальчики замаскировали мой подвал ». Он взял молот из руки Израиля. «Иди и поспи немного, потому что завтра ты должен быть на курорте».

Буним уставился на него широко открытыми глазами. «А вас не должно быть на курорте?»

Маленький человечек покачал головой: «Я уже закончил главу своей жизни, посвященную курорту. Я тоже получил «приглашение на свадьбу», и поэтому мне приходится решать важные вопросы ». Он оглядел подвал и почесал себя под тюбетейкой. - Итак, - восхищенно простонал он, - я вижу, вы сделали еще один выход через дыру в потолке, чтобы можно было подняться в сарай наверху. Довольно умно. Но не забудьте оставить лестницу внутри. Иногда большое дело может испортиться из-за пустяка ».

Каждый вечер комната Эстер наполнялась соседями. Она больше не гоняла их. Вместе с ними она ждала Израиля, а тем временем она слушала их разговор, ее тело окаменело от напряжения. Соседи рассказали ей, что немцы довольно милосердно обращаются с людьми в транспорте и не разделяют семьи. Они сказали ей, что эвакуированных везут на территорию Германии, между Франкфуртом и Мюнхеном, и что в каждый вагон помещают котел с кофе, а на пол рассыпают солому. Кто-то сообщил, что немецкий офицер или генерал якобы заявили, что эвакуированные будут убирать завалы разбомбленных немецких домов. Сосед сказал, что в списках Эвакуационного комитета уже числится четырнадцать тысяч имен, а это значит, что при трех тысячах человек, уезжающих в неделю, один может быть в безопасности больше месяца, то есть, конечно, если он не числится ни в одном из списки.

В комнате появился Израиль. Соседи кишели вокруг него, но он мог лишь повторить слухи, которые они уже слышали. Они попросили у него совета, на что он получил один ответ: «Не присоединяйся».

Как только соседи ушли, тишина начала вызывать тревогу в ушах Эстер. Она взяла младенца на руки, завернула себя и малышку в плед и последовала за Израилем во двор. Исраэль тайком ускользнула, чтобы поработать в погребе, а она бродила среди соседей. Женщины посоветовали ей, что делать с малышкой, если она получит «приглашение на свадьбу». Они посоветовали ей повязать шнурок на шее ребенка и маленькую открытку с именем ребенка на ней. Она не могла понять идею. Разве она сама не назвала бы имя своего ребенка, если бы ее спросили? Ее живот начал урчать, и она едва могла дождаться, пока последние соседи исчезнут со двора, чтобы иметь возможность ускользнуть в подвал в Израиль и просидеть с ним всю ночь.

Последовали дни, в течение которых Эстер не могла взять на руки маленького Шалома. Как только она поднимала его, ее руки начинали дрожать, а живот урчал.

Book Three 357

Глава двадцать седьмая

НИ ОДНА НОЧЬ не прошла бы без завывания сирен, звука взрывов и тиканья средств ПВО. Жители гетто пытались угадать, как далеко звуки. Кое-где люди лежали ниц на земле, прислушиваясь к ее вибрациям, как врач может прислушиваться к сердцебиению человеческого сердца. Таким образом они пытались угадать, как далеко от гетто находится фронт и с какой стороны приближались шаги Мессии. Они поделились результатами своих наблюдений и горячо поссорились друг с другом из-за количества километров. Каждый мужчина стал полноценным военным специалистом, стратегом, возрождая память о своей военной службе.

С захватом радиослушателей гетто было изолировано от мира. Обрывки информации достигли лишь немногих. Большинство новостей пришло из Baluter Ring, где кто-то имел возможность взглянуть на старую немецкую газету, найденную в мусорном баке. Большинство геттоников питалось «утками, вылупившимися в умах людей» и информацией с «Станции» IWIT, инициалы которой гласили: «Я желаю, чтобы это было правдой».

Дни были душные. Гетто не поддалось ни жаре, ни голоду, превосходящим все предыдущие опыты. Доставка еды полностью прекратилась, возможно, из-за трудностей с транспортом и, что еще более вероятно, из-за того, что население гетто было более восприимчивым к присоединению к транспорту. Мука и картофель остались воспоминаниями о лучших временах. В основном геттоники жили на том, что могла дать земля гетто, и на кусочке водянистого супа, полученном на курортах. Но у гетто была гораздо более важная проблема, о которой нужно было беспокоиться: судьба. День за днем ​​под палящим солнцем со станции в Марысине уходили транспорты на семь или восемьсот человек. Восемь тысяч евреев с «свадебными приглашениями» скрылись.

Михал Левин хромал по жаркой улице с докторской сумкой в ​​руке. Он делал несколько ежедневных обходов. Больные прятались, и его вызывали только в особо тяжелых случаях. Улица была пуста. Идет рейд. В эти часы полиция охотилась за теми, кто скрывался. На углах улиц и у ворот стояли милиционеры. Цветные полосы на их фуражках вспыхнули со всех сторон. Михалу они казались мальчиками-переростками, играющими в прятки. Михала они не трогали. Напротив, они почтительно приветствовали его: «Добрый день, герр доктор».

«Ловцы собак!» Михал зарычал в ответ. Наблюдать за игрой в кошки-мышки было невыносимо. Приветливое приветствие полицейских сделало его их партнером. Его защита была за счет незащищенных. Но он отбросил эту мысль вместе со всеми своими мыслями. Лучше не думать и позволить каждой капле чувствительности испариться с головы вместе с потом.

Он услышал крик. "Помощь! Помоги мне!"

Как только он повернулся, в его объятия упала женщина. За ней побежал полицейский. Пожилая женщина с морщинистым лицом и развевающимися седыми волосами не могла произнести ни слова. Ее открытый рот, повернутый к Михалу, трясся, ее рыхлые губы двигались внутрь и наружу. Во рту у нее была тьма, как будто у нее не было ни языка, ни зубов. Ее глаза, кричащие от страха, переместились с Михала на полицейского и обратно. Невольно Михал обнял женщину одной рукой, потянув за собой. Полицейский положил руку ему на плечо.

«Она едет с транспортом!» он задыхался.

"Ловец собак!" Михал собирался закричать, но вместо этого сказал с притворным уважением: «Отпусти ее, она моя тетя».

Полицейский взвесил это в своей голове, нехотя убрав руку с плеча Михала. Он взмахнул дубинкой. «Если так, то это уже другая история». Он остановился, позволяя Михалу идти дальше с женщиной на руке. Женщина, неспособная произнести ни слова благодарности, помахала Михалу и исчезла через ворота.

Михал больше не мог отгонять свои мысли. Он спас каплю в море, он, могущественный Доктор, напарник полицейского, Румковского и немцев. Он спас старуху, вместо которой, возможно, уйдет молодая и симпатичная. Он замедлил шаги. Он был в растерянности. Какой смысл его работа все еще имела? Его звонки на дом? Чего он добьется в лучшем случае? Поставить на ноги тех, кто завтра или послезавтра получит «свадебное приглашение»? Он сделает их достаточно сильными, чтобы присоединиться к транспорту. Однако совесть врача подсказывала ему: «Я должен выполнять свой долг в меру своих возможностей. Клятва Гиппократа действует даже здесь ». В этом заключалась его профессиональная обязанность: попытаться спасти самую крошечную ветвь, даже когда весь лес был обречен на то, чтобы погибнуть в огне, задача более абсурдная, чем у Сизифа. Его хромая нога беззвучно топала за здоровой. Две ноги, каждая с отдельной целью, хотя движется в одном направлении. «Он, Михал, не выиграет свою войну против собственного уничтожения», - казалось, повторяла хромая нога. Он шел к человеку, который был болен и нуждался в нем, повторял «здоровую ногу», уверенный в себе.

Он решил предложить себе угощение после обхода домов и навестить Эстер и ее ребенка. Конечно, ребенок тоже был абсурдом. Объективно говоря, этот мужчина и эта женщина были безрассудными и безответственными. Они расширили досягаемость уничтожения. И все же какое великолепное выражение воли к жизни! Михал чувствовал подъем каждый раз, когда смотрел на Эстер. Вечное материнство смотрело на него ее глазами. Каждый раз, когда он собирался с духом и смотрел в эти глаза, он чувствовал себя очищенным. Сегодня он заставит себя мельком увидеть маленькое существо, не только прикоснуться к нему руками и ухом, но и встретиться с ним глазами и сердцем. Пусть будет что будет. Мать и ее сын были светом; они дали одну силу встретить ночь и все, что у нее было в запасе.

Пациенты были одни в своих квартирах. Либо им некому было о них позаботиться, либо члены их семей содержались на курортах из-за налета. Воздух в комнатах был невыносимым, душным. Михал привык к этому и не возражал. На самом деле он только прикасался к пациентам, разговаривал с ними и давал им домашние советы. У него не было для них инъекций или лекарств. Он редко открывал сумку, но брал ее с собой как символ; это позволило ему пройти по улицам, а сами пациенты стали относиться к нему с большим уважением и доверием. Он полностью согласился с Вольтером в том, что искусство практики медицины состоит в том, чтобы развлекать пациента, пока природа не вылечит его (или Бог не уничтожит его). Так Михал во время своих визитов превратился в настоящего болтуна. Его слова были лекарством. Он сообщил прекрасные новости с фронтов, назвав города, страны, реки и моря. Сам фасад был всего лишь кошачьим прыжком из гетто. Он вытряхнул шутки «из рукава» и фальшиво улыбнулся. Жалобы своих пациентов он отклонял, пожимая плечами. Полное заблуждение. Завтра они встанут и пойдут на работу, а послезавтра русские войдут в Лодзь. Больные позволяли легко одурачить себя, практически выпрашивая соблазнительную ложь. И если «это сказал сам врач», то это не было ложью.

Он покинул их дома, испытывая отвращение к самому себе. Он колебался между двумя настроениями, которые разрывали его на части; каждое настроение, казалось, создавалось его двумя ногами, калеками и здоровыми. Он должен был найти и удержать какую-то стабильную идею в этом жутком головокружительном хаосе. Такие люди, как он, не могли жить без четкого представления о жизни и своем месте в ней, так же как они не могли существовать без кусочка хлеба и глотка воды. Он должен был найти эту ясность смысла даже сейчас, когда его существование могло закончиться в любой день; даже в такие дни, как этот, когда его ноги с трудом несли его, и мир увядал от безнадежной жары. Надо было прийти к выводу. Больше ничего не оставалось, кроме как сделать вывод.

Он знал, что все ворота тоже закрываются перед ним, что на самом деле должно было сделать его безразличным к тому, что за ним последует. Тем не менее, предавшись поиску ясности, которая должна сопровождать его в те дни, которые он оставил ему, он поймал себя на том, что все еще беспокоится о будущем. Он хотел найти путь, ведущий эту ясность в будущее, за пределы его собственной жизни или смерти. Но все, что он смог обнаружить внутри себя, это то, что он ненавидит ненависть и готов сопротивляться ей, не зная как. Все, что он смог обнаружить, - это желание жить радостно и быть максимально свободным.

Он оставался в своем замешательстве. Он не был философом. Он не знал, было ли то, что он думал, наивным или умным и обоснованным. Шли дни, его раздражительность росла. То, что должно было произойти, больше не было домыслами, игрой в гипотезы или мечтой. Перед лицом этой реальности оставался один неоспоримый императив: человеческое лицо никогда не должно становиться лицом Ангела Смерти. Михал подумал бы с юмором и иронией: если бы Бог был доступным демократическим правителем, и он спросил бы его, Михала: «Вот, когда ты видишь все мои чудеса, мою милосердную щедрость, мои чудодейственные силы, скажи мне, какое чудо я должен совершить для тебя? ” Затем он, Михал, отвечал: «Лишите все живые существа права убивать друг друга».

К тому времени, когда он закончил свой раунд визитов на дом, рейд закончился, и люди начали выбегать из курортов. Михал отказался от намерения увидеть Эстер и ребенка и вместо этого отправился домой. Джуния еще не вернулась с вечеринки, и он был рад побыть один. Он не пытался продолжить работу Шафрана в области психологии. Некоторое время назад он отказался от этого, закопав материал в шкатулке для чая, где он спрятал свои письма к Мире. Некоторое время назад он был поглощен медицинской книгой о причинах разложения в пожилом возрасте; книга выдвинула гипотезу о продлении жизни человека. Сегодня он даже не смог посмотреть на работу. Почему он должен быть заинтересован в продлении человеческой жизни, если главная проблема заключалась не в ее сокращении.

Он взял лист бумаги, думая, что, возможно, его карандаш поможет ему разобраться в лабиринте мыслей. Однако, к своему собственному удивлению, он увидел, как пишет большими буквами: «Мой Завет». Он пришел в ярость на себя. Он еще не был готов писать завещания. Он разорвал бумагу. В следующий момент он снова оказался на улице.

Его толкали и толкали со всех сторон. Люди падали друг другу в объятия: «Эвакуация окончена!» Улица качнулась. Действительно, вскоре он заметил людей, выпущенных из тюрьмы. Груженные рюкзаками и мешками, они, спотыкаясь, брели по тротуарам, ослепленные, глядя на гетто, как если бы они прибыли в великолепный чужой город.

"Чудо! Чудо!" Все лица сияли. «Мы снова будем спать в своих кроватях!»

Кто-то бегал от ворот к воротам, крича: «Люди, скажите тем, кто прячется, что их продовольственные карточки снова действительны!»

Михал расхаживал среди обрадованной толпы. Он слышал возбужденные возгласы, видел сияющие лица и удивлялся, почему он не испытывает ничего, кроме сострадания и болезненной нежности к окружающим. Он заметил, что Юния бежит к нему издалека. Он хромал быстрее. Она упала в его объятия.

"Все окончено!" - задыхалась она, бесстыдно целуя его в губы. Ее проворное худощавое тело цеплялось за его тяжелое. «Мы прошли через это, Михал, дорогой! Все окончено!"

Он освободился от ее объятий. "Вы уверены?"

Она смотрела на него, не в силах понять его безразличие, его холодный голос. "Разве вы не слышали?"

"У меня есть."

Ее личико стало хмурым; гнев загорелся в ее глазах. «Чего еще ты хочешь, Михал? Давайте перевести дух. Ты всегда каркаешь как ворона. Если бы это были плохие новости, вы бы сразу поверили в это ».

«А ты всегда поешь, как колибри». Он обиделся. Они поссорились.

На следующий день стало известно о полной ликвидации гетто. Страх вернулся с двойной силой, и только к вечеру люди почувствовали некоторое облегчение. Был объявлен паек в полкилограмма молодого картофеля, и молодые и старые бросились выстраиваться в очередь перед кооперативами. Перед сном общее настроение значительно улучшилось. Ходили слухи, что Presess готовит ополчение и органы обороны для защиты гетто в переходный период. Перед сном мужчины прижали уши к земле, чтобы услышать, слышны ли уже шаги осла Мессии. Они могли. По словам людей, линия фронта теперь находилась в ста двадцати километрах от Лодзи.

Утром сообщение о полной ликвидации гетто подтвердилось. Люди нетерпеливо устремились на курорты, пытаясь силой придерживаться своего обычного распорядка. Но вскоре они снова разошлись. Работа остановилась. Тучи людей текли по улицам; из задних дворов, обратно во дворы. К вечеру, как и накануне, их страхи иссякли. Воздух был прохладным, мягким. Сердца немного успокоились. Лодзь находился недалеко от линии фронта, и молниеносная эвакуация почти семидесяти тысяч человек была немыслима. А пока. . . сколько времени потребовалось армии, чтобы преодолеть такое тривиальное расстояние, как сто двадцать километров? Перед сном распространился слух, что будут эвакуированы только машины и товары, а не люди. Ночью, хотя воздушного налета не было, люди вертелись в своих кроватях.

У Михала не оставалось времени заниматься своими мыслями. Настали дни кошмарной реальности. Резкими зверскими ударами они зачеркивали все, что было или будет, удерживая тело и разум в плену подарка, в котором нет и следа настоящего. Время кружилось вокруг обезумевшей катушки. Это странное ощущение времени испытывал не только Михал, но и все, кого он видел. Это было так, как если бы катушка вращалась перед тысячами кривых зеркал, в которых безумие одного человека отражало безумие другого, поднимая его до пугающей силы. В ослепляющем водовороте было только одно, что удерживало Михала в твердой точке, словно пуповиной, - рука Юнии; а по ночам - прикосновение к ее телу. И все же Михал почти не видел саму Юнию. Она тоже была запутана в клубящемся лабиринте. Она была разговорчивой, растерянной, отчаянной, смелой. Он не слушал ее; она не слушала его, хотя они ни на минуту не расставались.

Белла бросилась к ним. «Мы строим убежище в нашем подвале!» объявила она. Ни Михал, ни Джуния не хотели слышать о том, чтобы прятаться. Они отнесли свои рюкзаки к дому Беллы и стали спать там, в одной из пустых комнат, чтобы, если что-нибудь случится ночью, они были бы вместе.

Едва живая Белла тащилась за собой, куда бы ни пошли Михал и Джуния. Она сопровождала их к немногочисленным пациентам Михала, к его коротким встречам с коллегами и встречам Джунии с ее товарищами. Она стояла с ними в очереди перед кооперативами на случай раздачи еды. Повсюду царил хаос. Веретена вращались. Тысяча глаз, тысяча зеркал отражали одиночество, за одну точку, за которую можно было держаться: за руку любимого человека.

Они вернулись в здание, где жили Джуния и Михал, чтобы посмотреть, что происходит с Винтером. Он принял их широким приветственным жестом. Его лицо, которое никогда не улыбалось должным образом, сияло. Стоя у мольберта, он лихорадочно работал кистью. Он засыпал посетителей потоком громких непонятных слов.

"Я победил! Я, Владимир Винтер, победил! Сегодня утром они разорвали мое письмо о защите в *Крипо.*Они вежливо пригласили меня уехать с первым транспортным средством портных. Они собираются превратить меня в портного! Еще не поздно? » Он дико взревел. «Пусть идут к черту! Посмотрите, какие работы они мне помогли создать! Посмотри на мои стены! И теперь они вернули мне мою свободу. Потому что, доктор, послушайте, я был не предателем, а рабом. Теперь я начинаю работать по-настоящему. . . как свободный дух. Послушайте, меня переполняет священное вдохновение. Конечно, вы пока ничего не видите. Хотите знать, почему я использую такие темные цвета? Что я имею в виду с этим темно-синим? Не волнуйся. Это не будет мрачный холст. Летняя ночь в гетто. Понимаешь? Идиллический. . . идеал. . . вот что я хочу показать. Темно-синий будет мягким, как бархат, звезды - бриллиантами, дома - гондолами, плывущими в бесконечность. И знаете, что я буду делать, как только это будет закончено? Я приглашаю всех своих коллег, всю интеллектуальную элиту гетто взглянуть на мою работу. Потом все соберу. О, Боже, почему мне все еще так холодно и так жарко? Доктор, не ошибитесь, у меня не высокая температура. Это только потому, что я напряжён. Подойти ближе. Юния, ты тоже. Даже ты меня сегодня поймешь. Подойдите к окну. .. Ты видишь небо? Во всем мире есть только одно такое небо. Небо над гетто ». Он проверил свой пульс и деловым голосом повернулся к Михалу: «Доктор, вам не кажется, что я потею от напряжения и душного воздуха? Дай мне стакан молока, козочка, - обратился он к Джунии. Они спросили его, собирается ли он присоединиться к транспорту или спрятаться. Он снова взял кисть, после того как сделал глоток молока. «Я не собираюсь ничего делать, пока не закончу эту работу», - ответил он. «Тогда посмотрим».

«Вы знаете, какова ситуация, не так ли?» Михал за рукав оттащил его от мольберта.

«Убери от меня руки, доктор!» Зима пронзила его горячими ястребиными глазами. «В моей жизни больше нет начальников!» он кричал: «Я свободный дух. А теперь простите меня, всех вас, и убирайтесь отсюда ».

Они пошли посмотреть, что происходит с Гутманом. В его хижине возле мусорной свалки картины покрывали стены аккуратной симметрией, как в музее. К стене под каждой картиной была прикреплена белая карточка с ее названием и датой написания. Гутман мыл пол.

«Моя галерея будет закончена как раз вовремя», - сказал он первым. Он махнул рукой, показывая, что они не должны входить в комнату, чтобы не испачкать пол.

Он спросил Юнию о последних новостях с фронтов. Она не слышала его вопроса. Они с Беллой смотрели на портрет Матильды, висящий на стене напротив них. Гутман начал писать его много лет назад и, вероятно, закончил совсем недавно. Хотя он изобразил все складки и складки на лице Матильды, в этом не было ничего от воздуха гетто. Это была возвышенная Матильда, женщина, которая сидела за роялем в салоне с высоким потолком и играла этюды Шопена. Было очевидно, что восхищение или, возможно, любовь руководили кистью Гуттмана. Так дочери увидели свою мать в тот момент во всей ее печальной красоте; они видели ее такой, какой она была по сути. Возможно, они осознали, что образ Матильды, который они будут носить с этого момента в себе, будет тем, что художник создал своей кистью; потому что внезапно они почувствовали себя необычайно близкими к Гутману. Они предложили ему приехать и остаться с ними в доме на Хокель-стрит.

«Я тоже хочу быть с тобой», - сказал он, вставая с пола и приближаясь к ним с щеткой в ​​руке. «Но мне еще нужно обрамить и повесить несколько холстов. Некоторые я все же должен исправить. Может, через несколько дней. .. »Очевидно тронутый выражением лица Джунии, он взял ее за руку, улыбаясь:« Что случилось, козочка? » Она вырвала свою руку из его рук и выбежала на улицу.

Михал запнулся: «Она разочарована. Она думала, что так и будет. . . что мы бы ... » Лицо Гутмана изменилось. Он отвернулся от Михала и Беллы. Они поняли, что он хотел, чтобы они ушли.

Трое из них продолжали бродить по улицам, стуча в двери друзей, чтобы узнать, что каждый из них решил сделать. Перед одними воротами собралась группа людей. Полицейский вышел из толпы и обратился к Михалу.

«Доктор, - крикнул он, - вы упали, как с неба! Иди со мной! Герр Шаттен. . . Он пинает ведро. Три дня и три ночи он не переставал пить и кричать как свинья. Белая горячка, - поставил диагноз милиционер.

Юния и Белла ждали Михала перед домом. Люди в толпе постоянно менялись, одни уходили, а другие приходили, чтобы узнать, что происходит. «Если этот враг евреев напивается из страха, - заметила женщина, - значит, его кожа не безопаснее, чем наша». «Конечно», - согласился с ней прохожий. «Если будет полная ликвидация гетто, я не дам пфеннига даже за голову Румковского».

Человек-оптимист считал своим долгом утешить толпу: «А я вам говорю, что все не так уж плохо. Например, сосед одного из моих родственников получил направление в булочную на целый месяц ».

Люди смотрели на него с удивлением. Вскоре появился еще один, чтобы поддержать взгляды этого человека и помочь ему успокоить толпу: «Говорят, Tailor Resort получил новый заказ на производство ...»

"Что производить?" его спросили.

«Ага, производить портных. .. для транспорта! » позвонил кому-то, кто отказывался успокаиваться.

♦ ♦ ♦

Ежедневно из гетто должны были покидать пять тысяч евреев. Они должны были уехать на курортах вместе с оборудованием и материалами. Темп водоворота увеличился. Кошмар позднего лета. Мертвые часы на башне мертвой церкви, казалось, насмешливо улыбались своими мертвыми циферблатами: «Это не я, не я в мертвой своей мертвости, кого отправят. Только я, только я, мертвый, останусь ». Люди смотрели на это, защищались от этого: «Это невозможно!» Кажется, каждый из них ответил: «Этого не произойдет. А если и пойдет, то не меня уведут . Только я, только я останусь ».

Директора, комиссары и менеджеры важнейших отделов собрались в офисе Presess. Пресесс выступил с речью. Он вытер пот на лице, хрипло закашлялся и надул щеки. «Нет, пока точно не известно, когда начнется« акция », - сказал он, - но они должны ожидать ее в любой момент. Никаких других подробностей пока не известно. После конференции гетто снова стало бурлящим. Ходил слух, что эвакуация отложена на двадцать дней. Люди проклинали пресессов и *шишек*за то, что они их напугали.

Директора Tailor and Metal Resorts были приглашены на конференцию, на этот раз не в офис Presess, а в офис герра Бибоу, где собрались джентльмены из *Ghettoverwaltung*. Незнакомый господин, представитель *Reichsristungkommando,*произнес пламенную речь о близости линий фронта и об общей военной ситуации, которая требовала переноса портных и металлических курортов в более безопасное место в Германии. На следующий день Tailor Resorts уехали. Директора покинули собрание с высоко поднятой головой. Вопрос был ясен. Бибоу не хотел уезжать на фронт, и в Берлине он ходатайствовал о переносе своего дела, столь полезного для Рейха, в место подальше от фронта.

На следующий день ни один портной не явился к перевозке.

Было объявлено важное обращение герра Бибоу ко всему населению гетто. Михал, Юния и Белла бросились во двор пожарной части. Солнце извергало огонь. Потоки пота лились по красным искривленным лицам толпы. Слова герра Бибоу лились по головам прохладной освежающей струей.

«Работники гетто, мои дорогие евреи!» Немецкий язык, который когда-то стучал плетью по еврейским ушам, теперь нежно ласкал их. «Я надеюсь, что вы очень серьезно отнесетесь к тому, что я вам скажу. Некоторые из вас считают, что разумнее оставаться в гетто до последнего. Это, дорогие друзья, неправильно. Потому что тот, кто обманывает себя, что гетто не движется к полному роспуску, совершает большую ошибку. Бомбы уже сброшены в районе Литцманштадта. Если бы они упали в гетто, на камне не осталось бы камня. Поэтому я обращаюсь к вам с призывом разрешить перемещение гетто упорядоченным образом, мирно и доброжелательно. Со стороны работников портных номер один и два - полное безумие - сопротивляться присоединению к транспорту, и это не оставляет мне выбора, кроме как применить силовые методы. Четыре с половиной года я работал с вами, всегда стараясь внести свой вклад . . . И я уверяю вас, что мы все постараемся сделать то же самое в будущем, переместив гетто в другое место, чтобы защитить свою жизнь. Идет война. Германия борется до последнего ... Необходимо сохранить всю возможную рабочую силу, поскольку по приказу герра Гиммлера тысячи немцев были отправлены на поля сражений. Их необходимо заменить. Я говорю вам это для вашего же блага, и я надеюсь, что Курорты номер три и четыре также сообщат, как один человек, на вокзал. Семьи вместе уедут в различные лагеря, которые будут отстроены заново, а фабрики построены. Вы, конечно, хотите жить и иметь достаточно еды. И это у вас будет. В конце концов, я стою здесь не как какой-то глупый мальчик, - голос герра Бибоу стал немного резче, - который будет умолять вас, пока вы отказываетесь появляться. Если ты заставишь меня применить силу, будет много убитых и раненых ... » Тут он взял себя в руки и снова стал тихим. «Продовольствие будет обеспечено на каждый вагон. Путешествие продлится от шестнадцати до восемнадцати часов. Возьмите с собой багаж, не превышающий двадцати килограммов. В вагонах места достаточно. Приходите всей семьей. Возьмите с собой кухонную утварь, потому что в Германии ее не хватает. Еще раз заверяю вас, что о вас позаботятся. Иди домой, собери и записывайся! »

На сборку записалось несколько ветхих портных.

На следующий день герр Бибоу произнес еще одну речь на курорте Металл. Михал, Юния и Белла тоже бросились туда. На этот раз мольбы герра Бибоу были еще более трудными. Толпа была в восторге от его умоляющего голоса, успокаивающего их сердца тем фактом, что могущественный господин кланялся им. Но они не подписались. Бибоу поехал к другим центральным точкам гетто. *Oberbiirgermeister*городского Рода с ним , а также выступили с речами, как это сделали другую *Herren*из *Ghettoverwaltung.*Все они умоляли евреев: «Будьте готовы ...».

Пресесс Румковски произнес несколько собственных речей, призывая к повиновению. Потный, измученный, его сморщенная фигура предстала перед толпой. Он тяжело вздохнул и хрипло заговорил со своими братьями, без следа своей прежней театральности. Он больше не кричал и не поднимал руки пророчески. Собственно говоря, люди почти не слышали его, и число его слушателей уменьшалось с каждым выступлением; они предпочитали слушать Бибоу. По крайней мере, они получили немного удовлетворения.

Шли дни. Речи оказались безрезультатными. Полиция начала работать по ночам, забирая людей с кроватей.

Г-н Бибоу не переставал произносить речи. У него был новый обнадеживающий аргумент. Не только гетто, но и весь Литцманштадт, бывший Лодзь, с его немецким и польским населением, также будет эвакуирован в течение 48 часов. Время от времени в скользкой плавности его слов пробивалось предупреждение. Но он сразу заметил, как ярость загорелась в глазах его слушателей, и взял себя в руки, добавив еще одну дозу сладости своим мольбам. Практически стоя на коленях, он умолял свою неряшливую, едва живую публику оказать ему личное одолжение и позволить позаботиться о них ради них самих.

Люди продолжали слушать его выступления, а затем не появлялись на месте собрания для депортации. Вместо этого они бродили по улицам и собирались на задних дворах, чтобы интерпретировать проповеди Бибоу. Они пришли к общему выводу, что, во-первых, Бибоу, «трусливый йек *,*идиотская свинка», боялся, что евреи Лодзинского гетто сделают то же, что и евреи Варшавы, поскольку не имел ни малейшего представления о том, как «Глубоко закопаны в землю» оставшиеся евреи Лодзи; и что, во-вторых, представленный им план «трансплантации» гетто в Германию был пустым блефом. Потому что почему *йеки, зарывшиеся*«глубоко в землю», должны сейчас беспокоиться о безопасности евреев? Что, в-третьих, *йеки,*несомненно, хотели покончить с еврейством, но они были настолько разбиты и сбиты с толку, что их головы просто сорвались с рельсов; и что, в-четвертых, они сами сбегут отсюда в любой день, возможно, в тех же повозках, которые они приготовили для геттоников.

Рейды проводились несколько раз в день. Предположительно, это были портные и слесари-металлисты, но полиция схватила всех, кто попадался им в руки, и «шило тут же вылетело из мешка». Рейды стали постоянными. Ежедневно приходилось собирать две тысячи человек. Полицейские, которые начали работать недалеко от своих домов, чтобы защитить свои семьи, преследовали соседей на своих улицах. Они размахивали дубинками и хрипло кричали вне себя, точно так же, как люди, за которыми они гнались.

В гетто появились огромные грузовики. Из них выскочили немецкие солдаты и быстро окружили кварталы домов. Выстрелы, крики и стенания пронзили небо. Звук взломанных дверей, взломанных замков, разбитых окон сопровождался стуком шагов. Людей сгоняли и гнали пешком, или на грузовиках, или в вагонах, или на трамвае - на вокзал.

Эшелоны с красным скотом прибыли на станцию, которая имела отдельную ветку от гетто. Солнце пекло головы тем, кто карабкался по деревянным пандусам на вагоны для перевозки скота. Черные стада людей разделились, заполнив одну машину, затем другую, затем третью. Тяжелые ранцы качались, чемоданы тряслись, горшки и столовые приборы звенели, а с Марысинской дороги хлынули массы людей, песок и пыль на их потрескавшихся губах и между зубами.

Те, кто карабкался по доскам, держали головы повернутыми назад, рассматривая зелень *Марысина, дзялки,*деревья. Запах груш, яблок и вишен заполнил их ноздри. Они чувствовали себя фруктами, заполняющими открытые морды пустых голодных товарных вагонов. Двери были широко открыты, каждая проглатывала по семьдесят тел. Затем двери были плотно закрыты, заперты, заперты. У каждой машины был глаз, который смотрел на мир, оставшийся позади: крошечное зарешеченное окно. В нем небо, разрезанное на куски, начало раскачиваться, когда железо с визгом коснулось железа. Локомотив начал качаться. Колеса начали медленно вращаться, с возрастающей скоростью откатываясь. Из зарешеченных окон высовывались руки, звонили люди, спрашивали: «Куда мы идем?»

На стенах гетто появились плакаты, объявлявшие, что меньшая часть гетто будет немедленно отрезана и что все живущие там должны перебраться через мост в центральную часть; кто бы ни был обнаружен в расчищенном районе Ап через сорок восемь часов, будет застрелен без предупреждения.

Всю ночь тени с грузом, похожим на большие бугры на спине, текли на другую сторону моста. Люди переезжали в заброшенные квартиры, к родственникам или друзьям. Улицы в центральной части гетто были заполнены толпой, так как даже те, кто жил в этой части, не хотели ложиться спать. Все были снаружи, в шуме. Облака беспокойных теней, ударяясь друг о друга, толкают друг друга взад и вперед, по кругу. В то же время в воздухе повисла великая тишина и темнота. Лица сияли, как луны в городе лунатиков.

Всю ночь люди под руководством Израиля работали, чтобы достроить убежище в подвале. Помимо Израиля, работниками были: Буним, Михал Левин, Давид и его брат Авраам, а также Шламек, брат Рахили. Эйбушицев приняли в подвал благодаря Буниму. Однако Рэйчел отказалась переехать без Дэвида и его брата.

Мужчины были без рубашки; их спины блестели от пота. Работали лихорадочно и осторожно, чтобы не привлекать внимание соседей, которые всю ночь двигались по двору. Большая внешняя дверь подвала уже была замурована кирпичом. Вместо него был подготовлен выход через решетчатое окно подвала. Его засыпали брезентом и слоем земли, что делало его похожим на *диалку.*Если нужно бежать, это будет ближайший путь к пожарному двору. Воздух поступал через отверстие в стене, замаскированное водосточной трубой, спускавшейся с крыши. Второй выход вел в сарай квартиры Цукермана. К сараю и подвалу соединяла лестница. Благодаря розеткам, которые Самуил приготовил для своего радио, в подвале и сарае был электрический ток, что позволяло им иметь свет и пользоваться как небольшой электроплитой, так и электрическим чайником Дэвида. Продовольственные товары хранились в погребе вместе с ведрами с пресной водой.

Блюмка Эйбушиц стала главной домработницей, направляя женщин, которые были заняты всю ночь, делая убежище максимально комфортным. Первым делом они устроили уголок для Эстер и малышки, а второй - для Беллы, которая еле стояла на ногах. Как только Эстер спустилась в подвал, они ждали, пока маленький Шалом проголодался и заплакал. Рэйчел выскользнула на улицу, чтобы проверить, слышен ли во дворе его плач. Не могло, но Блюмка приказала на всякий случай отделить угол Эстер от остального тяжелым одеялом. Блюмка также надеялся, что одеяло защитит Шалома от микробов, которыми могут заразить его взрослые; в частности, она думала о Белле, у которой был кашель, который она заглушила тряпкой. Блюмка, специалист по микробам Коха, не сомневалась, что на Беллу подействовала «настоящая вещь». Остальным обитателям погреба были выделены спальные места: одни в сарае, другие в погребе.

Их работа волновала, нервировала и, в некотором роде, весела женщин. Блюмка даже позволила себе пошутить с Беллой, которая принесла в подвал сборник стихов Словацкого, подаренный ее учительницей мисс Диаманд. «У нас даже нет недостатка в культуре», - сказала Блюмка, помогая Белле устроиться поудобнее в своем углу.

На рассвете, когда все было более-менее готово, все сели вокруг

Кровать Беллы и отдыхала. Они прислушались к тишине во дворе. Укрытие было похоже на спасательную лодку, которая вот-вот должна выйти на берег.

Эстер уже давно не чувствовала себя такой спокойной. Израиль был с ней и с Шаломом, и она больше ничего не желала. Она чувствовала себя защищенной и в безопасности в присутствии своего мужчины, которому больше некуда было бежать и единственной стороной которого был теперь его сын. Она не могла понять, почему Израиль до сих пор не примирился с этим фактом, почему его лицо исказилось, измучено. Он отказался принять предложенный им мир и снова стал казаться мальчиком, лишенным своих игр. Она сама давно знала, что это будет единственный выход. И она также была рада, что ее «другой» мужчина был так близок, тот, кто имел так много общего с появлением ее ребенка в этом мире; потому что Михал и Юния тоже пришли спрятаться с ними.

Она положила сына на мягкий ящик, расставила и переставила угол. Она поставила маленькое зеркало на выступающий кирпич в стене, подмигивая Аврааму, второму младшему обитателю подвала: «Это будет для вас, мужчины, чтобы вы могли как следует бриться». Она бросила взгляд на Шалома, который спал, свернувшись клубочком, и добавила: «Скоро моему Шалому тоже придется побриться».

Авраам, его лицо было измазано грязью, взглянул на себя в зеркало. Он надул щеки, потирая то место, где начали расти несколько волосков. «С сегодняшнего дня я отращу бороду», - объявил он. «Это будет сувенир из убежища на всю оставшуюся жизнь».

Эстер почувствовала на себе взгляд Михала. Он больше не избегал смотреть на нее или на ребенка. Она смело подмигнула ему, указывая на сына. «Вот ваш шедевр, доктор ...» - прошептала она.

Он подмигнул ей: «По крайней мере, есть кто-то, кто считает меня художником». Михал тоже успокоился, как только вошел в укрытие. Его горечь и ярость остались по ту сторону стены. Медицина снова стала самой красивой профессией в мире.

Он мог смотреть на Эстер и ребенка, но не на Юнию. Юния ходила так, словно у нее болел живот. Тупым взглядом, которым она оглядела подвал, была птица, запертая в клетке. Ее маленькое лицо было искажено и сморщено отчаянием. Это вызвало в нем такую ​​мучительную тоску по юнии прошлого, что он с трудом мог ее вынести. Он не пытался ее утешить или подбодрить. Им даже удалось немного поссориться по дороге в подвал, как обычно из-за пустяка, Юния настояла на том, чтобы ворваться в кооператив, чтобы проверить, есть ли там еда, которую можно взять с собой. Он отказался позволить ей это сделать. На самом деле он боялся, что она тем временем передумает и бросит его. Да, это он привел птицу в клетку. Он не чувствовал себя виноватым. Другого выбора не было.

Позже все обсудили этот вопрос. Им нужно было выйти и собрать как можно больше еды. Перенесли на следующую ночь. Когда Юния вызвалась на эту работу, Михал не возражал. Его долгом было прибыть туда вместе с ней, но он не хотел удерживать ее силой. Она была свободным человеком и хозяином своей жизни. Его сердце переполнилось нежностью к ней. Он сидел в углу напротив ложи, где спал Шалом, и думал о детях, которые спали в утробе Джунии. Какие они были бы свободными птицами! Он смотрел на спящего Шалома и мысленно видел своего наследника, своего будущего сына.

Утром начались рейды по другую сторону гетто. Выстрелы были

слышал. За исключением Эстер и ребенка, все они поднялись наверх в квартиру. Шламек и Авраам бодрствовали у окон. Если во дворе появлялись немцы или еврейская полиция, у них было достаточно времени, чтобы открыть дверцу шкафа, который скрывал вход в сарай, снять внутреннюю стенку шкафа и пролезть в укрытие.

Целью подъема наверх было вдохнуть запас «свободы»; ибо Джуния была не единственной, у кого в сердце было беспокойство. Первые минуты бодрости и душевного спокойствия прошли. Всем им пришлось медленно приспосабливаться к месту. Блюмка Эйбушиц, которую все стали называть *Мэмеше,*сразу *заметила*изменение настроения и предложила им немного поесть перед сном. К ее удивлению, никто не хотел есть. Все, чего они хотели, - это насладиться дневным светом. Некоторое время они бродили по пустым комнатам, а затем одна за другой заползали в сарай и падали на свои места. Израиль назначил охрану, которая должна была меняться каждые два часа, и вскоре в подвале воцарилась тишина. Никто не спал весь день. Они впервые вместе поели: водянистый суп, их единственное блюдо за день. У них был запас еды только на пять дней. Весь сахар и мармелад ушли Шалому.

Как только наступила ночь, Михал, Юния, Буним и Шламек вышли из подвала в поисках еды. Они бросились ко всем домам, в которых находились кооперативы. Двери некоторых были сломаны, и от еды не осталось и следа. Другие были плотно заперты, и у группы не было инструментов, чтобы открыть их, и они не могли создать слишком много шума и привлечь внимание. Они не были хорошо подготовлены к экспедиции, и Джуния в отчаянии закусила кулаки.

На обратном пути, когда они апатично двигались вдоль стен во дворе на Хоккель-стрит, кто-то прыгнул на них с одного из входов. «Михал!» они услышали шепот. Перед ними стоял Гутман. Он вытащил Михала и Юнию на лестницу и начал яростно бормотать: «Мы так и не попрощались, поэтому я решил зайти. В любом случае мне нужно было найти картину. .. Шиле, уличная певица. Он спрятал это под кроватью. Он у меня здесь. И знаете, Михал, я оставил письмо в своей студии ... Я написал. . . Боже, я должен бежать! Я рада, что нашла тебя. Я присоединяюсь утром. Это лучший способ расслабиться. Говорят, в окрестностях Лодзи партизаны. Пистолет снова станет моим любовником ». Он схватил портрет уличного певца, который стоял у стены, и махнул рукой: «Прощай!»

Юния держалась за него. «Как ты сбежишь? Скажи мне! Скажи мне!" Он оторвался от нее и бросился к воротам. "Ждать!" Она побежала за ним: «Возьми меня с собой! Умоляю, возьми меня с собой! » Однако она резко остановилась в воротах и ​​позволила Гутману скрыться. Она повернулась к группе, которая ждала ее, взяла Михала за руку и молча вошла с ним в укрытие.

Сорок восемь часов, отведенных на переезд в центральную часть гетто, уже прошли, но были щедро предложены еще двенадцать часов. Израиль решил перейти мост вместе с толпой. Михал и Юния пошли с ним. Они надеялись «организовать» значительный запас еды на другой стороне. Перейдя мост, они расстались. Юния и Михал первыми побежали к хижине Гутмана. Они не ожидали найти его там, но имели в виду его *диалку*. Во время своего последнего визита они видели, как на нем росли капустные листья.

Улицы в центральной части гетто походили на переполненные ульи.

Тысячи и тысячи людей, ошеломленные, озабоченные, роились взад и вперед. Некоторые все еще искали место для проживания, неся предметы мебели, как будто они были готовы снова осесть. Другие просто не могли оставаться в своих домах, где все было готово к путешествию, которое могло начаться в любой момент.

Дверь хижины Гутмана не была заперта, и в комнату вошли Михал и Юния. На столе, накрытом белой скатертью, стояла ваза с поздними летними цветами. Перед вазой лежало письмо Гутмана к миру:

«Это выставка картин И. Гуттмана, родившегося в Лодзи в 1910 году. На протяжении всех лет моего плена в Лодзинском гетто я пытался с помощью кисти отразить жизнь евреев. зажат между колючей проволокой.

Что бы ни случилось со мной лично, я умоляю вас, кто бы вы ни были, кто бы ни открывал дверь в этот дом, уважать мою работу и не разрушать ее ».

Юния взглянула на противоположную стену и встретилась с задумчивым взглядом Матильды. Ее мать как будто сидела за роялем и играла ноктюрн Шопена. Михал пролистал каталог картин, написанных рукой Гуттмана. Затем он положил его обратно на стол вместе с письмом, взял Юнию за руку и вышел из хижины. Он закрыл дверь, написав на ней свои имена и имена Джунии. Затем они наполнили сумку тем, что смогли выкопать из *диалки*Гутмана *.*

Вернувшись в очищенную часть гетто, они решили посмотреть, что случилось с Винтером. Поднимаясь по лестнице, они столкнулись с Мендельсоном, который бросился вниз с рюкзаком за спиной. Он энергично пожал им руки.

"Друзья мои! Мои дорогие друзья!" Он просиял от уха до уха. "Я благодарю тебя! Спасибо тебе за все!" Он сообщил им свои хорошие новости. Завтрашний транспорт уезжал в Гамбург. Он, Мендельсон, должен был вернуться в свой *Хеймат*, *ja ivohl.*Он уже направлялся к месту сбора, чтобы успеть. Пунктуальный. Он также должен был обеспечить себе место в фургоне. Он слышал, что на вокзале толпы людей ... Следующий транспорт направлялся в Берлин, а другой - в Мюнхен. Он должен уехать в Гамбург.

Михал схватил его за плечи и яростно встряхнул. *«Думмкопф! Думмкопф ».*- взревел он. «Как вы можете верить в такие вещи? Разве ты не понимаешь, что все это ложь? »

Мендельсон пожал плечами: «Пожалуйста, доктор Левин, это факт. Всем известно, что первый транспорт, отправляющийся утром, отправляется в Гамбург. Спросите самого герра Бибоу. Что бы вы ни думали, немец не лжет ». Он снова схватил их руки в свои. *«Прощай! Auf Wiedersehen! »*Михал собирался броситься за ним, но Юния удержала его. Она ничего не сказала, но посмотрела на него своими темными глазами. Она была похожа на старуху.

Винтер лежал на диване. Казалось, что он разговаривает с кем-то на потолке. У него была высокая температура. Картина, над которой он работал, стояла на мольберте незаконченной. Белые пятна холста сияли между темными цветами, как буквы, написанные неразборчивым почерком. Остальные картины, снятые со стен, прислонены к мебели, связанные вместе; некоторые были завернуты в простыни.

«Как я могу оставить его в таком состоянии?» - пробормотал Михал.

Джуни со стоном ответила: «У тебя есть выбор? Можем ли мы взять его с собой? »

Михал проверил пульс Винтер, затем поставил стул с кастрюлей с водой возле дивана и взял Джунию за руку. «Пойдем, я буду заходить каждую ночь. Мне все еще нужно где-то делать укол ».

На обратном пути они остановились в тех дворах, где, казалось, еще что-то осталось на *дзялках.*В воротах своего дома на Хокель-стрит они увидели Беллу, сидящую на пороге. Рядом с ней сел Ириски. Как только он заметил Михала и Юнию, он вскочил на ноги и схватил Михала за лацканы.

«Она не хочет понимать, девочка, - прошептал он, всхлипывая, - что мне здесь нечего делать без своего дела. Кто у меня купит лекарства для сердца, я спрашиваю? Я прятался двадцать четыре часа с моими мальчиками из *ешивы*, так что это все еще имело смысл. Но все они убежали. Они хотят быть со своими семьями. Да, мужчина обсуждает этот вопрос сам с собой. Чего мне все-таки бояться? Если мои дети пошли по той же дороге, мне, их отцу, нравится бояться, скажи мне? » Он долго разговаривал с Михалом, слова его становились все более непонятными. Буним стоял в нескольких шагах от группы. Он также только что попрощался с Ирисковым человеком.

Постепенно на этом месте собрались все, кто покинул тайник. Во дворе было слишком много машин, чтобы они могли пробраться в убежище, и, кроме того, они хотели использовать оставшиеся несколько часов, чтобы найти еще немного еды. Они снова разошлись. Когда они встретились в назначенный час, все были загружены овощами; Шламек и Авраам, сумевшие попасть в кооператив, принесли с собой сокровище: мешки муки и риса и даже немного сахара.

Хотя все они решили бодрствовать ночью, когда они могли передвигаться по улице и спать днем, все они прокрались в укрытие и рухнули на свои берлоги. Они проспали всю ночь, и утром их разбудил только звук стрельбы с другой стороны гетто. Съемка длилась всего полдня. Была суббота, и после полудня немцы не работали.

♦ ♦ -►

Субботний день. Страшная тишина. Бог и немцы отдыхали. Обитатели погреба лежали на полу наверху, в комнате с балконом. Балконная дверь была распахнута настежь, и вишневое дерево мигало вверх, и на его кроне оставалось несколько вишен.

Эстер лежала на одной из кроватей, рядом с ней лежал Шалом на расстеленном подгузнике. Он был занят своей любимой игрой: растягивал и сгибал пружинящие ноги. Рядом сидела Блюмка Эйбушиц, перебирая горшок с горошком. На другой кровати лежала Белла, склонив голову на кулак, а перед ней лежал раскрытый том стихов Словацкого. Она не читала. В тот момент она была далека от поэзии Словацкого, но не хотела расставаться с книгой. Это вызвало воспоминания о мисс Диаманд, и она часто могла слышать внутри себя хриплый голос старухи: «Дитя мое, послушай звук пианино внутри себя ... Будь верен своей музыке, и ты не потеряешься и не испугаешься. . » Белла не беспокоилась о судьбе самой книги. Вместе с Рэйчел она решила, что кто-нибудь из них позаботится об этом и возьмет его с собой, куда бы она ни пошла.

Остальные сели на пол. Буним листал незакрепленные страницы бухгалтерской книги, читая про себя главы своего незаконченного эпического стихотворения. Михал Левин также держал на коленях лист бумаги. На нем едва разборчивым почерком врача были написаны слова «Моя воля», а под ними несколько фраз: «Я еврей. Я люблю свой народ. Но я с нетерпением жду того времени, когда мне будет достаточно сказать: я человек ». Рядом сидела Рахиль в объятиях Дэвида. Ее глаза были прикованы к Буним. Постепенно усталость победила всех. Их головы низко опустились. Они заснули. Авраам, Шламек и Юния стояли на страже у окон и балконной двери.

Шалом своим криком вызвал тревогу. Исраэль, который что-то ремонтировал в сарае, ворвался внутрь и накрыл ребенка своим телом, чтобы заглушить крики. Затем он схватил ребенка на руки и бросился с ним в подвал. "Никогда больше не приводи его наверх!" - приказал он Эстер. Она взяла ребенка из его рук и положила на коробку. Дрожа, она закрыла грудью рот ребенка.

В тот субботний день обитатели подвала мало разговаривали друг с другом. Казалось, что каждый из них был занят самим собой, и хотя они были физически близки, они не видели друг друга. Их воображение играло смутными сновидениями. Они чувствовали себя растворенными в тишине странного субботнего покоя.

Та ночь тоже принадлежала им, как и следующий день. Сколько еще они могли просить? За исключением Эстер, Израиля и младенца, все они спали наверху. Израиль не доверял еврейской полиции и боялся, что ночью или в воскресенье они придут искать тех, кто прятался по ту сторону гетто. Он назначил регулярную охрану на следующие двадцать четыре часа.

Михал лежал с Джунией на кровати в бывшей комнате Самуэля. Ему нравилось смотреть на Джунию, когда она спала, ее конечности переплетались с его. Он скучал по ее улыбке и веселью. И все же она была ему дорога вдвойне в своем разочаровании и горе. Он чувствовал ее силу не только в ее твердой привязанности к жизни, но и в ее болезненном стремлении к ней. В ее белом комбинезоне кожа лица и рук казалась смуглой, как у мулата, и хотя она была худощавой, в ней было что-то бронзовое и нерушимое - статуя, высеченная самим солнцем.

Мысли Михала обратились к завещанию, которое он начал писать. С рукой Джунии на груди он не чувствовал отчаяния «Нет выхода». Как раз наоборот. Его завещание должно было быть приветствием, посланием. Мысленно он подбирал слова осторожно, медленно. В другой комнате, у открытого балкона, спал Беркович, поэт с больным сердцем и опухшими ногами. Михал завидовал тому, что Беркович знает слова. Человеческий язык был настолько беден, что здесь, в укрытии, от него было мало пользы. И все же ему пришлось прибегнуть к этому. Он должен был передать то, что могло быть передано, даже если несовершенно, даже если нечетко. В конце концов, слова возникли из источника, который также не был идеальным или ясным.

Проснулись они солнечным воскресным утром. На улице было тихо. Они понятия не имели, как прошел день. Это было похоже на сон, от которого они отказывались просыпаться. В сумерках Буним стоял на страже у окна, и именно он увидел, как прибыл Человек Тофифи с коробкой конфет, свисавшей с его шеи; он выглядел так же, как и в обычные дни гетто. Издалека Желтая Звезда на его габердине отражала солнечные лучи. Его длинная редкая борода над ящиком свободно качалась, не прикрываясь. Он взлетал в воздух в ритме шагов маленького человечка, как будто восхищаясь его свободой, его пряди тянулись во все стороны. Буним посоветовался с Израилем, и они решили впустить его в убежище.

Ириска, с залитым слезами лицом, но уже не плачущим, появился в квартире наверху. Они заметили мешок с хлебом, подвешенный к его плечу. Из него выглядывал молитвенный платок, филактерии и псаломник.

«Соседи!» Он поднял руки, когда все окружили его. «Поскольку поезд сегодня не уходит, я решил прийти и попрощаться еще раз». Он заметил, что Буним открыл рот, собираясь что-то сказать, и остановил его. «И было, - напевал он, - что они ударили нас, и я остался ... Я упал лицом вниз и сказал:« Горе, Боже, наш Владыка, неужели Ты действительно хочешь уничтожить остаток Израиля? ' Ночь за ночью я плакал, задавая этот вопрос. Этой ночью я встал и, не дожидаясь ответа, сказал Ему: «Если это так, Правитель Небес, то все, что случится со всем Израилем, может случиться с Реб Израилем. И да будет исполнена Твоя воля, Владыка Мира. . . И тогда Вы увидите, нравится Вам это или нет ». Он заметил Дэвида, и его лицо просветлело. Он протянул к нему два пальца и пожал два пальца Дэвида. «Ты помнишь, сын мой, что я однажды сказал тебе, что в случае, если один из нас двоих останется. .. Ты ... »

Дэвид взял маленького человечка пальцами за руку. Он хотел умолять его остаться с ними, и у него также была странная идея - попросить его провести церемонию бракосочетания для себя и Рэйчел в тот же день. Но Человек-Ириска махнул ему рукой, словно давая понять, что его слова бесполезны.

Блюмка поднесла Тоффи-Мэн тарелку супа. Она ожидала, что он тоже откажется от нее с поднятыми руками. Но, к ее удивлению, он взял ложку из ее рук, поставил миску на стеклянную крышку своей коробки и начал с нетерпением пить из нее. Все они наблюдали, как его борода и бока дрожат от каждой проглоченной ложки. Белла подошла к нему очень близко. Темными лихорадочными глазами она смотрела на его морщинистое лицо.

«Не уходи, раввин. Пожалуйста, не надо. .. »- умоляла она его.

Он сунул ей в руку пустую миску, покачиваясь, как будто в молитве. «Дорогое дитя», - сказал он. "Что ты имеешь в виду, что я не должен идти?" Он поправил шнурок коробки на шее. «Вы видите здесь ириски, которые я готовил весь день? Вы знаете, для чего я их сделал? Чтобы сделать путешествие приятнее, я их сделал. Клиентов хватит, да защитятся от сглаза ». Он вынул ириску из-под стеклянной крышки и протянул Блюмке: «Это для рыжеволосой женщины, для ее сына Шалома. Скажи ей, чтобы она завернула конфету в кусок ткани и дала ему пососать, когда он начнет кричать.

В следующий момент он ушел.

Book Three 375

Глава двадцать восьмая

НА РАССВЕТЕ из центральной части гетто доносились КРИКИ, плач и вопли. Часто сквозь тишину с их стороны обитатели подвала могли слышать ясные слова кого-то, молящего о жалости, а также резкий ответ на немецком языке. Даже в полдень, когда обитатели подвала ожидали перерыва в «действии», изменений не произошло. Охота продолжалась с шести утра до восьми вечера. Часть гетто, в которую входила улица Хоккеля, была мертва. У немцев еще было достаточно дел на другой стороне. Обитатели подвала следовали плану Израиля: спать днем ​​и бодрствовать ночью. Но заснуть под аккомпанемент криков было непросто.

Ночью все они, кроме Эстер и ребенка, вышли на улицу. Под защитой темноты они бросились через задние дворы к заброшенным домам и кооперативам в поисках еды. Они также снабдили себя ведрами с водой, молясь, чтобы водяные насосы не скрипели слишком громко. Часто во время этих ночных занятий они замечали, что другие «мыши» покидают свои норы. Они обнаружили, что во дворе на улице Хоккеля на чердаке старого водохранилища пряталась семья. А в подвале Ириски была еще одна группа соседей.

Во дворе была организована коллективная охрана людей из всех укрытий. Наблюдательные посты сторожей находились в дымоходах на крыше. Им пришлось предупредить остальных, когда немцы или еврейская полиция проникли в эту часть гетто. Они также связались с теми, кто прячется на задних дворах, и согласовали набор сигналов.

Михал Левин с несколькими снотворными в кармане снова начал свой обход по эту сторону гетто. Но его посещения пустых комнат, где остались одинокие больные люди, очень скоро закончились. На седьмой день «акции» сторож в дымоходе просигнализировал, что телега на резиновых колесах въехала через ворота в ограде гетто. Через несколько часов фургон откатился назад, нагруженный больными.

Жизнь в подвале была организована до мельчайших деталей. За сутки ели всего дважды: на рассвете перед «акцией» и вечером после «акции». Они сберегали каждую каплю воды, потому что насосы работали слишком громко. Наблюдатели в дымоходах, которые могли видеть, что происходит на другой стороне, доложили о ходе «акции». Сообщили, что, несмотря на сумятицу набегов и охоты, где-то раздавали капусту и репу. Было видно, как люди бегают по дворам с полными мешками. Пойманных загоняли в грузовики или фургоны, а мешки выбивали у них из рук.

Рэйчел и Дэвид встали на колени на выкопанной *дзиалке*в глухом дворе. Они отправились вместе с остальными на «ночную работу». Целью обитателей подвала было собрать достаточно еды на месяц, и, поскольку они ожидали, что их сторона гетто скоро подвергнется нападению, они как можно лучше использовали тихие ночи. Земля была прохладной. Свежий ветерок слегка танцевал в воздухе. Рэйчел и Дэвид торопливо копали и лишь изредка ударялись о корень овоща. Но они радовались возможности побыть вдвоем наедине под открытым небом. Когда их чемоданы были более или менее заполнены, они позволили себе прокрасться в пустую комнату и позвонить домой на час или около того.

Рэйчел была спокойна. Все закончилось. Гетто принадлежало прошлому. Она оказалась в нейтральной зоне, где вчера и завтра были отрезаны друг от друга. Тот факт, что одна горькая глава подошла к концу, принес ей облегчение, хотя появление следующей главы грызло ее разум острыми вопросительными знаками. Она думала, что любовь между ней и Дэвидом не могла длиться дольше. Гетто отчуждало людей друг от друга. Даже если они несли одни и те же цепи, их души разошлись, и каждая пошла своим путем мучений. Конечно, гетто также заставляло людей привязываться и глубоко увлекаться друг другом, но и привязанность, и отчуждение были вызваны ненормальными условиями, и поэтому они тоже часто были ненормальными и ложными. В некоторых привязанностях было больше ненависти, чем любви, в некоторых разлуках больше любви, чем ненависти.

Только тот факт, что она сейчас вместе с Дэвидом, имел для нее какое-то значение. Дэвид тоже знал об этом. Они приобрели чувствительность, которая позволяла им прислушиваться к мыслям друг друга. Его способ вслух реагировать на ее мысли не всегда был приятным, но она знала, что все, что он ей рассказывал, было не более чем завуалированным или замаскированным участком земли, на котором они сидели.

Когда они перестали работать, их чемоданы были почти полны, а пальцы окоченели. Они придвинулись ближе друг к другу и сжались в объятиях. Они были истощены, не могли двигать конечностями, но прикоснуться к ним было легко. Согнутыми жесткими пальцами Дэвид погладил Рэйчел по волосам. Много позже он сказал: «Знаете ли вы, - сказал он, - когда мы попрощались с Человеком Ириски, мне в голову пришла странная идея. Я хотела, чтобы он дал нам благословение на брак ". Она тихо рассмеялась: «Ты смешной».

"Почему? Я имел в виду это символически ».

«Мы женаты уже давно, глупец, и не только символически».

"Ты так думаешь?"

"Не так ли?"

«Нет, я думаю, что мы еще не женаты».

«Нужны ли нам для этого благословения Ириски?»

"Нет. Это была просто странная идея. В тот момент я был в таком настроении. Я хотел жениться на тебе ... таким образом ».

«А ты в каком настроении сейчас?»

«Рэйчел», - он прижал ее к себе. «Я должен стать мужчиной. Я должен созреть самостоятельно, вдали от тебя ». Она оторвалась от него и села. Он мягко спросил: «Почему ты уехал?»

«Всегда один и тот же разговор! Все тот же . . . » она бушевала.

«Вам это странно? Наверное, я странный человек. Возможно, мне следовало говорить иначе. Говорить об этом сейчас, наверное, глупо. Иногда, когда тихо и мы одни, я забываю себя. И да, теперь я чувствую по-другому.

Теперь я знаю, что как бы далеко я ни уйду от тебя, я всегда вернусь ». Он обнял ее и прошептал: «Рэйчел, если бы ты только знала, как я боюсь потерять тебя».

Они пошли обратно через задний двор. Ночной ветерок гнал разбросанные по земле тряпки и бумаги. Дэвид взял большой лист твердой бумаги. "Рисунок!" он прошептал. Он взял другой лист, тоже набросок. В темноте они не смогли разобрать подпись и унесли с собой в подвал несколько рисунков.

Буним узнал, чьи это рисунки, еще до того, как увидел их подпись. Юния крикнула Михалу: «Пойдем, с Зимой что-то случилось!»

Михал не двинулся с места. Она поняла. Она только спросила его, когда, и он сказал ей: «С последней группой больных. … »Авраам и Шламек выбежали, чтобы собрать все рисунки, которые смогли найти на улице.

Настал другой день. Сторож в дымоходе объявил, что другая сторона гетто почти пуста. Обитатели подвала отказались от ночных выходок. Они все время оставались в подвале, и еще через день у них начались проблемы с желудком.

Коммандос с поляны появился по эту сторону гетто. Они переехали на Хоккель-стрит и вскоре оказались во дворе. Израиль приказал каждому занять свое место как в подвале, так и в сарае, чтобы оба выхода были свободны. Эстер сидела рядом с мирно спящим Шаломом, ее блузка была расстегнута, готовая отдать ему свою грудь в случае, если он проснется. Снаружи доносились удары, крики: «Лос! Лос! » Звук молотков, топот ботинок по лестнице, звук бьющегося стекла, разбитых замков, расколотого дерева наполняли воздух. Вдруг стало тихо. В тишине вздох облегчения. Сердца скрывавшихся по-прежнему бешено колотились, но их разум уже освободился от паралича.

На следующий день снова появился клиринговый коммандос. Тех, кто прятался в подвале Ириски, обнаружили и вывели наружу. Шаги и крики приблизились. Шум окружал дом, поднимаясь по лестнице. Казалось, тяжелые сапоги наступали на сердца скрывавшихся, трескали их, как орехи. Сапоги уже были наверху в квартире, бродили по комнатам. Кто-то открыл дверцу шкафа, накрывавшего сарай. Немецкие голоса гремели сквозь тонкие стены. Странно, что охотники не слышали грома, исходящего из сердец прячущихся.

После визита - сильное чувство победы. Убежище выдержало испытание. Обитатели погреба поцеловали Блюмку, категорически против того, чтобы готовить еду на плите в кухне наверху; она боялась, что дым из трубы выдаст их и что даже теплая печь будет опасна.

Последовали более-менее спокойные, сказочные дни. Беспокойство утихло. Вылечили желудки. Умы убаюкивала тишина. Как будто все они принимали транквилизаторы. Страдание все еще было где-то внутри них, но они этого не осознавали. Они чувствовали себя призраками с такими легкими телами, что были и здесь, и где-то еще. Рэйчел лежала рядом с больной Беллой, играя со страницами стихов Словацкого. Ее глаза смотрели на линии, но она не понимала их значения. Белла и Рэйчел редко обменивались словами, но оба чувствовали себя не просто учениками мисс Диаманд, а ее наследниками. Когда она перебирала книгу, смутно думая об этом факте, Рэйчел остро осознала присутствие Бунима. Казалось, он всюду следил за ней глазами. Она чувствовала себя виноватой перед ним. Возможно, потому, что он говорил с ней с добродушной улыбкой, без тени горечи. Он смотрел на нее так, как когда-то смотрел на нее ее отец, когда она была маленькой девочкой - с обожанием, с преданностью в его взгляде - как он смотрел на свою дочь Блимеле. И все же у нее было чувство, что она что-то ему должна и что она никогда не сможет вернуть долг.

Она часто думала и мечтала об отце. Она увидела себя идущей с ним по улицам Лодзи. Она, маленькая девочка с косичками, высоко подняла голову. Ей приходилось поднимать глаза, когда она разговаривала с ним, или если она хотела видеть его лицо, когда он разговаривал с ней. Он часто говорил: «Пойдем, дочка, пойдем домой, к маме ...». Потом отвезет ее домой к Блюмке.

Рахиль откроет глаза, проснувшись от сна, увидит Блюмку и узнает, что она дома. Они с матерью обменивались случайными словами, банальными фразами, но могли обойтись и без слов.

Теперь, когда она играла с книгой и чувствовала на себе взгляд Буним, пока она думала обо всех этих смутных мыслях о себе, о своих родителях, о Давиде и Буниме, она повернула голову к Белле и заметила: «Мой отец часто читал стихи. нам в субботу утром, когда мы дольше оставались в постели ». «Мой отец никогда не держал в руках сборник стихов», - ответила Белла, слабо улыбаясь. «И вы видите, ваш отец и мой стали друзьями».

«Да, большие друзья».

Глаза Беллы загорелись. «На первый взгляд кажется, что их обоих больше нет, и их дружба больше не существует, но это неправда. Ты не согласен? Разве их дружба не здесь, на этой кровати, в эту самую минуту? » Она вспотела, поднялась температура, но голос ее был чистым. Это был голос бывшей грустной и мечтательной Беллы. «И вообще ... он присутствует в Боге. . . » она добавила. «Потому что Бог - коллективная душа всего живого. Он держит наши сердца на нитках, как продавец воздушных шаров с огромной их связкой в ​​руке. Он связывает их вместе и развязывает, чтобы обогатить нас опытом ... чтобы мы лучше чувствовали Его. Любовь и Бог - одно, Рэйчел. Когда все оболочки очищены и преданность свободно течет взад и вперед, от сердца к сердцу, тогда мы находимся внутри Бога и только тогда мы можем воспринимать Его ».

«И ненависть, трагедия, все зло. . . что насчет них? " - спросила Рэйчел. «Это, - ответила Белла, - случается, когда сердца заблокированы. Иногда мне кажется, что из-за этого возникает и физическое заболевание ».

«Рэйчел задавалась вопросом, говорила ли Белла лихорадочно или ее разум был ясен. В ее голове *возник*образ той пятничной ночи, когда детей *уводили*во время *Сперре*. В тот день она не могла когда-либо признать существование Бога, особенно Бога Любви. Но она не хотела снова спрашивать об этом Беллу. Несмотря ни на что, в словах Беллы была доля правды, даже если они были сказаны в лихорадке, даже если они не подкреплялись логикой; прекрасная правда, не имеющая ничего общего с разумом.

♦ ♦ ♦

(Записная книжка Дэвида)

У нас были моменты сильного испуга, когда казалось, что наши сердца вот-вот прыгнут в рот. Я понятия не имел, что такой страх может существовать; это чувство, вероятно, испытывают только люди, которым грозит неминуемая смерть. Я думаю: если смерть означает не только моменты, когда жизнь истекает, но и момент до нее, то сколько раз мы уже умирали здесь и сколько еще раз мы умрем? Но как только поиски заканчиваются, страх исчезает, и мы продолжаем имитацию жизни.

Кажется, будто все мы живем вместе целую вечность; мы так хорошо узнали друг друга. Я знаком со всеми слабостями, с каждой гримасой моих сожителей, особенно тех, кого я раньше не очень любил. Я имею в виду Исраэля и Берковича. Израиль был лидером нашей партии, и когда я был моложе, я уважал его. Но позже я понял, что это был типичный партийный чиновник, с которым можно было говорить только о партийном бизнесе и политике - одним словом, ограниченный человек. Беркович, с другой стороны, действовал мне на нервы, потому что ходил с Рэйчел и вообще чудак. В первые дни мне было очень неудобно, что именно благодаря его вмешательству и посредничеству Рэйчел нас приняли в убежище.

Разница между моим нынешним отношением к этим двум мужчинам и моим прежним состоит в том, что теперь я признаю их обоих членами своей семьи, а это означает, что я испытываю к ним определенные чувства. Это, в свою очередь, позволяет мне признать, что они вызывают у меня уважение; Я даже смотрю на них сейчас через некую идеализирующую призму. Я вижу человека действия в Израиле, человека, который верит в то, что он делает. И я вижу в Берковиче истинного художника.

Я думаю, что мы все изменились с тех пор, как начали жить в убежище; что если бы мы, эта семья, эта группа людей были избраны, чтобы построить новую жизнь на Земле, мы бы знали, что делать. . . хотя я с трудом вижу себя строителем нового общества. Насколько велика моя моральная ценность, если я не могу оплакивать даже свою собственную мать? Я чувствую, что с моей спины сняли груз, и рад, что она умерла в своей постели. Но здесь я вступаю на путь самокритики, которая ведет непосредственно к жалости к себе, а этого я не хочу.

Я хотел бы знать, что случилось с нашим молодежным лидером Саймоном, который бил себя в грудь и хвастался: «Они никогда не возьмут меня живым!» И я хотел бы знать еще кое-что: что сейчас делает еврей в Америке? Он гуляет? Он в отпуске? Его дети играют на пляже? Я бы на его месте ничем не отличался. То, что человек не видит собственными глазами, не существует. Когда он не вовлечен или не затронут событием, он редко реагирует на него.

Я сейчас иду спать, написав это во время дежурства у окна.

Вчера вечером мы сидели вокруг вишневого дерева. Было тихо. Гетто мертво. Кажется, будто мир населяет только наша семья - а может быть, остались только мы? С другой стороны выстрелы слышны редко. Мы начинаем верить, что нас ждет свобода. Однако в последнее время не было никаких воздушных сигналов тревоги или бомбардировок; это как если бы русские ждали, пока немцы очистят гетто. Так что наша вера иногда бывает шаткой.

Джуния, которая раньше была веселой и энергичной, стала довольно подавленной. Она говорит серьезно, совсем не в прежнем стиле. Это она заговорила первой, когда мы сели под деревом. Она сказала: «Иногда я вижу себя в нашей стране, вижу себя идущим там, и мне стыдно за это. . . »

Мы все поняли, что она имела в виду под словом «потому что». Израиль поддержал Юнию и сказал: «Я продолжаю копаться в одной и той же запутанной ситуации и не могу выбраться из нее. Революционный Лодзь, истекавший кровью во время забастовок и демонстраций, во время битв за свободу, объединившись во все виды движений. .. Мы, гордые, просвещенные евреи Лодзи ... »

Беркович не дал ему закончить. Он пришел в ярость. «Позор вам двоим за то, что вы стыдитесь себя и оскорбляете общество. Что ты хочешь сказать? Разве мы не дрались столько, сколько могли? Немцы позволили нам почувствовать боль разлуки, страх, что это может быть навсегда. . . но мы действительно не понимали, что происходит. Даже сейчас евреи города ... общины. . . Неужели до нас дошло, что все, кто заполнял улицы и дворы, ушли навсегда? Вам не приходит в голову, что вы тоже можете ... Невозможно постичь, несмотря на все, что мы знаем, несмотря на вашу так называемую достоверную информацию, Израиль. Наши уста повторяют одни и те же истории. Так что я не знаю, что бы произошло, если бы мы видели своими глазами. .. А если речь идет о мести, как вы думаете, бросившись на немцев голыми кулаками, мы утолим жажду мести? Сможете ли вы отмерить точное количество мести, равное преступлению? Стерта не только Лодзь, не только Варшава. И если месть означает око за око, жизнь за жизнь, у кого такое дьявольское чутье? А с другой стороны, может ли он залечить наши раны? Воскресить мертвых? Как вы видите меня здесь, я заполнил сто пятьдесят страниц почерком. Вы скажете, что это фигня. Для меня это означает борьбу. моя месть. . . моя жизнь."

Конечно, я тоже вложил в разговор ценность своих двух грошей. Я говорил о том, что немцы нас обманывают, о психологической игре, которую они с нами вели. Во-первых, они позволили нам голодать, чтобы мы дрались друг с другом из-за еды. Позже, когда еще было, за кого воевать, кого защищать, на нас возложили коллективную ответственность. Затем они кровоточили нас, капля за каплей, что позволяет нам надеяться , что не все будет идти .. . И вдобавок к этому долгое время мы понятия не имели о том, что происходит. И, как сказал Беркович, мы не верили и не верили даже сейчас в окончательность ... И поскольку мы все говорили лично, я сказал им, что у меня нет амбиций красиво умереть, что я не считаю себя способен быть героем. И я также сказал, что любая форма борьбы за жизнь достойна уважения, пока она не наносит ущерб другим. И поэтому я считал, что *шишки,*которые *прогоняли*других, чтобы защитить себя, были преступниками. Но, возможно, и в этом отношении они были не полностью виноваты, потому что когда дело доходит до выбора между мной и вами, проблема сложная. Но в чем я действительно их обвинял, так это в том, что они сновали свои гнезда за наш счет и что они так беззаботно посылали других на смерть.

Михал Левин также принял участие в беседе. Он сказал, что, поскольку немцы не открыли нам свое истинное лицо, как и Бог, мы боялись их, как боятся руки Бога. Затем он обратился к Юнии, сказав, что даже после нашего освобождения, когда немцы окажутся в наших руках, мы также будем избегать перерезания им глотки, потому что мы - народ, которому противны вид крови. Потому что на протяжении своей истории мы отучились от своей кровожадности. Он спросил Юнию, что она будет делать после войны, если ей придется выбирать между убийством немцев или строительством еврейской земли? Он был уверен, что она выберет второе. Затем он сказал, что если бы в гетто дошло до активного сопротивления, он бы участвовал не из-за силы, а из-за слабости. Потому что, сражаясь, он питал надежду, что все еще сможет спастись, а также, в лихорадке битвы, освободиться от страха смерти.

Он сказал, что иногда он пытается проникнуть в мысли и эмоции масс людей, которых увели. Были ли они полностью осведомлены о том, что их ждало? Если да, то, вероятно, им было чем заняться в последние минуты своей жизни, чем броситься на своих палачей. Они, наверное, едва успели плюнуть им в лицо. Потому что что делать матери или отцу с ребенком на руках? Нападать на немцев или собрать всю любовь в их душах, чтобы одарить молодых, их плотью и кровью? Михал спросил, что сделали великие герои истории, все эти борцы за свободу и мученики, когда их привели на виселицу. Кидались ли они на своих палачей или ходили с высоко поднятой головой, даже не взглянув на своих мучителей? Когда Михал сказал, что он иногда видит в уме образ своей матери и что он знает, что вместо того, чтобы ненавидеть немцев, она думала о нем, о своем сыне, Беркович заревел, как анимах.

По моей спине пробежала дрожь. Я внезапно почувствовал себя охваченным болью и горем. Я был рад, что никто не видел, как я плачу. Было хорошо выплеснуть слезы. Я ждал их, как дождя. Наконец я оплакивал свою мать. Думаю, остальные тоже обрадовались возможности поплакать. Я не чувствовал себя слабым. Я почувствовал себя укрепленным. Однако Израиль сказал, что нам следует избегать подобных разговоров в будущем. Я с ним согласен. Один раз достаточно.

Час спустя, завыли сирены снова. Сигнализация. Мы остались во дворе. Формирования российских самолетов появились над крышами. В то время как они ревели оглушительно, мы позволили себе кричать с волнением. К моему удивлению, Юния сошел с ума, танцуя по двору. Она ревела, пытаясь перещеголять грохот самолетов. Остальные подняли кулаки в воздух или махали руками. Это было замечательно, чтобы отпустить, под защитой этих птиц стали. На рассвете был еще один сигнал тревоги. Это тот, который мы едва слышали. Мы спали в сопровождении самолетов и криков Шалома. Мальчуган приветствует сигналы со слезами. Мы позволяем ему кричать себя в общем шуме, так что он будет тихо, когда он должен.

Мы полагаем, что со дня на день нас освободят. А пока я веду себя так, как будто я в отпуске. У девушек тоже хорошее настроение. Мы решили побороть голод и безделье небольшой лекцией, которую каждый из нас должен готовить каждый день. Кроме того, Израиль обсуждает политическую ситуацию в мире, а Михал объясняет биологию, бактериологию и другие «теории», связанные с его профессией. Вдобавок Беркович регулярно читает нам главу из своего стихотворения. Я и, возможно, Израиль тоже были бы счастливы без его чтений. Они действуют мне на нервы. Я должен признать, что некоторые строфы болезненно красивы; Я не ожидал, что буду так чувствителен к поэзии, особенно к его. Однако я считаю, что сейчас не время для нас Иеремиад. Возможно, я скажу ему это прямо в лицо.

У меня были долгие разговоры с Михалом. Мы все больше сближаемся в идеологическом и философском плане. Странно, он напоминает мне Человека Тофифи. Наверное, потому, что еще он говорит мне, что уверен, что я выживу. (Пусть он выйдет из его уст прямо в уши Бога!) Но я не могу этого вынести, когда он начинает говорить так, будто ожидал, что я стану его философским наследником.

Насчет лекций и учебы из наших планов ничего не вышло. Мы слишком голодны, слишком напряжены, слишком устали. Из всего этого остались только ночные чтения Берковича. Я отказался от своего решения сказать ему, чтобы он больше нам не читал. Я стал более уверен в этом. Это стало для нас своего рода молитвой, которую проводит наш раввин.

♦ \* ♦

Коммандос с поляны ежедневно проходил по улицам очищенной части гетто, останавливаясь каждый раз во дворе на улице Хоккеля. Скрывающиеся редко покидали подвал днем ​​или ночью, опасаясь оставить за собой следы. «Крышка» между подвалом и сараем была закрыта, чтобы в случае обнаружения одной группы у другой был шанс спастись. В погребе стало так душно, что едва можно было дышать, и маленький Шалом постоянно скулил. Израилю пришлось просверлить отверстие и снять кирпич со стены, чтобы было больше воздуха. Эстер стояла у этого «окна» с младенцем на руках. Новая дыра также служила наблюдательной точкой. И Белле, и Шалому ежедневно давали отвар из семян мака, чтобы они могли лучше спать.

Коммандос-уборщики погрузили все, что находили в домах, в свои фургоны. Они также ковали и ковыряли, пробивая стены везде, где они ожидали найти спрятанные сокровища. Во время этих поисков они иногда прятались в укрытиях и отправляли людей на другую сторону моста.

Время от времени Израиль открывал проем между подвалом и сараем на ночь и снимал заднюю стенку шкафа, закрывающую вход в сарай, для вентиляции. Иногда он разрешал тому или иному человеку зайти в квартиру и размять затекшие конечности.

Буним везде носил мешок с хлебом. Он не снимал его, даже когда ложился спать. Юния стала приставать к нему, чтобы он спрятал свои стихи. Они с Михалом принесли коробку с чаем, внутри которой они спрятали письма Михала к незавершенной работе Миры и Шафрана, а также другие документы. Они закопали его под вишневым деревом, чтобы быть ближе к своим скрытым архивам. Они добавили заметки Самуила к его книге по истории евреев Лодзи, а также рисунки Винтера. Юния настоял на том, чтобы Буним также сохранил свой незаконченный эпос, спрятав его в закопанном ящике.

Но Буним покачал головой : «Я должен иметь все это со мной ... Я хочу , чтобы закончить его. Во всяком случае, я не могу расстаться с ней ... и ...» Он не закончил фразу, хотя у него создалось впечатление , что у него было. Это часто случалось с ним в последнее время. Он говорил очень мало, но его голова была полна разговоров. Он принимал участие в постоянном диалоге с окружающими. Они не раз спрашивали , почему он так упорно немым. Он был не в состоянии понять , что они имели в виду. «Но я все время говорю,» запротестовал он.

Этот день был отмечен частыми визитами клирингового коммандос. Израиль приказал быть начеку. Они слышали немецкие разговоры и восклицания, а также стук молотков. Время от времени они слышали, как кто-то звал на помощь. Семья, жившая в водохранилище, была увезена утром, но, видимо, во дворе прятались и другие. Израиль приказал большей части группы оставаться наверху в сарае, чтобы оставить больше воздуха для Шалома и Беллы. Эстер осталась с Шаломом, а Юния с Беллой. Михал сел на лестницу и стал наблюдать за ними. Израиль не отходил от смотровой ямы. Рядом лежали Блюмка, мальчики Шламек и Авраам, Давид, Рахиль и Буним.

Буним едва мог различить контуры Рахили и Дэвида в темноте. Только бледное мерцание лиц достигло его близоруких глаз. Но он знал об их присутствии. Теперь и тогда они будут двигаться, касаясь его рукой или ногой. Он также слышал их шепот. За несколько дней до этого , он все еще кусает губы при виде их близости; его сердце заразились. Это не было легко взять отпуск Рахили таким образом. Она лежала в объятиях иностранца еще близко молодой человек, и его любовь Буним в. Он хотел любить ее , не ревнуя или отчаянным. Но что он мог достичь только в ночное время . Потом, когда она смотрела на него в темноте, он был поражен чувства , которые возникали из того же источника, что и его любовь к Мириам и Blimele, из того же источника , как и его стихи. «Я принимаю его с любовью. ..»он был способен сказать себе в такие моменты, и принять гораздо больше , чем руки Дэвида вокруг Рейчел. Но в течение дня, когда судьба звенела в ушах со звуком молотков против соседних стен, он был вынужден быть ближе к Рахили, чтобы цепляться к ней и шептать, *«Ahava,*спаси меня ... Позвольте мне защитить вас с моим жизнь". Таким же образом он был в такие моменты , неспособных принимать неполноту своей работы.

В конце концов, однако, он принял и то, и другое: расставание с Рэйчел и незавершенность своего стихотворения. Была и завершенность в незавершенности. Он, Буним, приехал, хотя еще был в пути. Он достиг, хотя все еще находился в середине своих усилий. Голубь, его творческое беспокойство, теперь ворковали на новую мелодию. Его неудобное сердце все еще не позволяло ему перевести дыхание, и все же оно больше не казалось застрявшим в ловушке. В нем проснулась преданность, разветвляясь во всех направлениях. Его лучи достигли не только Рахили, но и Давида; не только для всех, кто находится в убежище, но и для всех, кто находится за его пределами. Он упустил тот редкий момент, когда он сидел с другими под вишневым деревом, когда они избавились от своей печали и почувствовали родство со всем, что погибает и восходит снова. Отныне для Буним была только тишина, тишина, разорванная на части, но исцеляющая немой болью.

Звук молотков доносился из последнего входа во двор. Совсем рядом были слышны шаги, поднимающиеся по лестнице. Восклицания по-немецки раздавались с другой стороны подвальных стен. Также были немецкие слова с польским акцентом: «голубь». Где-то здесь предполагалось спрятать сокровище. Израиль, приставив ухо к отверстию, ясно слышал слова. Они искали столовую, полную золотых часов.

«Это должно быть спрятано в этом подвале!» кто-то крикнул.

"Они идут!" - крикнул Израиль. Он трижды постучал по полу сарая, что было признаком крайней опасности. Они затаили дыхание, их тела были парализованы, у них пересохло во рту, у них слепые глаза.

Внизу, в подвале, Эстер сидела удвоилась, предлагая ей грудь Шалого. Шалом, слабый, ошеломленный снотворное, был неправильно дышать, одышку. Она искала его рот соску, не в состоянии получить его. Звуки были очень громко в настоящее время. Голоса ясно эхо в ушах тех, кто скрывался в подвале. Кто-то спорил некоторые измерения, считая вслух, снова ковкой. Прошло полчаса - вечность. Из-за дома раздался голос. Столовая была найдена с двумя часами в нем. Через несколько минут все было тихо. Никто не переехал в тайнике. Эстер упала в обморок с ее груди над Шалом, ее тело упал над ним. Потребовалось Мелхолу долгое время оживить ее.

Ночью все должны были выйти на улицу хотя бы на час. На этот раз они взяли Эстер и младенца; только Белла осталась с Джунией в подвале. Эстер лежала, прислонившись головой к коленям Израиля, с храпящим младенцем у нее на коленях. Сама Эстер была почти без сознания. Она прошептала Израилю на ухо, но все сидящие вокруг дерева могли ее слышать.

"Я не боюсь. Что я должен бояться? ... Я жил достаточно в любом случае. Это не вопрос лет ... Люди не живут одинаково, некоторые из них живут медленнее, в то время как другие живут быстрее. Я жил быстро и удалось попробовать все. Посмотрите на дерево, Израиль «. Она подняла голову и остальные последовали ее взгляд. «Беркович сказал мне , что человек , который охранял дерево называли его Древо Жизни». Она вдруг начала дрожать и слюна капала из ее рта. «Я схожу с ума. .. Мой ребенок!"

Израиль попытался успокоить ее: «Дыши, Маленькая Мать. Ночь наша. Ты должен собраться с силами для завтрашнего утра ».

Завизжали сирены. Авраам и Шламек бросились к центру двора и пересчитали самолеты. Ракеты освещали небо. Шламек ткнул Авраама локтем: «Если бы только они бросили листовки или клочок бумаги. .. что-то".

Авраам подмигнул ему. «Вы знаете, что меня гипнотизирует в этот самый момент? Вишни там, на вершине дерева ».

Мальчики подошли к дереву. Шламек и Буним помогли Аврааму взобраться на ветки. Рэйчел достала чашку. Вишни были перезрелыми и имели помятую кожицу. Рэйчел бросила по вишенке в каждый рот, затем Михал отнес остальные внутрь Джунии и Белле.

♦ ♦ ♦

Ночью небо походило на гостеприимный стол, накрытый темной бархатистой скатертью. В его середине стоял рог луны; блюдо, полное теплого сладкого меда. Бессонная странная ночь: сердца истощены, конечности тяжелы, умы, как у сумасшедших, слова странным образом отражаются в головах.

Михал и Джуния наблюдали за Беллой. Когда остальные спустились посмотреть на Шалома, Михал собрал их вокруг себя и вытащил из кармана лист бумаги. Он говорил хриплым тяжелым голосом. «Я хочу, чтобы вы послушали меня несколько минут. Это личное и не такое уж личное ». Он вытащил фонарик из другого кармана и начал читать письмо своему будущему ребенку.

Меня зовут Михал Левин, сын Малки и Эли Левин. Мой отец Эли был застрелен немцами вскоре после того, как они пришли в Лодзь. Моя мать уехала с депортацией в 1942 году. Моя жена Юния Цукерман - дочь Матильды и Сэмюэля Цукерманов. Матильда ушла со *Сперре*1942 года. Самуил собственноручно сократил свои земные дни в 1943 году, чтобы его дочери могли жить. Мы прячемся здесь в подвале и сарае вместе с нашими друзьями - нашей семьей.

С нами сестра моей жены Белла. Она взяла с собой свое сокровище, чтобы спрятаться: сборник стихов Словацкого, подарок ее учителя, мисс Доры Диаманд, которая уехала во время *Сперре*1942 года.

С нами госпожа Блюмка Эйбушиц и двое ее детей Рэйчел и Шламек. Их муж и отец Моше Эйбушиц умерли от брюшного тифа в 1943 году.

Кроме того, с нами два брата, Давид и Авраам. Их отец был застрелен одновременно с моим, а их мать умерла от сердечного приступа в начале 1944 г. • Их сестра Галина была в гетто в Варшаве.

С нами также прячется Израиль, старший сын Шейн Песселе и Плотника Итче Майера. Итче Майер умер от неизвестной болезни в 1941 году, а Шейн Песселе уехал во время *Сперре*1942 года. С этой депортацией также остались их второй сын Моттл с женой и ребенком, а также их младший сын Шалом. Средний сын Йоси был пойман на улице с женой и ребенком и уехал с транспортом в начале февраля 1943 года.

Вместе с Израилем присутствует его жена Эстер. Ее ближайшие родственники, Хаим Чулочно-носитель и его жена Ривка, вместе с четырьмя из их восьми детей, которые все еще были с ними, уехали с «акцией» в 1941 году. Двое самых младших были депортированы из больницы на чахоточные, в 1942 году.

Сыну Израиля и Есфири, Шалому, двенадцать недель. Он носит имя Шалом в честь младшего брата Израиля.

С нами также скрывается Симха Буним Беркович, который потерял свою жену Мириам, свою дочь Блимеле и еще не названного новорожденного сына во время *Сперре*1942 года. Его родители и девять сестер скончались одна за другой в течение 19412 года. -.

Это письмо было написано ночью между десятым и одиннадцатым днями нашего укрытия. Если мы погибнем, мы не оставим после себя никаких следов или каких-либо материальных ценностей. Мы оставляем закопанную коробку с чаем, в которой спрятано это письмо вместе со всеми другими документами, которые имеют для нас значение.

Это письмо написано от моего имени и адресовано моему ребенку, которого мы с женой Джунией надеемся привести в этот мир. Если судьба решит иначе, я обращаюсь ко всем, кто пожелает считать себя нашими наследниками.

Если это произойдет, что мы разделяем судьбу тех, кто ушел, и если есть жизнь после того, как нас, в которой наш переход имеет некоторый смысл; если мы запоминаются и есть некоторые, которые пытаются угадать наши желания и мечты, то пусть эти слова будут соединены с желаниями других людей, которые разделяют нашу судьбу, и пусть мое завещание подсчитываются с их.

Если бы я только мог заставить вас, живущих после нас, почувствовать мою дрожь в этот момент другими средствами, а не словами, другим, более прямым и правдивым образом, - я бы не стал прибегать к словам. Но я ничего не могу поделать. Какими бы неудобными ни были слова, особенно когда они записаны кем-то вроде меня, они являются единственным средством общения с вами. И в этот момент я радуюсь тому, что умею писать, а вы, живущие после нас, умеете читать. Этим я благословляю человеческую цивилизацию, те достижения человеческого разума, которые Человек может использовать для себя и других. Этим я благословляю человеческую руку, которая словами и действиями освящала слово «Жизнь», и проклинаю руки, которые словами и действиями скрепили слово «Смерть».

Я еврей. Я не следую традициям иудейской религии, но считаю себя продуктом этой традиции. Я часть сообщества, объединенного Судьбой, которое через столетия страданий привело нас сюда, в этот момент.

Я не верю в жизнь после смерти. Но я питаю концепцию трансцендентного коллективного Я человечества, Т, которое вечно, как человечество. Я верю, что каким-то образом выживу в этом T.

Поэтому я позволяю себе верить, что мы будем с вами, кто последует за вами. Non omnis *moriar.*Мы не погибнем полностью, и вы никогда не сможете полностью освободиться от нас. Поэтому вы должны знать, что с нашим разрушением вы также были частично уничтожены. Пусть это осознание поможет тебе, мое дитя и наследник.

Возможно, эти слова покажутся вам слишком высокомерными, слишком пафосными и слишком поучительными. Нет, я не проповедник и не самозваный пророк. Я хромая сирота, чья красивая профессия стала посмешищем гиен. И я взываю к вам не с вершины горы Синай, а из глубины темного подвала, самого заброшенного, самого одинокого уголка мира. Я с молитвой взываю к вам старую невыполненную заповедь: «Не убий!» После этого, дитя мое, ты не вычеркнуть смерть от природы, но будь милостив к себе, и ваши действия не берут на себя ответственность за него.

Когда я лежу ночью под вишневым деревом, которое растет на улице во дворе, когда я отдыхаю во время дыхательной паузы между одним опасным моментом и следующим, я тоскую по тебе, мое еще не родившееся дитя, которое унаследует от меня . Я мечтаю о твоей жизни и следую за тобой по твоей дороге.

Радуйтесь, дитя моего, в сокровище, которое вы обладаете: вашим духом, который заставляет вас богоподобным и поднимает вас над животными к богатому бытию. Радуйтесь в доме, который таит в себе сокровище: ваше тело, которое так красиво и совершенствует, каждую конечность шедевр точности, каждая ячейка - источник мудрости к себе. Радуйтесь в красоте, которую вы видите в родственном, в вашем ребенке, в вашем соседе. И использовать их обоих, тело и дух, чтобы заботиться, лелеять и защищать эту красоту. Используйте их как обнаружить соблазнительных секреты вашего окружения и, чтобы получить прибыль от них. Используйте их как для борьбы с внешними силами, которые, чтобы уничтожить вас, и не избежать встречи с ними лицом к лицу внутри себя. Любите себя мудро, щедро. Брать и давать и быть свободными. Перерыв все законы, все барьеры, которые вы создали для себя, в своем страхе. Расширьте свой дом, пусть это станет столь же большим, как вселенная.

Дорога к тебе, дитя мое, ведет через препятствия и пропасти, называемые расой, религией, нацией. Правда, кое-где были засажены сады и фруктовые сады, а также поля, полные цветов и зерна. Однако этот путь ведет в основном через зияющие пустыни отчуждения, через леса недоверия, через сорняки ненависти. Собери по дороге только цветы и фрукты, дитя мое. Соберите их вместе со всех уголков и позовите своих братьев со всех концов света в одно место, где вы обменяетесь своими сокровищами, смешаете фрукты и отпразднуете совместную жизнь под навесом единственного неба.

Позвольте новому языку родиться среди вас: язык заботы. Пусть все преходящее и неважное отпадет от тебя, как старая кожа. Оставайся таким, какой ты есть в самой глубине своего существа, и все же соединяйся со всеми остальными - чтобы ты не хвалил себя выше своего брата в своей уникальности, и чтобы он не хвалил себя выше тебя. Пусть особые качества, отделяющие вас от других, станут источником радости, достойным открытием, которое пробудит в вашем брате любопытство и уважение к вам, а ваше - к нему.

Жизнь сложна и загадочна. Жизнь мучительна и коротка. Жизнь легка и проста, радостна и насыщена. Не сокращайте его. Уменьшите боль вашего брата, максимально увеличьте его радость, чтобы он мог сделать то же самое для вас. Забота . . . Забота. Станьте Каином другого рода. Поднимитесь с земли и ответьте Богу с ликованием: «Мой брат Авель жив, и я его сторож».

Едва Михал успел дочитать, как Шалом проснулся с криком, широко открыв свои черные глаза. Все окружили его и наблюдали, как Эстер сунула свою грудь ему в рот.

♦ ♦ ♦

На следующий день, когда они пили свою ежедневную порцию горячей воды и сахарина, до них доносился шум со стороны, где дверь подвала была замаскирована кирпичной стеной. Обитатели подвала неподвижно и неподвижно слушали. Они услышали тяжелое дыхание. Потом было тихо, пока на лестнице не послышались быстрые шаги. Кто-то вошел в пустую квартиру наверху и возился с шкафом, прикрывавшим дверь сарая.

Обитатели погреба быстро взяли себя в руки. Израиль опустил створку над отверстием в подвал, и все они собрались внизу, перед выходом, который снаружи был прикрыт полотном и грудой земли. Израиль и Давид были готовы открыть его.

Наверху, в квартире, кто-то переносил шкаф. Кто-то вошел в сарай и повел дверцей над отверстием. Авраам выглянул в смотровую яму. Вдруг он воскликнул: «Они идут!»

Из сарая раздался вой. Израиль приказал Берковичу поправить лестницу и открыть дверцу. В дебюте появилась голова Адама Розенберга. Буним быстро затащил его в подвал, закрыл заслонку и выглянул через дыру во двор. Из центра заднего двора подходили двое немцев.

Адам лежал на полу подвала и стонал: «Спасите меня, люди, спасите меня!»

«Розенберг, голубь!» Авраам узнал его.

«Нет… нет… Я не предал тебя», - заскулил Адам. «Они преследуют меня!» Он молитвенно воздел свои сцепленные руки к Аврааму.

«Они вошли на последнюю лестницу!» - крикнул Буним.

Адам с трудом встал и налитыми кровью глазами посмотрел на собравшихся вокруг него, тяжело дыша. "Клянусь. Я не предал тебя. Не выгоняйте меня. Я хотел спрятаться в сарае. Бибоу преследует меня. Их двое. Все поезда отправляются в Освенцим ... концентрационный лагерь, где ... где. .. »

Юния толкнула его локтем: «Заткнись!»

"Они здесь!" - прошептал Беркович.

Сапоги неторопливо поднимались по лестнице; их было слышно в квартире, в коридоре; глухие нерегулярные шаги. Слышался голос, спокойно заявляющий: «Здесь что-то не так». Шкаф наверху трещал. Кто-то заползал в сарай. В тишине, царившей в подвале, сквозь откидную створку слышалось чье-то тяжелое дыхание.

Израиль моргнул, глядя на Давида, и они оба потянули за шнур, который освободил выход из груды земли. Их лица ударил поток свежего воздуха. Израиль подал сигнал группе. Но прежде чем они успели выйти наружу, Михал выскочил вперед и выбежал через отверстие. Он крикнул в подвал: «Беги ко двору пожарных!»

Сам он выскочил на дневной свет, направляясь не в сторону пожарного двора, а в противоположном направлении, к водяной помпе. У входа в дом Цукерманов спиной к Михалу стоял немец. Михал вбежал в подъезд, со стороны наблюдая, как группа поспешно выходит из подвала в сторону пожарного двора. Давид и Беркович вышли последними. Они тащили Беллу, а Джуния следовала за ними сзади. Сразу после Джунии Михал увидел, как Адам выполз из подвала. Вместо того, чтобы броситься к двору пожарных, он направился в сторону Михала, бегая, как слепой, и спотыкаясь о ноги.

В этот момент из дома вышел Ханс Бибоу. Немец, стоявший у входа, обернулся и заметил Адама. Он выстрелил в его сторону. Бибоу резко повернулся и увидел убегающую группу с Беллой и Джунией.

В мгновение ока Михал оказался на улице, во дворе. Он издал дикий вопль

Book Three 389

когда он бросился вперед на своих хромых ногах и бросился на Бибу сзади, вцепившись ему в спину, его руки сцепились вокруг шеи Бибу. Бибу изо всех сил пытался освободиться от рук Михала, которые врезались ему в лицо ногтями. Некоторое время он тащил Михала по двору, пока товарищ Бибоу не выпустил два выстрела из своего револьвера.

Михал упал на землю. Письмо к его будущему ребенку, письмо, которое ему не удалось закопать под вишневым деревом, вылетело из его кармана, прикрыв лысину Адама Розенберга, который лежал поблизости. Мертвая рука Михала коснулась кончиков пальцев Адама.

К ним подбежала Юния с протянутыми руками. Бибоу и его товарищ схватили ее за руки и потащили во двор пожарных, где беглецы были окружены Коммандосом.

Беллу поместили в повозку вместе с несколькими другими больными. Остальных погнали по улицам пустого гетто, между пустыми домами, мимо пустых дворов. Солнце лежало на тротуарах, блеклое, осеннее, апатичное.

На вокзале снова появился Бибоу. Он прижал к щеке платок, чтобы скрыть следы крови и царапины, оставленные ногтями Михала. На вокзале было полно немцев. С одной стороны стояла группа пленных евреев. Длинный скотовоз с красными товарными вагонами ждал на рельсах с открытыми дверями. Группу привели к одной из машин. Один за другим им приказали взобраться на доску, ведущую к двери. Два немца несли за руки благодарно улыбающуюся Беллу. Они разрешили ей поехать с сестрой. Они были добры к ней и даже позволили ей взять с собой сборник стихов Словацкого.

Поезд долго стоял на станции. Дверь товарного вагона оставалась открытой. Сквозь него были видны головы немцев в зеленых касках и приклады их автоматов, как бы отрезанные от стволов, которым они принадлежали. Продолжали прибывать новые группы людей, которых поймали в бегах.

Посреди платформы, перед повозками, стояли Мордехай Хаим Румковский, его жена Клара, его брат Иосиф и его невестка графиня Хелена, окруженные группой в зеленой форме с остроконечными ружьями. Сгорбленный старик с растрепанными серебристыми волосами, «старейший из евреев», поклонился немцам, особенно герру Гансу Бибову. Он указал на стройного серого еврея с рюкзаком за спиной, на своего брата Джозефа, бормочущего: «Я смиренно умоляю вас, герр Бибоу, оставить моего брата и невестку со мной в гетто ...». с восемью сотнями евреев, которым было поручено очистить ... "

Бибу в свою очередь поклонился ему с притворной вежливостью. Не снимая платка со щеки, он сказал: «Если хотите, герр. . . Герр Румковски, вы можете сопровождать своего брата в путешествии ». Все глаза под зелеными касками весело и в ожидании блеснули.

Старик прикусил дряблые губы и покачал головой все ниже и ниже, все более и более смиренно. Но через некоторое время он начал медленно подтягиваться. Он вытер рукой свою серую копну волос, почти сбив очки с носа. Он поправил их, взял за руку свою жену Клару и вместе с ней, а также его брат Иосиф и его невестка Елена подошли к доске, ведущей к фургону.

«Достаточно L *ebensraum,*не правда ли, *герр Al teste der Juden*?» - с притворной вежливостью спросил зеленый мундир, подталкивая старика сзади.

Старик вошел в фургон и перевернулся на Авраама, который сидел на полу, прислонившись к Давиду. Вскоре раздался свисток. Зеленая форма захлопнула двери. Внутри стало темно и тихо, сквозь маленькое зарешеченное окошко проникал редкий луч света. Снаружи завизжал засов, когда он скользил по двери.

Авраам попытался освободиться от прижатого к нему тела Старого Румковски. Наконец-то ему это удалось. Он взял свой хлебный мешок и вытащил из него небольшую чашку. Он дотронулся до колена старика: «Вот, мистер Румковский, попробуйте вишню с нашего вишневого дерева. . . Это лекарство для сердца ».

Фургон затрясся, завизжал и медленно двинулся в путь.

Глава двадцать девятая ... тридцать ...

Тридцать ׳ один ... до бесконечности

Освенцим. СЛОВА ОСТАНОВИТЬСЯ, РАЗДЕЛАТЬ, ОБОЗНАЧАТЬ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ, ИХ СМЫСЛ БРИТЬСЯ. ПИСЬМА ГОРЯТ В ДЫМЕ ДЫМОХОДА КРЕМАТОРИЯ ...

*Книга третья*

364 *Дерево жизни*

*Книга третья*

366 *Дерево жизни*

*Книга третья*

368 *Дерево жизни*

После путешествия

В ТИХИЙ ДЕНЬ жители некоторых переулков Брюсселя любили проводить время «на улице». Они широко открывали окна, упирались локтями в мягкие подушки и выглядывали. Их кошкам и собакам не нравился этот способ подышать воздухом, и их часто можно было увидеть рядом со своими хозяевами, смотрящими вниз на улицу.

Сначала Рэйчел смотрела на этих заспанных буржуа с пренебрежением. Какое удовольствие, спрашивала она себя, в таком монотонном взгляде на улицу, когда единственный шанс увидеть что-то интересное - это украдкой взглянуть вглубь полутемных комнат соседей через дорогу? Но вскоре, когда в ее распоряжении было немного времени, ее голова тоже высунулась из одного такого окна. Она поняла, что эти прогулки с ее глазами могут превратиться в великие путешествия сердца и унести ум далеко; путешествия, которые, конечно, зависели от вида из окна и от возможностей сердца и разума.

И у нее был благоприятный вид. Вместо домов она увидела большое небо, а под ним - поле, полное следов. От ближайшего железнодорожного вокзала быстро мчались поезда в разные стороны. Рельсы пересекались и множились, поезда следовали или избегали друг друга, пока не исчезли в туманной глубине за горизонтом. Порывы ветра, доносящиеся из далеких мест, дышали ей в лицо, превращая Рэйчел в того, кто был здесь, но здесь уже нет.

Далекие путешествия. Она сидела у окна, глядя на мерцающие огни, ее уши были настроены на визг железа, на ритмичную песню колес - и она позволила унести себя. Поезда перед ее глазами мчались вперед, оставив впереди еще несколько часов. Ее поезда ходили задом наперед, сметая пыль уже прожитых часов.

Помимо поездов, она также увидела вишневое дерево, которое росло внизу. Он стоял одиноко, у забора, отделявшего железнодорожный двор от улицы, и, казалось, боялся пустоты и кружащегося вокруг него безудержного ветра. Словно тяжелая печаль тяготила его лиственные сучья, она прижимала их к грубым доскам забора, как к утешающей щеке. Только две его ветви, самая широкая и самая длинная, были направлены вверх, к окну Рэйчел - как пальцы.

Большую часть года Рэйчел не замечала дерева. Но весной, когда оно расцветало, оно напоминало ей вишневое дерево, которое она знала в гетто. Его большие ветви, одетые в листовые рукава, привлекли ее внимание, не давая ей увидеть ничего, кроме праздника цветения белой сакуры на фоне темноты гетто. Листовые пальцы указали на нее

Book Three 371

куда должны ехать ее поезда, и когда ветер раскачивал их, она ясно слышала, как они шепчут: «Вот. . . там!" Таким образом, именно весной она чаще всего думала о гетто.

Сегодня ничего не изменилось, и сегодня, как и много раз прежде, она решила положить конец своим путешествиям в прошлое. Через дорогу, по ту сторону забора, вишневое дерево тихо распускало свои цветы. «Пусть настроение гетто спадет с меня, как цветы с дерева», - молилась она. «Я положу конец моей разделенной жизни ради моих детей. Ради них я проживу в полной мере те дни, которые мне даровала судьба ».

Затем мимо ее окна прогрохотал поезд. Грязный пар вырывался из него, обвиваясь вокруг брюха локомотива. Дикий упорный ветер собирал с земли сакуры, бросая их горстями в танец дыма и колес. Рэйчел увидела черный туман, поднимающийся к небу, и в нем кружился белый снег из цветочных лепестков. Сквозь этот черно-белый туман она увидела лицо кондуктора на платформе. Он помахал ей, как обычно делали кондукторы, проходя мимо ее окна. И на этот раз, как и раньше, поезд напомнил ей поезд для скота в Освенцим, а проводник вспомнил Бунима Берковича. Ей показалось, что это он издалека приветствовал ее, приглашая сесть в свой поезд; что его голос говорил ей и нежно, и сердито, что ее сердце снова приведет ее - туда.

Так случилось, что именно сегодня Рэйчел вышла из окна, села за стол, взяла белый лист бумаги и взяла свой карандаш.

Она услышала крик из другого угла комнаты, требовательный, надменный детский крик. Он был таким же резким, как свист поезда на станции напротив. Рэйчел не спешила успокаивать плачущего ребенка. «Пусть шалость немного покричит», - подумала она. Ее мать, Блюмка Эйбушиц, говорила, что крик полезен для маленьких легких.

Младенец на мгновение перестал плакать, словно ждал результатов своего будильника. Он собирался снова взорваться, когда услышал, как мать ходит по комнате. Он поспешно начал метать руки и ноги, дрожа от возбуждения и готовый взорваться от смеха. Но звук шагов матери был прерван, только чтобы снова возобновиться на расстоянии. Малыш чувствовал себя обманутым. С большим фурором он снова начал кричать.

Рэйчел взяла конверт, который консьерж сунул под дверь. Под аккомпанемент детских криков она села за стол и прочитала письмо Юнии из Израиля:

Дорогая Рэйчел,

Прежде всего, я должен тебе и Дэвиду *запутанный товар*в связи с рождением твоего сына Шалома. К настоящему времени он, должно быть, уже крупный парень. Простите меня за то, что я не ответил правильно. Я стал небрежно относиться к своей переписке, так как ужасно занят миллионом вещей. Ты меня не знаешь? У меня *прыщиков*нет *.*

Скоро исполнится десять лет с тех пор, как я приехал в Израиль. Самые прекрасные годы в моей жизни. Если у меня когда-нибудь появятся внуки, я буду рассказывать им истории, которые могла бы рассказать только бабушка моего поколения; о том, как я стал свидетелем рождения их родины (и, возможно, внес в это немалую лепту). Но пусть мое упоминание внуков не приведет вас к неверным выводам. У меня пока нет супружеских планов.

Я стал товарищем в кибуце на *Кинерете,*как вы можете видеть по моему новому адресу. Это вторая часть старой мечты, которую я только что осознаю. Вам интересно, как уживаются жизнь в кибуце и мой темперамент? Ответ: великолепно. Мое беспокойство и терпеливое спокойствие земли гармонируют и дополняют друг друга, точно так же, как мы с Михалом, эти два противоположности когда-то дополняли друг друга. И Галилейское море, которое я вижу через окно своей палатки, несет в себе беспокойство и покой на своих волнах. Это учит меня быть терпеливым в своем нетерпении. Я должен быть терпеливым, прежде всего потому, что я учитель. Действительно всего лишь учитель гимнастики, но я придаю этому необыкновенный смысл. Вот и настало время исправить наше непропорциональное отношение. В прошлом мы двигали небеса и землю, чтобы иметь возможность развивать наш разум, наш дух, в то время как мы пренебрегали телом, и этот факт не помогал нашему духу. Стремление к совершенству, гармонии вечно, и я работаю в этом направлении в моем крохотном уголке, обучая свою паству поднимать ноги под звук *халила.*

Вы пишете, что собираетесь уехать в Америку, как только Дэвид получит медицинский диплом. Значит, скоро мы будем жить по разные стороны земного шара. О, если бы мы только могли обнять этот глобус руками, ты со своей стороны, я со своей стороны, мы, возможно, помогли бы реализовать завещание моего мужа Михала.

Поцелуй свою дочь Блимеле. (Она, должно быть, уже совсем юная леди, не так ли?) Поцелуй своего Шалома, скажи ему, что он нам нужен. . .

Рэйчел долго сидела с письмом в руке, затем отложила его в сторону, взяла карандаш и посмотрела на чистый лист бумаги перед собой. Потом она начала писать:

«Самуэль Цукерман родился в Лодзи. Его прадед Реб Шмуэль Ихаскель Цукерман был одним из первых евреев, покинувших гетто. . . и это он в 1836 году ... »

Маленький человек в кроватке издал такой крик, что Рэйчел ужалила уши. Она отложила карандаш, бросилась к кроватке и взяла ребенка на руки, крича: «Привет, Шалом!» Она подняла его над головой, покачивая на ладонях. Затем она прижала его к своей груди и подошла с ним к окну. Напротив, по рельсовому полю снова шел поезд. Кондуктор помахал рукой. Он ее приветствовал? Он прощался? Рахиль взяла руку Шалома за запястье и помахала ей на прощание.

«Мама!» - крикнул ей с улицы голос. Рэйчел увидела Блимеле на противоположном тротуаре. Маленькая девочка стояла с портфелем в руке у забора, откуда выглядывали две большие ветви вишневого дерева. «Мама», - позвала она. «Скоро на вишневом дереве появятся вишни!» Затем она увидела приближающегося Дэвида и побежала ему навстречу. Рэйчел увидела, как Дэвид поднял Блимеле на руки. Она слышала ее смех издалека: «Отпусти меня! Ты горячий. Ты меня колешь! Ты меня щекочаешь! »

Рэйчел взяла уголок нагрудника Шалома и вытерла им глаза.

Глоссарий

1.Ab *damit!*

2.Achtng!

*3.afikomen*

*4.Аguda*

*5.аhava*

*6.Alle Juden raus!*

*7.Alteste der Juden*

*8.Am Israel chai!*

*9.angst*

*10.Apikores*

*11.arbeiten*

*12.Аufmachen*

*13.Аufshnitt*

*14.baba*

*15.bellote*

*16.Brodyage*

*17.beschlagnahmt*

*18.Bund*

*19.Shalom*

*20cholent*

*21. chutzpah (or hutzpah) наглость (или хуцпа)*

*22.Das ist er!*

*23.Das stinkt doch!*

*24.Der hat eine Nase wie ein Horn*

*25.Du Soilst* arbeiten, *judisches Schwein!*

*26.dibbuk*

*27. dzialka*

*28.Eifersucht ist eine Leidenschaft die mit*

*eifer sucht было Leiden schaft.*

*29.Einkunftstelle*

*30.Eintreten*

1.Сними! (Нем.)

2.Внимание! (Нем.)

3.Кусок мацы, спрятанный во время пасхального пира, чтобы дети могли его найти.

4.Политическая партия, стремящаяся сохранить ортодоксальность в еврейской жизни.

5.любовь (ивр.)

6.Все евреи вон! (Нем.)

7.Старший из евреев (нем.)

8.Да здравствует народ Израиля! (Ивр.)

9.Бояться (нем.)

10Еретик(греч.)

11.Работать (нем.)

12.Открыть! (Нем.)

13.Мясное ассорти (нем.)

14.разновидность печенья (слав.)

15.карточная игра (фр.)

16.рифф-рафф (идиш

17.конфисковано, реквизировано (нем.)

18.Еврейская социалистическая партия

19.мечта (ивр.)

20.блюдо, подаваемое в субботу (ид.)

21.дерзость, нерв

22.Это он! (Нем.)

23.Это воняет! (Нем.)

24.У него нос, похожий на рог. (Нем.)

25.Ты должен работать, еврейская свинья! (Нем.)

26.Душа умершего, пребывающая в теле живого. (Евр.)

27.земельный участок (пол.)

28.Ревность - это страсть, которая страстно стремится причинить страдания. (Нем.)

29.В гетто: почта для сдачи запрещенных предметов в обмен на деньги из гетто (румки). (Нем.)

30.Войти (нем.)

*31.Eine jiidische Hure mit einem judischen* *Hurensohn*

*32.Ein topfgericht*

*33.Ersatz*

*34.Familienandenken*

*35.Farbrokechts*

*36.Folks-Zeitung*

*37.Gemahl*

38.Gemara

*39юgemiltlich*

*40.Gettoverwaltung*

*41.golem*

*42.goy, pl: goyim*

*43.grober yung*

*44.hachshara*

*45.Haggadah*

*46.Halaha*

*47.halah*

*48.har...nar*

*49.Hasid*

*50.Halutza*

*51.Hosen-kala*

*52.Hashana habaa birushalayim!*

*53.heder*

*54.Himmelkommando*

*55.Holzschuhe*

*56.Hutzpah*(or chutzpah*)*

*57.Ich liebe dich, mich reizt deine schone Gestalt.*

*58.Ich mochte dich nur fur mich haben.*

*59.Ich werde krepieren.*

*60.Infolgedessen*

*61.] a, ich hasse dich, kratziger Jude, mach das du fortkommst.*

*62.Jude*

*63.Judenrein*

*64.Junker*

*65.Junkerheimat*

31.Еврейская шлюха с сыном еврейской шлюхи. (Нем.)

32.тушенка, все блюда в одном. (Нем.)

33.Заменитель (нем.)

34.семейные сувениры (нем.)

35.овощи для супа (ид.)

36.народная газета. Название польской социалистической ежедневной газеты на идиш. (Идиш.)

37.муж (нем.)

38.Талмуд

39.уютный (нем.)

40.Администрация немецкого гетто (нем.)

41.Манекен, искусственный человек (ивр.)

42.Нееврей (ие) (ивр.)

43.Человек без манер (ид.)

44.подготовительное учебное заведение для сионистской молодежи.

45.текст, читаемый в пасхальную ночь (ивр.)

46.законодательная часть Талмуда (ивр.)

47.белый хлеб, который ели в субботу (ивр.)

48.мастер . . . идиот (идиот.)

49.последователь, член еврейской религиозной движение (ивр.)

50.женщина-пионер-поселенец в Палестине (ивр.)

51.жених и невеста (ивр.)

52.В следующем году в Иерусалиме! (Евр.)

53.Еврейская религиозная школа (ивр.)

54.Коммандос небес (выражение гетто)

55.деревяная обувь (нем.)

56.наглость(ивр.)

57.Я люблю тебя, меня соблазняет твоя красивая форма. (Гете: «Эрлкониг»)

58.Я хочу, чтобы ты был только для себя. (Нем.)

59.Я пинаю ведро. (Нем.)

60.Следовательно (нем.)

61.Да ненавижу тебя, паршивый еврей, заблудись! (Нем.)

62.Еврей (нем.)

63.очищен от евреев (нем.)

64.Прусский аристократ, член реакционной милитаристской политической партии (нем.)

65.Родина юнкера (нем.)

375

*Глоссарий*375

|  |  |
| --- | --- |
| *каддиш* | молитва за умершего родителя (евр.) |
| *Калинка* | Барбарис (слав.) |
| *киббитц* | смотреть игру, предлагая незапрошенные |
| совет игрокам (ид.) | |
| *кидуш* | благословение над вином (Евр.) |
| *Кидуш-Хашем* | принять мученическую смерть за еврея (Евр.) |
| *клепсидра* | объявление о смерти, гетто |
| выражение чьего-то лица | |
| *Кохелет* | Книга Экклезиаста |
| *Kommst du vom*Reich? | Ты из Германии? (Нем.) |
| *кошерный, кашрут* | Еврейский диетический закон (кошерный. Hebr.) |
| *Крипо (Криминальная полиция)* | Криминальная полиция (нем.) |
| *Lody* | мороженое (Pol.) |
| *Los aber schnell!* | Исчезни, но быстро! (Нем.) |
| *Лехаим* | К жизни! (Евр.) |
| *Лех-лечо* | Идите вперед («Господь сказал Аврааму: |
| «Иди вперед. . Бытие. Евр.) | |
| *мамеш* | нежность к матери (иидд.) |
| *маца,* | пресный хлеб, который едят во время Пасхи |
| (Евр.) | |
| *мазалтов* | удачи (ивр.) |
| *менора* | канделябр (ивр.) |
| *Ментч* | человек, порядочный человек (ид.) |
| *мешуга,* | безумие, безумие (ивр.) |
| *мезуза* | маленькая трубка, содержащая благословение, прилагается |
| косяк (ивр.) | |
| *Мишна* | часть Талмуда (ивр.) |
| *мицва* | доброе дело (евр.) |
| *Morgen. . . Nachste Woche* | Завтра . . . на следующей неделе (нем.) |
| *Nach 0 ben!* | Там наверху! (Нем.) |
| *Наполеонкис* | разновидность французской выпечки (поль.) |
| *паниенка, паниенки* | барышня, барышня (пол.) |
| *Pardes* | сад удовольствий, рай, согласно |
| эзотерическая философия (ивр.) | |
| *Passierschein* | пропуск, разрешение (нем.) |
| *пинтеле жид* | точка еврейства |
| *Поале-Цион* | Сионистская рабочая партия |
| *Polizei* | полиция (нем.) |
| *Presess* | председатель |
| *пшат,*, *ремез, драш* | три метода интерпретации (ивр.) |
| *Рабинер* | неправославный раввин |
| *Раши* | комментатор Библии и Талмуда |
|  | |
| *Рессорт (Arbeitsressort)* | название фабрики в гетто (нем.) |
| *Sehnsucht nach der Heimat* | тоска по Родине (нем.) |

|  |  |
| --- | --- |
| 376 *Древо Жизни* |  |
| *Sheigetz* | мальчик-нееврей, мальчик-еврей, который плохо себя ведет (ид.) |
| *Шалом-алейхем* | приветствие: Мир вам. |
| *Сейм* | Польский парламент (Pol.) |
| *сервус* | приветствие студентов |
| *Симхат-Тора* | Праздник, посвященный окончанию годичного чтения Торы. |
| *Шишка* | привилегированный человек в гетто |
| *Ситра-ачра* | силы зла |
| *Seuchengefahr* | эпидемия, опасность заражения |
| *Зондеркоманда (отправитель)* | спецподразделение еврейской полиции в гетто |
| *Сперре* | запрет, домашний арест или комендантский час |
| *шлимазл, шлимиэль* | несчастный человек (ид.) |
| *шноррер* | нищий (идд.) |
| *шохат* | ритуальный убийца, резник (ивр.) |
| *местечко* | городок (ид.) |
| *Siehe mal diese hiibsche Dame im Pelzmantel!* | Посмотрите на эту хорошенькую даму в шубе! (Нем.) |
| *Sie sollen. . .* | Вам следует . . . (Нем.) |
| *Так было!* | так было! (Нем.) |
| *Sperrkonto* | заблокированный банковский счет (нем.) |
| *татеш* | уважително к отцу (иди.) |
| *Тора* | Пятикнижие (ивр.) |
| *Totenkopf* | мертвая голова (нем.) |
| *трейфа* | некошерная еда (ивр.) |
| *цимес* | овощной или фруктовый десерт (ид.) |
| *Uberfallkommando* | рейдовый коммандос (нем.) |
| *Ubersiedlung* | расселение (нем.) |
| *Vertrauungsmann der Kripo* | доверенное лицо криминальной полиции (нем.) |
| *Volksdeutsche* | немец, родившийся в Польше (нем.) |
| *Warthegau* | Польская территория включена в состав Третьего рейха |
| *Wirklich* | действительно (нем.) |
| *Wissenschaftliche Abteilung* | Научный отдел (нем.) |
| *Wohngebiet* | место жительства (нем.) |
| *Wo* ist *das*Brot? | Где хлеб? (Нем.) |
| *Wydzielaczka* | женщина раздает суп в гетто (Польша) |
| *Yeke* | немец (насмешливо) (идд.) |
| *Yid* | еврей (иди.) |
| *ешива* | высшее учебное заведение Талмуда (ивр.) |
| *Йом-Киппур* | День искупления |
| *Ёмтов, или Ёмтов* | день отдыха |
| *Zukunft* | будущее (нем. ид.) |

Библиотека мировой художественной литературы

С.Ю. Агнон

*Гость для ночи: Роман*

С.Ю. Агнон

В *самом сердце морей*

С.Ю. Агнон

*Две сказки: обрученная, Эдо и Энам*

Карин Бойе *Каллокаин*

Мартин Кессель

*Фиаско*г-на *Рекера: Роман*Хава Розенфарб

*Древо жизни: трилогия жизни в Лодзинском гетто Книга первая: На грани пропасти, 1939*

Хава Розенфарб

*Древо жизни: трилогия жизни в Лодзинском гетто. Книга вторая: Из глубин, которые я зову вами, 1940-1942 гг.*

Хава Розенфарб

*Древо жизни: трилогия жизни в Лодзинском гетто Книга третья: Вагоны для скота ждут, 1942-1944*

Аксель Сандемос *Оборотень*

Исаак Башевис Певец *Усадьба*и *имение*

Ганс Уоррен " *Тайно внутри: роман"*